

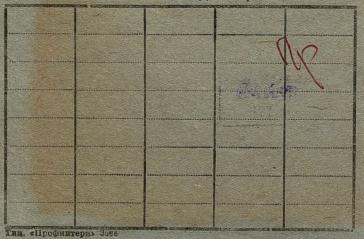


ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обезначенного здесь орона

2. 3.

535.



CH. HIDE JR St. PETERSBURG



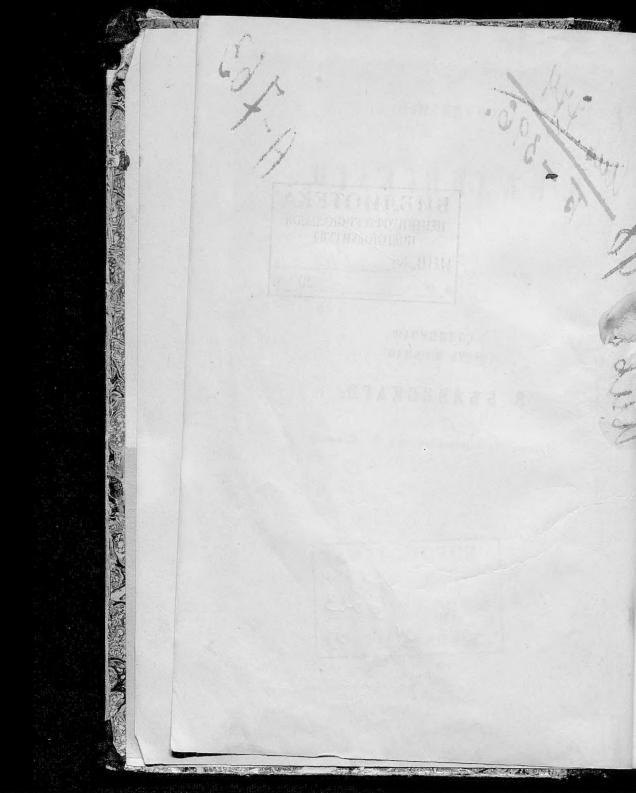
M. 3//300.

БИБЛИОТЕКА Центр профессиональной подготожки гувд ИНВ. № 3210 » 20_г.

сочинения

В. БЪЛИНСКАГО.

	1	
БИБ.	INC	TIME
Учебного) Цен	TVA TVRII
Man. N	1 - 10 - 10	10622
12	435	10200
12"_	104	2009
The state of the s	1	44.
	()	



8pl 5-43.

сочинения

В. БВЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОИЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИИИЛЕ.

часть восьмая.

Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина

.

Цена за каждую часть 1 р. сер.

МОСКВА.

Въ типографія В. Грачева и Комп. 1860.

1961

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

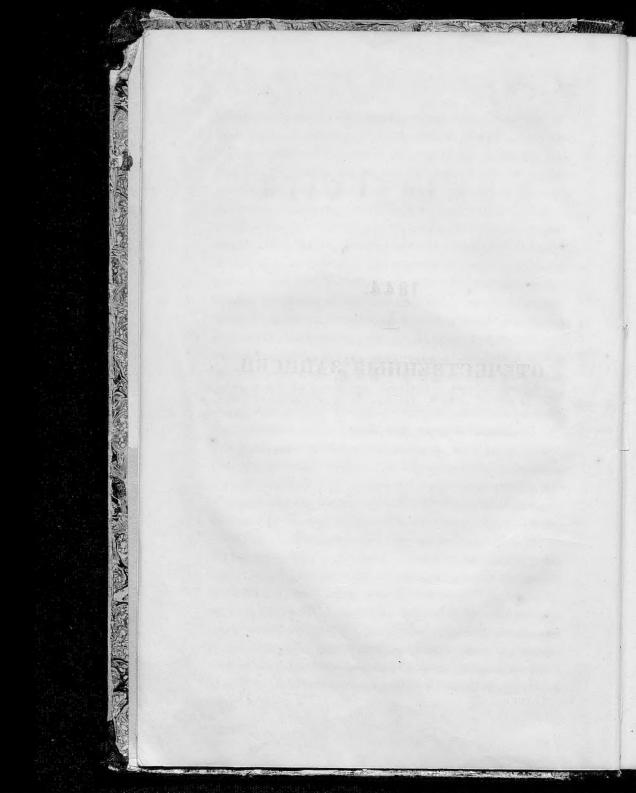
съ тъмъ, чтобы по отпечатании представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Августа 11 дня 1860 года.

Ценсоръ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

422509

БИБЛИОТЕКА Санкт-Петербургского университета МВД России 1844.

отечественныя записки.





РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1843 ГОДУ.

Литература наша находится теперь въ состояніи кризиса: это не подвержено никакому сомитнію. Но многимъ признакамъ, заметно, что она, наконецъ, твердо ръшилась или прииять дъльное направленіе и не даромъ называться «литературою», или — какъ говоритъ у Гоголя Иванъ Александровичъ Хлестаковъ — «смертію окончить жизнь свою». Посліднее обстоятельство, прискорбное для всехъ, было бы очень горестно и для насъ, еслибъ мы не утвшали себя мудрою и благородною поговоркою: «все, или ничего!» Въ смиренномъ сознанін дійствительной нищеты гораздо больше честности. благородства, ума и мужественнаго великодушія, чёмъ въ дътскомъ тщеславін и ребяческихъ восторгахъ отъ мнимаго. воображдемаго богатства. Изъ всёхъ дурныхъ привычекъ, обличающихъ недостатокъ прочнаго образованія и излишество добродушнаго невъжества, самая дурная — называть вещи не настоящими ихъ именами. Но, слава Богу. наша литература теперь рышительно отстаеть отъ этой дурной привычки, и если изъ кое-какихъ литературныхъ захолустій раздаются еще довольно часто самохвальные возгласы, публика знаетъ уже. что это не голосъ истины и любви, а вопль или литературнаго торгашества, которое жаждетъ прибытковъ на счетъ добродушныхъ читателей, или самолюбивой и задорной бездар-

ности, которая, въ своей лености и апатін, въ своемъ бездействін и своихъ мелочныхъ произведеніяхъ, думаетъ видѣть неопровержимыя доказательства неизчернаемаго богатства русской литературы. Да; публика уже знаеть, что это торгашество и эта бездарность, по большей части соединяющіяся вивств, спекулирують на ея любовь къ родному, къ русскому — и свои пошлыя произведенія называють «пародными», сколько въ надежде привлечь этимъ внимание простолушной толны, столько и въ надеждъ зажать ротъ неумолимой критикъ, которая, признавая патріотизмъ святымъ и высокимъ чувствомъ, по этому самому съ большимъ ожесточеніемъ преследуеть лже-патріотизмъ, соединенный съ бездарностью. Публика знаетъ, что ей уже нечего искать въ романахъ и повъстяхъ изъ русской исторіи, или преданій старины, ибо она знаеть, что русская исторія и русская старина сами по себѣ, а таланты нашихъ сочинителей и взглядъ ихъ на вещи-сами по себъ, и что русскій быть, историческій и частный, состоить не въ одинхъ только русскихъ именахъ дъйствующихъ лицъ, но въ особенностяхъ русской жизни, развившейся нодъ неотразнимиъ вліяніемъ мѣстности и исторіп, такъ же, какъ патріотизмъ состонтъ не въ пышныхъ возгласахъ и общихъ мъстахъ, но въ горячемъ чувствъ любви къ родинъ, которое умъетъ высказываться безъ восклицаній и обнаруживается не въ одномъ восторгъ отъ хорошаго, но и въ бользненной враждебности къ дурному, неизбъжно бывающему во всякой земль, сльдовательно во всякомь отечествь. Больше же всего и яснъе всего публика сознаёть, что ей нечего читать, несмотря на возстаніе и воздвиженіе разныхь непризванныхъ оживителей и воскресителей русской литературы и несмотря на громкіе возгласы ихъ хвалителей. Это истина неоспоримая. Кингопродавцы то и дело выпускають въ светь объявленія о новыхъ книгахъ, которыя они издали и которыя

они намърены издать, -- объявленія, печатаемыя на листахъ чудовищной величины, гигантскимъ и мелкимъ шрифтомъ, безъ политинажей и съ политинажами, и съ великоленными похвалами этимъ книгамъ, написанными книгопродавческимъ слогомъ; возвъщаемыя книги дъйствительно выходять въ свътъ и продаются по объявленнымъ ценамъ, — а читателямъ отъ этого не легче, потому что читать все-таки нечего! Библіографы и рецепзенты въ отчаяніи: имъ совстмъ иттъ работы, нечего разбирать, не надъ чёмъ потрунить, да нечего и похвалить; въ бельлетрическихъ книгахъ картинки хороши или сносны, а текстъ плосокъ до того, что не за что зацениться; потомъ большая часть книгъ все учебники, изръдка хорошіе, но чаще невинные и въ добръ и въ злъ. Отдъление библиографін въ журналахъ со дня на день теряетъ свою занимательность въ глазахъ публики, которан всегда читала рецензію съ большею жадностью, большимъ вниманіемъ, и большимъ удовольствіемъ, чёмъ самую книгу, на которую написана рецензія. Журналы также въ отчаянін; имъ остается разбирать только другъ-друга: занятіе невинное и забавное, которое. впрочемъ, едва ин можетъ занять публику больше преферанса и домашнихъ сплетней!

Куда жь дѣвались наши книги? гдѣ же наша литература? «Да ихъ поглотили толстые журналы!» кричать со всѣхъ сторопъ. «Какихъ книгъ, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстаго журнала въ состояніи поглотить въ себя литературный бюджетъ цѣлаго года?» А! вотъ въ чемъ зло: толстые журналы виноваты! Но сколько же у насъ издается толстыхъ журналовъ? — Два: «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія». Попробуемъ повърить фактически справедливость этого умозрительнаго обвиненія.

«Отечественныя Записки» состоять изъ восьми отдъловъ, изъ которыхъ цълые иять совершенио невинны въ поглощенів

русскихъ книгъ: мы говоримъ объ отделахъ Современной Хроники Россіи, Критики, Библіографической Хроники, Иностранной Литературы и Смеси, въ которые ни коимъ образомъ не могутъ войдти статьи въ книгу величиною, или статьи, которыя могли бъ быть изданы отдёльно и не были рождены срочною и дневною потребностью журнала. Въ отдёлы: Наукъ н Художествъ и Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще иногда входять статьи до того огромныя, что могли бы составить порядочной величины книгу: таковы были, въ отделе Наукъ и Художествъ «Отечественныхъ Записокъ» 1841 года статьи «Альбигойцы и крестовые противъ нихъ походы», «Греція въ нынёшнемъ своемъ состоянія» (1841), «Гёте» (1842), «Средняя Азія, по новъйшимъ изслъдованіямъ Гумбольдта» (1843), п др., п, въ отделе Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще «Отечественныхъ Записокъ» 1842 года, огромная статья г. Сабурова «Записки Пензенскаго Земледельца о теоріп и практике сельскаго хозяйства». Каждая изъ этихъ статей есть большая книга; но, во первыхъ, такихъ большихъ статей немного бываетъ въ журналахъ; а во вторыхъ, онъ своимъ появленіемъ въ печати обязаны только журналу. Упомянутыя статьи въ отдёлё «Наукъ» — переводныя или сокращенныя изъ нёсколькихъ книгъ, изданныхъ на пностранныхъ языкахъ: «Отечественныя Записки» никому не помѣшали бы перевести или составить ихъ и издать въ свётъ, тёмъ более, что изкоторыя изъ этихъ сочиненій пзданы были въ подлинникъ нъсколько лътъ назадъ, — и однакожь, никто и не подумалъ приняться за йпхъ. А почему?—да потому что въ журналѣ ихъ прочли всѣ читающіе журналь, а явись онъ отдільною книгою, то переводчикъ или составитель остался бы невознагражденнымъ, издатель въ убыткъ, и прекрасное сочинение было бы прочитано много-много ийсколькими десятками человикь; для боль-

шинства же публики они остались бы вовсе неизвъстными. И мало ли на французскомъ и итмецкомъ языкахъ хорошихъ историческихъ сочиненій, которыя соединяють въ себъ ученость содержанія съ популярностью изложенія? Кто же мішаеть ихъ кому-инбудь переводить и издавать? Неужели толстые журналы? Въдь они, кажется, не пользуются правомъ монополін касательно переводовъ пностранныхъ сочиненій? Притомъ же, всъ наши журналы, безъ исключенія, грахъ обвинить въ скорости и поспъшности, съ которою они представляли бы въ нереводахъ своимъ читателямъ новыя учено-популярныя пностранныя сочиненія, и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и и издавать ихъ отдельно. Что же касается до статьи г. Сабурова, то и ей ничто не мѣшало явиться отдѣльною книгою, кромъ развъ естественнаго для книги желанія-быть прочитанною пе ограниченнымъ числомъ присяжныхъ любителей книгъ такого содержанія, а цілою публикою... Теперь остается одинъ отдёлъ, на который въ особенности должно надать обвипеніе въ поглощенін книгъ и литературы: это отдёль Словесности, гдъ помъщаются стихотворенія, повъсти и другія бельлетрическія статьи. Но, во первыхъ, стихотвореній въ нынашнихъ журналахъ, и толстыхъ и тонкихъ, печатается немного, потому что посредственныхъ никто не хочетъ читать, хоронія же рёдки, а превосходныхь, после Лермонтова, уже никто не нишеть; во-вторыхь, въ отделе Словесности помещаются не одни русскіе повъсти и романы, но и переводные, и самые большіе всегда бывають переводные; въ-третьихъ, ни тъмъ ин другимъ, никто не мъщалъ бы являться отдъльными книгами, еслибъ онъ сами этого захотъли, пбо, повторяемъ, толстые журналы не пользуются правомъ монополін для печатанія оригинальныхъ п переводныхъ романовъ п повъстей.

Все сказанное объ «Отечественныхъ Запискахъ» можно приложить и къ «Библіотекъ для Чтенія»: слишкомъ большія

статьи и въ ней помъщаются, изръдка, въ отдълахъ Наукъ и Художествъ и Промышленности и Сельскаго Хозяйства, — чаще въ отдълъ Русской Словесности, и очень часто въ отдълъ Словесности Иностранной, гдъ передълываются на русскій языкъ иностранные повъсти и романы.

Миогочисленны же должны быть русскія кинги и богата же должна быть русская литература, если онт цтликомъ поглощаются тремя отдтлами двухъ журналовъ, — тремя отдтлами, состоящими на половину изъ переводныхъ статей!!...

Однакожь, скажуть намь, до существованія толстыхь журналовь кингь выходило гораздо больше!...

Это справедливо; но причина этого не въ толстыхъ и не въ тонкихъ журналахъ. Для книгъ ученаго содержанія, у насъ ивтъ еще публики, и наши ученые, еслибъ они много писали и много издавали, дълали бы это для собственнаго удовольствія и сами были бы и читателями и покупателями собственныхъ своихъ книгъ. Это фактъ, противъ очевидной дъйствительности котораго не устоять никакіе фразы и возгласы, какъ бы ни были они великолешны. Ученая литература наша всегда была до того бъдна, что странно было бы и называть ее литературою, какъ странно называть библіотекою шкапъ съ нѣсколькими десятками разрозненныхъ книгъ. Но прежде, ученыхъ книгъ выходило еще меньше, чемъ теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или черезъ прямое посредство иравительства, или подъ его покровительствомъ, особенно книги спеціяльнаго содержанія, какъ-то: историческіе акты, сочиненія по части статистики, по части ниженерной, горной и т. п. Сочиненія медицинскія болье независимы, и потому врачебная литература, въ сравнении съ другими. болъе богата, пбо въ значительномъ (по числу своему) сословіи врачей все же есть люди, болве или менве следящие за ходомъ науки, которан, по крайней мере, даеть имъ хлебъ. Учебныя кинги

у насъ можно издавать только при условін, чтобъ онт были приняты въ руководство въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ последнее время, учебная литература обогатилась многими хорошими книгами, изъ которыхъ первое мъсто, по достопиству, занимають руководства, изданныя для военно-учебныхъ заведеній. Итакъ, при всей бъдности ученой и учебной литературы, настоящее время все-таки имфетъ большое преимущество передъ прежилмъ, когда исторів г. Кайданова, географін Зябловскаго, грамматики г. Греча и риторики гг. Толмачева и Кошанскаго-считались отличными учебниками. Что касается до собственно бельлетристической литературы, или. какъ ее называють иначе - излиной словесности, въ прежнее время, т. е. отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, она казалась столь же богатою и процвътающею, сколь теперь кажется бъдною и увядающею. Но если она казалась богатою, изъ этого не следуетъ, чтобъ она и была богата въ самомъ дълъ. Въ двадцатыхъ годахъ, публика была въ восторгъ отъ пзбытка литературныхъ сокровищъ. Но въ чемъ состояли эти сокровища? Въ крошечныхъ альманахахъ, наполненныхъ крошечными отрывками изъ крошечныхъ поэмъ, крошечныхъ драмъ, крошечныхъ повъстей, которымъ, большею частію, никогда не суждено было явиться вполить, т. е. съ началомъ и концомъ. Вспомните, сколько, бывало, шума и радости производило появленіе «Стверныхъ Цвттовъ»! А что было въ нихъ? Двт-три новыя піесы Пушкина или Жуковскаго, которыя, конечно, были бы всегда драгоцінными перлами во всякаго рода изданіяхъ; но, вибстъ съ ними, съ восторгомъ равно дътекимъ читались, перечитывались, учились наизусть и переписывались въ тетрадки стихотворенія и другихъ поэтовъ, изъ которыхъ один были точно съ замъчательными талантами, а другіе вовсе безъ таланта, владъя гладкимъ стихомъ и модною манерою выражать бывшія тогда въ мод'є чувства унынія, грусти, ліни,

разочарованія и тому подобное. Сверхъ того, въ «Сфверныхъ Цвътахъ» были литературныя обозрънія г. Сомова, аллегоріи г. Ө. Глинки, даже статьи Владиміра Измайлова. Въ наше время, такіе альманахи ужь невозножны: и самыя стихотворенія Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, въ которой, за псключеніемъ трехъ-четырехъ превосходныхъ стихотвореній, все остальное—или посредственность, или просто вздоръ. Мы не говоримъ о другихъ альманахахъ, потянувшихся длинною вереницею за «Съверными Цвътами», какъ-то: «Ураніи», «Съверной Лиръ», «Невскомъ Альманахъ», «Спріусъ», «Царскомъ Сель» и многомъ множествъ другихъ. Что же выходило тогда кром в альманаховъ? — Поэмки въ стихахъ, которыхъ теперь и названій нельзя вспоминть, равно какъ и именъ ихъ сочинителей; разныя драматическія произведенія, теперь забытыя вивств съ именами ихъ производителей, да еще безобразные и чудовищные переводы поэмъ и романовъ Вальтеръ Скотта вивств съ глуными романами виконта Дарленкура... Въ та комъ положений была наша литература отъ начала такъ называемаго романтизма до 1829 года. Лучшія и многочисленивіїшія статьи въ тогдашнихъ журналахъ, преимущественно въ «Московскомъ Телеграфъ», были нереводныя, а оригинальныя большею частію состояли изъ отрывковъ. Стихи преобладали тогда надъ прозою и наводняли журналы и альманахи; въ то же время стихи издавались и отдельными книжками, то подъ именемъ «поэмъ», то подъ именемъ «собранія сочинецій» такого-то. И, несмотря на то, изъ замъчательныхъ поэтовъ никто не быль издань въ то время. «Горе отъ Ума» ходило въ рукописи по всемъ краямъ обширнаго русскаго царства. Ствхотвореній Пушкина была издана только небольшая книжка въ 1826 году. Настоящее изданіе собранія сочиненій Пушкина началось уже съ 1829 года. Сочиненія напболье уважавшихся

поэтовъ того времени, какъ-то: Баратынскаго, Веневитинова, Языкова, Подолинскаго, Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаева, были изданы уже въ тридцатыхъ годахъ 1). И такъ, гдъ же это богатство кинжной производительности двадцатыхъ годовъ, которое уличило бы наше время въ литературной бъдности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось въ новизнъ, которая добродушно принималась въ то врема за геніяльность, въ отрывкахъ, которые считались за цёлыя великія творенія, на честное слово сочинителей, — въ потонъ стиховь, которые, благодаря гладкости, сладостной лени и унылому раздумью, принимались за поэзію. И это множество стиховъ являлось не оттого, чтобы поэты того времени писали много, но оттого, что слишкомъ много поэтовъ писало въ то время. Десять тысячь стихотворцевъ, написавъ каждый по десятку стихотвореній, подарять світь такою громадою стиховъ, въ сравцении съ которою полное собрание сочинений такихъ плодовитыхъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте, Шиллеръ, будеть небольшая книжечка. Нашихь поэтовь грёхь обвинять въ плодовитости: это гръхъ, въ которомъ они ръшительно невинны. Самъ Пушкинъ, дъятельнъйшій и плодовитъйшій изъ всёхъ русскихъ поэтовъ, писалъ слишкомъ мало и слишкомъ лъниво въ сравненіи съ великими европейскими поэтами. Но это, конечно, была не его вина: наша действительность не слишкомъ богата поэтическими эдементами и немного можетъ дать содержанія для вдохновеній поэта, — такъ же какъ нашъ плоскій материкъ, заслоненный сърымъ и сырымъ небомъ, не много можетъ дать видовъ для пейзажнаго живописца. Пушкинъ, впрочемъ, взялъ все, что могъ взять. Но что сделали другіе поэты, вмісті съ нимъ вышедшіе на литературное поприще? Одинъ изъ нихъ представилъ публикъ собрание много-

За исключеніемъ только первой части сочиненій Веневитинова, изданной въ 1829 году.

лътнихъ поэтическихъ трудовъ въ двухъ томикахъ, другіе-въ одномъ миньятюрномъ томикъ. За то, всъ они были изданы очень красиво и съ большими пробълами. Скажутъ: «но въдь достоинство поэта измаряется качествомъ, а не количествомъ написаннаго имъ». Иногда, и чаще всего, тъмъ и другимъ, отвъчаемъ мы. Источникъ поэтической дъятельности есть творческая натура, — и чёмъ болье одаренъ поэтъ творческою силою, темъ, естественно, онъ деятельнее, подобно пароходу, который тымь быстрые летить, чымь огромиве его машина и чъмъ жарче она топится. Неистощимость и разнообразіе всякой поэзін зависять оть объема ся содержанія, и чімь глубже, шире, универсальные идеи, одушевляющія поэта и составля ющія пасось его жизни, тімь, естественно, разнособразніте п многочислените его произведенія: тучная, богатая растительными силами ночва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и несчаная не даетъ и одной порядочной жатвы. Если поэтъ мало писалъ, значитъ: ему было не о чемъ больше писать, потому что вдохновлявшей его идеи, по ея поверхностности и мелкости, едва стало на два, на три десятка болъе или менъе однообразныхъ, котя, въ то же время, болье или менье и прекрасныхъ піесокъ. Вотъ почему, когда иной знаменитый поэтъ нашъ соберется наконецъ издать собрание своихъ стихотвореній, всімь извістныхь прежде изь журналовь и альманаховь, то очень должно остерегаться читать тѣ его стихотворенія, которыя посль изданія этого сборшика будеть онь изрыдка печатать въ журналахъ. Причина очевидна: наши поэты большею частью издають собранія своихь поэтическихь трудовь, какь намятники, дорогіе ихъ сердцу, лучшихъ дией ихъ жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человъкъ перестаетъ мечтать, истративъ на мечты лучшую половину своей жизни, въ которую сабдовало бы мыслить, и когда, волею или неволею, сходится и мирится онъ съ ношлою дъйствительностію, за незнаніемь разумной дійствительности, открывающейся только мысли и сознанію, а не чувствамь и мечтамь, — тогда таланть оставляеть его, и въ такомь случай всего лучше поторопиться ему издать свои сочиненія. Жаль только, что эти счастливыя діти своего времени, въ сборникь часто являются гостьми, опоздавшими на пиръ и пришедшими въ старомодныхъ костюмахь: они бывають непріятно поражены холоднымъ пріемомъ даже со стороны тіхь самыхъ людей, которые, пять-шесть літь назадъ, были отъ нихъ въ восторгів...

Но обратимся къ двадцатымъ годамъ русской литераутры. Въ это ультра-романтическое и ультра-стихотворное время, проза была въ самомъ жалкомъ состояніи. Пушкинъ почти ничего не писалъ прозою. Ифсколько статей Веневитинова принадлежать къ прозт теоретической, а не поэтической, и въ этомъ родъ прозы было кое-что, болъе или менъе замъчательное. Кром'в мыслящихъ статей Веневитинова, въ сферъ поэтической прозы, отличались тогда трескучія эффектами и фразою повъсти Марлинскаго, и приводили добродушную публику въ неописанный восторгъ. Чтобъ нъсколькими словами охарактеризовать бѣдность изящной прозы того времени, стонтъ только замътить, что даже и повъсти одного московскаго ученаго, совершенно лишенныя фантазіп, ниція талантомъ, богатыя чорствою сухостію чувства и грубымъ цинизмомъ понятій и выраженій, мпогимъ и очень мпогимъ нравились, хотя тогда же многіе и см'ялись надъ этими жалкими порожденіями незаконныхъ притязаній на талантъ и повзію. Послі этого, удивительно ли, что для большинства того времени дивомъ-дивнымъ казались повъсти г. Полеваго, чуждыя всякаго творчества, но не чуждыя пекоторой изобретательности, бедныя чувствомъ, но богатыя чувствительностію, лишенныя идеи, но достаточно нашпигованныя высшими взглядами, — новъсти. представлявшія, вмѣсто характеровъ, образы безъ лицъ, т. с.

неопредъленныя полумысли автора, — повъсти, не щеголявшія слогомъ, но ловко владевшія фразою и не безъ основанія претендовавшія на ніжоторое достопнство разсказа, обличавшее въ авторѣ литературное образованіе и навыкъ, — повѣсти, невинныя въ какомъ бы то ни было такте действительности и способности хотя приблизительно понимать дъйствительность, но очень и очень виновныя въ мечтательности и натяпутомъ, приторномъ абстрактиомъ идеализмѣ, который ирезираетъ землю и матерію, питается воздухомъ и высоконарными фразами, и стремится все «туда» (dahin!)—въ эту чудную страну праздношатающагося воображенія, въ эту въчную Атлантиду себялюбивыхъ мечтателей?... Удивительно ли, что и люди, непринадлежавшіе къ большинству, считали эти новъсти за весьма пріятное явленіе въ русской литературь? Въдь тогда еще не было ни «Пиковой Дамы», ни «Капитанской Дочки» Пушкина, ни повъстей Гоголя, ни «Героя нашего Времени» Лермонтова...

Впрочемъ, гг. Погодинъ и Полевой слишкомъ много писали повъстей только съ 1829 года. Этотъ годъ былъ довольно замътнымъ поворотомъ отъ стиховъ къ прозъ, и нельзя не согласиться, что, считая отъ этого времени до 1836 года, литература наша была болье оживлена и болье богата книгами, чемъ прежде и после того. Въ этотъ промежутокъ времени появились «Вечера на Хуторъ близь Диканьки», «Арабески», «Миргородъ», и «Ревизоръ» Гоголя, и самъ Пушкинъ началъ обращаться къ прозъ, напечатавъ лучшія свои повъсти—«Пиковую Даму» и «Капитанскую Дочку». Этого уже слишкомъ довольно, чтобъ не только считать это время богатымъ и обильнымъ литературными произведеніями, но и видёть въ немъ новую, прекрасную эпоху русской литературы. Числительное богатство книгъ и обиліе литературныхъ новинокъ было еще значительные. Въ 1829 году, г. О. Булгаринъ издалъ своего «Выжигина», а въ слъдующемъ году- «Димитрія Самозванца».

Первый изъ этихъ романовъ, имълъ большой усиъхъ: онъ въ короткое время быль весь раскуплень, и особение понравился низшимъ слоямъ читающей публики которые, повърнвъ на слово сочинителю, не затрудиплиси увижьть въ его безличныхъ изображеніяхь втрную картину современной русской двистынтельности. Очевидно, что въ это невийное заблуждение ввели ихъ русскія имена дъйствующихъ лицъ въ «Выжигинъ», пазванія русскихъ городовъ и областей, а главное—запутанныя и неестественныя похожденія продувнаго героя романа. До бряки не замѣтили, что все это — старыя погудки на новый ладъ, какъ говоритъ пословица, т. е. Дюкре-дю-менилевскія романтическія пружины съ Сумароковскими пападками на лихоимство и мошенничество. При этомъ, не должно забывать, что первыя попытки въ новомъ родъ всегда принимаются хорошо. Публикъ того времени показался новостью — романъ съ русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайловъ, въ этомъ отношения, предупредилъ г. О. Булгарина цълыми тридцатью годами, ибо въ его романъ «Евгеній, или пагубныя слъдствія дурнаго воспитанія и сообщества», изданномъ въ 1799 году, дъйствіе происходить въ Россіи и герой романа называется Евгеніемъ-имя столь же русское, сколько и иностраиное. Фамилія Евгенія — Негодяевъ, фамиліп прочихъ дъйствующихъ лицъ романа—Лицемъркина, Вътровъ, Тысячниковъ, Бездъльниковъ, Простаковъ, коллежскій ассессоръ Назарій Антоновичъ Миловзоровъ, Воровъ, Подлянковъ, Развратниъ и пр. Въроятно, эти остроумно-придуманныя г. А. Измайловымъ русскія фамилін и подали г. О. Булгарину счастливую мысль назвать героевъ своего романа Вороватиными, Ножовыми и пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный усивхъ. Впрочемъ, «Выжигинъ» изобрътательностію, манерою, яркимъ изображеніемъ характеровъ, движеніемъ сердца человъческаго и нравственно-сатиричеq. vIII.

скимъ направленіемъ живо напоминавшій собою «Евгенія» г. А. Измайлова, далеко превзошель его въ правильности языка, хотя и уступиль ему въ живости разсказа. Публика того времени, по свойственной ей забывчивости, не догадалась также, что г. О. Булгаринъ предупрежденъ былъ, какъ романистъ, писателемъ новымъ и даровитымъ, и что въ 1824 году вышелъ «Бурсакъ», а въ 1825 — «Два Ивана, или страсть къ тяжбанъ» Наръжнаго. Эти два замъчательныя произведенія были первыми русскими романами. Они явились въ такое время, когда еще публика не была въ состоянін оцінить ихъ; и лучшіе юмористическіе очерки характеровъ и сценъ простонароднаго быта, назвала сальностями, а немножко таланта увидъла въ романической развязкъ «Бурсака». Все это было съ руки г. О. Булгарину и помогло ему прослыть первымъ романистомъ на Руси. Однакожь, его «Димитрій Самозванець» оборвался: его убиль усивхъ «Юрія Милославскаго», вышедшаго въ свътъ нъсколькими недълями прежде «Самозванца», который, безъ этого прискорбнаго для него обстоятельства, безъ сомитнія, получиль бы еще большій успталь. чтмъ «Выжигинъ». Последующие романы г. О. Булгарина уже имели самый посредствечный успъхъ, и то благодаря только овладъвшей публикою страсти къ романамъ, которая тогда смънила ея страсть бъ стихамъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» имълъ несчастіе столкнуться съ «Рославлевымъ»: несмотря на слабость втораго романа г. Загоскина, онъ былъ все-таки неизмъримо выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя въ этомъ романъ выведенъ п самъ Наполеонъ, къ несчастію обрисованный столь неудачно, что его такъ же трудно отличить отъ Петра Ивановича Выжигина, какъ и Петра Ивановича Выжигина отъ Наполеопа. Четвертый романъ г. О. Булгарина «Мазепа», упаль рашительно, несмотря на искусную и усердную поддержку со стороны «Библіотеки для Чтенія»: публика уже

не хотёла читать повторенія того, что уже надоёло ей въ прежняхъ романахъ г. О. Булгарина. Еще менте замътила и опънила она неподражаемый юморъ сего нравственно-сатирическаго сочинителя, разлитый въ его «Запискахъ Титулярнаго Совътника Чухина». Это было полнымъ паденіемъ—chûte complète! Мода на романы такъ была сильна, т. е. романы такъ хорошо расходились въ то время, что даже сочинитель множества грамматикъ, прочетшій, по словамъ «Библіотеки для Чтенія», въ корректуръ всю русскую литературу, г. Н. Гречъиздалъ довольно длиниую и, сообразно съ тёмъ, довольно скучную повъсть-«Поъздка въ Германію», и потомъ длинный романъ, начиненный разными чудесами на манеръ Анны Радклейфъ-«Черная Женщина». Сильный въ то время на поприщъ журналистики баронъ Брамбеусъ силился искусною и усердною рецензіею, наполненною разсужденіями о магнетизмѣ, дать ходъ первому изданію «Черной Женщины», ставилъ ее выше романовъ Вальтеръ Скотта и считалъ за счастіе, по собственнымъ словамъ его, бъжать за колесницею тріумфатора, т. е. г. Греча. Такова была тогда романоманія, что все сходило съ рукъ благополучно, и всякая сказка давала болће или менъе върный барышъ! Но второе изданіе «Черной Женщины», поступившее въ составъ вышедшихъ въ 1838 году, въ пяти частяхъ «Сочиненій Николая Греча», потонуло въ Летѣ витстт со встип пятью частями этихъ сочиненій.

После романовъ г. О. Булгарина, намъ тотчасъ же следовало бы говорить о судьбе романовъ г. Загоскина, которые начинали являться после «Выжигина» и убили на повалъ все романы г. О. Булгарина; но после имени г. О. Булгарина какъ-то невольно ложится подъ перо имя г. Н. Греча, да и романы обоихъ сихъ сочинителей похожи другъ на друга, какъ дети одного отца, отличаясь мертвою правильностью и грамматическою чистотою языка, при отсутствии всякихъ другихъ

качествъ. «Юрій Милославскій» быль, въ свое время, безъ всякаго сомпънія, пріятнымъ и замічательнымъ литературнымъ явленіемъ. Его абиствующія лица не только посять русскія имена, по и говорятъ русскою рѣчью, и даже чувствуютъ и мыслять по-русски, - что было въ то время совершенно новымъ явленіемъ въ русской литературь. Присовокупите къ этому добродушное увлечение автора, мъстами очень похожее если не на вдохновеніе, то на одушевленіе, разсказъ плавный, не натяпутый, языкъ не всегда правильный, какъ у гг. О. Булгарива и Н. Греча, но всегда живой, — и вы поймете причину чрезвычайнаго усибха этого романа. Г. Загоскинъ радушно, отъ души. со встиъ хльбосольствомъ старыхъ временъ угостилъ русскую цублику своимъ «Юріемъ Милославскимъ». Но этимъ все и оканчивается. Исторического въ этомъ романъ ивтъ ничего: всв лица его списаны съ простолюдиновъ нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа, — все обнаруживаетъ въ авторъ русскаго драматическаго писателя, навыкшаго подльльную сценическую дъйствительность почитать за зеркало настоящей русской жизин. Въ 4642 годъ онъ перенесъ отдъльпыя сцены 1812 года, подмъченныя имъ въ деревняхъ, — и быль убъждень, что остался върень исторіи. Въ «Рославлевь», онъ принялся болье за свое дъло — за изображение того, что видълъ самъ на Руси въ 1812 году. И еслибъ опъ остался въренъ своему таланту и призванио - рисовать отдельныя сцены и картины простонароднаго и помещичьяго деревенскаго быта, — его второй романъ былъ бы не безъ достоинствъ. Но авторъ почель нужнымъ основать все на мелодраматической завязкъ, а, главное, возымълъ немножко смълую претензію изобразить, словно въ ноэмъ, великій 1812 годъ, со всъмъ его историческимъ значеніемъ и характеромъ, — и какимъ же образомъ? - черезъ мелодраматическую любовишку, черезъ портреты безцевтного героя, Рославлева, избитого въ комедіяхъ

лица добрато малаго Зарвикаго, черезъ ивсколько добродушныхъ оригиналовъ въ родъ Буркина и Иволгина, и посредствомъ нъсколькихъ отлъльныхъ и вымышленныхъ сценъ борединской битвы, въ которыхъ разговариваютъ между собою пріятели, забавные герои романа... Очевидно, что автора ввель въ заблуждение непонятый имъ Вальтеръ Скоттъ и не поняте: значение исторического романа. Какъ бы то ни было, но чъмъ большаго ожидала нетеривливая публика отъ «Рославлева», тъмъ меньше дождалась она. Послъдующіе романы г. Загоскина были уже одинъ слабъе другаго. Въ нихъ онъ ударился въ какую-то странную, исевдо-патріотическую пропаганду и политику, и началь съ особенною любовію живописать разбитые носы и свороченныя скулы извёстнаго рода героевъ, въ которыхъ онъ думаетъ видъть достойныхъ представителей чисто русскихъ правовъ и съ особеннымъ наоосомъ прославлять любовь къ соленымъ огурцамъ и кислой капустъ.

За г. Загоскинымъ, вышелъ на литературное поприще въ качествъ романиста г. Лажечниковъ. Онъ дебютировалъ историческимъ романомъ «Последній Новикъ», действіе котораго происходить то въ Лифляндін, то въ Россіи, и дійствующія лица котораго-Ивицы и Русскіе. Это обстоятельство двлить романъ какъ бы на двъ стороны, изъ которыхъ первая какъто лучне обрисована и запимательнке представлена авторомъ, чемь последияя. Какъ первый опыть въ этомъ роде, романъ г. Лажечникова слишкомъ полонъ и многоръчивъ, во вредъ художнической соразмърности и пропорціональности; но, несмотря на этотъ недостатокъ, онъ необыкновенно живъ, какъ всякій илодъ слишкомъ горячей и запальчивой діятельности. Второй романъ г. Лажечникова — «Ледяной Домъ» уже не столько сложенъ п юношески горячъ. какъ «Последній Новикъ», за то болье строенъ и простъ, безъ ущерба занимательности: а некоторыя главы, какъ напримеръ: «Соперники» и «Родины

Козы» могутъ считатся украшеніемъ не только «Ледянаго Дома», но и замівчательными произведеніями русской литературы, Въ «Басурманъ» очень удачно сдъланъ очеркъ характера Іоанна III и вообще хороши тѣ сцены, гдѣ авторъ выводить это грозное и великое лицо русской исторін. Во всемъ остальномъ, нельзя сказать, чтобъ авторъ очень удачно воспользовался прекрасно-придуманною основою своего романа — представить противоположность европейскаго элемента жизни азіятскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели человъчески развившагося и образованнаго существа, сдълавшагося жертвою дикихъ нравовъ, среди которыхъ забросила его судьба. Вообще, скажемъ откровенно, романамъ г. Лажечникова особенно вредать два обстоятельства. Во первыхъ, авторъ не довольно отръшился отъ стараго литературнаго направленія — видъть поэзію вит дъйствительности и украшать природу по произвольно задуманнымъ идеаламъ. Оттого, въ его русскихъ романахъ есть что-то не совстмъ русское, что-то похожее на европейскій быть въ русскихь костюмахь. Такова, напримъръ, любовь Волынскаго къ Маріорицъ, невърная исторически и невозможная поэтически, по ея несообразности съ климатомъ, мъстностію и нравами. Она какъ будто изъ Италіп или Иснаніи пріжхала въ Петербургъ, чтобъ доставить автору ивсколько эффектныхъ сценъ. Что же касается до украшенія природы, — оно не есть исключительная принадлежность исевдо-классицизма; переменились слова, а сущность дёла осталось та же для многихъ пынёшнихъ поэтовъ, — и исевдо-романтикъ Викторъ Гюго еще съ большимъ усердіемь, по своему, украшаеть природу въ романахъ и драмахъ, чъмъ украшали ее псевдо-классики Корнель, Расинъ и Вольтеръ. Второй нелостатокъ романовъ г. Лажечникова, имъющій тісную связь съ первымъ, — это неровный, какъ будто неправильный и тяжелый языкъ. Многіе, по этому случаю.

упрекали г. Лажечникова въ неумъніи писать по-русски и незнаніи русскаго языка: — обвиненіе смѣшное и нельпое, достойное грамматистовъ - рутиньеровъ! Нътъ, не отъ незнанія языка, не отъ неспособности владеть имъ, г. Лажечниковъ пишетъ неровнымъ слогомъ; даже не оттого, что будто бы онъ не занимается его отделкою, а разве оттого, что онъ слишкомъ занимается отдълкою, и еще отъ ложной манеры, которую многіе наши писатели, волею или неволею, сознательно или безсознательно, больше или меньше, заняли у Марлинскаго, и которая заставила ихъ нещись больше объ эффектной красотъ. чемь о благородной простоть, строгой точности и ясной определенности выраженія. Во всякомъ случать, русскій романъ. начатый г. Загоскинымъ, въ произведеніяхъ г. Лажечникова едълаль большой шагь впередь, — и если романы г. Загоскина проще, наивиће и легче романовъ г. Лажечникова, за то романы последняго далеко выше по мысли и вообще гораздо удовлетворительные для образованнаго класса читателей. Нельзя не пожальть, что г. Лажечниковъ не избъгнуль общей участи многихъ рускихъ писателей — замолчать после двухъ или трехъ опытовъ и лишить публику надежды дождаться отъ него чегонибудь такого, что напомнило бы его первые опыты, столь много объщавшіе...

Если рѣчь зашла о прозанкахъ-романистахъ этой эпохи, то было бы несправедливо умолчать о г. Вельтмавъ. Онъ дебюти ровалъ забытымъ тенерь «Странникомъ» — калейдоскопическою и отрывочною смѣсью въ стихахъ и прозъ, нелишенною однакожь оригинальности и казавшеюся тогда занимательною и острою. Потомъ онъ издалъ какую-то ноэму въ стихахъ. Первымъ и, по обыкновенію обльшей части русскихъ писателей, лучшимъ его романомъ былъ «Кащей Безсмергный», — странная, но поэтиче ская фантасмагорія. Надо сказать правду, у г. Вельтмана не сравненно больше фантазін, чѣмъ у романистовъ, о которыхъ мы

The second of th

говорили выше, и потому онъ горазло больше поэтъ, чтиъ они. Но его фантазін стаёть только на поэтическія міста; съ цівлымъ же произведеніемъ она никогда не въ состояніи управиться. Оригинальность фантазін г. Вельтмана часто сбивается на страниость и вычурность въ вымыслахъ. Прочитавъ его романъ, помнишь прекрасныя, исполненныя поэзін міста, по цълое тотчасъ изглаживается изъ намяти. Къ романическимъ п поэтическимъ вымысламъ г. Вельтманъ примъщиваетъ какой-то археологическій мистицизмъ и вносить свою страсть къ этимологическимъ объясиеніямъ историческихъ и даже допсторическихъ вопросовъ. Все это очень безобразитъ его романы. Туманность и неопредъленность въ вымыслахъ и характерахъ также принадлежатъ къ педостаткамъ романовъ г-на Вельтиана: Каждый новый его романъ былъ повтореніемъ недостатковъ перваго, съ ослабленіемъ красотъ его. Все это сдълало то, что г. Вельтманъ пользуется гораздо меньшею извъстностью и меньшимъ авторитетомъ, нежели какихъ бы заслуживало его замъчательное дарованіе.

Почти въ тоже время явились на сцену и другіе романисты, имъвшіе большій или меньшій усиъхъ, какъ, напримъръ, г. Ушаковъ, котораго «Киргизъ-Кайсакъ» не лишенъ былъ коекакихъ относительныхъ достоинствъ. Романъ, скрывшаго свое имя автора — «Семейство Холмскихъ» имълъ замъчательный усиъхъ; въ немъ попадаются довольно живыя картины русскаго быта, въ юмористическомъ родъ; но онъ утомителенъ избитыми пружниами вымысла и избыткомъ сантиментальности, соединенной съ резопёрствомъ. Марлинскій гарцовалъ въ журналахъ своими трескучими повъстями до 1836 года; особо и вполиъ онъ были изданы въ 1838 — 1839 годахъ. Изъ новыхъ нувеллистовъ, въ началъ тридцатыхъ годовъ, явился даровитый казакъ Луганскій, съ своими оригинальными розсказнями на русско-молодецкій ладъ, которые онъ потомъ

мало-но-малу началь оставлять для новъсти лучшаго тона в содержанія. Какъ сказки, такъ и повъсти Луганскаго были плодомъ сколько замѣчательнаго дарованія, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многосторониею житейскою опытностью автора, человька бывалаго и коротко ознакомившагося съ бытомъ Россіи почти на встхъ концахъ ея. — Гг. Погодинъ и Полевой, съ особеннымъ усердіемъ принявшіеся за пов'єсти съ 1829 года, издали, въ тридцатыхъ годахъ, собранія этихъ повъстей. Въ началь же тридцатыхъ годовъ, неожиданно вышла первая часть дотоле никому неизвъстныхъ стихотвореній г. Бенедиктова, котораго талантъ въ стихахъ — то же, что талантъ Марлинскаго въ прозф; время уже доказало справедливость приговора, какимъ встръчены были критикою первые опыты г. Бенедиктова. Но не всъ критики были такъ строги къ этому блестящему стихотворцу; одинъ московскій критикъ и словесникъ, притомъ же самъ пінта, объявиль, что до г. Бенедиктова поэзія наша (представителями которой, разумъется, были Державинь. Крыловъ. Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибовдовъ) была чужда мысли, и что только въ изящныхъ произведеніяхъ г. Бенедиктова русская поэзія въ первый разъ явилась вооруженная мыслію... — Еще прежде г. Бенедиктова, вышелъ на литературное поприще г. Кукольникъ, съ лирическими стихотворенівми, драмами въ стихахъ, а потомъ съ повъстами, романами. журнальными статьями, и проч. Въ его литературной и поэтической дългельности замътнъе всего — усиліе обыкновеннаго таланта подняться на высоты, доступныя только генію. и потому, если нельзя отрицать въ немъ талапта, то нельзя п опредълить степени характера и заслугь этого таланта. -- Мы, можеть-быть, забыли и еще кое-какія произведенія, им'явшія , въ то время большій или меньшій успъхъ, и умножившія собою число интересовавшихъ публику кингъ; но не обо всемъ же гововорить! Лучше скажемъ, что князь Одоевскій, почти ничего отдельно не издававшій досель подъ своимъ именемъ, съ 1824 года постоянно печаталь въ повременныхъ изданіяхъ повъсти и разсказы особеннаго рода, въ которыхъ нравственныя иден облекались то въ поэтическіе образы, то въ живое слово, исполненное наооса краснорѣчія... Но о нихъ мы скоро будемъ имѣть случай говорить подробнѣе.

Съ 1839 года, въ русской литературъ, совершился замътный переломъ. Книжная торговля упала, книгъ стало выходить гораздо менфе, и литература начала казаться бъднфе прежняго. Пушкинъ умеръ, и два года печатались въ «Современникъ» его посмертныя произведенія. Это были посліднія и самыя высокія, самыя зрёлыя созданія вполит развившагося и возмужавшаго его художинческого генія. Въ первомъ томіз «Ста Русскихъ Литераторовъ» былъ напечатанъ его «Каменный Гость» и отрывовъ изъ романа. Все остальное дотоль неизвъстное публикъ, появилось только въ 1841 году, въ трехъ последнихъ томахъ полнаго собранія его сочиненій. Долго тянулось для публики изданіе новыхъ, неизвѣстныхъ ей сочииеній Пушкина, —и этимъ утомилось не вниманіе, а ожиданіе публики!... Съ 1837 года, начали появляться въ журналахъ стихотворенія Лермонтова, въ первый разъ изданныя особо въ 1840 году, равно какъ и его «Герой Нашего Времени». Съ 1837 же года начали появляться повъсти графа Соллогуба, г. Панаева и другихъ болъе или менъе замъчательныхъ молодыхъ писателей. Въ числъ молодыхъ, съ 4838 года явился одинъ старый: это покойный Основьяненко, между безчисленными повъстями котораго, написанными въ продолжение какихъ-нибудь четырехъ лётъ, особенно замъчателенъ «Панъ Халявскій» — сатприческая картина старинныхъ нравовъ Малороссін; во встать другихъ повъстяхъ и романахъ своихъ, онъ повторяль или сантиментальность своей «Маруси», или юморь «Пана

Халявскаго», и въ последнее время значительно выписался. Еще съ 1837 года, все новое въ русской литературъ начало прятаться въ журналахъ, и особыми книгами, большею частію стали появляться только или альманахи, или сборники уже извъстныхъ нубликъ изъ журналовъ сочиненій, или, наконецъ, новыя изданія старыхъ сочиненій. Новое, вит журналовъ и альманаховь, показывалось ріже и ріже, а послі смерти Лермонтова, последовавшей въ 1841 году, лучшее, что печаталось и въ журналахъ, состояло изъ оставшихся стихотвореній этого поэта, столь рано умершаго для русской литературы. которую его великій таланть одинь быль бы въ состоянін едълать интересною не для однихъ насъ, Русскихъ. Бъдность и нищета болье и болье начали вторгаться даже въ журналыэти теперь почти единственные представители «богатства» русской литературы. Бёденъ былъ хорошими повёстями 1842 годъ, но прошлый 4843 оказался еще объяве. Объ отдельно выходившихъ книгахъ теперь много нельзя разговориться. Въ 1842 году вышли «Мертвыя Души» Гоголя — твореніе столь глубокое по содержанію и великое по творческой концепціп и художественному совершенству формы, что оно одно попол нило бы собою отсутстве книгъ за десять лётъ и явилось бы одинокимъ среди изобилія въ хорошихъ литературныхъ произведеніяхъ. Вирочемъ, 1842 годъ все-таки быль богаче прошлаго отдёльно вышедшими книгами, равно какъ и замъчательными повъстями, помъщенными въ журналахъ и альманахахъ.

Выведенный нами изъ этого обзора результать, повидимому, противоръчить началу статьи. Мы хотъли доказать, что литература настоящаго времени только по наружности бъднъе литературы прежнихъ временъ, а въ сущности выше ея, — и между тъмъ фактами доказали совсъмъ противное. Но мы начали съ того, что литературная бъдность нашего времени, по своимъ причинамъ, почтенна, и въ этомъ смыслъ

составляетъ пріобрътеніе, а не утрату... Объяснимся. Какъ отъ литературы двадцатыхъ годовъ прочныя и дъйствительныя пріобратенія остались только въ сочиненіяхъ Пушкина 1) и въ «Горт отъ Ума» Гриботдова, все же прочее имъетъ болъе или менъе относительное, такъ сказать, историческое значеию, — точно такъ и отъ литературы тридцатыхъ годовъ у насъ есть прочныя и дъйствительныя пріобратенія только въ сочиненіяхъ Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное, историческое значение, или. за недостаткомъ времени, еще не выдержало пробы, могущей опредълить его безусловную ценность. И если отъ 1823 года до начала четвертаго десятильтія вышло много (сравнительно съ прежнимъ и послъдующимъ временемъ) романовъ, драмъ п другихъ произведеній изящной словесности, то не должио забывать, что это была пора опытовъ и попытокъ, -- пора, въ которую все новое не могло не удаваться. Въдь и «Выжиглиы» съ «Самозванцемъ», по мнимой ихъ новизнъ, сначала имъли усивхъ, да еще какой! — неужели же и ихъ должно считать сокровищами русской литературы, теперь, когда читавшіе ихъ уже совствъ забыли, а не читавшіе вовсе не питютъ никакого желанія прочитать? Нападки на пьянство, воровство, шулерство и лихоимство, какъ на пороки гибельные для вившняго и внутренняго благосостоянія людей, — неужели эти нападки, состоявшие въ истертыхъ моральныхъ сентенціяхъ, п теперь должно принимать за идеи; а бездушныя риторическія олицетворенія пороковъ и добродътелей, выдаваемыя за характеры, дъйствительно должно принимать за живыя лицы, вивсто того, чтобъ видёть въ нихъ куклы, раскрашенныя грубою

Мы не упоминаемъ имени Жуковскаго потому. что дъятельность этого поэта не относится исключительно къ двадцатымъ годамъ; она началась раньше этого времени около семпадцати лътъ и, къ славъ и чести русской литературы, не кончилась до сихъ поръ.

мазилкою и безобразно выръзанныя ножницами изъ оберточной бумаги?.. Конечио, первые романы г. Загоскина всегда будуть удостопваемы почетнаго упомпновенія отъ историка русской литературы, и никто не станеть отрицать ихъ относительнаго достопиства для времени, въ которое они явились, и даже ихъ болье или менье полезнаго вліянія на современную имъ русскую литературу: но изъ этого еще не следуетъ, чтобъ мы ихъ читали и перечитывали, какъ творенія всегда новыя, или чтобъ мы въ «Юріп Милославскомъ» и теперь видели верную картину Русскихъ 1612 года, а въ «Рославлевъ» — Русскихъ 1812 года... Подобныя мысли и двтнадцать льтъ тому назадъ едва ли кому входили въ голову: а теперь всякій видить въ этихъ романахъ не болье, какъ литературные (а отнюдь не художественные) очерки не Русскихъ 1612 и 1812 годовъ, а русскаго простонародья во вет годы, какіе вамъ угодно... Многое бываетъ хорошо для своего времени, и иное живетъ въкъ, иное десять льтъ, иное голъ, а иное одинъ день... Всё эти «Поёздки въ Германію», «Черныя Женщины», «Киргизъ-Кайсаки», «Коты Бурмосъки», «Семейства Холмскихъ» и тому подобныя произведенія не могли не нравиться въ свое время; но время это прошло, уже не воротится для нихъ, и теперь, еслибы кто сталь ими угощать публику, выхваляя ихъ достоинства, публика могла бы отвътить: «хороши были покойники — въчная имъ память; не будемъ тревожить ихъ праха...»

Отчего же, спросять, теперь не является такихь же болье пли менье удовлетворительных для нашего времени сочиненій, какія выходили тогда въ такомъ значительномъ числь? — Въ этомъ вопрось — вся сущность дъла. Мы сказали выше, что то время было временемъ опытовъ и попытокъ въ разныхъ родахъ. Теперь, это время миновалось: все уже испытано, и чтобъ проложить въ искусствъ новую дорогу, нуженъ геній,

A Company of the Comp

пли, по крайней мѣрѣ, великій талантъ, а геніи и великіе таданты не родятся десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться, напримъръ на поприщъ лирической поэзіи — за что вамъ приняться: за оды? — ихъ въкъ давно прошелъ; за элегін? - хорошо; но вы должны сказать въ нихъ что-нибудь новое. О грусти, разочарованій, идеалахъ, неземныхъ дѣвахъ, лунь, сладостной льни, разгульныхъ ппрахъ, шипучемъ винь, отчанній, непависти къ людямъ, погибшей юности, измънъ, кинжалахъ, ядахъ-обо всемъ этомъ уже было сказано и пересказано тысячу разъ- и въ изящныхъ созданіяхъ Пушкина, и толпою его подражателей. Теперь, уже васъ не стануть читать, если вы захотите удивлять размашистостію бойкой рразы, яркою звонкостію стиха, восторженными диопрамбами въ честь голубоокихъ младыхъ дёвъ и шумныхъ пировъ удалой юности, — потому что въ этомъ васъ предупредилъ г. Языковъ, и предупредилъ, какъ челов'якъ съ талантомъ, который шель своею дорогою, какая бы ни была она, и умъль быть оригинальнымъ, какова бы ни была эта оригинальность. Г. Языковъ, уже самымъ этимъ временнымъ уситхомъ своей ноззін, навсегда уничтожиль возможность такой поэзін: — въ этомъ-то и состоитъ его неотъемлемая заслуга русской литературъ и неотъемлемое право на мъсто въ исторіи русской литературы. Еслибъ неизбъжно было читать кого-нибудь изъ васъ, такъ ужь конечно его, а не васъ: оригиналы всегда предпочитаются копіямъ. Хотите ли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослепительно-вычурными фразами п натянуто-смълою метафорою: - васъ и тутъ предупредилъ г. Бенедиктовъ, и тоже предупредилъ, какъ человъкъ съ дарованіемъ, который самъ проложиль себѣ дорогу, какова бы она ни была, п былъ оригиналенъ, что бъ ни говорили о его оригинальности. Г. Бенедиктовъ темъ и оказалъ важную услугу русской литературъ, что самымъ успъхомъ своей поэзін сдъ-

лаль навсегда смъшною такую поэзію. Для этого, тоже нужень таланть! Геній или великій таланть уничтожаеть для другихь возможность проставиться на его счеть посредствомъ подражанія; а такіе маленькіе, хотя и яркіе и самобытные таланты. призванные показать примфръ уклоненія искусства отъ настоящей его цёли, спасають въ будущемъ искусство отъ этихъ уклоненій именно возможностію для другихъ подражать имъ въ ихъ ложномъ направленіи. Это заслуга отрицательная, но п для нея нужно имъть талантъ, нужно, чтобъ въ основъ такого ложнаго вдохновенія была своя истинная струя поэзіи, подобно золотымъ крупинкамъ въ массъ ръчнаго песка. Теперь, уже невозможны такіе поэты, какъ гг. Языковъ и Бенедиктовъ. пли, дучше сказать, невозможенъ сколько-нибудь значительный успыхь со стороны такихъ поэтовъ. Недавно, въ Москвы, нъкто г. Милькъевъ, о близкомъ пришествін котораго въ литературный міръ заранье трубили пріятельскіе журналы, какъ о чудь-чудномъ и дивъ-дивномъ, издалъ книжку стихотвореній. которыя, по формъ, показали въ немъ ученика гг. Языкова и Бенедиктова, а по содержанію ученика г. Хомякова; не чувствуя въ себъ довольно силы, чтобъ хоть сравняться съ своими образцами, не только превзойдти ихъ, а вмъсть съ тъмъ желая, во что бы ни стало, показаться оригинальнымъ, онъ не придумалъ инчего лучшаго, какъ превзойдти свой образецъ въ направленій своей поэзін, и, взявъ за основаніе неопредъленно и темно понятую мысль о народности, довести ее до последней нельшости. Для этого, онъ началь воспывать, восторженными стихами, русскую спвуху и доказывать, что Ломоносовъ оттого только и сдълался преобразователемъ русскаго слова, что имель несчастную страсть невоздержности, которую московскій ноэть поставиль ему въ великую заслугу... Вилите ли. какъ трудно теперь сдълаться поэтомъ на чужой счетъ, безъ таланта, безъ образованія, безъ идей, безъ призванія!... Пушкинъ, при жизии своей, не былъ понятъ: при началъ его поприща, имъ поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоивъ себь не тайну, не жизнь, а только легкость его стиха, --- при концъ его поприща, легкомысленно къ нему охладъли и считали себя выше его потому только, что не были въ состояніи понять его, указывая на его ошибки и промахи, дійствительно важные, и не умфя измфрить высоты, дъйствительпо педосягаемой, на которую сталъ его возмужавшій творческій геній. Но посмертныя его сочиненія, которыми онъ, при жизни своей, не торопился угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многимъ невольно открыли глаза на истинное значение Пушкина. Кратковременная, но изумительная своей огромностію двятельность Лермонтова на поэтпческомъ поприщъ окончательно лишила насъ надежды видъть частыя появленія новыхъ замвчательныхъ поэтовъ и новыя замъчательныя произведенія поэзіи: послъ Пушкина и Лермонтова, трудно быть не только замъчательнымъ, но и какимъ-нибудь поэтомъ! Мечъ и шлемъ Ахилла изъ встхъ греческихъ героевъ могли осноривать только Аяксъ и Одиссей. И теперь въ журналахъ издръдка появляются етнхотворенія, выходящія за черту посредственности; но когда въ томъ же нумеръ журнала находишь стихотворение Лермонтова, то не хочется и читать другихъ. Въ 1842 году, вышли стихотворенія г. Майкова; и тъ изъ нихъ, которыя имъ написаны въ антологическомъ родь, обнаруживаютъ талантъ необыкновенный: ихъ читали, ими восхищались, ихъ хвалили, за авторомъ безепорно осталось титло замъчательно даровитаго человъка, но уже не было преувеличенныхъ похвалъ и толковъ о геніяльности; поэть заняль свое мѣсто, очень почетное, но которое, однакожь, не показало его всъмъ на особенной высотъ, - но всъ поняли, что прекрасные опыты въ антологическомъ родъ еще не разгадка послъдияго слова современности и не удовлетвореніе всёхъ ея потребностей. Къ тому же, всё не антологическіе опыты г. Майкова почти ничтожны и не объщають въ будущемъ особеннаго развитія и особенныхъ усивховь со стороны поэта. А между тымъ, было время, когда люди, съ несравненно меньшимъ талантомъ, чымъ талантъ г. Майкова, считались едва не геніями, и стихотворенія ихъ были всёмъ извёстны. Непріятели «Отечественныхъ Записокъ» не разъ, ясно и намеками, старались внушить публикъ мысль, будто бы мы, для усивха нашего журнала, производимъ въ геніи поэтовъ, поміщающихъ свои произведенія въ нашемъ журналь. Здёсь мы считаемъ кстати, не словами, а фактами доказать несправедливость подобнаго обвиненія.

Напболъе превозносимые нами поэты, изъ новыхъ, — Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ и Гоголь. Изъ нихъ только одинь Лермонтовь быль постояннымь вкладчикомь «Отечественныхъ Записокъ»; Пушкинъ и Грибобдовъ ничего не могли печатать въ журналь, начавшемся посль ихъ смерти, а Гоголь хотя и живъ п ипшетъ, по досель не помъстиль въ «Отечественныхъ Запискахъ» ни одной строки своей. Мы хвалимъ gratis, и наша любовь, наше уважение къ великимъ умершимъ всегда были и будуть жарче и благоговъйнъе, чъмъ къ малымъ живымъ, хотя для нашего журпала последніе могли бъ быть полезиве первыхъ... Мы цвнимъ въ поэтв талантъ п геній независимо отъ его сотрудинчества или несотрудинчества въ нашемъ журналъ. Мы были бы въ восторгъ, еслибъ явился повый Лермонтовъ, и безъ умолка хвалили бы его, еслибъ онъ печаталъ свои стихи хотя бы даже въ «Маякъ». Но — увы! — несмотря на весь пыль нашихъ желаній прпвътствовать на Руси появление новаго великаго таланта, мы ин въ чужихъ, ни въ нашемъ журналѣ не видимъ не только новаго Лермонтова, но и что-инбудь похожее на него!...

Итакъ, о стихахъ нечего говорить. Настоящее время неилодородно и неудобио для нихъ, ибо требуетъ отъ стиховъ или очень многаго, или ничего.

До сихъ поръ, говоря о стихахъ, мы разумъли преимущественно лирическую поэзію. Обратимся къ тому роду поэзіи, который является въ стихахъ и въ прозъ. Назадъ тому лътъ десять, нъкто, г. Зиловъ, издалъ книжку басень, и нослъ, въ одномъ стихотвореніи, горько жаловался, что-де теперь читаютъ все неистовые романы, а басень не читатаютъ. Изъ этого видно, что г. Зиловъ только въ половину постигъ дъло; правда, для басни давно уже и безвозвратно прошло время, но г-ну Зилову слъдовало бы обратить вниманіе и на то, что его басни были плохи, и что ему не слъдовало бы съ такими баснями являться послъ Хемницера, Дмитріева и Крылова. Сказка въ родъ «Модной Жены» и «Причудницы» Дмитріева, и «Странствователя и Домосъда» Батюшкова, тоже давно отжила свой въкъ; но сказка въ родъ «Графа Нулина» Пушкипа и «Казначейши» Лермонтова можетъ здравствовать и теперь —

Да за нее не всякъ умъеть взяться!

Она въ особенности требуетъ юмора, а юморъ есть столько же умъ, сколько и талантъ. Однимъ словомъ, такая сказка и тенерь—претрудная вещь. Романъ въ родъ «Опътина», поэмы въ родъ поэмъ Пушкина и Лермонтова, могутъ быть и теперь; по ихъ всъ какъ-то боятся, и мы знаемъ только одинъ счастливый опытъ въ этомъ родъ, явившійся въ послъднее время, именно маленькую поэму «Парашу», вышедшую въ прошломъ году. Этотъ родъ поэзіп гораздо труднъе лирической, ибо требуетъ не ощущеній и чувствъ мимолетныхъ, которыя могутъ быть у мпогихъ, но и дара поэзіп, и образованнаго, уми аго взгляда на жизнь — что бываетъ очень не у многихъ. Писать же поэмы, какъ писали ихъ, напримъръ, Козловъ, г. Подолинскій и прочіе, и теперь бы могли многіє; даже, лътъ нять назадъ,

за нихъ принялся было поэтъ не безъ дарованія, г. Бернетъ. но попытка оказалась неудачною: новое время — новыя и требованія, болье трудныя для псполненія, чымь прежнія. Опять вина не поэтовъ, а времени, -- и ясно, что теперь нашу литературу объднило время, съ его неудобоиснолнимыми требовапіями, а не недостатокъ въ охотникахъ писать и въ такихъ талантахъ, какихъ довольно было во время оно... Драматическая поэзія допускаеть равно и стихи и прозу, даже то и другое вмъстъ. Въ числительномъ отношении, это у насъ самая богатая отрасль литературы. Еще въ 4786 — 4794 годахъ былъ изданъ «Россійскій Феатръ» въ сорока-трехъ частяхъ: судите же, какое богатство! Трагедін нисали у насъ и Тредьяковскій, и Ломоносовъ, и Сумароковъ, и Херасковъ, и Княжницъ, и Озеровъ, и Крюковскій, и многіе многіе; а писавшихъ комедін нътъ возможности перечесть на-скоро. И . однакожь, порядочныхъ трагедій въ исевдо-классическомъ французскомъ родь, только четыре—Озерова; трагедію, въ родѣ Шексипровскихъ драматическихъ хроникъ, мы имъемъ только одну-«Бориса Годунова» Пушкина; и въ его драматичестихъ сценахъ--- нѣсколько опытовъ трагедіп собственно («Пиръ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери». «Скупой Рыцарь», «Русалка», »Каменный Гость»). Больше не на что указать. Что касается до комедін, въ которой, съ большимъ или меньшимъ успехомъ, упражиялось множество писателей, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Княжпинъ, Капинстъ, Крыловъ, киязь Шаховской, гг. Загоскинъ. Хмъльницкій, Писаревъ и пр. и пр., — песмотря на огромное богатство нашей литературы въ произведенияхъ этого рода, все-таки рѣшительно не на что указать. кромѣ «Бригадира» п «Недоросля» Фонъ-Визина, «Горя отъ ума» Гриботдова, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя, и его же «Сценъ» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская» и пр.). И такъ, чтобъ написать теперь трагедію, которая была бы не хуже «Борнеа Годунова» и другихъ

драматическихъ опытовъ Пушкина, — надо имъть талантъ Пушкина. Нъкоторые писатели, дъйствительно, отважно ръшились допытываться своего счастія на этомъ треволненномъ морф. Г. Хомяковъ написаль драмы «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ», изъ которыхъ первая даже была поставлена на сцену. Но всъ скоро признали въ казакахъ г. Хомякова не казаковъ XVI стольтія, а скорте нъмецкихъ студентовъ добраго стараго времени; вмъсто характеровъ, увидъли олицетвореніе извъстныхъ лирическихъ ощущеній и чувствованій, и вообще пъчто въ родъ пародін на драматическій лиризмъ Шиллера, пародін, написанной, впрочемъ, бойкими, гладкими и даже, пногда живыми стихами. Въ «Самозванцъ» уже не только один лирическія ощущенія и чувствованія, но и кое-какія доморощенныя идеи о русской исторіи и русской народности; стихи такъ же хороши, какъ и въ «Ермакъ», мъстами довольно удачная поддълка подъ русскую ръчь, и при этомъ, совершенное отсутствіе всякаго драматизма; характеры-сочиненные по реценту; герой драмы — идеальный студентъ на нъмецкую стать; тонъ дётскій, взгляды невысокіе, недостатокъ такта дёйствительности совершенный... Потомъ, выступилъ на драматическое поприще г. Кукольникъ, съ своими драмами изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Отвлеченная идеальность, мъстами хорошія лирическія выходки; изр'єдка недурныя драматическія положенія; но въ общности, невърность концепціи, монотонность вымысла и формы, недостатокъ истиннаго драматизма, и въ слъдствіе того, непобъдимая скука при чтенін-вотъ характеристика этихъ драмъ г. Кукольника. Но у него есть еще и другой родъ драмъ — это русско-историческія, какъ, наприм., «Рука Всевышияго отечество спасла», «Скопинъ Шуйскій» и «Князь Холмскій». Въ этихъ пътъ ничего общаго съ «Борисомъ Годуновымъ», который до того проникнутъ вездъ истинио Шекспировскою върностію исторической действительности, что

самые недостатки его, - какъ то: отсутствіе драматическаго движенія, преобладаніе эпическаго элемента, и, вслёдствіе этого-какое-то холодное, хотя и величавое спокойствіе, разлитое во всей піесъ, происходять оттого, что она слишкомь безукоризненно вфриа исторической дъйствительности русской жизни. Въ драмахъ г. Кукольника ивтъ и признаковъ этой дъйствительности: все ложно, на ходуляхъ; лучшія мъста просто сценическіе эффекты, и сквозь русскіе охабин, кафтаны и сарафаны пробивается что-то не русское, какъ въ русско-историческихъ новъстяхъ Марлинскаго, какъ въ русскихъ иъсняхъ Дельвига. Доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можеть служить и то, что этоть родь драмы ловко быль усвоень гг. Ободовскимъ, Полевымъ, В. Зотовымъ и другими сочинителями этого разряда. Но у г. Кукольника есть еще особый родъ драмы — это передъланные въ драматическую форму анекдоты изъ жизци Петра Великаго (напр. «Пванъ Рябовъ, рыбакъ архангелогородскій»); въ нихъ много хорошаго, хоть и нътъ драмы, пбо изъ анекдота никакъ нельзя сделать драму. Г. Полевой не унустиль изъ вида отличиться и въ драмъ, какъ отличился уже въ лирической поэзін, въ романь, въ повъсти, въ критикъ, въ исторіи, въ журналистикъ, въ политической экономін, въ эстетикъ, въ филологіи, въ философіи, въ лингвистикъ и проч. и проч. Особенный характеръ трагедій (или «драматическихъ представленій»), комедій, водевилей, анекдотическихъ драмъ г. Полеваго, — всеобъемлемость, универсальность; въ нихъ все найдете: немножко Шекспира, немножко Шиллера, пемножко Мольера, немножко Вальтеръ Скотта, немножко Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена. Дюма гдъ-то сказаль, что онь не похищаеть чужаго въ своихъ сочиненияхъ, но, подобно Шекспиру и Мольеру, беретъ свое, гдт только увидитъ его; эти слова можно приложить и къ г. Полевому: ему все годится, все подручно, - и исторія, и повъсть, и романь,

п анекдотъ, Шексппръ п Коцебу, Шиллеръ п г. Кукольникъ: онъ все беретъ и у всъхъ учится. Его драмы родятся и умираютъ десятками, подобно лътнимъ эфемеридамъ. Нашъ Вольтеръ п Гёте, онъ все; онъ одинъ — цълая литература, цълая наука. Извольте же угоняться за нимъ! пріймитесь за драму: онъ взялъ или возьметъ всевозможные сюжеты, какіе бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектами — все вибстить онь въ свою драму, во всемъ предупредитъ васъ. Нътъ, лучше и не беритесь за драму: кромъ г. Полеваго, вамъ загораживаютъ дорогу гг. Хомяковъ и Кукольникъ. Вамъ поневолъ прійдется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому что уже всъ источники изобрътенія истощены, вст роды перепробованы, вст дороги избиты. Нуженъ геній, нуженъ великій талантъ, чтобъ показать міру творческое произведеніе, простое и прекрасное, взятое изъ вежмъ извъстной дъйствительности, но въющее новымъ духомъ, новою жизнью. Еслибъ вы даже вздумали сочинить произведеніе въ род'в «Разбойниковъ» Шиллера: васъ и тутъ предупредилъ, еще въ 1800 году, Наръжный, своимъ «Динтріемъ Самозванцемъ». Не иншите и романтической трагедін съ дико-завывающими фразами, бъдными смысломъ, но бо гатыми неистовствомъ, съ сюжетомъ заимствованнымъ изъ поэмы Байрона: васъ уже предупредилъ г. Олинъ своимъ «Корсаромъ». Да; теперь потому ничего не пишутъ, что уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не генія!...

Комедія еще болбе приводить въ отчаније, нежели драма. Въ драмь, посредственность можетъ похитить что нибудь у Шекспира, Вальтеръ Скотта, Мольера, подняться на дыбы, ослбиить толиу диквии и грубыми эффектами, пъніемъ, пляскою, родственными обнимаціями и т. и.; но въ комедіи совствиъ

не то. Искусство смѣшить труднѣе искусства трогать. Неразвитаго человака можно растрогать поддальною чувствительностью, крикомъ вийсто чувства, эффектомъ вийсто потрясающей сцены; но чтобъ заставить разембяться, даже грубымъ смъхомъ, нужна природная веселость и своего рода юморъ. Скажуть: толцу можно смішить, въ сценическихъ піесахъ, переодіваньями, оплеухами, толчками, потасовкою, неприличными и грубыми двусмысленностями, илоскими шутками и тому подобными комическими эффектами. Такъ и делаетъ большая часть доморощенных в наших в драматурговъ, сочинителей и передълывателей комедій и водевилей: верхиня публика громко хохочеть, нижняя апплодируеть; но это обмань сцены: ловкую игру актёра принимають за достоинство піесы, которая, по своему позабавивъ одинъ вечеръ толпу, на другой вечеръ уже не нравится самой этой толить, а въ чтенін никуда не годится съ перваго раза. Если на минуту она была пріобрътеніемъ сцены, то ин на одну минуту не составляла пріобрѣтенія для литературы. Такія піесы десятками родятся сегодня и десятками умираютъ завтра. Водевилистовъ и комиковъ нашихъ въ недълю не неречтешь по нальцамъ; ихъ произведеніямъ нѣтъ числа, а драматической литературы изтъ у насъ! Ни одинъ петербургскій чиновинкъ, получающій до 1,000 рублей жалованья и поработавшій въ какой нибудь газеть, по части объявленій о сигарочныхъ и овощныхъ лавочкахъ, не затруднится написать комедію, изображающую высшій свъть, котораго онь, бъдиякъ, и во сит не видалъ и о топъ котораго онъ судитъ по манерамъ своего начальника отдъленія. Комедія требуетъ глубокаго, остраго взглида въ основы общественной морали, и притомъ надо, чтобъ наблюдающій ихъ юмористически, своимъ разуминіемъ стоялъ выше ихъ. Наши же доморощенные драматурги, — по большой части, люди среднихъ кружковъ, въ которыхъ съ успъхомъ отличаются своею любезностью и остроуміемъ, — стараются, въ своихъ комедіяхъ и водевиляхъ, быть «критиканами» (критиканъ — тривіяльное слово, равнозначительное зубоскалу) и возбуждать смёхь или пошлыми каламбурами, или илоскими остротами надъ модиыми костюмами, бородами и прическами à la russe, надъ простотою провинціяла, пріфхавшаго въ Петербургъ, словомъ, надъ всякою странною вившиостью. Не таковъ истипный комизмъ и истинный юморъ. Для него, вившность смвшна не сама по себв, но какъ выражение внутренняго міра души человѣка, отраженіе его понятій и чувствъ. Мы могли бы привести изъ комедій Гоголя тысячи примъровъ истиннаго комизма, но ограничимся двумя: вспомните сцену, гдъ городничій распекаетъ купцовъ за ихъ доносъ ревизору: «Жаловаться? а кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячь, тогда какъ его п на сто рублей не было? Я помогъ тебъ, козлиная борода! Ты позабыль это. Я, ноказавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Спбпрь... Что скажень, а?»... Вотъ это комизмъ, отъ котораго какъто тяжело смъешься! Человъкъ, безъ стыда, безъ совъсти, ставить себъ въ заслугу, что онъ помогъ другому силутовать, н, словно оскорбленная добродътель, съ благороднымъ негодованіемъ упрекаетъ другаго въ неблагодарности, какъ въ черномъ и низкомъ дълъ. Это онъ говоритъ при женъ и дочери, и это же онъ сказаль бы при сынь, еслибь у него быль сынъ. Фамусовъ, въ «Горе отъ Ума» говоритъ Скалозубу:

Нътъ! я передъ родней, гдъ встрътися, ползкомъ,
Сыщу ее на диъ морскомъ!
При миъ служащие чужие очень ръдки:
Все больше сестрины, своячиницы дътки.
Одинъ Молчалинъ миъ не свой
И то затъмъ, что дъловой.
Какъ станешь представлять къ крестишку, плъ къ мъстечку,
Ну какъ не порадъть родному человъчку?

Черта глубоко комическая! Въ Петербургъ, слава Богу, эта черта не слишкомъ бросается въ глаза, но въ провинціяльной глуши, принципъ родства такъ силенъ, что тамъ скоръе ръшатся десять льтъ сряду не пграть въ преферансъ, чемъ показать холодность къ родственнику въ семьдесять седьмомъ кольив. Будь онъ плуть отъявленный и человъкъ съ самою дурною репутацією, но если онъ вамъ родственникъ, онъ, отъ роду не видавъ васъ, нетолько льзетъ съ своими губами къ вашему лицу, но и селится въ вашемъ домѣ, съ семьею, съ дворнею, и заставляеть вась втайнь проклинать судьбу, которая дала вамъ возможность имъть собственный домъ. И онъ правъ: не останавливаться же ему въ трактирѣ, пріѣхавъ изъ своего помъстья въ губернскій городъ, когда у него есть родственники; въдь они же обидълись бы такимъ грубымъ съ его стороны поступкомъ!... И что же? здъсь еще не конецъ смъшному: они дъйствительно обидълись бы, если бъ онъ остановился не у нихъ, и они же проклинали бы втайнъ и его и себя, а наружно дѣлали бы сладкія мины сквозь слезы, еслибъ онъ у нихъ остановился... Вотъ онъ, неизчернаемый источникъ истиннаго комизма! Онъ вокругъ насъ и даже въ самихъ насъ. Благодаря ему, мы смъшны въ собственныхъ глазахъ. Но чуть только начиемъ мы писать комедію, выходитъ книга. въ которой много словь, много пошлостей, много вздора, и нътъ ни сколько истины, дъйствительности. Интрига всегда завязана на пряничной любви, увънчивающейся законнымъ бракомъ, по преодольній разныхъ препятствій. Любовь у насъ во всемь—и въ стихахъ, и въ романахъ, и въ повъстяхъ, и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Подумаешь, что на Руси люди только и дълають, что влюбляются, да, по преодолжній разныхъ препятствій, женятся. — п. замѣтьте, всегда безкорыстно, безъ разечетовъ на приданое, на связи, на выгодное мёсто, всегда на дёвё идеальной, дочери бёдныхъ, но благородныхъ родителей. Гоголь сказалъ правду: «Теперь сильнъе завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другаго, отметить за пренебреженье, за насмъшку. Не болье ли имъютъ теперь электричества денежный капиталь, выгодиая женитьба, чёмъ любовь?» Но нашимъ компкамъ этого и въ голову не входило. Пошлый любовникъ съ пряничными фразами; пошлая барышня, нтчто въ родъ сантиментальной servante endimanchée, разлучникъ негодяй и дядя резонёръ — неизмънныя лица ихъ комедій. Вет говорять, словно по книгт читають; не услышишь живаго слова, и пътъ признака того, что бываетъ въ дъйствительности. Оно и лучше: никто не узнаетъ себя и не осердится. Волки сыты и овцы целы. Зато, если среди кучи этихъ вздорныхъ произведеній, появится водевильчикъ со смысломъ и хоть съ легонькимъ намекомъ на то, что въ самомъ дълъ бываетъ, хоть съ искрою истины и втрности дъйствительности, — Боже мой! сколько шума, какой тріумфъ! Словно появилось вѣковое произведение!... Такое событие совершилось недавно, - и въ одной газеть авторъ хорошенькаго водевильчика приглашался передълать драматическія сочиненія Гоголя, чтобъ сділать ихъ спосными!... Мы совътовали бы сочинителямъ оставить Гоголя въ поков и прінскать себв какого-пибудь водевилиста, который бы исправиль и сдълаль сколько-нибудь сносными ихъ собственныя, изъ чужихъ лоскутьевъ сшитыя «драматическія представленія».

И вотъ, мы перебрали вст роды поэзіи, чтобъ показать, что теперь ни въ одномъ пттъ возможности съ уситхомъ дтйствовать не только бездарности, посредственности, но и людямъ не безъ таланта. Бъдность современной литературы происходитъ оттого, что все перепробовано, и новизною уже нельзя блеснуть какъ талантомъ. Это бъдность честная, благородиая, которая въ тысячу разъ лучше мнимаго богатства. Это

успъхъ, а не наденіе, огромный шагъ впередъ, а не назадъ. Теперь уже запертъ путь къ извъстности и знаменитостя всякому, у кого/ивтъ большаго таланта. Вслъдствіе этого, безталантность, посредственность и мелкія дарованія, которыхъ еще больше на бъломъ свътъ, чъмъ людей совершенно бездарныхъ, принялись за свое дъло, на которое назначены они природою и судьбою: они составляютъ историческія компиляціи и статейки о нравахъ для политипажныхъ изданій. Когда картинки плохи, текстъ читается столько внимательно, сколько это нужно для объясненія картинокъ; когда картинки хороши (какъ напримъръ, картинки г. Тимма), текстъ вовсе не читается; но сочинители отъ этого инчего не теряютъ: ихъ книги покунаются для картинокъ, и читатели не въ претензіи за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительнъе восхищаться хорошими бартинками, чёмъ пустыми книгами...

Время дътскихъ восторговъ прошло и настаетъ время мысли. Публика сдълалась требовательные. Правда, она сама не отдала себь отчета въ томъ, чего требуетъ, но уже не удовлетворяется всемъ, чемъ ни ноподчуетъ ее досужая деятельность писакъ. Время сознанія еще не настало, но уже близко начало этого сознанія. Пышные возгласы и великольпныя фразы ужь всёмъ кажутся пошлыми, и ими ужь шпкого нельзя запитересовать. Никто не станетъ сомивваться въ существовании русской литературы; но всякій имбеть право требовать настоящаго взгляда на ея объемъ и степень ея важности, и всякій пмѣетъ право смъяться, при пышныхъ сравненіяхъ ся съ иностранными литературами. Что у насъ есть литература, для этого достаточно знать, что у насъ есть Пушкинъ, и что мы, кромъ Пушкина, съ гордостію можемъ указать еще на нѣсколько именъ. Наша литература имћетъ и свою исторію, потому что већ замъчательныя ея явленія исторически послъдовательны и одип факты объясилются другими, предшествовавшими. Все это такъ;

TO THE STATE OF THE PARTY OF TH

но вивств съ этимъ, мы не должны забывать, что наша литература вначаль была пересаженнымъ цвъткомъ, жизненность котораго долго поддерживалась искуственно, за стеклами теплицы. Очень и очень недавио начала она пускать корип въ русскую почву. И какъ еще досель тъсна эта почва! Гдъ та сплоченная масса, изъ жизни которой, какъ цвътокъ изъ почки, возникла бы наша поэзія, и обратно двйствовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношение имъетъ наша современная поэзія съ поэзіею народною? Онт не только не родня одна другой — даже незнакомы другь съ другомъ. Прочтите піесу Пункина не только мужику, но хоть иному и купцу первой гильдін: что онъ о ней скажеть?... Гдв наша публика, которая, силою своего мижнія, уронила бы безстыдно-торговый журналь, или покрайней мфрф ограничила бы его дерзость и паглость? Она на многое сердится, многимъ недовольна, но чъмъ именно, этого она сама не знаетъ, потому что она -- не силошная масса, а собраніе людей различныхъ состояній, круговъ, требованій, понятій, привычекъ, собраніе людей, не связанныхъ между собою единствомъ мивнія. Выходятъ «Мертвыя Души»: большинство публики ими недовольно, охотно соглашается съ журнальною бранью враговъ автора, — и въ то же время читаеть, перечитываеть и въ короткое время раскупаетъ двойное изданіе (2.400 экземпляровъ) «Мертвыхъ Душъ». Это фактъ, и очень многозначительный! Для удовлетворенія своей жажды къ чтенію (а жажды къ чтенію въ ней нельзя отрицать) она ищетъ все новаго, большею частію забывая старое. Попробуйте сказать слово, что въ Ломоносовъ, Державнить, Караманить есть не только достопиства, но и недостатки, и что, писатели прошлой эпохи, они для насъ уже далеко не то, чёмъ были для нашихъ отцовъ и дедовъ, — и тотчась же многіе закричать, что у вась піть уваженія къ заслуженнымъ авторитетамъ, что вы нагло топчете въ грязь

великія имена и т. п. И въ публикъ сейчасъ же раздадутся голоса: «да, да, въ самомъ дълъ! какъ это можно, на что это похоже!» И, вы думаете, это говорятъ люди, изучившіе Ломоносова, Державина, Карамзина? Нисколько; они даже и не читали этихъ писателей, но они привыкли по наслышкъ уважать эти имена. Оттого-то инымъ и легко ихъ увърять въ чемъ угодно, и заставлять смотръть на дъльную критику, которая силится показать истинное значеніе писателя, какъ на злонамъренную брань.

Та же незрълость и шаткость и въ нашей литературъ. У насъ есть поборники европензма, есть славянофилы и др. Ихъ называють литературными партіями. Смішное названіе! Всякія партіп иміноть свои кории въ обществі и бывають отголосками или выраженіемъ различій и противорьчій общественнаго миьнія. Наши же партіп составляются наъ литературныхъ кружковъ, изъ которыхъ въ каждомъ случайно набралось человъкъ десятокъ, сошедшихся на вечеръ, за чаемъ, въ нъкоторыхъ невинцыхъ литературныхъ мижніяхъ и вкусахъ. И эти-то кружки называють себя «партіями». Въ добрый часъ! Чамъ бы дитя ни тъшилось, лишь бы не плакало! Литераторство у насъ — дело между другими важивишими делами, отдыхъ отъ служебныхъ занятій, а чаще всего оно имжетъ простое значеніе лишнихъ полутора или двухъ тысячь рублей въ годъ, въ добавокъ къ жалованью. Много ли у насъ литераторовъ, которые посвятили себя одной литературъ, но призванию, по страсти къ ней? У насъ уже понимають, что занатіе литературою между прочимъ-дёло очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При такомъ направленіи публики, странно было бы требовать литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны, и литература наша только въ немногихъ своихъ исключеніяхъ выше этой публики; но, взятая вообще, совер-

шенно по плечу ей. Наши литераторы большею частію не артисты, а дилеттанты, которые между дёломъ и бездёльемъ, политывають и пописывають. Они убъждены, что можно прежде всего дълать что-нибудь, хоть спекуляціп, а потомъ, въ свободное отъ главныхъ занятій время, почему и не написать чего-нибудь — вёдь оно же и выгодно, между прочимъ. Они убъждены, что если кто написаль въ жизнь свою три порядочиые романа. то уже великій инсатель; а кто настрочиль десятокъ фельетоновъ — тотъ уже знаменитый литераторъ. Дватри стихотворенія дають у нась право на изв'єстность; водевиль отворяетъ ворота въ храмъ славы. Оттого, при всей бъдности нашей литературы, у насъ литераторовъ бездна. Особенно богатъ ими Петербургъ. Затъйте повый журналъ, новую газету, или, какъ теперь это болье въ ходу, воскресите старый журналь или газету, — вы ин за милліоны не найдете издателя, который даль бы повому изданію направленіе. жизнь и ходъ; за то, сотрудниковъ и особенно переводчиковъ не оберетесь. Даже не нужно пскать и звать ихъ-сами прійдутъ. Сто или двъсти изъ инхъ, принесутъ вамъ, на первый случай, по сотив стихотвореній, въ которыхъ нътъ ин поэзін, ни смысла; пятьдесять принесуть объщаніе — къ такомуто числу представить по пов'ясти, и, при сей върной оказіи. спросять вась, по-чемь вы нлатите съ листа; десять принесуть вамь, въ самомъ деле, по повести, исполненной канцелярскаго юмора и чиновнической проніи, или высокаго трагическаго навоса à la Марлинскій, — что однако не снабдить васъ матеріяломъ для вашего журнала. Что касается до критики п библіографіи, - въ Петербургь столько критиковъ и библіографовъ, что, при ихъ помощи, вамъ легко было бы падавать сто толстыхъ и тысячу тонкихъ журналовъ. И не мудрено: въдь въ Петербургъ родился тотъ знаменитый Иванъ Александровичь Хлестаковъ, который сочиниль и «Сумбеку», и «Фенеллу»,

и «Юрія Милославскаго», издаваль «Библіотеку для Чтенія» и всъ журналы, издававшіеся въ Петербургъ... Критика у насъ считается самымъ легкимъ ремесломъ; за нее берутся вст съ особенной охотой, и редко кому входитъ въ голову, что для критики нужно имъть талантъ, вкусъ, познанія, начитанность, нужно умить владить языкомъ. Большая часть, напротивъ, думаетъ, что для этого нужно только знать, что всф наши — геніи и таланты, а всъ не наши — люди не безъ таланта, если они намъ не мъшаютъ, и люди бездарные, если мешають. Теорія, какъ видите, самая простая, и чтобъ понять ее съ разу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, пивть мивніе, взглядь, убъжденіе. И потому, ність ничего обыкновенные, какъ услышать жалобы, въ рода слыдующихъ: «Скажите, пожалуйста, за что онъ (пиярекъ) разбраниль мой романь, мою повъсть, драму, водевиль, журналь или книгу? Что я ему сделаль? Вёдь мы съ инмъ нишемъ въ разныхъ родахъ, или въ разныхъ журналахъ, и помещать другъ другу не можемъ?» Почти никому въ голову не входитъ, что можно, безъ всякихъ личныхъ отношеній къ человѣку, и даже зная его съ хорошей стороны, уважая его характеръ и серяце, не любить его взгляда на тотъ или другой предметъ и энергически противодъйствовать этому взгляду, такъ же, какъ можно, любя и уважая человіка, не уважать его сочиненій, какъ оскорбляющихъ вкусъ и умъ. Значитъ: понимаютъ энергію антипатін за сопершичество по деньгамъ, по самолюбію, по навъстности и другимъ мелкимъ страстишкамъ и пристрастьишкамъ; но не понимаютъ энергіп антинатін къ тому, что кажется ошибочнымъ мивніемъ, ложнымъ убъжденіемъ, умышленнымъ или неумышленнымъ заблужденіемъ, безвкусіемъ, бездарностію. Кто-пибудь издаль плохой романь, въ которомь удачно польстиль грубому вкусу большинства и чрезъ то пріобрель большой успехь. — а вы написали критику, въ которой

показали въ истинномъ свътъ незаконное чадо площадной фантазін: вы завистникъ, ноо вамъ никто не повъритъ, чтобъ можно было разсердиться на книгу, которая до васъ не касается; но вст повтрять, что можно избтепться на чужой успъхъ... И такіе-то «нравы» существують между классомъ такъ называемыхъ литераторовъ!... Оттого, наши критики не занимаются старыми писателями, отъ которыхъ имъ уже ни пользы, ни потери быть не можеть. Сегодия умерь писатель, хотя бы великій, и завтра уже нечего толковать о немь. исключая развъ случая, если его сочиненія издаются и расходъ ихъ можетъ повредить расходу сочиненій критика, или его пріятелей. Безъ этого случая, критики наши говорять только о современныхъ явленіяхъ, какъ бы они ни были инчтожны, особенно если эти сочиненія — ихъ собственныя. За то, какъ тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убъжденіемъ, и неотабляющаго вопросовъ объ искусствъ и литературъ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цъль его нравственнаго существованія!... И темъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мивнія, которое защищаль съ жаромь и съ энергіею, но которое, въ процессъ своего безпрерывно двужущагося сознанія, онъ уже не можетъ болъе признавать за справедливое!... Не смотрятъ на то, что перемина мийнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довъряли его авторитету, — не говоря уже о томъ, что отръчься отъ своего мивнія, значить — признаться въ ошибкъ, а это не совстмъ лестно для человъческаго самолюбія, которое всегда наклонно поддерживать, что дважды-два — пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогр ${ t t}$ шительным ${ t t}$. Aимъть свой взглядъ, свое убъждение, судить на какихъ-нибудь

основаніяхъ, а не по голосу толпы-да это значить ни больше, ни меньше, какъ прослыть человъкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ. Вздумайте писать не отрывочныя фразы, но большія и дельныя статьи, которыя бы стояли вамъ много труда п размышленія, напримітрь, о Державині, Жуковскомь, Батюшковъ. Пушкинъ, Лермонтовъ, — и на васъ польется проливной дождь брани. Нужды нътъ, что вы говорите съ доказательствами, съ доводами; пусть въ вашихъ статьяхъ видны будутъ любовь и уважение къ разбираемымъ вами писателямъ, — сейчасъ найдутся люди, которые закричатъ въ одинъ голосъ: «ложь, пристрастіе, неуваженіе къ великимъ именамъ, дерзкое презрѣніе къ признаннымъ всѣми авторитетамъ!» II тщетно стали бы вы говорить, въ отвътъ на эти брани, что вы отиюдь не признаёте себя непограшительныма и очень хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всемъ людямъ, но желаете, чтобъ вамъ доказали вашу ошибку и показали, въ чемъ именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желаніе, ваше справедливое требованіе никогда не будуть выполнены, потому что противники ваши находятъ свои причины видъть ваши митнія ложными и пристрастными, но не находять въ себъ ни силъ, ни умінья, слідовательно, и ни охоты доказать справедливость своего обвиненія противъ васъ. А что же делаетъ въ это время публика? Большая часть ея всегда охотите присоединяется къ этимъ крикунамъ, ибо если и большая часть нашихъ литераторовъ, заправляющихъ митніемъ публики, подъ «критикою» разумьють орань, а слово «критиковать» объясняють словомь «ругать», то какъ же иначе стало бы понимать критику большинство, толпа? У насъ ужь такъ пзстари ведется: если кого хвалить, такъ ужь все надо находить безусловно хорошимъ и позволяется слегка замётить что-нибудь, развё только о неисправности изданія, опечатки и т. п.; а если кого бранить, тэкъ ужь бей съ плеча! Поэтому, критики съ самостоятель-9. VIII.

нымъ взглядомъ у пасъ всегда пграли очень непріятную роль. Для доказательства этого, предлагаемъ здѣсь на выдержку нѣсколько строкъ Мерзлякова, выписанныхъ иами изъ «Вѣстника Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224—227):

• Можетъ быть иткоторые скажутт, что у насъ литература еще не весьма богата, и не можетъ удовлетворить встиъ требованіямъ общества; что критика еще не найдеть обпльнаго для себя поля, и что ею заниматься рано. Но правда ли, что мы такъ бълцы? Для чего обижать самимъ себя! Мы уже имбомъ превосходныхъ писателей почти во всёхъ родахъ словесности. Одинъ Державинь представляеть огромнъйшій, разнообразный садь для ума и вкуса разборчиваго! Кому непріятно внимать величественной лир'ї Ломоносова? Кто откажется слъдовать за Богдановичень въ очаровательные чертоги Амура? пли, оживясь натріотизмомъ, стремиться на крылахъ пламенныхъ за важнымъ Херасковымъ подъ твердыни казанскія, къ грознымъ пожарамъ Чесмы! Но на что, возразять, касаться сихь почтенныхь имень? Онв уже освящены общинъ мибијемъ! - Странное благоговћије къ мужанъ велекимъ, - думать, что мы дваземь имь честь, когда не смвемь заглянуть въ ихъ сочиненія, не сивечь свазать объ нихъ ни слова! Такого рода уважение похоже на набожпость Китайцевь, благогов вющих передъ старыми своими кингами, которыя, будучи неприступны для ума просв'ященнаго, остаются корыстію мышей и времени! И у насъ есть Китайцы въ семъ смыслъ! Для чего жь и для кого трудились сін великіе писатели? Хотвли зь они быть полезными будущему поколънію? Если хотъли, то дали право разбирать свои сочиненія! И кого жь другаго почтить разборомъ, какъ не ихъ? Только твердые камии полируются; слабые и легкіе не стоять и не выносять полировки.

«Страиное мивийе имбемъ мы о критикв! Дитя не смотрить только на подаренныя ему куклы, но ихъ раскладываеть, даеть имъ мёста, разговариваеть
съ ними; хорошій библіотекарь не кидаеть книгь въ кучу, но даеть имъ норядокъ, знаеть каждой цену и достоинство; садовникъ также ноступаеть съ
своими любимыми цвътами и деревьями; онъ пользуется отъ трудовъ своихъ
Ночему же мы, имбя такія сокровища на языкъ россійскомъ, хотимъ знать
ихъ только по имени, пли, что еще хуже, новторять объ нихъ чужія мысли,
часто невърцыя? для чего самому не набъть своего мивнія, самому не наслаждаться? Мив докажуть, что мивнія мон ложны—отетунаюсь; но я человъкъ и
имбю право — мыслить. Но у ийся мало писателей! И такъ, хотите ле,
чтобъ ихъ число умножаюсь? Будьте къ инмъ винмательнъе, пли то же, разбирайте ихъ; отъ этого они умножаются и скоръв достигають совершенства.

Умножаются, —почему? Винманіе публики возбуждаеть соревнованіе. Увидъвъ, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидъвъ,
сколь почтенно выйдти изъ обмкновеннаго круга людей, всякой захочеть испы-

тать силы свои па столь блистательномъ поприщѣ. Покажите важность искусства: атлеты не замедлять явиться. Я сказаль: скорпье достигають со-сершенства; инсатель не достигнеть его, если публика не въ сплахъ, или не хочеть судить объ немь; нбо въ рукахъ публики—его награды, она раздражаеть его честолюбіе, и возбуждаеть къ великимъ усиліямъ. Равиодушіе наше—убійство словесности. Публика и писатель другъ друга награждають: писатель даеть ей ницу; она его образуеть; одинъ доставляеть ей удовольствіе, другая въичаеть его славою! Свидътели той и другой истины — всъ просвъщенныя государства Евроны. Ни въ какое время не было у нихъ столько хорошихъ писателей, какъ при царствованіи критики».

Итакъ, на что жаловался умный литераторъ и что силился онъ растолковать назадъ тому ровно тридцать лѣтъ, на это же можно жаловаться и это же должно объясиять — теперы!... Вотъ какъ быстро и шибко подвигается впередъ наше литературное образованіе!... Сказано, что Державниъ великъ: такъ зачить намъзнать, какъ, чёмъ и почему онъвеликъ; а если онь великь, какіе же у него могуть быть недостатки? Чтобь узнать, почему онъ великъ и какіе въ немъ есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о немъ; а чтобъ знать, что онь великъ и никакихъ недостатковъ не имбетъ, для этого не пужно прочесть ни одной его оды, что въдь гораздо легче! Такъ думають, хотя и не такъ говорять. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомерь и Шекспирь в несравненно выше Державина, однакожь и они, оставаясь попрежнему великими геніями, все-таки для насъ не то, чёмъ были въ свое время, поо жизнь неистощима въ проявленияхъ творческой сиды, и всякое время должно нийть свою поэзію, соотвітствующую требованіямъ этого времени. Васъ не будутъ слушать, ибо требують словь, а не идей, дътскихь споровь за имена, а не объясненія значеній этихъ именъ. «Какъ!» кричатъ вамъ: «пересчитывая знаменитыхъ нашихъ писателей, вы имя Жуковскаго ноставили послъ имени Батюшкова; — конечно, Батюшковъ быль человькъ съ талантомъ, но все же нельзя его равнять съ Жуковскимъ!» Или: «вы Пушкина поставили на одну

доску съ Баратынскимъ!» При этихъ крикахъ, остается только заткнуть уши; вы видите, что васъ не поняли, вашимъ словамъ придали дътское значение, о которомъ вы и не думали, - и вамъ невольно становится стыдно собственныхъ своихъ словъ, и вы лучше хотите, чтобъ вамъ приписывали какія угодно нелъпости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, напримъръ, сказали, что есть два рода великихъ поэтовъ: одни, съ печатью олимпійскаго происхожденія на чель, изображають мірь какъ онъ есть, принимая его дъйствительное состояніе, во всякій данный моментъ, за непреложно-разумное: и таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ — Шекспиръ, и къ такому разряду поэтовъ принадлежитъ нашъ Пушкинъ; другіе, недовольные уже совершившимся цикломъ жизни, носятъ въ душт своей предчувствие ея будущаго идеала: таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ—Байронъ, и къ такому разряду принадлежить нашь Лермонтовь. Вы сказали это для того, чтобъ обозначить характеръ и духъ поэзіи Пушкина и поэзіп Лермонтова, попимая всю неизмъримость разстоянія, разділяющаго великаго міроваго поэта Шекспира отъ великаго русскаго поэта Пушкина, и громаднаго Байрона отъ безвременно погибшаго юноши; а вамъ кричатъ: «О-го! вотъ какъ! Пушкинъ наравнъ съ Шекспиромъ, Пушкинъ — Шекспиръ, а Лермонтовъ-Байронъ!»... Что тутъ говорить! Все важное такъ легко сделать смешнымъ въ глазахъ толиы, которая не вникаетъ въ дёло и увлекается плоскою шуткою... Вотъ еще примъръ дътскости понятій въ русской литературъ о критикъ: сколько литераторовъ, сколько критиковъ писало, нишетъ и, въроятно, еще долго будетъ писать, что дело критика — гладить по головкъ всякаго писаку, въ надеждъ, что авось-либо выйдетъ изъ него геній или талантъ, что строгая критика можетъ убить возникающій талантъ, а о талантъ-де нельзя судить по первому произведенію. Напрасно станете вы

возражать на это, что истиннаго призванія не убьеть никакая критика—ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность, и что не стоить жальть о таланть, струсившемь, по самолюбію, перваго суроваго приговора критики, пбо дороги таланты, а не талантики...

Но не будемъ вдаваться къ крайности. Смѣшно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая такъ смъло мърялась силами съ любою европейскою литературою, и на французскую даже смотрѣла съ презрѣніемъ, живя и дыша, въ то же время, займами у нея; также смъшно можеть быть и отчаяние за русскую литературу. Будемъ смотръть на то, что есть, смъло, не прикрашивая дъйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотръть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного, — это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать того, что имъемъ, но не будемъ п отказываться отъ того, что есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь ста-четырехъ лѣтъ мы имъемъ даже много, если не будемъ считаться, словно съ ровнями, съ европейскими литературами, которыя развились въками. Но важите всего то, что наша юпая, возникающая литература, какъ мы замътили выше, имъетъ уже свою исторію, ибо вст ея явленія ттено сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и вст находятся въ болте или менте жи вомъ, органически послъдовательномъ соотношении между собою.

Бъдность русской литературы въ настоящее время—также необходимое слъдствие историческаго развития и хода ея вообще. Мы уже говорили объ этомъ; но намъ еще остается сказать кое-что. Мы съ особенною подробностью развили ту мысль, что всъ роды попытокъ и опытовъ ужь истощены, а потому обыкновенные таланты лишены возможности въ чемъ-

нибудь успівать; но мы только мимоходомъ замітили, что въ то же время даны образцы пстиннаго творчества, которымъ подражать нельзя и которые если не мітшають съ большимъ или меньшимъ успіхомъ дійствовать талантамъ, то уже не подражательнымъ, а самобытнымъ, и которые убили совершенно возможность успіха для обыкновенныхъ дарованій, досель игравшихъ такую важную роль. Объ этомъ стонтъ ноговорить подробніте и обстоятельніте.

Въ пъкоторыхъ русскихъ журналахъ, публика встръчаетъ постоянныя выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшіяся. Въ нихъ обыкновенно смъются надъ малороссійскимъ жартомъ, надъ украинскимъ юморомъ и т. и. Недавно, въ одномъ изъ такихъ журналовъ, по поводу разбора какой-то кинги въ юмористическомъ топъ сказано:

«Падо сказать по совбсти: велика сиза подражательности въ нашей литературъ. Мы долго не шутили; насъ считали въ Европъ за народъ серьозный и пъсколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поемъ, но никогда не смъемся; все это могла быть правда въ прежнее время; но дъло въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степнаго эксартованія. Съ тъхъ поръ какъ малороссійская фарса посътила нашу важную и чинную литературу подъ именемъ юмору, остроуміе и веселость вдругъ у насъ развязались. Вотъ что значить—не испытать дъла лично? Пъкогда остроуміе казалось намъ мудреною вещью! Мы съ такимъ почтеніемъ синмали шляну передъ всякимъ остроуміемъ! Нопробовавъ сами этого чуднаго искусства, мы удивились его легкости. — Се n'est que ça?... спросилъ каждый изъ насъ у своего сосъда съ изумленіемъ. — И путливость вспыхнула изъ насъ волканомъ. Теперь мы шутимъ, эксартиуемъ, фарсимъ, какъ чумани въ степи.

Авторъ этихъ строкъ хотълъ сказать одно, а вышло у него совстиъ другое. Онъ хотълъ пошутить, посмъяться, уколоть кое-кого, не называя его по имени, — и указалъ на фактъ современной русской литературы, фактъ, который трудно сдълать смъшнымъ и не такому остроумному перу, какимъ владъетъ авторъ выписанныхъ нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ

въ томъ, что, со времени выхода въ свътъ «Миргорода» и «Ревизора», русская литература приняла совершение новое направленіе. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдалаль въ русской романической прозъ такой же переворотъ, какъ Пушкинъ въ поэзін. Тутъ дёло пдетъ пе о стилистике, и мы нервые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нътъ, здёсь дёло идетъ о двухъ болъе важныхъ вопросахъ: о слогъ и о созданіи. Къ достоинствамъ языка принадлежитъ только правильность, чистота, плавность, чего достигаеть даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ, это — самъ талантъ, сама мысль. Слогъ, это — рельефность, осязаемость мысли; въ слогъ весь человъкъ; слогъ всегда оригиналенъ какъ личность, какъ характеръ. Поэтому, у всякаго великаго писателя свой слогъ; слога нельзя раздълить на три рода — высокій, средній и низкій: слогъ дълится на столько родовъ, сколько есть на евътъ великихъ или по крайней мъръ сильно даровитыхъ писателей. По почерку узнають руку человъка, и на почеркъ основывають достовърность собственноручной подписи человѣка: по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умъньи до того ярко и вынукло излагать мысли, что онъ кажутся какъ-будто нарисованными, изваянными изъ мрамора. Если у писателя изтъ никакого слога, онъ можетъ писать санымъ превосходнымъ языкомъ, я все-таки неопределенность и — ея необходимое слъдствіе — многословіе будуть придавать его сочинению характеръ болтовии, которая утомляеть при чтеніи и тотчась забывается по прочтеніи. Если у писателя есть слогь, его эпитеть рёзко определителень, всякое слово стоптъ на своемъ мъстъ, п въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая многихъ

словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочиненіе иностраннаго писателя, имьющаго слогь: вы увидите, что онъ, своимъ переводомъ, расплодитъ подлиниикъ, не передавъ ни его силы, ни определенности. Гоголь вполит владеетъ слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своею яркою върностію природъ и дъйствительности. Самъ Пушкинъ, въ своихъ повъстяхъ далеко уступаетъ Гоголю въ слогъ, имъя свой слогъ и будучи, сверхъ того, превосходижишимъ стилистомъ, т. е. владъя въ совершенствъ языкомъ. Это происходитъ оттого, что Пушкинъ, въ своихъ повъстяхъ, далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ, или въ «Исторіи Пугачевскаго Бунта», написанной по-Тадитовски. Лучшая повъсть Пушкина — «Капитанская Дочка», далеко не сравнится ни съ одною изъ лучшихъ повъстей Гоголя, даже въ его «Вечерахъ на Хуторъ». Въ «Капитанской Дочкъ» мало творчества и нътъ художественно-очерченныхъ характеровъ, вижето которыхъ есть мастерскіе очерки и силуеты. А между тёмъ, повъсти Пушкина стоятъ еще гораздо выше всъхъ повъстей предшествовавшихъ Гоголю писателей, нежели сколько повъети Гоголя стоятъ выше повъстей Пушкина. Пушкинъ имълъ сильное вліяніе на Гоголя — не какъ образецъ, которому бы Гоголь могъ подражать, а какъ художникъ, спльно двинувшій впередъ искусство и не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывшій въ сферт искусства новые пути. Главное вліяніе Пушкина на Гоголя заключалось въ той народности, которая, по словамъ самого. Гоголя, «состоитъ не въ описанін сарафана, но въ самомъ духѣ народа». Статья Гоголя «Нъсколько словъ о Пушкинъ», лучше всякихъ разсужденій показываеть, въ чемъ состояло вліяніе на него Пушкина. Пріученная къ тону и манеръ повъстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерахъ» Гоголя. Это

былъ совершенно новый міръ творчества, котораго никто не подозраваль и возможности. Не знали, что думать о немъ, не знали, слишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ дурное. Повъсти въ «Арабескахъ»: «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго», потомъ «Миргородъ» и наконецъ «Ревизоръ» вполнъ обрисовали характеръ Гоголевой поэзіп, и публика, равно какъ и литераторы, раздёлились на двё стороны, изъ которыхъ одна, преусердно читая Гоголя, увърплась, что имъетъ въ немъ русскаго Поль-де-Кока, котораго можно читать, но подъ рукою, не всемъ признаваясь въ этомъ; другая увидела въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвъстный досель міръ творчества. Число последнихъ было несравненно меньше числа первыхъ, но за то, последніе, въ этомъ случат, представляли собою публику, а первые-толну. Наша толпа отличается невъроятною чопорностію, достойною мъщанскихъ нравовъ: она всего больше хлопочетъ о хорошемъ тонъ высшаго общества, и видитъ дурной тонъ именно въ тъхъ произведеніяхъ, которыя читаются въ салонахъ высшаго общества. Между тъмъ, реформа въ романической прозъ не замедлила совершиться, и вст новые писатели романовъ и повтстей, даровитые и бездарные, какъ-то невольно подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положение: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ о его произведеніяхъ, они невольно внадали въ его тонъ и неловко подражали его манеръ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ нѣсколько лѣтъ, и всѣ другіе романисты, авторы пов'єстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотолѣ бездарности, что съ горя перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать внимание только на молодыхъ талантливыхъ писателей, которыхъ дарование образовалось подъ вліяніемъ

ноэзін Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немного, да и они пишутъ очень мало. П вотъ еще одна изъ главныхъ причинъ объдности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всъхъ виноватъ въ ней, такъ это, безъ сомнънія, Гоголь. Безъ него, у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и тенерь съ прежиниъ усиъхомъ. Безъ него, Марлинскій и теперь считался бы живонисцемъ великихъ страстей и трагическихъ коллизій жизни; безъ него, публика русская и теперь восхищалась бы «Дъвою Чудною», барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумія, бездну юмору, образецъ изящиаго слогу, сливки занимательности, и пр. и пр.

Гоголь убилъ два ложныя направленія въ русской литературъ: натянутый, на ходуляхъ стоящій идеализмъ, махающій мечемъ картоннымъ, подобно разрумяненному актёру, и потомъ — сатприческій дидактизмъ. Марлинскій пустилъ въ ходъ эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній поддельнаго байроннэма; всё принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркъ, то Лировъ и Чайльдъ - Гарольдовъ въ капцелярскомъ вицъ - мундиръ. Можно было подумать, что Россія отличается отъ Италіп и Испаніп только языкомъ, а отнюдь не цивилизацією, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Италін, ин въ Испаніи люди не кривляются, не говорять изысканными фразами, и не безпрестанно ръжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту разшо высоконарными монологами. Презрѣніе къ простымъ чадамъ земли дошло до нослѣдней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служилъ въ департаментъ, или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или утздномъ судъ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ и поэзію предпочиталь существенности. — тоть уже не годился въ героп романа или повъсти, и неизбъжно дълался добычею сатиры, съ правоучительною целью. И — Боже мой! — какъ страшио бичевала эта сатира всёхъ простыхъ, положительныхъ людей, за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмен человъчества. Она такъ безобразно отдълывала ихъ своею мочальною кистію, своими грязными красками, что они инсколько не походили на людей, и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не ръшался брать взятокъ, ии предаваться пьанству, плутовству, и проч. Прошло это время, — и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такою литературою, тенерь часто ссорится съ нею, говоря: какъ можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то — и многіе изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что инчего не бываетъ, напримъръ, подобнаго тому, что выставлено въ «Ревизорі», что все это ложь выдумка, злая «критика», что это обидно, безиравственно, п проч. И вст, довольные и недовольные «Ревизоромъ», зилютъ чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противоръчіе стоить того, чтобъ обратить на него винманіе.

Прежде, сатира смело разгуливала между народомъ. се реди облаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, но ирямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирою, — и инкто не сердился на нее, никто даже не замъчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? — Оттого, что инкто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки обміе, которыхъ всякій имъетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была кингою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражиеніемъ по классу риторики... И давно ли право-описательные, правственносатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки явля лись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло? — и на нихъ никто не сер-

дился, даже какъ сердятся летомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называль себя сатирикомь, гонителемь людскихь пороковъ, — и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, къ дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шев, и охотно кормили его избыткомъ своей трапезы. Отчего это? — оттого, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были совстиъ не пороки, а развъ отвлеченныя иден о порокахъ, риторическіе тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно еражался сатирическій донъ-Кихотъ, — такъ же, какъ добродътель, за которую онъ ратоваль, была для него воображаемою Дульцинеею, а для другихъ — толстою, безобразною коровницею. Теперь нётъ сатиры, и только развё какой-нибудь старый сочинитель рёшится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ «сатирика»: теперь пишутся романы и повъсти, безъ всякихъ сатирическихъ намѣреній и цѣлей, —а между тѣмъ, всѣ на нихъ сердятся. Отчего жь это? — оттого, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность и бездарность всь стремятся изображать дъйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дъйствительные люди обитаютъ на земль и въ обществь, а не на воздухь, не въ облакахъ, гдъ живутъ одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вмѣстѣ съ людьми изображаютъ и общество. Общество также — нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляють не один костюмы и прически, но и нравы, обычан, понятія, отношенія и т. д. Челов'єкъ, живущій въ обществъ, зависитъ отъ него и въ образъ мыслей и въ образъ своего дъйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человѣка, они стараются вникать въ причины, отчего онъ таковъ, или не таковъ, и т. д. Вследствіе этого, естественно, они изображають не частныя достоинства или недостатки,

свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явленія общія. Большинство же публики вменно тамъ-то и видить дичности, где ихъ петь и быть не можеть. Прежніе такъ называемые сатирики именно списывали съ извъстныхъ имъ липъ — и казались въ глазахъ всёхъ неподлежащими упреку въ дичностяхъ. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другаго лина и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же, эти сатирики смотръли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то прозвольное, что это лицо могло имъть и не имъть по своей воль и что пріобръсти или отчего избавиться оно легко могло по прочтеніи убъдительной сатиры, гдв ясно, по пальцамъ, доказана выгода и сладость добродътели и опасныя, пагубныя следствія порока. Вотъ почему, эти добрые сатирики брали человъка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошили на досугѣ это созданное ихъ воображениемъ чучело. Въ основание своего сатирическаго донъ-кихотства, они положили общественную нравственность, добродушно не подозрѣвая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественную нравственность, ужасно противоръчили этой нравственности. Такъ, напримъръ, въ числъ первыхъ добродътелей они полагали безусловное повиновение родительской власти, и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по разсчету — дъло безиравственное, что низкопоклон-. ство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство-тоже дела безнравственныя. Очень хорошо; но что же иному юношъ дълать, если онъ съ мололътства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговъніе

къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мъстамъ, къ значительности въ обществъ, къ богатству, къ хорошей нартін, блестящей карьерт; если его младенческій слухь быль оглашонь не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: взяль, получиль, пріобредь, надуль, и т. п.? Положимь, что такому юношт природа не отказала въ человъческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бъдной, простаго званія дъвушкъ, любовь, запрещающая ему соединнться съ противною ему богатою дурою, на которой, по разсчетамъ, приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношт пробудилось человтческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту, или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совъсть, запрещающая употреблять во зло ввъренные ему высшею властію вѣсы правосудія и расхищать ввѣренныя его безкорыстію общественныя суммы; что ему туть делать? Сатирикъ не затрудинтся отъ такого вопроса и не задумавшись, отвътить: «жениться на предметь любви своей, служить честио и върно отечеству»... Прекрасно; по гдъ же повиновение родительской власти, гдв уважение къ родительскому благословению на въки перушимому, гдв страхъ тяжкаго отцовского проклятія?... И потомъ, гдв уважение къ общественному мивнию, къ общественной правственности? Въдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви, или не по любви женились вы, а спрашиваетъ, сколько вы взяли за женою, и приличная ди она вамъ партія; общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сдълались вы богачомъ, когда ему извъстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни конейки, а за супругою вы взяли не Богъ знаетъ что, или и вовсе ипчего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и потому считаетъ вась очень хорошимъ-«благонамъреннымъ» человъкомъ... Послушайся нашъ юноша сатирика, что бы вышло? -- отецъ его бросилъ бы, жалуясь на пеновиновеніе и презрічніе къ его власти; нотомъ, онъ прошолъ бы, съ женою и дътьми, черезъ всъ мытарства, черезъ всъ униженія голодной, неопрятной, оборванной бъдности; видълъ бы къ себъ презрѣніе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе быль бы заклеймень отъ всёхъ страшными названіями безнокойнаго, опаснаго и «неблагонамфреннаго» человъка, вольнодумна, и проч. и проч. И неужели вы, «благонамъренные» сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсильвь въ тяжелой и безилодиой борьбь, онъ дойдетъ до страшнаго убъжденія. что его бъдность, его песчастія — необходимыя следствія отцовскаго гижва, заслуженная кара за презрине общественнаго мнинія и общественной правственности?... Но, къ счастио или къ несчастио-не знаемъ, право,такіе случан весьма рідки, какъ псключенія изъ общаго правила. По большой части бываеть такъ: юноша не долго кодеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о безкорыстіп и правоть и уваженіемь общества: онъ женится на комъ прикажутъ дражайшіе родители. живеть съ женою какъ всв. т. е. приличио содержить ее. восиптываеть дітей своихъ какъ всі, т. е. прилично кормить п одбраетъ ихъ, учитъ по-французски и танцовать, а послъ этого перваго и важивішаго періода воспитанія отдаетъ въ учебное заведеніе, потомъ выгодно пристропваетъ въ службу. выгодно женить (или выдаеть замужь) и, умирая, отказывастъ имъ «благопріобрътенное» на служов имъніе. И что же? Въ началъ его поприща, всъ превозносятъ его, какъ почтительнаго сына, въ концк поприща - какъ изжнаго супруга, примърнаго отца, «благонамъреннаго» чиновника, и заключають такь: «воть что значить уважение къ общественной правственности! вотъ что значитъ родительское благословлепіе, навъки перушимое!» И такъ, нашъ «благонамъренный» сатирикъ, бичъ пороковъ, самынъ нелъпынъ образонъ противо-

ръчиль самому себъ: поставивь выше всъхь добродътелей повиновение не Богу, не истинъ, а эгоистическимъ разсчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу слѣдовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещаль ему торговать священнъйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уважение общества, онъ въ то же время училь юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это дълалъ, самъ не зная что дълаетъ, и потому его сатиры не производили никакихъ слъдствій. Бывало, выйдетъ сатирическій романъ съ похожденіями какого-нибудь пройдохи, въ родъ извъстныхъ похожденій Совъстдрала-Большаго Носа, — романъ, въ которомъ уже самыя пмена дъйствующихъ лицъ — Ухоръзовы, Надуваловы, Шлюхины. Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстины, Миловидины. Правдолюбовы и т. и., обнаруживали правственную мысль сочинителя, — и что же? — самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадъ, самый отчаянный шулеръ, читалъ этотъ романъ съ удовольствіемъ и вездъ расхваливаль его вслухь, говоря: «какой славный слогь! во всемъ чистышая нравственность; добродьтель торжествуеть, порокъ наказанъ — чего же больше? чудесный романъ!»

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно, вмъстъ съ дътствомъ нашей литературы. Теперь выходятъ изъ моды и герои добродътели, и чудовища злодъйства, ибо ни тъ, ни другіе не составляютъ массы общества. Вмъсто ихъ, дъйствуютъ люди обыкновенные, какихъ больше всего на свътъ—ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большой части положительно необразованные положительно невъжды, по отнюдь не дураки. Ихъ смъшное заключается въ противоръчіи ихъ словъ съ дълами, въ лицемърномъ и превратномъ смыслъ, въ какомъ они говорятъ о добродътели, о безкорыстіи, о благонамъренности. А они говорятъ всъ какъ одинъ: слъдовательно, этотъ

«одинъ» или эти «всъ» есть общество, — неужели же, скажутъ намъ, наше общество стоитъ на такой инзкой степени, что ничего не можетъ дать писателю, кромъ смъшнаго и комическаго? Неужели наше общество ужь до такой степени хуже и ничтожнъе общества всъхъ другихъ государствъ Европы?—На этотъ вопросъ, мы можемъ отвъчать и искреино и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тотъ не можетъ не знать, что ихъ направление, взятое вообще, а не частно, еще болъе юмористическое, чъмъ направление нашей литературы. Прочтите, напримъръ, «Оливера Твиста» и «Бэр неби Роджа» Диккенса, перваго теперь романиста Англін, и вы убъдитесь, что въ просвъщенной Англіп, гордящейся тысячелътнею цивилизаціею, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ. невъждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездъ, да еще, въ придачу, много такихъ злодъевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ попадаются только какъ редкія исключенія. Прочтите «Les Mystéres de Paris» Эжена Сю — и вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургъ, а не въ Парижъ и что если въ лъсной толив рискуете иногда лишиться платка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажуть намь, въ «Бэрнеби Роджь» и въ «Парижскихъ Тайнахъ» есть ивсколько и такихъ лидъ, на которыхъ отдыхаеть душа читателя, утомленная зрёлищемъ злодёйствъ: правда; но зато нельзя не согласится, что добродѣтельныя лица въ романъ Диккенса безцвътны и скучны; таковы: идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гэрдаль и мать Бэрнеби; а въ «Парижскихъ Тайнахъ» — невтроятны. Пзъ добродътельныхъ лицъ романа Диккенса, всъхъ лучше милая, граціозная и кокетливая Долли, забавный оригиналь ея отець, мэстерь Уардень, и ея возлюбленный Джой; вы въ нихъ видите и слабости и странности, но еще болже любите ихъ за эти слабости и странности, черезъ которыя и узнаёте въ нихъ q. viii.

живыя человъческія лица, дійствительные характеры, а не картонныя куклы съ надписями на лбу: «гонимая добродътель, несчастная любовь, идеальная дёва», и т. п. Въ «Парижскихъ Тайнахъ» также лучшія лица—не самыя добродітельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тв, въ которыхъ добрыя природныя начала борится съ искусственными, т. е. привитыми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ напримъръ: Шуринеръ, Марсіаль, — и, право, гризетка Риголетта правдоподобиће Гуалёзы... Люди вездъ люди; ни одинъ народъ не хуже другаго; вездъ есть злоупотребленія, пороки, странцости, противоржчія словъ съ дълами и дълъ съ словами, нравственныхъ понятій съ истинною правственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходитъ съ задняго крыльца къ своему судьй съ секретными доказательствами правоты своего дила; въ Англіп и Франціи, кандидаты на разныя выборныя должности низкими интригами и подкупами располагають изонрателей въ свою пользу. И тутъ и тамъ-богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Здёсь опять могуть намъ сказать, что нечего и хлопотать полнустому, не изъ чего и раздражать того и другаго, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будуть ими. Да, люди всегда будутъ людьми — прежије не лучие и не хуже ныпѣшнихъ, нынъшніе не лучше и не хуже прежнихъ; по общество улучшается и на его улучшении основанъ законъ развития цълаго человъчества. Было время, когда даже истинно добрые, благородные и умные люди были убъждены въ существовании чернокнижия, и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жгли чернокнижниковъ; теперь и злые, и глушые, и невъжественные люди уже не върятъ чернокнижно и чужды желанія жечь живыхь людей даже и за дъйствительныя преступленія. Что это значить? — то, что люди и теперь остались теми же какими были, а общество улучшилось. Во вст втка бывали мудрые и благіе законодатели, но только въ XVIII въкъ могли огласить міръ изр'вченныя съ трона божественныя слова: «Аучше простить десять виновныхъ нежели наказать одного невиннаго». Что это значить, если не то, что люди все тъ же, а общество улучшается?... Современники благословляли въ Россін въкъ Екатерины Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правдивость этого благословенія, но, вмёстё съ темъ, мы имёемъ свои причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-нибудь время... Что это значить, если онять не то же, что люди и теперь тѣ же, а общество ушло далеко впередъ?... Вотъ здъсь то и обнаруживается вся благодътельность роли, какая назначена книгонечатанію самимъ провидініемъ. Что прежде шло и развивалось съ трудомъ и медленно, то тенерь идетъ и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будеть не забавою празднаго бездълья, а сознаніемь общества, когда она будетъ заниматься не стишками, да сказочками, гдъ влюбились да и женились, а будеть върнымъ зеркаломъ общества, и не только втриымъ отголоскомъ общественнаго мития, но и его ревизоромъ и контролёромъ.

Общество не то, что частный человъкъ: человъка можно оскоро́нть, можно оклеветать — общество выше оскоро́леній и клеветы. Если вы невърно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ — вамъ же хуже: васъ не станутъ читать, и ваши сочиненія возбудятъ смъхъ, какъ неудачным каррикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества, значитъ оказать ему услугу, значитъ изобавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитъе, язвительнъе Гогарта изображалъ англійское общество въ лицъ всѣхъ его сословій? — и однакожь Англія не осудила Гогарта за lése-nation, по гордо именуетъ его однимъ

изъ любимъйшихъ и достойнъйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-нибудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смъшной, или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состоптъ изъ большаго количе. ства людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествъ людей, найдутся всякаго рода недостойные и низкіе характеры, — не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имъло, вмъстъ съ добрыми сторонами, и своихъ дурныхъ сторонъ; честь сословія состонть не въ томъ, чтобъ не имѣть дурныхъ сторонъ (ибо это ръшительно невозможное дъло), а въ томъ, чтобъ умъть открывать глаза на свои дурныя стороны и отрешаться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, чтобъ рыцарство среднихъ въковъ не было цвътомъ государствъ, красою общества своего времени, его благородивишимъ сословіемъ. что оно не совершило блистательпъйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими дълами? И между тъмъ, кому не извъстно, что это же самое рыцарство, вследствіе духа техъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческіе обозы, разбойнически різало мирнаго путешественника, звёрски злоупотребляло свою феодальную власть надъ вассалами и рабами? П, несмотря на то, потомки этого рыцарства-цвътъ аристократін современной Англіп, нисколько не думають ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читаютъ романы Вальтеръ Скотта и гордятся ими, вижсто того, чтобъ ненавидъть ихъ. какъ пятно на чести своихъ предковъ, следственно, и на ихъ собственной чести. Это доказываетъ сколько сознаніе національного величія, столько и зрѣлость развитія общественности въ Англіи.

Ничему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія и незрълости нашей общественности, можно принисать эту раздражительность, которая во всемъ видитъ неуваженіе то къ тому, то къ другому сословію. Какъ скоро выведенъ въ повъсти чиновникъ, на шет котораго пренельно повязань галстухь, а на рукахь блестять засаленныя жолтыя перчатки, какъ свидътельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, тотчасъ всё чиновники обижаются, говоря: «вотъ какъ насъ отдёлываютъ; служи посль этого!» Они какъ-будто и не хотять знать, что можно быть неуклюжимъ, неловкимъ въ обществъ, и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымъ человъкомъ и хорошимъ чиновипкомъ, — не хотять знать, что если одинъ чиновникъ дурно и пеопрятно одъвается, имъя претензій на свътскость, изъ этого еще нисколько не следуеть, чтобъ все чиновники походили на него. Если воинъ окажетъ на сражении чудеса храбрости и получить георгіевскій кресть, відь его товарищи, не участвовавшіе въ дълъ, или не отличившіеся въ немъ, не почитають себя въ правъ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будуть имъть право оскорбляться всъ военные, если объ одномъ изъ нихъ (и то вымышленномъ лицъ) напечатаютъ въ сказкъ, что ему случилось струсить на сраженін, какъ напр., князю Блёсткину, выведенному въ романъ г. Загоскина «Рославлевъ, или Русскіе въ 1842 году»? П если г. Загоскинъ, самъ участвовавшій въ великой отечественной войнъ, вывелъ, между многими храбрыми лицами своего романа, одного труса, — можетъ ли такая, впрочемъ, всегда и вездв возможная черта служить пятномъ для арміп, которая сражалась подъ Бородинымъ и въ числѣ предводителей своихъ вывла Барклая-де-Толли, Кутузова, Багратіона, Ермолова, Мплорадовича, Раевскаго и многихъ другихъ, извѣстныхъ и славныхъ въ міръ?... Было время, когда наши писатели только и дълали, что нападали на русское общество высшаго и средияго круга за его страсть къ французскому языку. Это былъ дъйствительно недостатокъ со стороны нашего общества; но могли ли оскоронть его нападки, и притомъ еще не совстмъ несправедливые, писателей, когда оно знало, что тъ же самые офицеры гвардіи, которые но русски объяснялись только по оффиціяльнымъ дъламъ службы, геройски жертвовали своею жизнію въ битвахъ противъ тъхъ же самыхъ Французовъ, языкъ которыхъ они больше любили и лучше знали, чъмъ свой родной?...

Сатира — ложный родъ. Она можетъ смѣшить, если умна и ловка, но смешить, какъ остроумная каррикатура, набросанная на бумагу карандашомъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повъсть выше сатиры. Ихъ цъль — изображать върно, а не карритатурно, не преуведичение. Произведенія искусства, они должны не смішить, не поучать, а развивать истину творчески върнымъ изображениемъ дъйствительности. Не ихъ дъло разсуждать, напримёрь, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дѣло — представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленій ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уважени къ своему человъческому достоинству, къ своимъ человъческимъ правамъ; или изобразить уклонение отъ этой нормы — произволь отеческой власти, для корыстныхъ разсчетовъ истребляющей въ дѣтяхъ любовь къ истинъ и добру, и необходимое слъдствіе этого — правственное искаженіе дътей, ихъ неуважение, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ върна — ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ, и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазін картину, какъ осуществление возможности, скрывавшейся въ самой дъйствительности; и кто ни посмотрить на эту картину, всякій, пораженный ея истинностію, я лучше почувствуеть и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотълъ отъ васъ слушать... Только берите содержаніе для ваших картинь въ окружающей васъ дъйствительности и не украшайте, не перестроивайте ея, а изображайте такою, какова она есть на самомъ дълъ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптёлые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія мъста, многими повторяемыя, но уже никого не убъждающія... Идеалы скрываются въ дъйствительности; они — не произвольная игра фантазін, не выдумки, не мечты: н въ то же время, идеалы-не списокъ съ дъйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіею возможность того или другаго явленія. Фантазія есть только одна изъ главивишихъ способностей, условливающихъ поэта; но она одна не составляеть поэта; ему нужень еще глубокій умь, открывающій идею въ фактъ, общее значеніе въ частномъ явленіи. Поэты, которые оппраются на одну фантазію, всегда ищуть содержанія своихъ произведеній за тридевять земель въ тридесятомъ царствъ, или въ отдаленной древности; поэты, виъстъ съ творческою фантазіею обладающіе и глубокимъ умомъ. находять свои идеалы вокругь себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сделать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріяловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этою творческою фантазіею и этимъ глубокимъ умомъ об ладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ, старое становится новымъ, обыкновенное—изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный болѣе, нежели кто-нябудь изъ нашихъ поэтовъ, всѣми чптаемый, всѣмъ извѣстный, Гоголь все таки не высоко стоитъ въ сознаніи нашей публики. Это противорѣчіе очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, нронія — не всѣмъ доступны, и все, что возбуждаетъ смѣхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаетъ восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключаетъ въ себѣ смыслъ, противоположный

тому, который выражають слова ея. Комедія — цвъть цивилизаціи, плодъ развившейся общественности. Чтобъ понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ последнимъ великимъ поэтомъ древней Грецін. Толит доступенъ только витшній комизмъ: опа не понимаеть. что есть точки, гдв комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а бользненный и горькій сміхъ. Умирая, Августъ, повелитель полу-міра, говорилъ своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыграль свою роль-рукоплещите же, друзья моп!» Въ этихъ словахъ глубокій смысль: въ нихъ высказалась пронія уже не частной, а исторической жизни... И толиа никогда не пойметъ такой проніи. Такимъ образомъ, поэтъ, который возбуждаеть въ читатель созерцание высокаго и прекраснаго и тоску по пдеаль изображениемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служать и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будеть видъться жартъ въ его глубокомъ юморъ, и смотря на върно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видить изь за нихь незримо-присутствующіе туть же свътлые образы. И еще много времени пройдеть, и много новыхъ покольній выступить на поприще жизни прежде, чтмъ Гоголь будетъ понятъ и оцтненъ по достоинству большинствомъ.

«Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ томахъ означены 1842 годомъ, по вышли они въ февралѣ прошлаго года, а потому и должны припадлежать къ литературнымъ явленіямъ 1843 года. Имъя въ виду въ скоромъ времени, въ особой статьъ, въ отдълѣ Критики, разсмотръть подробно всъ сочиненія Гоголя, — мы не будемъ теперь распространяться на счетъ этихъ четырехъ томовъ. Это повлекло бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйдти изъ предъловъ журнальной

статьи, ибо объ одномъ «Театральномъ Разъвздв послв перваго представления комедии» можно написать цвлую статью. Въ этихъ четырехъ томахъ, между старымъ, много и новаго, а ивкоторыя піесы или поправлены и дополнены, или вовсе передвланы авторомъ.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣйшія суть не болѣе, какъ изданія разныхъ сочиненій уже бывшихъ извѣстными публикѣ изъ журпаловъ и альманаховъ. Да и того такъ немного, что безъ труда можно перечесть:

«На Сонъ Грядущій»—вторая часть сборицка сочиненій графа Соллогуба. Въ ней помъщены уже извъстныя публикъ піесы: «Приключеніе на Жельзной Дорогь», «Аптекарша», «Ямщикь, или шалость молодаго гусарскаго офицера» (драматическая картина), «Левъ», «Медвъдь», и новая «піеса: Неоконченныя повъсти». — «Антекарша» и «Медвъдь» принадлежать къ числу лучшихъ произведеній даровитаго автора; читателямъ уже извъстно наше мивніе объ этихъ двухъ повъстахъ графа Соллоryба. «Приключеніе на желѣзной дорогѣ» — легонькій, по содержанію, разсказъ, исполненный, впрочемъ, простоты и истины, и изложенный съ обыкновеннымъ искусствомъ автора «Аптекарши». — «Ямщикъ» не чуждъ прекрасныхъ подробностей и върно схваченныхъ чертъ русскаго быта; но въ цъломъ, это — довольно слабое произведение. Герой (генераль Стверинъ) этой драматической картины—лицо до крайности сантиментальное и неправдоподобное; монологи его — риторика. Въ представленіи быта крестьянскаго много промаховъ противъ истины дъйствительности: за то превосходно лицо Саввы Савича, равно какъ и его неотлучнаго Ларьки: оба они въ выстей степени върны. «Левъ» — мастерской тпипческій очеркъ одного изъ самыхъ характеристическихъ явленій свътской жизип. «Неоконченныя повъсти» объщають намъ цълый рядъ прекрасныхъ разсказовъ, если только авторъ захочетъ въ самомъ дѣлѣ воспользоваться этою счастливою мыслію. Первая повѣсть, которою начинается рядъ «неоконченныхъ повѣстей», исполнена сильнаго интереса и потрясаетъ душу читателя благородною простотою изложенія глубоко прочувствованнаго авторомъ содержанія. А содержаніе это такъ же просто, какъ и его изложеніе: это одна изъ тысячи исторій, которыя такъ часто совершаются въ глазахъ всѣхъ при свѣтѣ дневномъ, и которыя все-таки немногими замѣчаются...

О «Сочиненіяхъ Зепенды Р-вой» была въ «Отечественныхъ Запискахъ» (Соч. Бъл. Ч. ун стр. 151) особая статья, въ которой подробно изложено наше митніе о повъстяхъ этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертію у русской литературы. Въ четырехъ частяхъ «Сочиненій Зененды Р-вой» только одна новая, нигдъ прежде ненапечатанная повъсть: это — вторая часть «Напраснаго Дара», неоконченная, по причинъ внезапной смерти автора...

Небольшая кинжка «Повъстей А. Вельтмана», вышедшая въ прошломъ году, содержитъ въ себъ пять разсказовъ, изъ которыхъ четыре были уже давно напечатаны въ разныхъ журналахъ. При бъдности современной русской литературы, эта книжка была пріятнымъ явленіемъ.

Въ прошломъ же году вышли второй и третій томы «Сказки за Сказкой». Въ пихъ были, между прочимъ, помѣщены весьма интересныя повѣсти и разсказы г. Кукольника: «Позументы», «Монтекки и Капулетти, пли Чернышевскій миръ», и «Часовой»; особенно хороша повѣсть — «Позументы». Въ этомъ же безсрочномъ изданіи напечатана богатая хорошими частностями повѣсть казака Луганскаго: «Савелій Грабъ, или Двойникъ».

Въ прошломъ же году вышли два тома «Повъстей и Разсказовъ» г. Кукольника. Въ первомъ изъ пихъ, помъщено шесть уже извъстныхъ публикъ разсказовъ изъ временъ Петра Великаго: «Лихопчиха», «Новый Годъ», «Благодътельный Андроникъ», «Капустинъ», «Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукиъ», «Прокуроръ». Всъ эти повъсти и разсказы исполнены большаго интереса и обнаруживають въ авторъ много поэтической сноровки и историческаго такта. Но повъсти и разсказы втораго тома, за исключеніемъ «Психеи», богатой прекрасными частностями, не заслуживаютъ никакого вниманія и могутъ быть употребляемы только развъ какъ лъкарство отъ безсонницы, и въ этомъ случат, съ большою пользою...

Въ началъ прошлаго года, вышли «Сочиненія Державина» въ четырехъ частяхъ: изданіе во всъхъ отношеніяхъ болфе неудовлетворительное, чъмъ удовлетворительное, какъ мы и имъли уже случай доказать въ свое время.

Пзъ повыхъ произведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая, по необыкновенно умному содержанію и прекраснымъ, поэтическихъ стихамъ, была бы замъчательнымъ явленіемъ и не вътакое бъдное для литературы время, какъ наше.

«Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ и дважды изданное въ прошломъ году, по своей цъли и назначенію, должно относиться больше къ числу полезныхъ, чъмъ бельлетристическихъ книгъ. Необыкновенный усибхъ этой прекрасно составленной книжки породилъ множество неудачныхъ подражаній.

По части оригинальных бельлетристических произведеній, вышедших въ прошломъ году, больше не о чемъ говорить: въдь не начать же разсуждать о такихъ твореніяхъ, каковы: «Были и Небылицы» г. Ивана Балакирева, многочисленныя творенія автора «Мужа подъ Башмакомъ», «Дочь Разбойника, или любовникъ въ бочкъ», г-на О. Кузмичева; «Клятва при гробъ Матери, или Метитель за убійство», драма г. Голощанова; «Старичекъ Весельчакъ, разсказывающій давнія московскія были» (Москва, изданіе четвертое); «Разгулье купеческихъ

сынковъ въ Марьиной рощъ, или поваливай! наши гуляютъ! Пстинно-сатирическая повъсть 4835 года, съ цыганскими пъсиями (Москва изданіе пятов); «Козелъ Бунтовщикъ или Машина свадьба», г. Базилевича (Москва, изданіе третте); «Стенька Разинъ, атаманъ разбойниковъ»; «Казаки», г. Кузмичева; «Кизъ Курбскій», г. $\Phi(\Theta)$ едорова, и разныя сочиненія гг. Скосырева, Куражсковскаго, Калачилина, Классена, Милькъева, Графчикова, Колотенко и пр.

Изъ переводныхъ книгъ бельлетристическаго содержанія, вышедшихъ въ прошломь году, замъчательны: «Мысли Паскаля», нереводъ г. Бутовскаго; тринадцатый выпускъ издаваемаго г. Кетчеромъ «Шексипра», заключающій въ себъ комедію «Укрощеніе Строптивой»: первый и второй выпуски издаваемаго г. Тимковскимъ «Испанскаго Театра», заключающій въ себъ комедіи: «Жизнь есть сонъ» и Саламейскій Алькальдъ»; прозаическій переводъ г. Фанъ-Дима «Божественной Комедіи» Даите. превосходно изданный, съ рисунками Флаксмана, и стихотворный переводъ Шиллерова «Вильгельма Телля», г. Ө. Миллера.

Изъ оригинальныхъ сочиненій учено-бельлетристическаго содержанія, въ прошломъ году замѣчательны: «Прогулки Русскаго въ Помиеи», г. Левшина; «Описаніе Турецкой войны въ царствованіе Императора Александра, съ 1806 до 1842 года», новое твореніе знаменитаго нашего военнаго историка, генералъ-лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго; «Странствователь по Сушѣ и Морямъ» (двѣ книжки), интересные и живые разсказы, самымъ пріятнымъ образомъ знакомящіе читателя съ разными странами, народами и племенами земнаго шара; «Описаніе Бухарскаго Ханства», г. Н. Ханыкова; третій томъ компактнаго изданія «Исторіи Государства Россійскаго», Карамзина; пятнадцатый (и послѣдній) томъ втораго изданія Голикова «Дѣяній Петра Великаго»; второе изданіе «Руководства

къ познанію средней исторіи, для среднихъ учебныхъ заведеній». г. Смарагдова; «Исторія Малороссіи», г. Маркевича, и «Исторія Петра Великаго», г. Полеваго.

Спеціально-ученая литература все болье и болье представляеть самые утьшительные результаты, — для чего достаточно указать только на «Акты Археографической Коммиссіи» и на изданіе «Остромірова Евангелія»; но какъ предметъ нашей статьи — преимущественно книги по части изящной словесности или бельлетристики, имьющія интересъ не для некоторыхъ только ученыхъ, но общій — для всехъ образованныхъ людей, то мы и не будемъ распространяться о спеціально ученыхъ явленіяхъ прошлогодней литературы.

Намъ остается теперь сдълать перечень всего замъчательпаго по части пзящной литературы, оригинальной и переводной, что явилось, въ продолжение 1843 года, въ журналахъ, ненасытимую жадность которыхъ обвиняютъ въ поглощении всей русской литературы. Посмотримъ, сколько сочиненій успило съйсть это чудовище, т. е, наша журналистика... Но увы! мы бопися, чтобъ этотъ левіасанъ литературнаго міра не превратился въ одну изъ тёхъ тощихъ кравъ, которыхъ видъль во сив Фараонъ и которыя не потолетъли, съвъв тучныхъ кравъ!... Наши сочиненія не такъ жирны и не такъ многочисленны, чтобъ отъ нихъ могли слишкомъ жиръть наши журналы, - и еслибъ мы не ръшились въ этой стать в говорить объ общемъ значенін современнаго состоянія литературы, а приступили бы прямо къ обзору литературныхъ явленій прошлаго года, ноказавшихся отдёльно и помѣщенныхъ въ журналахъ, наша статья по неволѣ вышла бы очень коротка...

Начнемъ съ стихотвореній. Прошлый 1843 годъ, въроятно, послъдній богатый въ этомъ отношеніи годъ: въ продолженіе его, напечатано (въ «Отечественныхъ Запискахъ») нъсколько посмертныхъ стихотвореній Лермонтова. Изъ нихъ:

«Незабудка», «Избави Богъ», «Смерть», «Когда весной разбитый ледъ», «Ребенка милаго рожденье», «Они любили другъ друга», «Къ портрету стараго гусара», «Посвященіе, приписанное въ концѣ поэмы Демонъ», равно какъ и отрывочно напечатанная поэма «Изманлъ Бэй», принадлежать къ самой ранней эпохі поэтической діятельности Лермонтова и замізчательны не столько въ эстетическомъ, сколько въ исихологическомъ отношенін, какъ факты духовной личности поэта. Въ эстетическомъ отношеніи, эти піесы поражають то энергическимъ стихомъ, то могучимъ чувствованіемъ, то яркою мыслію; но въ цёломъ онт довольно слабы и отзываются юношескою незрълостію. Піесы «Романсъ къ ***», «Пе плачь, не плачь, мое дитя», «Изъ-поль таинственной, холодной полумаски», «Нътъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Сонъ», равно интересныя какъ въ эстетическомъ, такъ и въ исихологическомъ отношенін, принадлежать, безь всякаго сомивнія, къ эпохф полнаго развитія могучаго таланта незабвеннаго поэта, а піесы: «Утесъ», «Дубовый листокъ оторвался отъ вътки родимой», «Морская Царевна», «Тамара» и «Выхожу одинъ я на дорогу» принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова. Вст эти піесы составять четвертую часть изданных въ 1842 голу «Стихотвореній М. Лермонтова», которая скоро должна выйдти въ свътъ. Въ «Современникъ» была помъщена корсиканская повъсть «Маттео Фальконе», передъланная Жуковскимъ изъ Шамиссо, стихами, съ присовокупленіемъ интереснаго инсьма автора къ издателю «Современника»: письмо это заключаетъ въ себт изложение теперешняго взгляда знаменитаго поэта на поэзію. — Стихотворенія ныньче мало читаются. но журналы, по уваженію къ преданію, почитають за необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которыхъ, поэтому, появляется еще довольно много. Изъ нихъ, можно указать въ особенности на довольно многочисленныя стихотворенія

г. Фета, между которыми встрѣчаются истинно-поэтическія, и на стихотворенія Т. Л. (автора «Нараши»), всегда отличающіяся оригинальностью мысли. Попадаются въ журналахъ стихотворенія и другихъ поэтовъ, болѣе или менѣе исполненныя поэтическаго чувства, но они уже не имѣютъ прежней цѣны, и становится очевиднымъ, что ихъ творцы или должны, сообразуясь съ лухомъ времени, перестроить свои лиры и запѣть на другой ладъ, или уже не разсчитывать на вниманіе и симпатію читателей...

Оригипальными повъстями прошлогодніе журналы значительно бъднъе журналовъ третьяго года. Мы разумъемъ здъсь качественную, а не количественную бъдность. Въ каждой книжкъ каждаго журнала (за исключеніемъ «Москвитянина») непремънно есть русская повъсть, но какая — это другое дело. Вотъ перечень дучшихъ оригинальныхъ повестей въ прошлогоднихъ журналахъ: «Тля», г. Панаева, «Чайковскій», г. Гребенки, «Изъ Записокъ Неизвъстнаго», юмористическій очеркъ, Сергія Нейтральнаго (въ «Отечественныхъ Занискахъ»), «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ», В. Луганскаго, «Райна, королева Болгарская», г. Вельтмана (въ «Библіотекъ для Чтенія»); «Жизнь Человька, или Прогулка по Невскому Просцекту», Луганскаго, «Хмёль, сонъ и явь», его же (въ «Москвитянинъ»); «Чорный Тараканъ» (фантастическій романъ изъ жизни одного чиновника), В. Зотова (въ «Репертуарт и Пантеонъ»). Сверхъ того, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помъщены повъсти: «Ярмарка», г-жи Закревской, «1812 годъ въ провинцін», разсказы Г. О. Основьяненко, «Ничего, Хроника Петербургскаго Жителя», барона О. Бюлера, «Двъ Сестры», г.жи Жуковой, «Дженнатъ и Бока», чеченская повъсть А. Ф. Екельна, «Необыкновенный Завтракъ», Н. А. Некрасова; — въ «Библіотекъ для Чтенія»: «Хозяйка», г. Ө. Фанъ Дима, «Историческая Красавица», Н. В. Кукольника, «Гримаса моего Доктора». И. И. Лажечникова, «Волгинъ», г. В., «Хижина подъ Скалами», г. П. Корсакова, «Идеальная Красавица», барона Брамбеуса.

«Тля», г. Пацаева, отличается свойственною этому писателю сатприческою маткостію. Собственно, это не повасть, а очеркь, отличающійся върностію дъйствительности. Жаль, что этотъ очеркъ имветъ слишкомъ мъстное значение, и вив Петербурга теряетъ много своего янтереса. «Чайковскій» г. Гребенки исполненъ превосходныхъ частностей, обнаруживающихъ въ авторт несомитиное дарованіе. Характеръ полковника, отца геронни повъсти, многія черты историческаго малороссійскаго быта поражають своею поэтическою верностію. Но целое этой повъсти не выдержитъ строгой критики. Особенно вредитъ ей мелодраматизмъ. Мстительная цыганка-колдунья, злодви Герцикъ, кстати укусившая его змъя — все это мелодраматическіе эффекты. Тёмъ не менёе, пов'єсть г. Гребенки была одною изъ лучшихъ повъстей прошлаго года. «Изъ Записокъ Неизвъстнаго» — очеркъ, исполненный легкаго юмора и пріятный въ чтеніп. «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ»—одна изъ лучшихъ повъстей казака Луганскаго, исполиенная интереса и върно схваченныхъ чертъ русскаго быта. Замъчательна, по ловкому и пріятному разсказу, его же «Жизнь Человѣка»; но «Хмѣль. Сонъ и Явь» имфетъ достопнство психологическаго портрета русскаго человѣка, мастерски схваченнаго съ натуры. Эта повъсть имъла бы больши йнитересъ и была бы очень полезна и для читателей низшаго разряда: почему ее пріятно было бы увидъть перепечатанною въ «Сельскомъ Чтеніп». «Райна, королева Болгарская» — не повъсть, а фантасмагорія, подобно всемъ произведеніямъ г. Вельтмана. Действующія лица говорятъ въ ней двумя манерами: то языкомъ совершенно понятнымъ для насъ, но отличающимся колоритомъ древие-болгарскимъ, то языкомъ романовъ нашего времени. Одинъ изъ

главныхъ героевъ фантасмагоріп — русскій князь Святославъ, котораго г. Вельтманъ рисуетъ намъ такъ обстоятельно, какъ будто бы самъ жилъ въ его время и все видѣль своими глазами. Удивительнъе всего въ этой новѣсти, что мѣстами она не лишена интереса... «Чорный Тараканъ» разсказъ не безъ юмора и не безъ занимательности. Намъ нужды иѣтъ знать, тотъ ли это г. Зотовъ написалъ ее, который нишетъ такія ужасныя драмы, стихотворенія, «Театраловъ», «Побрякушки» и пр., пли совсѣмъ другой г. Зотовъ: мы знаемъ только, что его «Чорный Тараканъ»—очень недурная вещь.

Изъ драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ вмѣсто повѣстей, замѣчателенъ, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ г. Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность». Въ «Библіотекѣ для Чтенія» были помѣщены: «Монументъ» историческій анекдотъ, въ трехъ картинахъ и въ прозѣ, г. Кукольника (несмотря на патянутость паооса, вещь не безъ достоинства); «Ломоносовъ, или Жизнь и Поэзія», г. Нолеваго, «Проектъ» его же, «Братья», драма въ пяти дѣйствіяхъ, г. Каменскаго.

Воть и всё наши бельлетристическія сокровища за прошлый годь! Нисколько иеудивительно, что отъ этой пищи наши журналы не стали здоровёе... Говоря о переводныхъ піесахъ, мы будемъ упоминать только о болёе замёчательныхъ, а о посредственныхъ, или обыкновенныхъ умолчимъ вовсе. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помёщены: «Андре», романъ Жоржа Занда, одно изъ лучшихъ произведеній этого автора, даже по сознанію самыхъ враговъ его. «Эмё Веръ», романъ какого-то Француза, очень ловко прикидывающагося Вальтеръ-Скоттомъ, доказываетъ ту истипу, что когда геній проложитъ новую дорогу въ искусствё, то и обыкновенные таланты могуть ходить по ней съ усиёхомъ. Впрочемъ, у автора «Эмё Вера» много дарованія; романъ его исполненъ интереса;

многіе характеры, и особенно настора-фанатика Барбантана. братьевъ Рено и Гаспара, матери ихъ, г-жи Монморъ, обрисованы мастерски; многія сцены исполнены необыкновеннаго драматизма. «Солидный Человѣкъ», романъ Шарля Бернара, йнэничоо схара имавтриотор иминевенными встру водинений этого даровитаго писателя. Это — мастерская картина современннаго французскаго общества. Не по изложению, а по содержанію, заслуживаетъ упоминовенія «Жена Золотыхъ Дълъ Мастера», повъсть Шарля Ребо; писатель съ большимъ талантомъ могъ бы чудеснымъ образомъ воспользоваться подобнымъ сюжетомъ. — Въ «Библіотекъ для Чтепія» лучшія переводныя повъсти-«Лавка Древностей», романъ Диккенса. «Лавка Древностей» слабъе другихъ романовъ Диккенса: въ ней онъ повторяеть самого себя, и лица этого романа, равно какъ и его пружины, уже не поражаютъ новостію. «Уминцы»—передълка изъ романа мистриссъ Троллопъ, интересна какъ картина, хотя уже не новая, но всегда вёрная, правовъ современнаго англійскаго общества. «Послѣдній изъ Бароновъ», романъ Больвера, довольно запимателень, какъ историческая картина положенія ученаго въ варварскіе средніе вѣка. — Въ «Современникъ», въ продолжения всего прошлаго года тяпулся начатый еще въ 1842 году романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство, или домашиія радости и огорченія». Опъ вышелъ теперь весь отдёльно, и потому мы изложили наше мивніе о немъ въ Библіографической Хроникв этой же книжки «Отечествен. Записокъ». — Въ «Репертуаръ» были помищены вполни «Парижскія Тайны» Эжена Сю. Романь этоть надълаль много шума во всей Европь, и у насъ также, и, несмотря на всв его недостатки, принадлежитъ къ замъчательнымъ явленіямъ современной литературы. Онъ порожденъ романами Диккенса, и далеко уступан имъ въ достоинствъ, возбудилъ такой энтузіазмъ, котораго не производиль ни одинъ романъ даровитаго англійскаго романиста: таково умінье французских писателей дійствовать всегда на массу! Такъ какъ съ «Парижскими Тайнами» только теперь ознакомились многіе изъ русскихъ читателей и такъ какъ толки о нихъ еще не прекратились ни въ публикъ, ни въ журналахъ, — то, можетъ-быть, мы еще и ноговоримъ объ этомъ романъ подробиъе въ отдълъ Критики. Въ «Репертуаръ» же, переведенъ разсказъ Жоржъ Занда «Муни Робонъ», весьма замъчательный не по сюжету, а по мысли и ея изложенію. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Репертуаръ», помъщено по отрывку изъ Гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывокъ въ «Отечественных» Запискахъ» представляетъ нфчто цфлое, какъ-то показываетъ его названіе: «Маріанна». О достопиствъ перевода нечего говорить: довольно сказать, что онъ принадлежитъ г. Струговщикову. Въ «Библіотекъ для Чтенія» помъщенъ переводъ съ испанскаго, едъланный г. Тимковскимъ, прелестной комедін Лопеса де-Веги: «Собака на Сфиф». Въ «Репертуаръ и Пантеонъ» помъщенъ переводъ прозою драмы Шекспира «Троилъ и Крессида».

Изъ замѣчательныхъ статей учено бельлетристическихъ, въ прошлогоднихъ журналахъ слѣдующія: въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Дневникъ каммеръ юнкера Берхгольца»—живая картина русскихъ правовъ временъ Петра Великаго, писанцая очевидцемъ; «Гёте и графиня Штольбергъ» (эта же статья помѣщена и въ «Репертуарѣ»); «Философія Анатоміи», превосходно составленная г. Галаховымъ статья, представляющая современный взглядъ на одно изъ величайшихъ человѣческихъ знаній; «Пуло-Пенангъ, Спигапуръ и Манила» (изъ записокъ русскаго морскаго офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840 году) А. И. Бутакова; «Нижній Новгородъ и Нижегородцы въ смутное время», П. И. Мельникова; «Рубини и птальянская музыка», — ва; «Дворъ королей англійскихъ»;

«Книгопечатаніе»; «Іосноъ II, пиператоръ германскій»; три статьи А. И. Ис — ра — «Дилеттантизмъ въ Наукъ»; его же — «Буддизиъ въ Наукъ» и его же статья «По поводу одной драмы». Къ числу учено-бельлетристическихъ же статей можно отпести и напечатанцую въ отдёлё Сельскаго Хозяйства «Отечественныхъ Записокъ» — «Табачиая промышленность въ Россіп», А. В., потому что авторъ умёль придать этой статьт общій питересь и изложить ее съ замічательной степенью литературнаго изящества. — Въ отделе Наукъ и Художествъ «Биоліотеки для Чтенія» особенно замѣчательны статьи: «Плѣнъ Англичанъ въ Афганистанъ», «Записки о Съверной Америкъ» Диккенса и «Томасъ Бекетъ». — «Современникъ» тоже не имъетъ недостатка въ ученыхъ статьяхъ, особенно касающихся до Скандинавін; но лучшая ученая статья «Современника», равно какъ и одна изъ лучшихъ учено-бельлетристическихъ статей во всей прошлогодней журналистикъ, это — Исторические Очерки М. С. Куторги: «Людовикъ XIV». Въ «Москвитянинъ»: «О законахъ благоустройства и благочинія, или что такое полиція?», «Смерть Карла XII», статья очень хорошо составленная г. Головачевымъ изъ Исторіи Карла XII, изданной Лундбладомъ и Больмеромъ.

По части Критики, въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года, были слъдующія статьи: «Русская литература въ 1842 году», «О сочиненіяхъ Державина», «О Мертвыхъ Душахъ Гогола» (Голосъ изъ провинціи), «Объ Исторіи Малороссіи» г. Маркевича; четыре статьи: «О Жуковскомъ, Батюшковъ и Пушкинъ», и «О сочиненіяхъ Зененды Р-вой». Сверхъ того, въ «Отечественныхъ Запискахъ» постоянно помъщались подробные отчеты о французской, англійской и изъмецкой литературахъ. Въ «Москвитянинъ» замъчательна критическая статья «О Путевыхъ Письмахъ изъ Германіи, Франціи и Италіи» г. Греча.

Теперь намъ следовало бы говорить о духъ и направлении русскихъ журналовъ за прошлый годъ; но мы уже говорили объ этомъ не разъ; а какъ это дъло остается все въ томъ же видь, то лучше ужь больше не говорить. Наше дьло было указывать на духъ, направление и замъчательные поступки того или другаго журнала. Мы исполняли это въ продолженіе пяти лътъ, и исполияли усердно, можетъ-быть, усердиве, нежели сколько нужно было. Теперь нътъ надобности въ этомъ: журналовъ новыхъ нътъ; а въ старыхъ — все по старому — н говорить о нихъ значило бы повторять сказанное ифсколько разъ. Всякое повторение скучно, а тъмъ болъе повторение истинъ, едълавшихся теперь, благодаря «Отечественнымъ Запискамъ», убъжденіемъ большей части образованныхъ читателей. Пусть всякій идеть своею дорогою. Наша публика разпообразна до безконечности, и каждый изъ составляющихъ ее слоевъ найдетъ, что ему нужно. Пусть всъ читаютъ, кому что правится, лишь бы читали. Скажемъ нъсколько словъ въ общихъ чертахъ. Въ «Библіотект для Чтенія» лучшимъ отдъломъ по прежнему была Смъсь, а самыми бъдными, сухими и тощими отделы Критики и Литературной Летописи. Въ Смеси «Отечественныхъ Записокъ», между переводными, много было и оригинальныхъ, болъе или менъе замъчательныхъ статей, каковы: «Повздка въ Китай», Дэ-Мина (двъ статьи), «Два Письма изъ Пекина», В. Горскаго, «Замъчанія и анекдоты о южно-африканскомъ львѣ», г. А. Бутакова, «Сцены изъ жизни Бурятъ», А. Мордвинова, «Пойздка на Алтай», г. Мейера, «Итальянская Опера въ Петербургъ» (Рубини, Віардо-Гарсія, Тамоурини, Ассандри, Пазини и Тадини), «Отвътъ г. Шевыреву на разборъ его Русской Хрестоматіи г. Галахова», «Москвитянинъ о Коперникъ» и «Записки Вёдрина»; прекрасный разсказъ г. Н. Ковалевскаго: «Переселеніе Ивана Пвановича изъ Гадячскаго Уфзда въ Миргородскій»; юмористическій

очеркъ: «Балъ у писарей, или дежурство въ новый годъ»; изъ переводныхъ особенно питересны: «Семейная жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ»; «Шутти, или сожиганіе вдовъ въ Индін»; «Патеръ Мэтью», и проч. — «Современникъ» съ прошлаго года выходить ежемъсячно, что еще болье должно было придать ему интереса. — Къ числу прошлогоднихъ литературныхъ повостей принадлежить возстановление «Репертуара и Пантеопа»: это издание въ прошломъ году значительно поправилось, такъ что представляетъ теперь собою очень занимательный и пестрый сборникъ разныхъ статей по части театра, повъстей, біографическихъ очерковъ жизни художинковъ и проч. Если печатаемыя имъ драматическія произведенія, даваемыя на русской сценъ, по большей части плохи, - это не его вина: онъ объшался быть, между прочимъ, и зеркаломъ русской сцены, а по русской пословиць: «нечего на зеркало пенять, если лицо яриво». За то, въ немъ есть хорошія переводныя піесы и піески, которыя не были даны на русской сцень, и цьликомъ помъщены «Парижскія Тайны» Эжена Сю.

Изъ этого обозрѣнія, читатели могутъ видѣть фактическое доказательство, что толстота нашихъ журналовъ отнюдь не причина крайняго убожества современной русской литературы. Да и что за дѣло, какъ появилось хорошее литературное произведеніе — отдѣльною книгою, или въ журналѣ? Дѣло въ томъ, чтобъ какъ можно больше появлялось такихъ произведеній. Что касается до журналовъ — несмотря на ихъ толстоту, наша журналистика оѣдна, и надо желать, чтобъ журналовъ было больше. Даже въ томъ, что они поглощаютъ въ себя все лучшее и замѣчательнѣйшее, появляющееся въ литературѣ, есть явная польза: благодаря этому обстоятельству, всякое хорошее литературное произведеніе прочитывается не десятками, не сотнями, а цѣлыми тысячами читателей. Конечно, такое произведеніе, какъ «Мертвыя Души», Гоголя, не имѣетъ нужды

въ посредствъ журналовъ для пріобрътенія себъ многочисленныхъ читателей; но въдь то — «Мертвыя Души», одно изътакихъ произведеній, которыя составляютъ псключеніе изъобщаго правила и бываютъ ръдкимъ явленіемъ во всякой литературъ. Обыкновенно, у насъ замѣчательный успѣхъ всякой книги состоптъ въ расходъ пяти пли, много, семи сотъ экземпляровъ; будучи же помъщаемы въ журналахъ (разумѣется, не во всѣхъ, а въ какихъ-инбудь двухъ, не больше), онъ находятъ себъ тысячи читателей. Итакъ, вмѣсто пустыхъ и неосновательныхъ пападокъ на журналы, лучше пожелать увеличенія ихъ числа и большаго ихъ распространенія въ публикъ. Слъдующіе стихи, написанные ки: Вяземскимъ, назадъ тому лѣтъ пятнадцать, и теперь еще новые истиною своего содержанія, очень идутъ къ вопросу, о которомъ мы говоримъ, — почему мы и заключаемъ ими нашу статью:

Дай Богъ намъ болъе журналовъ: Плодятъ читателей они. Гдъ есть повътріе на чтенье, Въ чести тамъ грамота, перо, Гдъ грамота — тамъ просвъщенье, Гдъ просвъщенье — тамъ добро. сочинения алексаидра пушкина. Санктпетербурго. Одиннадуать томово. MDCCCXXXVIII—MDCCCXLI 1).

4

Обозраніе русской дитературы отъ Державина до Пушкина.

Давно уже объщали мы полный разборъ сочиненій Пушкина: предлагаемая статья есть пачало выполненія нашего объщанія, замедлившагося по причинамъ, изложение которыхъ не будетъ здёсь излишнимъ. Всемъ извёстно, что восемь томовъ сочиненій Пушкина изданы, послъ смерти его, весьма небрежно во всъхъ отношеніяхъ — и типографскомъ (плохая бумага, некрасивый шрифтъ, опечатки, а индъ и искаженный смыслъ стиховъ), и редакціонномъ (піесы расположены не въ хронологическомъ порядкъ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера автора, а по родамъ, изобрътеннымъ Богъ знаетъ чьимъ досужествомъ). Но что всего хуже въ этомъ изданіи — это его неполнота: пропущены піесы, пом'єщенныя самимъ авторомъ въ четырехъ-томномъ собраніи его сочиненій, не говоря уже о піесахъ, напечатанныхъ въ «Современникъ» и при жизни в послъ смерти Пушкина. Послъдніе три тома сдъланы компаніею издателей-книгопродавцевь, которые что могли сдылать, какъ издатели, сдълали хорошо, т. е. издали эти три тома красиво и опрятно, но такъ же неполно, какъ были изданы (не ими, впрочемъ) первые восемь томовъ. Справедливый ропотъ публики, которая, заплатя за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина шестьдесять нять рублей асс. (сумну довольно

¹⁾ Четыре первыя статы этого разбора были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 года; статы 5, 6, 7 и 8 — въ 1844; статьи 9 и 10— въ 1845, а статья 11 — въ 1846 году.

значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имъла въ рукахъ полнаго собранія сочиненій Пушкина, этотъ ропотъ, соединенный съ столь же дурнымъ расходомъ трехъ последнихъ, какъ и восьми первыхъ томовъ, и справедливое негодование изкоторыхъ журналистовъ на такое оскорбленіе тѣни великаго поэта: все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочиненій Пушкина объщать отдъльное дополненіе къ нимъ, въ которомъ публика могла бы найдти рѣшптельно все, что написано Пушкинымъ и что не вошло въ одиннадцать томовъ полнаго собранія его сочниеній. А пропушено такъ много, что изъ дополнения вышелъ бы цилый томъ, — и тогда полное собраніе сочиненій Пушкина состояло бы пока изъ двънадцати томовъ. Говоримъ — пока: поо въ рукописи остаются еще матеріялы къ исторіи Петра Великаго, предпринятой Пушкинымъ. Говорятъ, что этихъ матеріяловъ стало бы на добрый томъ, и только одному Богу извъстно, когда русская публика дождется этого тома... Итакъ пока хорошо было бы дождаться хоть дополненія-то, объщаннаго издателями трехъ последнихъ томовъ. О немъ много толковали, п мы даже видбли опыты приготовленія къ этому дёлу, которое интересовало насъ еще и какъ удобный предлогъ къ началу объщанной нами статьи о Пушкинъ. Но время шло, а вожделънное дополнение не являлось, и мы, право, не знаемъ, явится. ли оно когда-нибудь; если же явится, то не потребуетъ ли еще другаго дополненія?... Это ръшило насъ, недожидаясь исполненія чужихъ объщаній, приняться наконецъ за исполненіе своихъ собственныхъ.

По, кромѣ тего, была еще и другая, болѣе важиая, такъ сказать болѣе впутренняя причина нашей медленности. Година безвременной смерти Пушкина, съ теченіемъ дней, отодвигается отъ настоящаго все далѣе и далѣе, и нечувствительно привыкаютъ смотрѣть на поэтическое поприще Пушкина не

какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнъ. Много творческихъ тайнъ упесъ съ собою въ раннюю могилу этотъ могучій поэтическій духъ; — но не тайну своего нравственнаго развитія, которое достигло своей апоген, и потому объщало только рядъ великихъ въ художественномъ отношении созданій, но уже не об'єщало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонинки Пушкина, съ нимъ вмъстъ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшеея эстетически, уже резко отделяются отъ новаго покольнія своею закоснь лостію и своею тупостію въ дель разумънія смънившихъ Пушкина корифеевъ русской литературы. Съ другой стороны, новое покольніе, развившееся на почвъ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатлѣній отъ поэзін Гоголя и Лермонтова, высоко цѣня Пушкина, въ то же время судить о немъ безпристрастно и спокойно. Это значить, что общество движется, идеть впередь черезъ свой въчный процессъ обновленія нокольній, и что для Пушкина настаетъ уже потомство. На Руси все растетъ не по годамъ, а по часамъ, и пять лътъ для пея — почти въкъ. Но новое мизніе о такомъ великомъ явленін, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругь и явиться совствы готовое; но, какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества; — каждый новый день, каждый новый фактъ въ жизни и въ литературъ, должны были измѣиять и образъ воззрънія на Пушкина.

По мара того, какъ раждались въ обществъ новыя потребности, какъ изманялся его характеръ и овладавали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всахъ фактовъ его движущейся жизии, — вса стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значеніякакъ поэтъ великій,

тъмъ не менъе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслъдствіе этого, Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства, уже въ двойственномъ видъ: это уже не поэтъ безусловно великій и для настоящаго и для будущаго, какимъ онъ былъ для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достопнства временныя, который имъетъ значение артистическое и значение историческое, словомъ, поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которыя болье или менье удовлетворяются и будутъ удовлетворяться имъ, а другою, большею и значительнъйшею стороною вполиъ удовлетворявшій своему настоящему, которое онъ вполнъ выразилъ и которое для насъ — уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу тъхъ творческихъ геніевъ, тъхъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріуготовляють будущее, и потому самому уже не могутъ принадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоитъ задача здравой критики, что она должна опредълить значение поэта и для его настоящаго и для будущаго, его историческое и его безусловно художественное значеніе. Задача эта не можетъ быть рашена однажды павсегда, на основанін чистаго разума: ніть, рішеніе ея должно быть результатомъ историческаго движенія общества. Чемъ выше явленіе, темъ оно жизненнее, а чемъ жизнениће явленіе, тъмъ болве зависить его сознаніе отъ движенія и развитія самой жизни. Лучшее, что можно сказать въ похвалу Пушкину и въ доказательство его величія, — то, что, при самомъ появленіи его на поэтическую арену, опъ встріченъ былъ и безусловными похвалами необдуманнаго энтузіазма, и ожесточенною бранью людей, которые въ рожденіи его поэтической славы увидъли смерть старыхъ литературныхъ понятій, а вмъстъ съ ними и свою нравственную смерть, — что запальчивые крики похваль и порицаній не умолкали ни на минуту ни въ продолженіе всей его жизни, ни послъ самой его жизни, и что каждое новое произведеніе его было яблокомъ раздора и для публики и для привилегированныхъ судей литературныхъ. Теперь утихаютъ эти крики: знакъ, что для Пушкина настало потомство, ибо запальчивая пря митній существуетъ только для предметовъ столь близкихъ глазамъ современниковъ, что они не въ состояніи видъть ихъ ясно и вполить, по причинъ самой этой близости. Судъ современниковъ бываетъ пристрастенъ; однакожь въ его пристрастіи всегда бываетъ своя законная и основательная причинность, объясненіе которой есть тоже задача истинной критики.

Ни одно произведение Пушкина—ни даже самъ «Онъгинъ» не произвело столько шума и криковъ, какъ «Русланъ и Людмила»: одни видъли въ немъ величайшее создание творческаго генія, другіе—нарушеніе всьхъ правиль піптики, оскорбленіе здраваго эстетическаго вкуса. То и другое мизніе теперь могло бы показаться равно нельнымъ, если не подвергнуть ихъ историческому разсмотрѣнію, которое покажеть, что въ нихъ обоихъ былъ смыслъ и оба они до извъстной степени были справедливы и основательны. Для насъ теперь «Русланъ и Людинла» — не больте, какъ сказка, лишенная колорита мъстности, времени, народности, а потому и не правдоподобная; несмотря на прекрасные стихи, которыми она нацисана, и проблески поэзін, которыми она поражаеть мъстами, она холодна, по признацію самого поэта (Т. XI, стр. 226.), и въ наше время, не у всякаго даже юноши станетъ охоты и теривнія прочесть ее всю, отъ начала до конца. Противъ этого, едва-ли кто станетъ тенерь спорить. Но въ то время, когда явилась эта поэма въ свътъ, она дъйствительно должна была показаться необыкновенно великимъ созданіемъ искусства. Вспомните,

что до нея пользовались еще безотчетнымъ уваженіемъ и «Душенька» Богдановича, и «Двънадцать Спящихъ Дъвъ» Жуковскаго: какимъ же удивленіемъ должна была поразить читателей того времени сказочная поэма Пушкина, въ которой все было такъ ново, такъ оригинально, такъ обольстительно — п стихъ, которому подобнаго дотолъ ничего не бывало, стихъ легкій, звучный, мелодическій, гармоническій, живой, эластическій, и складъ річи, и смілость кисти, и яркость красокъ, п граціозныя шалости юной фантазін, и игривое остроуміе, и самая вольность не цёломудренныхъ, но тёмъ не мепте поэтическихъ картинъ!... По всему этому, «Русланъ и Людмила»такая поэма, появленіе которой сділало эпоху въ исторін русской литературы. Если бы какой-нибудь даровитый поэтъ написаль въ наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, въ авторт этой сказки никто не увиделъ бы великаго таланта въ будущемъ, и сказки никто бы читать не сталь; но «Руслань и Людмила», какъ сказка во-время написанная, и теперь можетъ служить доказательствомъ того, что пе ошиблись предшественники наши, увидъвъ въ ней живое пророчество появленія великаго поэта на Руси. У всякаго времени свои требованія, и теперь даже обыкновенному таланту, не только генію, нельзя дебютировать чёмъ-нибудь въ родё «Руслана и Людмилы» Пушкина, «Оберона» Виланда, или-пожалуй, и «Orlando Furioso» Аріоста; но вев эти поэмы, шуточныя, волшебныя, рыцарскія и сказочныя явились въ свое время и, подъ этимъ условіемъ, прекрасны и достойны вниманія и даже удивленія. Итакъ, юноши двадцатыхъ годовъ (изъ которыхъ многимъ теперь уже далеко за сорокъ) были правы въ энтузіазмѣ, съ которымъ они встрѣтили «Руслана п Людмилу».

Съ другой стороны, имѣла причину и враждебность, съ которою литературныя старовъры встрѣтили поэму Пушкина: въ

ней не было ничего такого, что привыкли они почитать поэвією; эта поэма была, въ ихъ глазахъ, буйнымъ отрицаніемъ ихъ литературнаго корана. Такъ называемая война классицизма (мертвой подражательности утвержденнымъ формамъ) съ романтизмомъ (стремленіемъ къ свободъ и оригинальности формъ) была у насъ отголоскомъ такой же войны въ Европъ, и первая поэма Пушкина послужила поводомъ къ началу этой войны, пережитой Пушкинымъ. Следовавшія за лемь поэмы и лирическія стихотворенія Пушкина были для него рядомъ поэтпческихъ тріумфовъ. Энтузіасты провозгласили его ствернымъ Байрономъ, представителемъ современнаго человъчества. Причиною этого неудачнаго сравненія было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушшкинъ былъ на Руси полнымъ выразителемъ своей эпохи. Однакожь, какъ скоро пачало устанавливаться въ немъ броженіе книучей молодости, а субъективное стремление начало изчезать въ чисто-художественномъ направленін, — къ нему стали охладъвать, толиа ожесточенныхъ противниковъ стала возрастать въ числе, даже самые поклонники или начали примыкать къ толић порицателей, или переходить къ нейтральной сторонъ. Напболъе зрълыя, глубокія и прекраснъйшія созданія Пушкина были принаты публикою холодно, а критиками оскорбительно. Накоторые изъ этихъ критиковъ очень удачно воспользовались общимъ расположеніемъ въ отношеніи къ Пушкину, чтобъ отметить ему или за его къ нимъ презрѣніе. или за его славу, которая имъ по чему-то не давала покоя, или, лаконець, за тяжелые уроки, которые онъ проповъдаль имъ пногда въ легкихъ стихахъ летучихъ эпиграммъ...

Съ другой стороны, люди, искренно и страстно любившіе искусство, въ холодности публики къ лучшимъ созданіямъ Пушкина видъли только одно певъжество толны, увлекающейся юношескими и незрълыми произведеніями, но пеумъющей цъ-

нить обдуманныхъ твореній строгаго искусства. Смотря на искусство съ точки эрвнія исключительной и односторонней, его жаркіе поборники не хоттли понять, что если симпатів и антипатін большинства бывають часто безсознательны, зато рѣдко бываютъ безсмысленны и безосновательны, а напротивъ, часто заключають въ себъ глубокій смысль. Странно же, въ самомъ дълъ, было думать, чтобъ то самое общество, которое такъ дружно, такъ радостно, словно потрясенное электрическимъ ударомъ, въ первый еще разъ въ жизни своей откликнулось на голосъ пъвца и нарекло его своимъ любимымъ, своимъ народнымъ поэтомъ, странно было думать, чтобъ то же самое общество вдругъ охолодело къ своему поэту за то только, что онъ созрѣлъ и возмужалъ въ своемъ геніи, сділался выше и глубже въ своей творческой двятельности! А между твиъ, это охлаждение — фактъ, достовърность котораго можно доказать свидътельствомъ самого поэта: въ его запискахъ (томъ XI). въ нъкоторыхъ мъстахъ «Опъгина», въ стихотворени «Поэтъ» слышится горькая жалоба оскорбленной народной славы. Изъ этого нельзя было не заключить, что если публика была не совстмъ права въ своей холодности къ поэту, то и поэтъ все же пе былъ жертвою ея прихоти и, по вниъ или безъ вицы съ своей стороны, но не случайно же, а по какой-инбудь причинъ испыталъ на себѣ ел охлажденіе. Но отвѣта на эту загадку еще не было: отвътъ скрывался во времени, и только время могло дать его. Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопросъ: какъ и должно было ожидать, она снова и съ большею сплою обратила къ падшему поэту сочувствие и любовь общества. Восторженные поклонинки искусства, тъмъ болъе были поражены смертію поэта, и тъмъ болье скорбыли о ней, что векоръ за тъмъ появившіяся въ «Современникъ» посмертныя сочиненія Пушкина изумили ихъ своимъ художествен. нымъ совершенствомъ, своею творческою глубиною. Образъ Пушкина, украшенный страдальческою кончиною, предстояль передъ ними во всемъ блескъ поэтической апооеозы: это былъ для нихъ не только великій русскій поэтъ своего времени, но и великій поэть всёхь народовь и всёхь вёковь, геній европейскій, слава всемірная... Но не усибло еще войдти въ свои берега взводнованное утратою поэта чувство общества, какъ подняла свое жужжаніе и шпитиіе на страдальческую тінь великаго злопамятиая посредственность, мучимая болью отъ глубокихъ дарапинъ, еще незажившихъ следовъ львиныхъ когтей... Она начала, и прямо и косвенно, толковать о поэтическихъ заслугахъ Пушкина, стараясь унизить ихъ; не виопадъ п кстати начала сравнивать Нушкина и съ Мининымъ, и съ Пожарскимъ, и съ Суворовымъ, вићето того, чтобъ сравнивать его съ поэтами своей родины... Подобныя нелиности не заслуживали бы инчего, кром'т презрънія, какъ выраженіе безсильной злобы; но веселое скаканіе водовозныхъ существъ на могиль падшаго въ бою льва возмущаетъ душу, какъ эрълище неприличное и отвратительное; а наглое безстыдство низости имъетъ свойство выводить изъ теривнія достоинство, сильное одною истиною... Мудрено ли, что и такое инчтожное само но себъ обстоятельство, раздражая людей, способныхъ нонять и опринть Пушкина какъ должно, только болбе и болбе увлекало ихъ въ благородномъ, но вмъсть съ тъмъ и безотчетномъ удивленіп къ великому поэту?...

Между тъмъ, время шло впередъ, а съ нимъ шла впередъ и жизнь, порождая изъ себя новыя явленія, дающія сознанію повые факты и подвигающія его на пути развитія. Общество русское съ невольнымъ удивленіемъ, полнымъ ожиданія и надежды чего то великаго, обратило взоры на новаго поэта, смъло и гордо открывавшаго ему новыя стороны жизни и искусства. Равенъ ли по силъ таланта, или еще и выше Пушкина былъ Лермонтовъ— не въ томъ вопросъ: несомитию только,

что даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтовъ призванъ быль выразить собою и удовлетворить своею поэзіею несравненно высшее, по своимъ требованіямъ и своему характеру, время, чемъ то, котораго выражениемъ была поэзія Пушкина. Н менте, чты въ какія-нибудь пять льть, протекшія отъ смерти Пушкина, русское общество усивло и радостно встрътить пышный восходъ и горестно проводить безвременный закатъ новаго солнца своей поэзін!... Другой поэтъ, вышедшій на литературное поприще при жизни Пушкина и привътствованный имъ, какъ великая надежда будущаго, послъ долгаго и скорбнаго безмолвія, подариль наконець публику такимъ твореніемъ, которое должно составить эпоху и въ летописяхъ литературы, и въ летописяхъ развитія общественнаго сознанія... Все это было безмолвною, фактическою философіею самой жизни и самаго времени, для ръшенія вопроса о Пушкинь. Толки о Пушкинъ наконецъ прекратились, но не потому, чтобъ вопросъ о немъ переставалъ интересовать публику, а потому что публика не хочеть уже слышать повторенія старыхь, одностороннихъ мивній, требуя мивнія новаго и независимаго отъ предубеждьній, въ пользу пли невыгоду поэта. Повторяемъ: мнтніе это могло выработаться только временемъ и изъ времени, и-чуждые ложнаго стыда, не побопися сказать, что одною изъ главныхъ причинъ, почему не могли мы ранке выполнить своего объщанія нашимъ читателямъ, касательно разбора сочиненій Пушкина, было сознание неясности и неопредвленности собственнаго нашего понятія о значенін этого поэта. Знаемъ, что такое признаніе пробудить остроуміе нашихь доброжелателей: въ добрый часъ-пусть себя острятся! Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнаютъ за одинъ присъстъ и, узнавши разъ, одинаково думаютъ о предметъ всю жизнь свою, хвалясь неизмънчивостію своихъ мнъній и неспособностію ошибаться. Да, не завидуемъ: нбо глубоко убъждены, что только тотъ не y. VIII.

ошибался въ истинъ, кто не искалъ истины, и только тотъ не измънялъ своихъ убъжденій, въ комъ нътъ потребности и жажды убъжденія; исторія, философія и искусство — не то, что математика, съ ен въчными и неподвижными истинами: движеніе математики, какъ науки, состоитъ не въ движеніи ея истинъ, а въ открытіи новыхъ и кратчайшихъ путей къ достиженію неизмінныхъ результатовъ. Въ царстві математики нътъ случайности и произвола, за то нътъ и жизни, но исторія, философія и искусство живутъ какъ природа, какъ духъ человъческій, выражаемыя ими, жівуть, вічно изміняясь и обновляясь; ихъ единство скрыто въ многоразличіи и разпообразіи, необходимость — въ свободъ, разумность — въ случайности. Кто хочетъ уловлять своимъ сознаніемъ законы изъ развитія, тотъ самъ, подобно имъ, долженъ развиваться и доходить до результатовъ истины не въ легкомъ наслаждении апатическаго спокойствія, а въ бол'єзняхь и мукахъ рожденія: зерно истины въ благодатной душь то же, что младенецъ въ утробъ материпредметъ пламенной любви и трудныхъ попеченій, псточникъ блаженства и скорбей...

Кромф того, насъ останавливали еще предълы замышляемой нами статьи. Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго, и прозръвать въ историческую связь явленій. Чъмъ болье думали мы о Пушкинъ, тъмъ глубже прозръвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убъждались, что писать о Пушкинъ — значитъ писать о цълой русской литературъ: ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послъдовавшихъ за пимъ писателей. Эта мысль сколько истина, столько и утъщительна: она показываетъ, что, несмотря на бъдность нашей литературы, въ ней есть жизпенное движеніе и органическое развитіе, слъдственно, у нея есть

исторія. Мы далеки отъ самолюбивой мысли удовлетворительно развить это воззрѣніе на русскую литературу, и желаемъ только одного—хоть намекнуть на это воззрѣніе и проложить другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые порадуемся ихъ успѣху, а сами для себя будемъ довольны и тѣмъ, если намъ, намекомъ на это воззрѣніе, удастся положить конецъ старымъ толкамъ о русской литературѣ и произвольнымъ личнымъ сужденіямъ о русскихъ писателяхъ...

Вотъ для чего, приступая къ критическому разсмотрѣнію сочиненій Пушкина, мы почли за необходимое сперва обозрѣть ходъ и развитіе русской поэзіи (ибо предметъ нашихъ статей будетъ не литература въ обширномъ смыслѣ, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Державина, доставиль памь удобный случай взглянуть съ нашей точки зрънія на его творенія, и нашу статью о Державинъ мы считаемъ началомъ статьи о Пушкинъ, почему и намърены связать объ эти статьи обзоромь историческаго развитія русской поэзіп отъ Державина до Пушкина, черезъ что статья наша о Державинъ будетъ еще пополнена и уясиена общею идеею, которая должна быть основою всего ряда этихъ статей, образующихъ собою критическую исторію «изящной литературы» русской. Всятдъ за статьями о Пушкинт, мы немедленно приступимъ къ разбору (тоже давно нами объщанному) сочиненій Гоголя и Лермонтова. П хотя въ нашемъ журналъ не разъ и не мало было говорено объ этихъ инсателяхъ, однако же объщаемыя статьи нисколько не будутъ повтореніемъ сказаннаго.

Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даеть особенный характерь ей самой и ея исторіп; не понять этого обстоятельства, или не обратить

на него всего вниманія, значить не понять ни русской литературы, ни ея исторіп. Мы пачали ея характеристику сравненіемъ-и продолжимъ сравненіемъ же. Один растенія, будучи перенесены въ новый климатъ и пересажены въ повую почву, сохраняють свой прежній видь и свои прежнія качества; другія измъняются въ томъ и другомъ, по вліянію на нихъ новаго климата п новой почвы. Русская литература можетъ быть сравниваема съ растеніями втораго рода. Ел исторія, особенно до Пушкина (отчасти еще и до сихъ поръ), состоитъ въ постоянномъ стремленін — отръшиться отъ результатовъ искусственной пересадки, взять кории въ новой почет и укрѣпиться ея питательными соками. Идея поэзіп была выписана въ Россію по почтъ изъ Европы и явилась у насъ какъ заморское нововведеніе. Ее понимали какъ искусство слагать вирши на разные торжественные случаи. Тредіяковскій быль привилегированнымъ придворнымъ пінтой и «воспъвалъ» даже балы и маскарады придворные, словно какъ государственныя событія. Ломоносовъ, первый русскій поэтъ, тоже попималъ поэзію, какъ «воспъваніе» торжественныхъ случаевъ, и первая ода его (и въ то же время первое русское стихотворение, паписанное правильнымъ размѣромъ) была пъснію на взятіе русскими войсками Хотина. Это было въ 4739 году; стало быть, теперь этому сто четыре года. Впрочемъ, «пъснопъвческій» и «восиъвательный» взглядъ на поэзію созданъ не нашими первыми поэтами: такъ смотрѣли тогда на поэзію во всей просвѣщенной Европъ. Всеобщею извъстностію тогда пользовались только древнія литературы, изъ которыхъ греческая была или по наслышкъ извъстна, или искаженно и превратно понимаема, а латинская, лучше знаемая и болже доступная и любимая, считалась пдеаломъ всякой изящной литературы. Изъ новъйшихъ литературъ пользовались всеобщею извъстностію только французская и птальянская, особенно первая, ибо опа панболье находилась подъ вліяніемъ латинской, по крайней мѣрѣ, во внѣшнихъ формахъ. Нѣмецкой изящной литературы тогда еще пе существовало; испанская и англійская не были извѣстны за предѣлами своихъ земель.

Итакъ, изъ новъйшихъ литературъ, французская царила надъ всеми другими, гордо презпрая англійскую и испанскую, какъ выражение крайняго безвкусія, почитая Данта уродливымъ поэтомъ, и восхищаясь по своему Петраркою и Тассомъ. Вліяніе древнихъ литературъ на французскую (а слъдственно и на всъ другія въ Европъ того временп) состояло въ условныхъ понятіяхъ о высшей формъ поэтическихъ произведеній и уподобленіяхъ кстати и не кстати изъ языческой мивологіи. У древнихъ стихи не читались, а говорились речитативомъ съ аккомпаньеманомъ музыкальнаго инструмента — лиры; оттого у древнихъ «п'ять» значило въ переносномъ значеніи «сочинять стихи». Въ новомъ мірѣ, стихи не пѣлись, а читались, и лиры совству не существовало; но приличие требовало, чтобъ въ стихахъ не обходилось безъ «пою» и «лиры». Миоологія была выраженіемъ жизни древнихъ, и ихъ боги были не аллегоріями, не символами, не риторическими фигурами, а живыми понятіями въ живыхъ образахъ. Въ новомъ мірт царила религія Христа и, стало-быть, боговъ не было; но несмотря на то, нельзя было написать никакого стихотворенія, гдт бы не стртляли изъ лука Амуры и Купидоны, не выли Борен, Нептунъ не воздымалъ моря, Зефиры не дышали прохладою и т. д. А почему?-потому что такъ было у Грековъ и Римлянъ! По воззрѣнію Грековъ, трагедія могла быть только аповеозою государственной жизни, и оттого у нихъ дъйствовали въ ней только представители стихій государственности: цари, герои, военочальники, правители, жрецы (а по связи ихъ жизни съ религіею и боги); народъ же могъ присутствовать на сценъ только въ видъ хора, выражавшаго лирическими изліяніями євое участіе не въ происходящемъ передъ его глазами событіп, но свое участіе къ происходившему передъ его глазами событію. Едпиство основной идеи считалось у Грековъ столько необходимымъ условіемъ для трагедін, какъ и для всякаго другаго произведенія поэзіп; единство же міста п времени отнюдь не считалось необходимостію, но часто соблюдалось какъ по простотъ п немногосложности дъйствія, такъ и по обширности сцены. Араматурги новъйшаго міра поняли это по своему. Набожно хранили они въ трагедін правило тріединства; допускали въ нее только царей и героевъ съ ихъ наперсниками, а изъ престаго народа позволяли появляться на сцент одинмъ «втетни камъ». Вотъ что значитъ принять фактъ за пдею! Созданія греческой поэзін, вышедшія изъ жизни Грековъ и выразившія ее собою, показались для новыхъ поэтовъ нормою и первообразомъ для поэзін народовъ другой религін, другаго образованія, другаго времени! Это особенно видно пзъ понятія псевдоклассиковъ объ эпосъ: греческій эпосъ «Иліаду» и рабскій сколокъ съ нея — «Эненду» приняли они за эпосъ всеобщій и думали, что до скончанія міра всѣ эпическія поэмы должны писаться по ихъ образцу, безъ малъйшаго отступленія, даже начинаться не пначе какъ «муза, воспой», или «пою». Поэтому, истинная «Иліада» среднихъ въковъ—«Божественная Комедія» Данта, выразившая собою всю глубину духовной жизни своего времени, въ свойственныхъ этой жизни и этому времени формахъ, казалась имъ не эпическою поэмою, а уродливымъ проиизведеніемъ. Да и какъ могло быть ппаче: она начиналась не съ глагола «пою» и называлась — о, ужасъ! — комедіею!... Эпическая поэзія, по понятію исевдо классиковь, должна была «воспъвать» какое-нибудь великое событіе въ жизни человъчества, или въ жизни народа, — и въ какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событіе, оно должно быть наряжено въ багряницу или тогу, лишиться мъстнаго колорита, приводиться въ движеніе сверхъестественными силами, выражаться напыщенно и безцвътно, — чего необходимо требуетъ всякая поддълка подъ чужую форму и тъмъ болъе подъ чужую жизнь. Вотъ происхожденіе риторической поэзіи. Основаніе ея — отложеніе отъ жизни, отпаденіе отъ дъйствительности; характеръ— ложь и общія мъста. Такая-то поэзія была перенесена на Русь.

Ломоносовъ былъ первымъ основателемъ русской поэзіп п первымъ поэтомъ Руси. Для насъ теперь непонятна такая поэзія: она не оживляетъ нашего воображенія, пе шевелитъ сердца, а только производитъ въ насъ скуку и зъвоту. Но если сравнивать Ломоносова съ Сумароковымъ и Херасковымъ — стихотворцами, вышедшими на поприще послъ него, — то нельзя не признать въ Ломоносовъ значительнаго дарованія, которое пробивается даже въ ложныхъ формахъ риторической поэзіи того времени. Только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэтъ, чъмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ сопершковъ, и хотя Сумароковъ и Херасковъ цънились современниками не ниже его, но имъ до него—

Какъ до звъзды небесной далеко!

Сравнительно съ ними, языкъ его чистъ и благороденъ, слотъ точенъ и силенъ, стихъ исполненъ блеска и паренія. Если же не всякій могъ такъ писать, какъ Ломоносовъ, значитъ— нужно имътъ талантъ, чтобъ писать такъ, какъ писалъ онъ. Поэзія Корнеля и Расина для насъ — ложная, риторическая поэзія, и намъ отъ нея спиться такъ же сладко, какъ и отъ ноэзіи Сумарокова; по чтобъ и теперь писать такъ, какъ писали въ свое время Корнель и Расинъ, надо имътъ большой талантъ; писать же такъ, какъ писалъ Сумароковъ, не нужно было никакого таланта и въ его время, а нужна была только охота и страсть къ писанію. Въ одахъ Ломоносова: «Къ Іову», «Утреннее» и «Вечернее размышленіе о величествъ Божіемъ»,

кромъ замъчательнаго искусства версификаціи, видны еще одушевленіе и чувство, чего незам'тно ни въ одномъ стихотворенін Сумарокова пли Хераскова. Поэзія Ломоносова — хвалебная и торжественная по преимуществу. Сумароковъ инсаль, по крайней мара, комедін, эклоги, сатиры, крома трагедій п одъ; Ломоносовъ писалъ, только оды, и кромф ихъ написалъ двъ трагедін, да неконченную поэму «Петріаду». Таковъ быль духъ времени; такъ понимали тогда поэзію въ Европъ, и разстояніе между «Петріадою» Ломоносова и «Гепріадою» Вольтера, право, невелико. Въ «Петріадъ» Ломоносовъ описываетъ дворецъ Нептуна на диъ Бълаго-моря: нашъ поэтъ не подумаль о томъ, что отвель слишкомъ холодную квартиру обитателю Средиземнаго-моря и греческого Архипелага. Петръ Великій и-Нептунъ, морской богъ древнихъ Грековъ; какое сближеніе! Понятно, почему не кончиль Ломоносовъ своей, дикой, напыщенной поэмы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго tour de force воображенія, поднятаго на дыбы. Трагедіп Ломоносова похожи на его «Петріаду». Сумароковъ писаль во всёхъ родахъ, чтобъ сравняться съ господиномъ Вольтеромъ, и во всёхъ равно быль безталантенъ. Но о поэзіп тогда думали иначе, нежели думають теперь, и при страсти къ писанію и раздражительномъ самолюбін, трудно было не сдёлаться великимъ геніемъ. Современники были безъ ума отъ Сумарокова. Вотъ что говорить о немъ одинъ изъ замъчательнъйшихъ и умнъшихъ людей Екатерининскихъ временъ, Новиковъ, въ своемъ «Опытъ историческаго словоря о россійскихъ писателяхъ»:

«Различных» родовъ стихотворными и прозапческими сочиненіями пріобръдъ онъ себѣ великую и безсмертную славу не только отъ Россіянъ, но и отъ чужестранныхъ, академій и славнъйшихъ европейскихъ писателей. И хотя первый изъ Россіянъ онъ началъ писать трагедіи по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства; но столько успѣлъ во оныхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина. Его эклоги равняются знающими людьми съ Виргиліевыми,

и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго Парнасса; и въ семъ родъ стихотворенія далеко превосходить онъ Федра и де да Фонтена, славиъйшихъ въ семъ родъ. Впрочемъ всъ его сочиненія, любителями россійскаго стихотворства весьма много почитаются» (стр. 207—208).

Такія похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смёшны; но онё имёють свой смысль и свое основаніе, доказывая, какъ важны, полезны и дороги для усиёховъ литературы тё смёлые и неутомимые труженики, которые въ простотё сердца, принимають свою страсть къ бумагомаранію за великій таланть. При всей своей бездарности, Сумароковъ много способствоваль къ распространенію на Русп охоты къ чтенію и къ театру. Современники дорожать такими людьми, добродушно удивляясь имъ, какъ геніямъ. Воть что говорить тоть же Новиковъ о Василіп Кирилловичъ Тредіяковскомъ:

«Сей мужъ былъ великаго разума, многаго ученія, обширнаго знанія, и безпримърнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, италіянскомъ и въ своемъ природномъ языкѣ; также въ философін, богословін, красноръчіи и въ другихъ наукахъ. Полезными своими трудами пріобрълъ себъ беземертную славу, и первый въ Россіи сочинилъ правилы новаго россійскаго стихосложенія, много сочинилъ книгъ, а перевелъ и того больше, да и столь много, что кажется невозможнымъ, чтобъ одного человъка достало къ тому столько силъ; ибо' одну древиюю Ролленеву исторію перевель опъ два раза... При томъ не обинуясь къ его чести сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству: при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворець и первый положившій толико труда и прилежанія въ переводъ на россійскій языкъ преполезныхъ книгъ» (стр. 418 — 419).

Мы не безъ намъренія дълаемъ эти выписки; свидътельство современниковъ, какъ всегда пристрастное, не можетъ служить доказательствомъ истины и послъднимъ отвътомъ на вопросъ; но оно всегда должно приниматься въ соображеніе при сужденіи о писателяхъ, ибо въ немъ всегда есть своя часть истины часто невозможная для потомства. Посему, мы не разъ

THE STATE OF THE S

еще прибъгнемъ къ подобнымъ выпискамъ въ продолженіи нашей статьи, чтобъ показать ими, какъ смотръли на того или другаго писателя его современники, изъ чего, иъкоторымъ образомъ, можно судить о степени его важности и въ исторіи литературы.

Громкою славою пользовались у знатоковъ и любителей литературы того времени четверо писателей изъ школы Ломоносова — Поповскій, Херасковъ, Петровъ и Костровъ. Поповскій обязанъ своею громкою извѣстностію въ то время лестнымъ отзывамъ Ломоносова о переведенномъ имъ стихами «Опытѣ о Человѣкъ» Иопа. Вотъ что говорить о Поповскомъ Новиковъ:

«Опыть о человъкъ славнаго въ ученомъ ссътъ Попія перевель онъ съ французскаго языка на россійскій, съ такимъ искусствомъ, что по митнію знающить людей гораздо ближе подошель къ подлиннику и не знавъ англійскаго языка, что доказываеть какъ его ученость, такъ и проницаніе въ мысли авторскія. Содержаніе сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести ее трудно; но онъ перевель съ французскаго, перевель въ стихи, и перевель съ совершеннымъ искусствомъ, какъ философъ и стихотворець: напечатана сія книга въ Москвъ 1757 года. Онъ передожилъ съ латинскаго языка въ латинскіе стихи Гораціеву эпистолу о стихотворствъ, и иъсколько изъ его одъ; также перевель прозою книгу о воспитаніи дътей, состоящую въ двухъ частяхъ, славнаго Лока: сей переводъ по миньнію знающихъ людей едеа не превосходить ли и подлинникъ. Онъ сочиниль иъсколько ръчей, читанныхъ въ публичныхъ собраніяхъ, и также писаль торжественныя оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображенія просты, ясны, пріятны и превосходны» (стр. 468 — 469).

Поповскій умеръ 30 льть, и сжегь свой переводь Тита Ливія (котораго перевель больше половины) и переводь многихь одь Анакреона, будучи педоволень своими переводами и боясь, чтобъ посль его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповскаго, по своему времени, дъйствительно хороши, а недовольство его несовершенствомъ трудовъ своихъ еще болье обнаруживаетъ въ немъ человька съ дарованіемъ. Замъчательно, что

многія мъста переведеннаго пмъ «Опыта» были не пропущены тогдашнею цензурою.

Херасковъ написалъ цёлые двепадцать томовъ. Онъ былъ и эпикъ, и ларикъ, и трагикъ, ипсалъ даже «слезныя драмы» и комедін, и во всемъ этомъ обнаружилъ большую страсть къ литературъ, большое добродушіе, большое трудолюбіе и-большую безталантность. По современники думали о немъ иначе, и смотрѣли на него съ какимъ-то робкимъ благоговѣніемъ, какого не возбуждали въ нихъ ни Ломопосовъ, ни Державинъ. Причиною этого было то, что Херасковъ подарилъ Россію двумя эпическими пли геропческими поэмами — «Россіадою» и «Владиміромъ». Эпическая поэма считалась тогда высшимъ родомъ поэзіп, п не имъть хоть одной поэмы народу, значило тогда не имъть поэзіи. Какова же должна быть гордость отцовъ нашихъ, которые знали, что у Итальянцевъ была одна только поэма — «Освобожденный Іерусалимъ», у Англичанъ, тоже одна — «Потерянный Рай», у Французовъ одна, и то недавно написанная — «Генріада», у Нъмцевъ, одна, почти въ одно время съ поэмами Хераскова написанная-«Мессіада», даже у самихъ Римлянъ только одна поэма, а у насъ, Русскихъ, такъ же какъ и Грековъ, цълыя двъ! Каковы эти поэмы — объ этомъ не разсуждали, тъмъ болъе, что никому въ голову не приходила мысль о возможности усомниться въ ихъ высокомъ достоинствъ. Самъ Державинъ смотръль на Хераскова съ благоговъніемъ и разъ, безъ умысла, написаль на него злую эпиграмму, думая написать мадригаль, въ стихотвореніи «Ключъ», который оканчивается следующими стихами:

> Творца безсмертной Россіады, Священный Гребеневскій ключь, Иоиль водой ты стихотворства.

Дмитріевъ такъ выразиль свое удивленіе къ Хераскову, въ этой надписи къ его портрету:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ; Хераскову они вреда не принесутъ: Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Мы увидимъ ниже, какъ долго еще продолжалось мистическое уваженіе къ творцу «Россіады» и «Владиміра», несмотря на сильныя возстанія противъ его авторитета ийкоторыхъ дерзкихъ умовъ: оно совершенно окончилось только при появленіи Пушкина. Причина этого мистического уваженія къ Хераскову заключается въ риторическомъ направленіи, глубоко охватившемъ нашу литературу. Кром'в этихъ двухъ стихотворныхъ поэмъ, Херасковъ написалъ еще три поэмы въ прозв: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» и «Нума Помиллій, пли Процеттающій Римъ». «Похожденія Телемака» Фенелона, «Гонзальвъ Кордуанскій» и «Нума Помпилій» Флоріана, были образцами прозапческихъ поэмъ Хераскова. Замъчательно предисловіе автора къ первой изъ нихъ: «Мнъ совътывали переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно пріяло. Надіюсь, могуть читатели повіршть мит, что я въ состояній быль издать сіе сочиненіе стихами; но я не поэму писаль, а хотъль сочинить простую токмо повъсть, которая для стихословія не есть удобна. Кому извъстны пінтическія правила, тотъ при чтеніп сей книги почувствуєть, для чего не стихами она писана». Далье, Херасковъ возстаетъ противъ митнія Тредіяковскаго, утверждавшаго, что поэмы должны писаться безъ рифмъ и что «Телемакъ» именно потому не ниже «Иліады», «Одиссеи» и «Энеиды» и выше всъхъ другихъ поэмъ, что писанъ безъ риомъ. Дътское простодушіе этихъ мивній и споровъ лучше всего показываетъ, какъ далеки были словесники того времени отъ истиннаго понятія о поэзіи, и до какой степени видели они въ ней одну риторику. Въ «Полидоръ» особенио замъчательно внезапное обращение Хераскова къ русскимъ писателямъ. Имена пхъ означены только заглавными буквами — характерическая черта того времени чрезвычайно скрупулёзнаго въ дёлё печати. Но мы выпишемъ ихъ имена вполий, кромё тёхъ, которыя трудно угадать:

«Такова есть сила ибснословія, что боги сами восхищаются привлекательнымъ музъ пъніемъ, музъ небесныхъ, першества ихъ на ходмистомъ Олимпъ сопровождающихъ; — и кто не восхитится стройностію лиръ пріятныхъ? чье сердце не тронется сладостнымъ гласомъ музами вдохновенныхъ піптовъ! сердце суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слухъ имъющее, или пріятности стихотворства ощущать не сотворенное. Можеть ан чувствительная душа, можеть ли въ восторгъ не прійдти, внимая громкому и важному пънію наперсника музъ, парящаго Ломоносова? Можетъ ли кто не планиться нажными и пріятными твореніями С. 1)? Я пою въ моемъ отечествъ, и пінтовъ россійскихъ печисляю; мий они путь къ горф парнасской проложили; свётомъ ихъ озаряемый, воспыля я россійскихъ древнихъ царей и героевъ; воспыля Кадма не стопосложнымъ, но простымъ слогомъ; нынѣ новѣствую Поледора, не винмая сужденію нелюбителей россійскаго слова, ни укоризнамь завистливыхъ человъковъ, въ уничижения другихъ славу свою поставляющихъ. Но пусть они гиппокренскаго источника прежде меня достигнуть, тогда, уступнвъ имъ лавры, спокойно за пими последую; слабыя и недостойныя творенія забвенны будуть. А вы, мои предшественники, вы, мон достославные современники, въ намяти нашихъ потомковъ впечататны и славимы въчно будете; — и ты, бардъ временъ нашихъ, превосходный пъвецъ и тщательный списатель красотъ натуры 2)! И ты, Державинь, во въки не умрешь по твоему вдохновенному свыше изреченію. Но не давай прохлаждаться священному пламени, въ духъ твоемъ музами воспаленномъ: музы пе любятъ, кто, ими призываемъ будучи, ръдко съ ними бесъдуеть. Тебъ, любимецъ музъ, Русскій путешественникъ Карамзинъ; тебъ, чувствительный Нелединскій; тебъ, пріятный извецъ Динтріевъ; тебъ, Богдановичъ, творецъ Душеньки, и тебъ, Истровъ, писатель одъ громогласныхъ, важностію преисполненныхъ, то же я въщаю. А вы, юные музъ питомцы, вы россійскаго пъснопънія любители! шествуйте ко храму ихъ медленно, осторожно и рачительно; онъ воздвигнутъ на горъ

Должно быть, дёло идеть о Евстафіи Станевичть, весьма плохомъ пінтё того времени.

²) Здёсь, вёроятно, идеть дёло о Бобровь, авторё описательной поэмы: «Херсонида, или лётній день на полуостровё херсонидё» и разныхъ лирическихъ стихотвореній. Бобровь замёчателень тёмь, что быль знакомъ съ англійскою литературою и подражаль ея писателямъ Поповской школы.

высокой; стези къ нему, пробирають сквозь сказы крутыя, извитыя, перепутанияя. Достигнувъ парнасскія вершины, изліянный поть вашъ, раченіе, тщательность ваша, осъняющими гору древесами прохлаждены будуть; чело ваше пріосънится вънцемъ неувядаемымъ. Но памятуйте, что ядовитость, самолюбіе и тщеславіе музамъ не приличны суть; онъ дъвы, и любять непорочность правовъ, любять нѣжное сердце, сердце чувствующее, душу мыслящую. Непифющіе правиль добродътели главнымъ своимъ видомъ, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, блага общаго нарушители, друзьями ихъ наръчься не могутъ. Буди цѣломудръ и кротокъ, кто безсмертныя пѣсни составлять хочеть! Таковы строги суть уставы горы парнасской, на коей возсѣдять безсмертные пінты, витіи и прочіе други Фявовы». (Тв. Хераск. Т. XI, стр. 1—3).

Бъдный Херасковъ! думалъ ли онъ, пиша эти строки, что, всю жизнь свою строго исполнявъ правственныя правила своей эстетики, онъ тъмъ не менъе самъ будетъ забытъ неблагодарнымъ потомствомъ?

Странно, однако, что отзывъ Новикова о Херасковъ сдъланъ въ довольно умъренныхъ выраженіяхъ: «Вообще сочиненія его весьма много похваляются; а особливо, трагедія Бориславъ, оды, пъсни, объ поэмы, всъ его сатирическія сочиненія и Нума Помпилій, приносятъ ему великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и пріятно, слогъ текущъ и твердъ, изображенія сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческаго огня, сатирическія сочиненія остроты и пріятныхъ замысловъ, а Нума Помпилій философическихъ разсужденій; и онъ по сираведливости почитается въ числъ лучшихъ нашихъ стихотворцовъ, и заслуживаетъ великую похвалу» (стр. 237).

Петровъ считался громкимъ лирикомъ и остроумнымъ сатирикомъ. Трудно вообразить себъ что-нибудь жостче, грубъе и напыщениъе дебелой лиры этого семинарскаго пъвца. Въ одъ его «на Побъду россійскаго флота надъ турецкимъ» много той напыщенной высокопарности, которая почиталась въ то время лирическимъ восторгомъ и пінтическимъ пареніемъ. И потому эта ода особенно восхищала современниковъ. И дъйствительно, она лучше всего прочаго, написаннаго Петровымъ, потому что

все прочее изъ рукъ вонъ плохо. Грубость вкуса и площадность выраженій составляють характерь даже нѣжныхъ его стихотвореній, въ которыхъ онъ воспіваль живую жену и умершаго сына своего. Но такова спла преданія: Каченовскій еще въ 1843 году, когда Петрова давно уже не было на свътъ, восхваляль его въ своемъ «Въстинкъ Европы»! Странно, что въ «Опыть историческаго Словаря о россійскихъ писателяхъ», Новиковъ холодно и даже насмъшливо, а потому и весьма справедливо, отозвался о Петровъ: «Вообще о сочиненіяхъ его сказать можно, что онъ напрягается идти по следамъ россійскаго лирика; 'и хотя нъкоторые и называютъ уже его вторымъ Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежить ожидать важнаго какого-нибудь сочиненія, и послё того заключительно сказать, будеть ли онъ вторый Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будетъ имъть честь слыть подражателемъ Ломоносова» (стр. 163). Этотъ отзывъ взобенлъ Петрова, п онъ отвътилъ сатирою на «Словарь», которая можетъ служить образцомъ его сатирическаго остроумія:

....... Я шлюсь на Словаря,
Въ немъ пмя ты мое найдешь безъ фонаря;
Смотритко, тамо я какъ солнышко блистаю,
На самой маковкъ Парнасса превитаю!
То правда, косна желвь тамъ сдълана ордомъ,
Кокупка лебедемъ, ворона соколомъ;
Тамъ монастырскіе запечны лежебоки
Ножалованы всъ въ искусники глубоки;
Коль върпть Словарю, то сколько есть дворовъ,
Столь много на Руси великихъ авторовъ;
Тамъ подлой на ряду съ писцомъ стоитъ алырщикъ,

Съ баклагой сбитенщикъ, и водоливъ съ бадьей; А все то авторы, все мужи имениты, Да были до сихъ поръ оплошностью забыты: Теперь свъть умному обязанъ молодцу, Что полну ихъ именъ составиль памятцу;

Въ дип древии, въ старину жилъ, былъ де царь Ватуто, Онъ былъ, да жилъ да былъ, и сказка-то вся туто. Такой-то въ эдакомъ писатель жилъ году, Ни строчки на своемъ не издаль онъ роду; При всемъ томъ слогъ имълъ, повърьте, молодецкой; Зналь греческій языкь, китайской и турецкой. Тотъ умныхъ столько-то наткалъ проповъдей: Да ихъ въ печати ивтъ. О! быль онъ грамотви; Въ семъ годъ цвълъ Оома, а въ здакомъ Ерема; Какая же по немъ осталася поэма? Слогъ пылокъ у сего и разумъ такъ летучъ, Какъ молнія въ эфиръ сееркающа изъ тучъ. Сей первый издаль въ свёть шутливую піесу, По точнымъ правиламъ и хохота новъсу. Сей надпись начерталь, а этоть патерикь; Въ томъ разума быль пудъ, а въ этомъ четверикъ. Тотъ истину хранилъ, чтилъ сердцемъ добродътвль. Друзьямь быль върный другь и бъднымь благодътель; Въ великомъ тълъ духъ великой же имълъ, И видя смерть въ глазахъ быль мужествень и смёль. Словарникъ знаетъ все, въ комъ умъ глубокъ въ комъ мелокъ. Кто съ нимъ ватажился, быль другь ему и брать, Во святцахъ тотъ его не меньше какъ Сократъ...

Костровъ прославиль себя переводомъ шести пъсепъ «Иліады» шести-стопнымъ ямбомъ. Переводъ жостокъ и дебелъ, Гомера въ немъ пътъ и признаковъ; но онъ такъ хорошо соотвътствовалъ тогдашнимъ понятіямъ о поэзіи и Гомеръ, что современники не могли не признать въ Костровъ огромнаго таланта.

Изъ старой до-Державинской школы, пользовался большою извъстностію подражатель Сумарокова—Майковъ. Опъ написаль двъ трагедіи, сочиняль оды, посланія, басии, въ особенности прославился двумя такъ называемыми «комическими» поэмами: «Елисей, пли раздраженный Вакхъ» и «Игрокъ Ломбера». Г. Гречъ, составитель послужныхъ и литературныхъ сиисковъ русскихъ литераторовъ, находитъ въ поэмахъ Майкова «необыкновенный пінтическій даръ»; но мы, кромѣ пло-

щадныхъ красотъ и веселости дурнаго тона, имчего въ нихъ не могли найдти.

Съ Державина начинается новый періодъ русской поэзін, п какъ Ломоносовъ былъ первымъ ея именемъ, такъ Державинъ быль вторымь. Вь лиць Державпиа, поэзія русская сдёлала великій шагъ впередъ. Мы сказали, что въ пъкоторыхъ стихотворныхъ піесахъ Ломоносова, кромѣ замѣчательнаго по тому времени совершенства версификаціи, есть еще и одушевленіе и чувство; но здёсь должны прибавить, что характеръ этого одушевленія п этого чувства обнаруживаеть въ Ломоносовъ скоръе оратора, чёмъ поэта, и что элементовъ художественныхъ рѣшительно не заметно ни въ одномъ его стихотворенія. Державинъ, напротивъ, чисто-художинческая патура, поэтъ по призванію; произведенія его преисполнены элементовъ поэзін какъ искусства, и если, несмотря на то, общій и преобладающій характеръ его поэзін — риторическій, въ этомъ виновать не онъ, а его время. Въ Ломоносовъ боролись два призванія поэта и ученаго, и послъднее было сильнъе перваго; Державинъ былъ только поэтъ, и больше пичего. Въ стихотвореніяхъ его уже печего удивляться одушевлению и чувству — это не первое и не лучшее ихъ достоинство: опъ запечатлъны уже высшимъ признакомъ искусства — проблесками художественности. Муза Державина сочувствовала музѣ эллпиской, цариць всьхъ музъ, и въ его анакреонтическихъ одахъ промелькивають пластическіе и граціозные образы древней антологической поэзін; а Державинъ, между тъмъ, не только не зналъ древнихъ языковъ, но и вообще лишонъ былъ всякаго образованія. Потомъ, въ его стихотвореніяхъ не радко встрачаются образы и картины чисто русской природы, выраженные со всею оригинальностію русскаго ума и ръчп. И если все это только промелькиваетъ и проблескиваетъ, какъ элементы и частности, а не является цълымъ и оконченнымъ, какъ созданія выдержан-

ныя и полныя, такъ что Державина должно читать всего. чтобы изъ разстянныхъ мъстъ въ четырехъ томахъ его сочиненій составить понятіе о характер'я его ноэзін, а ни на одно стихотвореніе нельзя указать, какъ на художественное произведеніе, причина этому, повторяемъ, не въ недостаткъ, или слабости таланта этого богатыря нашей поэзін, а въ историческомъ положеніи и литературы и общества того времени. Постянное Екатериною ІІ возрасло уже нослі нея, а при ней вся жизнь русскаго общества была сосредоточена въ высшемъ сословін, тогда какъ вст прочія были погружены во мракт невтжества и необразованности. Следовательно, общественная жизнь (какъ совокупность извъстныхъ правилъ и убъжденій, составляющихъ душу всякаго общества человъческаго) не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріяловъ. Хотя онъ и воспользовался всёмъ, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобъ поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразите поэзіп Ломоносова (поэта временъ Елизаветы), но не для того, чтобъ онъ могъ сдълаться поэтомъ не одного своего времени. Сверхъ того, такъ какъ всякое развитіе совершается постепенно и послъдующее всегда испытываетъ на себъ неизбежное вліяніе предшествовавшаго, то Державинъ не могъ, вопреки своей поэтической натурь, смотрыть на поэзію иначе, какъ съ точки зрънія Ломоносова, и не могъ не видъть выше себя не только этого учителя русской литературы и поэзін, но даже Хераскова и Петрова. Однимъ словомъ: поэзія Державина была первымъ шагомъ къ переходу вообще русской поэзін отъ риторики къ жизни, но не больше.

Мы здісь только повторяемь, для связи настоящей статьи, resumé нашего воззрінія на Державина; кто хочеть доказательствь, тіхь отсылаемь къ нашей стать о Державинь (Ч. VII, стр. 55).

Важное мъсто долженъ занимать въ исторіи русской литературы еще другой писатель Екатерининскаго въка: мы говоримъ о Фонъ-Визинъ. Но здъсь мы должны на минуту воротиться къ началу русской литературы. Кромв того обстоятельства, что русская литература была, въ своемъ началъ, нововведеніемъ и пересадкою, — начало ея было ознаменовано еще другимъ обстоятельствомъ, которое темъ важнее, что оно вышло изъ историческаго положенія русскаго общества и иміло сильное и благодътельное вліяніе на все дальнъйшее развитіе нашей литературы до сего времени, и досель составляеть одну изъ самыхъ характеристическихъ и оригинальныхъ чертъ ея. Мы разумњемъ здъсь ея сатирическое направленіе. Первый по времени поэтъ русскій, писавшій варварскимъ языкомъ и силлабическимъ стихосложеніемъ, Кантемиръ, быль сатирикъ. Если взять въ соображение хаотическое состояние, въ которомъ находилось тогда русское общество, эту борьбу умирающей старины съ возникающимъ новымъ, то нельзя не признать въ поэзін Кантемира явленія жизненнаго и органическаго, и ничего ивтъ естествениве, какъ явление сатирика въ такомъ обществъ.

Съ легкой руки Кантемира, сатира виздрилась, такъ сказать, въ правы русской дитературы, и имела благодетельное вліяніе на правы русскаго общества. Сумароковъ велъ ожесточенную войну противъ «кропивнаго зелья»—лихопицевъ; Фонъ-Визинъ казнилъ въ своихъ комедіяхъ дикое невёжество стараго поколенія и грубый лоскъ поверхностнаго и визшняго европейскаго полуобразовація новыхъ поколеній. Сынъ XVIII века, умный и образованный, Фонъ-Визинъ умелъ сметаться, вместь, и весело и ядовито. Его «Посланіе къ Шумилову» переживетъ всё толстыя поэмы того времени. Его письма къ вельможе изъ-за границы, по своему содержанію, несравненно дельные и важные «Писемъ Русскаго Путешественника»: читая

ихъ, вы чувствуете уже начало французской революни въ этой страшной картинъ французскаго общества, такъ мастерски нарисованной нашимъ путешественникомъ, хотя, рисуя ее. онъ, какъ и сами Французы, далекъ былъ отъ всякаго предчувствія возможности, или близости страшиаго переворота. Его исповедь и юмористическія статейки, его вопросы Екатеринъ II, —все это исполнено для насъ величайшаго интереса, какъ живая лътопись прошедшаго. Языкъ его хотя еще не Карамзинскій, однако уже близокъ къ Карамзинскому. Но, по предмету нашей статьи, для насъ всего важиве двв комедін Фонъ-Визина—«Недоросль» и «Бригадирь». Обт онт не могуть назваться комедіями въ художественномъ смысле этого слова: это скоръе плодъ усилія сатиры стать комедіею, но этимъ-то и важны онъ: мы видимъ въ нихъ живой моментъ развитія разъ занесенной на Русь иден поэзіи, видимъ ея постепенное стремленіе къ выраженію жизни, дъйствительности. Въ этомъ отношенін, самые недостатки комедій Фонъ-Визина дороги для насъ, какъ факты тогдашней общественности. Въ ихъ резонёрахь и добродётельных людяхь слышится для насъ голось умныхъ и благонамъренныхъ людей того времени, - ихъ попятія и образъ мыслей, созданныя п направленныя съ высоты престола.

Хемпицеръ, Богдановичъ и Каппистъ тоже принадлежатъ уже ко второму періоду русской литературы: ихъ языкъ чище, и книжный риторическій педантизмъ замѣтенъ у нихъ менѣе, чѣмъ у писателей Ломоносовской школы. Хемпицеръ важиѣе остальныхъ двухъ въ исторіи русской литературы: онъ былъ первымъ баснописцемъ русскимъ (ибо притчи Сумарокова едва ли заслуживаютъ упоминовенія), и между его басиями есть иѣсколько истинио прекрасныхъ и по языку, и по стиху, и по наивному остроумію. Богдановичъ произвелъ фуроръ своею «Душенькою»: современники были отъ нея безъ ума. Для этого

достаточно привести, какъ свидътельство восторга современниковъ, три слъдующія надгробія Дмитріева творцу «Душеньки»:

I.

Привъсьте къ урнъ сей, о грація! вънецъ: Здъсь Богдановичь спить, любимый вашь итвецъ.

IΤ

Въ спокойстви, въ мечтахъ его текли вск дъта, Но онъ внимаемъ быль владычицей полсвъта, И въ памяти его Россія сохранить. Сынъ Феба! возгордись: здъсь музъ любимець спитъ.

III.

На руку преклонясь вечернею порою, Амуръ певидимо здёсь часто слезы льеть, И мыслить, отягчень тоскою: Кто Душеньку теперь такъ мило воспоеть?

Ко второму изданію сочиненій Богдановича, вышедшему уже въ 1818 году, приложено множество эпитафій и элегій, написанных во время оно по случаю смерти півца «Душеньки» (а онъ умеръ въ 1802 году). Между ними особенно замічательны три; первая припадлежить издателю Платону Бекетову, человіку умному и не безъизвістному въ литературі; воть она:

Зефиръ ему перо изъ крылъ своихъ давалъ; Амуръ водилъ рукой: онъ Душеньку писалъ.

Вторая написана близкимъ родствениикомъ автора «Душеньки», Иваномъ Боглановичемъ:

Не нужно надписьми могилу ту пестрить, Гдв Душенька одна все можеть замънить.

Третья принадлежитъ анониму и написана по французски:

Quoique bien tu sois l'auteur De ce poëme enchanteur, Tu seras un temeraire, Si tu mets au bas ton nom, Bogdanovitz! pour bien faire Il faut signer Apollon.

Кстати: въ предисловін ко второму изданію сочиненій Богдановича, издатель говорить, что перваго изданія (1809 — 1810) не усибло разойдтись и 200 экземиляровъ, какъ въ Москву вступнать непріятель; сочиненія Богдановича, разумъстся, подверглись общей участи всъхъ книгъ въ это смутное время, и потому въ последствии уцелевние экземпляры перваго изданія сочиненій Богдановича, вмісто двінадцати рублей, продавались въ книжныхъ лавкахъ по шестидесяти рублей!... Восторженное удивленіе къ Богдановичу продолжалось долго. Самъ Пушкинъ съ любовію и увлеченіемъ не разъ дъладъ къ нему обращенія въ стихахъ своихъ. А между темъ, для насъ теперь поэма эта лишена всякаго признака поэтической предести. Стихи ея, пеобыкновенно гладкіе и легкіе для своего времени, теперь и тяжелы и неблагозвучны; напвность разсказа и нѣжность чувствъ приторны, а содержаніе ребячески-ничтожно. И ни въ содержаніи, ни въ формъ «Душеньки» Богдановича ибтъ и твни поэтпческаго миоа и иластической красоты эллинской. Что жь было причиною восторга современниковъ? — ни что другое, какъ необычайная для того времени легкость стиха, состоявшаго изъ неоднообразнаго количества стопъ, отсутствіе тяжелаго и напыщенно-восторженнаго тона, начинавшаго падоъдать, и при этомъ: соблазнительная вольность содержанія картинъ, законно допущенная шутливымъ родомъ стихотворенія и льстившая фантазіи и чувству читателей.

Капинстъ писалъ оды, между которыми иныя отличались элегическимъ тономъ. Стихъ его отличался необыкновенною легкостью и гладкостью для своего времени. Въ элегическихъ одахъ его, слышится душа и сердце. Но этимъ и оканчиваются всё достоинства его поэзіп. Онъ часто злоупотреблялъ своею грустью и слезами, ябо грустилъ и плакалъ въ одной и той же одё на иёсколькихъ страницахъ. Капинстъ знаменитъ еще,

какъ авторъ комедіи «Ябеда». Это произведеніе незначительно въ поэтпческомъ отношеній, но принадлежитъ къ исторически важнымъ явленіямъ русской литературы, какъ смѣлое и рѣшительное нападеніе сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, такъ страшно терзавшія общество прежняго времени.

Теперь мы приблизились къ одной изъ интересивишихъ эпохъ русской литературы. Посъянное п насажденное Екатериною II пачало возрастать и приносить плоды. По мъръ того, какъ цивилизація и просвъщеніе стали утверждаться на Руси, начала распространяться и литературная образованность. Вслъдствіе этого, появленіе преобразовательныхь талантовь, имъвшихъ вліяніе на ходъ и направленіе литературы, стало чаще и обыкновениће, чемъ прежде, а новые элементы стали скоръе входить въ литературу. Въ то время, какъ Державияъ быль уже въ апогев своей поэтической славы, оставаясь на одномъ и томъ же мъсть, не двигаясь ни взадъ, ни впередъ; въ то время какъ были еще живы Херасковъ, Петровъ, Костровъ, Богдановичъ, Княжнинъ и Фонъ-Визинъ; въ то время, когда еще Крыловъ былъ юношею по 21-му году, Жуковскому было только шесть лътъ отъ роду, Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на свъть, — въ то время одинъ молодой человекъ 24 леть отправился за границу. Это было въ 1789 году, а молодой человъкъ этотъ былъ — Карамзинъ. Π о возвращени изъ за границы, онъ издавалъ въ 1792 и 1793годахъ «Московскій Журналъ», въ которомъ помѣщали свои сочиненія Державинъ и Херасковъ. Въ 1794 году, онъ издалъ въ двухъ частяхъ альманахъ «Аглая» и альманахъ «Моп Бездълки» (въ двухъ частяхъ); въ 1797 — 1799 годахъ онъ напечаталь три тома «Аонидъ», а въ 1802 и 1803 году издаваль основанный имъ журналь «Въстникъ Евроны», который въ 1808 году пздавалъ — Жуковскій. Въ 1804 году, въ первый разъ была представлена въ Петербургъ трагедія Озерова — «Эдинъ въ Аоннахъ»; а въ 1805, 1807 и 1809 годахъ были въ первый разъ представлены его трагедіи — «Фингалъ», Димитрій Донской» и «Поликсена». Съ 1793 по 1807 годъ начали появляться комедіи и другіе драматическіе опыты Крылова, а около 1810 года появились его басии 1). Съ 1815 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова.

Карамзинъ имълъ огромное влінийе на русскую литературу. Объ преобразоваль русскій языкъ, совлекши его съ ходуль латинской конструкціи и тяжелой славянщины и приблизивъ къ живой, естественной, разговорной русской рачи. Своимъ журналомъ, своими статьями о разныхъ предметахъ и повъстями онъ распространяль въ русскомъ обществѣ познанія, образованность, вкусъ и охоту къ чтенію. При немъ и вслёдствіе его вліянія, тяжелый педантизмъ и школярство смінились сантиментальностью и свътскою легкостью, въ которыхъ много было страинаго, но которыя были важнымъ шагомъ впередъ для литературы и общества. Повъсти его ложны въ поэтическомъ отношенін, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкусъ публики къ роману, какъ изображению чувствъ, страстей и событій частной и внутренней жизни людей. Карамзинъ писалъ и стихи. Въ нихъ ивтъ порзіи, и опи были просто мыслами и чувствованіями умнаго человѣка, выраженными въ стихотворной формъ; но они простотою своего содержанія, естественностью и правильностью языка, легкостію (по тому времени) версификацін, новыми и болье свободными формами расположенія, были тоже шагомъ впередъ для русской поэзіп.

Но для нея гораздо болье сдылаль другь и сподвижникъ Карамзина — Дмитріевь, который быль старше его только пятью

¹⁾ Въ каталогъ Смирдина не означено перваго изданія басень Крылова, а второе вышло въ 1815 — 1816 годахь.

годами. Дмитріевъ не быль поэтомъ въ смыслѣ лирика; но его басни в сказки были превосходными и истипно-поэтическими произведеніями для того времени. Пъсни Дмитріева нѣжны до приторности — но таковъ быль тогда всеобщій вкусъ. Оды Диптріева спльно отзываются риторикою; но, несмотря на то, онь были большимъ успъхомъ со стороны русской поэзіп. Громозвучность и пареніе, составлявшія тогда необходимое условіе оды, въ нихъ довольно уміренны, а выраженіе просто, не говоря уже о правильности языка и тщательной отделкъ стиха. Формы одъ Дмитріева оригинальны, какъ напримъръ, въ «Ермакъ, гдъ поэтъ ръшился вывести двухъ сибирскихъ шамановъ, изъ которыхъ старый разсказываетъ молодому, при шумт волит Иртыша, о тибели своей отчизны. Стихи этой піесы для нашего времени п грубы п шероховаты н не поэтичны; но для своего времени они были превосходны, и отъ нихъ въяло духомъ новизны. Что же касается до манеры и тона ніесы, это было решительное нововведение, и Дмитріевъ потому только не былъ прозванъ романтикомъ, что тогда не существовало еще этого слова. Вообще, въ стихотвореніяхъ Диптріева, по ихъ формѣ и направленію, русская поэзія сдѣлала значительный шагъ къ сближению съ простотою и естественностью, словомъ — съ жизнью и дъйствительностью, ибо въ нъжно вздыхательной сантиментальности все же больше жизни и натуры, чъмъ въ книжиомъ педантизмъ. Ръчи, которыя поэть влагаеть въ уста шаманамъ, исполнены депламаціею и стараются блистать высокимъ слогомъ — это правда; но мысль въ жалобахъ п разсказахъ шамана на берегу Пртыша выказать подвигъ Ермака — это уже не риторическая, а поэтическая мысль. Туть еще изтъ поэзіп, но есть уже стремленіе къ пей, и видно желаніе проложить для поэзіи новыя пути.

Въ это время въ русской литературъ замътно уже пробуждение духа критицизма. Нъкоторые старые авторитеты начали

уже покачиваться. Въ 1802 году Карамзинъ написаль статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ». Въ ней ни слова не сказано о живыхъ писателяхъ — о Державнит и Херасковт, пбо это считалось тогда неприличнымъ; также ни слова не сказано о Петровт, хотя уже со дия смерти его прошло болте трехъ лътъ: можно догадываться, что Карамзинъ не хоттътъ возстановлять противъ себя почитателей этого поэта, къ которымъ принадлежали вст грамотные люди, и въ то же время не хоттътъ хвалить его противъ своего убъжденія. Эта литературная уклончивость была въ характерт Карамзина. Въ «Пантеонтъ» было въ первый еще разъ высказано справедливое сужденіе о Тредьяковскомъ. Вотъ что говоритъ о немъ Карамзинъ:

«Еслибы охота и прилежность могли замѣнить дарованіе, кого бы не превзошель Тредьяковскій въ стихотворствѣ и краснорѣчіи? Но упрямый Аполлонь вѣчно скрывается за облакомъ для самозваниевъ-поэтовъ, и сыплеть лучи евон единственно на тѣхъ, которые родились съ его печатью. Не только дарованіе, по и салый вкуст не пріобрытается; и салый вкуст есть дарованіе. Ученіе образуетк, по не производить автора. Тредьяковскій учился въ Франціи у славнаго Ролленя; зналь древніе и новые языки; читаль всѣхъ лучнихъ авторовъ, и написаль множество томовъ въ доказательство, что онъ... не имѣль способности писать».

Сужденіе Караманна о Сумароков'ї мягче и уклончив'ї е, нежели о Тредьяковскомъ; по т'ємъ не мен'те опо было страшнымъ приговоромъ колоссальной слав'ї этого пигмея.

«Сумароковъ еще сильнъе Ломоносова дъйствоваль на публику, избравъ для себя сферу общирнъйниую. Подобно Вольтеру, онъ котълъ блистать во многихъ родахъ — и современники называли его нашимъ Расиномъ. Мольеромъ, Лафонтеномъ, Буало. Нотомство не такъ думаетъ; но зная трудность первыхъ опытовъ и невозможность достигнуть вдругъ совершенства, оно съ удовольствемъ находитъ многія красоты въ твореніяхъ Сумарокова и не хометь быть строимъ критикомъ его недостатковъ. Уже виміамъ не курится передъ кумиромъ; но не тронемъ мраморнаго подножія; оставимъ въ цёлости и надипсь: Великій Сумароковъ!.. Соорудимъ новыя статуи если надобно; не будемъ разрушать тъхъ, которыя воздвигнуты благородною ревностію отцовъ нашихъ!.

Замичательно, что Карамзинъ ставилъ въ недостатокъ трагедіямъ Сумарокова то, что «онъ старался болье описывать чувства, нежели представлять характеры въ ихъ эстетической и нравственной истинъ», и что, «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ соображать свойства, дъла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». Нельзя не увидъть въ такихъ замъчаніяхъ сужденія необыкновенно умнаго человѣка—и великаго шага впередъ со стороны литературы и общества. Правда, Карамзинъ находитъ многіе стихи въ трагедіяхъ Сумарокова «нѣжными и милыми», а иные даже «сильными и разительными»; но не забудемъ, что всякое сознаніе развивается постепенно, а не родится вдругъ, что Карамзинъ и такъ уже видълъ неизмъримо дальше литераторовъ старой школы, и, сверхъ того, онъ, можетъ быть, боялся, что ему совствъ не повтрятъ, если онъ скажетъ истину вполнъ, или не смягчить ея пезначительными въ сущности уступками.

Остроумная и ъдкая сатира Динтріева «Чужой Толкъ» также служитъ свидътельствомъ возникавшаго духа классицизма. Она устремлена противъ громогласнаго «одопънія», которое начинало уже досаждать слуху. Поэтъ заставляетъ, въ своей сатиръ, говорить одного старика съ такою «любезною простотою дъдовскихъ временъ»:

Что за диковинка? лѣть двадцать ужь прошло, Какъ мы, напрягии умъ, наморицивии чело, Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ, А ин себѣ, ин имъ похвалъ питдѣ не слышимъ! Ужели выдалъ Фебъ свой именной указъ, Чтобъ не дерзалъ никто надѣяться изъ насъ Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратьи равнымъ, И столько жь. какъ они, во пѣснопѣны славнымъ? Какъ думаешь!... Вчера случилось миѣ сличать И ихъ и нашу пѣснь: въ ихъ... нечего читать! Апсточекъ, много три, а любо какъ читаешь — Не зиаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь!

Судя по краткости, увтренъ, что они Писали ихъ ръзвясь, а не четыре дни; То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счастливъй, Когда мы во сто разъ прилеживи, теривливей? Въдь нашъ начиетъ писать, то всъ забавы прочь! Надъ парою стиховъ просиживаетъ ночь, Пответь, думаеть, чертить и жжеть бумагу; А пногда беретъ такую онъ отвату, Что цълый годъ сидить надъ одою одной! И подзинно, ужь весь приложить разумъ свой! Ужь прямо самая торжественная ода! Я не могу сказать, какого это рода, Но очень подная — иная въ двъсти строфъ! Судите жь, сколько туть херонихъ есть стишковъ! Къ тому жь, и въ правилахъ: сперва прочтешь вступленье, Туть предложение, а тачь и заключеные-Точь-вточь, какъ говорять учены по церквамъ! Со всёмь тёмь неть читать охоты - вижу самь. Возьму ли, напримъръ, я оды на побъды, Какъ покорили Крымъ, какъ въ морѣ гибли Шведы! Всв туть подробности сраженья нахожу, Гдъ было, какъ, когда, короче я скажу: Въ стихахъ резиція! прекрасно!.. а зѣваю! Я, бросивши ее, другую раскрываю, На праздникъ, иль на что подобное тому: Туть найдешь то, чего бъ нехитрому уму Не выдумать и ввёкъ: зари багряны персты, И райскій кринь, и Фебь, и небеса отверсты! Такъ громко, высоко!... а ивтъ, не веселитъ И сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелить.

Одинъ изъ собесъдниковъ берется объяснить старику причину такого грустиаго явленія. Эта причина, увы! и теперь еще не совсъмъ состарълась, и теперь еще не совсъмъ анахронизмъ! Слушайте:

Я самъ языкъ боговъ, поззію люблю, И нашей, какъ и вы, утёшенъ также мало; Однакожь здёсь въ Москвё толкался я не мало Межь пашихъ Пиндаровъ, и всёхъ ихъ замёчаль: Большая часть изъ шихъ — лейбъ-гвардія капралъ, Ассессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій, Иль изъ кунстъ-камеры антикъ въ пыли ходячій, Уродовъ стражъ—народъ все нужный, дозжностной...

А вотъ и объяснение причины дъятельности нашихъ поэтовъ:

Къ тому жь у древнихъ цвль была, у насъ другая: Горацій, напримъръ, восторгомъ грудь питая, Чего желаль? О, опъ—онъ браль не свысока: Въ въкахъ безсмертія, а въ Римъ линь вънка Изъ лавровъ, иль изъ миртъ, чтобъ Делія сказала: «Онъ славенъ—чрезъ него и я безсмертна стала!» А нашихъ многихъ цвль: иль дружество съ князькомъ, Который отъ роду не читываль другова, Кромъ придворнаго подчасъ мъсяцеслова, Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

Принисывая пеуспіхи нашихъ поэтовъ убіжденію, что если у кого есть природный даръ, тотъ имість право ничему не учиться и быть невіждою, — злой аристархъ презабавно описываеть, какъ писались встарину громкія оды:

Н воть какъ писываль поэть прпродный оду: Лишь пушекъ громъ подасть пріятну въсть народу, Что Риминкскій Алкидъ Поляковъ разгромиль. Нль Ферзень ихъ вождя Костюшку полониль,— Онъ тотчасъ за перо, и разомъ вывель: ода! Потомъ въ одинъ присъсть: такого дия и года!

- «Туть какъ?... Поюг... Иль нёть, ужь это старина.
- «Не лучте ль: даждо мию, Фебъ?... Иль такъ: не ты одна
- Подпала подъ пяту, о чалмоносна Порта?
- «По что же мнъ прибрать къ ней въ риему, кромъ чорта?
- «Нъть, пъть, не хорошо: я лучше ноброжу,
- «И воздухомъ себя открытымъ освѣжу.

Пошоль, и на пути такъ въ мысляхъ разсуждаеть:

- «Начало пикогда пъвцовъ не устращаеть;
- «Что хочень, то меля! Вотъ штука, какъ хвалить
- «Героя-то придеть! Не знаю, съ кънъ сравнить?

- Съ Румянцевымъ его, иль съ Грейгомъ, иль съ Орловымъ?
- «Какъ жаль, что древнихъ я не читываль! а съ новымъ-
- «Не ловко что-то все!—Да просто нашишу:
- «Ликуй, герой! ликуй! герой ты! возглашу.
- «Изрядно! туть же что? Туть надобень восторгь!
- «Скажу: кто завысу мин вычности расторгг?
- «И вижу молній блескт! И слышу ет гория свъта
- «И то, и то... A тамъ? извъстно: многи мьта!
- «Брависсимо! и планъ, и мысли, все ужь есть!
- «Да здравствуеть поэть! Осталося присъсть!
- «Да только написать, да и нечатать смёло!»

Бъжитъ на свой чердакъ, чертитъ, и въ шляпъ дъло! И оду ужь его тисненью предаютъ,

И въ одъ ужь его намъ ваксу продають.

п въ одъ ужь его намъ ваксу продають.

Вотъ какъ пиндарилъ онъ, и всв ему подобны,

Едва ли вывъски надписывать способны!

Право, не дурно было бы, еслибъ какой-нибудь даровитый поэтъ нашего времени написалъ современный «Чужой Толкъ» и объяснилъ, какъ пишутся теперь романы, повъсти и «патріотическія драмы»...

Дмитріевъ заставляетъ, въ своей сатиръ, говорить илохаго стихотворца —

Ною!... пль пътъ, ужь это старина!

А между тъмъ, это «пою», вмъстъ съ «лирою» такъ часто понадается и въ стихахъ самого Дмитріева и въ стихахъ Карамзина. Это перешло отъ писателей предшествовавшихъ двухъ школъ — Ломоносовской и Державниской, которыя подъ «литературою» разумъли и «пъснопъпіе»: кто бы, что бы ип писалъ—въ стихахъ, или въ прозъ, — онъ пълъ, а не писалъ. Державниъ, въ стихотвореніи своемъ «Прогулка въ Царскомъ Сель», дълаетъ такое обращеніе къ Карамзину:

> И ты, сидя при розв,
> Такъ, дией весениихъ сынъ,
> Ной, Карамзинъ!—и въ прозв Гласъ слышенъ соловынъ.

Въ стихотвореніяхъ Динтріева и Карамзина, русская поэзія едълала значительный шагъ впередъ, и со стороны направленія и со стороны формы; но изъ-подъ риторического вліянія далеко еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, усъченія, пінтическія вольности и болье или менье прозаическая фактура только ослабились въ ней, но не изчезли; они удержались въ ней по преданію, которое дошло даже и до Пушкина, какъ увидимъ это посль. Но важно то, что если поэзія и удержала раторическій характеръ, за то какъ она, такъ и вообще бельлетристика русская пріобрѣли новый характеръ вслѣдствіе направленія, даннаго пит Карамзинымъ и Динтріевымъ: мы говоримъ о сантиментальности. Не Карамзинъ съ Дмитріевымъ изобръли ее; они только привили ее къ русской литературъ. Она преобладала въ литературъ и въ нравахъ всей Европы XVII и XVIII въка. На счетъ сантиментальности много можно сказать смёшнаго и забавнаго; но мы хотимъ судить о ней, а не потъшаться ею. Она-важное явление въ отношении къ историческому развитію человічества, котораго процессъ всегда совершается переходами изъ крайности въ крайность. Феодальная дикость и грубость нравовъ Европы среднихъ въковъ совершение изчезли только при Лудовикъ XIV — представитель новаго, противоположнаго эпохь рыцарства времени; но изчезнувъ, эта феодальная дикость, естественно, уступила мъсто изнъженности чувствъ. Мущины и женщины изчезли: ихъ замънили пастушки и пастушки, поэты вздыхали, охали п ахали, красавицы стонали, какъ горлинки, madame Дезульеръ воснъвала барашковъ и голубковъ, наивно завидуя ихъ праву любиться открыто, не стыдясь добрыхъ людей. Это вздыхательное и чувствительное направление существовало въ Европ'т до т'тхъ самыхъ поръ, какъ страшныя бури и грозныя волненія политическія, разразившіяся надъ нею въ конц'є прошлаго въка, не измънили ся характера и правовъ. Россія не

знала возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814 года, и результаты этого новаго знакомства обнаружились въ ея литературъ только со времени появленія Пушкина и начала войны романтизма съ классицизмомъ. До того же времени, наши поэты и литераторы продолжали поклаияться старымъ авторитетамь: Мерзляковъ критиковаль съ голоса Лагарна и переводилъ идилліи madame Дезульеръ; Озеровъ подражаль Расину; въ Крыловъ видъли подражателя Лафонтена; Батюшковъ низкопоклонничалъ передъ какимъ-нибудь Парии, котораго далеко превосходиль талантомъ; Жуковскій вполовину шелъ особымъ путемъ, вполовину покорялся вліянію Карамзинской школы. И такъ, русская литература познакомилась и сошлась съ европейскою сантиментальностію почти въ ту самую минуту, какъ Европа навсегда разсталась съ своею сантиментальностію. Эта встрівча была необходима и полезна для русской литературы и правовъ ея общества. Въ Европъ сантиментальность смънила феодальную грубость правовъ; у насъ она должна была смѣнить остатки грубыхъ правовъ до-Петровской эпохи. Это понятно тамъ, где не только просвещеніе и литература, но и общительность и любовь были нововведеніемъ. Сантиментальность, какъ раздражительность грубыхъ нервовъ, разслабленныхъ и утонченныхъ образованіемъ, выразила собою моментъ ощущенія (sensation) въ русской литературъ, которая до того времени носила на себъ характеръ книжности. Сибшны теперь намъ эти романическія имена: Нина, Каллиста, Леонія, Эмилія, Лилетта, Леонъ, Милонъ, Модесть, Эрасть; но въ свое время они имели глубокій смысль: въ пихъ выразилась человъческая наклонность къ романической мечтательности, къ жизни сердцемъ. Въ лицъ Карамзина, русское общество обрадовалось, въ первый разъ узитвъ, что у него, этого общества есть душа и сердце, способныя къ нъжнымъ движеніямъ. Это называлось тогда «наслаждаться чувствительностію». Кто могъ плакать въ умиленіи отъ пѣсни Дмитріева «Стонетъ сизый голубочикъ», тотъ, конечно, понималь ноэзію лучше того, кто видѣлъ ее только въ торжественныхъ одахъ на разныя иллюминаціи. Поэзія предшествовавшей школы пугала женщинъ, а стихи Дмитріева, Карамзина и Нелединскаго-Мелецкаго женщины знали наизустъ, ими воспитывались цѣлыя поколѣнія. Карамзина читали всѣ грамотные люди, претендовавшіе на образованность; многихъ изъ нихъ только Карамзинъ и могъ заставить приняться за чтеніе книгъ и полюбить это занятіе, какъ пріятное и полезное.

Въ одинъ годъ съ Карамзинымъ (1765) родился Макаровъ, человъкъ, которому суждено было играть въ русской литературъ роль созвъздія Карамзина, хотя они и не были знакомы другъ съ другомъ. Въ 1803 году, Макаровъ издавалъ журналъ «Московскій Меркурій», статьи котораго отличались такимъ же направлениемъ и такимъ же языкомъ, какъ и статьи Карамзина. Макаровъ былъ одаренъ вкусомъ, талантами, путешествоваль по Европъ и вообще принадлежаль къ умивишимъ и образованитнимъ людямъ своего времени. Сравиште его разборъ сочиненій Дмитріева и разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича: оба эти разбора инсаны какъ будто однимъ и тъмъ же человъкомъ. Макаровъ защищалъ Карамзина противъ извъстнаго въ то время фанатическаго пуризма русскаго языка. Выступилъ Макаровъ на поприще литературы въ 4795 году, съ прекраснымъ переводомъ, впрочемъ посредственнаго романа «Графъ де Сентъ-Меранъ, или Новыя Заблужденія Ума и Сердца». Онъ же перевель двк первыя части «Антеноровыхъ Путешествій по Греціи и Азін» Лантье, изданныя имъ въ 1802 году. Къ сожальнію этотъ примъчательный человъкъ пе долго жиль: опъ умеръ въ 1804 году.

Каннистъ, по вліянію на него Карамзина, долженъ быть причтенъ къ числу писателей Карамзинской школы, въ кото-

рой замъчательны также: Подшиваловъ и Бенитскій, хорошіе прозаики; Нелединскій-Мелецкій, прославившійся ижжными пъснями, въ которыхъ много непритворной чувствительности; Долгорукій, издававшій свои стихотворенія подъ сантиментальнымъ титуломъ «Бытіе Моего Сердца», поэтъ чувствительный и сатирическій, неръдко отличавшійся неподдъльнымъ русскимъ юморомъ; Милоновъ, замѣчательный сатирикъ; Воейковъ, стихотворецъ, переводчикъ эклогъ Виргилія, описательныхъ поэмъ Делиля, обезсмертившій себя одинмъ извъстнымъ въ рукописи стихотвореніемъ, потомъ журпалистъ, прославившійся полемикою; Кокошкинъ и Хмѣльницкій, переводчики и подражатели Мольера; Василій Пушкинъ, стихотворецъ, и Владиміръ Измайловъ, прозаикъ.

Озеровъ и Крыловъ являются, особенно последній, самостоятельными двятелями въ Карамзинскомъ періодъ нашей литературы, хотя и принадлежать къ школь преобразователя русскаго языка. Послъ Сумарокова, на поприщъ драматической литературы со славою подвизался Киажницъ. У него не было самостоятельного толонта, но какъ опъ быль человъкъ умпый, образованный, знавшій иностранные языки и хорошо владівшій русскимъ, — то и пользовался съ успѣхомъ богатою трапезою французского театра, явия свои трагедін и комедін изъ отрывковъ французскихъ драматурговъ, которые переводилъ почти слово въ слово. Сочиненія этого трудолюбиваго писателя представляють собою значительный усивхь русской драматической поэзін, со стороны вкуса и языка: опъ далеко оставилъ за собою предшественника своего Сумарокова. Но еще дальше его самого оставиль за собою Озеровъ. Это быль таланть положительный, и появленіе его было эпохою въ русской литературь, которая имъла въ немъ своего Расина. Неспособный рисовать страсти и характеры, онъ увлекалъ живымъ изображеніемъ чувствъ. Трагедія его — сколокъ съ французской, и потому не удивительно, что теперь онъ забытъ театромъ совершенно, п его не играютъ и не читаютъ; но въ исторіи русской литературы, онъ никогда не будетъ забытъ. Языкъ русскій, въ трагедіяхъ Озерова, сдълалъ большой шагъ впередъ. Въ одно время съ Озеровымъ явился Крюковскій, котораго трагедія «Пожарскій» имъла необыкновенный успъхъ, но не по литературному достопиству, а по похвальнымъ чувствамъ патріотизма, которыя не могли не пробудить сочувствія въ эпоху борьбы Россіи съ Наполеономъ.

Крыловъ писалъ комедіп весьма замічательныя по остроумію; но слава его, какъ баснописца, не могла не затмить его славы, какъ комика. Крыловъ далеко оставилъ за собою и Хемницера и Дмитріева, и достигъ въ басит возможнаго совершенства. Басин Крылова — сокровищища русскаго практическаго смысла, русскаго остроумія и юмора, русскаго разговорнаго языка; онъ отличаются и простодущіемъ и народностью. Крыловъ вполив народный писатель, и теперь уже воспитатель не менье тридцати покольній. Басия, какъ родъ поэзін, довольно ложный родъ: ея явленіе возможно только у парода, находящагося еще въ младенчествъ, и потому ея родина — Востокъ. У Грековъ она во-время явилась съ Эзопомъ. Французы, хотъвшіе въ литературъ, во всемъ подражать древинмъ, рышили, что у нихъ должна быть басня, потому что она была у Грековъ; а мы, Русскіе, во всемъ подражавшіе Французамъ, ръшили, что и у насъ должна быть басия, потому что у Французовъ есть басия. Впрочемъ, у насъ басия явилась съ Хеминцеромъ болъе кстати и болъе во-время, чъмъ у Французовъ явилась она съ Лафонтеномъ. Этотъ ложный родъ удивительно привился къ французской дитературъ и получиль тамъ особенную народную форму; басив носчастливилось и у иасъ: во Франціи она имъла Лафонтена, у насъ-Крылова, а за это ей можно простить еа ложность, какъ рода поэзів. ЗнаThe state of the s

токи говорять; что архитектура во вкуст рококо — ложная арихитектура; положнить такъ; но Растрелли тимъ не менте великій художникъ. Чтить бы ни была басия, но Лафонтенъ в Крыловъ по справедливости составляють славу и гордость своихъ отечественныхъ литературъ.

Мы выше сказали, что съ 1805 года начали появляться въ журпалахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова. Каждый изъ этихъ поэтовъ составляль собою школу въ русской литературъ и вносилъ въ нее новые элементы жизни; но явленіе обоихъ мало было чувствуемо въ продолженіп Карамзинскаго періода; настоящая пора ихъ дъятельности началась послъ знаменитаго 1814 года: тогда и вліяніе ихъ стало ощутительнъе.

II

Карамзинъ и его заслуги; — Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыдовъ, Озеровъ, Жуковскій и Батюшковъ. — Значеніе романти-

Карамзинымъ начадась новая эпоха русской литературы. Преобразованіе языка отнодь не составляетъ исключительнаго характера этой эпохи, какъ думаютъ многіе. Какъ бы ни была велика реформа, произведенная къмъ-нибудь, или сама собою происшедшая въ языкъ, —она никогда не можетъ быть фактомъ особенной важности. Языкъ взятый самъ по себъ, есть только посредствующій матеріялъ, и его движеніе можетъ быть только формальное. Но всегда важно движеніе языка вслъдствіе движенія мысли: и вотъ гдъ важность реформы, произведенной Карамзинымъ, и вотъ почему Карамзину припадлежитъ честь

основанія новой эпохи русской литературы. Карамзинъ ввель русскую литературу въ сферу новыхъ идей, -- и преобразованіе языка было уже необходимымъ следствіемъ этого дела. Загляните въ журналы, въ романы, въ трагедіи и вообще стпхотворенія эпохи, предшествовавшей Карамзину: вы увидите въ нихъ какуюто стоячесть мысли, книжность, педантизмъ и риторику, отсутствіе всякой живой связи съ жизнію. Карамзинъ первый на Руси замёння в мертвый языкъ кинги живымъ азыкомъ общества. До Карамзина, у насъ, на Руси, думали, что кипги пишутся и печатаются для однихъ «учёныхъ», и что не учёному почти такъ же не пристало брать въ руки квигу, какъ профессору танцовать. Оттого, содержание книгъ, по тогдашнему мнвнию, должно было быть какъ можно болъе важнымъ и дъльнымъ, т. е. какъ можно болве тяжелымъ и скучнымъ, сухимъ и мертвымъ. Болъе всъхъ подходилъ тогда къ идеалу великаго поэта—Херасковъ, потому что былъ тяжелъ и скученъ до невыносимости. Онъ воспълъ, въ двухъ огромныхъ поэмахъ, два важныя событія изъ русской исторія, и воситль ихъ, не справляясь съ исторіею, не стараясь быть ей върнымъ. Исторін русской онъ даже и не зналъ фактически. Россія освободилась отъ татарскаго ига не какимъ-ипбудь ръшительнымъ ударомъ, который бы нанесенъ былъ Татарамъ соединенными силами всей Руси, мгновенно и мощно возставшей противъ общаго врага. Куликовская битва осталась безъ рёшительныхъ послёдствій: по крайней мъръ, она не помъщала Татарамъ выжечь Москву; въ царствованіе же Іоанна III, не было никакой великой военной битвы съ Татарами, хотя и была битва, такъ сказать дипломатическая. Татарское иго распалось само собою, вслъдствіе внутренпяго разслабленія царства Батыя. И потому, русская петорія никого не можетъ назвать освободителемъ земли русской отъ ига татарскаго. Іоаниъ-Грозный, взятіемъ Казани и Астрахани. только добилъ остатки издыхающаго монгольскаго чудовища.

Но Хераскову нуженъ быль герой для его поэмы, потому что безъ героя не бываетъ поэмы. И онъ нашелъ его въ Іоаннъ Грозномъ, простодушно смѣшавъ его съ Іоанномъ III, въ царствованіе котораго была торжественно сознана независимость Руси отъ Татаръ. «Ученые» того времени были безъ ума отъ поэмы Хераскова; ови знали ее чуть не наизустъ, — а теперь всякій счель бы за подвигь, еслибы ему удалось осилить чтеніемъ отъ начала до конца это тяжелое, стопудовое произведеніе. Не удовольствовавшись поэмою, Херасковъ не хотыль лишить своихъ читателей и романа: онъ написалъ романъ «Кадиъ и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніп». Но, Боже мой, что жь это быль за романь? Аллегорическое олицетвореніе гонимой и подъ конецъ торжествующей добродътели, образы безъ лицъ, событія безъ пространства и времени! Но потому-то это и былъ романъ въ духъ своего времени, романъ, который могли читать и «ученые», не унижая своего достоинства, — и потому же романы эти названы были «поэмами». Карамзинъ первый на Руси началъ писать повъсти, которыя заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантовъ, — повъсти, въ которыхъ дъйствовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновеннаго повседневнаго быта. Конечно, въ такихъ повъстяхъ, какъ «Бідная Лиза», «Наталья Боярская Дочь», Островъ Борнгольмъ», «Рыцарь Нашего Времени», «Чувствительный и Великодушный», и проч., никто не будетъ теперь искать творческаго воспроизведенія дійствительности, шикто не будеть читать ихъ какъ художественныя произведенія, ради эстетическаго наслажденія, никто не будеть ими восхищаться; но, вивств съ темъ, никто изъ мыслящихъ людей не скажетъ, чтобъ въ повъстяхъ Карамзина не было своего неотъемлемаго интереса и для нашего времени — интереса историческаго. Чуждыя творчества, онв все-таки не чужды таланта, ума, одушевленія, чувства, — и въ нихъ, какъ въ зеркаль, върно отражается жизнь сердца, какъ ее пошимали, какъ она существовала для людей того времени. Что же касается до художественности, — требовать ея отъ повъстей Карамзина было бы несправедливо и странио, сколько потому что Карамзвиъ не быль поэтомъ и не обнаруживаль особенныхъ притязаній на талантъ поэтическій, столько и потому что въ его время даже въ Европъ не существовало романа и повъсти какъ художественнаго произведенія. XVIII въкъ создаль себъ свой романь, въ которомъ выразилъ себя въ особенной, только одному ему свойственной формъ: философскія повъсти Вольтера и юмориетические разсказы Свифта и Стерна, — вотъ истинный романъ XVIII въка. «Новая Элонза» Руссо выразила собою другую сторону этого вёка отрицанія и сомивнія—сторону сердца, и потому она казалась больше пророчествомъ будущаго, чёмъ выраженіемъ настоящаго, — и многіе изъ людей того времени (въ томъ числе и Карамзинъ) видели въ «Новой Элоизе» только одну сантиментальность, которою одною и восхищались. Въ остроумныхъ романахъ Француза Пиго-Лебрёна и Нъмца Крамера в в тъ преобладающій духъ XVIII в ка. Но въ особенномъ ходу и въ особенномъ уважени у толиы были въ прошломъ въкъ романы Радклейфъ, Дюкре-дю-Мениля, мадамъ Жанли, мадамъ Коттэнъ, и т. п. Надо признаться, что, по таланту, Карамзинъ не былъ ниже этихъ людей, и если не дальше, то и не ближе ихъ видълъ. Переводомъ повъстей Мармонтеля и нъкоторыхъ повъстей Жанли, Карамзинъ оказалъ русскому обществу столь же важную услугу, какъ и своими собственными повъстями. Это значило ни больше, ни меньше, какъ познакомить русское общество съ чувствами, образомъ мыслей, а следовательно и съ образомъ выраженія образованнейшаго общества въ мірт. Новыя идеп, естественно, требовали и новаго языка. Карамзина обвиняли въ галлицизмахъ выраженій, не

видя того, что, если это была вина съ его стороны, то прежде всего его должно было обвинять въ галлицизмахъ мыслей, но въ этомъ былъ виноватъ не опъ, а та всемірно-историческая роль, которая назначена міродержавнымъ промысломъ французскому народу, и которая даеть ему такое нравственное вліяніе на всъ другіе народы цивилизованнаго міра. Скоръе должно поставить въ великую заслугу Карамзину его галломанство: черезъ него ожила наша литература. Еслибы Карамзипъ былъ только преобразователемъ языка (не будучи прежде всего нововводителемъ идей), онъ ограничился бы только отрицаніемъ устарілыхъ словъ и выраженій, большею чистотою и отделкою въ форме, но складъ речи, словомъ — слогъ его остался бы Ломоносовскимъ и онъ не быль бы создателемъ современнаго новаго языка. Въ этомъ отношения языкъ Фонъ-Визина резко отделяется отъ языка Ломоносовскаго и близко подходить къ языку Карамзинскому; но тімь не меніе Фонь-Визниъ относится къ писателямъ Ломоносовского періодо русской литературы и нисколько не можетъ считаться преобразователемъ русскаго языка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ не понимаетъ Карамзина и не умъетъ достойно оцъпить его подвига, кто думаетъ въ немъ видъть только преобразователя и обновителя русского языка. Это значить унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзинъ создаль на Руси образованный литературный языкъ, и создаль истому, что Карамзинъ былъ первый на Руси образованный литераторъ, — а первымъ образованнымъ литераторомъ сдблался онъ потому что научился у Французовъ мыслить и чувствовать, какъ следуетъ образованному человъку. «Письма Русскаго Путешественника», въ которыхъ онъ такъ живо и увлекательно разсказалъ о своемъ знакомствъ съ Европою, легко и пріятно познакомпли съ этою Европою русское общество. Въ этомъ отношенін, «Письма Русскаго Путешественника» — произведение великое, несмотря

на всю поверхностность и всю медкость ихъ содержанія: ибо великое не всегда только то, что само по себъ дъйствительно велико; но иногда и то, что достигаеть великой цъли, какимъ бы то ни было путемъ и средствомъ. Можно сказать съ увъренностію, что именно своей легкости и новерхностности обязаны «Письма Русскаго Путешественника» своимъ великимъ вліяніемъ на современную имъ публику: эта публика не была еще готова для интересовъ болье важныхъ и болье глубокихъ. Въ своемъ «Московскомъ ЗКурналъ», а потомъ въ «Въстникъ Европы», Карамзинъ первый даль русской публикъ истиню журнальное чтеніе, гдв все соотвітствовало одно другому: выборъ, піесъ — ихъ слогу, орягинальныя піесы переводнымъ, современность и разнообразіе интересовъ умѣнію передать ихъ занимательно и живо, и гдв были не только образцы легкаго свътского чтенія, по н образцы литературной критики, и образцы умёнія следить за современными политическими событіями и передавать ихъ увлекательно. Вездъ и во всемъ Карамзинъ является не только преобразователемъ, но и начинателемъ, творцомъ. Сама «Исторія Государства Россійскаго» этотъ важивішій трудъ его, есть не что пное, какъ начало, первый основный камень зданія историческаго изученія, историческихъ трудовъ въ Россіи. «Исторія Государства Россійскаго» не есть исторія Россін: это скорфе исторія московскаго государства, ошибочно принятаго историкомъ за какой-то высшій идеаль всякаго государства. Слогь ея не историческій: это скорве слогь поэмы, писанной мірною прозою, поэмы, типъ которой принадлежить XVIII въку. Тъмъ не менье, безъ Карамзина, Русскіе не знали бы исторіи своего отечества, ибо не имъли бы возможности смотръть на нее критически. Какъ первый опытъ, написациый даровитымъ литераторомъ, «Исторія Государства Россійскаго» — твореніе великое, котораго достоинство и важность никогда не уничтожатся: вытъсненная историческою и философскою критикою изъ рода твореній, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества, «Исторія» Карамзина на всегда останется великимъ намятникомъ въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературы-русской исторіи.

Есть два рода двителей на всякомъ поприщъ: одни своими дълами творятъ новую эпоху, дъйствуютъ на будущее; другіе дъйствуютъ въ настоящемъ и для настоящаго. Первые бываютъ не признаны, не поняты, не оцинены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; ихъ апооеоза создается въ будущемъ, когда уже самыя кости ихъ истлеютъ въ могиле; вторые — всегда любимцы и властелины своего времени. но, уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей, они получають уже совствы не то значение после ихъ смерти, а иногда и переживають свою славу. Безь сомнинія, первые выше вторыхъ, ноо это натуры великія и геніяльныя, тогда какъ вторые — только сильно и ярко даровитыя натуры. Первые, если они дъйствуютъ на литературномъ поприщъ, завъщеваютъ потомству творенія вічныя, неумирающія; вторые — пишуть для своихъ современниковъ, и ихъ произведенія для будущихъ покольній получають уже не безусловное, но только историческое значеніе, какъ памятники извъстной эпохи. Къ числу двятелей втораго разряда принадлежить Карамзинъ... Этомивніе выговаривается не въ первый разъ, и не нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало противъ себя живое противодъйствіе; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще не было людей, которымъ опо крвико не по душв. Этихъ людей можно раздълить на два разряда. Къ первому припадлежать еще оставшеся досель въ живыхъ современники Карамэнна, видъвшіе или разсвіть его славы, или помнящіе апогею его славы. Застигнутые потокомъ новаго, они, естественно, остались върны тъмъ первымъ, живымъ впечатлъніямъ своего лучшаго

возраста жизни, которыя обыкновенно рѣшаютъ участь человѣка, разъ навсегда заключая его въ извѣстную нравственную форму. Эти люди, живущіе намятью сердца, не могутъ выйдти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій геній, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ опи были для прошедшаго. Это заблужденіе, — но такое заблужденіе, которому нельзя отказать не только въ уваженіи, по и въ участіи, ибо оно выходитъ изъ памяти сердца, всегда святой и почтенной. Вполнѣ цѣня и уважая великій подвитъ Карамзина, мы тѣмъ пе менѣе хотимъ видѣтъ дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ и его истинныхъ границахъ, не умаляя и не преувеличивая; и потому, не можемъ читать этихъ стиховъ съ восторгомъ людей, проникнутыхъ сердечнымъ вѣрованіемъ въ непреложную истинность ихъ мысли:

Лежить вънець на мраморъ могилы; Ей молится Россіи върный сынь; И будить въ немъ для дъль прекрасныхъ силы Святое имя: Карамзинъ 1).

Но въ то же время, мы далеки и отъ всякаго непріязненнаго чувства, которое производится противоположностію убѣжденій и которое, естественно, могло бъ быть вызвано въ насъ этими стихами: мы не только понимаемъ, но и уважаемъ источникъ этого восторга, не совсѣмъ согласнаго съ дѣйствительностію факта. Поэтъ выше говоритъ о «лучшемъ времени своейжизни»:

О! въ эти дни, какъ райское видънье. Былъ съ нами опт, теперь ужь не земной, Онъ, олл меня живое провидънье, Опт, съ юпости товарищъ твой.
О! какъ при немъ все сердце разгоралось! Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ! Въ младенческой душт его, казалось, Небесный ангелъ обиталъ!

^{1) «}Стихотворенія Жуковскаго». Т. VI, стр. 30.

Эти стихи напоминають намь другіе, еще болье трогающіе нась:

Сыны другаго поколънья, Мы въ повомъ-прошлогодній цвъть; Живыхъ памъ чужды впечативныя, А нашимъ въ нихъ сочувствій нётъ. Они, что любимъ, разлюбили, Страстямъ ихъ-насъ не водновать! Ихъ не было тамъ, гдъ мы были, Гдъ будуть-намъ ужь не бывать! Нашъ міръ-ниъ храмъ опустошенный Имъ баснословье-наша быль, И то, что пепель намъ священный, Для нахъ одна ивмая пыль. Такъ мы развалинамъ подобны, И на распутіц живыхъ Стоимъ, какъ намятникъ надгробный Среди обителей людскихъ 1).

Грустное положеніе! но таковъ законъ историческаго хода времени. Рапо или поздно, онъ постигаетъ, въ свою очередь, каждое покольніе!

Увы! на жизненных браздахъ Мгновенной жатвой, покольные, По тайной воль провидыная, Восходять, зрыють и падуть, Другія имъ восльдъ идуть... Такъ наше вътроное племя Растеть, воличется, кипитъ И къ гробу праотцевъ тъснитъ. Придетъ, придетъ п наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытьснять и насъ.

Въ этомъ болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ открывается трагическая сторона жизни и ея иронія. Прежде физической старости и физической смерти, постигаєть человѣка правственная старость и смерть. Исключеніе изъ этого правила

¹⁾ Стихотвореніе князя Вяземскаго.

остается слишкомъ за немногими... И благо тъмъ, которые умъютъ и въ зиму дней своихъ сохранить благодатный иламень сердца, живое сочувствіе ко всему великому и прекрасному бытія, — которые, съ умиленіемъ вспоминая о лучшемъ своемъ времени, не считаютъ себя, среди кипучей, движущейся жизни современной дъйствительности, какими-то заклятыми тънями прошедшаго, но чувствуютъ себя въ живой и родственной связи съ настоящимъ, и благословеніями привътствуютъ свътлую зарю будущаго... Благо имъ, этимъ въчно юнымъ старцамъ! не только свъжее утро и знойный полдень блестятъ для нихъ на небъ: Господь высылаетъ имъ и успокоптельный вечеръ, да отдохнутъ они въ его кроткомъ величія...

Какъ бы то ни было, но свётлое торжество побёды новаго падъ старымъ да не омрачится никогда жосткимъ словомъ, или горькимъ чувствомъ враждебности противъ падшихъ. Побёжденнымъ — состраданіе, за какую бы причину ни была прочиграна ими битва! Падшій въ борьбъ противъ духа времени заслуживаетъ больше сожалънія, нежели проигравшій всякую другую битву. Призпавшій надъ собою побёдителемъ духъ времени заслуживаетъ больше, чъмъ сожалънія, заслуживаетъ уваженіе и участіе — и мы должны не только оставить его въ покої оплакивать предшедшихъ героевъ его времени и не возмущать насмішливою улыбкою его священной скорби, но и благоговъйно остановиться передъ нею...

Другое дъло тъ слъпые поклонинки старыхъ авторитетовъ, которые видятъ одинъ фактъ, не понимая его идеи, стоятъ за имя, не зная, какое значение привязать къ нему, и для которыхъ дороги только старыя имена, какъ для нумизматовъ дороги только истертыя монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Вотъ они-то и составляютъ тотъ второй разрядъ безусловныхъ поклонниковъ старыхъ авторитетовъ. Для нихъ и Шексивръ—титанъ творческой силы, и Ломоносовъ — также титанъ твор-

ческой силы; а почему? — потому что оба эти имени — имена уже старыя, къ которымъ они, педанты и старовъры литературные, давно уже прислушались и привыкли. По той же самой причинъ, для нихъ возмутительно видъть имена Карамзина и Лермонтова, поставленныя рядомъ: справясь съ литературною табелью о рангахъ, они видятъ большую разницу — не въ характеръ дъятельности, не въ родъ таланта Карамзина и Лермонтова, а въ лѣтахъ п титлахъ этихъ писателей, и говорять о послёднемь: «куда ему— молодь больно!» Равнымъ образомъ, они убъждены, въ простотъ ума и сердца, что творенія Карамзина не только по формѣ; но и по содержанію ихъ, могуть для нашего времени имьть такой же питересь, какой имъли они для своего времени. Разумъется, эти педанты и буквотды не стоять ни возраженій, ни споровь, и можно оставлять безъ отвъта ихъ задорные крики. Что бы ни говорили они, для всёхъ мыслящихъ людей ясно, какъ день Божій, что творенія Карамзина могуть теперь составлять только болье или менте любопытный предметъ изученія въ исторіп русскаго языка, русской литературы, русской общественности, по уже ни сколько не имъютъ, для настоящаго времени, того интереса, который заставляетъ читать и перечитывать великихъ и самобытныхъ писателей. Въ сочиненіяхъ Карамзина, все чуждо нашему времени — и чувства, и мысли, и слогъ, и самый языкъ. Во всемъ этомъ инчего нътъ нашего, и все это павсегда умерло для насъ.

Авятельность Карамзина была по преимуществу двятельность литератора, а не поэта, не ученаго. Онъ создаль русскую публику, которой до него не было: — подъ «публикою» мы разумбемъ извъстный кругъ читателей. До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все не многое, паписаное до него, несмотря на свои хорошія стороны, было ужасно тяжело и торжественно, и годилось для однихъ «учѐ-

ныхъ», а не для общества. Карамзинъ умѣлъ заохотить русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ. Какъ мы замѣтили выше, въ этомъ помогъ ему не новый, созданный имъ языкъ, а французское направленіе, которому подчинился Карамзинъ, и котораго необходимымъ слѣдствіемъ былъ его легкій и пріятный языкъ. Въ первой статьѣ мы уже упоминали о Дмитріевѣ, какъ о сподвижникѣ Карамзина. Дѣйствительно. Дмитріевъ для стихотворнаго языка сдѣлалъ почти то же, что Карамзинъ для прозаическаго, и сдѣлалъ это такимъ же точно образомъ, какъ Карамзинъ: ноэзія Дмитріева, по ея духу и характеру, а слѣдовательно и но формѣ, есть чисто французская поэзія XVIII вѣка. Съ Карамзинымъ кончился Ломоносовскій періодъ русской литературы, періодъ тяжелаго и высоконарнаго кинжнаго направленія, и весь періодъ отъ Карамзина до Пушкина слѣдуетъ называть Карамзинскимъ.

Но этотъ періодъ выветь свои подраздъленія, нбо въ продолжени его литература обогащалась новыми элементами и двигалась внередь. Къ этому періоду принадлежить Крыловъ, который одинъ могъ бы быть представителемъ целаго періода литературы. Онъ создаль національную русскую басню, и тамъ первый внесъ въ литературу русскую элементъ народности. Но какъ, въ басиъ, великій русскій баснописецъ имълъ образцомъ великаго французскаго баснописца, — какъ въ цей опъ быль какъ бы продолжателемъ дъла, начатаго Хемиицеромъ и продолженнаго Дмитріевымь, и какь, сверхь того, родь его поэзін не быль такимъ родомъ, черезъ который можно бъ было стать въ главъ литературной эпохи, -- то Крыловъ по справеддивости можетъ считаться однимъ изъ блистательнёйшихъ дъятелей Карамзинскаго періода, въ то же время оставаясь самобытнымъ творцомъ новаго элемента русской поэзіп — народности. Другое діло-Озеровъ: несмотря на дарованіе ярко замъчательное, онъ былъ результатомъ направленія, даннаго

русской литературъ Карамзинымъ. Въ трагедіяхъ Озерова преобладающій элементъ—сантиментальность. По формъ же, онъ — сколокъ съ французской трагедіи. Нѣтъ нужды распространяться здѣсь о Канпистъ, Василіи Пушквить, Владиніръ Измайловъ, Крюковскомъ, Милоновъ и другихъ людяхъ съ бо́льшимъ или ме́ньшимъ талантомъ, игравшихъ бо́льшую или ме́ньшую роль въ Карамзинскій періодъ: всѣ они были созданы духомъ Карамзина и выразили направленіе, данное имъ русской литературъ. Въ своемъ мѣстѣ мы уномянемъ о болѣе самостоятельныхъ и болѣе замѣчательныхъ писателяхъ этой эпохи, каковы: Гнѣдичъ, Мерзляковъ и князь Вяземскій. Теперь же спѣшимъ перейдти къ двумъ знаменитостямъ не только этого періода, но и вообще русской литературы—Жуковскому и Батюшкову.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснълости. Въ ней всегда было движение впередъ, даже въ Ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только пе подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще п отстали отъ него, хотя явились и носль, за то какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснами Хемиицера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонъ-Визина, между прозою не только Сумарокова, но н самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Кияжиннымъ! Карамзинскій періодъ озпаменовался несравненно сильнійшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже упомянули о Крыловъ, какъ о поэтъ Карамзинской эпохи, внесшемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементь — народность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзін Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы доста-

точно для того, чтобъ ему самому быть главою п представителемъ цълаго періода литературы; но (какъ мы уже замітили выше) ограпиченность рода поэзін, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина; они будутъ читаться до тъхъ поръ, пока русское слово не перестанетъ быть живою рѣчью живаго парода; по, песмотря на то, въ петоріи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мъсто между замъчательнъйшими дъятелями того періода русской литературы, главою и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нъкоторомъ отношения, такова же была, въ история русской литературы, и роль Жуковскаго. Таланта Жуковскаго также стало бы, чтобъ явиться главою и представителемъ цълаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можетъ-быть, еще болъе важный элементъ въ русскую поэзію, чъмъ элементъ, впесепный Крыловымъ; Жуковскій проложилъ себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возрасла и восинталась на ночвъ, въ то время никому изъ Русскихъ певъдомой п недоступной. — п несмотря на то. было бы дъломъ чистаго произвола отмътить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видіть въ немъ опать таки одного изъ знаменитъйшихъ, или даже и самаго знаменитышаго дъятеля въ томъ періодъ русской литературы, главою и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вънецъ поэзін Жуковскаго составляютъ его переводы и заимствованія изъ нёмецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моментъ самаго сильнаго и илодовитаго движенія впередъ русской литературы Карамзинскаго періода. По у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія піесы и посланія; u. viii. 4.0

сверхъ того, онъ былъ знаменить еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозъ. И вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзпиа, во мкогихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Копечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковскаго (въ особенности патріотическія піесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе — все это инсколько не отступаеть отъ идеала поэзін XVIII въка, —пдеала поэзін, который такъ присущъ п родственъ былъ Карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, — онъ является въ пей совершенно ученикомъ Карамзпиа, п если, въ отношения къ стилистикъ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога и языка-все это чисто Карамзинское. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемпра и басень Крылова, статьи его: «Марынна Роща», «Три Сестры», «Кто истинно добрый и счастливый человъкъ», «Писатель въ обществъ» и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозъ, у Жуковскаго тоже отличается совершенно Карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что мпогія статьи переведены съ измецкаго. Намъ, можетъ-быть, возразятъ. что «Рафаэлева Мадоина», есть тоже оригинальная статья въ прогъ Жуковскаго, но что въ ней уже пътъ ничего Карамапискаго. Правда; но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году—въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабило съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще, въ это время, Жуковскій сталъ лъйствовать какъ-то самостоятельные, освободившись отъ вліянія Карамэнча. Надобно еще замътить, что въ это время вліяніе на литературу

и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до сего времени Жуковскій былъ какъ-будто въ тъни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писаль для «немногихъ». И какъ тогда понимали его! Его называли «балладистомъ», въ немъ видели итвиа могилъ и привидъній... Ему подражали, но въ чемъ? — въ формъ, а не въ духъ, — и рядь безсмысленныхъ и нелъныхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пъвцу народной славы, —н «Пъвцы во Станъ» и «На Кремлъ» доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія. Жуковскій получиль именно то значеніе, какое онъ всегда имѣлъ. Тогдашняя молодёжь, развивнаяся подъ вліянісмъ великихъ событій 1814 года, съ жадностію бросилась на нъмецкую литературу, съ которою Жуковскій давно уже породниль русскій умъ п русскую музу. Всѣ заговорили о романтизмъ, о новой теоріи поэзіп; всѣ возстали противъ владычества исевдо-классической французской поэзіи. Въ поэзін русской явились лупа и туманы, упыніе и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончился Карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять лѣтъ сама исторія Карамзина сдълалась предметомъ неумфренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звъзда поэтической славы Жуковскаго вспыхпула и загорилась ярко уже въ новомъ періоді русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, п для Жуковскаго, еще во всей поръ его дъятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературъ... И однакожь, необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзін и ли-. тературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, къ сожалению, эти похвалы уже летъ тридцать-иять поются какъ-то на одинъ голосъ и состоять

изъ однихъ и тъхъ же словъ, изъ однихъ и тъхъ же выраженій. А въдь дело критики совсемъ не въ томъ, чтобъ провозгласить писателя великимъ талантомъ или геніемъ: это скорте дело общественнаго митнія, чемъ критики. Дело критики-привести въ сознаніе, путемъ знализа, общественное мивніе, и показать значеніе, смыслъ таланта, или генія, опреділить тотъ жизненный элементь, который составляеть исключительное свойство его произведеній и которымъ онъ обогатиль родиую литературу и жизнь своего общества. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» впервые было сказано, что заслуга Жуковскаго состоптъ въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ и что истиниымъ романтикомъ русскимъ былъ совстмъ не Пушкинъ (какъ объ этомъ крпчали лътъ двадцать), а Жуковскій. Слово истины не падаетъ даромъ, и наше мижије подхватили нъкоторые «пменные» (въ противоположность «безыменнымъ») критики, - тъ самые, которые право критики основывають не на талантъ и чувствъ изящнаго, а по-китайски — на экзаменахъ и числъ и цвътъ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже п отъ себя (не только повторить чужое мивніе), что Жуковскій всель романтизмъ въ русскую поэзію, еще не значить все сказать: должно развить и доказать это положение. И мы теперь очень рады, что, назначивъ стать во Пушкинъ столь широкія рамы, можемъ представить во введеній къ ней картину историческаго развитія всей литературы русской, а вижстж съ темъ и привести въ исполнение давиншиее желание наше вполив развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны въ дълъ собственнаго нашего развитія, съ мыслію о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ 'и живыхъ воспоминаній, - поэзія котораго давно срослась съ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы, въ то же время, чужды всякихъ восторженныхъ предубѣжденій... Мы падѣемся, что для публики подобная статья не можеть не быть интересна, ибо ей дорогъ предметъ ея, — а отъ кого же услышитъ она о немъ живое, современное слово? Пеужели отъ задорливыхъ педантовъ, которые кричатъ только объ и менности и безы менности, какъ о правѣ критиковать, и всякое чужое миѣніе считаютъ или дерзымъ, или продажнымъ, потому только, что хоть опо и не ихъ миѣніе, однакожь находитъ себѣ сочувствіе и отзывъ въ ущербъ ихъ педантическимъ возгласамъ, всегда подписаннымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дожидайтесь отъ нихъ!..

Батюшковъ также пользуется на Руси большимъ и заслуженнымъ вниманіемъ, и также ждетъ себѣ критической оцѣнки. Имя его связано съ именемъ Жуковскаго: они дъйствовали дружно въ лучшіе годы своей жизни; ихъ разлучила жизнь, но имена ихъ всегда какъ-то вмѣстѣ ложатся подъ перо критика и историка русской литературъ. Батюшковъ имѣстъ важное значеніе въ русской литературъ—конечно, не такое какъ Жуковскій, но тѣмъ пе менѣе самобытное. Онъ явился на поприще вѣсколько позже Жуковскаго и занимаєтъ мѣсто въ литературѣ тотчасъ послѣ него. Поэтому, весьма удобно опредѣлить его значеніе (не теряясь въ подробностяхъ) въ одной статьѣ съ Жуковскимъ, — что и постараемся мы сдѣлать теперь.

Жуковскій ввель въ русскую поэзію романтизмъ. Что же такое романтизмъ вообще, и романтизмъ Жуковскаго въ особенности? — Вотъ вопросъ, отъ рѣшенія, котораго зависитъ опредѣленіе значенія, какое имѣетъ Жуковскій въ русской литературѣ... У насъ много говорили, толковали и спорили о романтизмъ. «Московскій Телеграфъ» былъ журналомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, —а журналъ этотъ существовалъ съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтизмѣ кончились на Руси съ «Московскимъ Телеграфомъ», то пачались они гораздо раньше, именно въ исходѣ втораго десятилъ-

тія текущаго стольтія. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ по прежнему остался тапиственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоноложность французскому псевдо-классицизму. Отсюда, естественно, вышла ошнока: какъ подъ классицизмомъ разумъли извъстную условную форму искусства, такъ нодъ романтизмомъ стали разумъть нарушение правиль этой условной формы. И потому, кто соблюдаль въ трагедін знаменитыя три единства, героями ел двлаль только царей и ихъ наперсинковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, -- тотъ считался классикомъ; кто же, въ своей драмъ, переносилъ дъйствіе изъ одного мъста въ другое, на нъсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершпвшееся въ промежуткъ не одного десятка лътъ, число актовъ своей драмы не хотёлъ ограничивать завётною суммою ияти, а дъйствующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, — тотъ считался ультра-романтикомъ. Взглядъ «Телеграфа» на романтизмъ былъ именно таковъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служатъ теперешнія драматическія пздълія бывшаго пздателя «Московскаго Телеграфа»: подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы г. Полеваго также точно сколки и рабскія копін, только съ другихъ образцовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванья и смелаго заимствованія, -между тёмъ, какъ пменно передразниванье и заимствованье ставиль г. Полевой въ непростительный гртхъ псевдо-классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классицизмъ и романтизмъ полагалъ во вишиней формъ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха,--все было ново и нисколько не ноходило на образцы существовавшей до него русской поэзін: и за это то именно г. Полевой, вибств съ другими, провозгласилъ Пушкина романтикомъ, нисколько не подозрѣвая романтика въ Жуковскомъ.

Дъйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это потому что всякая оригинальная идея имъетъ свою, ей присущую, оригинальную форму; всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожъ, какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; на оборотъ, только отправляясь отъ духа, можио постичь и самый духъ и выразившую его форму. Поэтому, сущность романтизма заключается въ его идеъ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внёшней формы.

Романтизмъ—принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства и поэзіи—въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существениѣйшемъ своемъ значеніи, романтизмъ есть не что иное, какъ впутрениій міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма; чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгонзмами, которые, кромѣ себя, никого любить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антинатіи задавлено и заглушено или правственною неразвитостью, или матеріяльными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое, естественное понятіе о романтизмѣ.

Законы сердца, какъ и законы разума, всегда одни и тъ же, и потому человъкъ, по натуръ своей, всегда былъ, есть и будетъ одинъ и тотъ же. Но, какъ разумъ, такъ и сердце живутъ, а жить значитъ развиваться, двигаться впередъ: поэтому, человъкъ не можетъ одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образъ чувствованія и мышленія измѣ-

няется сообразно возрастамъ его жизни: юноша пиаче понимаетъ предметы и иначе чувствуетъ, нежели отрокъ; возмужалый человькъ много разнится, въ этомъ отношении, отъ юноши, старецъ отъ мужа, хотя всѣ они чувствуютъ однамъ и тъмъ же сердцемъ, мыслять однимъ и тъмъ же разумомъ. Это различіе въ характеръ чувства и мысли вытекаетъ изъ природы человъка и существуетъ для каждаго: оно связано съ его неизбъжнымъ свойствомъ рости, мужать и старъться физически. Но человъкъ имъетъ не одно только значение существа пидивидуального и личного. Кромъ того, онъ еще членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежитъ къ великому семейству человъческого рода. Поэтому, опъ-сынъ времени и воспитанинкъ исторіи: его образъ чувствовалія п мышленія видоизменяется сообразно съ общественностью и національностью, къ которымъ онъ принадлежитъ, съ историческимъ состояніемъ его отечества и всего челов'яческаго рода. Итакъ, чтобъ върнъе опредълить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитие. Романтизмъ не принадлежитъ исключительно одной только сферѣ любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его. какъ мы сказали, — вся внутренияя, задушевная жизнь человіка, та тапиственная почва души п сердца, откуда подымаются вст неопредъленныя стремленія къ лучшему и возвышенному, стараясь находить себѣ удовлетвореніе въ пдеалахъ, творимыхъ фантазіею. Здёсь, для примъра. укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь- по преимуществу романтическое чувство, - въ историческомъ движенін человѣчества.

Востокъ — колыбель человѣчества и царство природы. Человѣкъ на Востокъ — сынъ природы: мледенцемъ лежитъ опъ на груди ея, и старцемъ умираетъ на ея же груди. Востокъ и теперь остался въренъ основному закону своей жизни — есте-

ственности, близкой къ животности. Любовь на Востокъ навсегда осталась въ первомъ моментъ своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаеть не болье, какъ чувственное, на природе основанное, стремление одного пола къ другому. Само собою разумбется, что нервый и основный емысль любви заключается въ заботливости природы о поддержанін и размноженін рода человіческаго. Но еслибь, въ любви людей, все ограничивалось только этимъ разсчетомъ природы, — люди не были бы выше животныхъ. Следственно, это чувственное стремление въ любви человъка одного пола къ человеку другаго пола, есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моментъ, за которымъ, въ развитін, следують высшіе, более духовные и правственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментъ любви, и въ немъ найдти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекаеть семейственность, какъ главный и основный элементь жизни восточныхъ народовъ. Имъть потомство — первая забота и высочайшее блаженство восточнаго жителя; не иміть дітей — это для него знаменіе небеснаго проклятія, правственнаго отверженія. По закону іудейскому, безилодныя женщины были побиваемы каменьями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ долженъ былъ жениться на вдовъ своего брата, чтобы «возстановить съмя своему брату». Отсюда же выходитъ и восточная полигамія (многоженство). Гаремы существовали на Востокъ всегда, и ихъ нельзя считать исключительно принадлежащими исламизму. Обитатель Востока смотрить на женщину, какъ на жену пли какъ на рабыню, но не какъ на женщину: потому что отъ женщины мущина всегда добивается взаимности, какъ необходимаго условія счастливой любви, — отъ жены или рабы онъ требуетъ только покорности. Для него, это вещь, очень искусно приноровленная самою природою для его наслажденія: кто же станеть церемониться съ вещію? Миоы — самое върное свидътельство романтической жизни народовъ. Въ мисахъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Всъ мисы его по преимуществу выражаютъ одно неутолимое вождельніе, — одно чувство: сладострастіе, — одну идею: въчную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціи, любовь является уже въ высшемъ моментъ своего развитія: тамъ она — чувственное стремленіе, просвѣтлѣнное и одухотворенное идеею красоты. Тамъ уже въ самомъ началъ мноическаго сознанія, за явленіемъ Эроса (любви, какъ общей сущности міровой жизни) — тотчасъ следуетъ рожденіе Афродиты красоты женской. Афродита собственно была не богинею любви, но богинею красоты. Когда родилась она изъ волиъ морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сей часъ присоединились любовь и желаніе. Этотъ граціозный мись достаточно объясняетъ собою сущность и характеръ эллинскаго понятія объ отношеніяхь обонхь половь. Грекь обожаль въ женщинь красоту. а красота уже порождала любовь и желаніе; слъдовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого правственно-эстетическаго народа. какъ Греки, могла существовать любовь между мущинами, освященная мноомъ Ганимеда, — могла существовать не какъ крайній разврать чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выраженіе жизни сердца. Прим'тры такой любви были очень неръдки у Грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ. Павзаній говорить, что онъ нашель въ одномъ мість статую юноши, названную антэросъ (взаимная любовь), и разсказываеть услышанную имъ отъ жителей того мъста легенду о происхождении этой статун. Одниъ юноша, тропутый необыкновенною красотою другаго, почувствоваль къ нему непреодолимо страстное стремленіе. Встрѣтивъ въ отвѣтъ на свое чувство совершенную холодность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея нобѣжденію, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юноша, вдругъ проникнутый и пораженный силою возбужденной имъ страсти, почувствовалъ къ погибшему такое сожалѣніе и такую любовь, что и самъ добровольно погибъ въ волнахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя — аптэросъ.

У Грековъ была не одна Венера, но три: Уранія (небесная), Пандемосъ (обыкновенная) и Апострофія (предохраняющая пли отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объяспеній: значеніе третьей было — предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно. что нравственное чувство всегда лежало въ самой основъ національнаго эллинскаго духа. Однакожь, это нисколько не противоръчитъ тому, что преобладающій элементь ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее нли удовлетворенія, или гибели. По этому, они смотрыли на Эрота, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для котораго было какъ бы забавою губить людей. Множество трагическихъ легендъ любви, у Грековъ, виолив оправдываетъ такой взглядъ на Эрота — это маленькое крылатое божество съ коварною улыбкою на младенческомъ лицъ, съ гибельнымъ лукомъ въ рукт и страшнымъ колчаномъ за плечами. Кому не извъстно преданіе о несчастной любви Сафо къ Фаону и о скал'в левкадской? А сколько легендъ о страстной любви между братьями и сестрами, любви, которая оканчивалась или смертью безъ удовлетворенія, или казнью раздраженныхъ боговъ въ случат преступнаго удовлетворенія! Овидій передаль потомству ужасную легенду о такой любви дочери къ отцу. Старая пяня несчастной ввела ее въ темнотъ на ложе отца, упоеннаго виномъ и неподозръвавшаго истины, — и сперва Эвмениды, а потомъ

превращеніе было наказаніемь боговь, постигшимь несчастную. Но сколько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она увънчавалась законною взаимностію! Не даромъ, въ прелестномъ мнов Эрота и Психен, Греки выразили поэтическую мысль брачнаго сочетанія любви съ душою! Павзаній разсказываеть о статуй стыдливости трогательную, исполненную души и граціи романтическую легенду. Статуя эта изображала дъвушку, которой преклоненная голова была пакрыта покрываломъ. Вотъ смыслъ этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пецелопъ, ръшился возвратиться изъ Лакедемона въ Итаку, Икаръ, престарълый царь, тесть его, не вынося мысли о разлукъ съ дочерью, со слезами умолялъ его остаться. Улиссъ уже готовъ былъ взойдти на корабль, — старецъ паль къ его ногамъ. Тогда Улиссъ сказалъ ему, чтобы онъ спросилъ свою дочь, кого она выберетъ между ними-отца или мужа: Пенелона, не говоря на слова, накрылась покрываломъ, — и старецъ изъ этого безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвіта понядъ, что мужъ для нея дороже отца, хотя страхъ и нежеланіе оскорбить чувство родительской любви и сковали уста ея... Это романтизмъ! Въ ученій вдохновеннаго философа, божественнаго Платона, греческое созерцаніе любви возвышается до небеснаго просвытленія, такъ что пичего не оставляеть, въ побыду надъ собою, среднимъ въкамъ, этой ультра-романтической эпохв...

«Наслажденіе красотою (говорить этоть величайшій романтикь не только древней Греціи, но и всего міра) вь этомъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по восноминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа приноминаеть себѣ въ нервлначальной ея родинѣ. Воть почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрилять душу къ небесному и возвращать се къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи; другіе же за другими богаме; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; пріобщались ему всецѣлые, непричастные бѣдст-

віямъ, которыя въ поздінее время нась посѣтили; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и незапятнаны тѣмъ, что мы, нынѣ влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину... Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероногому ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и еслибы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не являлся въ такомъ лучезарномъ и чистомъ свътк своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудредовъ классической древности...

Но все это показываетъ только глубокость эллинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавшаго самого себя, и не только не противоржчить, но еще подтверждаеть истину, что пафось къ красоть составляль высшую сторону жизни Грековъ. А богини красоты, -- какъ мы уже замътили выше. -- сопровождалась у нихъ любовью и желаніемъ... Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вийстй, не есть еще высшее проявление романтизма. Женщина существовала для Грека въ той только мере, въ какой была она прекрасна, и ея назначеніе было удовлетворять чувству изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усиленію страстнаго упоенія мущины. Елена «Иліады»—представительница греческой женщины: п боги и смертные иногда называють ее безстыдною и презрънною, но ей покровительствуеть сама Киприда и собственною рукою возводить ее на ложе Александра-боговиднаго, позорно бъжавшаго съ поля битвы; за нее сражаются и цари и народы, гибнетъ Троя, пылаетъ Иліонъ — священная обитель царственнаго старца Пріама... Въ піесахъ, такъ превосходно переведенныхъ Батюшковымъ изъ греческой антологіи, можно видіть характеръ отношеній любящихся, какъ наприміръ, въ этой эпиграмі:

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эроть За чашей вакховой Аглаю побъдили...
О радость! здъсь они сей поясь разрѣнили, Стыдливости дѣвической оплоть.
Вы видите: кругомъ разсѣяны небрежно Одежды пышныя падменной красоты, Покровы легкіе изъ дымки бѣлоспѣжной. И обувь стройная и свѣжіе цвѣты:
Здъсь всѣ развалины роскошнаго убора, Свидѣтели любви и счастья Никагора!

Въ этой піескъ схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрѣнію: это — изящное, проникпутое грацією наслажденіе. Здѣсь женщина—только красота, и больше инчего; здѣсь любовь — минута поэтическаго, страстиаго упоенія, и больше ничего. Страсть насытилась — и сердце летитъ къ новымъ предметамъ красоты. Грекъ обожалъ красоту, и всякая прекрасная женщина имѣла право на его обожаніе. Грекъ былъ вѣренъ красоть и женщинъ, но не этой красоть, или этой женщинъ. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла, вмѣсть съ нимъ, и сердце любившаго ее. И если Грекъ цѣнилъ ее и въ осень дней ея, то все же оставаясь вѣрнымъ своему воззрѣнію на любовь, какъ на пзящное наслажденіе:

Тебѣ дь оплакивать утрату юныхъ дней?

Ты въ красотѣ не измѣнилась,

И для любви моей

Отъ времени еще предъстиѣе явилась.

Твой другь не дорожитъ неопытной красой,
Незрѣлой въ тапиствахъ любовнаго искусства:
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой,
И робкій ноцѣлуй безъ чувства.

Но ты, владычица любви,
Ты-страсть вдохиешь и въ мертвый камень;

И въ осень дней твоихъ не погасаеть пламень, Текущій съ жизнію въ крови...

Сколько страсти и задушевной граціп въ этой эниграммъ?

Въ Ланев правится улыбка на устахъ, Ея плънительны для сердца разговоры; Но мит милтії ея потупленные взоры И слезы горести внезапной на очахъ. Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью, У погъ ея любви всѣ клятвы повторяль, И съ поцвауемъ, къ сладострастью На ложе роскоппи тихонько увлекаль... Я таяль, и Лапса млвла... По вдругъ уныла, поблъдивла, И слезы градомъ изъ очей! Смущенный, я прижаль ее къ груди моей; «Что сдълалось, скажи, что сдълалось съ тобою?» - Спокойна, инчего, безсмертными клянусь! Я мыслію быта встревожена одною: Вы всв обманчивы, и я... тебя страшусь. -

Романтичская лира Эллады умёла восийвать не одно только счастіе любви, какъ страстное и изящное наслажденіе, и не одну муку нераздёленной страсти: она умёла илакать еще и надъ урною милаго праха, и элегія, — этотъ ультра-романтическій родъ поэзіи, — былъ созданъ ею же, свётлою музою Эллады. Когда отъ страстно любящаго сердца смерть отнимала предметъ любви прежде, чёмъ жизнь отнимала любовь, — Грекъ умёлъ любить скорбною намятью сердца:

Въ обители ничтожества упылой,
О незабвенная! прими потоки слезъ
И копль отчаянья надъ хладною могилой,
И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.
Ахъ, тщетно все! изъ въчной сънп
Ничъмъ не призовемъ твоей прискорбной тъни:
Добычу не отдастъ завистливый Андъ.
Здъсь онъмъніе; все хладио, все молчитъ;
Нагробный факелъ мой лишь мраки освъщаетъ...
Что, что вы сдълали, властители небесъ?

Скажите, что краса такъ рано погибаетъ? Но ты, о мать-земля! съ сей данью горькихъ слезъ, Прими почившую, поблекшій цвътъ весенній. Прими, и успокой въ гостепріимной съни!

Но примъры романтизма греческаго не въ одной только сферъ любви. «Иліада» устяна ими. Вспомните Ахиллеса,

Въ сердце питавшаго скорбь о красно-опоясанной дѣвѣ. Силой Атрида отъятой.

Когда уводять отъ него Бризенду, странный силою и могуществомъ герой—

> Бросиль друзей Ахиллесь, и далеко оть встхъ, одинокій, Стять у пучним стдой и, взирая на Понтъ темноводный, Руки въ слезахъ простираль, умоляя любезную матерь...

Эта сила, эта мощь, которая скорбить и плачеть о нанесенной сердцу рань, вмыето того, чтобъ страшно мстить за нее, — что же это такое если не романтизмъ? А тынь несчастливца Патрокла, явившаяся Ахиллу во снь?

Только Пелидъ на брегу неумолкно-шумящаго моря
Тяжко стенящій лежаль, окруженный толпой Мпрмидонянь.
Ниць на полянь, гдь волны лишь шумныя билися въ берегъ.
Тамъ надъ Пелидомъ сонь, сердечныхъ тревогъ укротитель.
Сладкій разлился: герой истомиль благородные члены.
Гектора быстро гоня предъ высокой стъной Иліона.
Тамъ Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла,
Призракъ, величемъ съ нимъ и очами прекрасивими сходный;
Та жь и одежда, и голост тотт самый, сердцу знакомый...

Тънь Патрокла умоляетъ Ахилла о погребеніи и о томъ еще, когда прійдетъ часъ Ахилла, то чтобъ кости ихъ покоплись въ одной уриъ... Ахиллъ отвъчаетъ возлюбленной тъпи радостною готовностію совершить ея «завъты кръпкіе» и молитъ ее приблизиться къ нему для дружнаго объятія...

Рекъ, н жадимя руки любимца обнять распростеръ опъ; Тщетно: душа Менетида, какъ облако дыма, сквозь землю Ст воемт ушла. И вскочить Ахилль, пораженный видёньемть, И руками всилеснуль, и печальный такъ говориль онъ:

- -Боги! такъ подзинно есть и въ андовомъ домъ подземномъ
- «Духъ человъка и образъ, но онъ совершенно безплотный!
- «Цъзую ночь, я видъль, душа несчастливца Патрокла
- «Все надо мною стояла, стенающій, илачущій призракь;
- «Все мит завъты твердила, ему совершенно подобясь!»

Это ли не романтизмъ?

А старецъ Пріамъ, лобызающій руку убійны дѣтей свонхъ, в умоляющій его о выкупѣ Гекторова тѣла?

> Старецъ, никъмъ непримъченный, входитъ въ покой, с Пелиду Въ ноги упавъ, обымаетъ колъна и руки цалуетъ, Страшныя руки, дътей у него погубившія многихъ...

- Вспомни отца своего, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный,
- Старца такого жь, какъ я на порогъ старости скороной!

- Можеть быть въ самый сей мигь, и его окруживши, сосъди
- «Ратью тъснять, и не кому старца отъ горя избавить...
- Но по крайней онъ мъръ, что живъ ты и зная и слыша.
- Сердце тобой веселить, и вседневно льстится надеждой,
- Милаго сына узръть, возвратившагось въ домъ изъ-подъ Трои.
- Я же, несчастивитій смертный, сыновь возрастиль браноносныхь
- •Въ Троб святой, и изъ нихъ ни единаго мий не осталось!
- Я патьдесять ихъ имъль при нашествіи рати ахейской:
- •Ихъ девятнадцать братьевъ отъ матери было единой;
- «Прочихъ родили другія любезныя жены въ чертогахъ:
- Многимъ Арей истребитель сломилъ имъ несчастнымъ колъна,
- Сынъ остался одинъ, защищалъ онъ и градъ нашъ и гражданъ;
- «Ты умертвиль и его, за отчизиу сражавшагось храбро,
- «Гектора! Я для него прихожу къ кораблямъ, мирмидонскимъ;
- «Выкупить тъло его, приношу драгоцънный я выкупъ.
- «Храбрый, почти ты боговь, надъ моимъ здоподучіемъ сжадься,
- •Вепоминвъ Пелея родителя! я еще болъе жалокъ!
- «Я испытую, чего на землъ не пспытываль счертный:
- Мужа, убійцы дотей моихг, руки кі устамі прижимаю! .

Такъ говоря, возбудилъ объ отцъ въ немъ печальныя думы; За руку старца онъ взявъ, отъ себя отклонилъ его тихо.

Оба они вспоминая: Пріамъ знаменитаго сына,

Горестио плакаль, у погъ Ахиллесовыхъ въ прахѣ простертый;

4.4

q. VIII.

Царь Ахиллесь, то отца вспоминая, то друга Патрокла, Плакаль — и горестный стонь ихъ кругомь раздавался по дому.

Заключимъ наши указанія на романтизмъ греческій прекрасною эпиграммою, переведенною Батюшковымъ же изъ греческой антологіи; она называется — «Яворъ къ Прохожему»:

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется!
Какъ любить мой полуистлъвшій пень!
Я нъкогда ему даваль отрадну тънь;
Завяль: но виноградъ со мной не разстается.
Зевеса умоли,
Прохожій, если ты для дружества снособенъ,
Чтобъ другъ твой моему быль нъкогда подобенъ,
И пепель твой любиль оставшись на земли.

Въ основъ всякаго романтизма непремънно лежитъмистицизмъ, болве или менве мрачный. Это объясняется темъ. что преобладающій элементь романтизма есть вычное и неопредъленное стремленіе, не уничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма, — какъ мы уже замѣтили выше, --есть таинственная внутренность груди, мистическая сущность быющагося кровью сердца. По этому, у Грековъ вск божества любви и ненависти, симпатіи и аптипатіи, были божества подземныя, титаническія, діти Урана (неба) и Гея (земли), а Уранъ и Гея были дъти Хаоса. Титаны долго осноривали могущество боговъ олимпійскихъ, и хотя громами Зевеса они были низринуты въ тартаръ, по одинъ изъ нихъ-Прометей, предсказаль паденіе самого Зевеса. Этоть мноь о въчной борьбъ титаническихъ силъ съ небесными глубоко знаменателенъ: нбо онъ означаетъ борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человѣка съ его разумнымъ сознаніемъ, и хотя это разумное сознаніе наконецъ восторжествовало въ образв одимпійскихъ боговъ надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій, -- но оно не могло уничтожить ихъ, пбо титаны были безсмертны подобно олимпійцамъ; — Зевесъ только могъ заключить ихъ въ подземное царство вычной ночи, оковавъ цыпями, но п оттуда они успыли же наконецъ потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль лежить въ основъ Софокловой «Антигоны». Героиня этой трагедін падаетъ жертвою любви своей къ брату. враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: ибо она хотъла погребсти съ честію тело своего брата, въ которомъ представитель государства видълъ врага отечества и общественнаго спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго элемента съ элементами религіозными, государственными п мыслительными, — борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бъднаго человічества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія съ божествами олимпійскими. Тогда настапеть новый золотой въкъ, который столько же будетъ выше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, слъдственно. самый романтическій поэтъ Греціп былъ Гезіодъ-одинъ пзъ первоначальныхъ поэтовъ Эллады; и потомъ, самый романтическій поэтъ Греціи быль трагикъ Эврипидъ — одинъ изъ послёднихъ ел поэтовъ.

Впрочемъ, романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въ жизни Грековъ: опъ даже подчинялся у няхъ другому, болъе преобладающему элементу—общественной и гражданской жизни. Поэтому, романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравновъшивался другими сторонами эллинскаго духа, и не могъ доходить до крайностей пелъпаго. Изъ мисовъ Тантала и Сизифа видно. какъ чуждо было духу греческому остановиться на идеъ неопредъленнаго стремленія. Танталъ мучится въ подземномъ міръ безконечно пенасытимою жаждою; Сизифъ долженъ безпрестанно падающій тяжкій камень поднимать снова: эти наказанія, такъ же какъ и самыя титаническія

силы, имъють въ себъ что-то безмърное, тяжко-безконечное; въ нихъ выражается ненасытимость внутрение-личнаго естественнаго вождельнія, которое въ своемъ безпрерывномъ повтореніи не достигаетъ до спокойствія, удовлетворенія: ибо божественный смыслъ Грековъ понималь пребываніе въ неопредъленномъ стремленіи не какъ высочайшее блаженство, въ смыслъ новъйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключиль его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе въка. Хотя романтизмъ есть общее духу человъческому явленіе, во всъ времена и для встхъ народовъ присущее, но онъ считается какою-то исключительною принадлежностію среднихъ віковъ и даже носить на себъ имя народовь романскаго происхожденія, игравшихъ главиую роль въ эту великую и мрачную эпоху человъчества. И это произошло не отъ ошибки, не отъ заблужденія: средніе въка — дъйствительно романтическія по превосходству. Въ Греціи, какъ мы видёли, романтизмъ былъ силою мрачною, всегда движущеюся, вычно борющеюся съ богами Олимпа и вѣчно держащею ихъ въ страхѣ; но эта сила всегда была побъждаема высшею силою одимпійских божествъ: въ средніе въка, напротивъ, романтизмъ составляль безпримърную, самобытную силу, которая, не будучи ничъмъ ограничиваема, дошла до последнихъ крайностей противоречія и безсмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ въковъ управляль не разумь, а сердце и фантазія. Казалось, что мірь снова сділался добычею разнузданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвавшіеся съ цёней титаны снова ринудись изъ тартара и овладъли землею и небомъ. — и надъ всъмъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительные, что это движение совершалось въ противорычи съ своимъ сознаніемъ. Олимпійскія силы, у Грековъ, выражали общее и безусловное, а титаническія были представите-

лями индивидуальнаго, личнаго начала. Въ средніе въка, всъ начала назывались чужими, противоположными имъ именами. Движеніе ихъ было чисто сердечное и страстное, а совершалось опо не во имя сердца и страсти, а во имя духа; движение это развило до последней крайности значение человъческой личности; совершилось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной иден, для выраженія которой не доставало словь-ихъ заміняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ мірѣ, безуміе было высшею мудростію, а мудрость буйствомъ; смерть была жизнію, а жизнь — смертію, и міръ распался на два міра — на презпраемое здась и неопредаленное, таинственное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ дъйствительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждою безъ совершенія, желаніемъ безъ выполненія, страстною, безнокойною двательностію безъ цьли и результата. Хотьли чувствовать для того только, чтобъ чувствовать, стремпться для того только, чтобъ стремиться, желать — чтобъ желать, а дъйствовать — чтобъ не быть въ покот. На тело смотрели не какъ на проявление и орудие духа, а какъ на вериги и темницу духа, не раздёляли мийнія древнихъ, что только въ здоровомъ тълъ можетъ обитать и здоровая душа, но напротивъ, были убъждены, что только изможденное и устаръвшее до времени тело могло быть одарено ясповидениемъ истины... Чудовищныя противорьчия во всемь! Дикій фанатизмъ шель объруку съ святотатствомъ; злодъйство и преступление смънялись покаяніемъ, крайность котораго, казалось, превосходила силы духа человьческого; набожность и кощунство дружно жили въ одной и той же душь. Понятіе о чести сдълалось краеугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ Формъ, а не въ сущности: рыцарь, неявившійся на вызовъ смерти, видълъ честь свою погибшею; но выходя на большія

дороги грабить купеческие обозы, онъ не боялся увидъть опозореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинъ была воздухомъ, которымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицею этого романтическаго міра. За одинъ взглядъ ея, за одно ея слово-умереть казалось слишкомъ ничтожною жертвою, поовдить одному тысячи—слишкомъ легкимъ двломъ. Провхать десятки верстъ, на дорогѣ помять бока и поломать свои кости въ поединкъ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ «обожаемой дёвы», чтобъ только увидёть въ окит промелькнувшую тынь ея-казалось высочащимъ блаженствомъ. Доказать, что «дама его сердца» прекрасите и добродътельние всёхъ женщинъ въ міръ, доказать это людямъ, которые никогда не видали, его дамы, и доказать имъ это силою руки, гибкостію тъла, лезвіемъ меча и остріємъ шики—казалось для рыцаря священнымъ дъломъ. Онъ- емотрълъ на свою даму, какъ на существо безплотное; мувствениюе стремление къ ней онъ почелъ оби профанацією, / грехомъ / она была для него идеаломъ, и мысль о ней давала ему и храбрость и силу. Онъ призывадъ ея имя въ битвахъ, опъ умиралъ съ ея именемъ на устахъ. Онъ былъ ей въренъ всю жизнь п еслибъ для этой върности у него не хватило любви въ сердцъ, онъ легко замънилъ бы ее аффектаціею. И это страстно-духовное, это трепетно-благоговъйное обожаніе избранной «дамы сердца» ни сколько не мѣшало жениться на другой, или быть въ самой грѣховной связи съ десятками другихъ женщинъ, — не мѣшало самому грубому, циническому разврату. То идеаль, а то дъйствительность: зачёмъ же имъ было мёшать другь другу?... Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ въкамъ: они обожали красоту, какъ и Греки; по въ свое попятіе о красотъ внесли духовный элементъ. Греки понимали красоту только какъ красоту, строго правильную, съ изящными формами, оживленными грацією; красота среднихъ въковъ была красотою не одной формы, но и какъ чувственное выражение нравственныхъ качествъ, красота болье духовная, чъмъ тълесная, — красота, для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бѣднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для Грековъ красота существовала въ цёломъ, и потому ихъ статун были нагія, или полунагія; красота среднихъ в'яковъ вся была сосредоточена въ выражении лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что понятіе среднихъ вѣковъ о красотѣ — болѣе романтическое и болъе глубокое, чъмъ понятіе древнихъ. Но средніе въка и тутъ не умъли не исказить дъла крайностію п преувеличениемъ: они слишкомъ любили туманную неопредъленность выраженія въ лицъ женщины, и въ ихъ картинахъ она является какъ-будто совстмъ безъ формъ, совстмъ безъ тела, какъ-будто тенью, призракомъ какимъ-то. Въ поняти о блаженствъ любви средніе въка были діаметрально противоположны Грекамъ. Вступпть въ любовную связь съ дамою сердца, значило бы тогда осквернить свои святышия и задушевивішія върованія; вступпть съ нею въ бракъ — унизить ее до простой женщины, увидъть въ ней существо земное и тълесное... Да соединение съ любимою женщиною и не казалось тогда какою-то необходимостію. Любили для того, чтобъ любить, и мистика сердечныхъ движеній отъ мысли любить и быть любимымъ — была самымъ полнымъ удовлетвореніемъ любви и наградою за любовь. Еслибъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона, — его ожидало бы неземное счастіе, небеспое блаженство; онъ даже не захотълъ бы и знать, любятъ ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любить. Вотъ ужь подлинно счастіе, котораго не могла лишить судьба, сокровище, котораго никто не могъ похитить!... И хорошо дълали тъ, которые ограничивались платоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про-себя: бракъ всегда бывалъ гробомъ

любви и счастія. Бъдная дъвушка, сдълавшись женою, промънивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабою, и въ своемъ мужѣ, дотолѣ преданнъйшемъ рабъ ен прихотей, находила деспотического властелина и грозпаго судію. Безусловная покорность его грубой и дикой воль дълалась ен долгомъ, безропотное рабство ен добродътелью, а теривніе-единственною опорою въ жизни. Пьяный и бёшеный, онъ метилъ ей за дурное расположение своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную ноголу, мъшавшую ему охотиться. При мальйшемъ нодозрънін въ невърности, онъ могъ ее заръзать, удавить, сжечь, зарыть живую въ землю, -- и увы! -- такія исторіи не были въ средніе віка слишкомъ різдкими, или исключительными событіями! И вотъ она-царица общества и повелительница храбрыхъ и сильныхъ! И вотъ опъ — чудовищный и нелъпый романтизмъ среднихъ въковъ, столь поэтпческій, какъ стремленіе, п столь отвратительный, какъ осуществленіе на дъль! Но довольно о немъ. Съ инмъ вст болье или менте знакомы, поо о немъ даже и по-русски писано много. Но мы еще возвратимся къ цему, говоря о поэзіи Жуковскаго.

Романтизмъ среднихъ вѣковъ пе умиралъ и не изчезалъ: напротивъ, опъ царитъ еще надъ современнымъ намъ обществомъ, но уже измѣнившійся и выродившійся; а будущее готовитъ ему еще большее измѣненіе. Что же убило его въ томъ видѣ, въ какомъ существовалъ онъ въ средніе вѣка? — Свѣтъ просвѣщенія, разогнавшій въ Европѣ мракъ невѣжества, — успѣхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобрѣтеніе книгопечатанія и пороха, римское право, и вообще изученіе классической древности. Странпое дѣло! Въ Греціи романтизмъ разрушилъ свѣтлый міръ олимийскихъ боговъ: ибо что же были ученія и таниства элевзинскія, какъ не романтизмъ глубокомысленный и мистическій? Туманныя, неопредѣленныя

предчувствія высшей духовной сущности, пробудившіяся въ душь Грековъ, — находились въ явной противоположности съ ръзко опредъленнымъ, яснымъ, но въ то же время и вижшнимъ міромъ олимпійскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти лишь по отцу исходили отъ духа, по матери же, исключая Аполлона и Артемиду—рождены были изъ нѣдръ земли, божества довременно-титаническаго, то и духъ Эллиновъ, не удовлетворяясь олимпійцями, обратился къ подземпымъ титаническимъ силамъ, которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизни, съ его сердцемъ. Нъкогда попранное могущество древнихъ титаническихъ боговъ возставало теперь преображенное, пріявшее въ себя всю жизнь души, неудовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древняя элементарная природа, но уже пришедшая въ гармонію, проникнутая высшею духовностію, не гибельная и пожирающая, но дружественная человѣку, сосредоточенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ элевзинскихъ мистеріяхъ являлись уже божествами подземнаго міра, таинственными и всеобъем мощими. Подъ влінніемъ элевзинскихъ тапиствъ развилась поэзія Эсхила, столь враждебная Зевсу, п поэзія Эврипида, — развилась вся философія Греціи. и въ особенности философія величайшаго изъ романтиковъ-Платона. Следовательно, въ Греціи, романтизмъ, какъ выраженіе подземныхъ титаническихъ силъ, игралъ роль демона, подконавшаго царство Зевеса. Въ новомъ же мірѣ, романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго царства страданій и скорон, ничъмъ неутолимыхъ порывовъ сердца; а разрушителемъ этого романтизма, демономъ сомнѣнія и отрицаніяявилось царство Зевеса, т. е. царство свътлаго и свободнаго разума. Та же исторія, только совершенно наоборотъ! Всѣмъ извъстно, какіе страшные удары нанесены были среднимъ въкамъ демономъ проніи! Какое страшное, въ этомъ отношеніи,

произведеніе «Донъ-Кихотъ» Сервантеса! Реформатское движеніе было явнымъ убійствомъ среднихъ въковъ. XVIII въкъ доръзалъ его радикально. Этотъ умиъйшій и величайшій изъ всъхъ въковъ, былъ особенно страшенъ для среднихъ въковъ...

Вслъдствіе страшныхъ потрясеній и ударовъ, нанесенныхъ романтизму XVIII-мъ въкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображеннымъ. Романтизмъ нашего времени есть сынъ романтизма среднихъ въковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнее, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецилость романтизма всихъ виковъ и всихъ фазисовъ развитія человіческаго рода: въ нашемъ романтизмі, какъ лучи солнца въ фокуст зажигательнаго стекла, сосредоточились вст моменты романтизма, развивавшагося въ исторіи человтчества, и образовали совершенно новое целое. Общество все еще держится принципами стараго, средневъковскаго романтизма, обратившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но люди, имінощіе право называться «солью земли», уже силятся осуществить идеаль новаго ремантизма. Наше время есть эпоха гармонического уравновъшенія всёхъ сторонъ челов'єческаго духа. Стороны духа человъческаго неизчислимы въ ихъ разнообразіи; но главныхъ сторонъ только двъ: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словомъ, романтика, — и сторона сознающаго себя разума, сторона общаго, разумъя подъ этимъ словомъ сочетаніе питересовъ, выходящихъ изъ сферы индивидуальности п личности. Въ гармоніи, т. е. во взаимномъ сопроникновеніи одной другою этихъ двухъ сторонъ духа, заключается счастіе современнаго человъка. Романтизмъ есть въчная потребность духовной природы человъка: поо сердце составляетъ основу, коренную почву его существованія, а безъ любви и ненависти, безъ симпатіи и антипатіи человѣкъ есть призракъ. Любовьпоэзія и солице жизни. Но горе тому, кто, въ наше время, зданіе счастія своего вздумаетъ построить на одной только любви, и въ жизни сердца вознадъется найдти полное удовлетвореніе встив своимъ стремленіямъ! Въ наше время, это значило бы отказаться отъ своего человъческого достопиства, нзъ мущины сделаться — самцомъ! Міръ действительный имъетъ равныя, если еще не большія права на человъка, и въ этомъ мірѣ человькъ является прежде всего сыномъ своей страны, гражданиномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его интересы и ревностно поборающимъ, по мёрё силь своихъ, его преуспъянію на пути правственнаго развитія. Любовь къ человъчеству, понимаемому въ его историческомъ значенін, должна быть живоносною мыслію, которая просвътляла бы собою любовь его къ родинъ. Историческое созерцаніе должно лежать въ основт этой любви и служить указателемъ для дъятельности, осуществляющей эту любовь. Знаніе, искусство, гражданская діятельность — все это составляетъ для современнаго человъка ту сторону жизни, которая должна быть только въ живой органической связи съ стороною романтики, или внутренняго задушевнаго міра человіка, но не замъняться ею. Если человъкъ захочетъ жить только сердцемъ; во имя одной любви, и въ женщинъ найдти цъль и весь смыслъ жизни, -- онъ непремънно дойдетъ до результата самаго противоположнаго любви, т. е. до самаго холоднаго эгонзма, который живеть только для себя и все относить къ себъ. Если, напротивъ, человъкъ, презръвъ жизнію сердца, захотъль бы весь отдаться интересамъ общимъ, — онъ или не избъжаль бы тайной тоски и чувства внутренней неполноты и пустоты, или, если не почувствоваль бы ихъ, то внесъ бы въ міръ высокой діятельности сухое и холодное сердце, при которомъ не бываетъ у человъка ни высокихъ помысловъ, ии илодотворной дъятельности. Итакъ, эгонзиъ и ограни-

ченность, или неполнота — въ объихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармоническаго ихъ сопроникновенія одной другою выходить возможность полнаго удовлетворенія, а слъдственно и возможность свойственнаго и присущнаго душь человька счастія, основаннаго не на песчаномъ берегу случайности, а на прочномъ фундаментъ сознанія. Въ этомъ отношеній, мы гораздо ближе къ жизни древнихъ, чёмъ къ жизни среднихъ вековъ, и гораздо выше техъ и другихъ. Ибо, въ нашемъ идеалѣ, общество не угиетаетъ человъка насчетъ естественныхъ стремленій его сердца, а сердце не отрываетъ его отъ живой общественной діятельности. Это не значить, чтобъ общество позволяло тенерь человску, между прочимъ, и любиться, по это значить, что уже нъть, или, по крайней мъръ, болъе не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными разумпо и свободно. И въ наше время, жизнь и дъятельность въ сферѣ общаго есть необходимость не для одного мущины, но точно также и для женщины: ибо наше время сознало уже, что и женщина такъ же точно человъкъ, какъ и мущина, и сознало это не въ одной теоріи (какъ это же сознавали и средніе въка), но и въ дъйствительности. Если же мущинъ позорно быть самцомъ, на томъ основани, что онъ человъкъ, а не животное, то и женщинъ позорно быть самкою на томъ основаніи, что она — человіть, а не животное. Ограничить же кругъ ея дъятельности скромностію и невиниостію въ состоянін дівическомъ, спальнею и кухнею въ состоянін замужства (какъ это было въ средніе вѣка) — не значить ли это лишить ее правъ человъка, и изъ женщины сдълать самкою? Но, скажутъ намъ: женщина — мать, а назначеніе матери свято и высоко — она воспитательница дътей своихъ. Прекрасно! Но въдь восинтывать не значитъ только выкармливать и выняньчивать (первое можеть сделать корова, или

коза, а второе нянька), но идать направление сердцу и уму, а для этого развѣ ненужно, со стороны матери, характера, науки, развитія, доступности ко всёмъ человіческимъ интересамъ?... Нътъ, міръ знанія, искусства, словомъ міръ общаго доженъ быть столько же открыть женщинь, какъ и мущинъ, на томъ основания. что и она, какъ и онъ, прежде всего-человъкъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, хозяйка, и проч. Вследствіе этого, отношенія обоихъ половъ къ любви и одного къ другому въ любви дълаются совствъ другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умъетъ только любить мужа и дътей своихъ, а больше ни о чемъ не имъетъ попятія и больше ни къ чему не стремится,такъ же точно смѣшна, жалка и недостойна любви мущины, какъ смъщонъ, жалокъ и недостоинъ любви женщины мущина, который только на то и способень, чтобъ влюбиться, да любить жену и дътей своихъ. Такъ какъ истинно человъческая дюбовь теперь можетъ быть основана только на взаимномъ уваженій другь въ другь человьческаго достоинства, а не на одномъ капризъ чувства и не на одной прихоти сердца, — то и любовь нашего времени имъетъ уже совстмъ другой характеръ, нежели какой имбла она прежде. Взаимное уважение другъ въ другъ человъческого достоинства производитъ равенство, а равенство — свободу въ отношеніяхъ. Мущина перестаеть быть властелиномъ, а женщина — рабою, п съ объихъ сторонъ установляются одинаковыя права и одинаковыя обязанности: последнія, будучи парушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болге и другою. Върпость перестаеть быть долгомъ, ибо означаеть только постоянное присутствіе любви въ сердць: нътъ болье чувства — и върность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается — върность онать не имбетъ смысла, ибо что за услуга быть вфрнымъ своему счастію?

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическое единство всъхъ моментовъ романтизма, развивавшагося въ исторіи человічества. Приступая къ развитію этой мысли, замътимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моментовъ развитія романтизма въ исторіи. Смѣшно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемьнадцать леть любило, какъ оно можеть любить въ тридцать и сорокъ, или наоборотъ. Есть въ жизни человъка цора восточнаго романтизма; есть пора греческого романтизма; есть пора романтизма средиль въковъ. И во всякую пору человъка, сердце его само знаетъ, какъ надо любить ему и какой любви должно оно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждою ступенью сознанія въ человъкъ, измъняется его сердце. Измъненіе это совершается съ болью и страданіемъ. Сердце вдругъ охладъваетъ къ тому, что такъ горячо любило прежде, и это охлажденіе повергаеть его во вст муки пустоты, которой нечемь ему наполнить, — раскаянія, которое все-таки не обратить его къ оставлениому предмету, — стремленія, котораго оно уже бонтся, и которому оно уже не въритъ. И не одинъ разъ повторяется въ жизни человіка эта романтическая исторія, прежде чъмъ достигнетъ онъ до нравственной возможности найдти своему успокоенному сердцу надежную пристань въ этомъ въчно волнующемся морт неопределенныхъ внутреннихъ стремленій. И тяжело дается человіку эта нравственная возможность: дается она ему ціною разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся мечтаній, побитыхъ фантазій, ціною уничтоженія всего этого романтизма среднихъ въковъ, который истиненъ только какъ стремленіе, и всегда ложенъ, какъ осуществленіе! И не каждый достигаеть этой нравственной возможности; но большая часть падаеть жертвою стремленія къ ней, падаеть съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себъ, какъ

проклятіе, память о другомъ разбитомъ навсегда сердцѣ, о другомъ навъки погубленномъ существовании... И здъсь - то заключается непзчерпаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтическихъ исторій, которыми такъ богата современная дъйствительность, наша грустная эпоха, которой не достаеть еще спль ни оторваться совершенно отъ романтизма среднихъ въковъ, ни возвратиться вновь и вполнъ въ обманчивыя объятія этого обаятельнаго призрака... Но иные спасаются отъ общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не встми видимыя и не встмъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не иначе, какъ только черезъ совершенное отрицание неопредалениаго романтизма среднихъ въковъ; однакожь, это не есть отрицаніе отъ всякаго идеализма и погружение въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толпа, но просвътлъние идеею самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очеловъченіе естественныхъ стремленій. Для человѣка нашего времени не можетъ не существовать прелесть изящныхъ формъ въ женщинъ, ни обаятельная сила эстетически-страстнаго наслажденія. И, несмотря на то, это будеть ни одна чувственность, ни одна страсть, но вмѣстѣ съ темъ и глубокое целомудренное чувство, привязанность нравственцая, связь духовная, любовь души къ душъ. Это будетъ растеніе, котораго прекрасный и роскошный цвътъ проливаетъ въ воздухѣ ароматъ, а корень кроется во влажной и мрачной почет земли. Восточная любовь основана на различін половь: основание это истинно, и недостатокъ восточной дюбви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностію, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностію. Мущинъ можно влюбиться только въ женщину, а женщинъ только въ мущину: следовательно, половое различие есть корень всякой любви, первый моменть этого чувства. Грекь обожаль въ женщинъ красоту, какъ только красоту, придавая ей

въ въчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрѣнія на женщину истинна и въ наше время, и надо имъть дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтобъ смотрѣть на красоту, не илѣняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинъ мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ въковъ пошель далье древнихь въ понятін о красоть: онь отказался отъ обожанія красоты, какъ только красоты, и хотёль видёть въ ней душевное выраженіе. Но это выраженіе понималь онъ до того неопредъленно и туманно, что древняя пластическая красота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная дъйствительность къ прекрасной мечтъ. Понятіе нашего времени о красотъ выше созерцанія древняго и созерцанія среднихъ вѣковъ: оно не удовлетворяется красотою, которая только что красота и больше ничего, какъ эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статуи греческія съ безцвітными глазами: но оно также далеко и отъ безилотнаго идеала среднихъ въковъ. Оно хочетъ видъть въ красотъ одно изъ условій, возвышающихъ достоинство женщины, и вместе съ темъ ищеть въ лице женщины опредъленнаго выраженія, опредъленнаго характера, опредъленной пден, отблеска опредъленной стороны духа. Въ наше время, умный человъкъ, уже вышедшій изъ пеленъ фантазін, не станетъ искать себі въ женщині пдеала всіхъ совершенствъ, — не станетъ потому, во первыхъ, что не можетъ видъть въ самомъ себъ идеала всъхъ совершенствъ и не захочеть запросить больше, нежели сколько самъ въ состоянии дать, а во вторыхъ, потому что не можетъ, какъ умный человъкъ, върпть возможности осуществленнаго идеала всъхъ совершенствъ, ибо опъ-опять-таки какъ умный, а не фантазирующій человікь, —знаеть, что всякая личность есть ограниченіе «всего» и исключеніе «многаго», какими бы достоинствами она ни обладала, и что самыя эти достоинства необходимо предполагають недостатки. Найдти одну или, пожалуй,

нъсколько правственныхъ сторонъ, и умъть ихъ понять и оцънить — вотъ идеаль разумной (а не фантастической) любви нашего времени. Красота возвышаетъ нравственныя достоинства; но безъ нихъ красота въ наше время существуетъ только для глазь, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться правственныя качества женщины нашего времени? — Въ страстной натуръ и возвышенно-простоиъ умъ. Страстная натура состоить въ живой симпатін ко всему, что составляеть нравственное существование человъка; возвышеннопростой умъ состоитъ въ простоиъ пониманіи даже высокихъ предметовъ, въ тактъ дъйствительности, въ смълости не бояться истины, ненабъленной и ненарумяненной фантазіею. Въ чемъ состоитъ блаженство любви по понятію нашего времени?-Въ наше время о полномъ и безусловномъ счастіи въ любви могутъ мечтать только или отроки, или духовно-малольтныя натуры. Это, во первыхъ, потому что міръ романтизма не можетъ вполнъ удовлетворить порядочнаго человъка, а во вторыхъ, потому что наше время какъ-то вообще неудобно для всякаго счастія, а тёмъ менъе для полнаго. Возможное счастіе любви бъ наше время зависить отъ способности дорожить одареннымъ благородною душою существомъ, которое. при сердечной симпатіи къ вамъ, столько же можетъ понимать васъ такъ, какъ вы есть (ин лучше, ин хуже), сколько и вы можете понимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность правственнаго существованія челов'їка. Видъть и уважать въ женщинъ человъка—не только необходимое, но и главное условіе возможности любви для порядочнаго человъка нашего времени. Наша любовь проще, естествениъе, но и духовите, правствените любви встхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи человъчества. Мы не преклонимъ кольнъ передъ женщиною за то только, что она прекрасна собою, какъ это делали Греки; но мы и не бросимъ ея, какъ наску-T. YIII.

чившую намъ игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемъ. Это не значить, чтобь наше сердце не могло иногда охладівать безь причины; но для нась ціть большаго несчастія, какъ, взявъ на себя нравственную отвътственность въ счастін женщины, растерзать ея сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ къмъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродътели, какъ это дълали рыцари; но мы уважимъ ея дъйствительныя права, и не дёлая ее своею царицею, не захотимъ видъть въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ въ средије въка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполнъ признаемъ ее человъкомъ... Мать нашихъ дътей, она не унизится, но возвысится въ глазахъ нашихъ, какъ существо свято выполнившее свое святое назначение, и наше понятие о ея нравственной чистотъ и непорочности не имъетъ ничего общаго съ тъмъ грязно-чувственнымъ понятіемъ, какое придаваль этому предмету экзальтированный романтизмъ срединхъ въковъ: для насъ, нравственная чистота и невинность женщины — въ ея сердцъ, полнотъ любви, въ ея душъ, полной возвышенныхъ мыслей... Идеалъ нашего времени — не дѣва идеальная и неземная, гордая своею невинностію, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ин ему, ни другимъ не лучше жить на свътъ: нътъ, идеалъ нашего времени — женщина, живущая не въ мірѣ мечтаній, а въ дъйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, — не такая женщина, которая чувствуеть одно, а дълаеть другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можеть быть законно, нравственно и чисто; безъ нея же, оно и въ самомъ бракъ есть унижение человъческаго достоимства, гръховный позоръ и растлъніе женшины...

Много нужно было времени, битвъ, бореній, переворотовъ; и страданій, чтобъ явилась человічеству заря новаго романтизма и настала для него эпоха освобожденія отъ романтизма среднихъ въковъ. Давно уже условія жизни и основы общества были другія, непохожія на тъ, которыми крѣпки были средніе въка; но романтизмъ среднихъ въковъ все еще держалъ Еврону въ своихъ душныхъ оковахъ, п — Боже мой! — какъ еще для многихъ гибельны клещи этого искаженного и выродившагося призрака!... XVIII въкъ нанесъ ему ударъ страшный и рашительный; но дёло тамъ не кончилось: какъ лампа вспыхиваетъ ярче передъ тъмъ, когда ей надо угаснуть, такъ сильнье, въ началь нынышняго выка, возсталь было изъ своего гроба этотъ покойникъ. Всякое сильное историческое движеніе необходимо порождаеть реакцію своей крайности: воть причина незапиаго появленія романтизма среднихъ въковъ въ литературь XIX въка. Онъ воскресъ въ странъ, которой умственную жизнь составляеть теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазёрство, и которой действительную жизнь составляеть ношлость бюргерства, гофратства и филистерства, — въ Германіц. Въ концѣ XVIII вѣка, тамъ явился великій поэтъ, одною стороною своего необъятнаго генія принадлежавшій человьчеству, а другою — ивмецкой національности. Мы говоримъ о Шиллеръ, поэзія котораго поражаетъ своею двойственностію при первомъ взглядъ. Пасосъ ея составляеть чувство любви къ человъчеству, основанное на разумъ и сознаніи; въ этомъ отношении, Шиллера можно назвать поэтомъ гуманности. Въ поэзін Шиллера, сердце его въчно исходить самою живою, пламенною и благородною кровію любви къ человтку и человъчеству, ненависти къ фанатизму религіозному и національному, къ предразсудкамъ, къ кострамъ и бичамъ, которые раздълнотъ людей и заставляють ихъ забывать, что они — братья другь другу. Провозвъстникъ высокихъ идей,

жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поборникъ чистаго разума, пламенный и восторженный поклоиникъ просв'єщенной, изящной и гуманной древности, — Шиллеръ въ то же время — романтикъ въ смыслѣ среднихъ вѣковъ! Странпое противоръчіе! А между тъмъ, это противоръчіе не подлежитъ никакому сомивнію. Мы думаемъ, что, первою стороною своей поэзіп, Шпллеръ принадлежитъ человъчеству, а второю онъ заплатилъ невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцаніи любви; но это любовь мечтательная, фантастическая: опа боптся земли, чтобъ не замараться въ ея грязп, и держится подъ небомъ, именно въ той полось атмосферы, гдв воздухъ редокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи солица свътять не гръя... Женщина Шиллера это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тыломы, а блюдиый призракы; это не страсть, а аффектація. Женщина Шиллера любитъ больше головою, чёмъ сердцемъ, и она у него всегда на пьедесталъ и подъ стекляннымъ колнакомъ, чтобъ не пахнулъ на нее вътеръ и не коснулся ея прахъ земли. Въ балладахъ своихъ, Шиллеръ воскресилъ весь ціэтизмъ среднихъ въковъ со всею безотчетностію его содержанія, со всёмъ простодушіемъ его невежества. После Шиллера, образовалась въ Германіи цълая партія романтическая, представителями которой были братья Шлегели, Тикъ и Новалисъ. Это все были натуры болье или менье даровитыя, но безъ всякой искры тенія, и они ухватились, со всемъ жаромъ прозелитовъ, за слабую сторону Шиллера, думая найдти въ ней все, и хлопоча, сколько хватало ихъ силъ, о возобновлении въ новомъ міръ формъ жизни среднихъ въковъ. Самъ Гёте — человъкъ высшаго закала, поэтъ мысли и здраваго разсудка, въ легендъ средиихъ въковъ высказалъ страданія современнаго человька («Фаусть»); а въ своемъ «Вертерь» явился онъ романтикомъ тоже въ духъ среднихъ въковъ. Многія баллады его (какъ, наприм.; «Аъсной Царь», «Рыбакъ» и проч.) дышатъ романтизмомъ того времени. — Это движеніе, возникшее въ Германін, сообщилось всей Европъ. Въ Англін явился поэтъ всего менње романтическій и всего болье распространившій страсть къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ Скоттъ самый положительный умъ; героп его романовъ всѣ влюблены, по какъ — этого онъ не раскрываетъ; его дъло влюбить и женить, а до мистики страсти, до ея развитія и характера онъ никогда не касается. А между тъмъ, онъ почти безвыходный жилецъ среднихъ въковъ: онъ съ такою страстію и такою словоохотливостію описываеть и кольчугу, и гербъ, и рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той эпохи... Былъ въ Англіп другой, еще болъе великій поэтъ п романтикъ по преимуществу; по тотъ надълалъ много вреда, и нисколько не принесъ пользы среднимъ въкамъ. Образъ Прометея, во всемъ колоссальномъ величін, въ какомъ передала его намъ фантазія Грековъ, явился вновь въ типическомъ образъ Байрона; но опъ былъ провозвъстникомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа въ духъ среднихъ въковъ; она состояла не изъ однихъ поэтовъ, но и мыслителей, и силилась воскресить не только ремантизмъ, но и католицизмъ, — что было съ ея стороны очень последовательно. Представителями романтической поэзін во Франціи были въ особенности два поэта — Гюго и Ламартинъ. Оба они истощили воскресшій романтизмъ среднихъ въковъ, и оба пали, засыпанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тщетно усиливались выстроить на перекоръ современной дъйствительности. Имъ не доставало цемента, такъ кръпко связавшаго колоссальные готические соборы среднихъ въковъ. Вообще, неестественная попытка воскресить романтизмъ среднихъ въковъ давно уже сдълалась анахронизмомъ во всей Европъ. Это была какая-то странная вспышка, на которой

опалили себъ крылья замъчательные таланты, и которая много повредила самимъ геніямъ.

Но у насъ, этотъ романтизмъ, искусственно воскрешенный на минуту въ Европъ, имълъ совсъмъ другое значение. Россія, реформою Петра Великаго, до того примкнулась къ жизни Европы, что не могла не ощущать на себъ вліянія происходившихъ тамъ умственныхъ движеній. У Россіи не было своихъ среднихъ въковъ, и въ литературъ ея не могло быть самобытнаго романтизма, — а безъ романтизма поэзія то же, что тьло безъ души. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескиваль романтизмъ греческій, но не болье, какъ только проблескиваль. Впрочемь, еслибы въ то время явился на Руси поэть, вполит проникнутый греческимь созерцаніемь и вполит владъвшій пластицизмомъ греческой формы, — то и въ такомъ случат русская литература выразила бы собою только одинъ моментъ романтизма, за которымъ оставалось бы ожидать другаго. Карамзинъ, какъ мы не разъ уже замічали, внесъ въ русскую литературу элементъ сантиментальности, которая не что иное, какъ пробуждение ощущения (sensation), первый моментъ пробуждающейся духовной жизни. Въ сантиментальности Карамзица, ощущение является какою-то отчасти бользиенною раздражительностію первовъ. Отсюда это обиліе слезъ и истинныхъ и ложныхъ. Какъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества: ноо кто можетъ плакать не только о чужихъ страданіяхъ, но и вообще о страданіяхъ вымышленныхъ, тотъ, конечно, больше человъкъ, нежели тотъ, кто плачетъ тогда только, когда его больно бъютъ. И однакожь, ощущение есть только приготовление къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмъ: то и другое обнаруживается, какъ чувство (sentiment), нижющее въ основъ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могь только романтизмъ среднихъ

въковъ, болье близкій и болье доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій, для своего уразумѣнія, особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ таинства романтизма среднихъ въковъ. Назначение сантиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было-разшевелить общество и приготовить его къ жизни сердца и чувства. По этому, явленіе Жуковскаго вскор'в послів Карамзина очень понятно и вполнъ согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее, общества. Равнымъ образомъ, понятенъ путь, которымъ Жуковскій привель къ намъ романтизмъ. Это быль путь подражація и заимствованія — единственный возможный путь для литературы, неимбишей и немогшей имъть корня въ общественной почвъ и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковскаго носила въ себъ сильную родственную симпатію къ музъ Шиллера, и. въ особенности, къ ея романтической сторонъ. Жуковскій познакомплен съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкѣ, — и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертію Шиллера. Хотя Жуковскій всегда двйствоваль какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотрѣть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо только то, что гармонировало съ внутреннею настроенностію его духа, и въ этомъ отношеній бралъ свое вездъ, гдъ только находилъ его — у Шиллера по преимуществу, но вмъстъ съ тъмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ Скотта. Томаса Мура, Грел и другихъ нъмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое онъ даже не столько переводилъ, сколько передълываль, иное запиствоваль мъстами и вставляль въ свои оригинальныя піесы. Однимъ словомъ, Жуковскій быль переводчикомь на русскій языкь не Шиллера пли другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германів и Англів: нѣтъ, Жуковскій быль переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX вѣка нѣмецкими и англійскими поэтами, препмущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковскаго и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковскій началь свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзін имъ начать, создань и утверждень на Руси: современники юности Жуковскаго смотрѣли на него преимущественно какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланін Батюшковъ называеть его «балладинкомъ». Подъ балладою тогда разумьли краткій разсказь о любви, большею частію несчастной; могилу, кресть, привидініе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и вёдьмъ считали принадлежностію этого рода поэзін, --больше же ничего не подозрѣвали. Но въ балладъ Жуковскаго заключался болье глубокій смысль, нежели могли тогда думать. Баллада и романсь — народная пъсня среднихъ въковъ, прямое и наивное выражение романтизма Феодальныхъ временъ, произведенія по-преимуществу романтическія. Первою балладою, обратившею на Жуковскаго общее вниманіе, была «Людмпла», переділанная имъ пзъ Бюргеровой «Лепоры», которую онъ въ последствии перевелъ. «Ленора» доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно спискивать себъ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но «Людмила» Жуковскаго явилась кстати: она имёла успёхь въ роде того, какимъ воспользовались «Душенька» Богдановича и «Бъдная Лиза» Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладъ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ решительно неть въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и «Людмила» въ то время могла быть

написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всёхъ своею легкостію, звучностію, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады — самое романтическое, во вкусъ среднихъ въковъ: дъвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полъ битвы, роищетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый пріъзжаетъ за нею на конъ и увозить ее — въ могилу, и хоръ тъней воетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

Смертных ропоть безразсудень; Царь всевышній правосудень; Твой услышаль стонь Творець; Чась твой биль, насталь конець.

Было время (и оно давно-давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какое-то сладостно страшное удовольствіе, и чёмь больше ужасала насъ, тёмъ съ большею страстію мы читали ее. Дъти ныньшияго времени стали умиве, и мы не думаемъ, чтобъ теперь даже и между ними могли найдтись почитатели «Людмилы». А между тымь — повторяемъ — она самое романтическое произведение въ духъ среднихъ въковъ. И еслибы мы не цомнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, несмотря на свои двъсти цятьдесять два стиха, — то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта терпвија и силы написать столь длинную балладу въ такомъ родъ... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться «Бъдною Лизою»; однакожь эта повъсть, въ свое время, исторгла миого слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Прудъ и испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надписями. Старожилы говорятъ, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мъста свиданія любовниковъ и мъста дуэлей. П много было писано потомъ новъстей въ такомъ родѣ; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтеніи, а до насъ не дошли даже и названія ихъ, — знакъ, что только талантъ умѣетъ угадывать общую потребность и тайную думу времени. Всѣ произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли нотребности времени, должны сохраняться въ исторіи: это курганы, указывающіе на путь народовъ и на мѣста ихъ роздыховъ... Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Людмила» Жуковскаго. Сверхъ того, романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нелѣномъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжнинаго таланта, но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски-простодушная легенда, и которыя свидѣтельствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ, напримѣръ, слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышуть шорохь тихихь теней; Въ часъ полупочныхъ видёній, Въ дымѣ облака, толной, Прахъ оставя гробовой Съ позднимъ мѣсяца восходомъ, Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ Въ цёнь воздушную свились — Воть за ними понеслись; Воть поютъ воздушны лики; Будто въ листьяхъ павилики Вьется легкій вѣтерокъ; Будго плещеть ручеекъ.

Или, вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Воть и мъсяць величавый Всталь надь тихою дубравой: То изъ облака блеснеть, То за облако зайдеть; Съ горъ простерты длинны тъни; И лъсовъ дремучихъ съни, И зерцало зыбкихъ водъ,

И небесь далекій сводъ
Въ свытлый сумракт облеченны...
Спять пригорки отдаленны,
Борь заснуль, долина спить...
Чу!... полночный чась звучить.
Нотряслись дубовь вершины;
Воть повъяль оть долины
Перелетный вътерокъ...
Скачеть по полю бадокъ...

Такіе стихи виолив оправдывають восторгь и удивленіе, которыми была ивкогда встрвчена «Людмила» Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладв новый духъ творчества, новый міръ поэзін — и общество не ошиблось.

«Свътлана», оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef-d'oeuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году, стало-быть, тридцать лътъ назадъ тому) титуловали Жуковскаго «пъвцомъ Свътланы». Въ этой балладъ, Жуковскій хотълъ быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послъ. Содержаніе «Свътланы» извъстно всъмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда либо написана была о «Свътланъ», заключается въ посвятительномъ куплетъ баллады:

Въ ней большие чудеса, Очень мало складу.

«Алина и Альсимъ», кажется, принадлежить къ числу оригинальныхъ балладъ Жуковскаго. Она отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающимъ на уста несовсѣмъ добрую улыбку; но ея содержаніе, несмотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было имѣть самое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно, такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялнсь набожно:

Что пользы въ платье дорогое Себя рядить? Богатство на землъ прямое Одно: любить.

Картина свиданія Алины съ Альсимомъ, представшимъ передъ нее подъ видомъ продавиа золотыхъ вещей, нарисована кистью грустною и меланхолическою; нѣкоторые стихи проникнуты самымъ обантельнымъ романтизмомъ, какъ. напримѣръ, эти:

Влистала красога младая
Въ его чертахъ;
Но блъденъ; борода густая;
Печаль въ глазахъ.
Мила для взоросъ живость цвита,
Знакъ юныхъ дней;
Но блюдный цвить, тоски примита,
Еще мильй.

Развязка баллады — дѣтская мелодрама: кинжаль, убійство невинныхь и терзаніе совѣсти убійцы. Мы думаемь, что такимь окончаніемь испорчена баллада, имѣвшая для своего времени великое достоинство.

Не знаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать «Двънадцать Спящихъ Дѣвъ»; но мысль «Вадима», составляющаго вторую часть этой огромной баллады, запиствована имъ изъромана Шписа «Старикъ вездѣ и нигдѣ». Мѣсто дѣйствія этой баллады въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ — никакихъ. Это нисколько не русская, но чисто романтическая баллада въ духѣ средиихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Говорять, что «Эолова Арфа»—оригинальное произведение Жуковскаго: не знаемъ; но по крайней мъръ достовърно то, что она — прекрасное и поэтическое произведение, гдъ сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковскаго. Эта любовь, несчастная по неравенству состо-

яній, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свиданіе подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повішенная «залогомъ прекрасныхъ минувшаго дней», и явленіе милой тъни одинокой красавиць, сопровождаемое таинственными звуками и возвъстившее утрату всего милаго на земль: все это такъ и дышетъ музыкою ствернаго романтизма, неопредтленнаго, туманнаго, унылаго, возпикшаго на гранитиой почвъ Скандинавіи и туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо живо помнить первыя лѣта своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ, — надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце втритъ, но котораго уста не могутъ назвать,надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатлъніе должны производить на юную душу этн прекрасные стихи последняго куплета баллады:

И пътъ уже Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходять туманы,
И свитить, какъ въ дыми, луна безъ лучей —
Двъ видятся тъни:
Сліявинсь, детять
Къ знакомой пиъ съии...
И дубъ шевелится, и струны звучатъ.

Минвана— не гордая красавица юга, съ роскошными формами тъла, огненными глазами, цвътущая здоровьемъ, нышущая страстью; пътъ, это блъдная красота съвера, тихая и кроткая, нохожая на какое-то милое, воздушное видъніе, красота, трогающая своею бользиенностью, очаровывающая своею томностью, идеалъ романтической красоты и въ особенности идеалъ красоты Жуковскаго... Со стороны художественной, въ этой балладъ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя ска-

зать, чтобъ она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полнаго и сильнаго внечатлёнія.

«Рыцарь Тогенбургъ» — прекрасный и върный переводъ одной изъ лучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любитъ дъвушку, которая не понимаетъ чувства любви; тревоги военной жизни и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцаръ его несчастной страсти; возвратившись на родину, опъ узнаетъ, что она — монахния; тогда онъ скрывается въ убогой кельъ, но сосъдству монастыря, какъ гробъ схоронившаго въ себъ всъ надежды его на блаженство жизни,—

И душть его унылой Счастье тамь одно Аожидаться, чтобъ у милой Стукнуло окно. Чтобъ прекрасная явилась, Чтобъ отъ выпины Въ тихій доль лицомъ склонилась, Ангель тинины.

Въ одно прекрасное утро, злополучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно — «рыцарь печальнаго образа»!... Какъ жаль, что Шпллеръ воскресилъ его песовсъмъ въ пору да вовремя! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокія и прозанческія, мы жальемь объ этомъ рыцарь, но не какъ о человъкъ, постигнутомъ рокомъ и песущемъ на себъ тяжкое бремя дъйствительнаго несчастія, а какъ о сумасшедшемъ... По истинъ, бъдняжка для насъ немного смънонъ и жалокъ... Что дълать? въ этомъ отношеніи, мы совершенно классики, и нисколько не романтики. Во первыхъ, мы пе въримъ, чтобъ все назначеніе мущины заключалось только въ любви и чтобъ всъ силы души его должны были сосредоточиться въ одномъ этомъ чувствъ; во вторыхъ, мы мало уважаемъ върность до гроба и считаемъ ее натяжкою воли, аффе

ктацією, а не свободно горящимъ огнемъ чувства; въ третьихъ мы не въримъ возможности любви нераздъльной, — и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ бользнь или помьшательство. Любовь вспыхиваеть отъ сближенія, взаимность раздражаетъ и поддерживаетъ ея энергію; невниманіе и холодность вызывають чувство оскорбленнаго самолюбія, униженнаго достопиства — и упичтожаютъ возможность любви. Есть люли и въ наше время, которые готовы увърить себя въ какомъ угодно чувствъ, и которые никогда не будутъ имъть благородной смілости сознаться передъ самими собою, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцъ, не въ крови, а въ головъ и фантазін. Они думають, что измінить разъ овладівшему ими чувству постыдно, и цёлую жизнь натягиваются, силою воли, держать себя въ этомъ чувствъ. А force de forger... — и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дёлё даетъ имъ призракъ радости и тоски; какъ будто бы и дъйствительное чувство. Бъдияки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и сильной натурь, которая если полюбить разъ, то ужь навсегда, и скорте умреть, чемъ изменитъ своему чувству. Они не знають, что въ этой добродътели давно уже побъдиль ихъ знаменитый витязь донъ-Кихотъ, который до могилы остался въренъ своей прекрасной Дульцинеъ, котораго одна мысль о сей очаровательной дам'я его сердца украпляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, дёлая его и несчастнымъ и блаженнымъ... А что такое донъ-Кихотъ? — Человъкъ вообще умный, благородный, съ живою п дъятельною натурою, но который вообразиль, что ничего не стонтъ въ XVI въкъ сдълаться рыцаремъ XII въка — стонтъ только захотѣть...

Мы выше замътили, что романтизиъ не есть достояніе и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: оцъ— въчная сторона натуры и духа человъческаго; онъ не умеръ

посль среднихъ въковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новъйшій романтизмъ не думаетъ отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуеть, чтобъ это стремленіе не было подземною, темною, адскою силою, вовлекающею человіка, какъ пасть гремучей змін, въ бездну погибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуетъ, чтобъ п чувство, въ свою очередь, не отнимало у человека свободы, а свобода есть разумность. Где же разумность — въ бользненномъ чувствъ, приковавшемъ одного человика къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случат, Богъ съ нею — съ любовью! Шпрока жизнь, и мпого дорогъ на ея безконечномъ пространствъ, и любую изъ нихъ можеть выбрать себъ свободная дьятельность мущины. Грустно видъть человъка, который потеряль все, что любиль, п котораго сердце этою потерею навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудить такого человъка: его скорбь имъеть имя, она действительна, - онъ оплакиваетъ то, что звалъ своимъ, чёмъ быль счастливъ. Но сдёлаться жертвою призрака, мечты, прихоти больнаго воображенія, каприза перазумнаго сердца, сосредоточить всѣ свои желанія на женщинѣ, которая о насъ не думаетъ, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ украдкою парадка смотрать на нее въ почтительномъ разстояніп: какая унизительная, какая презранная роль! Въ одной сказкъ сумасброднаго романтика Гофмана, человъкъ влюбляется въ автомата и гибнетъ жертвою этой любви: не похожъ ли на него рыцарь Тогенбургъ?... Въ средніе въка понимали любовь какъ какое-нибудь неизбъжное, роковое предназначеніе. Романтизмъ нашей эпохи понимаетъ дѣло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думаетъ, чтобъ для мущины существовала только одна женщина въ мірь, а для женщины-только одинъ мущина въ міръ. Выборъ предмета любви основанъ на капризъ сердца; любовь зависить отъ сближенія, а сближеніе отъ случайности. Не удалось здёсь - удастся тамъ; не сошлись съ одною, сойдетесь съ другою. Это опять не значить, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волё своей: это значить только то, что если каждый можеть любить только извъстный идеаль, то никогда никакой идеаль не является въ мірт въ одномъ экземплярт, но существуетъ въ большемъ или меньшемъ числъ видоизмъненій и оттънковъ. Нашъ романтизмъ улопочеть не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другаго предавшагося вамъ сердца и не быть причиною несчастія его жизни. Вы любили только разъ въ жизни и были до гроба върны одной только привязанности: прекрасно! Но не дълайте изъ этого общаго для всъхъ правила! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ — одинъ разъ въ жизни, а этотъ — десять разъ: оба равно правы, лишь бы только на совъсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло инчье несчастіе. Нътъ преступленія любить нъсколько разъ въ жизни, и нътъ заслуги любить только одинъ разъ: упрекать себя за первое и хвастаться вторымъравно нелъпо...

Когда двѣ эпохи такъ противоположно расходятся во взглядѣ на один и тъ же предметы, то поэзія старой эпохи теряеть свою силу для новой. Если какая-пибудь эпоха выразпла собою одинъ изъ моментовъ всемірно-историческаго развитія. — то ея поэзія всегда имбеть свою историческую важность; но только ея собственная поэзія, а не поддъльная подъ нее. И потому, готические соборы среднихъ въковъ и въ наше время спльно дъйствують на душу, а баллады Шпллера, несмотря на всю поэтпческую прелесть ихъ, ин для кого не занимательны. Скажемъ болве: чвмъ выше, по своему художественному достопнству такія баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», тёмъ большее сожальние возбуждають онь въ читатель нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ потрачено по воро-13

H. VIII.

бъямъ... Разумѣется, это можно ставить въ упрекъ Ниллеру, но отнюдь не Жуковскому: ибо первый, въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ, старался воскресить давно умершіе питересы, когда современная жизнь кпитла великими вопросами и историческій духъ, какъ подземный кротъ, подрывалъ старыя основы новой дъйствительности; а второй усвоивалъ юной, едва раждавшейся литературъ илодотворные для нея элементы, и юное, едва возрождавшееся общество знакомилъ съ новыми, необходимыми ему интересами. Итакъ, чтобъ еще полнъе и опредълените высказать сущность и характеръ романтизма среднихъ въковъ, а вмѣстъ съ нимъ и романтики Жуковскаго, —бросилъ бъглый взглядъ на содержаніе еще иъкоторыхъ балладъ его.

Одинъ добрый пустынникъ разъ завель къ себѣ въ лѣсную келлыю заблудившагося путника, — потомъ узналъ въ немъ свою любезную, послѣ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся жить и умереть вмѣстѣ съ Мальвиною. Это, вѣроятно, случилось такъ давно, что теперь трудно и повѣрить, чтобъ когда-нибудь могло случиться. — Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видѣться съ бѣдною дѣвункою. Что тутъ дѣлать? Нечитавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высѣчь за непослушаніе. Ничего не бывало! Онъ былъ малой на возрастѣ, уже знакомый съ страстями:

Увы, Эдвинь! Въ какой борьбъ въ немъ страсти! И ин одной ивтъ силы побъдить... Какъ не признать отцовской власти? Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отець быль отець по понятіямъ среднихъ вѣковъ, т. е. человѣкъ, который, за бѣдный даръ жизни, считалъ себя въ правѣ лишать сыпа счастія, по произволу своей прихоти, другими

словами — считалъ сына своимъ рабомъ, своею вещью... Въ наше время, отецъ имветъ совсвиъ другое значеніе: его связываеть съ детьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своею заслугою не то, что далъ дётямъ своимъ физическое существование, но то, что онъ далъ имъ, черезъ воспитаніе, основанное на любви, правственную жизнь. Еслибъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастіе его жизни, на основаніи собственных корыстных разсчетовь, — всь бы увидёли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тёмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо если нътъ любви, связывающей отца съ дътьми, то у дътей нътъ и отца. Но въ средніе въка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъ — своею священною обязанностію быть вещію дражайшаго родителя. Такъ думалъ и нашъ Эдвинъ, а потому и слегъ съ горя въ ностель, ръшившись смертію окончить жизпь свою; но прежде ему хотылось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его последній вздохъ, тоже не захотъла больше жить, и едва успъла добъжать до своей матери, какъ и умерла. Вотъ какъ любили прежде п какъ тогда опасно было «дражайшимъ родителямъ» разлучать върныя сердца! Но вивстъ съ тъмъ, должно замътить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкъ объ эти баллады, опъ были важны для воспитація въ обществъ человъческихъ чувствъ и не могли не дъйствовать на правственное образование новыхъ покольній. — Варвикъ, похититель короны и убійца своего царственнаго восинтанника, законнаго наслъдника престола, наказань — наводненіемъ; спасаясь въ челнокъ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу — призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаетъ его въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, цъль правственная — все хорошо, только ни мало не правдоподобио... — Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастіе

любви объщаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцемъ; но лишь подалъ онъ ему младенца, какъ п очутплся самъ въ его когтяхъ, а младенецъ спасся какимъ-то чудомъ. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержание поучительно, но не для людей грамотныхъ п сколько-нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который, по безграмотности, совсёмъ не читаетъ балладъ...-Славный боецъ былъ Гаральдъ; но не въ добрый часъ захотълось ему напиться воды изъ ручья — выпиль и окаменѣлъ: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутниковъ Гаральда... Какъ хорошо, что въ наше прозапческое время фен перевелись, и мы можемъ пить воду, не боясь окаменть!...-Слуга, убивъ своего паладина, надёлъ на себя его доспёхи, и по причинѣ ихъ тяжести, утонулъ въ рѣкѣ, куда сбросилъ его конь убитаго рыцаря: достойное наказаніе убійцт! — Одинъ жестокій епископъ, сжегъ въ сараї, какъ мышей, біздный народъ, проспвшій у него хлаба въ голодный годъ, и за то быль наказанъ мышами же, которыя съёли живьемъ самого его... Чудные въка были эти времена феодализма! Всякая добродътель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно наказывался. Пострадать невинио тогда не было ни какой возможности: въ чемъ бы ин обвиняли васъ — хотя бы въ отцеубійствъ, - но если вы были убъждены въ своей невинности, вамъ стояло только опустить руку въ кипятокъ и быть увъреннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убъдитъ въ чистотъ вашей совъсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много измѣнилось: проклятая равно сваритъ п виновную и невинную руку. Вотъ п извольте жить въ такія времена, да читать баллады, въ чудесахъ которыхъ разувъряетъ васъ эта положительная дъйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозаическое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляетъ никакого удовольствія, но наводить апатію и скуку... Воть, напримірь, какь хороша «Баллада, въ которой описывается какь одна старушка вхала на черномъ коні вдвоемь, и кто сиділь впереди»! Жуковскій превосходно перевель ее съ англійскаго (кажется, изъ Сутэя); но відь дочесть ее до конца право ніть силь. Старушка эта была — страшная колдунья, сколько можно судить по ея собственной исповіди:

«Здъсь виъсто дия была мнъ ночи мгла; Я кровь младенцевъ проливала, Власы невъстъ въ огнъ волшебномъ жгла И кости мертвыхъ похищала.

Боясь дьявола, который долженъ, по уговору, прійдти за ея твломъ (ужь не знаемъ, зачемъ понадобилось лукавому тело старухи, когда душа ея была и безъ того въ его когтяхъ?), старуха проситъ сына своего, чернеца, отстоять молитвами ея кости отъ покушеній нечистаго. Однакожь тотъ взяль свое, на черномъ конъ похитивъ старую колдунью. И по-дъломъ ей; но воть отда: мы решительно не втримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свъть не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь въ волшебномъ и какомъ угодно огит остриженные волосы нашихъ невъстъ (если имъ вздумается обръзать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Впрочемъ, колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умиже колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, пожалуй, даже и власы) невъстъ и кости мертвыхъ не дадутъ имъ денегъ, они не станутъ и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-землё гораздо онаснёе всяких колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, занимающіеся врачебною наукою: ни одинъ изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ полной увъренности (которой, по совъсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владълецъ черепа не будеть въ претензіи на такое поруганіе, и что для него ръшительно все равно — гинть ли въ земль, или въ ученомъ кабинеть споспъществовать успъхамъ благодътельнаго для человъчества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладою, въ которой описывается путешествіе старухи колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чортъ, надо имъть снособность съ поднявшимися на головѣ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всв глупыя бредии черни о колдунахъ и чертяхъ, — а способность эта можетъ быть только плодомъ самаго грубаго невъжества, отъ котораго теперь освобождается мало-но-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развъ только и жиное и внечатлительное (impressionable) воображеніе дътей: но кто же захочеть нравственно губить детей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?... Это было бы далеко превзойдти въ преступленіи старую колдунью, которая

> ...Кровь младенцевь проливала, Власы невъсть въ огиъ волшебномъ жгла. И кости мертвыхъ похищала.

И, однакожь, Жуковскій такъ быль втренъ своему романтическому направленію въ духѣ среднихъ втковъ, что баллады самаго страннаго содержанія переведены имъ уже послъ 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежить и баллада о старухъ колдуньъ, тхавшей въ адъ съ дъяволомъ на чортъ. Переведенная имъ «Ленора» напечатана была въ 1831 году. — Какъ на образецъ неумъреннаго и несвоевременнаго романтизма, укажемъ на балладу «Изолина». Пъвецъ Алонзо возвратился изъ Палестины и началъ пъть подъ окнами своей Пзолины; по узнавъ, что она умерла, онъ самъ сію же минуту умираетъ, а Изолина воскресаетъ отъ его пъсни: вотъ и все! — Еще болъе

характеризуетъ романтизмъ среднихъ въковъ баллада «Доипка», которой содержаніе состоить въ томъ, что въ прекрасную невъсту рыцаря на съ того на съ сего вдругъ вселился бъсъ, и оставилъ ее при алтаръ, куда пришла она вънчаться, но оставиль ее вибств съ ея жизнію... Воть онь, романтизмъ среднихъ въковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силь, отъ которыхъ нътъ защиты самой невиниости и добродътели! Греческій романтизмъ никогда не доходилъ до такихъ нельностей, унижающихъ человъческое достоинство. — Баллады: «Братоубійца», «Королева Урака и пять Мучениковъ», п «Покаяніе» суть не что иное, какъ католическія легенды среднихъ въковъ. Послъдняя-лучшая изънихъ и по стихамъ и по содержанію. «Замокъ Сиальгольмъ», прекрасная баллада Вальтеръ Скотта, прекрасными стихами переведенияя Жуковскимъ, поэтически характеризуетъ мрачную и исполненную злодъйствъ и преступленій жизнь феодальныхъ временъ. По языку, это одно изъ удивительнъйшихъ произведеній Жуковскаго.

Въ собственно-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ п передъланныхъ Жуковскимъ съ пѣмецкаго языка, открывается еще болѣе, чѣмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это—желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стопъ, жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастіи, которое Богъ знаетъ въ чемъ состояло; это—міръ, чуждый всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуловимыми; это—уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собою будущаго; наконецъ, это—любовь, которая питается грустью, и которая, безъ грусти, не имѣла бы чѣмъ поддержать свое существованіе. Понщемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего нео предъ

леннаго и туманнаго опредъленія его поэзіи. Подробный разборъ каждаго стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ, одно изъ самыхъ характерическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковскаго не что иное, какъ разныя варьяців на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ имъ идутъ, какъ эпиграфъ, два послѣдніе стиха, которыми оканчивается піеса «Тоска по Миломъ»:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; Одна о минувшемъ тоска мив осталась.

«Тапиственный Посътптель» есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его.

Кто ты, призракь, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталь?
Безотвётно и безгласно,
Для чего отъ насъ пропаль?
Гдё ты? Гдё твое селенье?
Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачёмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?

Не Надежеда ль ты младая,
Приходящая порой
Изъ невъдомаго края
Подъ волшебной пеленой?
Какъ она, неумолимо
Радость милую на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетълъ и бросилъ насъ.

Не Аюбовь ин намъ собою Тайно ты изобразиль? Дни любви, когда одною Міръ одной прекрасенъ быль? Ахъ! тогда сквозь покрывало Неземнымъ казался онъ... Снять покровъ; любви не стало; Жизнь пуста и счастье сонъ.

Не волшебница ли Дула
Здёсь въ тебё явилась намь?
Удаленная отъ шума
И мечтально къ устамъ
Приложивни перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.

Пль въ тебв сама святая
Здвеь Ноэзія была?...
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрова принесла;
Для небесъ лазурно ясный,
Чистый, бълый для земли:
Съ ней все близкое прекрасно;
Все знакомо, что вдали.

Наь Иредчувствее сходило
Къ намъ во образъ твоемъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свътлый подлетитъ
И подыметъ покрывало,
И въ далекое манитъ.

Поняли ль вы, кто такой этотъ «тапиственный посътитель»? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видъть въ немъ то Надежду, то Любовь, то Думу, то Поэзію, то Предчувствіе... Но эта-то неопредъленность, эта-то туманность и составляетъ главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попытаемся объяснить ее.

Есть въ человъкъ чувство безконечнаго; опо составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой

духовной дѣятельности. Безъ стремленія къ безконечному нѣтъ жизни, нѣтъ развитія. нѣтъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремленіи и достиженіи. Но когда человѣкъ чего-инбудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполиѣ; напротивъ, торжество достиженія бываеть въ его душѣ непродолжительно и скоро побѣждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлстворенія ничѣмъ въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человѣкъ бываетъ счастливѣе, пока онъ борется съ преиятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побѣдою борьбы, праздикомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тъснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ—
Во все я жизнь хотълъ вдохиуть.
И въ пъжномъ съмени сокрытый,
Сколь пынинымъ миъ казался свътъ...
Но ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое—сколь бъдный цвътъ!

говорить ИНиллерь. Таково свойство безконечнаго: духь человька въ состояни охватить его только въ моментальномъ. конечномъ его проявлени, въ условихъ временной последовательности: и потому, достигая чего ни будь, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ в сего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ иъчто, какъ невыражающее безконечнаго, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ безпрерывнаго развития, безпрерывнаго движения впередъ. И когда это стремление осуществляется въ сферв практическаго міра, когда оно есть въчное дълание, безпрерывное творчество, тогда стрем-

леніе это есть действительная сила человека, тогда для него есть цъль, и если достижение не удовлетворяетъ такого человъка, тъмъ не менте оно для него — прогрессъ, и новое стремление его выше предшествовавшаго, новая цёль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла действительности, чуждыя практическаго міра двятельности, живущія въ отвлеченной идев: такія натуры стремленіе къ безконечному принимають за одно съ безконечнымъ и хотятъ, во что бы то ни стало, найдти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дъятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цълями житейскими. Но тъмъ не менъе, они-люди одпосторонніе, поо пружину дъйствія принимають за само дъйствіе и за цъль дъйствія: это такая же ошнока, какъ еслибъ кто, желая узнать, который часъ, вмъсто того, чтобъ посмотръть на циферблать, открыль внутренность часовъ и началь смотръть на спиральную цъночку.

Итакъ, содержаніе поэзін Жуковскаго, ея навосъ составляетъ стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу—за цъль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія въчно стремится, никогда не достигая, въчно спрашиваетъ самоё себя, никогда не давая отвъта:

Иль опять отъ вышины
Въсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины,
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, страннякъ поднебесный,
Все еще сей непзвъстный
Край желаннаго сокрыть?...

іїто жь къ невёдомымъ брегамъ Путь невёдомый укажеть? Ахъ! найдется, кто мнѣ скажеть, Очарованное Ta.mv?

Озарися, доль туманный; Разступися, мракь густой; Гдв найду исходь желанный? Гдв воскресну я душой? Испещренные цввтами, Красны холмы вижу тамь... Ахь, зачёмь я не сь крылами? Полетвль бы я кь холмамь.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варьяціп ли это на мотивъ «тавиственнаго посътителя»?... И въ доказательство этого можно бы привести по отрывку почти изъ каждаго стихотворенія Жуковскаго...

Есть въ жизни человска время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человько можето потомо сделаться способнымо ко стремленію дъйствительному, имъющему цъль и результатъ, онъ этимъ будеть обязань тому, что у пего было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательныхъ порывовъ была и у человъчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ въковъ. Если въ романтизмъ современной Европы нътъ мрака и много свъта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ въковъ. И если мы въ поэзін Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредъленнаго содержанія, больше зрѣлости и мужественности мысли, чтмъ въ поэзіи Жуковскаго, это потому, что Пушкинь ималь своимь предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій, своею поэзіею, пополниль въ русской жизни недостакокъ историческихъ среднихъ въковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна,

по п родственна и романтическая поэзія среднихь вѣковь п романтическая поэзія начала XIX вѣка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда—не простое упоминовеніе въ исторій отечественной литературы, но вѣчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметь имбеть дві стороны, и находить въ немъ не одно хорошее — совстмъ не значить осуждать его. Романтизмъ среднихъ віковъ, разумбется, не годится для нашего времени; теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ быль истиною. Быль и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моменть, когда для нихъ романтизмъ среднихъ віковъ быль необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сіменемъ, которымъ должна была оплодотвориться ночва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто удовлетвориль этой потребности; но тімъ не меніе, мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу, — должны сознать его въ настоящемъ его значеніи, увидіть встего стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввель романтизмъ въ русскую поэзію: надо ноказать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видіть.

Любовь пграетъ главную роль въ поэзін Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность? — Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзін Жуковскаго — какое-то неопредъленное чувство. Это —

> Унынія прелесть, волненье надежды, И радость и трепеть при встрѣчѣ очей, Ласкающій голось—души восхищенье, Могущество тихихъ, тапиственныхъ словъ, Присутствія радость, томленье разлуки.

Скажуть: все это несомивниым примвты, общіе признаки любви. Согласны; но потому-то и видимъ мы въ этомъ не-

опредъленность, что это слишкомъ общія примѣты. Любовь—
обще-человѣческое чувство; но въ каждомъ человѣкѣ оно принимаетъ свой оригинальный оттѣнокъ, свою пидивидуальную
особность,—въ произведеніяхъ поэта тѣмъ болѣе. Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ, — и
сочувствуемъ этому горю безъ утѣшенія, этой скорби безъ
выхода, этому страданію безъ изцѣленія; по не видимъ живаго
голоса, столь дорогаго сердцу поэта: для насъ, это—видѣніе,
призракъ... Въ слѣдующихъ стихахъ, мы встрѣчаемъ идеалъ
и предмета любви и самой любви, —идеалъ, созданный нашимъ
поэтомъ:

Въ тотъ часъ, какъ тишиною Земля облечена. Въ молчанін вселенной Одна обвороженной Душъ она слышна; Къ устамъ твоимъ она Касается дыханьемъ: Ты слышишь съ содроганьемъ Знакомый звукъ рѣчей, Задумчивыхъ очей Встрѣчаешь взоръ пріятный, И запахъ ароматный Павнительныхъ кудрей Во грудь твою ліется, И мыслинь: ангель вьется Незримый надъ тобой. При ней-задумчивъ, сладкой Исполненный тоской. Ты робокъ, лишь украдкой Стремишь къ ней томный взоръ: Въ немъ сердце вылетаеть; Не смыт твой разговоры; Твой умъ не обрътаетъ Ни мыслей, ни ръчей; Задумчивость, молчаньсИ страстное мечтанье— Языкъ души твоей; Забыты всъ желанья...

Все это очень втрпо, но только до извъстной степени. Есть пора въ жизни человіка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самые иламенные сны его фантазін; но эта пора скоро проходить, и сердце человъка загорается новыми желаніями. Юноша не можеть любить, какъ любитъ отрокъ на переходъ въ юношество: его мечты дъйствительные, и стыдливое молчание и несмылый разговорь пе долго въ состояніи ўдовлетворять его. Кромі того, сама любовь, какъ все живое, растетъ, движется, желанія влекуть н стремять за собою другія желанія, и это продолжается до тъхъ поръ, пока любовь не прійметь опредъленнаго характера и любящіеся не прійдуть въ опредъленныя отношенія другь къ другу. Вообразимъ себъ чету любящихся, которые всю жизнь свою только и дёлають, что стыдливо потупляють свои взоры, какъ скоро встрътятся, и ведутъ другъ съ другомъ несмълый разговоръ: въдь это была бы довольно странная картина, хотя и обаятельная въ своемъ началъ... Жуковскій въ этомъ отношеніп, ужь слишкомъ романтикъ въ сиыслів среднихъ віковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердцѣ, и онъ бережеть и дельеть его такимь, какимь зашло оно въ его сераце; онъ испугался бы его паменяемости и увидель бы въ ней непостоянство... Мы уже разъ замътили въ «Отечественныхъ Запискахъ», что есть натуры, которыхъ вся жизньвыражение какого-нибудь возраста человъческого, и что Крыловъ, въ своихъ басняхъ, — въчно юный младенецъ, а Жуковскій, въ своихъ романтическихъ произведеніяхъ, никогда не старьющійся юноша...

Мы сдълали бы большой педосмотръ, еслибъ, говоря о поэзіи Жуковскаго, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ всякой романтической поэзіп, и поэзіп Жуковскаго въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ «дѣва въ черной власяницѣ» молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непримѣтно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполиѣ одиу изъ самыхъ характеристическихъ піесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дъвица;
Съ ней другъ ея младой:
Болъзненны ихъ лица,
Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи и въ уста—
И снова расцвътаютъ
Въ нихъ жизнъ и красота,
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ келью;
Въ тюрьяно проснулся онъ.

Такое направленіе поэзін Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человъчества, — то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ изцъленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. По этому, въ поэзіп Жуковскаго, вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихою сердечною музыкою, и его поэзія любитъ и голубитъ свое страданіе какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать итвиомъ сердечныхъ утратъ, — и кто не знаетъ его превосходной элегіи на «Кончину Королевы Виртембергской» — этого высокаго католическаго реквіэма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и тапиства утратъ?... Это въ высшей степени романтическое произведеніе въ духъ среднихъ въковъ. Опо всегда прекрасно; но если

вы хотите насладиться имъ внолит и глубоко— прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбиая утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себъ друга, который раздълитъ съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковскаго можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія піесы, и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музою; потомъ собственно переводы; и паконецъ оригинальныя произведенія, которыя не могутъ быть названы романтическими.

Къ последнимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія піесы, писанныя на извістные случан. Это самая слабая сторона поэзін Жуковскаго; въ ней онъ невъренъ своему призванію, и потому холодень, исполнень риторики. Прочтите его «Пъснь Барда надъ гробомъ Славянъ-Побъдителей», «На Смерть Графа Каменскаго», «Пѣвца во Станѣ Русскихъ Воиновъ», «Пъвца въ Кремлъ» и пр. — п вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря на звучный и крепкій стихь, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти піесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Причина этому, разумъется, не отсутствіе въ сердцъ поэта святой любви къ родинъ. Но кто же могъ бы отрицать это чувство, напримъръ, въ Крыловъ? А между тъмъ, Крыловъ не написаль ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ лирическомъ родъ. Онъ получиль отъ природы таланть для басни; въ такомъ случав, онъ хорошо сдвлаль, что не писаль одъ и трагедій. Жуковскій, по натуръ своей — романтикъ, и пичто такъ не вив его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественнымя, на исторической почвѣ основанныя. «П'євцу во Стан'є Русскихъ Воиновъ» Жуковскій обязанъ своею славою: только черезъ эту піесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведение было весьма по-

14

лезно въ свое время. Но что же доказываетъ это? — Только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимають ее теперь (а понимали ее тогда, какъ риторпку въ стихахъ). Въ «Пъвив во Станъ Русскихъ Вопновъ» ивтъ даже чувства современной двиствительности: въ этой піесь вы не услышите ни одного выстръла изъ пушки, или изъ ружья, въ ней иътъ и признаковъ пороховаго дыма-въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрёлы, гепералы являются воинами, не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ п шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами върукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершенію этой пародіп на древность, вст онн-съ щитами... Все это признакъ риторики; нбо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ дъйствительности, не боится сдълаться отъ нихъ прозою, но поэтизпруетъ самыя прозапческія вещи. И неужели жерла пушекъ, пзрыгающія огонь п смерть тысячамъ, неужели дула ружей, посылающія издалека върную смерть, неужели трехгранный штыкъ, стальною ствиою низлагающій сомкнутые ряды, — неужели все это имкеть въ себк менње поэзін, чамъ кольчуги, щиты, стралы и конья древности?... Напротивъ, последнія—детскія игрушки въ сравненіп съ первыми, блёдная проза въ сравненіи съ страшною и грандіозною поэзіею. И потомъ, къ чему этп Славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совстить не Славяне, а Русскіе! Скажуть: по развів Русскіе — не славянскаго племени народъ? -- Положимъ, что и такъ; но развъ всъ народы западной Европы не тевтонскаго племени: а кто же скажеть, что Русскіе дрались подъ Бородинымъ съ Тевтонами, на томъ основанін, что Галлія, некогда была завоевана Франками, а Франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у Славянъ? Да, сверхъ того, бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще, ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ паціональных элементовъ. Можетъ-быть, это недостатокъ, но въ то же время и достоинство: еслибъ національность составляла основную стихію поэзін Жуковскаго, — онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому, всѣ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучшія міста вы ніжоторыхы патріотическихы піссахы Жуковскаго—ті, вы которыхы опы авляется вітрнымы своему романтическому элементу. Таково, напримітры, вы «Пітвці во Стані Русскихы Вонновы»:

Любви сей полный кубокъ въ даръ! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой интайте жаръ: Любовь одно со славой. Кому здъсь жребій удълень Знать тайну страсти милой, Кто сердцемъ сердцу обреченъ: Тотъ смъло, съ бодрой силой На все великое летить; Ивть страха, ивть преграды; Чего, чего не совершита Для сладостной награды? Ахъ! мысль о той, кто все для насъ, Намъ спутникъ неизмънный; Вездъ знакомый слышимъ гласъ; Зримъ образъ незабвенный; Она на бранныхъ знаменахъ, Она въ пылу сраженья; И въ шумъ стана, и въ мечтахъ Веселыхъ сповидънья. Отвъдай врагъ исторгиуть щить, Рукою данный милой; Святой объть на немъ горитъ: Твоя и за могилой!

О. сладость тайныя мечты! Тамъ, тамъ за синей далью, Твой ангель, дъва красоты, Одна съ своей печалью, Грустить, о другь слезы льеть; Душа ел въ молитвъ, Боится въсти, въсти ждеть: «Увы! не палъ ли въ битвъ?» И мыслить: «Скоро ль, дружий гласъ, Твои мив слышать звуки? Лети, лети, свиданья чась, Смънить тоску разлуки». Друзья! блаженитишая часть: Любезнымъ быть спасеньемъ. Когда жь предвав нашь вы битвъ пасть -Погибнемъ съ наслажденьемъ; Святое имя призовемъ Въ минуту смертной муки; Къмъ мы дышали въ міръ семъ, Съ той нътъ и тамъ разлуки: Туда душа перенесетъ Любовь и образъ милой... О други, смерть не все возьметь; Есть жизнь и за могилой.

Слъдующее мъсто есть не что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ въковъ, какъ-будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?... Довъренность Творцу!

Что бъ ин было—незримый Ведстъ насъ къ лучнему концу Стезей непостижимой.

Ему, друзья! отважно въ слъдъ!

Прочь низкое! прочь злоба!

Духъ бодрый на дорогъ бъдъ,
До самой двери гроба;

йъ высокой долъ—простота;

Нежадность—въ наслажденъъ:

Въ союзъ съ ровнымъ—правота,
Въ могуществъ—смиренье;

Обътамъ — въчнестъ; честн — честь;

Покорность — правой власти;

Для дружбы все, что въ мірѣ есть;

Любви — весь пламень страсти;

Утъха — скорби; просьбъ — дань;

Погибели — снасенье;

Могущему пороку — брань,

Безсильному — презрънье;

Неправдъ — грозный правды гласъ;

Заслугъ — воздавнье;

Спокойствіе — въ послъдній часъ;

При гробъ — упованье.

Посланія — странный родъ, бывшій въ большомъ употребленій у русской поэзій до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главиая характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами, и не чужды прекрасныхъ мъстъ въ романтическомъ духъ. Таковы, наприм., слъдующіе стихи изъ посланія къ Филалету.

Скажу ль? мив ужасовъ могила не являеть; И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ, Чтобъ Промысла рука обратно то взяла, Чемъ я безрадостно въ семъ мірт бременился, Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился, Которую давно надежда не златить. Къ младенчеству ль душа прискорбная летить Считаю ль радости минувшаго-какъ мало! Нътъ! счастье къ бытію меня не пріучало; Мой юношескій цвъть безь запаха отцвъль. Едва въ душъ моей для дружбы, я созрълъ-И что же! предо мной увядшаго могила; Душа не воспылавъ, свой пламень угаспла; Любовь... по я въ любви нашель одну мечту, Везумца тяжкій сонь, тоску безь разділенья И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнъ замъчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится вопль души, — и они

доказывають фактически, что не Пушкинь, а Жуковскій первый на Руси выговориль элегическимь языкомь жалобы человька на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій быль первымь поэтомь на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. Какая разница, въ этомъ отношеніи, между Державинымь и Жуковскимь! Поэзія Державина столько же безсердечна, сколько сердечна поэзія Жуковскаго. Оттого, торжественность и высокопопарность сдълались преобладающимь характеромъ поэзіи Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляють душу поэзіи Жуковскаго. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣваль, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ тѣсной связи съ его поэзіею, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмѣстѣ и лучшею его біографією. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшнею жизнію и въ себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши, кружись Параша! Руки въ боки подпирай!

восклицаль Державинь.

Прочь отъ пасъ Катонъ, Сенека, Прочь угрюмый Эпиктетъ! Безъ утвъъ для человъка Пустъ, несносенъ быль бы свътъ!

восклицаль Дмитріевь. Эти иввцы иногда умъли плакать, но не умъли скорбъть. Жуковскій, какъ поэтъ, по преимуществу романтическій, быль на Руси первымъ пъвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣною тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашель ее не въ пллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на дпѣ своего растерзаннаго сердца, во глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіп къ Тургеневу, мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ вынисали изъ посланія къ Филалету:

. . . П мы въ сей край незримый Летимъ душой за милыми во слъдъ; По къ намъ отъ нихъ желанной въсти ивтъ; Линь тайное живеть въ насъ ожиданье... Когда жь, когда?... Другь милый, упованье! Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ, На коемъ насъ свободы геній ждетъ Съ спокойствиемъ, безчувствиемъ, забвеньемъ. Пришедь туда, о другь, сь какимь презрыныемь Мы бросим в взорт на жизнь, на гнусный свыть, Гдт милому одинь минутный цетть, Гднь доброму слыдовь по счастью нить, Гды митийе надъ совистью властитель, Гдю все, мой другь, иль жертва, иль губителы... Дай руку, брать! какъ знать, куда нашь путь Насъ приведетъ, и скоро ль онъ свершится, И что еще во мгав судьбы таптся-Но дружба намъ звъздой отрады будь; О прочемъ здёсь останемся безпечны; Намъ счастья шьть: за то и мы-невычны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ напр., въ посланіи (121—139 стр. 2-го тома) встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бъдствія земныя положилъ
Онъ свътлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый имъ ангель разрушенья
Взрываеть, какъ бразды, земныя племена,
Въ нихъ жизни свъжія бросаетъ съмена,
II, обновленныя, пышите разцвътаютъ!
Какъ бури въ зной поля, бъды ихъ возрождаютъ!

Въ слъдующемъ за тъмъ посланіи, встръчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россін:

Тебъ его младенческія лъта! Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свъта Пускай теб'в во савдъ онъ перейдеть Съ душой, на все прекрасное готовой; Наставленный: достойнымъ счастья быть, Великое съ величіемъ сносить, Не трецетать, встрвчая рокъ суровый, И быть въ дълахъ временъ своихъ красой. Атта пройдуть, подвижникь молодой, Откинувши младенчества забавы, Онъ полетить въ путь оныта и славы... Да встрътить онъ обизьный честью въкъ! Да славнаго участникъ славный будетъ! Да на чредъ высокой не забудетъ Святьйнаго пзъ званій: человыкъ! Жить для въковъ въ величін народномъ, Для блага встать свое позабывать, Лишь въ голосъ отечества свободномъ Съ смиреніемъ дъла свои читать: Воть правила царей великихъ внуку. Съ тобой ему пачать сію науку.

Изъ оригинальных стихотвореній Жуковскаго, особенно замѣчательны «Теонъ и Эсхинъ» и баллада «Узникъ», если только онѣ — его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи «сочиненій Жуковскаго» только при немногихъ переводныхъ ніесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ-нодъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродиль но свѣту за счастіемъ—оно убѣгало его:

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ — Лишь сердце они изнурили; Цвътъ жизни былъ сорванъ; увяла душа: Въ ней скука смъниза падежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ —

Все тъ жь берега и поля и холмы, И тоже прекрасное небо; Но гдъ жь озарившая изкогда ихъ Волшебнымъ сіяньемъ Натежна? И приходить онь къ другу своему Теону — тоть сидель въ раздумън на порогъ своей хижины, въ виду гроба изъ бълаго мрамора; друзъя обиялись; лицо Эсхина скорбио и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ. Эсхинъ говоритъ объ обманывающей сердце мечтъ, о счасти, и спрашиваетъ друга — не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указаль, вздыхая на гробъ... «Эсхинъ, вотъ безмолвный свидътель, Что боги для счастья послади памъ жизнь -Но съ нею печаль неразлучна. О ивть, не рошцу на Зевесовъ законъ: И жизнь и вселения прекрасны, Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ дожныхъ мечтахъ Я видёль земное блаженство. Что можеть разрушить въ минуту судьба, Эсхинъ, то на свътъ не наше; Но сердца нетлънныя блага: любовь И сладость возвышенныхъ мыслей -Вотъ счастье; о другъ мой, оно не мечта. Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ; Любовью мон освятилась душа, И жизнь въ красотъ миъ предстала. При блескъ возвышенныхъ мыслей я зрълъ Исибе великость творенья; Я втрият, что путь мой лежить по земят Къ прекрасной, возвышенной цъли. Увы! я любиль... и ея уже итть! Но счастье, вдвоемъ столь живое, На въки дь исчезло? И прежије дни Вотще ли столь были прелестны? О, ивть: никогда не погибнеть ихъ следъ; Для сердца прошедшее въчно, Страданье въ разлукъ есть та же любовь; Надъ сердцемъ утрата безсильна. И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ, Объть неизмънной надежды: Что гдъ-то въ знакомой, но тайной странт, Погибшее намъ возвратится?

Кто разъ полюбиль, тоть на свъть, мой другь, Уже одинокимь не будеть...

Ахъ, севтъ, гдв она предо мною цевла — Опъ тотъ же: все eio онъ полонъ.

По той же дорогъ стремлюся одинъ, И къ той же возвышенной цъли,

Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ— Сихъ узъ не разрушить могила.

Сей мыслью высокой украшена жизнь;

Н взоромъ смотрю благодарнымъ
На землю, гдъ столько разсынано благъ,
На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я съ земли рубежа На сторону лучнія жизни;

Сей сладкой надеждою міръ озаренъ, Какъ небо сіяньемъ авроры.

Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы, И жизнь мив земиая священна;

При мысли великой, что *п человтьк*у, Всегда возвышаюсь душою.

А этоть безмольный, тапиственный гробъ... О другь мой, онь вёрный свидётель,

Что лучшее въ жизни еще впереди, Что вприо желанное будеть;

Сей гробъ затворенная къ счастію дверь; Отворится... жду и надъюсь!

За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ митъ явившийся въ жизни.

О другъ мой, искавъ измъняющихъ благъ, Искавъ наслажденій минутныхъ,

Ты върныя блага утратилъ свои — Ты жизнь презирать научился.

Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свътъ; Дай руку: близь върнаго друга,

Съ прпродой и жизнью опять примпрись; О, върь мит, прекрасна вселения!

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ: Все въ жизни къ великому средство;

И горесть и радость—все къ цёли одной: Хвала Жизнодавцу-Зевесу!

На это стпхотвореніе можно смотрёть, какъ на программу всей поэзіи Жуковскаго, какъ на положеніе основныхъ принциповь ея содержанія. Всъ блага жизни невърны: стало-быть, благо внутри насъ; здъсь все проходитъ и измъняетъ намъ: стало-быть, неизмънное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого следуетъ, чтобъ мы здесь сидели сложа руки, ничего не дълая, питаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями?... Эта односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблуждение ультра-романтизма... Какимъ образомъ человъкъ можетъ идти «къ прекрасной, возвышенной цъли», стоя на одномъ мъстъ и бесъдуя съ самимъ собою о лучшей жизни, на порогъ своей хижины, въ виду мрамориаго гроба?... II неужели эта «прекрасная, возвышенная цёль» есть только лучшее счастіе человіка, а личное счастіе человъка только въ любви къ женщинъ?... О, если такъ, то, по закону совпаденія крайностей, эта любовь есть величайшій эгопамъ!... Смерть—драз слинаго случая похитила у насъ ту, которой обязаны были нашимъ земнымъ счастіемь: не будемь приходить въ отчанніе — да и для чего? въдь это только временная разлука, въдь скоро мы онять женимся на ней — тамъ; сядемъ же на порогъ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться «полнымъ славы твореніемъ, красотою вселенной, п будемъ утъщать себя мыслію, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни — средство къ великому, и что горе и радость — все къ одной цели!» Нетъ, и еще разъ — иетъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе человтка на личное счастіе; разумно и естественно его стремление къ личному счастию; но въ одномъ ли сердцѣ долженъ заплючаться весь міръ его счастія? Вотъ вопросъ, на который не дасть намь решенія поэзія Жуковскаго. Еслибъ вся цёль нашей жизии состояла только въ нашемъ личномъ счастів, а наше личное счастіе заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дъйствительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшною существенностію котораго побледнели бы поэтическіе образы земнаго ада, начертанные геніемъ суроваго Данте... Но-хвала въчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человъка и еще великій міръ жизни, кромъ внутренняго міра сердца — міръ историческаго созерцанія и общественной дѣятельности, -- тотъ великій міръ, гдё мысль становится дёломъ, а высокое чувствование - подвигомъ, - и гдъ два противоположные берега жизни — здѣсь и тамъ — сливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дъланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглашающій хаось и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: «да будетъ!», и вызывающій имъ світлое торжество настоящаго — радостные дни новаго тысячальтняго царства Божін на землъ... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрълъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизии, кто видълъ въ немъ не один обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями освіщенную ночь, кто слышаль въ немъ не один вопли отчания и крики гибели, но кто не теряль при этомъ изъ вида и путеводной звъзды, указывающей на цёль борьбы и стремленія, кто не быль глухъ къ голосу свыше: «борись и ногибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты — братья твои насладятся имъ и восхвалять въчинго Бога силь и правды!» Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею дійствительностію, носиль въ душі своей идеаль лучшаго существованія, жиль и дышаль одною мыслію — споситшествовать, по мірт данных ему природою

средствъ, осуществлению на землъ пдеала, — рано поутру выходилъ на общую работу и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлою, смотря по тому, что было ему по спламъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни ппры веселія, но и на плачъ и сътованія... Благо тому, кто, падая въ борьот за святое дъло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успоконтельное лоно сплы, вызвавшей его на дъло жизии, и восклицалъ въ священномъ восторгъ: «все тебъ и для тебя, а моя высшая награда — да святится имя твое и да пріндетъ царствіе твое»!...

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дъятельности, источникъ которой заключался бы въ наоосъ къ ндеъ, самый богато-надъленный дарами природы человъкъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотъ мечтательныхъ ожиданій и дъйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живаго отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

«Узникъ» — одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ производеній Жуковскаго. Заключенный въ тюрьмъ юноша слышитъ за стъною голосъ, такой же, какъ опъ самъ, узницы:

«И такъ всё блага замёнить Могилой;

И бросить свёть, когда въ немъ жить Такъ мило;

Ахъ, дайте въ свётё подышать;

Еще миё рано умирать.

«Линь мигъ весенникь бытіемъ Жила я;

Линь мигъ на празднике земномъ Была я;

Луша готовилась любить...
И все покинуть, все забыть!»

Юпоша сжился душою съ узницею, которой опъ никогда не

видалъ. Въ ней вся жизнь его, и опъ не проситъ самой воли. И что нужды, что опъ никогда не видалъ ея, что опа для него—не болъе, какъ мечта? Сердце человъка умъетъ обманывать и себя и разсудокъ, особенио если съ нимъ вступитъ въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ и знать, что бъ заговорило сердце его тогда, когда глаза его увидъли бы тапиственную узницу.

«Ие ты ль—опъ мнить—давно была Любима?
И не тебя ль душа звала, Томима
Желанья смутнаго тоской, Волненьемъ жизни молодой?
«Тебя въ пророчественномъ сив Видалъ я;
Тобою въ пламенной веснъ Дышалъ я;
Ты мив цввла въ живыхъ цвътахъ;
Твой образъ въялъ въ облакахъ».

Молодая узница умерла въ своей тюрьмъ; узникъ былъ освобожденъ; —

Но хладно приняль онъ привѣтъ Свободы:

Прекраснаго ужь въ мірѣ пѣтъ.

Дни, годы

Напрасно будутъ проходить...

Погношаго не возвратить.

И тихо въ сумракъ ночей Онъ бродитъ, И съ неба темнаго очей Не сводитъ:
Звъзда знакомая тамъ есть; Она къ нему приноситъ въсть...
О миломъ въсть и въ міръ иной Призванье...
И дълитъ съ тайной онъ звъздой Страданье;

Ея краса оживлена:
Ему въ ней свътится она.
Онъ таяль, гаспуль, и угасъ...
И минлось,
Что вдругъ въ передъ послъдий часъ
Явилось
Все то, чего душа ждала—
И жизнь въ улыбкъ отошла...

«Сказка о царт Береплет, о сынт его Ивант-царевнут, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудростяхъ Марып Царевны, Кощеевой дочери» и «Сказка о спящей царевит» были весьма неудачными попытками Жуковскаго на русскую пародность. О нихъ пикакимъ образомъ нельзя сказать:

Здёсь русскій духь, здёсь Русью пахнеть.

Вообще—быть народнымъ, значило бы для Жуковскаго отказаться отъ романтизма, — а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа, словомъ отъ самого себя. Въ «Громобов», Жуковскій тоже хотвль быть народнымъ, но на перекоръ его волв, эта русская сказка у него обратилась какъ то въ німецкую — что то въ роді католической легенды срединхъ віковъ. Лучшія міста въ ней романтическія, какъ, напр., это:

Увы! пора любви придеть:
Вамъ сердце тайну скажеть,
Аля васъ украсить Божій свѣть,
Вамъ милаго покажеть;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И, распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Аля васъ взойдеть красиће день,
И будеть лугъ душистъй,
И сладостиви дубравы тѣнь
И птичка голосистъй.

«Вадимъ» весь преисполненъ самымъ неопредъленнымъ ро-

мантизмомъ. Этотъ «новогородскій рыцарь» вдеть самь не зная куда, руководимый тапиственнымъ звонкомъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красотъ, не обольщаясь земною. И вотъ, для обольщенія его, предстала ему земная красота, въ образъ кіевской княжны...

Лазурны очи опустя, Въ объятіяхъ Вадима, Она, какъ тихое дитя, Лежала педвижима; II что съ невинною душой Сбылось-не постигала; Лишь сердце билось, и порой Вся всныхнувъ, тренетала; Липь пламень гаснущій сіяль Сквозь тъпь ръсницъ склоненныхъ, И вздохъ невольный вылеталь Изъ усть восиламененныхъ. А витязь?... Что съ его душой?... Увы! сихъ взоровъ сладость, Сихъ чистыхъ, подъ его рукой Горящихъ персей младость, II мягкій шолкъ кудрей густыхъ, По раменамъ разлитыхъ, И свёжій блескъ ланить младыхъ, И усть полуотирытыхъ Палящій жарь, и тихій глась, И милое смятенье. II почи тапиственный часъ, И вкругъ уединенье -Все чувства разжигало въ немъ... О власть очарованья! Уже, исполненны огнемъ Киплинаго лобзанья, На дъвственныхъ ея устахъ Его уста горвли, И жарче розы на щекахъ Дрожащей дъвы равли; И все... но вдругъ смутился онъ, И въ радостномъ волненьи

Затрепеталь... знакомый звонь Раздался въ отдаленыя, и толго жалобно звенъль Онъ въ бездив поднебесной; И кто-то, чудилось, летвлъ Незримый, но извъстный; И взоръ, исполненный тоской, Мелькаль сквозь покрывало; И подъ воздушной пеленой Печальное вздыхало... Но вдругь сильней потрясся лёсь, И небо зашумъло... Вадимъ взглянуль-призракт исчезъ; А въ вышинъ ... звенъ 10. И вслёдь за милою мечтой Ауша его стремится...

Колокольчикъ, какъ видите, зазвенелъ очень кстати... Вадимъ отказался отъ кіевской княжны, а вмёсть съ нею и отъ кіевской короны, освободилъ двёнадцать сиящихъ дёвъ, и на одной изъ нихъ женился. Но что было потомъ, и кто эти дёвы, и что съ ними стало — все это осталось для насъ такою же тайною, какъ и для самого поэта... Право, намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кіевской княжны. Это напоминаетъ намъ фаптастическую сказку Гофмана—«Золотой Горшокъ»: тамъ студентъ Ансельмъ, цёною многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до пепзръченнаго блаженства обнять, вмёсто женщины—змёю, которая, какъ ловкая, увертливая змёя, и ускользаетъ изъ его рукъ... Вадимъ, кажется, обнялъ еще меньше, чёмъ змёю, обняль — мечту, призракъ. Но за то, опъ былъ вёренъ до гроба своей мечтъ... И то не малое утъшеніе!...

Содержаніе «Ундины» взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота-Фук»; по въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. «Ундина» одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная

15

мысль ея—олицетвореніе стихійной силы природы. Упдина— дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашь поэтъ умѣль слить фантастическій міръ съ дъйствительнымъ міромъ, и сколько заповѣдныхъ тайнъ сердца умѣлъ опъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведеній. По красотамъ поэтическимъ, «Ундина» есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничнися указаніемъ на одно изъ самыхъ романтическихъ мѣстъ этой поэмы:

Какъ намъ, добрый читатель сказать: къ сожалънью, иль къ счастью, что

Горе земное не надолго! Здъсь разумъю я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое съ милымъ, нотеряннымъ благомъ сливаетъ
Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не утрата,
Смерть—вдвоемъ бытіе, а жизнь—порывъ непрестанный
Къ той чертъ, за которую милое наше изъ міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
Душъ на свътъ, въ которыхъ святая нечаль, какъ свъча предъ иконой,
Прко горитъ нока догоратъ; но она и для нихъ ужь
Все не та подъ-конецъ, какою была при началъ,
Полная, чистая; много, много инаго, чужаго
Между утратою нашей и нами уже протъснилось;
Воть наконецъ и осю изминясьность здъшилю въ самой
Нашей печали мы видимъ... итакъ, скажу къ сожалънью
Наше горе земное не издолго...

Эта поэма принадлежить къ поздивишимъ произведеніямъ Жуковскаго, а оттого ея романтизмъ какъ-то сговорчивве и двлаеть болье уступокъ разсудку и двиствительности...

Не будемъ распространяться о достоинствъ неревода «Орлеанской Дъвы» Шиллера: это достоинство давно и ветми единодушно признано. Жуковскій своимъ превосходнымъ нереводомъ усвоилъ русской литературъ это прекрасное произведеніе. И шикто, кромъ Жуковскаго, не могъ бы такъ передать этого по преимуществу романтическаго созданія

Шиллера, и ни какой другой драмы Шиллера Жуковскій ие быль бы въ состояни такъ превосходио передать на русскій языкъ, какъ превосходио передаль опъ «Орлеанскую Дъву».—Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: «Рыцарь Тогенбургъ», «Пвиковы Журавли», Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Поликратовъ Перстень», «Кубокъ», и піесы Шиллера же — «Горная Дорога»; все это переведено превосходно. — Но если что составляетъ истинный ореоль Жуковскаго, какъ переводчика, — это его переводъ слѣдующихъ трехъ піесъ Шиллера: «Торжество Побъдителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзинскій Праздникъ». Если бы, кромъ этихъ трехъ піесъ, Жуковскій инчего не перевелъ, ничего не написалъ,—и тогда бы имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

«Торжество Побъдителей» есть одно изъ величайшихъ и благороднъйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ геній этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвъ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и мпого высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивиая страна. Онъ такъ красноръчиво оплакалъ паденіе ея боговъ, онъ съ такою страстію говориль о ен пскусствъ, ен гражданской доблести, ел мудрости. И нигдъ съ такою полнотою и такою силою не выразиль онъ, не во спроизвель поэтическаго образа Эллады, какъ въ «Торжествъ Побъдптелей». Эта піеса есть апооеоза всей жизни, всего духа Греціи; эта піесавмёсть и поэтическая тризна и побёдная пёснь въ честь отечества боговъ п героевъ. Опа написана въ греческомъ духѣ, облита свътомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресилъ Элладу и заставилъ ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедіи слиты въ этой піесъ Шиллера съ возвышенною и кроткою скорбью греческой элегіи. Въ ней видится и свътлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, —и царящая надъ всъми ими мрачная Судьба, верховная владычица и боговъ и смертныхъ... Нельзя шире, и върнъе восироизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячельтій!

Побъдоносные Греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трои въ свое отечество, и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приносить жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился, Прекратилася борьба; Все исполнила судьба— Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событи иаденія «священнаго Пріамова града», высказывается какимънибудь сужденіемъ, примъненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвою въроломства жены. Менелай говоритъ о неизбъжномъ судѣ всевидящаго Кронида, карающаго преступленіе. Особенпо замѣчательны слова Аякса Олеида:

Пусть веселый взорь счастливыхъ (Онлеевъ сыпъ сказалъ)
Зрить въ богахъ боговъ правдивыхъ; Судъ ихъ часто слъпъ бывалъ;
Сколькихъ добрыхъ жизнь поблёкла!
Сколькихъ инзкихъ рокъ щадитъ!...
Нътъ великаго Патрокла;
Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчась же, по свойству всеобъемлющаго и многосторонняго духа греческаго, разръшается въ веселое и свътлое созерцаніе:

> Смертный, въчный Дій Фортунъ Своенравной предаль насъ: Уловляй же быстрый часъ, Не тревожа сердца втунъ.

Вообще, эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олеидъ продолжаетъ:

Лучшихь бой похитиль ярый! Въчно памятень намь будь, Ты, мой брать, ты, подь удары Нодставлявшій твердо грудь, Ты, который нась пожаромъ Осажденныхь защитиль... Но коварнъйшему даромь Щить и мечь Ахилловъ быль. Миръ тебъ во мглъ Эрева! Жизнь твою не прахъ пожаль: Ты своею силой паль, Жертва гибельнаго гнъва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышетъ всею полнотою греческаго созерцанія героизма:

О Ахилль! о мой родитель!
(Возгласник Неоптолеми)
Быстрый міра посвтитель,
Жребій лучшій взяль ты въ немь.
Жить ек любей племенк дюлами—
Благо первое земли;
Будеми славны именами
И сокрытые ек пыли!
Слава дней твонкь нетлына;
Въ пъснякь будеть цвёсть она:
Жизнь живущихи невърна,
Жизнь отжившихи неизмынна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (du sublime) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велить умолкнуть здобь:
(Діомедь провозгласныь)
Слава Гектору во гробь!
Онь краса Пергама быль;
Онь за край, гдв жили двды,
Веледушно пролиль кровь;
Нобидившиль—честь побиды!
Охраняешему—любось!
Кто на судь явясь кровавый,
Славно паль за отчій домь:
Тоть, почтенный и врагомь,
Будеть жить вь преданьяхь славм!

Но что можеть сравниться съ этою трогательною, этою умиляющею душу картиною «убъленнаго жизнію» Нестора, съ словами кроткаго утьшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубь! Здъсь, въ ръзкой характеристической чертъ схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ, жизнью убвленный, Нацванлъ вина фіаль, И Гекубъ сокрупненной Дружелюбно выпить даль. Ней страданій утоленье; Добрый вакховъ даръ вино: И веселость и забвенье Пролваетъ въ насъ оно. Пей, страдалица! печали Утоляются виномъ: Боги жалостные въ немъ Подкръпленье сердцу дали.

Вспомни матерь Піобею: Что изв'єдала она! Сколь ужасная падъ нею Казнь была совершена! Но и съ нею, безотрадной, Добрый Вакхъ не даромъ быль:
Онъ струею виноградной
Вмигъ тоску въ ней усыпилъ.
Если грудь виномъ согръта
И въ устахъ вино кицитъ—
Скорби паши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета.

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаеть на переменчивость участи всего подлуннаго, и на горе, ожидающее самихъ победителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра, Виявъ шеннувшимъ ей богамъ, На пустынный брегь Скамандра, На дымящійся Пергамъ. Все великое земное Разлетается какт дымъ: Нышь экребій выпаль Трою, Завтра выпадеть другимъ.

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую пѣснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себъ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнію, — и потому піеса Шиллера достойно заключается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, спав насъ гнетущей, Покоряйся и терпи! Спящій въ гробю, мирно спи! Жизнью пользуйся живущій!

Таковъ былъ греческій романтизмъ: на гробахъ и могилахъ загоралась для него въчная заря жизни, несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывали отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго; на веселыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробъ, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для Грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ, успоконтельнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ на вѣки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизии очи...

Переводъ Жуковскаго «Торжества Побъдителей» есть образецъ превосходныхъ переводовъ, — такъ что если, при тщательномъ сравненіп, иныя мъста окажутся не вполив върно, или не вполив спльно переданными, — за то еще болье найдется мъстъ, которыя въ переводъ сильнъе и лучше выражены. Такъ наприм., у Шиллера сказано просто: «И въ дикое празднество радующихся примъшивали онъ (плъпныя жены и дъвы троянскія) плачевное пъніе, оплакивая собственныя страданія и паденіе царства». У Жуковскаго это выражено такъ:

И съ побъдной пъснью дикой Ихъ сливался тихій стонь Но тебть, святой, великой, Иевозвратный Иліонь.

«Жалоба Цереры» — тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и «Торжество Побъдителей». Въ этой піесъ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры — нѣжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкою подземнаго царства, суровымъ Андомъ.

Скозь завидна мнѣ печазьной Участь смертных матерей! Легкій пламень погребальной Возвращаеть имъ дѣтей; А для насъ, боговъ петлѣнныхъ. Что усладою утрать? Насъ, безрадостно-блаженныхъ, Парки строгія щадять... Нарки, парки, посившите Съ неба въ адъ меня послать; Иравъ богини не щадите: Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образъ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и интается стиксовой струей, а листъ выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона, — въ этомъ дивно-поэтическомъ образъ, Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдълалъ самый поэтическій намекъ на скорбь и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовою водою, и этотъ листъ, радостно рвущійся на свѣтъ и подымающійся къ небу —

Ими таниственно слита
Область тьмы съ страною дия,
И приходять отъ Коцита
Милой въстью отъ меня;
И ко мит въ живомъ дыханьт
Молодыхъ цвътокъ весны
Подымается признапье,
Гласъ родной изъ глубины;
Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ разлуку моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отпельнихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращении романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердца — къ цвътамъ:

О, привътствую васъ, чада Разцвътающихъ полей! Вы тоски моей услада,

Образь дочери моей!
Вась налью благоуханьемь,
Напою живой росой,
И съ авроринымь сіяньемъ
Норавняю красотой;
Пусть веспой природы младость,
Пусть осенній мракь полей
Н мою въщаеть радость
И печаль души моей!

Въ «Элевзинскомъ Праздникъ» Шиллера есть опять поэтическая аповеоза Цереры; по здъсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ «Жалобъ Цереры», эта богиня является представительницею греческаго романтизма: въ «Элевзинскомъ Праздникъ» она является божествомъ благотворно дъятельнымъ — очеловъчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледълію, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, инзводитъ къ нимъ ремесла и искусства и постваетъ между ними съмена граждаиственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Въроятно увлеченый Шиллеровскимъ созерцаніемъ великаго міра греческой жизин, Жуковскій и самъ написалъ ніесу
въ этомъ же родъ—«Ахилъ». Въ ней есть прекрасныя мъста;
но вообще въ греческое созерцаніе Жуковскій внесъ слишкомъ
много своего, — и тонъ ея выраженія слѣлался оттого гораздо
болъе унылымъ и расплывающимся, нежели сколько слѣдовало
бы для піесы, которой содержаніе взято изъ греческой жизии
и которая написана въ греческомъ духъ. Равнымъ образомъ,
къ недъстаткамъ этой піесы принадлежитъ еще и то, что она
больше растянута, чѣмъ сжата, а потому утомляетъ въ чтеніп.
Но несмотря на то, въ ней есть красоты, пногда напоминающія пьесы Шиллера въ этомъ родъ, и вообще «Ахиллъ»
Жуковскаго — одно изъ замъчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натуръ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны, — и вотъ причина, почему миогіе недальновидные критики не хотёли въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видіть вітрное воспроизведеніе духа Эллады; но это уже была вина ихъ, недальновидныхъ критиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не подозрѣвать, что въ Греціп былъ свой романтизмъ! Жуковскій — тоже, какъ романтикъ по натурь, быль въ состояніп превосходно передать піесы Шпллера греко-романтическаго содержанія. По этой же самой причинь, его переводы такихъ піесъ Гёте болье пеудачны, чьмъ удачны: ссылаемся на «Мою Богиню» (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гёте смотриль на Грецію совсёмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ; послъдній болье видъль ся внутреннюю, романтическую сторону; Гёте — видълъ больше ея опредъленную, свътлую олимпійскую сторону. Оба великіе поэта вёрно смотрели на Грецію, каждый видя разныя, но ея же собственныя стороны. Когда же Гёте сходился съ Шпллеромъ въ созерцаніи греческой жизип (какъ, напримъръ, въ «Прометет» и «Корпиоской Невъстъ»), — онъ отыскиваль въ немъ и выражаль болье философскую его сторону. И въ этомъ отношеніи, Гёте быль вірень своему духу. Романтическое направление Жуковскаго совершенно виж сферы Гётева созерцанія, и потому Жуковскій мало переводиль изъ Гёте, и все переведенное или заимствованное изъ пего перемъпяль по своему, за исключениемъ только чисто-романтическихъ въ духъ среднихъ въковъ піесъ Гёте, каковы, напримъръ, баллады: «Лѣсной Царь» п «Рыбакъ». П есля талантъ Жуковскаго, какъ переводчика, совершенно вив сферы поэзіп Гётеотсюда писколько еще не следуеть, чтобь причиною этого была высота генія Гёте. Жуковскій переводиль же превосходно Шиллера, — а геній Шиллера ничёмъ не ниже генія Гёте. Вообще, мысль — считать Шиллера наже Гёте — и нельца, и устаръла. Жуковскій — необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ върно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такія произведенія, съ которыми натура его связана родственною симпатією.

«Идеалы» Шиллера переведены не совсёмъ удачно. Переводь этотъ относится къ первой поръ поэтической дъятельности Жуковскаго. Ужь одно то, что, переводя эту піесу, онъ перемънилъ пазваніе ея «Идеалы» на «Мечты», — одно ужь это показываетъ, какъ не глубоко вникъ онъ въ мысль ея. Многіе стихи въ этой піесъ просто нехороши; многія выраженія лишены точности и опредъленности. Вотъ, для доказательства, цълый куплетъ:

И неестественнымь стремленьемъ
Весь мірь въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомь, выраженьемъ,
Во все я жизнь хотъль вдохнуть,
И въ инженомъ съмени сокрытой,
Сколь пышнымъ мни казался свютъ...
Но ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое — сколь быдный цвютъ!

Какъ-то чувствуется само собою, что вмѣсто «выраженьемъ», надо было поставить «словомъ»; послѣдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но такъ же неудачно переведена піеса Байрона, начинающаяся, въ переводѣ, стихомъ: «Отымаетъ наши радости». Жуковскій далъ ей совсѣмъ другой смыслъ п другой колоритъ, такъ что Байроновскаго въ ней ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозанческаго, но вѣрнаго перевода, нельзя читать съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозаическій переводъ піесы Байрона:

«Нъть радостей, какія можеть дать намь мірь, въ замъну тъхь, которыя онь отнимаеть у нась въ то время, когда ужь жарь первыхъ мыслей остыва-

еть въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свёжесть ланить вянеть скоро,—нёть, свёжій румянець сердца изчезаеть прежде самой юности.

И эти немногія души, которымь удастся уцвавть посав ихъ разрушеннаго счастія, напывають на мели преступленій, или уносятся вь океань буйныхъ страстей. Ихъ путеводный компасъ изломань, или стрвака его напрасно указываеть на берегь, къ которому ихъ разбитая ладья никогда не причалить.

Тогда-то сходить на душу тоть мертвенный холодь, подобный самой смерти; сердце не можеть сочувствовать страданіямь другихь, не сифеть думать о сво-ихь собственных страданіяхь; ручей слезь покрывается тяжелою дедяною корою; а если и блестять еще очи,—то это блескь льда.

Хотя остроуміе порою ярко сверкаеть еще въ устахъ, и смѣхъ развлекаетъ сердце въ часы полуночи, которые не даютъ уже прежней надежды на уснокоеніе, но все это какъ листы плюща, обвивающіеся вокругъ развальнийся башни: зеленые и дико-свѣжіе сверху—сѣрые и землистые снизу.

О, еслибъ могъ я чувствовать, какъ чувствоваль прежде, быть тъмъ, чъмъ былъ... или плакаль объ изчезнувшемъ, какъ бывало плакалъ... Какъ бы ни былъ мутенъ и нечистъ ручей, найденный печаянно въ пустыпъ, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы миъ мои слезы среди опустошенной степи моей жизни.

Сличите хоть второй куплеть нашего буквальнаго прозаическаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковскаго:

Наше счастіе разбитое
Видимъ мы игрушкой волнъ;
И въ далекій мракъ сердитое
Море мчитъ нашъ бъдиый чолнъ.
Стрълки нътъ путеводительной,
Иль вотще ся магнитъ
Въ бурю къ пристани спасительной
Чолнъ безнарусный манитъ...

То ли это?... Въ носледнихъ двухъ куплетахъ еще болъе искажена мысль Байрона.

Но—странное дъло!—нашъ русскій пъвецъ тихой скорби и унылаго страданія, обръль въ душт своей кртпкое и могучее

слово для выраженія страшныхъ подземныхъ мукъ отчаянія, начертанныхъ молнісносною кистію титаническаго поэта Англін! «Шильйонскій Узинкъ» Байрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзывающимися въ сердць какъ ударъ топора, отділяющій отъ туловища невинно-осужденную голову. Здісь въ первый разъ крізность и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видъ, и до Лермонтова болье не являлась. Каждый стихъ въ переводъ «Шильйонскаго Узника» дышеть страшною энергією, и надо совершенно потеряться, чтобъ выписать лучшее изъ этого перевода, гдъ каждая страница есть равно лучшая. Но мы наноминмъ здісь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравненіи съ которымъ адъ самаго Данте кажется какимъ-то расмъ:

Но что потомъ сбылось со мной, Пе помню... свёть казался тьмой, Тьма свытомы; воздухь изчезаль; Въ оцъпентнии стоялъ, Безъ памяти, безъ бытія Межь кампей хладнымъ кампемъ я; И видилось, какъ въ тяжкомъ сни, Все блёднымъ, темнымъ, тусклымъ мий; Все въ смутную слилося твиь; То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкій свыть тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей: То было тьма безъ темноты; То было бездна пустоты Безъ протяженья и границъ; То были образы безъ лицъ; То страшный міръ какой-то быль, Безъ неба, свъта и свътилъ, Безъ времени, безъ дней и лътъ, Безъ промысла, безъ благъ и бъдъ, Ин жизнь, ни смерть-какъ сонъ гробовъ, Какъ океанъ безъ береговъ, Запавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и ибмой.

Много было расточено похваль переводу отрывка изъ поэмы Томаса Мура «Дивъ и Пери»; но переводъ этотъ далеко ниже похваль: онъ тяжелъ и прозаиченъ, и только мъстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ, можетъ-быть, причиною этого и самъ оригиналъ, какъ не совсъмъ естественияя поддълка подъ восточный ромайтизмъ. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти никъмъ незамъченная поэма «Судъ въ Подземельъ».

«Овсяный Кисель», «Красный Карбункулъ», «Деревенскій Сторожъ въ Полночь», «Сраженіе съ Зивемъ», «Неожиданное Свиданіе», «Путешественникъ и Поселянка» (изъ Гёте), «Норманскій Обычай», «Тленность», «Война Мышей съ Лягушками», «Ценксъ и Гальціона» и отрывки изъ «Эненды» и «Иліады» принадлежатъ къ числу замъчательныхъ переводовъ Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ «Иліады» стихъ легче, чёмъ стихъ Гиъдича; но въ последиемъ, по нашему мизнію, болъе жизни, болъе греческаго духа и колорита. Вирочемъ, Жуковскій эти отрывки изъ «Пліады» перевель съ латинскаго.

Сделаемъ перечень всемъ піссамъ Жуковскаго и переводнымъ, и подражательнымъ, и оригинальнымъ, которыя мы считаемъ или лучшими, или самыми характеристическими его произведеніями. Изъ балладъ: «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы Журавли», «Лъсной Царь», «Кассандра», «Три Пъсни», «Графъ Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова Арфа», «Ахиллъ», «Поликратовъ Перстень», «Старый Рыцарь», «Роландъ Оруженосецъ», «Плаваніе Карла Великаго», «Кубокъ», «Замокъ Смальгольмъ», «Перчатка», «Покаяніе», «Огрывки изъ испанскихъ романсовъ о Сидъ». Изъ мелкихъ лирическихъ піесъ: «Тоска по миломъ», «Цветокъ», «Пъснь Араба надъ могилою коня», «Пловецъ», «Счастливъ тотъ, кому забавы», «О, милый другъ, теперь съ тобою радостъ», «Минувшихъ дней очарованье», «Жалоба», «Върность до гроба», «Голосъ съ того свъта», «Ночь», «Утъ-

шеніе въ слезахъ», «Къ мѣсяцу», «Пѣсня Бѣдняка», «Весеннее Чувство», «Утѣшеніе», «Таниственный Посѣтитель», «Мотылекъ и Цвѣты», «Къ мимопролетѣвшему знакомому генію», «Желаніе», «Младенецъ», «Сонъ», «Счастіе во снѣ», «Къ востоку, все къ востоку», «Розы разцвѣтаютъ», «Замокъ на берегу моря», «Горная Дорога», «Пѣвецъ», «Жизнь», «Узникъ къ мотыльку, влетѣвшему въ его темницу», «Элизіумъ», «Путешественникъ», «Славянка», «Вечеръ», «На кончину Королевы Виртембергской», «Сельское Кладонще», «Море», «Праматерь Впукъ», «Къ Филону», «Двъ Пѣсип», «Привидѣніе», «Мечта», «Побѣдитель», «Три Путника», «Видѣніе», «Теонъ и Эсхинъ», «Счастіе», «Ночной Смотръ», «Утренняя Звѣзда», «Лѣтній Вечеръ».

Многія изъ этихъ піесъ уже не могутъ имъть такого интереса, какой имъли прежде, и не могутъ читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какими читались прежде; но причина этого заключается совствъ не въ талантъ Жуковскаго, а въ содержаніи и духъ этихъ піесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзін каждой эпохи, зависить отъ идеальной значительности этой эпохи, отъ глубины и общности идеп, выраженной ея историческою жизнію. Долье вськъ живуть такія произведенія пскусства, которыя во всей полноть и во всей силь передають то, что было самаго истиннаго, самаго существеннаго и самаго характеристическаго въ эпохъ. Все же, что не выполняеть этихъ условій, или выполняеть ихъ неудовлетворительно, -все такое теряеть свой интересь въ другую эпоху, и мало-но-малу на въки смывается волнами шумно несущейся жизии. И немногое, слишкомъ немногое выносится наверхъ волнами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинъ!...

Многія піесы Жуковскаго, совершенно отжившія для нашего времени, все-таки имъютъ свой историческій интересъ, и безъ нихъ полное изданіе сочиненій Жуковскаго не имтло бы общаго характера поэзін Жуковскаго. Таковы: «Людмила», «Алина и Альсимъ», «Двънадцать Спящихъ Дъвъ», «Пъвецъ во Станъ Русскихъ Вонновъ», и проч. — Посланія Жуковскаго заключають въ себь, мъстами и отрывками, характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того, въ нихъ, какъ замътили мы выше, встръчаются поэтические проблески и замъчательныя мысли. Особенно слабыми піесами (иныя по формы, пныя по содержанію, иныя по тому и другому) считаемъ мы следующія: «Пъснь барда надъ гробомъ Славянъ побъдителей», «Пъвецъ въ Кремль», «Пиршество Александра, или сила гармонін» (изъ Драйдена), «Гимиъ» (подражаніе Томсопу), «Библія», «Сонъ Могольца», «Эпимесидъ», «Орелъ и Голубка», «Добрая Мать», «Спротка», «Подробный Отчеть о Лунъ» (какое-то странное résumé всего говореннаго поэтомъ о лунь въ разныхъ стихотвореніяхъ его), «Алонзо», «Доника» «Лепора», «Королева Урака», «Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка вхала на черномъ конв вдвоемъ, и кто сидълъ впереди», «Двъ были п еще одна», «Фридолинъ» (прекрасный переводъ странной по содержанию піесы Шиллера), «Сказка о Царъ Берендев» и Сказка о Спящей Царевнъ». Что касается до «Аббаддоны»—это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свъть и совершенио забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, еслибъ не упомянули о дивномъ искусствѣ этого поэта живописать картины природы и влагать въ нихъ романтическую жизпь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, почь ли, ведро ли, буря ли, или пейзажъ, — все это дышетъ, въ яркихъ картинахъ Жуковскаго, какою-то тапиствен-

16

ною, исполненною чудныхъ силъ жизнію... Примъры лучше всего объяснять нашу мысль касательно этого предмета:

Стояль среди цевтущія равнины Старинный Прлингфоръ, И пышныя съ высоть его картины Повсюду видёль взоръ. Авонъ, шумя подъ древними стънами, Ихъ пъной орошаль, И пизкій брегь сь лісистыми холмами Въ струяхъ его дрожалъ. Тамъ пламенъть бреговъ на тихомъ склонъ Закать сквозь ръдкій лъсъ; И трепеталь во дремлющемъ Авонъ Съ звъздами сводъ небесъ. Вдали, вблизи разсыпанныя села Дымились по утрамъ, Отъ ръзвыхъ стадъ долина вся шумъла И вториль абсь рогамь. Спѣшиль съ пути прохожій совратяся. На Ирлингфоръ взглянуть. И, красотой его плъняся, Онъ забываль свой путь.

(«Варвикъ»).

Владыко Морвены
Жилъ въ двдовскомъ замкъ могучій Ордаль;
Надъ озеромъ ствим
Зубчатыл замокъ съ холма возвышаль:
Прибрежны дубравы
Склонялись къ водамъ,
И стлался кудрявый
Кустаринкъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ.
Спокойствіе съней
Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушаль;
Рогатыхъ еленей
И вепрей и ланей могучій Ордалъ
Съ отважными псами
Гонялъ по холмамъ;
И долы съ жолмамы

Шумя, отвичали зовущими рогами.

На темные своды
Багрянымъ щитомъ покатилась луна;
И озера воды
Струпстымъ сіяньемъ покрыла она;
Отъ замка, отъ сѣней
Дубравъ по брегамъ
Огромпые тѣней
Легли великаны по гладкимъ водамъ.

. Прохладою дышеть Тамъ вътеръ вечерній и въ листьяхъ шумить, II вътки колышетъ, И арфу лобзаетъ... но арфа молчитъ. Творенія радость, Настала весна ---И въ свѣжую младость, Красу и веселье земля убрана. И яркимъ сіяньемъ Холмы осыпаль вечерѣющій день; На землю съ молчаньемъ Сходила ночная росистая тънь; Ужь синіе своды Блистали въ звъздахъ; Сравнялися воды, И вътеръ улегся на сиящихъ листахъ.

(«Эолова Арфа»).

И вотъ... насталъ послёдній день;
Ужь солнце за горою;
И стелется вечерия тёнь
Прозрачной пеленою;
Ужь сумракъ... смерклось... вотъ луна
Блеснула нзъ-за тучн;
Легла на горы тишина,
Утихъ п лъсъ дремучій;
Ръка сровнялась въ берегахъ;
Зажглись свътила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;

И близокъ часъ полночи...

. И все въ ужасной тишинъ; Окрестность какъ могила; Вотъ... каркнулъ воронъ на стънъ; Вотъ... стая псовъ завыла; зтваб аконсон онжитори ... стурдя И Нашли на небо тучи; Рѣка надулась; боръ реветь; И мчится прахъ летучій... Напрасно въетъ вътерокъ Съ душистыя долины; И свъть дуны сребрить потокъ Сквозь темны липъ вершины; И дасточка зари восходъ Встръчаетъ щебетаньемъ; И роща въ твиь свою зоветъ Листочковъ трепетаньемъ; И шумъ бъгущихъ съ поля стадъ Съ пастушьими рогами Вечерній мракъ животворять, Теряясь за холмами...

Увы! ужь и последній день
Край неба озлащаєть;
Сквозь темную дубравы сёнь
Блистанье проникаєть;
Все тихо, весело, свётло;
Все иёгой сладкой дышеть;
Река прозрачна, какъ стекло;
Едва, едва колышеть
Листами легкій вётерокъ;
Въ поляхъ благоуханье;
Къ цвётку прилиннуль мотылекъ
И пьетъ его дыханье...

(«Громобой»).

И воцарилась всюду тишина; Все спить... лишь изръдка въ далекой мглъ промчится Невиятный гласъ... или колыхиется волна... Иль сонный листь зашевелится. Я на брегу одинъ... окрестность вся молчитъ... Какъ привидъніе, въ туманъ предо мною Семья младыхъ березъ недвижимо стоитъ Надъ усыпленною водою.

Вхожу съ волненіемъ подъ ихъ священный кровъ; Мой слухъ въ сей тишинъ привътный голосъ слышить: Какт бы эвирное тами внете межь листовъ,

Какъ бы певидимое дышить; Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой, Съ сей очарованной мъшаясь тишиною, Душа пезримая подъемяеть голось свой

Съ моей беспьдовать душою. И ибкто урив сей безмолвный присвдить; И, мнится, на меня впериль онь томны очи; Безь образа лицо, и зракъ туманный слить

Съ туманнымъ мракомъ полуночи.
Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лѣть,
Опять въ видѣніи прекрасиомъ воскресаетъ;
И все, что жизнь сулпть, п все, чего въ ней нѣть,
Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ...

(« Славянка »).

Такихъ примъровъ мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа—романтическая природа, дышащая таинственною жизню души и сердца, исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковскаго неизмѣримо выше стиха всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодіп и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то сжатой крѣпости и энергіп. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіп Жуковскаго. И, несмотри на то, еще многаго не доставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубокъ. Содержаніе поэзіп Жуковскаго было такъ односторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка. Батюшковъ тоже не мало сдѣлалъ для русскаго стиха; но, несмотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ, созданію

виолить поэтическаго и виолить художественнаго стиха предлежало Пушкину. Кромъ односторонности содержанія поэзіп Жуковскаго, не должно еще забывать, что поэтическая дъятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой — подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и, особенно, подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда, онъ и въ патріотическія стихотворенія и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ піесахъ все-таки отзывается болъе или менъе фактурою старыхъ мастеровъ нашей поэзіп. Попадаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго стихи тяжелые и темные, какъ напримъръ, эти:

Ихъ одобренье намъ награда, А порицаніе—ограда Отъ убивающіл даръ Надменной мысли совершенства.

Иногда разстановка словъ напоминаетъ Ломоносова, какъ напримъръ:

> А Ты, дарующій я тронь и власть царямь, Ты, на совъть ихь съдящій благодатью, Ознаменуй Твоей дима мои печатью.

Есть, наконецъ, стихи (правда, ихъ поискать да поискать), въ которыхъ въетъ духъ Хераскова, какъ напримъръ:

> Бъгутъ-во прахъ и громъ, и шлемъ, и щитъ, Впреди, вт тылу, ст боковт и рядоль? страхъ бъжить.

Жуковскій не могъ не имъть сильнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ имълъ сильное вліяніе на Жуковскаго: всѣ стихотворенія, написанныя имъ уже по истеченіи втораго десятильтія текущаго вѣка, отличаются несравненно лучшимъ языкомъ и стихомъ. Къ общимъ недостаткамъ поэзін Жуковскаго принадлежатъ, часто, невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая піеса его не теряетъ многаго изъ своего досто-

инства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія «На Смерть Королевы Виртембергской» можетъ служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе, безъ нужды, развитіе главной мысли и своею растянутою прозаичностью ослабляющіе впечатлёніе цёлаго.

Неизмъримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературъ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіп элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзін душу и сердце, познакомивъ ее съ тапиствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія «въ оный тапнственный свъть», которому нѣтъ пменп, нътъ мъста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завътную сторону. Есть пора въ жизни человъка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротою смѣняють одно другое, и сердце, желая многаго, не хочеть ничего; когда опредвленность убиваетъ мечту, удовлетворение подсъкаетъ крылья желанію, когда человъкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему, и не въ состояни остановиться ни на чемъ; когда сердце человъка порывисто бъется любовью къ идеалу и гордымъ презръніемъ къ дъйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свътлому небу, желая забыть о существованін земнаго праха. Въ эту пору жизни человъка, любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, тапиствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полнаго обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чёмъ сердца, и за нею непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ

фантазін; чтобъ онъ могъ понять, что въчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ тълъ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитии человъка, - и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредъленному пдеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояни понимать поэзионе одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; въчно будетъ онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тъла и сухаго, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духъ среднихъ въковъ есть необходимый моменть не только въ развитіп человъка, но и въ развитін каждаго народа п цёлаго человъчества. Средніе вёка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а следовательно и всего человечества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствъ среднихъ въковъ. Мы, Русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще правственно-духовнаго развитія, не имъли своихъ среднихъ въковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько покольній и всегда будеть такъ краснорьчиво говорить душт и сердцу человтка въ извъстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредъленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всёхъ и каждаго во всякій возрасть: они внятно говорять душт и сердцу въ извъстный возрасть жизни или въ извъстномъ расположении духа: вотъ настоящее значение поэзін Жуковскаго, которое она всегда будеть имъть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзін вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдёлалъ ее доступною для общества, даль ей возможность развитія, и безь Жуковскаго мы не имъли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностію. Еще въ дѣтствѣ, мы, черезъ Жуковскаго, пріучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью...

III.

Овзоръ поэтической дъятельности Батюшкова; характеръ его поэзін. — Гитдичъ; его переводы и оригинальныя сочиненія. — Мерзляковъ. — Кяязь Вяземскій. — Журналы конца карамзинскаго періода.

Батюшковъ далеко не имветъ такого значенія въ русской литературъ, какъ Жуковскій. Посльдній дійствоваль на нравственную сторону общества посредствомъ искусства; искусство было для него какъ бы средствомъ къ воспитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно передъ искусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзін. Батюшковъ не имель почти никакого вліянія на общество, пользуясь великимъ уважениемъ только со стороны записныхъ словесинковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русскою поэзіею велики, — однакожь, онъ оказаль ихъ совствъ иначе, чтвъ Жуковскій. Опъ усптать написать только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкъ не всъ стихотворенія хороши, и даже хорошія далеко не всъ равнаго достоинства. Опъ не могъ имъть особенио сильнаго вліянія на современное ему общество и современную ему русскую литературу и поэзію: вліяніе его обнаружилось на поэзію

Пушкина, которая приняла въ себя или, лучше сказать, поглотила въ себѣ всѣ элементы, составлявшіе жизнь твореній предшествовавшихъ поэтовъ. Державинъ, Жуковскій и Батюшковъ пиъли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзін, какъ это видно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было существеннаго и жизненнаго въ поэзін Державина. Жуковскаго и Батюшкова. — все это присуществилось поэзіп Π ушкина, переработанное ея самобытнымъ элементомъ. Пушкинъ былъ прямымъ наслёдникомъ поэтическаго богатства этихъ трехъ маэстро русской поэзіп. — наследникомъ, который, собственною деятельностью, до того увеличилъ полученные имъ капиталы, что масса пріобратеннаго имъ самимъ подавила собою полученную и пущенную имъ въ оборотъ сумму. Какъ умъли и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизпенное въ поэзіп Державина и Жуковскаго; теперь остается намъ сделать это въ отношенія къ поэзін Батюшкова.

Направленіе поэзін Батюшкова совствъ противоположно направленію поэзін Жуковскаго. Если неопредъленность и туманность составляють отличительный характерь романтизма въ духі среднихъ въковъ. — то Батюшковъ столько же классикъ. сколько Жуковскій романтикъ: поо опредъленность и ясность — первыя и главныя свойства его поэзін. И еслибъ поэзія его, при этихъ свойствахъ. обладала хотя бы столь же богатымъ содержаніемъ, какъ поэзія Жуковскаго. — Батюшковъ, какъ поэзія его быль бы гораздо выше Жуковскаго. Нельзя сказать, чтобъ поэзія его была лишена всякаго содержанія, не говоря уже о томъ, что она имъетъ свой, совершенно самобытный характеръ; но Батюшковъ какъ-будто не сознавалъ своего призванія и не старался быть ему върнымъ, тогда какъ Жуковскій, руководимый непосредственнымъ влеченіемъ своего духа, былъ въренъ своему романтизму и вполнт изчерпалъ

его въ своихъ произведеніяхъ. Свътлый и опредъленный міръ изящной, эстетической древности — вотъ что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ поэтовъ, художественный элементъ явился преобладающимъ элементомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки. Жуковскій только черезъ Шиллера познакомился съ древнею Элладою. Шиллеръ, какъ мы замътили въ предшествовавшей статьт, смотртль на Грецію примущественно съ романтической стороны ея, — п русская поэзія не знала еще Греціи съ ея чисто художественной стороны, не знала Греціи, какъ всемірной мастерской, черезъ которую должна пройдти всякая поэзія въ мірѣ, чтобъ научиться быть изящною поэзіею. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескиваютъ черты художественнаго разда древности, но только проблескивають, сейчась же теряясь въ грубой и неуклюжей обработкъ цълаго. И эти проблески античности тъмъ больше дълаютъ чести Державину, что онъ, по своему образованію п по времени, въ которое жилъ, не могъ имъть никакого понятія о характеръ древняго искусства. и если приближался къ нему въ проблескахъ, то не вначе, какъ благодаря только своей поэтической натуръ. Это показываетъ, между прочимъ, чемъ бы могъ быть втотъ поэтъ и что бы могъ онъ сделать, еслибъ явился на Руси въ другое, болње благопріятное для поэзін время. Но Батюшковъ сблизился съ духомъ изящнаго искусства грече. скаго сколько по своей натурѣ, столько и по большему или меньшему знакомству съ ними черезъ образование. Онъ былъ первый изъ русскихъ поэтовъ, побывавшій въ этой міровой студін міроваго искусства; его перваго поразили эти изящныя головы, эти соразмърные торсы — произведенія волшебнаго ръзца, исполненнаго благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшковъ, кажется, зналъ латинскій языкъ, и, кажется, не зналъ греческаго; неизвъстно, съ какого языка перевель онъ двенадцать піесь изъ греческой антологін: этого не объяснено въ коротенькомъ предисловін къ изданію его сочиненій, сдъланному Смирдинымъ; но приложенные къ статьъ «О Греческой Антологіи» французскіе переводы этихъ же самыхъ піесъ позволяють думать, что Батюшковъ перевель ихъ съ французскаго. Это последнее обстоятельство разительно показываеть, до какой степени натура и духъ этого ноэта были родственны элинской музъ. Для тъхъ, кто понимаетъ значение искусства какъ искусства, и кто понимаетъ, что искусство, не будучи прежде всего искусствомъ, не можетъ имъть никакого дъйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе, — для тъхъ должно быть понятно, почему мы приписываемъ такую высокую цёну переводамъ Батюшкова двънадцати маленькихъ піесокъ изъ греческой антологіи. Въ предшествовавшей стать выписали большую часть антологическихъ его піесъ; здісь приведемъ, для приміра, одну, самую короткую:

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей Восторги пылкіе и страсти упосиья; Какъ сладокъ поцълуй съ безмолвіи ночей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Такого стиха, какъ въ этой піескъ, не было, до Пушкина, ни у одного поэта, кромъ Батюшкова; мало того: можно сказать ръшительнъе, что до Пушкина ни одинъ поэтъ, кромъ Батюшкова, не въ состояніи былъ показать возможности такого русскаго стиха. Послъ этого, Пушкину стояло не слишкомъ большаго шага впередъ начать писать такими антологическими стихами, какъ вотъ эти:

Я върю: я любимъ; для сердца нужно вършть. Нътъ, милая моя не можетъ лицемършть; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцѣнный даръ, Нарядовъ и рѣчей пріятная пебрежность И ласковыхъ именъ младенческая нѣжность.

Вообще, надо замѣтить, что антологическія стихотворенія Батюшкова уступять антологическимь піесамь Пушкина только разві въ чистоті языка, чуждаго произвольных устченій и всякой неровности и шероховатости, столь пзвинительных и непзотжных въ то время, когда явился Батюшковь. Совершенство антологическаго стиха Пушкина — совершенство, которымь опъ много обязань Батюшкову — отразилось вообще на стихъ его. Приводимъ здѣсь снова два послѣдніе стиха выписанной нами антологической піесы:

Какъ сладокъ поцълуй въ безмолвіп ночей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкпиа: «Зима. Что дѣлать намъ въ деревиѣ? Я встрѣчаю» (т. IV, стр. 303): стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послъдніе стихи его напоминаютъ, своею фактурою, антологическую піесу Батюшкова:

И дъва въ сумерки выходитъ на крыльцо: Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо! Но бури съвера не вредны русской розъ. Какъ жарко поцълуй иылаетъ на морозъ! Какъ дъва русская свъжа въ пыли сиъговъ!

Благодаря Пушкину тайна антологическаго стиха сдълалась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ: такъ, напримъръ, многія антологическія стихоторенія г. Майкова не уступаютъ въ достопиствъ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тъмъ, какъ г. Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ другомъ родъ поэзіп, кромъ антологиче-

скаго. Послъ г. Майкова, встръчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ роді у г. Фета. Г. Майковъ нашель себъ подражателя въ г. Крешевъ, антологическія стихотворенія котораго несовстви чужды поэтическаго достоинства, и явись такія стихотворенія въ началь втораго десятильтія настоящаго въка, они составили бы собою эпоху въ русской литературъ; а теперь ихъ никто не хочетъ и замъчать, — что несовствъ неосновательно и несправедливо. Какого же удивленія заслуживаеть Батюшковь, который первый на Руси создаль антологическій стихь, только разві по языку, и то весьма немногимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? И не въ правъ ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а вследствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могъ не имъть большаго вліянія на Пушкина; кому неизв'єстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю, въ «Русланъ и Людмиль»?

> Поэзіп чудесный геній, Нъвець тапнственныхь видъпій, Любви, мечтаній и чертей, Могиль и рая върный житель, И музы выпреной моей Наперсникт, пыстунь и хранитель!

Дальнъйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ шуточный тонъ, показываютъ, какъ сильно дъйствовали на дътское воображеніе Пушкина даже и «Двънадцать Сиящихъ Дъвъ». Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина было больше нравственное, чъмъ артистическое, и трудно было бы найдти и указать, въ сочиненіяхъ Пушкина, слъды этого вліянія, исключая развълицейскія его стихотворенія. Пушкинъ рано и скоро пережиль содержаніе поэзін Жуковскаго, и его ясный, опредъленный умъ, его артистическая натура гораздо болъе гармонировали съ умомъ и натурою Батюшкова, чъмъ Жуковскаго. Поэтому,

вліяніе Батюшкова на Пушкина видиве, чёмъ вліяніе Жуковскаго. Это вліяніе особенно зам'ятно въ стих, столь артистическомъ и художественномъ: не им'я Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себътакой стихъ.

Батюшкову, по натуръ его, было очень сродно созерцаніе благъ жизни въ греческомъ духъ. Въ любви, онъ совстмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ паоосъ его поэзіи. Правда, въ любви его, кромъ страсти и граціи, много итжности, а иногда много грусти и страданія; по преобладающій элементъ ея всегда—страстное вождельніе, увънчаваемое всею ньгою, всъмъ обаяніемъ псполненнаго поэзіи и граціи наслажденія. Есть у него піеса, которую можно назвать аповеозою чувственной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремленіи вождельнія до бъщенаго и, въ то же время, въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея мноологической жизни: оно, въ яркихъ краскахъ рисуетъ веселое празднество и обаятельно буйныхъ, очаровательно безстыдныхъ жрицъ Вакха:

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ п стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
И за ней — она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвѣвали
Перевитые плющомъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный станъ, кругомъ обвитый
Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
И пылающи даниты

Розы яркимъ багрецомъ,
И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ —
Все въ неистовой прельщаетъ,
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... она бѣжала
Легче серны молодой; —
Я наститъ: она упала!
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ вонлемъ мимо насъ;
И по рощѣ раздавались
«Эвое!» и нѣги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны; при первомъ же своемъ появленіи, опи должны были поразить общее вниманіе, какъ предвістіе скораго переворота въ русской поэзіи. Это еще не Пушкинскіе стихи; но послі нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-ипбудь, а Пушкинскихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина, — и конечно, Батюшковъ много и много способствовалъ тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дійствительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобъ имя его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовію и уваженіемъ.

Судя по родственности натуры Батюшкова съ древнею музою и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатиль нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, паписанныхъ въ древнемъ духъ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго: — инчуть не бывало! Кромъ двънадцати ніесъ изъ греческой антологіи, Батюшковъ ничего пе перевель изъ греческихъ поэтовъ; а съ латинскаго перевелъ только три элегіи изъ Тибулла — и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Батюшкова мъстами слабъ, вялъ, растянутъ и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть цълую элегію вдругъ; но мъстами этотъ

же переводъ такъ хорошъ, что заставляетъ сожальть, зачъмъ Батюшковъ не переведъ всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Каковъ бы ни былъ переводъ этотъ въ цъломъ, но мъста, подобныя слъдующимъ, выкупили бы его педостатки:

Единственный мой богь и сердца властелинь, Я быль твоимъ жрецомъ, Квириды милый сынъ! До гроба я носиль твои оковы нёжны, И ты Амуръ, меня въ жилища безмятежны, Въ Элизій приведешь таинственной стезей, Туда, гдё вёчный май межь рощей и полей; Гдё разцвётаетъ нардъ и киннамона лозы И воздухъ нановиъ благоуханьемъ розы; Тамъ слышно иёнье птицъ и шумъ биощихъ водъ; Тамъ дёвы юныя, сплетяся въ хороводъ, Мелькаютъ межь древесъ, какъ легки привидёнья; И тотъ, кого постигъ, въ минуту уноенья, Въ объятіяхъ любви неумолимый рокъ, Тотъ цосить на челё изъ свёжихъ миртъ вёнокъ.

Но ты, миж върная, другъ милый и безценный, И въ мирной хижинъ, отъ взоровъ секровенной, Съ наперсиицей любви, съ подругою твоей, На мигъ не покидай домашнихъ азтарей. При шумъ зимнихъ вьюгъ, подъ сънью безопасной, Подруга въ темну ночь зажжетъ свътильникъ ясной И, тихо вретено кружа въ рукъ своей. Разскажетъ новъсти и были старыхъ дией. А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы, Забудешься, мой другь; и томныя зеницы Закроетъ тихій сонъ, н пряслица изъ рукъ Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ, Какъ небомъ посланный внезапно добрый геній. Бъги навстръчу миъ, бъги изъ мирной съни, Въ предестной наготъ явись моимъ очамъ, Власы разсъянны небрежно по плечамъ, Вся грудь дилейная и ноги обнаженны... Когда жь Аврора намъ, когда сей день блажевный На розовыхъ коняхъ, въ блистанъи принесетъ И Делію Тибулль въ восторга обойметь?

Элегія, изъ которой сділали мы эти выписки, не означена никакою цифрою. Она вся переведена превосходно, п если въ ней много незаконныхъ усъченій и есть хотя одинъ такой стихъ, какъ:

Богами свержены во области бездонны, —

то не должно забывать, что все это принадлежить болье къ недостаткамъ языка, чъмъ къ недостаткамъ поэзіи; а во время Батюшкова никто и не думалъ видъть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводъ ІІІ-й элегіи Тибулла и уступить въ достоинствъ переводу первой, тъмъ не менье онъ читается съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Батюшковымъ болье неудачно, чъмъ удачно: немногіе хорошіе стихи затоилены въ ней потокомъ вялой и растянутой прозы въ стихахъ.

Кромѣ двѣнадцати піесъ пзъ греческой антологіи и трехъ элегій пзъ Тибулла, памятникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова къ древней поэзіп остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма «Гезіодъ и Омиръ, сопершки». Не вмѣя подъ руками французскаго подлинника, мы не можемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; по немного нужно проницательности, чтобъ понять, что подъ перомъ Батюшкова эта поэма явилась болѣе греческою, чѣмъ въ оригиналѣ. Вообще, эта поэма не безъ достоииствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ея сюжета.

Что мъшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведеніями въ духъ древней поэзін и превосходными переводами, мы скажемъ объ этомъ пиже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родствению не къ одной Элладъ: ей, какъ южному растенію, еще привольнъе было подъ благодатнымъ небомъ роскошной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тасса было отечествомъ музы

русскаго поэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо последній, были любимъйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятиль онъ прекрасную элегію, которую можно принять за апооеозу жизни и смерти пъвца «Герусалима»; стихотвореніе «Къ Тасеу» — родъ посланія, довольно большаго, хотя и довольно слабаго, также свидьтельствуеть о любви и благоговьнии нашего поэта къ пѣвцу Годфреда; сверхъ того, Батюшковъ перевель, впрочемъ довольно неудачно, небольшой отрывокъ изъ «Освобожденнаго Герусалима». Изъ Петрарки онъ перевель только одно стихотвореніе-«На смерть Лауры», да написаль подражание его IX-й канцонь-«Вечерь». Всьмъ тремъ поэтамъ Италіи онъ посвятиль по одной прозапческой статьт, гдъ излилъ свой восторгъ къ нимъ, какъ критикъ. Особенно замѣчательно, что онъ какъ-будто гордится, словно заслугою, открытіемъ, которое удалось ему сдёлать при многократномъ чтенін Тассо: онъ нашель многія мъста ицълые стихи Петрарки въ «Освобожденномъ Герусалимъ», что, по его мивнію, доказываеть любовь и уважение Тассо къ Петраркъ. И при всемъ томъ. Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдалъ на дълъ свою любовь къ итальянской поэзін, какъ и къ древней. Почему это-увидимъ ниже.

Страстность составляеть душу поэзіп Батюшкова, а страстное упоеніе любви— ея павось. Онь и переводиль Парни и подражаль ему; но въ томъ и другомъ случав оставался самимъ собою. Слъдующее подражаніе Парни— «Ложный Стыдъ», даеть полное и върное понятіе о павосъ его поэзіп:

Поминшь ли, мой другь безцвиный, Какъ съ Амурами, тишкомъ, Мракомъ почи окруженный, Я къ тебъ прокрался въ домъ? Поминшь ли, о другъ мой нѣжной! Какъ дрожащая рука
Отъ побъды неизбъжной

Защищалась — но слегка? Слышенъ шумъ — ты испугалась; Свътъ блеснулъ — и вмигъ погасъ; Ты къ груди моей прижалась, Чуть дыша... блаженный чась! Ты пугалась; я смѣялся. «Намъ ли въдать, Хлоя, страхъ? «Гименей за все ручался, «И Амуры на часахъ. «Все въ безмолвін глубокомъ, «Все почило сладкимъ сномъ! «Дремлеть Аргусь томнымь окомь «Подъ морфеевымъ крыдомъ!» Рано утреннія розы Запылали въ небесахъ... Но любви безцённы слезы, Но улыбка на устахъ. Томно персей волнованье Подъ прозрачнымъ полотномъ, Молча новое свиданье Объщали вечеркомъ. Еслибъ Зевсова десница Мав вручная ночь и день: Поздно бъ юная денница Прогоняла черну тънь! Позано бъ солнце выходило На восточное крыльцо; Чуть блеснуло бъ, и сокрыло За лъсъ рдяное лицо; Долго бъ твии пролежали Влажной почи на поляхъ; Долго бъ смертные вкушали Сладострастіе въ мечтахъ. Дружбъ дамъ я часъ единый, Вакху часъ и спу другой: Остальною жь половиной Подвлюсь, мой другь, съ тобой!

Въ прелестномъ посланін къ Ж*** и В*** «Моп Пенаты», съ такою же яркостію высказывается преобладающая страсть поэзіи Батюшкова. Окончательные стихи этой прелестной

піесы представляють изящный эпикурензмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бъжить за нами Богъ времени съдой И губить лугь съ цвътами Безжалостной косой, Мой другь, скорби за счастьемъ Въ путь жизни полетимъ; Упьемся сладострастьемъ И смерть опередимъ; Сорвемъ цвъты украдкой Подъ лезвеемъ косы, И ленью жизни краткой Продлимъ, продлимъ часы! Когда же Парки тощи Нить жизни допрядуть, И насъ въ обитель нощи Ко прадъдамъ снесутъ --Товарищи любезны! Не сътупте о насъ! Къ чему рыданья слезны, Наемныхъ ликовъ гласъ? Къ чему сін куренья, И колокола вой И томны псалмопрныя Надъ хладною доской? Къ чему?... но вы толпами При мъсячныхъ дучахъ Сберитесь, и цвътами Усъйте мирный прахт; Иль бросьте на гробницы Боговъ домашнихъ ликъ, Двъ чаши, двъ цъвницы, Съ листами навиликъ: И путникъ угадаетъ Безъ надписей златыхъ, Что прахъ туть почиваетъ Счастливцевъ молодыхъ!

Нельзя не согласится, что въ этомъ эпикуреизмѣ много чело-

въчнаго, гуманнаго, хотя, можетъ быть, въ то же время много и односторонняго. Какъ бы то пи было, но здравый эстетическій вкусь всегда поставить въ большое достопиство поэзіп Батюшкова ея опредъленность. Вамъ, можетъ, не понравится ея содержаніе, такъ же, какъ другаго можеть оно восхищать: но оба вы по крайней мере будете знать -- одинь, что онь не любитъ, другой — что онъ любитъ. И ужь конечно, такой поэтъ, какъ Батюшковъ — больше поэтъ, чёмъ, напримеръ, Ламартинъ съ его медитаціями и гармоніями, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ, паровъ, тѣней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногъ вокругъ самого себя, но движется, растетъ само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвъткомъ, дающимъ плодъ. Можетъ-быть, немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которыя могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цили — нознакомить читателей съ Батюшковымъ, еслибъ не указали на это прелестное его стихотвореніе — «Источникъ»:

Буря умольда, и въ ясной лазури
Солице явилось на западъ намъ:
Мутный источникъ, слъдъ яростной бури,
Съ ревомъ и съ шумомъ бъжитъ по полямъ!
Зафиа! приближься: для дъвы невинной
Нальмы подъ тънью здъсь роза цвътетъ;
Падая съ камия источникъ пустынный
Съ ревомъ и пъной сквозь дебри течетъ!

Дебри ты, Зафиа, собой озарила!
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ,
Пъсни любови ты мив повторила —
Вътеръ унесъ пхъ на тихихъ крылахъ!
Голосъ твой, Зафиа, какъ утра дыханье,
Сладостно шепчетъ, несясь по цвътамъ:

Тише, источникъ, прерви волнованье, Съ ревомъ и съ пъной стремясь по полямъ!

Голось твой, Зафна, въ душт отозвался;
Вижу улыбку и радость въ очахъ!...
Дъва любви! и къ тебъ прикасался,
Съ медомъ пилъ розы на влажныхъ устахъ!
Зафна красиъетт?.. О другъ мой невинной,
Тихо прижмися устами къ устамъ!...
Будь же ты скроменъ, источникъ пустынный,
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!

Чувствую персей твоихъ волнованье, Сердца біенье и слезы въ очахъ; Сладостно дѣвы стыдливой ронтанье! Зафна! о Зафна! смотри, тамъ, въ водахъ Быстро песетсл цвѣтокъ розмаринный; Воды умчазись, — цвѣточка ужъ нѣтъ! Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустыпный, Съ ревомъ который сквозъ дебри течетъ.

Время погубить и прелесть и младость!...
Ты улыбнулась, о двая любви!
Чувствуень вь сердце томленье и сладость,
Сплыны восторги и пламень въ крови!...
Зафия, о Зафия! — тамъ голубь невинный
Съ страстной подругой завидують намъ...
Вздохи любови — источникъ пустынный
Съ ревомъ и шумомъ умчитъ по полямъ!

Нужно ли объясиять, что лежащее въ основъ этого стихотворенія чувство, въ началъ тихое и какъ бы случайное, въ каждой новой строфъ все идетъ crescendo, разръшаясь гармоническимъ аккордомъ вздоховъ любви, унесенныхъ пустыннымъ источникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувствъ!...

Но не одит радости любви и наслажденія страсти умълъ воситвать Батюшковъ: какъ поэтъ новаго времени, онъ не могъ, въ свою очередь, не заплатить дани романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредълен-

ности и ясности! Элегія его-это ясный вечеръ, а не темная ночь, вечеръ, въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго вет предметы только принимають на себя какой-то грустный оттънокъ, а не теряють своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи «Послъдняя Весиа», и какіе стихи!

> Въ поляхъ блистаетъ май веселый! Ручей свободно зажурчаль И яркій голось филомелы Угрюмый борь очароваль: Все новой жизни пьеть дыханье! Пъвецъ любви, лишь ты уныль! Ты смерти върной предвъщанье Въ печальномъ сердцѣ заключилъ; Ты бродишь слабыми стоцами Въ последній разъ среди полей, Прощаясь съ ними и съ лъсами Пустынной родины твоей. «Простите, рощи и долины,

- •Родныя ръки и поля!
- «Весна пришла, и часъ кончины
- «Неотразимой вижу я.
- «Такъ Эпидавра прорицанье
- «Въщало миъ: въ послъдній разъ
- «Услышишь горлицъ воркованье
- «И гальціоны тихій глась;
- «Зазелентють гибки дозы,
- «Поля одёнутся въ цвёты,
- «Тамъ нервыя увидишь розы
- «И съ ними вдругъ увянешь ты.
- «Ужь банзокъ часъ... цвъточки милы,
- «Къ чему такъ рано увядать?
- «Закройте памятникъ унызый,
- «Гдъ пракъ мой будеть иставвать;
- «Закройте путь къ нему собою
- •Отъ взоровъ дружбы навсегда,
- «Но если Делія съ тоскою
- «Къ нему приблизится: тогда
- «Исполните благоуханьемъ

«Вокругъ пустынный небосклонъ
«И томнымъ листьевъ трепетаньемъ
«Мой сладко очаруйте сонъ!»
Въ поляхъ цвъты не увядали,
И гальціоны въ тихій часъ
Стенанья рощи повторяли,
А бъдный юноша... погасъ!
И дружба слезъ не уронпла
На прахъ любимца своего;
И Делія не посътила
Пустынный памятникъ его:
Лишь пастырь въ тихій часъ денницы,
Какъ въ поле стадо выгонялъ,
Унылой пъснью возмущалъ
Молчанье мертвое гробинцы.

Грація — неотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пъла — буйную ли радость вакханаліи, страстное ли упоеніе любви, или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбь сердца, оторваннаго отъ милыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціознѣе этихъ двухъ маленькихъ элегій?

О память сердца! ты сильнъй Разсудка памяти печальной, II часто сладостью своей Меня въ странъ павняеть дальной. Я номию голось милыхъ словъ, , выбусот про ониоп В Я помию доконы златые Небрежно выощихся власовъ. Моей пастушки несравненной, Я помню весь нарядь простой, И образъ милой, незабвенной, Повсюду странствуеть со мной. Хранитель геній мой — любовью Въ утёху данъ разлуке онъ: Засну ль? - приникнетъ въ изголовью И усладить печальный сонъ.

Зефиръ последній свеня сонъ Съ ръсиицъ, окованниыхъ мечтами; Но я — не къ счастью пробужденъ Зефпра тихими крылами. На сладость розовыхъ луче її Предтечи утренияго Феба, Ни кроткій блескъ лазури неба, Ни запахъ вѣющій съ полей, Ни быстрый деть коня ретива По скату бархатныхъ дуговъ, И гончихъ дай, и звоиъ роговъ Вокругъ пустыннаго залява: Ни что души не веселить, Души, встревоженной мечтами, И гордый умъ не побъдитъ Любви холодными словами.

Замъчательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пъсни Байронова «Чайльдъ-Гарольда». Вотъ по возможности близкая передача въ прозъ этой строфы (CLXXVIII): «Есть удовольствіе въ непроходимыхъ льсахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ, въ сосъдствъ глубокаго моря, и въ ропотъ волнъ его есть своя мелодія. Я тъмъ не менье люблю человька, но я тыть болье люблю природу вслыдствіе этихъ свиданій съ нею, на которыя я спышу, забывая все, чыть бы я могъ быть, или чыть быль прежде, для того, чтобы сливаться со вселенною и чувствовать то, что я никогда не буду въ состоянін выразить, но о чемъ однакожь не могу и молчать». — Вотъ переводъ Батюшкова:

Есть наслажение и въ дикости лъсовь,
Есть радость на приморскомъ брегь.
И есть гармонія въ семъ говоръ валовь,
Дробящихся въ пустынномъ бъгъ.
Я ближняго люблю — но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!

Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать И то, чёмъ быль, какъ былъ моложе, И то, чёмъ нынё сталь подъ холодомъ годовъ, Тобою въ чувствахъ оживаю: Ихъ выразить душа не знаеть стройныхъ словъ, И какъ молчать объ нихъ, не знаю.

Козловъ перевелъ и слъдующія пять строфъ, и выдалъ это за собственное произведеніе: по крайней мъръ, въ третьемъ изданіи его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части «Къ Морю», посвященное Пушкину. Къ довершенію всего, переводъ такъ водянъ, что въ немъ нътъ пикакихъ признаковъ Байрона. Сравните три послъдніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батюшкова:

Прпроду я душою обнимаю, Она мильй; постичь стремлюся я Все то; чему ньтя слося, но что таить нельзя.

то ли это?...

Безпечный поэтъ-мечтатель, философъ-эппкуреецъ, жрецъ любви, нъги и наслажденія, Батюшковъ не только умълъ задумываться и грустить, по зналъ и диссонансы сомивнія и муки отчаянія. Не находя удовлетворенія въ наслажденіяхъ жизни и пося въ душъ страшную пустоту, онъ восклицалъ въ тоскъ своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ, Всъ дни утратами считаемъ; На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ, И что жъ? — ихъ урны обнимаемъ!

Такъ все здъсь суетно въ обители суетъ!
Пріязнь и дружество непрочно!
Но гдъ, скажи, мой другъ, прямой сіяетъ свътъ?
Что въчно чисто, пепорочно?
Напрасно вопрошаль я опытность въковъ
И Кліи мрачныя скрижали;
Напрасно вопрошаль всъхъ міра мудрецовъ:

Они безмольны пребывали.
Какъ въ воздухъ перо кружится здъсь и тамъ,
Какъ въ вихръ тонкій прахъ летаеть,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ
И възно пристани не знаетъ:
Такъ умъ мой посреди волненій погибалъ.
Всъ жизни прелести затмились;
Мой геній въ горести свътпльникъ погошалъ
И музы свътлыя сокрымись.

Бросая общій взглядь на поэтическую діятельность Батюшкова, мы видимъ, что его талантъ былъ гораздо выше того, что сдълано имъ, и что во всъхъ его произведенияхъ есть какая-то педоконченность, неровность, незралость. Съ превосходивишими стихами мъшаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшія піесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическихъ и растянутыхъ мъстъ. Въ его поэтическомъ призваніи, Греція борется съ Италіею, а югъ съ съверомъ, ясная радость съ унылою думою, легкомысленная жажда наслажденія вдругъ сміняется мрачнымъ, тяжелымъ сомнівніемъ, и тирская багряница эпикурейца робко прячется подъ власяницу суроваго аскетика. Отсюда происходить, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея паоосъ, то нельзя не согласиться, что этотъ паоосъ лишенъ всякой увъренности въ самомъ себъ, и часто походитъ на контрабанду, съ онасеніемъ и боязнію провозимую черезъ таможню піэтизма и морали. Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имълъ на него такое сильное вліяніе, онъ передаль ему почти готовый стихъ, —а между тъмъ, что представляють намь творенія самого этого Батюшкова? Кто теперь читаетъ ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежить своему времени, и почти ипчего нътъ для нашего. Артистъ, художникъ по призванію, по натурт и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрвиія. Откуда же эти противорвчія? Глв причина ихъ?— Не трудно дать отвъть на этоть вопросъ.

Творенія Жуковскаго — это цълый періодъ нашей литературы, цълый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Ихъ можно находить односторонними, но въ этой-то односторонности и заключается необходимость, оправдание и достопнство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитие каждаго изъ насъ въ извъстную эпоху нашей жизни, и потому мы любимъ эти процзведенія, даже п будучи отдёлены отъ нихъ неизмёримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человъкъ любитъ волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже сивется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ — романтикъ во всемъ, что есть лучшаго въ его поэзіп, п не-романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ, впрочемъ, уступаетъ числу лучшихъ, т. е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написаль но нъскольку піесь на нъсколько мотивовъ- и вотъ все. Мы, въ этой статьт, выписали почти все лучшее изъ пропзведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направление и духъ поэзін его гораздо опредълениве и двиствительнъе направленія и духа поэзіп Жуковскаго: а между тъмъ, кто изъ Русскихъ не знаетъ Жуковскаго, и многіе ли изъ нихъ знаютъ Батюшкова не по одному только имени?

Главная причина всёхъ этихъ противорйчій заключается, разумьется, въ самомъ талантъ Батюшкова. Это быль талантъ замъчательный, по болье яркій, чьмъ глубокій, болье гибкій, чьмъ самостоятельный, болье граціозный, чьмъ энергическій. Батюшкову не многаго не доставало, чтобъ опъ могъ перестушить за черту, раздъляющую большой талантъ отъ геніяльности. И вотъ почему опъ всегда находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время, — время,

въ которое новое являлось, не смѣняя стараго, и старое и новое дружно жили другъ подлѣ друга, не мѣшая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на вѣру, но преданію, благоговѣло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюшковъ представителями русскаго Нариасса:

Пускай веселы тван Любимыхъ мив иввцовъ, Оставя тайны съни Стигійскихъ береговъ, Пле области эепрны, Воздушною толпой Слетять на голось лирный Бесъдовать со мной И мертвые съ живыми Вступили въ хоръ единъ!... Что вижу? ты предъ ними Париасскій исполинъ, Иввецъ героевъ, славы, Всябдъ вихрянъ и громамъ, Нашь лебедь величавый, Плывешь по небесамь. Въ-толив и музъ и грацій, То съ лирой, то съ трубой, Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій, Сливаеть голось свой. Онъ громокъ, быстръ и силенъ, Какъ Суна средь стеней, И пъженъ, тихъ, умиленъ, Какъ вешній соловей. Фантазіи пебесной Давно любимый сынг(?), То повъстью прелестной Плъняетъ Карамзинъ, То мудраго Платона Описываетъ намъ, И ужинъ Агатона, II наслажденья храмъ; То древию Русь и нравы

Владиміра времянь, И въ колыбели славы Рожденіе Славлиъ. За ними сильфъ прекрасный, Воспитанникъ Харитъ, На цитръ сладкогласной О Душенькъ бренчить; Меленкаго съ собою Улыбкою зоветь. И съ нимъ, рука съ рукою, Гимнъ радости поетъ... Съ эротами играя, философъ и пінть, Близь Федра и Индыпая Тамъ Динтріевъ сидить; Бестдуя съ звърями, Какъ счастливый дитя, Парнасскими цвътами Скрызъ истину шутя. За нимъ въ часы свободы Поють среди иввиовъ Ава боловня природы Хеминцеръ и Крыловъ. Наставники-пінты, О фебовы жрецы! Вамъ, вамъ плетутъ хариты Бесмертные вънцы! Я вами здёсь вкушаю Восторги піэридъ, II въ радости взываю: О музы! я ціпть!

Что такое эти стихи, если не крикъ безотчетнаго восторга? Для Батюшкова всъ писатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ дътства, равно велики и беземертны. Державниъ у него — «пашъ Пиидаръ, нашъ Горацій», какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Пиндаромъ, или только нашимъ Гораціемъ. Если Батюшковъ, тутъ же, не назваль Державина еще и нашимъ Анакреономъ, — это въроятно потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришлось въ мъру стиха. Батюшковъ съ Гораціемъ быль знакомъ не по слуху, и пе видълъ, что между Гораціемъ-поэтомъ умиравшаго, разврат наго языческаго общества, и между Державинымъ, поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, изтъ рзшительно ничего общаго! Если Батюшковъ и не зналъ по-гречески, --- онъ могъ имъть понятіе о Пиндаръ по латинскимъ и нъмецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менте какого бы то ни было сходства между Державинымъ и Пиндаромъ, — Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цѣлаго народа — и какого еще народа!... Если Батюшковъ не упомянулъ въ этихъ стихахъ о Херасковъ и Сумароковъ, это, въроятно, потому что первому изъ нихъ были уже панесены страшные удары Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-по-малу какъ то самъ истерся въ общественномъ мнѣніи. Впрочемъ, это не мъшаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ «пъвца Россіады» и принисывать ему какую-то «славу писателя». Разсуждая о такъ называемой «легкой поэзін», Батюшковъ такъ разсказываетъ ея петорію па Руси:

«Такъ называемый эротическій и вообще легкій родъ поэзіп воспріяль у насъ начало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всёхъ видовъ, раздёленій и измѣненій легкой поэзін, которая менѣе или болѣе принадлежить къ важнымъ родамъ: по замѣтимъ, что на поприщѣ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ правственномъ мірѣ, ничто прекрасное и доброе не терлется, приноситъ современемъ пользу и дъйствуетъ непосредственно на весь составъ языка. Стихотворная повѣстъ Богдановича, первый и прелестный цвѣтокъ легкой поэзіи на языкѣ нашемъ, ознаменованный истиниымъ и великимъ (!) талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Душтріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украснаа разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувядаемыми цвѣтами выраженія; басин его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побѣждалъ его; басни Хемницера и оригинальныя басии Крылова, которыхъ остроумные,

счастливые стихи сделались пословицами, пбо въ нихъ видёнъ и тонкій умъ наблюдателя свёта, и рёдкій таланть; стихотворенія Карамзина, псполненныя чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; Гораціанскія оды Капинста; вдохновенныя страстію пёсни Нелединскаго; прекрасныя подражавія Древнимъ Мерзлякова, баллады Жуковскаго, сіяющія воображеніемъ, часто свое-правнымъ (?), но всетда пламеннымъ, всетда сплынымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, нанитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ, стихотворенія Муравьева, гдт изображается, какъ въ зеркалѣ, прекраснаа душалего; посланія ки. Долгорукова, исполненныя живости; нѣкоторыя посланія Восйкова, Пушкина и другихъ новѣйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всё сін блестящія произведенія дарованія п остроумія, менѣе или болѣе приближились къ желанному совершенству, п всѣ — нѣтъ сомнѣнія — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистиль, утвердили. •

Такъ! скажемъ мы отъ себя, въ этомъ нътъ сомивнія: сочиненія всёхь этихь поэтовь принесли свою пользу въ дёлё образованія стихотворнаго языка; но ийть п въ томъ сомивнія, что между ихъ стихомъ и стихомъ Жуковскаго и Батюшкова легло целое море разстоянія, и что «Душенька» Богдановича, сказки Амитріева, гораціанскія оды Капинста, подражанія древинит Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова и Пушкина (Василія) только до ноявленія Жуковскаго и Батюшкова могли считаться образцами легкой поэзів и образцами стпхотворнаго языка. Батюшковъ ни одинмъ словомъ не даетъ чувствовать, что прославляемыя имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей припадлежать извъстному времени и носять на себъ, какъ необходимый отпечатокъ, его недостатки. И потомъ, что за взглядъ на относительную важность каждаго изъ нихъ: Дмитріевъ у него выше Крылова, народнаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ «Горя отъ Ума», тогда какъ басни Дмитріева, несмотря на ихъ неотъемлемое достопиство, теперь совершенно забыты. И не мудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болье, какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена; но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стихотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева, и которыя, послъ стихотвореній Жуковскаго, тотчасъ же сдълались невозможными для чтенія, Батюшковъ находить «исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей». Кто теперь знаетъ стихотворенія Муравьева? — Батюшковъ въ восторгъ отъ нихъ. Ломоносовъ для него былъ однимъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзін предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были маловажны, по словамъ Батюшкова: стало-быть, опыты Ломоносова и Сумарокова были уже не маловажны. Но что же легкаго написаль Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?... И такъ смотръль на русскую литературу человъкъ, знакомый съ французскою, нёмецкою, итальянскою, англійскою (?) и латинскою литературами, въ подлинникт читавшій Руссо, Шенье, Шпллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Байрона (?), Тибулла и Овидія!... По всего поразительнье, въ этомъ отношеніи, «Письмо» Батюшкова «къ П. М. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева». Дъло идетъ о сочиненіяхъ Михаила Нититича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвъщенія, нопечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умерь въ 1807 году, и оставиль посль себя память благороднаго человъка и страстиаго любителя словесности. Какъ писатель. М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ Ломопосовской школь. Слогь и языкъ его не Карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненіяхъ его, дъйетвительно, видно много жюбви къ просвъщенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; по особениаго литературнаго или эстетическаго достоинства они не имеютъ. Когда вышли въ свъть сочиненія Муравьева, изданныя послѣ смерти его въ 1810 году, подъ титуломъ: «Опыты исторія, словесности и нравоученія», — Батюшковъ написаль письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмъ, онъ горько упрекаетъ тогдашнихъ журналистовъ за ихъ молчаніе о такой превосходной книгъ, каковы сочинения Муравьева. Въ числъ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдёльныхъ статей, есть ифсколько такъ называемыхъ «разговоровъ въ царствъ мертвыхъ», въ которыхъ авторъ пренапвно сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго съ Владиміромъ, Горація съ Кантемиромъ, и заставляетъ ихъ спорить, а къ концу спора согласиться, что Россія не уступаетъ въ спла и просващеній ни одному народу въ міръ... Батюшковъ въ восторгѣ отъ этихъ мертвыхъ разговоровъ: онъ отдаетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. «Французскій писатель (говорить онъ) гонялся единственно за остроуміемъ: дъйствующія лица въ его разговорахъ разръщаютъ какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется намъ, любуются сами тъмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля неръдко древніе герон преображаются въ придворныхъ Лудовикова времени, и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ настуховъ того же автора, которымъ не достаетъ парика, манжетъ и красныхъ каблуковъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замъчаетъ Вольтеръ—не помню въ которомъ мъстъ. Здъсь совершенно тому противное: всякое лицо говорить приличнымь ему языкомь, и авторъ знакомитъ насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ, съ Гораціемъ и проч. «Но, увы! именно этого-то и ивтъ въ разговорахъ Муравьева. Историческіе собестдинки Фонтенеля похожи по крайней мітріз хоть на придворныхъ Лудовика XIV, а герои Муравьева ръшительно ни на кого непохожи, даже просто на людей. Вообще, Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-то риторически: пначе чёмъ объяснить эту схоластическую фразу: «онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ» (стр. 97)?

Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ правственнаго содержанія, названныхъ у него общимъ именемъ «Обитатель Предмъстія». Языкъ этихъ статеекъ довольно чистъ и ближе подходитъ къ Карамзинскому, чъмъ къ Ломоносовскому; содержаніе много говоритъ въ пользу автора, какъ человъка съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; по и все тутъ: ни пдей, ни воззрѣній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: «Сіп разговоры (мертвыхъ) и Письма Обитателя Предивстія могутъ замънить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія пностранныхъ писателей» (стр. 102). Вотъ какъ!... Вообще, давно уже замъчено, что у насъ на святой Руси не умъютъ въ мъру ни похвалить, ни похулить: если превозносить начнутъ, такъ ужь выше лъса стоячаго, а если бранить, такъ ужь прямо втопчутъ въ грязь... «Другіе отрывки (продолжаетъ Батюшковъ) припадлежатъ къ вышнему роду словесности. Между ими повысть Оскольдь, въ которой авторъ изображаетъ походъ съверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотами» (стр. 106). Какими же? — Красотами самой натянутой и надутой риторики. Къ числу такихъ повъстей-поэмъ принадлежатъ «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» Хераскова, «Мароа Посадинца» Карамзина. Самъ Батюшковъ написаль пренельпую вещь въ такомъ же духь: она называется «Предславъ и Добрыия, старииная повъсть». Въ заключеніе статьи своей о сочиненіяхъ Муравьева, Батюшковъ выписываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

> Ты (муза) утро дней монхъ прилежно посъщала: Почто жь печальная распространилась мгла, И ясный полдень мой покрыла черной тънью! Иль лавровъ по слъдамъ твоимъ не соберу, И въ пъсняхъ не прейду къ другому поколънью, Или я весь умру?

«Нътъ (восклицаетъ Батюшковъ), мы падъемся, что сердце

человъческое безсмертно. Всъ пламенные отпечатки его, въ счастливых в стихахъ поэта, побъждають самое время. Музы сохраняють въ своей намяти пъсни своего любимца, и имя его перейдеть къ другому поколенію съ именами, съ священными именами мужей добродътельныхъ» (стр. 122). Увы! предсказаніе критика не сбылось: восхваляемый имъ авторъ быль уже забыть еще въ то время, какъ онъ сулплъ ему безсмертіе... Что это означаетъ: односторонность ума, недостатокъ вкуса?—Нисколько! Не много людей, столь богатыхъ счастливыми дарами духовной природы, какъ Батюшковъ. Опъ былъ сынъ своего времени — вотъ гдѣ причина его недостатковъ. Средствами своей натуры онъ быль уже далье своего времени; но мыслію, сознаніемъ, онъ шель за нимъ, а не впереди его. Онъ зналъ много языковъ и много читалъ на нихъ, но смотрълъ на вещи глазами «Въстника Европы» блажениой памяти, и даже современной исторіи учился по газетнымъ реляціямъ, а потому Наполеонъ, въ глазахъ его, былъ не болве, какъ новый Атилла, Омаръ, всесвътный зажигатель и разбойникъ (стр. 99). Еще страните его взглядъ на Руссо: этотъ взглядъ до напвности близорукъ и подсленовать (стр. 3, 17). Батюшковъ видълъ въ Руссо только мечтателя и софиста. Странное дъло! Наши русскіе поэты, даже не обділенные образованіемъ, знакомые съ Европою черезъ ел языки, почти всегда отличались какою-то ограниченностію взгляда и понятій, при замъчательномъ, а иногда и великомъ талантъ... Это мы еще будемъ имъть случай замътить...

Но едва ли не жесточе всъхъ постигла эта участь Батюшкова. Онъ весь заключенъ во митніяхъ и понятіяхъ своего времени, а его время было переходомъ отъ Карамзинскаго классицизма къ Пушкинскому романтизму (Пушкина въдь считали первымъ русскимъ романтикомъ!). Батюшковъ съ уваженіемъ говоритъ даже о меценатствъ, и замъчаетъ въ одномъ мъстъ

(стр. 47), что одинъ вельможа удостоиваетъ музъ своимъ покровительствомъ, вмёсто того, чтобъ сказать, что онъ удостоивается чести быть полезнымъ музамъ.

Какъ на самую ръзкую, на самую характеристическую черту эстетическаго и критическаго образованія Батюшкова, укажемъ на статью его «Аріостъ п Тассъ». Это нъчто въ родъ критическихъ статей нашихъ старинныхъ аристарховъ о «Россіадъ» Хераскова. Какъ хорошо это мъсто! какой чудесный этотъ стихъ! какое живое описаніе представляетъ собою эта глава—вотъ характеръ критики Батюшкова. Объ идеяхъ, о цѣломъ, о въкъ, въ которомъ написана поэма, о ея педостаткахъ — ни слова, какъ-будто-бы пичего этого въ ней и не бывало! Больше всего восхищается Батюшковъ описаніемъ одной битвы, которое, судя по его же прозанческому переводу, довольно надуто. Эта картина напоминаетъ ему стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены твла:
Иный съ размаха мечъ занесъ на сопостата,
Но прежде прободенъ, удара не скончалъ.
Иный, забывъ врага, прельщался блескомъ злата;
Но мертвый на корысть желанную упалъ
Иный, отъ сильнаго удара убъгая,
Стремглавъ на шизъ слетвлъ и стонетъ подъ конемъ;
Иный, произенъ, угасъ, противника сражая,
Иный врага повергъ п умеръ, самъ на немъ.

Кромт того, что Батюшковъ эти дебелые и безобразные стихи находить прекрасными, онъ еще видить въ разстановкъ словъ: стопетъ, угасъ и умеръ, какую-то особенную силу. «Замътимъ мимоходомъ для стихотворцевъ (говоритъ онъ), какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они постановлены на своемъ мъстъ» (стр. 225—226).

Таковы были литературныя и эстетическія понятія и уб'яжденія Батюшкова. Они достаточно объясияють, почему такъ нержшительно было направленіе его поэзів и почему написанное имъ такъ далеко ниже его чудеснаго таланта. Превосходный талантъ этотъ былъ задушенъ временемъ. При этомъ не должно забывать, что Батюшковъ слишкомъ рано умеръ для литературы и поэзіи. Кажется, его литературная діятельность совершенно прекратилась 1819-мъ годомъ, когда онъ былъ въ самой цвътущей поръ умственныхъ силъ — ему тогда было только 32 года отъ роду (онъ родился въ 4787 году). Мы не знаемъ даже, прочель ли Батюшковъ хотя одно стихотвореніе Пушкина. «Русланъ и Людмила» ноявилась въ 1820 году. Такъ Пушкинъ, въ свою очередь, не прочелъ ни одного стихотворенія Лермонтова... И, можетъ-быть, для Батюшкова настала бы новая пора лучшей и высшей дёятельности, еслибъ враждебная русскимъ музамъ судьба не отняла его такъ рано отъ ихъ служенія. Появленіе Пушкина имело сильное вліяніе на Жуковскаго: можетъ быть, еще сильнъйшее вліяніе имъло бы оно на Батюшкова. Выходъ въ свътъ «Руслана и Людмплы» и возбужденные этою поэмою толки и споры о классицизмъ и романтизм'й были эпохою обновленія русской литературы, ея окончательнаго освобожденія изъ-подъ вліянія Ломоносова и пачаломъ эманципацін изъ-подъ вліянія Карамзина... Несмотря на всю свою поверхностность, эта эноха развязала крылья генію русской литературы и поэзін. И въроятно, талантъ Батюшкова, въ эту эпоху, явился бы во всей своей силъ, во всемъ своемъ блескъ.

Но не такъ угодно было судьбъ. И потому, памъ лучше говорить о томъ, что было, нежели о томъ, что бы могло быть. Написанное Батюшковымъ, какъ мы уже сказали, — далеко ниже обпаруженнаго имъ таланта, далеко не выполняетъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредъленность, перъщительность, пеокопченность и невыдержанность борются въ его поззіп съ опредъленностію, ръшптельностію, оконченностію и выдержанностію. Прочтите его прево-

сходную элегію «на Развалинахъ Замка въ Швеціп»: какъ все въ ней выдержано, полно, оконченио! Какой роскошный и, вмъстъ съ тъмъ, упругій, кръпкій стихъ!

Тамъ воннъ нъкогда, Одена храбрый внукъ,
Въ бояхъ приморскихъ посътълый,
Готовилъ сына въ брань, и стрълъ пернатыхъ пукъ,
Броню завътну, мечъ тяжелый,
Онъ юношт вручилъ израненой рукой,
И громко восклицалъ, подиявъ дрожащи длани:
«Тебъ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

«А ты, мой сынъ, клянись мечемъ твоихъ отцовъ, И Гелы клятвою кровавой, На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ, Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!» И пылкій юноша мечъ прадъдовъ лобзалъ, И къ персямъ прижвмалъ родительскія длани, И въ радости, какъ конь, при звукъ новой брани, Кипълъ и тренеталъ!

Война, война врагамъ отеческой земли!
Суда на утро восшумвли,
Запвинлясь моря, и быстры корабли
На крыльяхъ бури полетвли!
Въ долинахъ Пейстріи раздался браней громъ,
Туманный Альбіонъ изъ края въ край пыластъ,
И Гела день и ночь въ Валгаллу провожаетъ
Погибинхъ блёлный сонмъ.

Ахъ, юноша! спѣши къ отеческимъ брегамъ,
Назадъ лети съ добычей бранной;
Ужь вѣстъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ судамъ,
Герой, побѣдою избранный.
Ужь скальды пиршества готовятъ на холмахъ,
Ужь дубы въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ,
И вѣстникъ радости отцамъ провозглашаетъ
Побѣды на моряхъ.

Здёсь, въ мирной пристани, съ денницей золотой Тебя невёста ожидаеть, Къ тебѣ, о юноша, слезами и мольбой.

Боговъ на милость преклоплеть...

Но вотъ, въ туманѣ тамъ, какъ стая дебедей,
Бѣлѣютъ корабли, несомые волнами;
О въй, попутный вѣтръ, въй тихими устами
Въ вѣтрила кораблей!

Суда у береговъ, на нихъ уже герой
Съ добычей женъ иноплеменныхъ;
Къ нему спъшитъ отецъ съ невъстою младой 1)
И лики скальдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва на жениха взглянутъ украдкой смъетъ,
Потупя ясный взоръ, красиветъ и блъдиветъ,
Какъ мъсяцъ въ небесахъ.

Не такова другая элегія Батюшкова—«Тѣнь Друга»: начало ея превосходно—

Я берегь покидаль туманный Альбіона;
Казалось, онь въ волнамъ свинцовыхъ утопалъ,
За кораблемъ вилася гальціона,
И тихій гласъ ея иловцовъ увеселялъ.
Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трецетъ парусовъ,
И кормчаго на палубѣ взыванье
Ко стражѣ, дремлющей подъ говоромъ валовъ; —
Все сладкую задумчивость питало.
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ,
И сквозь туманъ и ночи покрывало
Свѣтвла сѣвера любезнаго искалъ.

Повторимъ уже сказанное нами разъ: нослѣ такихъ стиховъ нашей поэзін падобно было или остановиться на одномъ мѣстѣ, или, развиваясь далѣе, выражаться въ Пушкинскихъ стихахъ; такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху

¹⁾ Поэть нашего времени вывсто «сь неввстою младой», сказаль бы: «сь неввстой молодой», — и оно, разумвется, было бы лучше; но во время Батюшкова большую полагали красоту въ славянизмв словъ, считая его особенно-приличнымъ для такъ называемаго «высокаго слога».

Пушкина. Но окончаніе элегіп «Тънь Друга» не соотвътствуетъ началу: отъ стиха —

И вдругъ... то быль ли сонъ? предсталь товарищь мнъ, начинается громкая декламація, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничто не потрясаетъ сердца, внезанно охлажденнаго и постепенно утомляемаго читателя, особенно, если онъ читаетъ эту элегію вслухъ.

Этимъ же иедостаткомъ иевыдержанности отличается и знаменитая его элегія «Умирающій Тассъ». Начало ея, отъ стиха: «Какое торжество готовитъ древній Римъ?» до стиха: «Тебъ сей даръ... пъвецъ Ерусалима!» превосходио; слъдующіе за тъмъ двънадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: «Друзья, о! дайте мит взглянуть на пышный Римъ» начинается риторика и декламація, хотя мъстами и съ проблесками глубокаго чувства и истинной поэзін. Чудесны эти стихи:

И ты, о въчный Тибръ, ноитель всъхъ илеменъ,
Засъянный 1) костьми гражданъ вселенной:
Васъ, васъ привътствуетъ изъ сихъ унылыхъ мъстъ
Безвременной кончинъ обреченный!
Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
И не вступлю при илескахъ въ Капитолій;
И лавры славные надъ дряхлой головой
Не усладятъ пъвца свиръной доли.

Но что такое, если не пустое разглагольствіе, не надутая риторика и не трескучая декламація— вотъ эти стихи?—

Увы! съ тъхъ поръ добыча злой судьбины,
Всъ горести узналь, всю бъдность бытія.
Фортуного изрытым пучины
Разверзлись подо мной и громъ не умолкаль!
Изъ веси въ весь, изъ странь (?) въ страну гонимый,

⁴⁾ Эпитеть «засъяннаго костьми» неточень въ отношеній къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построень Римъ, или о землѣ Италіи вообще.

Я тщетно на землѣ пристанища искаль: Повсюду персть ея неотразимый! Повсюду молніп карающей (?) иѣвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: «Друзья, но что мою стѣсияетъ страшно грудь?» до стиха: «Рукою музъ п славы соплетенный». Слъдующіе за тѣмъ шестнадцать стиховъ очень педурны, а отъ стиха: «Смотрите! онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ» до стиха: «Средь ангеловъ Елеонора встрътитъ» онять звучная и пустая декламація. Заключеніе превосходно подобно, началу:

И съ именемъ дюбви божественный погасъ;

Друзья надъ инмъ въ безиолвіи рыдали.

День тихо догараль... и колокола гласъ
Разнесъ кругомъ но стогнамъ вѣстъ нечали.

«Погибъ Торквато нашъ!» воскликнулъ съ илачемъ Римъ,

«Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!»...

На утро факсловъ узрѣли мрачный дымъ
И трауромъ нокрылся Канптолій.

Въ отношении къ выдержанности, какая разница между «Умирающимъ Тассомъ» Батюшкова и «Андреемъ Шенье» Пушкина, хотя объ эти элегіи въ одномъ родъ!

Послѣ Жуковскаго, Батюшковъ первый заговорилъ о разочарованія, о несбывшихся падеждахь, о печальномъ опытѣ, о потухающемъ пламенникѣ своего таланта...

Я чувствую, мой дарь въ поззін погась,
И муза пламенникъ небесный потупила;
Печальна опытность открыда
Пустыню новую для глазь;
Туда влечеть меня оспротълый геній,
Въ поля безплодныя, въ непроходимы съни,
Гдъ счастья нъть слъдовь,
Ни тайныхъ радостей, неизъяснимыхъ сновь,
Любимцамъ фебовымъ отъ юности извъстныхъ,
Ни дружбы, ни любви, ни иъсней музъ прелестныхъ.
Которыя всегда душевну скорбь мою,

Какъ лотосъ, сплою волшебной врачевали. Иътъ, нътъ! себя не узпаю Подъ повымъ бременемъ печаля!

Что Жуковскій сділаль для содержанія русской поэзіп, то Батюшковъ сдълаль для ея формы: первый вдохиуль въ нее душу живу, второй даль ей красоту идеальной формы; Жуковскій сделаль несравненно больше для своей сферы, чемъ Батюшковъ для своей, — это правда; но не должно забывать, что Жуковскій, раньше Батюшкова начавъ дъйствовать и теперь еще не сошель съ поприща поэтической длятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати-двухъ лътъ отъ роду... Заслуги Жуковскаго и теперь передъ глазами всъхъ и каждаго; имя его громко и славно и для новъйшихъ поколъній; о Батюшковъ большинство знаетъ теперь по наслышкъ и по воспоминанію; по если пемногія прекрасныя стихотворенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзін достаточно для его славы; а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще нътъ его безсмертія, — оно темъ не менте сілеть въ исторіи русской поэзін...

Замѣчательнъйшими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слѣдующія: «Умирающій Тассъ», «На развалинахъ замка въ Швецін», три «Элегін изъ Тибулла», «Воспоминанія» (отрывокъ), «Выздоровленіе», «Мой Геній», «Тѣнь друга», «Веселый Часъ», «Пробужденіе», «Таврида», «Послѣдняя Весна», «Къ Г — чу», «Источникъ», «Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ» «О, пока безцѣнна младость», «Гезіодъ и Омиръ — соперники», «Къ Другу», «Мечта», «Бесѣдка Музъ», «Карамзину», «Мов Пенаты», «Отвѣтъ Г — чу», «Къ П — ну», «Послапіе И. М. М. А.», «Къ N. N.», «Пѣснь Гаральда Смѣлаго», «Вакханка», «Ложный Страхъ», «Радость» (подражаніе Касти), «Къ Н.», «Подражаніе Аріосту», «Изъ Антологіи» двѣнадцать піесъ изъ греческой антологіи. Мы означили здѣсь всѣ піесы, по чему-либо и

сколько-инбудь замъчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время производили, какъ говорится, фуроръ, — это: «Плѣнный» (Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ) и «Разлука» (Гусаръ на саблю опправсь). Обѣ онѣ теперь какъ-то странно опошлились, особенно послъдняя — безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тѣмъ, обѣ онѣ написаны хорошнии стихами, какъ-бы для того, чтобъ служить доказательствомъ, что не можетъ быть прекрасна форма, которой содержаніе пошло, не могутъ долго нравиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами также написана моральная піеса «Счастливецъ» (подражаніе Касти); но мораль сгубила въ ней поэзію. Сверхъ того, въ ней есть куплетъ, который разсмъщиль даже современниковъ этой піесы, столь сипсходительныхъ въ дѣлѣ поэзіи:

Сердце наше кладезь *мрачной*: Такъ покоенъ сверху видъ; Но пустись ко дну... ужасно! Крокодилъ на пемъ лежитъ!

Какъ прозаикъ, Батюшковъ запимаетъ въ русской литературъ одно мъсто съ Жуковскимъ. Это превосходнъйшій стилистъ. Лучшія его прозаическія статьи, по нашему митнію, слъдующія: «О характеръ Ломоносова», «Вечеръ у Кантемира», «Нъчто о Поэтъ и Поэзіи», «Прогулка въ Академію Художествъ», «Путешествіе въ Замокъ Сирей». Также очень интересны всъ его статьи, названныя, во второмъ изданіи, общимъ именемъ «Писемъ» и «Отрывковъ»: опъ знакомятъ съ личностію Батюшкова, какъ человъка. Статья «Двъ Аллегоріи» характеризуетъ время, въ которое она написана: авторъ начинаетъ ее признаніемъ, что всъ аллегоріи вообще холодны, но что его аллегоріи говорять разсудку, а нотому и хороши. Онъ забылъ, что всъ аллегоріи потому-то и нельны и холодны, что говорять одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазіи... «Отрывокъ

изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи» показываетъ, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями югомъ и съверомъ, свътлою, роскошною Италіею и мрачною, одиообразною Скандинавіею. Эта статья написана какъ-будто бы въ соответствіе съ элегією «На развалинахъ Замка въ Швецін». Языкъ и слогъ этой статьи слыли за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюшкова въ прозъ. А между тъмъ, она есть не что пное, какъ переводъ изъ «Harmonies de la Nature» Ласепеда; отрывокъ, переведенный Батюшковымъ, можно найдти въ любой французской хрестоматіп, подъ названіемъ: «Les forèts et les habitans des règions glaciales». Сказанное Ласепедомъ о Съверной Америкъ, Батюшковъ храбро приложилъ къ Финландін — и дъло съ концомъ! Удивляться этому нечего: въ тъ блаженныя времена, подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ: «Прогулка въ Академію Художествъ» и «Двъ Аллегоріи». Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человакомъ, одареннымъ истинно артистическою душою.

Имя Батюшкова невольно напоминаетъ намъ другое любезное русскимъ музамъ имя, имя друга его — Гиталча, талантъ и заслуги котораго столько же важиы и знамениты, сколько—увы! и неоцтнены доселт. Не беремся за трудъ, можетъ-бытъ, превосходящій наши силы; но посвятимъ нъсколько словъ намяти человъка даровитаго и незабвеннаго. Съ именемъ Гиталича соедвияется мысль объ одномъ изъ тъхъ великихъ подвиговъ, которые составляютъ въчное пріобрътеніе и въчную славу литературъ. Переводъ «Илізды» Гомера на русскій языкъ есть заслуга, для которой иттъ достойной награды. Знаемъ, что наши похвалы покажутся многимъ преувеличенными: но «многіе» много ли понимаютъ и умѣютъ ли вникать, углубляться и изучать? Невъжество и легкомысліе поспъшны на

приговоры, и для нихъ все то мало и ничтожно, чего не разумеють они. А чтобъ быть въ состояни оценить подвигъ Гиедича, потребно много и много разумънія. Чтобъ быть въ состояпія оціннть переводъ «Иліады», прежде всего надо быть въ состояніп попять «Иліаду», какъ художественное произведеніе, — а это не такъ-то легко. Теперь уже п Шекспиръ требуеть комментаріевь, какъ поэтъ чуждой намъ эпохи п чуждыхъ памъ правовъ, — тёмъ более Гомеръ, отдъленный отъ насъ тремя тысячами лётъ. Міръ древности, міръ греческій недоступенъ намъ непосредственно, безъ изученія. «Пліада» есть картина не только греческой, но и религіозной Грецін; а у насъ, на русскомъ языкъ, нътъ не только порядочной, но и сколько-инбудь спосной греческой миоологіи, безъ которой чтеніе «Иліады» непонятно. Сверхъ того, пъкоторые ученые люди, знающіе много фактовъ, но чуждые иден и лишенные эстетическаго чувства, за какое-то удовольствіе считають распространять нельшыя понятія о поэмахъ божественнаго Омира, переводя ихъ съ подлинника слогомъ русской сказки объ Емель - Дурачкъ. Съ подлинника — говорятъ они гордо! Дъйствительно, для разумънія «Иліады» знаціе греческаго языка — великое дёло; но оно не дастъ человъку ни ума, ни эстетического чувства, если въ нихъ отказала ему природа. Тредьяковскій зналь много языковь, но оть того не быль ни умиће, ни разборчивће въ дълъ изящиаго; а Шекспиръ, не зная по-гречески, написалъ поэму «Венера и Адонисъ». Такого рода ученые, увъряющіе, что Греки раскрашивали статуи боговъ (что дъйствительно дълали древніе — только не Греки, а жители Помпеи, не задолго передъ Р. Х., когда вкусъ къ изящному былъ во всеобщемъ упадкѣ), — такого рода учепые, знающіе по-гречески и по-латыни, наноминають собою переведенную съ измецкаго Жуковскимъ сказку: «Кабудъ-Путешественникъ» («Переводы въ прозъ В. Жуковскаго» Ч. III,

стр. 92). Вотъ эти и подобные имъ господа изволятъ увърять. что Гивдичъ перевелъ «Иліаду» напыщенно, надуто, изысканно, тяжелымъ языкомъ, смъсью русскаго съ славянщиною. А другіе и рады такимъ сужденіямъ; не смѣя напасть на тысячельтнее имя Гомера, они восторгались «Иліадою» вслухъ, зівая отъ нея про себя: и воть имъ дають возможность свалить свое невъжество, свою ограниченность и свое безвкусіе на дурной будто-бы переводъ. Нътъ, что ин говори эти госнода, а Русскіе владжють едва ли не лучшимь въ мірѣ переводомъ «Иліады». Этотъ переводъ, рано или поздно, сділается кипгою классическою и настольною, и станеть краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, пельзя глубоко и вполив понимать вообще искусство. Переводъ Гитдича имбетъ скои недостатки: стихъ его не всегда легокъ, не всегда исполненъ гармоніп, выраженіе не всегда кратко и спльно; но всё эти недостатки вполив выкупаются въяніемъ живаго эллинскаго духа, разлитаго въ гекзаметрахъ Гивдича. Следующее двустише Пушкина на переводъ «Иліалы»-не пустой комилименть, но глубоко-поэтическая и глубоко-истинная передача производимаго этимъ переводомъ виечатлънія:

Слышу умолкнувшій звукь божественной эллинской рѣчи; Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Глубоко-артистическая натура Пушкина умѣла сочувствовать древнему міру и понимать его: это доказывается многими его произведеніями на древній ладъ: стало-быть, авторитеть Пушкина, въ дѣлѣ суда надъ переводомъ Гнѣдича, не можетъ не имѣть вѣса и значенія,—и Пушкинъ высоко цѣнилъ переводъ Гиѣдича. Вотъ еще стихотвореніе Пушкина, свидѣтельствующее о его уваженіи къ труду и имени переводчика «Иліады»:

Съ Гомеремъ долго ты бескдоваль одинь; Тебя мы долго ожидали; И свётель ты сошель съ тапиственных вершень,
И вынесь намъ свои скрижали.
И что жь? ты насъ обрёль въ пустынё подъ шатромъ,
Въ безумствё суетнаго пира,
Ноющихъ буйну пёснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей.
Въ порывё гиёва и печали,
Ты прокляль насъ, безсмысленныхъ дётей,
Разбиль листы своей скрижали.
Нёть! ты не прокляль насъ. Ты любишь съ высоты
Скрываться въ тёнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты
Журчанью пчель падъ розой алой.

Нътъ, не настало еще время для славы Гнъдича; оцънка подвига его еще впереди: ее приведетъ распространяющееся просвъщеніе, плодъ основательнаго ученія...

Гивдичь какъ-бы считаль себя призваннымъ на переводъ Гомера, мы увтрены, что только время не позволило ему церевесть и «Одиссею». Гомерь быль его любимъйшимъ иъвцомъ, и Гибдичъ силился создать аповеозу своему герою въ поэмъ «Рожденіе Гомера». Поэма эта написана въ древнемъ духъ, очень хорошими стихами, но длинна и растянута; совстмъ не истати приплетены къ ней судьбы Гомера въ новомъ міръ. — Переводъ пдиллін Оеокрита «Спракузянки, или праздникъ Адониса», съ присовокупленнымъ къ нему, въ видѣ предисловія, разсужденіемъ объ пдиллін, есть двойная заслуга Гнъдича: переводъ превосходенъ, а разсуждение глубокомысленно и истинно. Но кто оценить этоть подвигь, кто пойметь глубокій смысль и художественное достопиство идиллін Өеокрита, не имъя понятія о значенін, какое имъль для древнихь Адонисъ, и о праздникахъ въ честь его?... «Рыбаки», оригинальная идиллія Гитдича, есть мастерское произведеніе, но оно лишено истины въ основанія: изъ-подъ рубища петербургскихъ рыбаковъ видивнется складки греческаго хитона, и русскими словами, русскою рѣчью прикрыты понятія и созерцанія чисто-древнія... При всемъ этомъ, въ «Рыбакахъ» Гиѣдича столько поэзіи, жизни, прелести, такая роскошь красокъ, такая напвность выраженія! Замѣчательно, что эта идиллія нашисана въ 4824 году, а въ 4820 году были уже изданы идилліи г. Панаева! Не знаемъ, въ которомъ году переведена Гиѣдичемъ идиллія Оеокрита и написано предисловіе къ пей: если въ одно время съ появленіемъ идиллій г. Панаева, то поневолѣ подивишься противорѣчіямъ, изъ которыхъ состоитъ русская литература...

Кромт «Рыбаковъ», у Гитдича мало оригинальныхъ произведеній; иткоторыя изъ нихъ не безъ достоинствъ, ио иттъ превосходныхъ, и вст они доказываютъ, что онъ владтъ несравненно большими силами быть переводчикомъ, что оригинальнымъ поэтомъ. Замтательно, что стихъ Гитдича часто бывалъ хорошъ не по времени. Слтадующее стихотвореніе «Къ К. Н. Батюшкову», написанное въ 1807 году, вдвойнъ интересно: и какъ образецъ стиха Гитдича, и какъ фактъ его отношеній къ Батюшкову:

Когда придешь въ мою ты хату, Гдѣ бѣдность въ простотѣ живеть? Когда ноклонишься пенату, Который дии мои блюдеть? Приди, раздѣлимъ сиѣдь убогу, Сердца виномъ восиламенимъ, И вмѣстѣ — пѣснопѣнья богу Часы досуга посвятимъ. А вечеръ, скучный долготою, Въ веселыхъ сократимъ мечтахъ; Надъ всей подлунной стороною Мечты промчимся на крылахъ. Туда, туда, въ тотъ край счастливый, Въ тѣ земли солица полетимъ, Гдѣ Рима прахъ краснорѣчивый

Иль градъ святой Ерусалимъ. Узримъ средь дикой Палестины За божій гробъ святую рать, Гдё цвёть Европы, паладины Летъли въ битвахъ умирать. Пъвецъ ихъ, Тассъ, тебъ любезный, Съ къмъ твой давно сродиплся духъ. Сладкоръчивый, гордый, нъжный, Нашь очаруеть взорь и слухъ. Иль мой півець — царь півснопівній, Неумирающій Омиръ, Среди безчисленныхъ видъній Откроеть намь весь древній імірь, О, ивснь волшебная Омира Насъ въ мигъ перенесеть, пъвцовъ, Въ край героического міра И поэтическихъ боговъ. Зевеса, мещущаго громы, И встать безсмертных вкругь отда, Пиры ихъ свътлые, и домы Увидемъ въ пъсняхъ мы слъща. Иль постимъ Морвенъ Фингаловъ, Ту Сельму, домъ его отцовъ, Гдъ на пирахъ сто арфъ звучало, II пламентло сто дубовъ; Но гдъ давно лишь вътеръ ночи Съ пустынной шенчется травой, II только звъздъ безсмертныхъ очи Тамъ свътять съ бледною луной. Тамъ Оссіанъ теперь мечтаетъ, О битвахъ, о делахъ былыхъ; И лирой — тъни вызываетъ Могучихъ праотцовъ своихъ. И воть Тренморъ, отецъ героевъ, Чертогъ воздушный растворивъ, Летить на тучахъ, съ сонмомъ воевъ, Къ пъвцу и взоръ и слухъ склонивъ. За нимъ тънь дегкая Мальвины, Съ златою арфою въ рукахъ, Обиявшись съ тъпію Монны, Плывуть на легкихъ облакахъ.

Но, вдругъ, возможно ли словами Пересказать, иль описать, О чемъ случается съ друзьями Подъ часъ веселый помечтать? Счастливъ, счастливъ еще песчастный, Съ которымъ хоть мечта живетъ; Въ дняхъ сумрачныхъ, день сердцу ясный Онъ хоть въ мечтаніяхъ пайдетъ. Жизнь наша есть мечтанье тѣпи; Нѣтъ сущихъ благъ въ земныхъ странахъ. Приди жъ, подъ кровомъ дружней сѣпи Повеселиться хоть въ мечтахъ.

Въ то время такіе стихи были довольно рѣдки, хотя Жуковскій и Батюшковъ писали несравненно лучшими. «На Гробъ Матери» (1805), «Скоротечность Юности» (1806), «Дружба» замѣчательны, какъ и приведенная выше піеса Гпѣдича. Знаменито въ свое время было стихотвореніе его «Перуанецъ къ Испанцу» (1805): теперь, когда отъ поэзіи требуется прежде всего вѣрность дѣйствительности и естественности, теперь оно отзывается риторикою и декламацією на манеръ блѣдной Мельпомены XVIII вѣка; но нѣкоторые стихи въ немъ замѣчательны эпергією чувства и выраженія, несмотря на прозанчность.

Гнѣдичъ перевель изъ Байрона (1824) еврейскую мелодію, переведенную въ послѣдствін Лермонтовымъ («Душа моя мрачна, какъ мой вѣнецъ»); переводъ Гнѣдича слабъ: видно, что онъ не понялъ подлинника. Гнѣдичъ припадлежитъ, по своему образованію, къ старому, до-Пушкинскому поколѣнію нашихъ писателей. Оттого, всѣ оригинальныя піесы его длинны и растянуты, а многія прозанчны до послѣдней степени, какъ, напримѣръ, «Къ И. А. Крылову» (стр. 245). Оттого же онъ перевелъ прозою Дюсисовскаго «Леара» или передѣлалъ Шексипровскаго «Лира»—пе помнимъ хорошенько; оттого же онъ перевелъ стихами Вольтеровскаго «Танкреда». Но переводъ его «Простонародныхъ пѣсень нынѣшпихъ Грековъ», изданный

въ 1825 году, есть еще прекрасная заслуга русской литературъ. Жаль, что итть полнаго изданія сочиненій Гитдича. Сдъланное имъ самимъ въ 1834 году очень неполно: въ немъ итть «Леара», итть «Иліады», итть введенія къ простонароднымъ пъснямъ нынъшнихъ Грековъ и сравненія ихъ съ русскими итснями, итть статьи его о древнемъ стихосложеніи, напечатанной въ«Въстникъ Европы», итть переведенныхъ шестистопнымъ ямбомъ 7, 8, 9, 40 и 11-й итсень «Иліады»; итть «Разсужденія о причинахъ, замедляющихъ просвъщеніе въ Россіи». Такой писатель, какъ Гитдичъ, стоялъ бы изданія полнаго собранія литературныхъ трудовъ его.

Къ знаменитъйшимъ дъятелямъ литературы Карамзинскаго періода принадлежить Мерзляковь. Онь извістень, какь поэтъ (оды), какъ переводчикъ (переводы изъ древнихъ, стихами), какъ пъсенникъ (русскія пъсни) и какъ теоретикъ словесности и критикъ. Оды его — образецъ надутости, прозаичности выраженія, длинноты и скуки. Переводы его изъ древнихъ заслуживаютъ вниманія. Мерзляковъ не перевель ничего большаго вполить, но изъ большихъ произведеній только отрывки, какъ-то изъ «Иліады», «Одиссеи», изъ трагиковъ-Эсхила, Софокла и Эврпинда. Всв эти опыты, конечно, не безполезны; но они не дають понятія о своихь оригиналахь. Мерзляковъ не владёль стпхомъ: языкъ его жостокъ и прозаиченъ. Сверхъ того, на древнихъ онъ смотрълъ сквозь очки Французскихъ критиковъ и теоретиковъ, отъ Буало до Лагариа, и потому видълъ ихъ не въ настоящемъ ихъ свътъ, хотя и читаль ихь въ подлинникъ. Къ первой части изданныхъ имъ, въ 1825 году, въ двухъ частяхъ, «Подражаній и переводовъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ», приложено разсужденіе «О началь и духь древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ»: изъ этого разсужденія очень ясно видно, какъ мало понималъ Мерзляковъ начало и духъ древней трагедіи и характеръ трехъ греческихъ трагиковъ...

О жертвы общаго отчизны злоключенья, Въ дни славы върныя и върны въ дни плъненья, Подруги юныя, не отрекитесь вы, Еще подпорой быть сей рабственной главы, Которая досель гордилася вънцами: Царицы боль ивть; невольница предъ вами!-Но я, какъ прежде вамъ, и ныив мать и другь!... И бъдствія мон, и старости недугь, Единый жребій нашъ: вотъ право для злосчастныхъ На помощь и любовь душъ злобъ непричастныхъ! Прострите руки миъ, приподнимите... Ахъ! Нътъ сплъ, болъзнь и хладъ во всъхъ монхъ костяхъ!--Въщайте, что совъть вождей опредъляеть: Куда насъ грозный судъ судьбины посылаеть? Куда еще влачить срамъ, скорбь свою и плёнъ? Иль островъ сей для насъ могнлой обречень?

Кто бы — думали вы — говорить такими дебелыми, жосткими и безтолковыми стихами?—Гекуба, въ трагедін Эврипида!!... Хорошій же быль поэть этоть Эврипидь, если опь по-гречески такъ же выражался, какъ заставляеть его выражаться по-русски переводчикь!... Впрочемь, некоторые переводы изъ древнихь, Мерзлякова, не безъ достоинства. Опъ перевель вполнъ «Освобожденный Герусалимь» Тасса, и перевель его привилегированнымъ встарину размъромъ для эническихъ поэмъ — шестистопнымъ ямбомъ. Переводъ этотъ тяжелъ и дубоватъ, безъ всякихъ достоинствъ. Причина этому онять двоякая: Мерзляковъ не владълъ стихомъ и на эпическія поэмы смотръль съ Херасковской точки зрънія, какъ на что-то натянуто-высокое, надуто-великольпное и дубовато-тяжелое. Насмъщники увъряютъ, будто въ его переводъ «Освобожденнаго Герусалима» есть стихъ:

Вскипъль Бульйонъ, течетъ во храмъ...

Не ручаемся за достовърность такого указанія: мы не имъли силы одольть чтеніемъ весь переводъ...

Въ русскихъ пъсияхъ Мерзлякова больше чувствительности, чъмъ чувства. Лучшія изъ нихъ написаны имъ уже послъдвадцатыхъ годовъ текущаго стольтія. Вообще, онъ не безъ достопиствъ и выше пъсень Дельвига, хотя и далеко ниже пъсень Кольцова.

Какъ эстетикъ и критикъ, Мерзляковъ заслуживаетъ особенное вниманіе и уваженіе. Ученикъ Буало, Баттё и Лагариа, онъ следовалъ теоріи, которая теперь уже вит спора и даже насмёшекъ; но онъ слёдовалъ ей и проповёдовалъ ее, какъ умный и красноръчивый человъкъ. Ложны были его основанія, но онъ быль имъ вездѣ вѣренъ и развиваль ихъ последовательно и живо. Словомъ, въ этомъ отношеніи, на Мерзлякова можно смотрёть, какъ на умнаго представителя литературныхъ понятій целой эпохи. Въ ошибкахъ его виновато его время; достопиства его принадлежать ему самому. Вотъ почему его теоретическія п критическія статьи и теперь пріятно читать, коть и нисколько не соглашаешься съ ними. Въ 1812 году, Мерзляковъ читалъ публично въ Москев теорію пзящнаго, въ дом'в князя Б. В. Голицына. Чтенія эти были напечатаны въ «Въстникъ Европы» 1843 года. Не знаемъ, были ли возобновлены когда эти чтенія, но въ издававшемся имъ, въ 1815 году, журналъ «Амфіонъ» напечатано только чтеніе, въ которомъ онъ определяеть пзящное, понимая его такъ: «При надлежащей стройности, правильности и точности подражанія, занимательность предмета, основанная на отношеніп его къ намъ самимъ».

Первыми нашими критиками были Карамзинъ и Макаровъ. Особенно славились въ свое время—разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича, а Макарова — сочиненій Дмитріева. Критика эта состояла въ восхищеній отдёльными м'ястами и въ порицаній отдёльныхъ же м'ястъ, и то больше въ стилистическомъ отношеній. Обыкновенно восхищались удачнымъ сти-

хомъ, удачнымъ звукоподражаніемъ, и порицали какофонію, или грамматическія неправпльности. Не такова уже критика Мерзлякова. Ложная въ основаніяхъ, она уже толкуетъ объ идећ, о целомъ, о характерахъ; она строга сколько можетъ быть строгою. Для критики Мерзлякова писатели русскіе уже не вст равно велики, но одинъ выше, другой ниже и вст не безъ недостатковъ. Она благоговъетъ передъ Сумароковымъ, и тъмъ съ неменьшею суровостью выставляетъ его педостатки. Она видитъ въ Херасковъ знаменитаго поэта, и отъ нея плохо пришлось его «Россіядь». Огромный разборъ «Россіяды», написанный Мерзляковымъ, возбудилъ общій ропотъ, хотя этотъ разборъ написанъ не только съ уваженіемъ, но и съ любовію къ Хераскову. Критика Мерзлякова была смъла не по времени, и притомъ неръшительна, а потому однихъ оскорбила, другихъ ужаснула, третьихъ не удовлетворила, и немногимъ понравилась. Во всякомъ случат, эта критика принадлежитъ къ любопытнъйшимъ фактамъ исторіи русской литературы. Она папечатана въ цълыхъ семи книжкахъ «Амфіона».

Но еще любопытитйшій фактъ исторіи русской литературы представляетъ собою журналь, издававшійся, въ 1815 году, молодымъ человікомъ, студентомъ Московскаго университета— Павломъ Строевымъ. Журналь этотъ назывался «Современный Наблюдатель Россійской Словесности» и заключаль въ себі статьи преимущественно критическаго содержанія. Изътакихъ статей, самою умною, живою, юношески смітлою и благородною, самою интересною была — «О Россіяді», поэміт г. Хераскова (Письмо къ дівнції Д.). Не можемъ не выписать здіть начала перваго письма:

[«]Что скажете теперь поборники славы Хераскова— пишите вы, милостивая государыня, — г-нъ Мерзляковъ покажеть истинныя достопиства его позмы». Эти слова сильны въ устахъ вашихъ. Хотя я не ищу славы быть поборникомъ Хераскова: однакожъ мизніе мое объ его позмів, миз

кажется не совсёмъ несправедливо. Охотно бы желалъ согласиться съ вами; но накоторыя обстоятельства уваряють меня въ противномъ. Я говорю не съ тъми изъ вашего пола, кои, выслушавъ лекцію какого-нибудь профессора все похваляють, все превозносять. Вы, милостивая государыня, сами занимаетесь Словесностію; вы читали древнихъ и новыхъ писателей; имъете отличный вкусъ и ръдкія познанія. Какія пріятныя воспоминанія производить во мит тт зимніе вечера, когда мы предъ пыдающимъ каминомъ разсуждали о Русскихъ сочиненіяхъ. Споры наши бывали иногда жэрки, я съ вами не соглашался, представляль доказательства, и вы, съ нѣжною улыбкою, пазывали меня Катономъ въ Словесности. Кто подумаеть, чтобы дъвушка въ цвътущихъ лътахъ своего возраста и въ наше время занималась Словесностію, чтобы дъвушка, говорю я, знала языкъ Гомеровъ и Виргиліевъ. Я вижу румянець стыдливости на щекахъ вашихъ, но похвалы мон не лестны; онт невольно вырываются изъ устъ моихъ. Въ какой восторгъ приведенъ я былъ вашимъ желаніемъ возобновить наши сужденія-но увы! опъ останутся только на бумагь; ничто не можеть заменить вашего присутствія. Разговоры въ инсьмахъ будутъ сухи: сладостное красноръчіе дъвушки, пріятная улыбка лучше всякихъ догическихъ доказательствъ.

Ивть сомивнія, что г. Мерзляковь предприняль полезный трудь, разобравь Россіяду; жаль только, что она не можеть стоять на ряду съ произведеніями, обезсмертившими имена своихъ сочинителей. Я думаю, даже не многіе пивли теривніе прочитать ее. Отчего же ее такъ хвалять? Оттого, что вкусъ публики у насъ еще не установился. Дамонъ прославляетъ Новаго Стерналесять человъкъ, не читавшихъ даже сей комедін, съ нимъ соглашаются; Клять называеть его сочинениемъ глупымъ — и сотии готовы повторить его ругательства. Безспорно Сумароковъ быль единственнымъ стихотворцемъ своего времени; но кто станеть нынъ восхищаться его сочиненіями? Между тъмъ Сумарокова считають стихотворцемь образцовымь, достойнымь нашего подражанія. Закоренёдыя мивнія опровергать трудно: это тоже, что сидиться вырвать огромный дубь, въ продолжени цёлыхъ вёковъ пускавшій въ нёдра земли свои кории. Конечно сін мивнія ослабіють и совершенно лишатся своего достопиства, но это требуеть времени. Между тъмъ истинныя дарованія остаются иногда въ неизвъстности. Тысячи рукоплескають при представленіи Иедоросля; но иногіе ли понимають истинныя достоинства сей комедія? Міногіе ди знають, что она достойна стоять на ряду съ Мизаитропами и Тартюфами? Не стыдно ли даже намъ, что мы не имъемъ полнаго собранія сочиненій г. Фонъ-Визина, сего безсмертнаго писателя, коимъ по всей справеддивости мы можемъ гордиться. То, что я сказаль о Сумароковъ, можно отнести къ Хераскову и къ ибкоторымъ другимъ стихотворцамъ. Они пріобръзи похвалы отъ своихъ современниковъ, коихъ вкусъ былъ еще не образованъ. Сіп похвалы безпрестанио повторялись, и стихотворцы пріобрали великую славу.» Г. Навелъ Строевъ доказалъ ясно и неопровержимо, что «Россіяда» и по содержанію и по формѣ — сущій вздоръ; что историческое событіе въ ней искажено, характеры перевраны, чудесное нелѣпо, поэтическія краски сухи и холодны, выраженіе дико. Въ заключеніе, онъ находить во всей «Россіядѣ» только десять сряду хорошихъ стиховъ:

Какимъ превратностямъ подвержент здѣший свѣтъ! Въ немъ блага твердаго, въ немъ вѣрной славы нѣтъ: Великіе моря, лѣса и грады скрылись, И царства многія въ пустыни претворились; Гремѣлъ побѣдами, владѣлъ вселенной Римъ, Но слава римская исчезла яко дымъ, И небо никому блаженства не вручало, Котораго бъ лучей ничто не помрачало. Не можетъ счастія не меркнуть красота; И въ солицѣ и въ лунѣ есть темныя мѣста.

И это дъйствительно лучшіе и единственно хорошіе стихи, во всей «Россіядъ». Какой страшный урокъ былъ преподанъ этимъ юнощею разнымъ ученымъ колпакамъ!...

При именахъ Жуковскаго и Батюшкова нельзя не всиоминть имени князя Вяземскаго. Онъ дъйствовалъ какъ поэтъ и какъ критикъ, и въ обоихъ случаяхъ дъятельность его всегда вызывалась какимъ-нибудь обстоятельствомъ. Всъ стихотворенія его — то, что Французы называютъ ріссез de circonstance. Общій характеръ ихъ — свътскій, салонный; но между ними нъкоторые показываютъ въ поэтъ живаго свидътеля вечера жизни Державина, воспитанцика Карамзина, друга Жуковскаго и Батюшкова. Какъ авторъ двухъ статей критическаго содержанія — «О характеръ Державина» и «О жизни и сочиненіяхъ Озерова», князъ Вяземскій болье замъчателенъ, нежели какъ поэтъ. Въ этихъ статьяхъ опъ является критикомъ, въ духъ своего времени, но безъ всякаго педантизма, судитъ свободно, не какъ ученый, а какъ простой

человёкъ съ умомъ, вкусомъ и образованіемъ, и излагаетъ свои мысли съ увлекательнымъ жаромъ и краснорѣчіемъ, изящнымъ языкомъ. Съ появленія Пушкина, для князя Вяземскаго настала новая эпоха дѣятельности: стихотворенія его, не измѣнившись въ духѣ, измѣнились къ лучшему въ формѣ; а прозаическія статьи его (какъ напримѣръ разговоръ классика съ романтикомъ, вмѣсто предисловія къ «Бахчисарайскому Фонтану») много способствовали къ освобожденію русской литературы отъ предразсудковъ французскаго исевдо-классицизма.

Съ 1813 года, начали проникать въ русские журналы темные слухи о какомъ-то романтизмъ. «Въ «Духъ Журналовъ» даже переведена была грозная статья противъ Августа Шлегеля, въ защиту классическаго французскаго театра. Витетт съ романтизмомъ, стали вкрадываться въ наши журпалы слухи о какомъ-то великомъ англійскомъ поэтѣ г-нѣ Бироић, Бейронћ, пли Байронћ. Въ «Вѣстникћ Европы» 1813 года было напечатано маленькое стихотвореньице Пушкина «На смерть Кутузова». Въ «Россійскомъ Музеумъ, или Журналъ Европейскихъ Новостей» на 1815 годъ, издававшемся В. Измайловымъ, то и дело печатались лицейскія стихотворенія Пушкина. Но въ ученикъ и подражатель Державина, Жуковскаго и Батюшкова, никто еще не предузнавалъ будущаго великаго поэта Россіи... Въ 1820 году появилась въ свъть первая поэма Пушкина «Русланъ и Людмила», а въ журналъ «Сынъ Отечества», съ этого времени стали появляться мелкія его стихотворенія... Тогда-то возгоредась ожесточенная война на перьяхъ между классицизмомъ и романтизмомъ и начался крутой перевороть въ литературныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ... Карамзинскій періодъ русской литературы кончился...

Имъль онъ пъсень дивный даръ И голосъ шуму водъ подобный.

Великія ріки составляются изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несуть имъ обиліе водъ своихъ. И кто можетъ разложить химически воду, напримъръ, Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько рекъ, и большихъ и малыхъ, Волга нышно катитъ свои собственныя волны, и вст, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхь, не могуть указать ни на одно изъ нихь, плывя по ея широкому раздолью. Муза Пушкина была вскорилена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болъе: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видъ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковскаго и Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъ ихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менъе доказать, чтобъ онъ что-нибудь заимствоваль отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдъ-нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не былъ неизмъримо выше ихъ. Поэзія Державина была преждевременною, а потому п неудавшеюся попыткою на народную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найдти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какоенибудь содержаніе для поэзіи. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронажства, лести и угодничества; но о всякой другой поэзіи не имело решительно никакого понятія, и, слъдовательно, не имъло въ ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнѣніи, котораго тогда не было ни признака, ни

тъни, особенно въ дълъ литературы: нътъ, слава Державина была основана на просвъщенномъ вниманіи немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіи того времени было человѣкъ десять, или двадцать, болёе или менёе умёвшихъ цёнить этотъ высокій таланть, то остальные, человікь сто или двісти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая собственнаго крика. Гдв жь туть было явиться истинной поэзіи и великому поэту? Правда, природа производитъ таланты, не сирашиваясь времени и не справляясь, нужны они или нътъ; но въдь великіе поэты творятся не одною природою: они творятся и обществомъ, т. е. историческимъ положениемъ общества. Думать, что поэта составляетъ одинъ талантъ-значить грубо ошибаться. Разумвется, прежде всего поэтомъ двлаетъ человька таланть; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые зависять отъ общества, среди котораго является поэть. Чтобъ поэтически воспроизводить действительность, мало одного природнаго таланта: нужно еще, чтобъ подъ рукою поэта была поэтическая дъйствительность. Хорошо было Греканъ творить ихъ изящныя, исполненныя пдеальной красоты статун, когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встръчали то мущинъ съ головою Зевеса, съ стапомъ Аполлона, то женщинъ съ выражениемъ величаво-строгой красоты Цаллады, съ роскошными формами Афродиты, или обаятельною прелестью Харитъ. Только итальянскимъ живописцамъ среднихъ въковъ былъ доступенъ идеалъ Мадонны, ибо типъ ея они видъли безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотою отечества. Странное дъло! Всь понимають, что нельзя сдълаться великимь живописцемь, имъя какой бы то ни было великій талантъ, если въ годы изученія искусства піть хорошихь натурщиковь; вст понимають, что великій живописець, творя идеальную красоту, все-таки нуждается, во время своей работы, въ образцъ дъйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно также и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ дъйствительность. Природа творитъ великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководецъ проживетъ весь свой въкъ, даже и не подозръвая, что онъвеликій полководець: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ, люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, делаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расинъ въ древней Греціп быль бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ; а во Франціи, въ царствованіе Лудовика XIV, и самъ страстный, глубокомысленный Эврипидъ былъ бы чопорнымъ и натянутымъ Расиномъ. Таково вліяніе исторін п общества на талантъ! У насъ этого не хотять и знать. Кричать о Державний, что онъ геній; стиховъ его давно уже совсёмъ не читаютъ, а считаютъ чуть не безбожниками тъхъ, кто осмъливается говорить, что теперь поэзія Державина — слишкомъ нецитательная и невкусная пища для эстетическаго вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и, смѣемъ надъяться, доказанное нами, что, при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ отрицать, и предъ которымъ мы умъемъ благоговъть больше, нежели всъ крикуны и лицемъры, вопіющіе противъ насъ—Державинъ не принадлежитъ къ темъ вечно-юнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старъются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящею и интересною попыткою, для уситха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образоваціе самого поэта. Это поэзія, посящая на себъ всъ родовые признаки своего времени, а потому, для насъ, Русскихъ, имъющая свой историческій интересъ; по

はいくこと

какъ время этой поэзін, такъ и сама эта поэзія чужды всякаго дійствительнаго и опреділеннаго пдеальнаго содержанія, которое дается только спльно развитою народною жизнію. Лучшее, что есть въ поэзін Державина, — это намеки на поэзію, часто педостигающіе ціли по ихъ неопреділенности и темноті; проблески поэзін, часто погасающіе въ водяной масст риторики; словомъ, это несвязный дітскій поэтическій лепеть, но еще не поэзія. Въ поэзіи Державина, есть и політистая возвышенность, и могучая крітность, и яркость великолітных картинъ, и, несмотря на ея подражательность, есть что-то отзывающеся стихіями сіверной природы; по все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, вірныхъ и выдержанныхъ по концепцій и отличающихся художественною полнотою и оконченностію, но отрывочно, містами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзіи.

Задумчивая и мечтательная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзін Державина: она исполнена содержанія, но виъстъ съ тъмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія, въ ея историческомъ развитіи, какъ Жуковскому; и п между тъмъ, въ созданіяхъ Жуковскаго, поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницею и провозвъстницею тайнъ внутренней жизни. Жуковскій — романтикъ въ духъ среднихъ въковъ, а не художникъ. По своей натуръ, онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во вст сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разнообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особности. Ему чуждо это свойство Протея, принимать вст виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою, — это свойство, въ которомъ заключается сущность поэзін, какъ некусства. Поэзія Жуковскаго была отголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтическою тризною надъ умершимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всёхъ другихъ интересовъ и рёдко выходитъ изъ-за магичеческаго круга неопредѣленныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій недостатокъ, но это же и ея величайшее достопнство. Она была необходима не для самой себя. а какъ средство къ развитію русской поэзіи; она явилась не какъ готовая уже поэзія, подобно Палладѣ, родившейся во всеоружіи, а какъ моментъ возникавшей русской поэзіи. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей не доставало; указала ей на богатые и неистощимые источники европейской поэзіи, и, которой явленія умѣла съ непостижимымъ искусствомъ усвопвать русскому языку. Сверхъ того, Жуковскій далеко подвинулъ впередъ и русскій языкъ, придавъ ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзін Батюшкова, преобладаетъ элементъ чисто-художественный. Это видно и въ фактурт его стиха, и вообще въ пластическомъ характерѣ формъ его произведеній; это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремлении его къ наслажденію, къ въчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразіи предметовъ его поэтическихъ пъсень. Это препмущества поэзін Батюшкова передъ поэзіею Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзіп Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользить по жизни, едва зацъиляясь за нее; содержаніе ея весьма скудно и бъдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюшковъ любилъ произвольныя устченія прилагательныхъ; между превосходивишими стихами, у него встрвчаются негладкіе и даже непоэтическіе; сверхъ того, върный преданіямъ русской поэзіи и примѣру отца ея — Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ риторики.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Вотъ въ короткихъ словахъ все, что было сказано нами въ

предшествовавшихъ трехъ статьяхъ. Приступая, наконецъ, къ критическому обозрѣнію поэтической дѣятельности Пушкина, мы почли за пужное повторить сказанное нами въ прежнихъ статьяхъ, чтобъ яснѣе показать читателямъ историческую связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами.

Мы видъли, что эти поэты, оказавийя такія великія услуги раждающейся русской поэзіи, только способствовали ея рожденію, но не родили ея, болье были предтечами поэта, чымы поэтами. Безь сравненія съ Пушкинымы, каждый изы нихы—поэты; но если сравнивать ихы сы нимы, нельзя не согласиться, что между ими и Пушкинымы такое же отношеніе, какы между большими рыками и еще несравненно большею, которая составляется изы ихы соединенныхы воды, поглощаемыхы ею.

Пушкинъ явился именно въ то время, когда только что сдълалось возможнымъ явленіе на Руси поэзін, какъ искусства. Двънадцатый годъ быль великою эпохою въ жизни Россіи. По своимъ следствіямъ, онъ былъ величайшимъ событіемъ въ неторін Россін послі царствованія Петра Великаго. Напряженная борьба на смерть съ Наполеономъ пробудила дремавшія силы Россіи и заставила ее увидіть въ себ'ї силы и средства, которыхъ она дотоль сама въ себъ не подозръвала. Чувство общей опасности сблизило между собою сословія, пробудило духъ общности и ноложило начало гласности и публичности. столь чуждыхъ прежней патріархальности, впервые столь жестоко поколебанной. Чтобъ видъть, какое огромное вліяніе имъли на Россію великія событія 1812—1814 годовъ, достаточно прислушаться къ толкамъ старожиловъ, которые съ горестію говорять, что съ двънадцатаго года и климать въ Россіи измънился къ худшему и все стало дороже: добряки не понимають, что дороговизна эта была необходинымь следствіемь увеличивавшихся нуждъ образованной жизни, слёдовательно, признакомъ сильно двинувшейся впередъ цивилизаціи. Въ это

20

время, вслідствіе ею же вызванных событій, Франція, столько времени боровшаяся со всею Европою и ознакомившаяся, въ этой борьбъ, съ своими сосъдями, уже начала отрекаться отъ своихъ литературныхъ предразсудковъ. Она увидъла, что у сосъдей ея есть не только умъ и талантъ, но и богатыя литературы; она поняла, что Корнель и Расинъ еще не исключительные представители творческаго изящества, а Шексииръ, Гё е и Шиллеръ — совсъмъ не представители замъчательныхъ дарованій, пскаженныхъ дурнымъ вкусомъ и незнаніемъ истинныхъ правилъ искусства; она догадалась даже, что ни классическая «Ars Poetica» Горація, ни подражательная ей «L'Art Poètique» Буало, ни теорія Баттё, на критика Лагарпа, уже не могутъ быть эстетическимъ Кораномъ, и что въ туманныхъ умозрепіяхъ Німцевъ вообще и романтическихъ созерцаніяхъ Шлегелей въ частности, есть много истиннаго и вфрнаго касательно пскусства. Словомъ, романтизмъ вторгся и во Францію, тъсня п изгоняя ея исевдо-классическій китапзиъ, основанный на гордой мысли, что только однимъ Французамъ Богъ далъ и умъ и вкусъ, отказавъ въ этихъ дарахъ всёмъ другимъ націямъ. Франція жадно прислушивалась къ мрачнымъ и громовымъ звукамъ лиры Байрона, предчувствуя въ нихъ свое собственное возрождение къ новой жизни, и поэтические разсказы Вальтеръ Скотта о среднихъ въкахъ появлялись уже на французскомъ языкъ почти въ то же время, какъ появлялись въ Лондонъ на англійскомъ. Паденіе военнаго терроризма Наполеона развязало Франціи руки не только въ политическомъ отношенін, но и въ отношенін къ наукт и литературт: пенавидимые и гонимые имъ «идеологи» свободно и ревностно принялись за свое дъло; литература и поэзія ожили. Это имъдо прямое и сильное вліяніе на нашу литературу. Когда ув'ячанная славою Россія начала отдыхать отъ своихъ побъдъ п торжествъ, и процестать миромъ въ «гордомъ и полномъ

довърія покоъ», наши обветшалые и заплесневълые журналы того времени и патріархъ ихъ, «Вѣстникъ Европы», начали терять свое вліяніе и перестали, съ своими запоздалыми идеями, быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика съ новыми потребностями, публика, которая изъ самыхъ источниковъ иностранныхъ, а не изъзаплесневѣлыхъ русскихъ журналовъ, начала черпать поцятія и сужденія о литературъ и искусствахъ, и которая начала слъдить за успъхами ума человъческаго, наблюдая ихъ собственными глазами, а не черезъ тусклыя очки устаръвшихъ педантовъ. Около двадцатыхъ годовъ, въ «Сынъ Отечества» начались споры за романтизмъ; векоръ нослъ того, появились альманахи, какъ прибъжище новыхъ литературныхъ потребностей и новаго литературнаго вкуса, которые, съ 1825 года, нашли своего представителя и выразителя въ «Московскомъ Телеграфъ». Впрочемъ, да не подумають читатели, чтобъ въ этомъ поверхностномъ quasi-романтизмѣ, мы видѣли какую-то великую истину, дъйствительность которой и теперь не подвержена сомнънію. Нътъ, такъ называемый романтизмъ двадцатыхъ годовъ, этотъ педоучившійся юноша съ немного растрепанными волосами п чувствами, теперь смешонь съ своими старыми претензіями; его «высшіе взгляды» тенерь сділались косыми и близорукими, а соивчивыя и неопредъленныя теоріи превратились въ пустыя фразы и обветшалыя слова. Но всякому свое! Справедливость требуетъ согласиться, что, въ свое время, этотъ псевдо-романтизмъ принесъ великую пользу литературъ, освободивъ ее отъ болотной стоячести и заплесневълости и указавъ ей столько широкихъ и свободныхъ путей. Доказательствомъ этого можетъ служить, что лучшіе поэтическіе труды Жуковскаго совершены имъ или около или послъ двадцатыхъ годовъ, какъ-то: переводъ «Торжества Побъдителей», «Жалобъ Цереры», «Элевзинскаго Праздника», «Орлеанской Дъвы»,

«Ундины» и проч. Даже самый стихъ Жуковскаго сдѣлалъ съ того времени большой шагъ впередъ. Батюшковъ умеръ для русской литературы въ самое время этого періода, и потому новое литературное направленіе не имѣло на него вліянія. Тѣмъ не менѣе можно предполагать съ достовѣрностію, что, безъ этого песчастнаго случая въ жизии Батюшкова, его ожидала бы эпоха обильнѣйшей и высшей дѣятельности, нежели та, какую онъ успѣлъ обнаружить, и что только тогда узнали бы Русскіе, какой великій талантъ имѣли они въ немъ. При всей художественности, при всей пластичности стиха Батюшкова ему все еще чего-то не достаетъ: видно, что этотъ шагъ суждено было сдѣлать человѣку новому и свѣжему, пезатвердѣвшему въ литературныхъ преданіяхъ. Этимъ человѣкомъ былъ Пушкинъ...

Приступая къ критическому обозрвнію твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всехъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тёмъ, что по его произведеніямъ можно следеть за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вийсти съ тимъ, какъ человика и характера. Стихотворенія, написанныя имъ въ одномъ году, уже різко отличаются, и по содержанію и по формѣ, отъ стихотвореній, паписанныхъ въ следующемъ. И потому, его сочиненій никакъ нельзя издавать по родамъ, какъ издаются сочиненія Державина. Жуковскаго и Батюшкова, особенно перваго и последняго. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говорить сколько о великости творческаго генія Пушкина, столько в объ органической жизненности его поэзіи, — органической жизненности, которой источникъ заключался уже не въ одномъ безотчетномъ стремленін къ поэзін, но въ томъ, что почвою поэзін Пушкина, была живая двіїствительность и всегда плодотворная идея. Между тъмъ, въ безобразномъ посмертномъ

пзданін сочиненій Пушкина 1838 года (восемь томовъ), стихотворенія расположены по родамъ, раздѣленіе которыхъ основывалось на произволь лица, которому была поручена редакція. Вотъ почему, въ нашей статьт, несмотря на то, что въ заглавін ея выставлено изданіе 1838 года, мы будемъ руководствоваться изданными при жизни самого поэта изданіями 1826, 4829, 4832 и 4835 годовъ. Но прежде всего мы, остановимся на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ, пом'ященныхъ въ ІХ-мъ томъ, 1841 года. Нъкоторые господа спльно нападали на издателей трехъ последнихъ томовъ сочиненій Пушкина, за помъщение его «лицейскихъ» стихотворений, говоря, что это сдёлано для наполненія книжекъ хоть какимънибудь матеріяломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считаль достойными печати, значить оскорблять его память. Ничто не можеть быть нельпые такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе; но все-таки думаемъ, что, изъ уваженія къ нимъ же, не слідуеть печатать ихъ слабыя произведенія, темъ более, что они ни кому и ни въ какомъ отношеніи не могуть быть интересны, а между темъ могутъ повредить известности этихъ авторовъ. Но когда дело иметь о такихь поэтахь и писателяхь, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ-Визинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Гриботдовъ, и, въ есобенности, Пушкинъ п Лермонтовъ, — то каждая строка, написанная ихъ рукою, принадлежить потомству и должна быть сохранена для него, пбо она напоминаетъ собою или черту ихъ времени, или факть о яхь образѣ мыслей и характерѣ.

«Анцейскія» стихотворенія Пушкина, кроміт того, что ноказывають, при сравненій съ послідующими его стихотвореніями, какъ скоро выросъ и возмужаль его поэтическій геній,—

особенно важны еще и въ томъ отношении, что въ пихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чемъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, — сколько помнимъ мы, появилось стихотвореніе Пушкина («Отечество въ слезахъ познало въсть ужасну!») въ «Въстникъ Европы» 1843 г. Онъ наинсаль его, когда ему не было и четырнадцати льть отъ роду, при полученін извъстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 году, въ «Россійскомъ Музеумъ», журналь, издававшемся Владиміромъ Измайловымъ. Всё они являлись тамъ съ полинсью только начальныхъ буквъ пмени и фамиліи Пушкина, и вст они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помъщены въ ІХ-мъ томъ его сочиненій, между «лицейскими» стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ «Сынъ Отечества» и большая часть ихъ вошла уже въ сдёланныя имъ самимъ изланія его сочиненій.

«Лицейскія» стихотворенія не богаты поэзіею, но часто удивляють красотою и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совсёмъ не Пушкинская: она принадлежитъ Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіи, Пушкинъ, — едва шестнадцатильтній юноша — иногда не только пе уступаль имъ въ стихъ, но еще едва ли не смълье и не бойчье владъль имъ. Изъ нихъ только три піесы ужь слишкомъ плохи, а именно: «Бова» (отрывокъ изъ поэмы), «Красавицъ, которая пюхала табакъ» и «Безвъріе». Первая піеса написана Пушкинымъ явно въ подражаніе «Ильъ Муромцу» Карамзина, которому она, впрочемъ, нисколько не уступаетъ въ достопиствъ стиха и вымысла. Подобно «Ильъ Муромцу» Карамзина, «Бова» не конченъ, въроятно, по одной и той же причинъ: мысль объихъ этихъ піесъ такъ дътски-ложна и

поддъльна, что изъ нея ничего не могло выйдти цълаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу «Бовы» видно, что «Илья Муромецъ» Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманилъ его затъять эту поэму:

> Часто, часто я бесъдовалъ Съ болтуномъ страны эллинскія, II не смъль осиплымъ голосомъ Съ Шопеленомъ и съ Рифматовымъ Восиввать героевъ сввера. Несравненнаго Впргилія Я читаль и перечитываль, Не стараясь подражать ему Въ нъжныхъ чувствахъ и гармоніи. Разбиразъ я Нѣмца Клопштока II не могъ понять премудраго; Не хотваь я воспъвать какъ онъ-Я хочу, чтобъ меня поняли Всѣ отъ мала до великаго. За Мильтономъ и Камоэнсомъ Опасался я безъ криль парить, Но вчера, въ архивахъ рояся, Отыскаль я книжку славную, Золотую, незабвенную, Прочиталь - и въ восхищеніи Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напомпнаеть столь знакомое и презнакомое всёмъ начало «Ильи Муромца»? — Піеса «Красавиць, которая нюхала табакъ» отличается сатирическимъ и сантиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіп. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ Пушкинскимъ стихомъ разумёть высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, хотя бы и тринадцатильтнимъ. «Безвёріе» — дидактическая піеса, которыя сотиями писались въ блаженное

старое время, — риторическое распространеніе какой нибудь темы плохими стихами.

Въ дътскихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замътно вліяніе даже Капинста и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и, особенно, Батюшкова; но вліянія Державина почти совсемъ незаметно. Это не значить, чтобь въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтическою натурою Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями. Напротивь, Пушкинь благоговьль передь Державинымъ. Въ запискахъ своихъ, онъ съ такою любовью разсказываеть, какь, на лицейскомъ публичномъ экзамень, читаль онь, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои «Восноминанія въ Царскомъ Селё» и восхитиль ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лътъ. Этотъ случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни. Онъ уномичаеть о немъ въ одномъ изъ своихъ «лицейскихъ» стихотвореній — «Къ Жуковскому»; туть же, съ юношескимъ восторгомъ, упоминаетъ и объ одобренін Карамзина, Дмитрієва и того поэта, къ которому обращено было это посланіе, — одобреніе, которымъ они привътствовали его дътскіе опыты. Въ другое, позднъйшее время, въ эпоху мужественной эртлости своего генія, Пушкинъ, говоря о своей музъ, сдълалъ поэтическій намекъ на лучшее воспоминаніе своей юности:

> И свътъ ее съ улыбкой встрътиль; Успъхъ насъ первый окрылиль; Старикъ Державинъ насъ замътиль И, въ гробъ сходя, благословиль.

Но, при всемъ этомъ, громогласный одовосиввательный характеръ Державинской поэзіп былъ столько не въ натурѣ и не въ духѣ Пушкина, что на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ

нътъ почти никакихъ следовъ ея вліянія. Только одна кантата «Леда», изъ всъхъ «лицейскихъ» стихотвореній, отзывается языкомъ Державина, но, вмъсть, и Батюшкова; а самый родъ піесы (кантата) папоминаеть одного Державина. Этимъ почти п оканчивается все сближеніе. Но если сравнить, въ «Онѣгинѣ» и другихъ поздивішихъ произведеніяхъ Пушкина, картины русской природы - именно осени и зимы, то нельзя не увидъть, что онъ носять на себъ отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родъ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками изъ того и другаго поэта; но это очевидно для людей, которые способны пронпкать далье буквы и отыскивать аналогію въ духъ поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и мъстами элементы Державинской поэзін суть живопись стверно-русской природы, народность, сатира и художественность: все это составляетъ полноту и богатство поэзіи Пушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредъленія. Державинская поэзія, въ сравненін съ Пушкинскою, этозаря предразовътная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тымы съ свътомъ: брежжеть невърный полумракь, обманчивый полусвъть; вдали на небѣ какъ-будто бѣлѣетъ полоса свѣта и въ то же время догарають готовыя погаснуть ночныя звізды, а всі предметы являются въ неестественной величинъ и ложномъ видъ. Пушкинская поэзія, въ сравненіи съ Державинскою, это — роскошный, полный сіянія и блеска полдень літняго дня: вст предметы земли озарены свътомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредъленномъ, ясномъ видъ, и самая даль только дълаетъ ихъ болъе поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременио явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во время явившаяся и вполнъ

достигшая своей опредъленности, роскошио и благоуханно развивавшаяся поэзія Державинская...

Піесы «Къ Наташь», «Разсудокъ и Любовь», «Къ Машь», «Слеза», «Погребъ», «Пстина», «Застольная Пъсня», «Делія», «Стансы» (изъ Вольтера), «Къ Деліи», «Къ ней», «Мъсяцъ», «Я Лилу слушаль у клавира», «Къ Жуковскому», «Пирующіе Друзья», «Къ Дельвигу», «Фіалъ Анакреон:», «Къ Дельвигу», «Фавиъ и Пастушка», «Къ Живописцу», «Сновидъніе», «Романсъ». — вст эти піесы, по изобрттенію, по формт и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминаютъ собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или, по крайней мірт, ту школу поэзін русской, которая не испытывала на себъ вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримъръ, піеса «Къ Живонисцу» написана какъ-будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портреть его Мплены пли Плънпры; а піесы: «Слеза», «Погребъ», «Истина» написаны какъ-будто на мотивъ извъстной прелестной пъсенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая начинается куплетомъ:

> Мы недавно отъ нечали Лиза, я, да Купидонъ. Но бокалу осушали, Да просили мудрость вонъ

Чтобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капнистъ, Нелединскій Мелецкій, В. Пушкинъ, Давыдовъ, мы вынишемъ коротенькое стихотвореніе Нушкина «Сновиджиіе»:

Недавно обольщенъ предестнымъ сновидъньемъ, Въ вънцъ сіяющемъ царемъ я зръдъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя—
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяснялъ.
Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продили?

Но боги не всего теперь меня линили Я только царство потерялъ

Въ посланіи «Къ Жуковскому», Пушкинъ разсуждаеть, въ довольно прозапческихъ стихахъ, о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина, и ту эпоху, которой В. Пушкинъ былъ однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ, въ прозаическихъ, по иногда очень острыхъ сатирахъ, нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ—враговъ Карамзина — того времени. Въ посланіи своемъ «Къ Жуковскому», молодой Пушкинъ, подъ вліяніемъ дяди своего, также нападаетъ на рифмачей и славянофиловъ и судитъ о русской литературъ.

Рифмачей называеть онъ «Варягами»:

Дазеко дикихъ лиръ несетеся рѣзкій вой; Варяжскіе стихи визжитъ Варяговъ строй.

Тъ слогомъ Никона печатаютъ поэмы, Одни славянскихъ одъ громады громоздять, Другіе въ бъщеныхъ трагедіяхъ хрипять; Тоть, вфриый своему мятежному союзу, На сцену возведя зѣвающую музу, Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Нариасса минть: Рука содрогнулась, ударъ ого скользитъ. Вотще броспется съ завистливымъ кинжаломъ: Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бъжитъ, II маковый вънецъ Оссинсу ими свитъ. Вев, руку надоживъ на томъ Тилимахиды, Клянутся отометить сотрудниковъ обиды, Волнуясь, возстають непстовой толной. Бъда, кто въ свъть рождень съ чувствительной душой, Кто тайно могъ плънить красавицъ нъжной лирой, Кто смедо просвисталь шутливою сатирой, Кто выражается правдивымъ языкомъ, И русской глупости не хочеть бить челомъ:

Онъ врагъ отечества, онъ съятель разврата, И ръчи сыплются дождемъ на супостата.

Читая эти стихи, невольно перепосишься въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исключеніемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногіе имъютъ понятіе. Въ этомъ посланіи, слогъ, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи — все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядъло ихъ явленіе. Но тутъ есть нъчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго покольнія: это жестокая нападка на Тредьяковскаго и, въ особености, на Сумаркова:

Ты дь это, слабое дитя чужих уроковь,
Завистливый гордець, холодный Сумароковь,
Безь силы, безь огня, съ посредственнымъ умомь.
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?
Ему дь оспоривать тоть давровый вѣнецъ,
Въ которомъ возблисталь безсмертный нашъ пѣвецъ,
Веселье Россіянъ, полуночное диво?
Иѣть! въ тихой Летъ онъ потонетъ молчаливо!
Ужь на челъ его забвенія печать.
Предбудущимъ вѣкамъ что могъ онъ передать?
Странилась грація цинической свиръли,
И персты грубые на лиръ костеньли.

Замъчателенъ еще, въ этомъ посланіи, юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ призываетъ талантливыхъ пъвдовъ на брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго Писона, и требуетъ мщенія за погибшаго жергвою зависти Озерова:

Ліющая съ небесъ и жизнь и въчный свътъ, Стрълою гибели десница Аполлона Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пивона; Смотрите! пораженъ враждебными стрълами, Съ потухинить факеломъ, съ недвижными крылами. Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, месть! Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанъя дали въсть. Летите на враговъ — и Фебъ и музы съ вами! Разите варваровъ кровавыми стижами: Невъжество, смирясь, потупитъ хладный взоръ; Спъсивый риторовъ безграмотный соборъ...

Въ заключеніи, молодой поэтъ рѣшается, не боясь гоненій и зависти невѣждъ и рифмачей, «ученью руку давъ» смѣло идти прямою дорогою... Это значило возвѣстить о себѣ довольно громко: послѣдствія показали, что этотъ юноша имѣлъ полное на то право...

Въ піесахъ: «Наслажденіе», «Къ принцу Оранскому», «Сраженный Рыцарь», «Воспоминація въ Царскомъ Селѣ» и «Наполеонъ на Эльбѣ», замѣтно вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

«Воспоминанія въ Царскомъ Сель» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся піеса эта не болье, какъ декламація и риторика. Такими же стихами написана и піеса «Наполеонъ на Эльбъ», содержаніе которой теперь кажется забавно дътскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона «свирьпо прошентать» разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себь самомъ отзываться какъ объ ужасномъ mauvais sujet. Между прочимъ, Наполеонъ у него «свирьпо прошентываетъ»:

«Полночи царь младой! ты двигнулъ ополченья, И гибель вслъдъ пошла кровавымъ знаменамъ, Отозвалось могучаго паденье — И миръ землъ п радость небесамъ, А миъ — нозоръ п поношенье!»

Чему удивляться, что шестнадцатильтній мальчикъ такъ смо-

трѣлъ на Наполеона въ то время, какъ на него также точно смотрѣли и престарѣлые и возмужавшіе поэты! Гораздо удивительнѣе, что этотъ мальчикъ, черезъ пять лѣтъ послѣ того, сказалъ о Наполеонѣ:

Надъ урной, гдё твой прахъ лежить. Народовъ пенависть почила И лучъ безсмертія горить!

Да будеть омраченъ позоромъ Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его развёнчанную тёль!

Хвала! онъ русскому народу Высокій жребій указаль, ІІ міру вѣчную свободу Пзъ мрака ссылки завёщаль!

Эти стихи и особение этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освъжительная гроза раздались, въ 1824 году, надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мъстъ, и многіе поэты, престарълые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженныя головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между «лицейскими» стихотвореніями гораздо болье ознаменованых сильным вліяніем Батюшкова. Таковы піесы: «Къ Натальъ», «Къ Молодой Актрисъ», «Князю А. М. Горчакову», «Ссгаръ», «Эвлега», «Воспоминаніе» (Пущину), «Сонъ» (отрывокъ), «Къ Молодой Вдовъ», «Мое Завъщаніе Друзьямъ», «Навздинкъ», «Къ Г...у», «Мечтатель», «Къ П...у», «Къ Б...ву», «Городокъ». Даже въ піесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замътно въ то же время и вліяніе Батюшкова: такъ гармонировала артистическая патура молодаго Пушкина съ артистическою натурою Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника, и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой

степени силенъ былъ въ Пушкинъ художническій инстинктъ. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностію ея романтическаго содержанія, столь могущественною надъ юною душою, но онъ нисколько не колебался въ выборт образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тотчасъ же, безсознательно, подчинился исключительному вліянію последняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается въ «лицейскихъ» стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактуръ стиха, но и въ складъ выраженія, и особенно во взглядъ на жизнь и ея наслажденія. Во всёхъ пхъ видна нёга и упоеніе чувствъ, столь свойственныя музъ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мъстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ занялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія миоологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія «цитерская сторона, дъвственная лилея» и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, запиствованныя имъ изъ Парин, п потомъ посланіе «Къ II — ну», и сравните съ нимъ піесы Пушкина «Къ Натальв» и «Къ Молодой Вдовъ»: вы увидите въ нихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отделке и стиху, первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дётскою незрівлостію; но следующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Піесы: «Осгаръ» и «Эвлега» навъяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большою извъстностью дъйствительно прекрасное послание Батюшкова къ Жуковскому — «Мон Пенаты». Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написалъ, въ родъ и духъ этого стихотворенія, довольно большую піесу «Городокъ». Подобно Батюшкову, Пушкинь, въ этомъ стихотворенін, говорить о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мъсто на полкахъ его избрапной библіотеки. Только онъ говорить не объ однихь русскихь инсателяхъ, но п объ вностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которою запечатлена эта піеса, въ ней есть нѣчто и свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что Французы называютъ pruderie и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ свъта того, что всѣ дѣлаютъ съ наслажденіемъ наединѣ, но о чемъ всѣ, при другихъ, говорятъ тономъ строгой морали; онъ называетъ всѣхъ своихъ любимыхъ писателей... Юношеская заносчивость, безпрестанно придиращаяся сатирою къ бездарнымъ писакамъ и особенно, главѣ пхъ, извѣстному Свистову, также характеризуетъ Пушкина.

Въ ижкоторыхъ изъ «лицейскихъ» стихотвореній, сквозь подражательность, проглядываеть уже чисто Пушкинскій элементъ поэзін. Такими піесами считаемъ мы следующія: «Окно», «элегін» (числомъ восемь), «Горацій», «Усы», «Желаніе», «Заздравный Кубокъ», «Къ товарищамъ передъ выпускомъ». Онъ не вев равнаго достопиства, но некоторыя, по тогдашнему времени, просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815 — 1817) двънадцать томовъ «Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ» и потомъ (1822-1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ, и наконецъ, не довольствуясь этимъ, напечатало (1821—1822) «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свътъ отъ 1816 по 1821 годъ» н «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свътъ съ 1821 по 1825 годъ». Большая часть этихъ «образцовыхъ» сочиненій весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусія, «Воспоминанія въ Царскомъ Сель» Пушкина были действительно одною изъ лучшихъ піесъ этого сборника, а Пушкинъ никогда не

помъщаль этой ніесы въ собранія своихъ сочиненій, какъ-булто не признавая ее своею, хотя она и напомпнала ему одну изъ лучшихъ минутъ его юности! И потому, стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, имъли бы полное право, особенно тогда, смъло идти за образцовыя и не въ такомъ сборникъ; — только черезмъру строгій художническій вкусъ Пушкина могъ исключить изъ собранія его сочиненій такую ніесу, какъ, напримъръ, «Горації». Переводъ изъ Горація. или оригинальное произведение Пушкина въ гораціанскомъ духъ, — что бы ни была она, только никто ни изъ старыхъ, ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говориль такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ индивидуального характера гораціанской поэзіп, какъ Пушкинъ въ этой піесъ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живаго Горація? —

> Кто изъ боговъ мив возвратилъ Того, съ къмъ первые походы И браней ужасъ я дълиль, Когда за призракомъ свободы Насъ Брутъ отчалиный водиль; Съ къмъ я тревоги боевыя Въ шатръ за чашей забывалъ. И кудри, илющемъ увитыя, Спрійскимъ мирромъ умащаль? Ты помнинь чась ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить, Бъжалъ, нечестно брося щить, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бъжалъ! Но Эрмій самъ незапной тучей Меня покрыль и вдаль умчаль И спаст отт смерти неминучей. А ты, любимецъ нервый мой, Ты снова въ битвахъ очутился .. И нынъ въ Римъ ты возвратился,

Въ мой домикъ темный и простой. Садись подъ сёнь моихъ пенатовъ! Давайте чаши! не жалбй Ни винъ моихъ, ни ароматовъ! Готовы чаши; мальчикъ! лей; Теперъ некстати воздержанье: Какъ дикій Скифъ, хочу я пить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотвореніи видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всё сферы жизни, во всё вёка и страны, —видёнъ тотъ Пушкинъ, который, при концё своего поприща, нёсколькими терцинами въ духё Дантовой «Божественной комедіи», познакомилъ Русскихъ съ Дантомъ больше, чёмъ могли бы это сдёлать всевозможные переводчики, —какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникъ... Въ слёдующей мальнькой элегіи уже видёнъ будущій Пушкинъ — не ученикъ, не подражатель, а самостоятельный поэтъ:

Медантельно влекутся дин мон,

II каждый мигь вь увядшемь сердце множить Всё горести несчастливой любви

II тяжкое безуміе тревожитч.

Но я молчу; не слышень роноть мой.

Я слезы лью... мий слезы утёшенье.

Моя душа, объятая тоской,

Въ нихъ горькое находить наслажденье.

О, жизни сонь! лети, не жаль тебя!

Изчезни въ тьмё, пустое привидёніе!

Мий дорого любви моей мученье,

Пускай умру, но пусть умру — любя!

Въ піесъ «Къ товарищамъ передъ Выпускомъ» въетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіп. И стихъ, и понатіе, и способъ выраженія — все ново въ ней, все имъетъ корнемъ своимъ простой и върный взглядъ на дъйствительность, а не

というという。

мечты и фантазін, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйдти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всё они достигнутъ и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естествениве бываетъ съ людьми.

Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зоветъ насъ свъта дальній шумъ,
И каждый смотрить на дорогу
Въ волненьи юныхъ, пылкихъ думъ.
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ вопиственномъ нарядъ
Гусарской саблею махнуль:
Въ крещенской утренней прохладъ
Краснво мерзнетъ на парадъ.
А гръться ъдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Ие честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
Нокорнымъ илутомъ зритъ себя.

Несмотря на всю незрѣлость и дѣтскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина, изъ нихъ видио, что онъ глубоко и сильно сознавалъ свое призваніе, какъ поэта, и смотрѣлъ на пего какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніи, и онъ говоритъ, въ послапіи къ Дельвигу:

Мой другъ! и в пъвецъ! и мой смиренный путь Въ цвътахъ украсила богиня пъснопънья, И мив въ младую боги грудь Вліяли иламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтическаго безсмертія казалась ей лучшею цёлью бытія:

Ахъ, въдзетъ мой добрый геній, Что предпочелъ бы я скоръй Безсмертію души моей Безсмертіе своихъ твореній. Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень много въ его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ. Между ими замъчательно стихотвореніе «Къ моей Черпильницъ»:

Подруга думы праздной, Чернильница моя! Мой въкъ однообразной Тобой украсиль я. Какт часто другт веселья Съ тобою забываль Условный част похмплья И праздишиный бокаль! Подъ сънью хаты скромной, Въ часы печали томной, Была ты предо мной Съ дампадой и мечтой. Въ минуты вдохновенья Къ тебъ я прибъгалъ И музу призывалъ На нпръ воображенья. Сокровища мои На днъ твоемъ таятся... Тебя я посвятиль Занятіямъ досуга И съ лёнью примириль: Она твоя подруга! Съ тобой успъхъ узналъ Отшельникъ неизвъстный... Завътный твой кристаллъ Хранитъ огонь небесный; И подъ-вечеръ, когда Перо по книжки бродить, Безъ всякаго труда Оно въ тебъ находитъ Концы моихт стиховъ И выриссть выраженья, То звуковь или словь Нежданное стеченье, То подкой шутки соль,

То странность рифмы новой, Неслыханной дотоль.

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкиит артистическій элементъ: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницѣ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о вѣрности выраженья, и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолѣ неслыханной новой рифмы! Къ такимъ же чертамъ припадлежитъ вольность и смѣлость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіп онъ говоритъ:

Устрой гостямь пирушку; На столикь вощаной Поставь пливилю крумску И кубокъ пуншевой.

За исключениемъ Державина, поэтической натуръ котораго никакой предметь не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не ръшился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкъ, и самый пуншевой кубокъ каждому изъ пихъ цоказался бы прозаическимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивъ, а объ амброзіи и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бёломъ свётё наинткахъ. Затъявъ писать какую-то новогородскую повъсть «Вадимъ», Пушкинъ, въ отрывкъ изъ нея, употребилъ стихъ: «Но тынъ обросъ крапивой дикой». Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новогородской жизни, поражаетъ сколько своею смілостію, столько и поэтическимь пистинктомь поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, чтобъ ими указать на будущаго преобразователя русской поэзін и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видъть какую-то смълость въ употреблении слова тынъ; по мы говоримъ не о теперешнемъ, а о прошломъ времени: что

легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій рифмачь смёло употребляеть въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздёлялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусъ строго запрещаль употребленіе послёднихъ. Нуженъ былъ талантъ могучій и смёлый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературѣ. Теперь смѣшно читать нападки тогдашнихъ арпстарховъ на Пушкина — такъ они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина — псказителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и поэтическаго безвкусія...

Изъ тъхъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и напболъе самостоятельными его произведеніями, нъкоторыя въ послъдствій онъ измъниль и передълаль, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій. Такова, напримъръ, піеса «Друзьямъ»:

Къ чему, веселые друзья, Мое тревожить вась молчанье? Запъвъ послъднее прощанье, Ужь муза смолкнуда моя. Напрасно лиру, взяль я въ руки Бряцать веселья на ппрахъ, И на ослабленныхъ струпахъ Искаль потерянные звуки. Богами вамъ еще даны Златые дии, златыя ночи, И на любовь устремлены Огнемъ исполненныя очи! Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, II вашей радости безпечной Сквозь сдезы удыбнуся я.

Въ последствии, Пушкинъ такъ переделаль эту піесу:

Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И томныхъ двъъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся л.

Черезъ упичтожение первыхъ восьми стиховъ и перемъпу одиннадцатаго и двънадцатаго, изъ безобразнаго куска мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаемъ, были ли переправлены Пушкинымъ другія изъ «лицейскихъ» его стихотвореній, или они съ перваго раза удачно написались, — только значительное число ихъ вошло въ собраніе его сочиненій, изданныхъ въ 1826 и 1829 году. Такъ-какъ собраніе 1826 года, вышедшее маленькою книжкою, нотомъ все вошло въ слъдующее четырехъ-томное изданіе (1829—1835), составивъ первую его часть, — то мы и будемъ ссылаться, въ нашемъ разборъ, только на это послъднее изданіе, тъмъ болье, что оно выходило въ свътъ подъ редакцією самого Пушкина.

Итакъ въ первый томъ и отчасти во второй «Сочиненій Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейскихъ» стихотвореній 1815—1817 годовъ, и потомъ такихъ его стихотвореній, которыя писаны имъ вскорѣ по выходѣ изъ лицея и которыя, вмѣстѣ съ «лицейскими», вошедшими въ первый томъ изданія, можно охарактеризовать именемъ переходныхъ. Въ нихъ видѣнъ уже Пушкинъ, но еще болѣе или менѣе вѣрный литературнымъ преданіямъ, еще ученикъ предшествовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побѣждающій своихъ учителей; поэтъ даровитый, но еще не самостоятельный п—если можно такъ выразиться—обѣщающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшею ему литературою, и они перемѣшаны съ піесами, въ которыхъ видѣнъ уже зрѣлый талантъ, и въ которыхъ Пушкинъ

является пстиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзіи на Руси.

Такими переходными піесами считаемъ мы следующія: «Къ Лицинію», «Гробъ Анакреона», «Пробужденіе», «Друзьямъ», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гименей», «Ш***ву», «Торжество Вакха», «Разлука», «П***ну», «Дельвигу», «Выздоровленіе», «Прелестниць», «Жуковскому», «Увы, зачьмь она блистаеть», «Русалка», «Стансы Т-му», «В-му», «Кривцову», «Черная Шаль», «Дочери Карагеоргія», «Война», «Я пережиль мои мечтанья», «Гробъ юноши», «Къ Овидію», «Пъснь о Въщемъ Олегъ», «Друзьямъ», «Гречанкъ», «Сводъ неба мракомъ обложился», «Телега Жизни», «Прозерпина», «Вакхическая Пъсня», «Козлову», «Ты и Вы», и нъсколько эпиграммъ, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатилъ невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надинен къ портретамъ, были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзін, которому въ нінтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковскій не писали эпиграммъ; но Батюшковъ быль до нихъ большой охотникъ и, втроятио, его-то примъръ особенно увлекъ Пушкина.

Замъчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходиціхь піесь, а въ третьей ихъ совстиь итъть: въ ней содержатся только піесы, проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся встить совершенствомъ художественной формы его созрѣвшаго и возмужавшаго генія. Въ первой части, всего больше переходныхъ піесъ; но въ ней же, между переходными піесами, есть довольно и такихъ, которыя, по содержанію и по формъ, обличають уже оригинальность и самостоятельность, составляющія характеръ Пушкинской поэзіи. Чтобы ясите было нашимъ читателямъ, что мы разумъемъ подъ «переходными» стихотворені-

ями Цушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія піесы, находящівся въ первой части; онъ начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкъ: «Мечтателю», «Уединеніе» (которое, впрочемъ, только по содержанію, а не по форм'в, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ піесъ), «Домовому», «N. N», «Недоконченная Картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свътило», и въ особенности начинающіяся съ 1820: «Виноградъ», «О дъва-роза, я въ оковахъ», «Доридъ», «Ръдъетъ облаковъ летучая гряда», «Нерепда», «Дорида», «Ч***ву», «Мой другъ, забыты мной слъды минувшихъ льть», «Умолкну скоро я», «Муза», «Діонея», «Діва», «Примьты», «Земля и Море», «Красавица передъ зеркаломъ», «Алексвеву», «Ч***ву», «Люблю вашь сумракь неизвъстный», «Простишь ли мит ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ Морю», «Коварность», «Ночной Зефиръ» и «Подражанія корану». Обо всёхъ этихъ піесахъ иаша рѣчь впереди; скажемъ сперва нѣсколько словъ только о «переходныхъ».

Въ переходныхъ піссахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, — ученикомъ, побъдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чъмъ у нихъ, и піссы въ цъломъ, отличаются большею выдержанностію. Собственно Пушкинскій элементъ въ нихъ составляетъ элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза замѣтно, что грусть болѣе къ лицу музѣ Пушкина, болѣе родственна ей, чъмъ веселая и шаловливая шутливость. Часто иная пісса начинается у пего игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненій, одинъ остается на душѣ, изглаживая въ ней всѣ предшествовавшія впечатлѣнія. Маленькое стихотвореніе «Друзьямъ» можетъ служить образцомъ такихъ піссъ и доказательствомъ справедливости

нашей мысли. Поэть говорить о шумномь див разлуки, о буйномь инръ Вакха, о кликахь безумной юности, при громь чашь и звукт лиръ, и о той широкой чашт, которая, удовлетворяя скифскую жажду, вмъщала въ свои широкіе края цёлую бутылку, — и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такою элегическою чертою:

И пиль, и думою сердечной Во дни минувшие леталь, И горе жизни скоротечной И сны любви восноминаль.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьице итжной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и кртикой, и тты обаятельные дыйствуеть она на читателя, тымы глубже и сильные отзывается вы самыхы сокровенныхы тайникахы его сердца, и тымы гармоничные потрясаеты его струны. Пушкины никогда не расплывается вы грустномы чувствы; оно всегда звышты у него, но не заглушая гармоніи другихы звуковь души, и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, оны какы-будто вдругы встряхиваеты головою, какы левы гривою, чтобы отогнать оты себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даеты й какой-то особенный освіжительный и укрыпляющій душу характеры. Такы и вы приведенной нами сейчась піесы, внезапное чувство міновенной грусти тотчась же смынлось у него бодрымы и широкимы размахомы проясинывшей души:

Меня смённыя пхъ измёна: И скорбь изчезла предо мной, Какь изчезаеть въ чашахъ пёна Подь зашиптвшею струей.

Изъ переходныхъ піесъ Пушкпна лучшія тѣ, въ которыхъ, болѣе или менъе проглядываетъ чувство грусти, такъ-что піесы вовсе лишенныя его, отзываются какою-то прозаичностію, а

при немъ и незначительныя піесы получаютъ значеніе. Такъ, папримъръ, піеска «Я пережилъ мон желанья», какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себъ вниманіе читателя своимъ послъднимъ куплетомъ:

Такъ позднимъ хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимній свисть, Одинъ на въткъ обнаженной Трепещетъ запоздалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтическаго раздумья въ прелестномъ стихотворенія «Гробъ Юноши»!

А онт увяль во цвтт лтт! И безь него друзья пирують, Другихь ужь полюбить усптвь; Ужь ртдко, ртдко именують Его въ бестат юныхь дтвь. Изъ милыхъ женъ, его любившихъ, Одна, быть можеть, слезы льеть, И память радостей почившихъ Привычной думою зоветь... Къ чему?..

Все окончаніе этой прекрасной піесы, заключающее въ себѣ картину гроба юноши, дышитъ такою свѣтлою, ясною и отрадною грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Піеса «Къ Овидію» въ цѣломъ сбивается нѣсколько на старинный дидактическій тонъ посланій, но въ немъ много прекраснаго и, особенио, начиная съ стиха: «Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ» до стиха: «Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворенія составляетъ его элегическій тонъ.

Изъ «переходныхъ» стихотвореній Пушкина слабъйшими можно считать. «Русалку», «Черную Шаль», «Сводъ неба мракомъ обложился». «Русалка» прекрасна по пдев, но поэтъ не совладъль съ этою пдеею,—и кто хочетъ понять, до какой

степени прекрасна и исполнена поэзін эта идея, тотъ долженъ видъть превосходное произведение нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинъ, художникъ воспользовался заимствованною имъ у поэта идеею несравненно лучше, чъмъ самъ поэтъ. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрълостію; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное создание зрылаго таланта. — «Черная Шаль» при своемъ появленій возбудила фуроръ въ русской читающей публикъ, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителямъ «пъсенниковъ». Теперь очень не ръдкость услышать, какъ поеть эту піесу какой-инбудь разгульный простолюдинъ, витетт съ итенію г. О. Глинки: «Вотъ мчится тройка удалая», или: «Ты не новършиь, какъ ты мила»... «Сводъ неба мракомъ обложился» есть не что иное, какъ отрывокъ изъ новогородской поэмы «Вадимъ», которую затъвалъ было Пушкинъ въ своей юности, и которой суждено было остаться неоконченною. Одинъ отрывокъ помъщенъ между «лицейскими» стихотвореніями, въ ІХ томъ, подъ названіемъ «Сонъ», и Пушкинъ не хотълъ его печатать. Стихъ отрывка «Сводъ неба мракомъ обложился» хорошъ, но прозапченъ. Героп, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкъ — Славяне; одинъ старикъ, другой прекрасный юноша съ кручиною въ глазахъ-

На немъ одежда Славянина И на бедръ славянскій мечъ, Славянъ вотъ очи голубыя, Вотъ ихъ и волосы златые Волиами надшіе до плечъ.

Старикъ-человѣкъ бывалый:

Видаль онь дальнія страны, По сушь, по морю носился, Во дни былые, дни войны, На западь, на югь бился,

Авля добычу и труды
Съ суровымъ племенемъ Одена,
И передъ нимъ враговъ ряды
Бъжали, какъ морская пъна,
Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ.
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ
И арфамъ скальдовъ изступленныхъ
И очи дъвъ иноплеменныхъ
Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тъ Славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкою отъ человъчества, жили да поживали себъ въ степяхъ, болотахъ и дебряхъ нынъшпей Россіи; но Славяне Карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни мальйшему сомньнію только въ «Исторіи Государства Россійскаго». Изъ такихъ Славянъ нельзя было сдълать поэмы, потому что для поэмы нужно дъйствительное содержаніе, и ея героями могутъ быть только дъйствительные люди, а не ученыя фантазіи и не историческія гипотезы... Кто видалъ славянскіе мечи? Дреколья и теперь можно видъть... Кто видалъ славянскую боевую одежду временъ баснословнаго Вадима, или баспословнаго Гостомысла?... Лапти и сермяги можно и теперь видъть...

«Пъснь о Въщемъ Олегъ» совствъ другое дъло: поэтъ умълъ набросить какую то поэтическую туманность на эту болъе лирическую, чъмъ эпическую піесу, — туманность которая очень гармонируетъ съ историческою отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія, и съ неопредъленностію глухаго преданія о нихъ. Оттого піеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ, и какой-то чисто русскій складъ изложенія. Пушкинъ умълъ сдълать интереснымъ даже коня Олегова, — и читатель раздъляетъ съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боеваго товарища:

Воть вдеть могучій Олегь со двора,
Съ нимь Игорь и старые гости,
И видять: на холмъ, у брега Дивпра,
Лежать благородныя кости;
Иже моюте дожди, засыпаеть иже пыль,
И вптерь воличеть надъ ними ковыль...

Вся піеса эта удивительно выдержана въ тонт и въ содержаніи: послідній куплеть удачно замыкаеть собою поэтическій смысль цілаго и оставляеть на душт читателя полное впечатлітніе:

Ковин круговые зап'вилсь шпилтъ
На тризит илачевной Олега:
Киязь Игорь и Ольга на холят сидять;
Дружина пируеть у брега;
Бойцы поминають минувшіе дии
И битвы, гдт вмъстт рубились они.

Нельзя того же сказать о всёхъ «переходныхъ» піесахъ Путкина въ отношеніи къ выдержанности и целостности: во многихъ изъ нихъ не чувствуеть, чтобъ оне были кончены на мёстё, или чтобъ въ нихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды піесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ резко отдёляется отъ всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Изчисляя піесы Пушквна въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замѣчательнѣйшихъ — «Наполеонъ». Это стихотвореніе двойственно: въ нѣкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нѣкоторыхъ чувствуешь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

Надъ урной, гдъ твой прахъ дежить, Народовъ непавнеть почила, И лучъ безсмертія горить.

.

Искуплены его стяжанья И зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ стнью чуждою небесъ. II знойный островъ заточенья Полночный парусь посётить, И путникъ слово примиренья На ономъ камив начертить, Гдъ, устремивъ на волны очи, Изгнанивкъ поминдъ звукъ мечей, И зьдистый ужась полуночи, И небо Франціп своей; Гдъ иногда, въ своей пустынъ, Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ о миломъ сыпъ Въ изгнанън горькомъ думалъ онъ. Да будеть омрачень позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его развънчанную тънь! Хвала!... Онъ русскому народу Высокій жребій указаль, II міру въчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Но все остальное въ этой піесѣ какъ-то рѣзко отзывается тономъ декламаціи и иѣсколько напряженною восторженностію, подъ которою скрывается болѣе раздраженія, чѣмъ вдохновенія. Впрочемъ, и тутъ много оригинальнаго, что было до Пушкипа неслыхано и невидано въ русской поэзіи, какъ напримѣръ, выраженія: «осужденный властитель, могучій баловень побѣдъ, изгнанникъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своеправная воля, блистательный позоръ» и тому подобныя.

Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведенія Пушкина— «Андрей Шенье», которое пом'єщено во второй части и было паписано уже въ 1825 году. Пять кушлетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются

декламацією, которая совсёмъ не въ натурт Пушкпискаго духа и которая показываетъ, какъ долго удерживалось на немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзін. Конецъ этой піесы тоже итсколько натянутъ: но середина, отъ стиха: «Не узрю васъ, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты слава, звукъ пустой» — исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзін.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это — «Демонъ», піеса, которая, при своемъ появленіи, поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?... Эта піеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ ней свой судъ. Есть что-то простодушно-юношеское въ ея выраженіи, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ стихохъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія — И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И почью пѣнье соловья— Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновенныя искусства Такъ сильно волновали кровь,

и проч. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтою, презиралъ вдохновеніе, не върнлъ любви и свободъ, насмъшливо смотрълъ на жизнь,—самъ опъ теперь давно уже поступплъ въ разрядъ демоновъ средней руки, — и теперь совсъмъ не нужно быть демономъ чтобъ отъ души смъяться надъто ю любовію, тою свободою, надъ которыми онъ смъялея. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ, теперь страшенъ развътолько для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся

и другаго демона, пострашиће Пушкинскаго. Но о «демонѣ», мы еще будемъ говорить.

Предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введеніе въ статьи собственно о Пушкнит. Мы имтели въ виду показать историческую связь Пушкинской поэзіи съ поэзіею предшествовавшихъ ему мастеровъ; старались охарактеризовать Пушкина, какъ только еще ученика въ поэзіи. Предоставляемъ судить нашимъ читателямъ, до какой степени успъли мы въ этомъ. Главный трудъ нашъ еще впереди. Многіе, можетъ-быть, недовольны что эти статьи долго тяпутся и безпрестанно перерываются статьями посторонними. Такой упрекъ быль бы не совсимь основателень. Задуманый и начатый нами рядъ статей инсколько не принадлежить къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ: это скорфе обширная критическая исторія русской поэзін, а такой трудъ не можеть быть совершень наскоро и какъ-нибудь, по требуетъ изученія, обдуманности, труда и времени. Въ лучшихъ пностранныхъ журналахъ иногда рядъ статей объ одномъ предметт тянется не одинъ годъ, и публика инсколько не въ претензін за эту медленность. Оценить критически такого поэта, какъ Пушкинъ — трудъ немаловажный, тъмъ болъе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхинались отдъльными мъстами и частностями, или нападали на частные недостатки, — и потому охарактеризовать особность поэзін Пушкина, опредълить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и последовавшими ему поэтами-значить предпринять трудъ совершенно новый. Какъ мы выполнимъ его-не наше дёло судить о томъ; по крайней мфрф, мы хотимъ дёлать, что можемъ и что обязаны, взявшись за изданіе журнала. Несовершенство труда извинительно; но ньть оправданій для льности и равнодушія къ благороднымъ,

важнымъ интересамъ и вопросамъ, — равнодушія, происходящаго или отъ невёжества, или отъ корыстнаго разсчета, или отъ того и другаго вмёств...

V".

Въ гармонів соперникъ мой Быль шумь лёсовь, иль вихорь буйной, Иль нволги нап'явъ живой, Иль ночью моря гуль глухой, Иль шопотъ р'ячки тихоструйной.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ КРИТИКУ. — ПОПЯТІЕ О СОВРЕ-МЕННОЙ КРИТИКЪ. — ИЗСЛЬДОВАНІЕ ПА ОССА ПОЭТА, КАКЪ ПЕРВАЯ ЗАДАЧА КРИТИКИ. — НА ОССЪ ПОЭЗІИ ПУШ-КИНА ВООБЩЕ. — РАЗБОРЪ ЛИРИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ Пушкина.

Прежде, нежели приступимъ къ разсмотрѣпію тѣхъ сочиненій Пушкина, которыя запечатлѣны его самобытнымъ творчествомъ, почитаемъ нужнымъ изложить наше воззрѣніе на
критику вообще. Доселѣ, въ русской литературѣ существовало
два способа критиковать. Первый состоялъ въ разборѣ частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго
обыкновенно выписывали лучшія или худшія мѣста, восхищались ими, или осуждали ихъ, а на цѣлое сочиненіе, на его
духъ и идею не обращали никакого вииманія. Съ этимъ способомъ критики, русскую литературу познакомили Карамзинъ и
Макаровъ: первый, своимъ разборомъ сочиненій Богдановича,
второй — сочиненій Дмитріева. Такой способъ критики, очевидио, поверхпостенъ и мелоченъ, даже ложенъ, пбо если

критикъ смотритъ на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія пхъ къ цьлому, то необходимо должень находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существо. вать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотрѣли нсключительно со стороны языка и слога, и восхищались удачною фразою, удачнымъ стихомъ, ловкимъ звукоподражаніемъ и т. н. Теперь, такая критика была бы очень легка, ибо для того, чтобъ отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно слишкомъ много вкуса, а довольно навыка и литературной сметливости. Но какъ все въ мірѣ начинается съ начала, то и такая крптика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могъ съ успѣхомъ за нее браться, а успѣвали въ ней только люди съ умомъ, талантомъ и знаніемъ дъла. Съ Мерзлякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталь не объ отдъльныхъ стихахъ и мъстахъ, по разсматривалъ завязку и изложение цълаго сочинения, говорилъ о духъ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, тъмъ болье, что Мерзляковъ критиковалъ съ жаромъ, основательпостію и замічательными краснорічіеми. Но, несмотря на то, его критика была безплодна, потому что была песвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Баттё, Блера, Лагариа, Эшенбурга, — основаніяхъ, которыя, не болье, какъ черезъ иять летъ, и въ самой Россіи сделались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъ, критика русская начала предъявлять претензін на философію и высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звукоподражаніями, красивымъ стихомъ, или ловкимъ выраженіемъ, во заговорила о народнести, о требованіяхъ вѣка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ, дотолъ неслыханныхъ новостяхъ. И это

было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, про если она еще и сама темно и сопвливо понимала свои требованія, повторяемыя ею съ чужаго голоса, тімь не менье она произвела ими живую реакцію исевдо-классическому направленію литературы. Сверхъ того, она прорвала илотину авторитетства, которая держала литературу въ апатической неподвижности, и идеи замъняла именами. Такъ, напримъръ, при всемъ умъ, дарованіяхъ, учепости и образованности, которыми обладалъ Мерзляковъ, онъ отъ души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмълнлась сказать правду объ этихъ инсателяхъ и столкнуть съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, которые сейчасъ же и развалились отъ этого толчка; въдь глина-не мъдь и не мраморъ! Копечно, какъ исевдо-классическая критика Мерзлякова, въ своей старческой неподвижности, не умъла видъть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ-поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозапческими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ Фонъ-Визинымъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновений — Княжнинымъ, между народнымъ и геніяльнымъ баснописцемъ Крылояымъ и даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Динтріевымъ, — такъ же точно и мнимо-романтическая критика не замѣчала, въ запальчивости своего юношескаго одушевленія, непзмітримой разницы между Пушкпнымъ и вышедшими по следамъ его блестящими и даже вовсе неблестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время падълала, вмъсто огромныхъ глиняцыхъ кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, несмотря на то, она дала просторъ уму и фантазіи, освободивъ нхъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стъснительныхъ ус-

ловныхъ правилъ. Жизненность романтической критики болће всего доказывается тъмъ, что она продолжалась менъе десяти лътъ и родила изъ себя другую, болье строгую, хотя и не болъе твердую и опредъленную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ, русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрінія сділались настойчивіє; она начала цитовать, кстати и не кстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, по даже п Платона, заговорила объ эсоетическихъ оеоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу. Даже собственно-романтическая критика, та самая. которая итсколько леть сряду провозглашала Пушкина «ствернымъ Байрономъ» (какъ-будто бы англійскій Байронъ родился на югъ, а не на съверъ Европы) и «представителемъ современнаго человъчества», даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ въка»... Несмотря на смъшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большаго шага впередъ, и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смешная же сторона состоптъ въ неопредъленности и шаткости требованій, которыя эта критика предъявляла съ такою суровостью и профессорскою важностью. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего быль онъ призвань своею природою и требованіями времени, а подтвержденія и оправданія теоріи, которую составиль себъ господинъ-критикъ, — и если творенія поэта не улегались плотно на Прокрустовомъ ложе теоріи критика, критикъ или вытягиваль ихъ за ноги, пли обрубаль имъ ноги (даже и голову — смотря по обстоятельствамъ), или, наконецъ, объявляль, что поэть ничтожень, маль, чуждь высшихь взглядовь и отсталь отъ въка. Такъ одинъ «ученый» критикъ тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашелъ, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона,

какъ мелкіе бъсенята къ сатапъ и что, егдо, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не быль обязанъ быть Байрономъ, какъ Байронъ — Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому вившнимъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому критику еще менње входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направлении и духъ таланта, и что, слёдовательно, тутъ неумёстно было какое бы то ни было сравненіе. Другой критикъ, не ученый, но за то съ высшими взглядами, объявиль Пушкину опалу за то, что тотъ отсталь отъ въка, т. е. отъ туманно-неопредъленныхъ теорій критика. Наконець, явился, вскорѣ послѣ того, третій критикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэтъ ни заговорилъ, безпрестанно обращался къ птальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ инчего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если исевдо-классическая критика была ложиа оттого, что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленіи и существованін новыхъ, а мнимо-романтическая критика была слаба оттого, что, за пенмъніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкъ, чъмъ изучениемъ познакомилась съ новыми авторитетами, -- то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектическаго знакомства со множествомъ теорій и образцовъ.

Гдъ же безопасный проходъ между Сциллою безсистемности и Харибдою теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій—ваша критика будетъ отзываться произволомъ личиаго вкуса, личиаго мибиія, которое важио для одиихъ васъ, а для другихъ—не законъ; судите поэта по какой-пибудь теоріи— вы разовьете, и, можетъ-быть, очень хорошо, свою теорію, можетъ быть, очень хорошо, опо перабирае-

маго вами поэта въ его истиниомъ свътъ. Какой же путь должиа избрать критика нашего времени?

Гёте гдь-то сказаль: «Какого читателя желаю я?—такого, который бы меня, себя и цалый міръ забыль, и жиль бы только въ книгъ моей». Нъкоторые итмецкие аристархи оперлись на это выражение великаго поэта, какъ на основный краеугольный камень эстетической критики. И однакожь, односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на въру и безусловно, критика только и дълала бы, что кланялась въ поясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имветъ свою причину и основаниедаже эгонзмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотръть на произведение поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и о цъломъ міръ, —естественно, что творенія этого поэта — будь они только ознаменованы большею или меньшею степенью таланта, — явятся непогръшительными и достойными безусловной похвалы. При идмецкой апатической терпимости ко всему, что бываеть и делается на беломъ свете, при немецкой безличной универсальности, которая, признавая в се, сама не можетъ едилаться и и чимъ, —мысль, высказанная Гёте, поставляеть искусство цёлью самому себѣ, и черезъ это самое освобождаеть его отъ всякаго соотношенія съ жизнію, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Дъйствительно, ивмецкая критика, при разсматриваніи произведеній искусства. всегда оппрается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тъсной сферъ эстетики, выходи изъ нея только для того, чтобъ обращаться изръдка къ характеристикъ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь — не обращаетъ никакого випманія. И оттого.

жизнь давно уже оставила тахъ намецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождають такой критикт! Но съ другой стороны, мысль Гёте имветь глубокій смысль, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессъ критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ къмъ-нибудь горячо спорите о важномъ предметъ, для васъ ничего не можеть быть больнье, какъ если противникъ вашъ, не давая себъ труда вслушиваться въ ваши слова и взвъшивать ваши доводы, будетъ придавать имъ другое значеніе и, слідовательно, отвъчать вамъ не на ваши, а на свои собственныя мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понимали васъ какъ должно, то и сами должны быть добросовъстно внимательны къ своему противнику и принимать его слова и доказательства именио въ томъ значении, въ какомъ онъ обращаетъ ихъ къ вамъ. Но еще добросовъстиве и строже должно прилагаться это правило къ критикъ: разбираемый вами поэтъ, какъ лицо судимое, часто безотвътное, не можетъ въ минуту вашего кривотолкованія остановить васъ и доказать вамъ. что вы не такъ его поняли. Сверхъ того, все имбетъ свою причину п свое основаніе, а человъкъ, по самолюбію, или по пристрастію къ извъстнымъ увлекшимъ его пдеямъ, любитъ всему давать свои причины и основанія, которыя потому именно и покажутся ему истинными, что онъ — его, а не чып-нибудь. Этой слабости подвержены не одни только ограниченные люди и невъжды, но и умы сильные, шпрокіе, особенно если они не теривливы и не хладнокровно пытливы. Ипогда человъку мъшаеть видьть вещи въ настоящемъ ихъ свътъ даже то, что составляеть его истинное достоинство. Что, напримъръ, выше и почтените въ человъкъ, какъ не способность глубокаго убъжденія? — А между тъмъ, она-то и заставляетъ человъка

враждебно смотръть на всякую мысль, протпворъчащую его убъжденію, — и часто онъ тъмъ упрямъе отвергаетъ ея истинность, чемъ одностороннее его убеждение, которое такъ тесно слилось со всёмъ его существомъ, что онъ не въ состояніи отделять его отъ себя. И, однакожь, всякое изследование непремьино требуеть такого хладнокровія и безпристрастія, которыя возможны человъку только при условін полнаго отрицанія своей личности на время изследованія. Поэтому, чтобъ произнести суждение о какомъ нибудь поэтъ, тъмъ болъе о великомъ, должно сперва изучить его, а для этого должно войдти въ міръ его творчества не пначе, какъ забывъ его, себя п все на свътъ. Въ этотъ міръ не должно вносить никакихъ требованій, никакихъ заранве приготовленныхъ попятій и вопросовъ, никакихъ страстей, а тъмъ менье - пристрастій, никакихъ убъжденій, а тымь менье — предубъжденій. Надо совершенно отказаться отъ роли судьи и актера, и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидътеля и зрителя. Такъ точно, если вы въвзжаете въ чужую землю съ цълью изучить ея правы и обычан, вы должны забыть на время, что вы гражданинь своей земли, и сдёлаться совершеннымъ космополитомъ. Иначе, обычан этой чуждой вамъ страны будете вы оцвиять на курсъ обычаевъ вашего отечества и, естественно, найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или не похожее на нихъ безусловно признаете дурнымъ. Всъ народы потому только и образують своею жизнію одинь общій аккордь всемірно-исторической жизни человічества, что каждый изъ нихъ представляетъ собою особенный звукъ въ этомъ аккордъ, ноо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можетъ выйдти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое лучшее въ каждомъ народъ есть то, что принадлежитъ только одному ему, и что противоположно худшему и лучшему, или, по крайней

мъръ, не сходно съ худшимъ и лучшимъ всякаго другаго народа. Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности: это истина несомнънная, противъ которой нечего сказать; по въдь общее выражается въ частномъ, безусловное — въ индивидуальномъ, а разумъ — въ личности, и безъ частнаго, видивидуальнаго и личнаго, общее, безусловное и разумное есть только пдеальная возможность, а не живая дъйствительность. Творческая дъятельность поэта представляетъ собою также особый, цъльный, замкнутый въ самомъ себъ міръ, который держится на своихъ законахъ, имжетъ свои причины и свои основы, требующія, чтобъ пхъ прежде всего приняли за то, что онъ суть на самомъ дълъ, а потомъ уже судили о нихъ. Всъ произведенія поэта, какъ бы нп были разнообразны и по содержанію, и по форм'в, им'вють общую всёмъ имъ физіономію, запечатлёны только имъ свойственною особностію, ибо вст они истекли изъ одной личности, изъ единаго и нераздъльнаго я. Такимъ образомъ, приступая къ изучению поэта, прежде всего должно уловить, въ многоразличій и разнообразій его произведеній, тайну его личности, т. е. тъ особности его духа, которыя принадлежатъ только ему одному. Это, впрочемъ, значитъ не то, чтобъ эти особности были чъмъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это значитъ, что все общее чедовъчеству никогда не является въ одномъ человъкъ; но каждый человъкъ, въ большей или меньшей мъръ, родится для того, чтобъ своею личностію осуществить одну изъ безконечно разнообразныхъ сторонъ необъемленаго, какъ міръ и въчность, духа человъческаго. Въ этой миссіп въчной инкарнаціи заключается все достоинство, вся важность личности: ибо она есть осуществленіе, реализація, дійствительность духа. Личность одна не можетъ всего обнять, и потому будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собою итчто, она уже есть исключеніе изъ в сего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человъческаго; каждая существуетъ нотому что необходима, слъдовательно, каждая имъетъ
законное право на существованіе. По этому, ничего нътъ несправедливъе, какъ мърять чью-либо личность аршиномъ другой личности, которая всегда или противоположна или чъмънибудь разнится отъ нея. Есть въ міръ люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій
скажетъ ложь, если скажетъ, что хладнокровные люди излишни
въ міръ и что лучше было бы, еслибъ ихъ не было; точно
такъ же ложно будетъ подобное сужденіе и хладнокровнаго о
пылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой дъятельности ноэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюдении требованія, которое дълаеть Гёте оть своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемъ, а истина требуетъ изслъдованія спокойнаго и безиристрастнаго, требуетъ, чтобъ къ ея изследованию приступали съ уважениемъ къ ней, по крайней мъръ, безъ принятаго заранъе ръшенія найдти ее ложью. Но, скажуть, если всякая личность есть истина, то и всякій поэть, какъ бы ин быль инчтожень, долженъ быть изучаемъ по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во первыхъ, не всякій, кто пишетъ стихи, выражаетъ свою личность: выражаеть ее тоть, кто родился поэтомъ; во вторыхъ, не всякая личность, по только замічательная, стоить изученія; въ третьихъ, не всякій человікъ есть личность, но многіе люди, по своей безличности, походять на плохо-оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличишь дерева отъ копны стна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человъка. Природа ли производить, или воспитание и жизнь

дълаетъ ихъ такими---это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы насъ, еслибъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свътк безличныя личности, что ихъ, къ несчастію, гораздо больше, чёмь личныхь, и что чёмь личность поэта глубже и сильнее, темъ онъ боле ноэтъ. Приступить съ такими важными сборами къ суду надъ маленькимъ поэтомъ-все равно, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника въ земскомъ судъ слогомъ Плутарха, автора біографій Александра Македон. скаго, Цезаря и другихъ великихъ людей древности, или, съвъ въ лодку, чтобъ покататься по болоту, поставить передъ собою компасъ и разложить морскую карту. По темъ болье должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изучению великаго поэта, въ твореніяхъ котораго отражается ведикая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безиристрастіемъ и поняли в'трно, вы уже не носитесь, но вол'т в'ттра, въ воздушныхъ пространствахъ своей прихотливой фантазін, но стопте твердою ногою на прочной почвѣ; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хоттлось вамъ, но оцтняете то, что онъ самъ вамъ далъ; вы не смъшиваете съ нимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть; не навязываете ему своихъ убъжденій, или предубъжденій, но взвъшиваете его пден, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, потому что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шелъ этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его пичтожнымъ, потому что въ немъ нътъ ничего общаго съ Байрономъ, или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталъ отъ въка, потому что не читаетъ вашего журнала и не върнтъ вашимъ залетнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопредъленнымъ предчувствіямъ, которыя вы сміло выдаете за иден и высшіе взгляды. Нътъ, вы будете судить о немъ на осно-

ванін его личности, будете отъ него требовать только того, что могъ бы онъ сделать на основании уже сделаннаго имъ. Когда вы кончите его изучение, проникните въ сокровенный духъ его поэзін, уловите тайну его личности, — тогда правило Гёте, что читатель поэта должень забыть читаемаго имъ поэта, самого себя и весь міръ, вы имфете право откинуть прочь, какъ уже лишнее и непужное. Ваша личность снова вступаеть въ свои права, и вы изъ ученика дълаетесь судьею. Вы требуете отъ цоэта, чтобъ онъ быль въренъ не вами предписанному ему направленію, по своему собственному, чтобъ онъ не противоръчилъ себъ самому, своей собственной натуръ, не уклонялся отъ своего призванія (нбо вы поняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а не навязали ему его отъ себя), словомъ, вы требуете отъ него той внутренней послъдовательности, которая составляетъ необходимое условіе всякой разумной дъятельности. И если вы находите, что опъ сдълалъ меньше, чтиъ бы могъ сдълать, меньше, нежели сколько самъ далъ право требовать отъ него, что онъ намъняль страмленію собственнаго духа, вы сибло изречете ему свой приговоръ, и это, однакожь, не помѣшаетъ вамъ отдать ему полную справедливость въ томъ, что составляеть его неотъемлемую заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ недостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тесно соединены съ достоинствами его поэзін и составляють ихъ оборотную сторону. При этомъ, вы строго вникните въ обстоятельства, которыя, независимо отъ его воли, не могли не имъть обльшаго или меньшаго вліянія на его дъятельность, и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояние, въ которомъ онъ засталь общество, и покажете, шель ли онъ наравит съ своимъ временемъ, быль ли его хорегомъ, или только старался подпавать нодъ его пасни. Обстоятельства, его частной жизни только тогда войдуть въ ваше

разсмотрѣніе, когда они будутъ въ живой связи съ его творепіями. Есть поэты, которыхъ жизнь тесно связана съ ихъ поэзіею, и есть поэты, которыхъ важна только правственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ вида. Гёте такъ же нельзя мърять на мърку Байрона, какъ и Байрона нельзя мърять на мърку Гёте: это были натуры діаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудиль Гёте, что опъ жиль и писаль не въ такомъ духъ, какъ Байронъ, или наоборотъ, тотъ сказалъ бы величайшую нельпость. Это все равно, что отъ могучаго слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наобороть; и слонъ и тигръ, каждый по своему хорошъ и необходимъ въ цъпи природы. Натуры Гёте и Шиллера были діаметрально противоположны одна отъ другой, и однакожь самая эта противоположность была причиною и основой взаимной дружбы и взаимнаго уваженія обоихъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонался въ другомъ тому, чего не находилъ въ себъ. Задача критики состоитъ совсемъ не въ томъ. чтобъ решить, почему Гёте жиль и писаль не такъ, какъ жиль и писаль Шиллеръ; но въ томъ, почему Гёте жилъ и писалъ какъ Гёте, а не какъ кто-нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личности поэта въ его твореніяхъ? Что должно дълать для этого при изученіи произведеній его?

Изучить поэта значить не только ознакомиться, черезъ усиленное и повторяемое чтеніе, съ его произведеніями, но и перечувствовать, пережить ихъ. Всякій истинный поэть, на какой бы ступени художественнаго достоинства пи стояль, а тъмъ болье всякій великій поэть, никогда и ничего не выдумываеть, но облекаеть въ живыя формы обще-человъческое. И потому, въ созданіяхь поэта, люди, восхищающіеся ими, всегда находять что-то давно знакомое имъ, что-то свое соб-

ственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопредъленно предощущали, или о чемъ мыслили, по чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найдти слово, и что, следовательно, поэтъ умёль только выразить. Чемь выше поэтъ, т. е. чемъ обще-человечественные содержание его поэзи, тымь проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ голову создать что-нибудь подобное. въдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнають своего и въ которыхъ все принадлежить поэту, не заслуживають никакого вниманія, какъ пустяки. На этой-то общности, по которой создание поэта столько же принадлежить всему человъчеству, сколько и ему самому, — на этой-то общиости и основывается возможность всемъ и каждому, въ комъ есть человическое (т. е. духовное, разумное), переживать произведенія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэта значить переносить, перечувствовать въ душь своей все богатство, всю глубниу ихъ содержанія, перебольть ихъ бользиями, перестрадать ихъ скорбями, переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомъ, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи ифкоторое время подъ его исключительнымъ вліяніемъ, не полюбивъ смотрѣть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрона, пе бывъ изкоторое время байронистомъ въ душъ, Гёте—гётистомъ, Шиллера—шиллеристомъ, и т. д. Конечно, такое добровольное подчинение чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлеченіе поэтомъ, а не спокойное, строгое и истичное его пониманіе, —и до этого пониманія можно дойдти только черезъ переходъ изъ восторженнаго увлеченія къ хладнокровно спокойному созерцанію; но это увлеченіе поэтомъ есть первый и необходимый моменть въ процесст его изученія. И потому, нельзя въ одно время изучить болте одного поэта, нельзя на это время не считать его выше встать другихъ поэтовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведения другихъ поэтовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметъ и наполнитъ собою человъка, что сдълается костью отъ костей его, плотью отъ нлоти его, — въ душъ человъка уже нътъ мъста для другой мысли!

Обще-человическое безгранично только въ своей идей; но, осуществляясь, оно принимаеть извъстный характерь, извъстный колорить, такъ сказать. Оттого, хотя всё великіе поэты выражали, въ своихъ созданіяхъ, обще-человъческое, однакожь творенія каждаго изъ нихъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шекспиръ и великъ Байронъ; но ръзкая черта отличаетъ творенія одного отъ твореній другаго. Чамъ выше поэть, тамь оригинальные мірь его творчества, — и не только великіе, даже просто замізчательные поэты тимъ и отличаются отъ обыкновенныхъ, что ихъ поэтическая діятельность ознаменована печатью самобытнаго и оригинальнаго характера. Въ этой характерной особности заключается тайна ихъ личности и тайна ихъ поэзіи. Уловить и опредълить сущность этой особности значить найдти ключь къ тайнъ личности и поэзін поэта. Въ чемъ же должно искать этого ключа?

Каждое поэтпческое произведение есть плодь могучей мысли, овладъвшей поэтомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дъятельности его разсудка, мы убили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дълъ, что мудренаго было бы сдълаться поэтомъ, и кто бы не въ состояни былъ сдълаться поэтомъ, по нуждъ, по выгодъ, или по прихоти, еслибъ для этого етояло только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманиую же форму? Нътъ, пе такъ это дълается поэтами по патуръ и призванию! У того, кто не поэтъ по натуръ,

пусть придуманиая имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята, — произведение все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, —и никого не убъдить оно, а скорће разочаруетъ каждаго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость! Но между темъ, такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поэтовъ! Придумайте ей, на досугъ, мысль получше, да потомъ и обделайте ее въ какой нибудь вымысель, словно брильянтъ въ золото! Вотъ и дёло съ концомъ! Нётъ, не такія мысли и не такъ овладъвають поэтомъ и бывають живыми зародышами живыхъ созданій! Искусство не допускаетъ къ себъ отвлеченныхъ философскихъ, а тъмъ менъе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только иден поэтическія; а поэтическая идея — это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это-живая страсть, это-на оосъ... Что такое наоосъ? -Творчество-не забава, и художественное произведение — не илодъ досуга, или прихоти; оно стоитъ художнику труда; онъ самъ не знаетъ, какъ западаетъ въ его душу зародышъ новаго произведенія; онъ посить и вынашиваеть въ себъ зерно поэтической мысли, какъ поситъ и вынашиваетъ мать младенца въ утробъ своей; процессъ творчества имбетъ аналогію съ процессомъ двторожденія и не чуждъ мукъ, разумвется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ ръшится на трудъ и подвигъ творчества, значитъ, что его къ этому движеть, стремить какая-то могучая сила, какая-то непобъдимая страсть. Эта сила, эта страсть—павосъ. Въ паоосъ, поэть является влюбленнымъ въ идею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ею, - и онъ созерцаеть ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и пе какою-либо одною способностью своей души, но всею полнотою и целостью своего нравственнаго бытія, — и потому идея является, въ его произведения, не отвлеченною мыслью,

не мертвою формою, а живымъ созданіемъ, въ которомъ живая красота формы свидетельствуеть о пребывании въ ней божественной иден, и въ которомъ итть черты, свидттельствующей о сшивкъ, или спайкъ, — пътъ границы между идеею и формою, но та и другая являются цёлымъ и единымъ органическимъ созданіемъ. Пден истекаютъ изъ разума; но живое творитъ и раждаетъ не разумъ, а любовь. Отсюда ясно видиа разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая илодъ ума, вторая — плодъ любви, какъ страсти. Но отчего же, слажуть, называть это наоосомь, а не страстью? — Оттого, что слово «страсть» заключаеть въ себт понятіе болте чувственное, тогда какъ слово «паоосъ» заключаетъ въ себѣ понятіе болье нравственное. Въ страсти много индивидуальпаго, личнаго, своекорыстнаго, темнаго; въ ней можетъ быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинъ, но и къ женщинамъ, не только къ славъ, но и къ почестямъ, можно питать страсть къ деньгамъ, къ вину, къ гастрономін. Въ страсти много чисто чувственнаго, кровнаго, нервическаго, тълеснаго, земнаго. Подъ «павосомъ» разумъется тоже страсть, и притомъ соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякая другая страсть; но наоосъ всегда есть страсть, возжигаемая въдушт человтка идеею и всегда стремящаяся къ идет, слъдовательно, страсть чисто духовная, правственная, небесная. Паоосъ простое умственное постижение иден превращаетъ въ любовь къ идећ, полную энергіи и страстиаго стремленія. Въ философіп идея является безилотною; черезъ наоосъ она превращается въ тёло, въ действительный фактъ, въ живое создание. Отъ слова наоосъ или патосъ (pathos) происходить слово натетическій, наиболье употребляемое въ отношении къ драматической поэзи, какъ къ наиболте исполненной павоса по своей сущности. Но мы лучше объяснимъ

значение паооса указаниемъ на него въ великихъ произведенияхъ искусства.

Пасосъ Шекспировой драмы «Ромео и Джюльетта» составляетъ идея любви, --- и потому иламенными волнами, сверкающими яркимъ свътомъ звъздъ, льются изъ устъ любовниковъ восторженныя патетическія рёчи... Это паоосъ любви, потому что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джюльетты видно не одно только любованіе другъ другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоснія признаніє любви, какъ божествениаго чувства. Въ тёхъ монологахъ Ромео п Джюльетты, когда ихъ любви начало угрожать несчастіе, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встрътившаго препятствіе своему вольному и широкому разливу. — Павосъ «Гамлета» составляетъ борьба негодованія на порокъ и преступление съ безсплиемъ вступить съ ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуетъ сознаніе долга. Гамлетъ въ покойномъ королѣ страстно любилъ отца п высоко уважаль великаго человька; -- этоть король вероломно, измъниически убитъ-и къмъ же?-иутомъ и пьяницею, человъкомъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у своего роднаго брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего характера, дълитъ съ убійцею своего царя и брата, а ея мужа, неправедно добытую власть и оскверненное прелюбодъяніемъ ложе!... Сколько причинъ для Гамлета мстить неумолимо, страшно, за поруганное право, за гръхъ цареубійства и братоубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полою коропу, за добродътель, за величіе, за себя самого!... Онъ знаетъ, что ему должно дёлать, на что его вызвала судьба, — и онъ робъеть предстоящаго нодвига, блёднёеть страшнаго вызова, колеблется и только говорить, вмёсто того, чтобъ дёлать, въ своей позорной неръшительности. Но если слаба его воля, то

душа его столько же велика, сколько и чиста. Онъ это сознаетъ, —и съ какою горечью, съ какою страстью, высказывается его презръне къ самому себт въ этихъ большихъ монологахъ, которые, тотчасъ какъ онъ остается одинъ и сдерживаемое имъ доселъ чувство получаетъ свободу, вырываются изъ него, словно огромная ръка, скинувшая съ себя веший ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ выказывается весь наоосъ этой трагедіи, выступаетъ наружу та внутренняя эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примъровъ можно было бы привести много, но для объясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, каждое поэтическое произведение должно быть илодомъ пасоса, должно быть проникнуто имъ. Безъ пасоса, нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему сплу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочинение. Поэтому, выражения: «въ этомъ произведения есть пдея, а въ этомъ нётъ иден», не совсёмъ точны и опредъленны. Вмъсто этого должно говорить: «въ чемъ состоитъ павосъ этого произведенія?» или: «въ этомъ произведеніи есть паоосъ, а въ этомъ нътъ». Это будетъ гораздо опредълениве и точнъе: потому что многіе ошноочно принимають за идею то, что можеть быть идеею вездь, кромь произведенія, гдь ее думають видьть, и гдь она, въ самомъ-то дъль, является просто резонёрствомъ; кое-какъ прикрытымъ сшивными лохмотьями бъдной формы, изъ подъ которой такъ и сквозить его нагота. Паоосъ-другое дъло. Надо-быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетическаго такта, чтобъ увидъть паоосъ въ произведеніи холодномъ, мертвомъ, въ которомъ идея съ формою слиты какъ масло съ водою, или сшиты на живую нитку бълыми стёжками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разнообразны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своею жизнію, а потому и имбеть свой наоось. Темь не менее весь мірь творчества поэта, вся полнота его поэтической деятельности тоже имъетъ свой единый наоосъ, къ которому навосъ каждаго отдъльнаго произведенія относится какъ часть къ цёлому, какъ оттънокъ, видонзмънение главной идеи, какъ одна изъ ея безчисленныхъ сторонъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ, напр., Байронъ, но также и къ такимъ, которыхъ произведенія удивляють своею многосторонностію и многоразличіємь направленій, каковь, напр., Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можеть быть много интересовь и направленій, но всегла подъ преобладающимъ вліяніемъ одного главнаго; а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой дъятельности, то и всъ произведенія поэта должны быть запечатлены единымъ духомъ, проникнуты единымъ павосомъ. И вотъ этотъ то паеосъ, разлитый въ полнотъ творческой дъятельности поэта, есть ключь къ его личности и къ его поэзін. Первымъ дёломъ, первою задачею критика должна быть разгадка, въ чемъ состоитъ навосъ произведеній поэта, котораго взялся онъ быть изъяснителемъ и оценщикомъ. Безъ этого, онъ можетъ раскрыть нёкоторыя частныя красоты, или частные недостатки, въ произведенияхъ поэта, наговорить много хорошаго à propos къ нимъ; но значение поэта и сущ ность его поэзін останутся для него такъ же тайною, какъ и для читателей, которые думали бы найдти въ его критикъ разрешение этой тайны. Сверхъ того, онъ рискуеть быть или пристрастнымъ хвалителемъ, или, что одно и тоже, пристрастнымъ порицателемъ поэта, приписать ему достоинства и недостатки, которыхъ въ немъ нётъ, или не замётить тёхъ, которые въ немъ есть. Но главное — онъ всегда ошибется въ

общемъ выводѣ своихъ изслѣдованій о поэтѣ. Именно такимъ образомъ грѣшила противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ, напр., одинъ критикъ того времени поставилъ въ величайшую вину поэзіи Жуковскаго то, что она совершенио лишена народности. Еслибъ онъ понялъ, что павосъ поэзіи Жуковскаго есть романтизмъ — плодъ жизии западной Европы въ средніе вѣка и, слѣдовательно, элементъ, котораго совершенно чужда русская народность, — онъ не сталъ бы нападать на знаменитаго поэта за то, что составляетъ его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многосторониемъ и разнообразномъ поэтъ, какъ Пушкинъ, нельзя не обращать вниманія на частности. нельзя не указывать въ особенности на то или другое даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и тѣмъ менѣе можно не говорить отдъльно о каждой изъ большихъ его піесъ; нельзя также не дълать изъ него большихъ или меньшихъ выписокъ; но ограничившись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдъльныя піесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цёлый міръ творчества. Этотъ общій взглядь будеть, въ лабиринть разнообразныхъ и миогочисленныхъ твореній поэта, аріадииною иптью и для критика и для его читателей; при номощи этого взгляда. сделаются попятными все частности, и не будеть нужды обращать вниманіе на каждую изъ нихъ, а только на главивишія. Разумбется, этотъ общій взглядъ долженъ быть основанъ на върномъ уразумъніи павоса поэта. Но какъ объяснить и опредълить павосъ — предварительно ли это сдълать, такъ чтобъ указаніями на отдільныя піесы только подтверждать свею мысль; пли начать аналитически и изъ разбора частностей дойдти до опредъленія навоса? Мы думаемъ, что первое лучше, ибо творенія Пушкина такъ извъстны всьмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значении его поэзін, не боясь не

быть понятнымъ. При томъ же, наше дѣло—раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результатъ этого изученія.

Много и многими было писано о Пушкинт. Вст его сочиненія не составляють и сотой доли порожденныхъ ими печатныхъ толковъ. Одни споры классиковъ съ романтиками за «Руслана и Людмилу» составили бы порядочную книгу, еслибы ихъ извлечь изъ тогдашнихъ журналовъ и издать вмъстъ. Но это было бы интересно только какъ историческій фактъ литературной образованности и литературныхъ иравовъ того времени, — фактъ, узнавъ который нельзя не воскликнуть:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

И таковы всё толки нашихъ аристарховъ о Пушкинѣ, и хвалебные и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечешь, ничёмъ не воспользуешься. Исключеніе остается только за статьею Гоголя «О Пушкинѣ», въ «Арабескахъ», изданныхъ въ 4835 году. Объ этой замѣчательной статъѣ мы¹ еще не разъ вспомянемъ въ продолженіи нашего разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ пскусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумѣется, что одинъ онъ этого сдѣлать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы изложили весь ходъ изящной словесности на Руси, показали начало и развитіе ея поэзіи, участіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ п йхъ заслуги. Повторимъ здѣсь уже сказапное нами сравненіе, что всѣ эти поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія рѣки—къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важнѣе рѣкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравненіе не можетъ быть оскорбительно для поэтовъ, предшествовавшихъ

Пушкину, особенно, если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая дъятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрълые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинь, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ лътъ и силы. Чтобъ изложить нашу мысль сколько-возможно яснёе и доказательнёе, мы носвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребенка-Пушкина, но и стихотвореній юноши-Пушкина, носящихъ на себъ слъды вліянія предшествовавшей школы. Эти последнія стихотворенія несравненно ниже техь, въ которыхъ онъ явился самобытнымъ творцомъ, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ вліяніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замътили, что въ первой части «Стихотвореній Александра Пушкина» (1829), піесъ писанныхъ подъ вліяніемъ прежней школы больше, чамъ во второй, а въ третьей ихъ уже нътъ вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самобытныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключаеть въ себъ стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1824 года; они расположены по годамъ, и потому можно видёть, какъ съ каждымъ годомъ Пушкинъ являлся менье ученикомъ и подражателемъ, хотя и превзошедшимъ своихъ учителей и образцовъ, и болъе самобытнымъ поэтомъ. Вторая часть заключаетъ въ себъ піесы, писанныя отъ 1825 до 1829 года, и только въ отделе стихотвореній 1825 года замътно еще нъкоторое вліяніе старой школы, а въ піесахъ слідующихъ за тімь годовь оно уже изчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкпиа, отзывающіяся вліяніемь прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія и прежде Пушкина; по, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не віришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналень, новь, и свежь мірь его поэзін! Туть нельзя даже

сказать: то же да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозаическій, передко бываеть, въ поэтическомъ отношенін, могучь, ярокь, но въ отношенін къ просодін, грамматикъ, синтаксису, и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Амитріева, но и Карамзина; стихъ Динтріева и даже Озерова, во всёхъ этихъ отношеніяхъ, неизмітримо ниже стиха Жуковскаго и Батюшкова, и было время, когда нельзя было не в рить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и последней степени совершенства, —и между темъ, этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова... Правда, въ последствін, т. е., при Пушкине, стихъ Жуковскаго много усовершенствовался, и въ переводъ «Шильйонскаго Узника», а также отчасти и въ переводъ «Суда въ Подземельи» походилъ на кръпкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную криность, эту необыкновенную сжатость и тяжелоупругую энергію ему сообщиль тонь поэмы Байрона и характеръ ея содержанія, — и Пушкинъ, еслибы онъ написаль поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умълъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, — чему можетъ служить доказательствомъ его поэма «Мъдный Всадникъ». Обращаясь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствій эстетическаго чутья и такта можно не видъть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихъ: ибо подъ стихомъ разумбемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, — форму которая одна, прежде и больше всего другаго, свидътельствуетъ о дъйствительности и силъ таланта

поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; стихъ, который, какъ тело человека, есть откровеніе, осуществленіе души — иден; стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, подъ который всякая поддълка, какъ бы ни была она ловка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему какъ искусно-сдъланная восковая статуя, или автомать относится къ живому человъку. И потому, стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его піесахъ, вдругь какъ бы сдълавшій крутой повороть, или ръзкій разрывъ въ исторіи русской поэзін, нарушившій преданіе, явившій собою что-то небывавшее, непохожее ни на что прежнее, этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзін. И что же это за стихь! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельною игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотћ; онъ нъженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, кръпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукъ богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразимая прелесть и грація, въ немъ осльнительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодін и гармонін языка и риома, въ немъ вся нъга, все упоеніе творческой мечты, поэтическаго выраженія. Еслибъ мы хотёли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихъ, — и этимъ разгадали бы тайну павоса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаетъ всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: васъ болье всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзін Гомера древне-эллин-

ское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимит среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородною простотою, этою изящною натріархальностью героическаго вёка народа, нёкогда представлявшаго въ лицъ своемъ цълое человъчество; но поэтъ остается у васъ какъ-бы въ сторонъ, и его художество вамъ кажется чёмъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмѣ, и потому вамъ какъ-будто не приходитъ въ голову остановиться на немъ и подивиться ему. Въ Шекспиръ, васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокій сердцевѣдецъ, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ-будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикъ, указываютъ на его заслуги наукъ, не говоря объ удивительной силъ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзін Байрона, прежде всего обойметь вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смёлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзіи Гёте, передъ вами выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человѣка. Въ поэзін Шиллера, вы преклонитесь съ любовію и благогов'єніемъ передъ трибуномъ человъчества, провозвъстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно прекраснаго. Въ Пушкинъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго встми чарами поэзін, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все, и потому терпимаго ко всему. Отсюда всё достоинства, всё недостатки его поэзіи, — и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенною полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое следствіе, какъ оборотную сторону его же достопиствъ...

Призваніе Пушкина объясняется исторією нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должиа быть выраженіемъ жизни, въ обширномъ значеніи этого слова, обнимающаго собою весь міръ, физическій и нравственный. До этого ее можеть довести только мысль. Но чтобъ быть выраженіемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіею. Для пскусства нъть никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, гдубоко, но прозаично. Такое произведеніе похоже на женщину съ великою душою, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ея нельзя; а между тёмъ немножко любви сдёлало бы счастливее, чёмъ много удивленія, не только ее, но и мущину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія непоэтическія безплодны во встхъ отношеніяхъ; между тёмъ какъ произведенія на половину прозапческія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они дъйствуютъ и въ этомъ отношении только на половину. Гдъ помнять начало поэзіп, гдт поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзін, нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіею, а потомъ уже выражать собою то и другое. Вотъ причина явленія Пушкина такимъ, какимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ни чемъ другимъ быть не могъ. До него, у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество. которое составляеть собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человъческаго. До него, поэзія была только краспоръчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цъли, какъ бълила и румяны для бледнаго лица старушки-истины. Это мертвое поиятіе о пользе поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзію, и было выражено Мерзляковымъ въ следующихъ стихахъ, кажется, нереведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ. Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цъленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченною пилюлею, подслащеннымъ лъкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ риторической воды. Много было сдълано для языка: для стиха, кое-что было сдёлано и для поэзіп; но поэзін, какъ поэзін, то-есть, такой ноззін, которая, выражая то или другое, развивая такое или пное міросозерцаніе, прежде всего была бы ноэзіей — такой поэзіп еще пе было! Пушкинь быль призвань быть живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. И такъ какъ его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земль поэзію, какъ искусство, такъ, чтобъ русская поэзія имьла потомъ возможность быть выражениемъ всякаго направления, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіею и перейдти въ рифмованную прозу — то, естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому, даже самыя первыя незрѣлыя юношескія его произведенія, каковы: «Русланъ и Людмила», «Братья-Разбойники», «Кавказскій Плѣнинкъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», отмѣтили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзіи. Всѣ, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидѣли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, кото-

рой они не знали на русскомъ языкъ не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россіею; онв ходили въ тетрадкахъ, переписывались дівушками, охотинцами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкою отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дълалось не только въ столицахъ, но даже и въ убздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различіе стиховъ отъ прозы заключается не върномѣ и размърѣ только, но что и стихи, въ свою очередь, могутъ быть и поэтические и прозаические. Это значило уразумьть поэзію уже не какъ что-то вишшее, но въ ея внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэтъ, который быль бы неизивримо выше Пушкина, —его появление уже не могло бы надълать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что, после Пушкина, поэзія уже не невиданная, не неслыхапная вещь. И по тому же самому, теперь уже слишкомъ слабый успъхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантъ, даже превосходя его въ этомъ отношенін, быль бы, подобно ему, препмуществение художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ миого этого художества, которымъ такъ рѣзко отдълились онъ отъ произведеній прежимхъ школъ, то еще болье художества въ самобытныхъ лирическихъ піесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, слъдовательно, обогнали ихъ; но мелкія піесы Пушкина, озпаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свътъ. Это понятно: поэма требуетъ той эрълости таланта, которую даетъ опытъ жизни, — и этой эрълости иътъ нисколько въ «Русланъ и Людмилъ», «Братьяхъ-Разбойникахъ»

и «Кавказскомъ Плънникъ», а въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ», замътенъ только усиълъ въ искусствъ; но юность — самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуетъ знанія жизни и людей, требуетъ созданія характеровъ, слъдовательно, своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуетъ богатства ощущеній, —а когда же грудь человъка наиболье богата ощущеніями, какъ не въ льта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствъ «сливать послушныя слова въ стройные размѣры и замыкать ихъ звонкою рифмой», но въ тайнъ поэзін. Душъ Пушкина присущиа была прежде всего та поэзія, которая не въ книгахъ, а въ природъ, въ жизни, — присущно художество, печать котораго лежить на «полномъ теореніи славы». Разумъ, это духъ жизни, душа ея; поэзія, это-улыбка жизни, ея свътлый взглядъ, играющій всеми переливами быстро сменяющихся ощущеній. Бываютъ женщины, одаренныя отъ природы рёдкою красотою, но которыхъ строго правплыныя черты лица поражаютъ какою-то сухостью, а движенія лишены граціи: такія женщины могутъ быть по своему ослъпптельно блестящими и возбуждать удивленіе; но ихъ появленіе не заставить ни чье сердце забиться отъ невёдомаго волненія, ихъ красота не родитъ любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзін. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, еслибъ онъ не были насквозь проникцуты поэзіею; не любовью — небеснымъ огнемъ жизни, а холодною сыростью могилы въяло бы отъ нихъ. Пусть свътила небесныя образують собою стройные міры: не тъмъ только возвышаютъ они душу созерцающаго ихъ человъка, но поэзіею своего тапиственнаго мерцанія, но дивною красотою живой игры своихъ блёдно-огипстыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходъ, Пноагоръ виделъ не одну математику въ фактъ, но и слышалъ гармонію міровъ... Еслибъ солице только грѣло

数のことが、アンプラントのできるというできるが、

и свътило, оно было бы не болъе, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаетъ на землю яркій, весело дрожащій, радостио играющій лучъ — и земля встрѣчаетъ этотъ лучъ улыбкою, а въ этой улыбкв-невыразимое очарованіе, пеуловимая поэзія... Природа полна не однихъ органическихъ силъ — она полна и поэзіи, которая наиболье свидътельствуеть о ея жизии: въ ея вечномъ движеніи, въ колыхапін ея лісовъ, въ трепеть серебристаго листа, на которомъ любовно играетъ лучъ солнца, въ ропотѣ ручья, въ вѣяніи вътра, волнующаго золотистую жатву, разлитъ для человъка таинственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые и радостные, какъ пъснь взвивающагося подъ небеса жаворонка... Человъкъ еще болъе исполненъ поэзін. Отчего вамъ такъ хочется разциловать этого ребенка, шумио играющаго на лугу, отчего такъ илъняютъ васъ и его блестящіе чистою радостію глаза, его дышущая блаженствомъ улыбка, живость и ръзвость его движеній? — Что общаго между вами, измученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами, вами, человъкомъ пожилымъ и мудрымъ, и между имъ ипчего пепонимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачимъ же, торопливо бъжа по важному дълу, съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дёла, и съ улыбкою умпленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснело, забота на мигъ слетела съ него, и улыбка счастія на мгиовеніе освътила ваще угрюмое лицо, какъ лучь солица, проникиувшій сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно запгравшій на его сыромъ полу?.. Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіею жизни... Вотъ прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредъленного выраженія-это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвы-

шенности мыслей и стремленій, словомъ, ничто не говоритъ вамъ въ этомъ лицѣ ни о какомъ рѣзко выпечатавшемся правственномъ качествъ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью — и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину п чужды желанія быть любимымъ ею, вы спокоїно любуетесь прелестью ея движеній, грацією ея манеръ, — и въ то же время, въ ея присутствін, сердце ваше бъется какъ-то живѣе. и кроткая гармонія счастія мгновенно разливается въ душт вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другаго стоптъ; одно другаго замънить не можетъ, но то и другое въ одинаковой степени составляетъ потребность нашего духа. Вотъ почему древніе Греки, въ своемъ поэтическомъ политеизмъ, обожествили не только истину, знаніе, могущество. мудрость, доблесть, справедливость, целомудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія. . . По ихъ религіозному созерцанію, псполненному поэзін и жизни, богиня красоты обладала таннственнымъ поясомъ -

> всё обаянія въ немъ заключались; Въ немъ и любовь и желанія, въ немъ и знакомства и просьбы, Аьстивыя рёчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобъ выразить всю силу неотразимаго вліянія на душу и сердце человъка поэзін Гомера, Греки говорили, что онъ похитиль поясъ $\Lambda \Phi$ родиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладклъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, по каждое ощущение, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой ноэзіп. Опъ созерцалъ природу и дъйствительность подъ особеннымъ угломъ зрънія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтпческій. Муза Пушкина, это—дъвушка-аристо-

T. VIII.

24

кратка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородною простотою, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болье возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдълалась ей второю природою.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходятъ далье 1819 года, и съ каждымъ слъдующимъ годомъ увеличиваются въ числъ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ вниманіе на тъ маленькія піесы, которыя, и по содержанію и по формъ, отличаются характеромъ античности, и которыя съ перваго раза доджны были показать въ Пушкинъ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзіп. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность цълаго, цъжность и мягкость отдёлки въ этихъ піесахъ, обнаруживаютъ въ Пушкинъ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между тъмъ, онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокій художническій инстинкть заміняль ему изученіе древности, въ школь которой воснитываются всь европейскіе поэты. Этой поэтической натурт ничего не стояло быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферт жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдъ бы ни встрътиль опъ ихъ, свободно и охотно ложились на полотив подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; пе говоря уже о попыткъ Кострова перевести «Иліаду» и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; по песмотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гиъдичемъ «Иліады», на русскомъ языкъ пе было не одной строки,

им одного стиха, который бы можно было принять за намект на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музою эллинской и который превосходно перевель нъсколько піесъ изъ антологіи. Пушкинъ почти пичего не переводилъ изъ греческой антологіи, но писаль въ ея духъ такъ, что его оригинальныя піесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонъ Пушкина большое преимущество и въ достоинствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински, или какъ артистически (это одно и то же) разсказалъ Пушкинъ о своемъ художественномъ призванія, почувствованномъ имъ еще въ лъта отрочества; эта піеса называется «Муза»:

Въ младенчестве мосиъ она меня любила И семиствольную цёвницу мий вручила; Она винмала мий ст улыбкой, и слегка По звонкимъ скважинамъ пустаго тростника Уже наигрывалъ я слабыми перстами И гимпы важные, внушенные богами, И пфени мпримя фригійскихъ пастуховъ. Съ утра до вечера въ ифмой тфии дубовъ Прилежно я винмалъ урокамъ дфвы тайной; И, радуя меня наградою случайной, Откинувъ локоны отъ милаго чела, Сама взъ рукъ моихъ свирфль она брада: Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ И сердце наполиялъ святымъ очарованьемъ.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антоли гическомъ родъ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умёлъ сдълать изъ шестистопнаго ямба — этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ наросскимъ мраморомъ, для чудныхъ изваяній, видимыхъ слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ, — и вамъ покажется, что вы видите передъ собою превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, На утренией заръ я видълъ Неревду. Сокрытый межь деревъ, едва я смълъ дохиуть; Надъ ясной влагою полубогиня грудь Младую, бълую какъ лебедь, воздымала И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка, въ первый разъ явились во всемъ блескт въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы, въ этомъ отношеніи, сравниться съ этою піескою:

Я върю, я любимъ; для сердца пужно вършть. Пътъ, милая моя не можетъ лицемъритъ; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцъпный даръ, Нарядовъ и ръчей пріятная небрежность И ласковых имент младенческая инженость.

Правда, послъдній стихь есть не болье, какъ върный переводъ стиха Андре Шенье — «Et des noms caressans la mollesse enfantine»; но если гдъ имъетъ глубокій смыслъ выраженіе: «онъ беретъ свое, гдъ ни увидитъ его», то, конечно, въ отношеніи къ этому стиху, который Пушкинъ умълъ сдълать своимъ.

Тъмъ же античнымъ духомъ въетъ и въ антологическихъ піесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны піесы «Трудъ» и «Чистый лоснится полъ; чаши блистаютъ» (первая оригинальная, вторая изъ Ксенофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпискою, тоже превосходной, яо только маленькой піесы, принадлежащей, впрочемь, къ самому позднѣйшему времени поэтической дѣятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранціа; Къ ней на плечо преклоненъ, юноша вдругъ задремалъ. Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя. И улыбалась ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической дъятельности особенно много писалъ ихъ. Это понятно: созерцаніе любви и наслажденій жизни въ духѣ древнихъ особенно соотвѣтствуетъ эпохѣ юности каждаго человѣка. Вотъ перечень всѣхъ антологическихъ стпхотвореній Пушкина: «Виноградъ», «О діва-роза, я въ оковахъ», «Дорпдѣ», «Ръдъетъ облаковъ летучая гряда», «Нерепда», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Діва», «Приміты», «Красавица передъ зеркаломъ», «Ночь», «Сафо», «Кобылица молодая», «Царскосельская статуя», «Отрокъ», «Рпфма», «Трудъ», «Чистый доснится поль», «Славная флейта, Оеонъ», «Юношу горько рыдая», «LVIII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Юноша, скромно паруй», «Мальчику» (изъ Катулла), «Узнаемъ коней ретивыхъ» (изъ Анакреона), «Леила». Последнія семь, послъ превосходной піесы «Юношу горько рыдая», не отличаются особеннымъ поэтическимъ достопиствомъ; но слъдующія двіз просто неудачны: «Кто на снітахъ возрастиль Оеокритовы нъжныя розы» и «На переводъ Иліады».

Перечтите піесы: «Домовому», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Умолкиу скоро я», «Земля и Море», «Алексъеву», «Ч***ву», «Зачьть безвреминную скуку», «Люблю вашъ сумракъ неизвъстный», и еще болье піесы: «Простишь ли мнт ревнивыя мечты». «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ морю». — вглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ оборотъ мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію. безукоризненное искусство, полное

художество, безъ мальйшей примьси прозы, какъ старое кръпкое вино, безъ мальйшей примъси боды. Въ нъкоторыхъ изъ нихъ, вы можете придраться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному, или слишкомъ отзывающемуся эпохою; по со стороны поэзіп выраженія и поэзіп созерцанія, вамъ нечего будеть осудить. Сравните и эти піесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзін: между ними не будетъ никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ піесъ Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ и о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статьт. Это не значить, чтобъ въ произведеніяхь прежняхь школь не было ничего примъчательнаго, или чтобъ онъ были вовсе лишены поэзіп: напротивъ, въ инхъ много примъчательнаго, и онъ исполнены поэзіп, но есть безконечная разница въ характерћ ихъ поэзіп и характерт поэзіп Пушкина. Произведенія прежняхъ школъ, въ отношеніп къ произведеніямъ Пушкина — то же, что народная пъсия, исполненная души и чувства, народнымъ напівомъ пропітая простолюдиномъ, въ отпошеній къ лирической ивсии поэта-художника, ноложенной на музыку великимъ комиозиторомъ и произтой великимъ извпомъ.

Сравнимъ, для доказательства, піесу замъчательнъйшаго язъ прежнихъ поэтовъ, «Пъсна», съ піесою Пушкина «Ненастный день потухъ»:

О милый другь, теперь съ тобою радосты А я одипъ—и мой печалень путь; Живи, вкушай невинной жизни сладость; Въ душт не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толит илъняемыхъ тобою. Ты друга прежняго, увядшаго душою; Веселья ихъ дъли—ему отрадой будь; Его, мой другь, не позабудь. О милый другь, намь рокь велёль разлуку; Дии, мъсяцы и годы пролетять: Вотще къ тебъ простру отъ сердца руку — Ни голосъ твой, ни взоръ меня не усладять; Но и вдали съ тобой душа моя согласна, Любовь ни времени, ни мъсту не подвластна; Всегда, вездъ ты мой хранитель ангель будь, Меня, мой другъ, не позабудь.

О милый другь, пусть будеть пракь колодной То сердце, гдв любовь къ тебв жила: Есть лучшій мірь; тамъ мы любить свободны; Туда душа моя ужь все перенесла; Туда всечастное стремить меня желанье; Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье; Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь — меня, мой другь, не позабудь.

Чувство, составляющее навосъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а слъдовательно, и истины; оно можеть быть напущено на человъка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазін; но и напущенное чувство, по странному противоръчію человъческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сантиментальность и отсутствое всякой страстности, есть голосъ души, языкъ сердца, краспоръчіе чувства; но оно-не поэзія. Его форма болье краснорычива, чымь поэтична; въ его выраженін, бользненно грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозапческое, темное, лишенное мягкости и ивжности художественной отделки. А между темъ, это одно изъ лучшихъ произведеній старой школы русской поэзіп, и въ свое время производило фуроръ. Теперь, сравните его съ піесою Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Пенастный день потухъ; ненастной ночи мгда По небу стелется одеждою свинцовой; Какъ привидъніе, за рощею сосновой Луна туманная взощза... Все мрачную тоску на душу мив наводить! Далеко тамъ, дуна въ сіяніи восходить; Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой; Тамъ море движется роскошной целеной Подъ голубыми небесами... Вотъ время: по горъ теперь пдетъ она Къ брегамъ потопленнымъ шумящими волнами; Тамъ, подъ завътными скалами, Теперь она сидитъ нечальна и одна... Одиа... никто предъ ней не плачеть, не тоскуеть; Никто ея колънъ въ забвеныи не цвлуетъ; Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ Ни плечь, ни влажныхъ устъ, ни персей бълосиъжныхъ. Никто ея любви небесной не достопнъ. Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ,

Здёсь не то: въ паоосè стихотворенія столько жизни, страсти, истины!... Луна, восходящая надъ сосновою рощею, наноминаетъ поэту другую луну, которая, въ это томительное для его души время, восходитъ, далеко, тамъ, гдё природа такъ роскошно преврасна,—и поэтъ предается невольно мечть о ней, которая въ эту пору, одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляетъ его успокоивать себя мыслію, что она—одна, и что ему должно быть спокойнымъ... И сколько жизни, какой энергическій порывъ страсти высказывается въ словъ: «но если», отрывисто заключающемъ піесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма?—Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихъ,

даже отдёльно взятомъ, такъ и видёнъ слёдъ художническаго рёзца, оживлявшаго мраморъ!—Какая безконечная разпица!...

Чтобъ еще болье показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ, по смыслу статьи нашей) сдълаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета, изъ лучшихъ въ большой и прекрасной піесъ Жуковскаго, принадлежащей уже къ поздиъйшему времени его поэтической дъятельности:

О наша жизнь, гдв вврны лишь утраты, Гдв милому мгновенье линь дано. Гдв скорбь безъ крыль, а радости крылаты. И гдв на ввкъ минувшее одно... По что жь мы здвсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено? Внимая гласъ надежды, намъ поющей. Не слышимъ мы шаговъ бвды грядущей.

Здісь радости — не наше обладанье; Пролетные плінители земли, Лишь по пути заносять къ намъ преданье О благахъ, намъ объщанныхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ; Земная жизнь — страданія питомецъ.

Это уже не «напущенное» чувство; нѣтъ, это вопль страшно потрясенной душп, это голосъ растерзапнаго, пстекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но несмотря на то, это опять-таки болѣе краспорѣчіе, чѣмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно, во всей формѣ этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замѣтно преобладаніе метафоры. Разумѣется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто пе знаетъ піесы Пушкина «19 октября»? Послѣ обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока еще мы туть!
Увы! нашь кругь чась оть часу редевть,
Кто въ гробе спить, кто дальній спротесть;
Судьба глядить, мы вянемь; дня бёгуть;
Невидимо склоняясь и хладёя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому жь изъ насъ подъ-старость день лицея
Торжествовать прійдется одному—
Несчастный другь! средь новыхъ поколеній
Докучный гость и линній и чужой,
Онъ вспоминть насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожанцею рукой...

Какая глубокая, и вивств съ тъмъ, свътлая скорбь! Каждая мысль сама по себъ такъ исполнена поэзіп, независимо отъ формы, вполить художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всъхъ друзей своихъ другъ, докучный лишній и чужой гость средн новыхъ покольній, дрожащею рукою закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ,—это не просто поэтическіе стихи, это — поэтическая картина! Но не въ духъ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствъ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается піеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной Тогда сей день за чашей проведетъ, Какъ пынѣ я, затворпикъ вашъ опальной, Его провелъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьов поовды на собою; онъ вырываетъ у ней коть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный кудожникъ, онъ владвлъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ двйствительности, который на «здвсь» указывалъ ему какъ на источникъ и горя и утвшенія, и заставлялъ его искать цвлвніе въ той же существенности, гдв постигла его болвзнь. И, право, въ этой силв, опирающейся на внутреннемъ богат-

ствъ своей натуры, болъе въры въ промыслъ и онравданія путей его, чъмъ во всъхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажутъ, можетъ-быть, что мы сравнили между собою только по нъскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ піесъ, а не цълыя піесы. Выписка вполит такихъ огромныхъ піесъ была бы неумѣстна въ журнальной статьѣ; притомъ же, піесы эти должны быть слишкомъ извѣстны каждому образованному читателю. Кто хочетъ, пусть самъ сравнитъ ихъ въ цъломъ: онъ тогда увидить еще ясиве, что и въ пъломъ огромное преимущество на сторонъ піесы Пушкина, потому что, несмотря на ен значительную величину, она вездѣ ровна, вездъ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилалсь изъ взволнованной души поэта, — между тъмъ, какъ поэма Жуковскаго очень перовна, потому что не чужда мість растянутыхь, холодныхь и вялыхь, почему ее трудно прочесть за разъ. Первая піеса, это тронътая пъвцомъ, который вполнъ владъетъ своимъ голосомъ, не даетъ пропасть ни одной ноткъ, не ослабъетъ ни на мгновение отъ начала до конца арін... Вторая піеса, это — арія, пропътая мъстами превосходно, а мъстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ обстоятельствъ, потому что особенная принадлежность поэзін Пушкина и одно изъ главитишихъ преимуществъ его передъ поэтами прежнихъ школь, — полнота, оконченность, выдержанность и стройность созданій. Поэзія чувства, поэзія естественная, не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и оттого стройность и соразмфрность изчезають въ илодовитости. Въ поэзіи художественной—соразмѣрность, стройность, полнота и ровность, бывають уже естественнымъ следствіемъ творческой концепцін, художественной мысли, лежащей въ основании поэтического произведения. У Пушкина

пикогда не бываетъ ничего лишняго, ничего иедостающаго, но все въ мъру, все на своемъ мъстъ, конецъ гармонируетъ съ началомъ, — и прочитавъ его піесу, чувствуешь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу хутожникомъ.

Какъ петиний художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, по для него всъ предметы были равно исполнены поэзіи. Его «Онъгинъ», напримъръ, есть поэма современной дъйствительной жизни не только со всею ея поэзіею, но и со всею ея прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лъто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь етоличнаго денди, и жизнь мирныхъ номъщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О стнокост, о винт.

О псарит, о своей родит;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій, и тривьяльный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго съ метлою въ рукѣ, дверь кофейной, — и всѣ они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было ѣздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здѣсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея вѣчно-сѣрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бѣдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны, или лѣта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по край-

ней мъръ, на то время, пока не увидите его же картины весны, или лъта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно; Но мит она мила, читатель дорогой: Красою тихою, блистающей смиренно, Какъ нелюбимое дитя въ семьъ родной, Къ себъ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно: Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной; Въ ней много добраго, любовинкъ не тщеславной, Умъль я отыскать, мечтою своеправной. Какт это объяснить? Мий правится она, Какъ, въроятно, вамъ чахоточная дъва Порою правится. На смерть осуждена, Бъдинжка клонится безъ ропота, безъ гизва; Улыбка на устахъ увянувшихъ видна; Могильной пропасти она не слышить зѣва, Играетъ на лицъ сще багровый цвътъ, Она жива еще сегодня-завтра нътъ. Унылая пора! очей очарованье! Пріятна мнъ твоя прощальная краса; Люблю я пышное природы увяданье, Въ багрецъ и въ золото одътые лѣса, Въ ихъ съияхъ вътра шумъ и свъжее дыханье, II мглой волнистою покрыты небеса, II ръдкій солица лучь, и первые морозы, II отдаленныя съдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта—этой «каррикатуры южныхъ зимъ»: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декораціонныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солице; день чудесный! Еще ты дремлешь, другъ прелестный. Пора, красавица, просиись: Открой сомкнуты ивгой взоры, Навстръчу съверной Авроры, Звъздою съвера явись!

Вечоръ, ты поминить, высга злилась. На мутномъ небъ мела носилась; Ауна, какъ блёдное пятно, Сквозь тучи мрачныя желтёла, И ты печальная сидёла—
А нынче... погляди въ окно:

Нодъ голубыми небесами Великолвиными коврами, Блестя на солице, сивгъ лежитъ; Прозрачный лвсъ одинъ чериветъ. И ель сквозь иней зеленветъ. И рвчка подо льдомъ блеститъ.

Вся комната янтарнымъ блескомъ
Озарена. Веселымъ трескомъ
Трещитъ затопленная печь.
Пріятно думать у лежанки
Но знаешь: не велѣть ли въ санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему сибгу, Другь милый, предадимся бъгу Нетерпъливаго коня, И навъстимъ поля пустыя, Лъса, недавно столь густые, И берегь милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно вірна русской дійствительности, изображаєть ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голось нарекь его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только въ половину вірнымъ. Народный поэть—тотъ, котораго весь народь знаетъ, какъ, напримірь, знаетъ Франція своего Беранже; на ці о на льный поэть—тотъ, котораго знаютъ всіз сколько-инбудь образованные классы, какъ, напримірь, Німцы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себіз доселіз «Небізь то ситьжки», не подозрівая даже того, что поетъ стихи, а не прозу... Слідовательно, съ этой стороны, смішно было

бы и говорить объ эпитетъ «народный» въ примъненіи къ Пушкину, пли къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово «націслальный» еще обширнъе въ своемъ значеніи, чъмъ «народный». Подъ «народомъ» всегда разумъютъ массу народонаселенія, самый низшій и основный слой государства. Подъ «націею» разуміноть весь народь, вст сословія, оть низшаго до высшаго, составляющія государственное тёло. Національный поэтъ выражаетъ, въ своихъ твореніяхъ, и основную, безразлячную, неуловимую для опредёленія субстанціяльную стихію, которой представителемь бываеть масса народа, п опредъленное значение этой субстанціяльной стихін, развившейся въ жизин образованнъйшихъ сословій націп. Національный поэтъ — великое дело! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизни, поо былъ не только Русскій, но притомъ Русскій паділенцый отъ природы геніяльными сплами; однакожь въ томъ. что называють народностью или національностью его поэзіп, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ. Онъ въ высшей степени обладаль этимъ тактомъ дъйствительности, который, составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Русалка»: она вся насквозь проникнута пстинностью русской жизин; прочтите его тоже чудную драматическую поэму «Каменный Гость»: она, в по природъ страны и по правамъ своихъ героевъ, такъ и дышетъ воздухомъ Испанін; прочтите его «Египетскія Ночи»: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примъровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ протпвоположныхъ сферахъ жизни, мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если, не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истиною рисовалъ природу и правы даже пикогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались върпостію природъ? Чтобъ изслъдовать основательные этотъ вопросъ, мы считаемъ нужнымъ сдълать довольно большую выписку изъ статьи Гоголя «Нъсколько словъ о Пушкинъ»:

«При имени Пупкина тотчасъ осъняеть мысль о русскомъ національномъ поэть. Въ самомъ дъль, пикто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можеть болье назваться національнымъ; это право ръшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконъ заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болье всъхъ, онъ далъе раздвинулъ ему границы и болье показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное; и можеть быть единственное явленіе русскаго духа: это русскій человъкъ въ его развитіп, въ какомъ онъ можеть-быть явится чрезъ двъсти льтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характерь отразилнсь въ такой же чистоть, въ такой очищенной красоть, въ какой отражается ландшафть на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь, совершенно русская. Тотъ же разгуль и раздолье, къ которому иногда позабывшиев стремится Русскій и которое всегда нравится свъжей русской молодежи, отразились на его нервобытныхъ годахъ вступленія въ свъть. - Судьба какъ нарочно забросила его туда, гдъ границы Россія отличаются рёзкою, величавою характерностью; гдё гладкая неизмёримость Россін перерывается подь-облачными горами и обвѣвается югомъ. Исполинскій. покрытый въчнымъ сиътомъ Кавказъ среди знойныхъ долицъ, поразилъ его; онъ можно сказать вызваль силу души его и разорваль последиія цёпи, которыя еще тяготъли на свободныхъ мысляхъ. Его плънила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобрела тоть широкій размахъ, ту быстроту и смёдость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку Чеченца съ казакомъ — слогъ его молнія; онъ также блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстрве самой битвы. Онъ одинъ только иввецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всею душею и чувствами; онъ проникнутъ и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великольными крымскими ночами и садами. Можеть быть оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламениве тамъ, гдв душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означиль всю силу свою и оттого произведенія его напитанные Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма имъли чудную магическую силу: имъ изумаялись даже тв, которые не имвли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смъдое болъе всего доступно, сильнъе и просторнъе раздвигаетъ дупну, а особливо юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Пи одинъ поэтъ въ Россіи не вмълъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кстати и некстати считали обязанностію проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имъло въ себъ что-то электрическое и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду.

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истиная національность состопть не въ описаніи сарафана, по въ самомъ духѣ народа. Ноэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, по глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говорятъ такъ, что соотечественнкамъ его кажется будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Если должно сказать о тѣхъ достопиствахъ, которыя составляютъ принадлежность Нушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ пскусствѣ не многами чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смълъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая піеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой піесѣ виѣщалось столько величія, простоты и сплы, сколько у Пушкина.

•Но последнія его позмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всёмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облакъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изследованію жизни и правовъ своихъ соотечественниковъ и захотель быть вполит національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всёхъ поразили тою яркостью и осленительной смелостью, какими дышеть у него все, гдё ни являются Эльбрусъ, Горны, Крымъ и Грузія.

«Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшать: будучи поражены сиъзостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, образованиме и
пеобразованиме, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія
происшествія являлись предметомъ его поэзін, позабывая, что нельзя тѣмп же
красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить
болѣе спокойный и гораздо менѣе исполненный страстей бытъ русскій. Масса
публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ
жеданіяхъ; она кричить: изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной
истинѣ; представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были. Но
попробуй поэть, нослушный ея велѣнью, изобразить все въ совершенной истипѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: это вяло, это слабо, это не
корошо, это ни мало не похоже на то, что было. Масса парода похожа въ
этомъ случаѣ на женицину, приказывающую художинку нарисовать съ себя пор-

треть совершенно похожій, но горе ему, если онь не уміль скрыть всіль ел недостатковъ. Русская исторія только со времени последняго ея направленія при императорахъ пріобрътаетъ яркую живость; до того, характеръ народа большею частію быль безцвётень; разнообразіе страстей ему мало было извъстно. Поэтъ не виновать; но и въ народъ тоже весьма извинительное чувство нридать большій размітрь діламь своихь предковь. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себъ не сохраняеть сильнаго жара, тогда толна почитателей, толна народа на его сторонъ, а виъстъ съ нимъ и деньги; или быть вёрну одной истипе, быть высокимь тамь, где высокь предметь, быть рёзкимъ и смёлымъ, гдё истиню рёзкое и смёлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдъ не кипитъ пропешествіе. Но въ этомъ случав, прощай, толпа! ея не будеть у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и ръзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избразъ поэтъ, потому что хотълъ остаться поэтомъ и нотому что у всякаго, кто только чувствуеть въ себъ пскру святаго призванія, есть товкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ спедствомъ. Никто не станетъ спорять, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмъ, вольный какъ воля, самъ себъ и судія и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засёдателя, и несмотря на то, что онь зарёзаль своего врага притаясь въ ущельи, или выжегъ цёлую деревню, однакоже онъ болъе поражаеть, сильнъе возбуждаеть въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракт, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — По тотъ и другой — они оба явлен я принадзежащія къ нашему міру: они оба должны имъть право на наше винманіе, хотя по естественной причинъ то, что мы ръже видимъ, всегда сплытье поражаетъ наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть не больше, какъ неразсчетъ поэта, неразсчетъ передъ его многочисленною публикою, а не передъ собою. Онъ ни чуть не теряетъ своего достоинства, даже можеть быть еще болье пріобрьтаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ ценителей. Мне пришло на намять одно происшествие изъ моего дътства. Я всегда чувствоваль маленькую страсть къ живониси. Меня много занималь писанный мною пейзажь, на первомь планъ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жиль тогда въ деревит; знатоки и судьи чои были окружные сосъди. Одинъ изъ нихъ взглянувши на картину попачаль головою и сказалъ: хорошій живописець выбираеть дерево рослое, хорошее, на которомъ бы п листья были свёжіе, хорошо ростущее, а не сухое. Въ дётствё мив казалось досадно слышать такой судь. но послё и изъ него извлекь мудрость: знать что правится и что не правится толить. Сочинскія Пункина, гдт дышеть у него русская природа, также тихи и безнорывны, какъ русская природа. Ихъ

только можеть совершенно понимать тоть, чья душа носить въ себъ чисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять не блестящія съ виду русскія пѣсин и русскій духъ, потому что чѣмъ предметь обыкновеннье, тѣмъ выше пужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. Но справедливости ли опѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлить ли, понялъ ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней неприступной поэзін, отвергиувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — по крайней мѣрѣ печатно нигдѣ не произнеслась имъ вѣриая оцѣнка и онѣ остались до пынѣ не тронуты. »

Все это очень справедливо, особенно опредъление національнаго поэта: «Поэть даже можеть быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихін, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». П, если хотите, съ этой точки зрънія, Пушкинъ болъе національно-русскій поэтъ, нежели кто либо изъ его предшественниковъ; но дъло въ томъ, что нельзя опредълить, въ чемъ же состоитъ эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствують и говорять они сами? Прекрасно! Да какъ же чувствують и говорять онн? чемъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?.. Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать отвъта настоящее, пбо Россія, по преимуществу — страна булущаго...

Обращаясь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ паоосъ поэзін Пушкина, замътимъ еще его удивительную способность дълать поэтическими самые прозаическіе предметы. Что, напримъръ, можетъ быть прозаичить выъзда въ саняхъ модиаго франта въ сюртукъ съ бобровымъ воротникомъ? Но у Пушкина это — поэтическая картина:

•Пади! пади! • раздался крикъ; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротникъ.

Или что можеть быть прозанчиве такой мысли, что-де въ городе не было мостовой и всё тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дёлать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина, въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недвав пять-тесть Одесса
По волъ бурнаго Зевеса,
Потоплена, запружена,
Въ густой грязи погружена.
Всъ домы на аршинъ загрязнутъ,
Лишь на ходуляхъ пъшеходъ
По улицъ дерзаетъ вбродъ;
Кареты, моди топутъ, вязнутъ,
И въ дрожкахъ волъ, рога склоня,
Смъняетъ хилаго коня.
Но ужь дробитъ каменъя молотъ,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный городъ,
Какъ-будто кованой броней.

Для Пушкина также не было такъ пазываемой низкой природы; поэтому, опъ не затрудиялся пикакимъ сравненіемъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшійся ему подъ-руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо, напримъръ, это взятое изъ низкой природы сравненіе:

Стократь блажень, кто предань вёрё, Кто, хладимії умь угомонивь, Поконтся въ сердечной нёгё, Какт пьяный путникт на почлегю.

Или, какъ прекрасна у него вотъ эта «низкая прпрода»:

Иныя пужны мив картины:
Аюблю песчаный косогорь,
Нередь избушкой двв рябины,
Калитку, сломанный заборь,
На небв свренькія тучи,
Нередь гумномь соломы кучи,
Да прудь подь свнью липь густыхь—
Раздолье утокь молодыхь;
Теперь мила мив балалайка
Да пьяный топоть трепака
Передь порогомь кабака;
Мой идеаль теперь — хозяйка,
Мои желанія — покой.
Да щей горшокь, да самь большой...

Тотъ еще не художникъ, котораго поэзія трепещеть и отвращается прозы жизни, кого могутъ вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія.

Талантъ Пушкина не былъ ограниченъ тъсною сферою одного какого-нибудь рода поэзін: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сдёлаться превосходнымъ драматургомъ, какъ внезациая смерть остановила его развитие. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поззін. Въ последнее время своей жизни, онъ все более и более наклонялся къ драмъ и роману и, по мъръ того, отдалялся отъ лирической поэзін. Равнымъ образомъ, онъ тогда часто забывалъ стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія великаго поэтического таланта въ наше время. Лирическая поэзія, обнимающая собою міръ ощущеній и чувствъ, съ особенною силою кинящихъ въ молодой груди, становится тъсною для мысли возмужалаго человека. Тогда она делается его отдыхомъ, его забавою между деломъ. Действительность современнаго намъ міра полите, глубже и шире въ романт и драмъ. — О поэмахъ и драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ

говорить въ следующей статье, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

Пушкина иткогда сравнивали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замъчали, что это сравнение болье чъмъ ложно, пбо трудно найдти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натурь, а следовательно, и по наоосу своей поэзін, какъ Байронъ и Пушкинъ. Мнимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогъ и бъдъ его юность, думали видъть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомъ-нибудь десяткъ ходившихъ по рукамъ его стпхотвореній, исполненныхъ громкихъ и смілыхъ, но тімъ не меніе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видъть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было болье ошибиться во мизнін о человъкъ! Въ тридцать лётъ, Пушкинъ расирощался съ тревогами своей кппучей юности не только въ стихахъ, но и на дёлё. Надъ «рукописными» своими стишками онъ потомъ самъ смвался. Но все это въ сторону; главное двло въ томъ, что натура Пушкина (и въ этомъ случав самое верное свидетельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бываютъ слёдствіемъ страстно-діятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою могучею мыслію, въ жертву которой приносится и жизнь и таланть. Онъ не принадлежаль исключительно ни къ какому учению, ни ыъ какой доктринъ; въ сферъ своего поэтического міросозерцанія, онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселениой, и въ самой исторіи, такъ же, какъ и въ природь, видъль только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріялы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Еслибъ его натура была другая, и онъ шелъ по

этому несвойственному ей пути, то, безъ сомнънія, это было бы въ немъ больше, чъмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только въренъ своей натуръ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другаго за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основанія, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмёстё съ тёмъ такъ человёчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художническиспокойной, столь граціозной! Что составляеть содержаніе мелкихъ піесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью п благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ то необыкновенио свътла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цълитъ раны сердца. Общій колоритъ поэзін Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человическое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здъсь разумъемъ не поэтическую форму. которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; итть, каждое чувство, лежащее въ основани каждаго его етихотворенія, изящию, граціозно и виртуозно само по себъ: это не просто чувство человѣка, по чувство человѣка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное п граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина. Въ этомъ отношении, читая его творе-

нія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дійствительностью; она не кладеть на лицо жизни бълилъ и румянъ, но показываетъ ее въ ея естественной, истинной красоть; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому, поэзія Пушкина неопасна юпошеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, — ложь, которая стабить человіка во враждебныя отношенія съ действительностью, при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляетъ безвременно и безплодно истощать свои силы на гибельную съ нею борьбу. И прп всемъ этомъ, кромъ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человъческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтвержденіе нашей мысля? — Почти каждое стихотворение Пушкина можетъ служить доказательствомъ. Еслибъ мы захотъли прибъгнуть къ выпискамъ, имъ не было бы конца. Намъ стояло бы только попменовать цълый рядъ стихотвореній; по, чтобъ мысль наша имёла надъ читателемъ убъждающую силу живаго впечатльнія, вынишемъ здісь ньсколько піесъ совершенно различнаго тона и содержанія.

Ты вянешь и молчишь; нечаль тебя сивдаеть; На двыственных устахь улыбка замираеть. Давно твоей иглой узоры и цвёты Не оживлялися. Безмольно любишь ты Грустить. О, я знатокь въ двыческой нечали! Давно глаза мои въ душё твоей читали. Люби не утаншь: мы любимъ, и какъ насъ, Двицы ивжныя, любовь волиуетъ васъ. Счастливы юноши! Но кто, скажи, межь ними, Красавецъ молодой съ очами голубыми,

Съ кудрями черными? Красиветь?... Я молчу, Но знаю, знаю все; и если захочу, То незову его. Не онь ли ввчно бродитъ Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводитъ? Ты втайнв ждеть его. Идетъ, и ты бъжниь, И долго вслёдъ за нимъ, незримая, глядить Никто на праздникв блистательнаго мая, Межь колеспицами роскотными летая, Никто изъ юнотей свободивй и смълъй Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

Это сама предесть, сама грація, полная души и нѣжности, страстная и «плѣнительная», выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другаго русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались пзящно-гуманное чувство съ пластически изящною формою.

> Когда, любовію и нѣгой упоенный, Безмольно предъ тобой кольнопреклоненный. Я на тебя глядваь и думаль: ты моя, Ты знаешь, милая, желаль ли славы я; Ты знаешь: удаленъ отъ вътрениаго свъта, Скучая суетнымъ прозваніемъ поэта, Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ Жужжанью дальнему упрековъ и похваль. Могли ль меня молвы тревожить приговоры, Когда, склонивъ ко мит томительные взоры И руку на главу мив тихо наложивъ, Шентала ты: скажи, ты любинь, ты счастливъ? Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь? Ты пикогда, мой другь, меня не позабудешь? А я стъсненное молчаніе храниль, Я наслажденіемъ весь полонъ быль, я минль Что нътъ грядущаго, что грозный день разлуки Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки, Измѣны, клевета, все на главу мою Обрушилося вдругъ... Что я, гдв я? Стою, Какъ путникъ молніей постигнутый въ пустынъ, И все передо мной затмилося! И нынъ Я новымъ для меня желанівиъ томимъ: Желаю славы я, чтобъ именемъ монмъ

The state of the s

Твой слухъ былъ пораженъ всечасно, чтобъ ты мною Окружена была, чтобъ громкою молвою Все, все вокругъ тебя звучало обо мив, Чтобъ, гласу върному внимая въ типшив, Ты помиила мон последийя моленья Въ саду, во тив ночной, въ минуту разлученья.

Это чувство юноши; но вотъ оно же, уже чувство человъка возмужалого,—и въ немъ та же трогающая душу гуманность, та же артистическая прелесть:

И васъ любилъ любовь еще, быть можетъ, Въ душв моей угасла не совсвиъ; Но пусть она васъ больше не тревожитъ; И не хочу печалить васъ ничвиъ И васъ любилъ безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томвиъ; И васъ любилъ такъ пскренно, такъ пвжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконецъ, это изящно-гуманное чувство отзывается чѣмъто благоуханно-святымъ въ испытанномъ, но не побѣжденномъ жизнію поэтъ:

Нъть, иътъ, не долженъ я, не смъю, не могу Волиеніямъ любви безумно предаваться! Спокойствіе свое я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться. Нътъ, полно мит любить. По почему жь порой Не ногружуся я въ минутное мечтанье, Когда нечаянио пройдетъ передо мной Младое, чистое, небесное созданье, — Пройдетъ, и скроется? Уже ль не можно мит Глазами слъдовать за ней, и въ тишвит Благословлять ее на радость и на счастье, И сердцемъ ей желать вст блага жизни сей: Весслья, миръ души, безпечные досуги, Все — даже счастіе того, кто избранъ ей, Кто милой дътъ дастъ названіе супруги?...

Кром'в уже поименованныхъ и, частію, выписанныхъ нами самобытныхъ піесъ изъ первой части, перечтите также слів-

дующія, которыя поименуемъ мы теперь въ хронологическомъ порядкъ: «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье», «Зимняя дорога», «Отвѣтъ Ө. Т***.», «Ангелъ», «Соловей». «Близь мъстъ, гдъ царствуетъ Вепеція златая». «Наперсникъ». «Предчувствіе», «Цвътокъ», «Не пой, красавица, при мнъ», «Городъ пышный, городъ бъдный», «Птичка», «Иностранкъ», «На холмахъ Грузін лежитъ ночная тынь», «Не плыняйся бранной славой», «Повдемъ, я готовъ», «Когда твои младыя лата». «Зима, что делать намъ въ деревит?», «Калмычкт», «Что въ имени тебъ моемъ?», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Отвътъ Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Цыганы», «Мадона», «Зимній Вечеръ», «Каковъ я прежде былъ, таковъ п нынъ я», «Анчаръ», «Подъъзжая подъ Ижоры», «Примъты», «Красавица» (въ альбомъ Г***.), «Признаніе» (къ Александръ Ивановит О-й), «Желаніе», «Пажъ, пли пятнадцатильтній король», «Ея Глаза», «Разставаніе», «Романсъ» («Предъ Испанкой благородной»). «Послъдніе цвъты», «Кто знаетъ край, гдъ небо блещетъ». Здъсь не названа только «Разлука» («Для береговъ отчизны дальной»), — не названа для того, чтобъ сказать, что едва ли граціозно-гуманная муза Пушкина создавала что-нибудь благоуханнте, чище, святте и, витест съ тъмъ, изящиве этого стихотворенія, и по чувству и по формъ.

Какъ на последнее доказательство преобладанія въ Пушкина художническаго элемента надъ всеми другими, какъ доказательство, что онъ, взявшись за перо, по воле или по неволе, уже не могъ не быть художникомъ даже въ светскомъ комплименте, въ приветствіи, возложенномъ приличіемъ, указываемъ на піесы: «Баратынскому изъ Бессарабіп», «Примите Невскій Альманахъ», «Княгине З. А. Волконской», «Ответъ Катенину», «И. В. С***, «Ответъ А. Н. Готовцевой», «Е. Н. У***вой», «Сетованіе», «А. Д. Баратынской», «Д. В. Давыдову» (при посылке исторіи Пугачевскаго Бунта), «Къ

женщинъ поэту», «В. С. Ф***.» (при полученін поэмы его), «Въ Альбомъ» («Долго сихъ листовъ завѣтныхъ»).

Мы сказали, что чтеніе Пушкина должно сильно действовать на воспитаніе, развитіе и образованіе изящно-гуманнаго чувства въ человъкъ. Да; не во гитвъ будь сказано нашимъ литературнымъ старовърамъ, нашимъ сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ, анти-эстетическимъ резопёрамъ, — никто. рышительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стязаль себъ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ п юныхъ, п возмужалыхъ, п даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не умерло зерно эстетическаго и человъческаго чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому что мы не знаемъ на Руси болъе правственнаго, при великости таланта, поэта, какъ Пушкинъ. Старовъры еще не могутъ забыть — кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того, кто другаго. Что касается до моралистовъ и резопёровъ (между которыми много найдете людей ограниченныхъ, хотя и добрыхъ и даже благонамфренныхъ, но еще болфе фарисеевъ и тартюфовъ), --- они, ратуя противъ Пушкина, какъ безнравственнаго поэта, обыкновенно любятъ ссылаться пли на шаловливыя въ эротическомъ родъ произведенія его юности, и на поэму «Русланъ и Людмила», не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей; или на стихотворенія—«Демонъ», «Даръ папрасный, даръ случайный». Но перваго они не ставять же въ вину Державину — автору «Мельника» и миогихъ довольно вольныхъ анакреонтическихъ стихотвореній, ибо, несмотря иа нихъ, считаютъ его въ высшей степени «правственнымъ» поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаясь «Душенькою» Богдановича, они тоже не думаютъ находить ее «безиравственною». Чтиъ же Пушкинъ виноватъ передъ пими? — Этого они сами не понимають, и потому оставимь ихъ во поков... Относительно же «Демона», мы еще будемъ говорить о томъ, что Пушкинскій демонъ не изъ самыхъ опасныхъ, и что это — скорѣе чертёнокъ, нежели чортъ. Прибавимъ къ этому только, что и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имѣлъ право и не могъ не знать пногда муки сомнѣнія: пбо этой муки совершенно чужды только натуры мелкія, пичтожныя, сухія и мертвыя. Піеса «Даръ напрасный, даръ случайный» есть не что иное, какъ порожденіе одной изъ тѣхъ тяжелыхъ минутъ правственной апатіи и душевнаго отчаянія, которыя нензбѣжны, какъ минуты, для всякой живой и сильной патуры; но она отнюдь не есть выраженіе паооса Пушкинской поэзіи, а скорѣе — случайное противорѣчіе паоосу его поэзіи. Призваніе Пушкина, характеръ и направленіе его поэзіи гораздо болѣе выражаются въ этомъ стихотворенів:

Въ часы забавъ, нль праздной скуки, Бывало лиръ я моей Ввърялъ извъженные звуки Безумства, лъни и страстей.

Но в тогда струны лукавой Невольно звоит я прерывать, Когда твой голосъ величавой Меня внезапно поражаль.

Я лиль нотоки слезь нежданныхь, И ранамь совъсти моей Твоихь ръчей благоуханныхь Отрадень чистый быль елей.

И ныпѣ съ высоты духовной Мпѣ руку простпраеть ты, И сплой кроткой и любовной Смираеть буйныя мечты.

Твоимъ огнемъ душа палима, Отвергла мракъ земныхъ суетъ И внемлетъ арфѣ серафима Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцанія міра, и такъ какъ она

безусловно признаетъ его настоящее положение, если не всегда утъшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ — по этому она отдичается характеромъ болъе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болье, какъ чувство, или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностію, муза Пушкина умъеть глубоко страдать отъ диссонансовъ и противоръчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотриданіемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую непэбъжность и не нося въ душъ своей идеала дучшей действительности и веры въ возможность его осуществленія. Такой взглядь на пірь вытекаль уже изь самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною едейностію, кротостію, глубиною и возвышенностію своей поэзін, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіп. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежить къ той школь искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ, и которая даже у насъ не можеть произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслідованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе, сдълались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередпло поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животренещущаго интереса, который возможень только какъ удовлетворительный отвъть на тревожные, бользиенные вопросы настоящаго. Эту мысль мы полите и ясите разовьемъ въ статьт о Лермонтовъ, въ которой постоянно будемъ имъть въ виду сравненіе обопхъ этихъ поэтовъ.

Въ стихотворенія «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Онъ презвраетъ чернь, и на ея приглашеніе — исправлять ее звуками лиры, отвъчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія.

Подите прочь! какое дело Поэту мирному до васъ? Въ развратъ каменъюте сивло: Не оживить вась лиры глась; Душъ противны вы какъ гробы. Для вашей глупости и злобы Имъли вы до сей поры Бичи, теминиы, топоры: Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметають сорь-полезный трудь! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у васъ метлу беруть? Не для житейского воливныя, Не для корысти, не для битек: Мы рождены для вдохновенья, Аля звуковь сладкихь и молитеь

Дъйствительно, смъшны и жалки тъ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на некусство втискивать въ размъренныя строчки съ рифмами разныя нравоучительныя мысли и требують отъ поэта непремённо, чтобъ онъ воспёваль имъ все любовь да дружбу и пр., и которые не способны увидьть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведении, если въ немъ нътъ общихъ нраво. учительных в мъстъ. Но если до истины можно доходить не тъмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тъмъ, чтобъ противорфчить имъ. — а тфиъ, чтобъ, забывая о ихъ существовани, смотръть на предметъ глазами разума. Не только ноэты, съ ихъ «вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами», но и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имъли бы инкакого значенія, еслибъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толна, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ тапиственной психеи народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состояніи порождать изъ себя великихъ поэтовъ не стоитъ названія народа пли націи — съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціяльной жизни своего народа, не можеть ни быть, ни называться народнымъ пли національнымъ поэтомъ. Никто, кромѣ людей ограниченныхъ и духовно-малольтныхъ, не обязываетъ поэта воситвать непремънно гимпы добродътели и карать сатирою порокъ; но каждый умный человъкъ вправъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвъты на вопросы времени, или по крайней мъръ, исполнена была скорбью этпхъ тажелыхъ, неразръшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И, дъйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдъ онъ просто воплощаетъ въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдт хочетъ быть мыслителемъ и ръшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе «Поэтъ», въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что поэтъ, пока не потребуетъ его Аполлонъ къ священной жертвь, ничтожнье всьхь ничтожныхь дьтей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваетъ съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орелъ, — но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишитъ поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тъмъ не менъе, всъ видятъ въ нихъ теперь не болье, какъ великихъ людей на малыя дѣла: всѣ знаютъ, что эти господа скоро выписываются и, изъ денегъ, громкими фразами, увъряютъ другихъ въ томъ, чему нѣкогда сами вѣрили, но чему теперь уже сами первые не втрять. Наше время преклонить колько передъ художинкомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарій на его творенія, а творенія — лучшее опра-

вданіе его жизии. Гёте не принадлежаль къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіею; но практическій и историческій пидеферрентизмъ не даль бы ему сдълаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его моіробъемлющаго генія. Личность Пушкина высока и благородиа; но его взглядъ на свое художественное служение, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тъмъ не менъе были цричиною постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумфренный восторгь возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, піесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чёмъ совершените становился Пушкинъ, какъ художникъ, тъмъ болъе скрывалась и изчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцінить художественнаго совершенства его поелъдинхъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она вправъ была пскать въ поэзіи Пушкина болъе правственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Между тъмъ, избранный Пушкинымъ путь оправдывался его натурою и призваніемъ: опъ не палъ, а только сділался самимъ собою, но по несчастію въ такое время, которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго вынгрывало нскусство, и мало пріобрътало общество. Какъ бы то ни было. нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйдти изъ заколдованияго круга своей личности, — и со всею добросовѣстностью человёка и художника написаль свое превосходное стихотвореніе «Поэту»:

> Поэть, не дорожи любовію народной! Восторженных похваль пройдеть минутный шумь:

Усынившь судь глупца и сибуь толны холодиой; Но ты останься твердь, спокосиь и угрюмь. Ты царь: живи одинь. Дорогою свободной Иди, куда влечеть тебя свободный умъ. Усовершенствуя плоды высокихь думь, Не требуя наградь за подвить благородной. Олб ть сичемъ тебв. Ты самь свой высшій судь; Вебуь стреже оцвать узбень ты свой трудь. Ты имъ довелень ли, выяскательчый уудожнить? Доролень? Такъ пускай телна тэбя (бакить. И имееть на алгарь, геб твей оголь герить, И въ ябленой ръзвости полебеть твей треножникь.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величи пенонятаго и оскорбленнаго художника... И когда онъ писалъ свои лучшія творенія—«Скунаго Рынаря "«Ігинетскія Ночи», «Русалку», «Мъднаго Всадинка», «Галуба» «Каменнаго Гостя». онъ всего менъе разсчитываль на восторгъ публики, и потому не торонился издавать ихъ...

Нав мелкихъ произведений его болье другихъ отличаются ирисутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмёстё съ тёмъ національнаго чувства, въ истинномъ значенін этого слова, стихотворенія, посвященныя памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть правственною точкою, въ которой должны сосредоточиться вев чувства, вев убъжденія, вев надежды. гордость, благоговиніе и обожаніе всихъ Русскихъ: Петръ Великій — не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россіи, но и всегда останется путеводною зв'єздою русскаго народа, благодаря которой Россія будеть всегда идти своею настоящею дорогою къ высокой цели правственнаго, человъческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ пигдъ пе является ни столько высокимъ, ин столько національнымъ поэтомъ, какъ въ тёхъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россін. Эти стихотворенія достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ, Петръ является въ «Полтавъ» и «Мъдномъ Всадинкъ»: объ нихъ мы будетъ говорить въ слъдующей статът. Изъ мелкихъ стихотворсній, Петру посвящены только двъ піссы, — но это перлы ноэзін Пушкина. Кромъ простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженіи, есть что-то русское, народное въ самомъ тонъ и складъ этихъ піссъ. Кто изъ образованныхъ Русскихъ (если онъ только дъйствительно Русскій) пе знаетъ превосходной піссы, посящей скромное и новидимому незначительное названіе «Стансовъ»? Эта пісса драгоцъпна русскому сердцу въ двухъ отношеніяхъ: въ ней, словно извалнный, является колоссальный образъ Иетра; въ связи съ инмъ находимъ въ ней поэтическое пророчество, такъ чудно и вполив сбывавнееся. о блаженствъ нашихъ дней:

Въ падеждъ славы и добра Гляку впередъ в безъ боязни; Пачало славныхъ длей Патра Мрачила мятежи и калии.

Но правдой онъ привленъ сердца, Но правы укротилъ паукой. И былъ отъ буйнаго стръльца Предъ пимъ отличенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой Онъ смёло съять просвёщенье, Не презпрать страны родной: Онь зналь ея предназначенье.

То академикъ, то герой, То мореилаватель, то илотипкъ, Опъ всеобъемлющей душой На троиъ въчный быль работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, Во всемъ будь пращуру подобенъ: Какъ онъ неутомимъ п твердъ, И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

Какое величіе и какая простота выраженія! Какъ глубоко зна-

менательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова—плотникъ и работникъ!... Кому неизвъстна также превосходная піеса Пушкина—«Пиръ Петра Великаго»? Это — высокое художественное произведеніе, и въ то же время — народная пъсня. Вотъ, передъ такою народностію въ поэзія мы готовы преклоняться; вотъ это — патріотизмъ, передъ которымъ мы благоговъемъ... А ужь воля ваша, ни народности, ни патріотизма не видимъ мы ни искорки въ новъйшихъ «драматическихъ представленіяхъ» и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеною капустою, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умълъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ спрыскивать живою водою своей творческой фантазіп немножко дубоватые матеріялы народныхъ нашихъ пъсень. Прочтите «Жениха», «Утоплениика». «Бъсовъ» п «Зпиній Вечеръ», — и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзіп уміль вызвать поэть своимь волшебнымь жезломъ изъ такихъ скудныхъ стихій... Эти піесы въ тысячу разъ лучше его же такъ называемыхъ сказокъ, этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзіп... но о нихъ рачь впереди. И если такихъ піесъ, какъ «Женихъ», «Утопленинкъ», «Бъсы», и «Зимий Вечеръ», у Пушкина немпого, въ этомъ, конечно, виновата ограниченность и бъдность сферы нашей народной поэзіп. Но Пушкинъ умѣлъ извлечь изъ нея дивную поэму, наполовину фантастическую, наполовину фактически положительную, и въ обопкъ случаякъ удпвительно поэтпчески върную дъйствительности русской жизни. Мы говоримъ о «Русалкъ», о которой, впрочемъ, ръчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзін, ръзко отдъляющимъ ее отъ прежней школы, принадлежитъ его художническая добросовъстность. Пушкинъ пичего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничъмъ не эффектируетъ, никогда не взводить на себя великолепныхь, но неиспытанныхь имь чувствь, и везде является такимь, каковь быль действительно. Такъ, напримерь, онъ узнаеть о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасиый случай изобразить свое отчаяніе, написать картипу страшной скорби, невыносимой муки!... Но сердце наше — вечная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подействовала на Пушкина роковая вёсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала... Увяла наконецъ, и върно надо мной Младая тънь уже летала; Но недоступная черта межь нами есть. Напрасно чувство возбуждаль я; Изъ равнодупныхъ устъ я слышалъ смерти въсть, II равнодушно ей внималь я: Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, (ль такою нёжною, томительной тоской, Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! Гдт муки, гдт любовь? Увы! въ душт моей Для отдиой, легковтрной ттип, Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Да, иепостижимо сердце человъческое, и, можетъ-быть, тотъ же самый предметъ внушилъ въ послъдствии Пушкину его дивную «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальной»)... Въ отношении къ художнической добросовъстности Пушкина, такова же его превосходная піеса «Воспоминаніе»: въ ней онъ не рисуется въ мантіи сатанинскаго величія, какъ это дълаютъ часто мелкодушные талантики, по просто, какъ человъкъ, оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ луша мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ перелъ судомъ своей

совъсти... Та же художинческая добросовъстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукранивая ихъ небывалыми красками, и изъ русской природы смъло дълая народію на итальянскую. Въ доказательство, приводимъ одну изъ самыхъ превосходивіншихъ и, въроятно, по этой причинъ, наименъе замъченныхъ поцъценныхъ піесъ Пушкина— «Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣнинкъ толстонузой, Готовый въкъ трупить надъ нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со вной, Попробуй, сладамъ ли съ преклятою хандрай. Что жь ты наукурплея? Пельзя ан блажь оставить И ивсенкою наст веселой нозабавить? Смотри, какой здъсь видъ: избушесь рядь убогой, За ними черноземъ, равнины скатъ отлогой, Надъ ними сфрыхъ тучь густая полоса, Гдв жь нивы святим? гдв темпые лвез? Едв рвила? На двирь, у пизкаго забора Два бідныхъ деревца стоятъ вь отраці взога, Двя только дерезца, и то изъ нихъ одно Даждивой осенью совских обнажено. А листья на другоми разложин и, желтви, Чтобь лу застрить, ждуть первего боров. И только. Из дворя жизой словям гять. Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двъ бабы еслъдъ. Безъ шанки опъ; песеть подъ мышкой гробъ ребенка II кличеть издали ланиваго поисика, Чтобъ тотъ отца позваль, да церковь отвориль: Споржи, ждать некогда, давно бъ ужь схоронилъ!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Овъ созерцель ее удивительно върно и живо, по не углублядся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслитъ о ней. И это служитъ новымъ доказательствомъ того, что наоосъ его поззіи былъ чисто артистическій, художинческій, и того, что его поззія должна сильно дъйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человъкъ. Если съ къмъ изъ великихъ евронейских ноэтовъ Пункциъ изтетъ игкоторое слодство, такъ болге всего съ Гёте, и сиъ еще голге нежели Гёте можетъ дъйствовать на развите и образование зуветла. Это, съ одгой стороны, его преимущество передъ Гёте и добгавтельство, что опъ больше нежели Гёте въредъ художивческому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ не самомъ неизмъримое превослодство Гёте исредъ Пушкинымъ: ибо Гёте — весь мыель, и опъ не просто изображалъ природу, а заставлялъ ее ратърызать передъ нимъ ел завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантенетическое созерцание природы и—

Было олу звъздная кинга ясна. И съ нимъ говорила морсков во на

Для Гёте, природа была раскрытая кинга идей; для Пушкина она была— полная невыразимаго, но безмольнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерцанія природы могуть служить піссы: «Туча» и «Обваль». Песлотря на всю разинцу въ содержаніи этихъ піссъ. обл оні — живопись въ пожін...

Мы уже говорили о разнообразін пожів Пункний о его удивительной способности легко в своболю переноситься въ самыя противоположных сферы жими. Въ эгочь отношенів, независимо отъ мыслительной глубины содержанія. Гункниъ напоминаєть Инексивра. Это доказывають заже мелкія его ніесы, какь в помы, в драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношенів, на перляя. Превосходинійнія вісем въ антологическомъ рода, занечатлівным дуломъ древне-заличекой музы, но ражанія Корану, вполив передаюція духъ исламизма в прасоты арабекой поэзія—блеставній глямот из пертическомъ въщів Пункцина! «Въ врови горить отонь меланьс». Вертоградь моей сестры», «Прерошь» в больное стихоте деніе, рода ноэмы, пенолненной глубокаго смысла и назгачой. Отрывкомъ

(т. ІХ, стр. 483), представляють красоты восточной поэзін другаго характера и высшаго рода, и иринадлежать къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протея. Мы говорили уже о «Женихъ», «Утопленинкъ», «Бъсахъ», и «Зимнемъ Вечеръ», — піесахъ, образующихъ собою отдъльный міръ русско-народной поэзін въ художественной формъ. «Ижени Западныхъ Славянъ» болъе, чъмъ что-инбудь доказываютъ непостижимый поэтическій такть Иушкина и гибкость его талапта. Извъстно происхожденіе этихъ пъсень и продълка даровитаго Француза Мерине, вздумавшаго посменться надъ колоритомъ мъстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти поддъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онъ дышатъ всею роскошью мъстиаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе — непзбѣжное, впрочемъ, свойство всёхъ народныхъ произведеній. — «Подражанія Данту» можно счесть за отрывочные переводы язъ «Божественной Комедіи», и онъ дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чёмъ всё доселе сделанные по-русски переводы въ стихахъ и прозъ. «Начало поэмы» («Стамбулъ гауры нынъ славятъ») какъ будто паписано Туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ видень въ этомъ таланть по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ, въ этомъ отношенін, въ большихъ піссахъ Пушкина!

Сдълаемъ теперь общій взглядъ на всѣ мелкія стихотворенія и поговоримъ о нѣкоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихся въ первой части, мы говорили почти обо всѣхъ. При началѣ поэтическаго поприща, Нушкина живо интересовала современная исторія — направленіе, которому овъ скоро совершенно измѣнилъ. Онъ воспѣлъ смерть Наполеона; въ превосходной піесѣ своей «Къ Морю», онъ принесъ достойную дань памяти Байрона, охарактеризовавъ его личность этими немногими, по сильными чертами:

Твой образь быль на немъ означенъ, Опъ духомъ созданъ быль твоимъ: Какъ ты могущъ, глубокъ и мраченъ, Какъ ты, ничъмъ неукротимъ.

Андре Шенье быль отчасти учителемъ Пушкина въ древней классической поэзіи, и въ элегіи, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ, многими прекрасными стихами, върно воспроизвелъ его обравъ. Въ превосходной піесъ «19 октября», мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ, какъ съ человъкомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человъка. Вся эта піеса посвящена имъ воспоминанію объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежатъ уже къ прошедшему времени: такъ, напр.. теперь, когда уже вывелись восторженные юноши-поэты, въ родъ Ленскаго (въ «Онфгинъ»). никто не говоритъ «о Шиллеръ, о славъ, о любви», но піеса отъ этого тъмъ дороже для насъ, какъ живой памятникъ прошлаго.

«Сцена пзъ Фауста» есть не переводъ пзъ великой поэмы Гёте, а собственное сочинение Пушкина въ духъ Гёте. Превосходная піеса, но павосъ ея несовсъмъ Гётевскій. Прекрасная маленькая піеска: «Воронъ къ ворону летитъ» есть передълка на русскій ладъ баллады Вальтеръ Скотта. Піесы, составляющія третью часть, болѣе проникцуты грустью, но не элегическою: это даже не грусть, а скорѣе важная дума испытаннаго жизнію и глубоко всмотрѣвшагося въ нее таланта. Чувство гуманности во многихъ піесахъ этой части доходитъ до какого-то внутренняго просвѣтлѣнія. Таковы въ особенности піесы: «Когда твои младыя лѣта» и «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Заключеніе послѣдней превосходно: есть что-то похожее на пантенстическое міросозерцаніе Гёте въ послѣднемъ куплетъ: томпмый грустнымъ предчувствіемъ близкаго конца, поэтъ говоритъ, что ему хотѣлось бы заснуть на вѣки

въ родномъ краѣ, хотя для безчувственнаго тѣла вездѣ равно истлъвать —

И пусть у гробоваго входа Младая будеть жизнь играть. И равнодушися природа Красою жълною сіять!

Изъ этого, какъ и изъ многихъ, особенно большихъ, піесъ Пушкина, видно, что онъ поставлялъ выходъ изъ диссонансовъ жизни и примиреніе съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ, а въ оппрающейся на самое себя силъ духа...

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе «Къ Вельможь». Это—полная, днвиыми красками излисанная партина русскаго XVIII въка. Нъкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осмъливались, въ своихъ полемическихъ выходкахъ, бросать тынь на характеръ великаго поэта, думая видыть лесть тамъ, глф должно видыть только въ высшей степени художественное постиженіе и изображеніе цълой этохи въ лиць одного изъ замъчательнъйшихъ ел представителей. Стихи этой ніесы — само совершенство и вообще вся піеса одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэтъ, съ дивною върностью изобразивъ то время, еще болье оттъпяеть его черезъ контрасть съ нашимъ:

Все изменилося. Ты видель вихорь бура. Издейс гесто, солза ума и фурій. Свободой громною вездан лутый законь. Подь гильотиною Версаль и Тріанонь. И прачими укасоми смененани забачы. Ирообралися мірь пон громамь новой славы. Дажо Ферней умолью. И, інтель твой Вольгерь, Иревратилсти судебь различляний инпекрь. Не успожоввинсь и къ гробовомь жилинь. Дольна странстауеть съ кладочна на кладочце. Баронь д'Ольбамь, Морле, Сальши. Дидероть, Энциклопедін скентическій приметь, И колкій Бомарине, и твой белюській Касти, Вев, вев уже прошли. Ихъ мивнья, толки, страсти Забыты для другахъ. С отра: вокругь тебя Все новое кинить, былое истреба. Свидътелями бывь вчераннияге илденья, Едва оно анались заладал нокольчал Кестокихъ опытовъ сбирая поздині илодь. Они торонятся съ расходомъ свесть приходь. Ичъ некогда шутить, объдать у Темпры, Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры, Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.

Вообще, третья часть заключаеть въ себѣ лучшія мелкія піесы Пушкина, не говоря уже о двухъ превосходивішнуъ драматическихъ очеркахъ — «Моцартъ и Сальери» и «Пиръ во время чумы». Въ самомъ стихъ видънъ большой уситхъ. Н между тъмъ, аристаруами того времени эта часть была приията очень дурно. «Кавказъ», «Обвалъ», «Монастырь на Казбекъ», «На лолмахъ Грузін лежитъ ночная мела». «Не плъняйся бранной славой», «Когда твои младын лета». «Зима. Что дваать намъ въ деревиъ», «Замнее Утро», «Калиычкъ», «Что въ имени тебъ мосмъ», «Брожу ли я вдоль улидъ шумпылъ», «Въ часы забавъ, иль праздной скуки», «Къ Вельможъ», «Поэту», «Отвътъ Апоничу», «Нью за здравіе Мери», «Бъсы», «Трудъ», «Цыгане». «Мадонна». «Эло», «Клеретипкамъ Росеін», «Бородиненая Годовщина», «Узникъ», «Зимкій Вечеръ», «Даръ напрасный, даръ случайный», «Каковъ я прежде былъ, таковъ и пынь я», «Анчаръ», «Примьты»: во всехъ этихъ піесахъ критиканы 4832 года увидѣли несомнѣнные признаки паденія Пушкина!... То-то были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно запата русскими сказ ками и «Ифсиями Западных» Славянъ», мелкихъ піссъ пемного, по онъ веж превосходны, «Гусаръ», «Булрысъ п его Сыновья», «Воевода» — мастерскіе переводы паъ Мицкевича;

«Красавица», двѣ піесы «подражаній древипмъ» и «Элегія» («Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье») принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ Пушкпна. Кромѣ того, въ четвертой части напечатанъ «Разговоръ кипгопродавца съ поэтомъ», явившійся въ первый разъ въ видѣ предисловія къ первой главѣ «Евгенія Онѣгина». Этотъ «Разговоръ» отзывается первою эпохою поэтической дѣятельности Пушкина и несовсѣмъ кстати попалъ въ четвертую часть его сочиненій.

Къ позднъйшимъ сочиненіямъ Пушкина, которыя бы должны были составить пятую часть его мелкихъ стихотвореній, принадлежать: «Туча», «Аквилонъ», «Ппръ Петра Великаго», «Полководецъ» (одно изъ превосходивишихъ созданий Пушкина), «Покровъ, упитанный язвительною кровью» (изъ А. Шенье). Въ IX-й томъ изданныхъ по смерти его сочиненій вошли нъкоторыя изъ старыхъ, непонавшихъ по недосмотру въ нервые тома, и нъкоторыя изъ новыхъ произведеній, которыхъ авторъ не хотель нечатать, а пекоторыя и изъ действительно последнихъ его произведеній. Во всякомъ случав, лучшія изъ нихъ: «Памятникъ», «Разлука», «Не дай мив Богъ сойдти съ ума», «Три ключа», «Пажъ, или пятнадцатилътній король», «Подражаніе Итальянскому», «Подражаніе Арабскому» («Отрокъ милый, отрокъ иѣжный»). «М. Л. Г», «Лицейская Годовщина», «Къ Гивдичу» («Съ Гомеромъ долго ты бестдовалъ одинъ»). «Разставаніе», «Романсъ», «Ночью, во время безсонницы», «Заклинаніе», «Капризъ», «Подражаніе Данту», «Отрывокъ», «Последніе Цветы», «Кто знаеть край, где небо блещеть», «Осень». «Начало Поэмы», «Герой», «Молитва», «Опять на родиић», да еще пропущенныя вовсе: «Нътъ, нътъ, не долженъ я, не смъю, не могу» и «Признаніе» (А. И. О — й).

До какого состоянія внутренняго просвѣтлѣнія возвысился духъ Пушкина въ послѣднее время, могутъ служить фактомъ двѣ маленькія піески—«Элегія» и «Три "Ключа»:

Безумных лять угасшее веселье Мий тяжело, какъ смутное похмилье; Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней Въ моей души чимъ стари, тимъ сплъний. Мой путь унылъ. Сулить мий трудъ и горе Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о други умирать!
И жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И, въдаю, мит будутъ наслажденья
Межь горестей, заботъ и треволненья:
Порой онять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.
И, можетъ-быть, на мой закатъ печальной
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

Въ степи мірской, печальной п безбрежной, Тапиственно пробились три ключа: Ключь юности—ключь быстрый и мятежной, Кипить, бѣжить, сверкая и журча; Кастальскій ключь волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковь попть; Послѣдиій ключь—холодимій ключь забвенья. Онь слаще всѣхь жарь сердца утолить.

Заключимъ нашъ обзоръ мелкихъ лирическихъ піесъ Пушкина мивніемъ о нихъ Гоголя. — мивніемъ, въ которомъ, конечно, сказано больше и лучше, нежели сколько и какъ сказали мы въ цілой стать в нашей:

«Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ — этой предестной антологіи. Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширитье, видите, нежели въ ноэмахъ. Нъкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ ръзко ослъпительны, что ихъ снособень понямать всякой, но за то больная часть изъ нихъ, и притомъ сямыхъ лучнихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толны. Чтобъ быть снособну понимать ихъ, нужно имътъ слишкомъ тонкое обоняніе: нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только одитъ слишкомъ разкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который только одить понимать только одить слишкомъ разкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который только одить понимать слодомъ, который только одить понимать одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ обыть въ нъкоторомъ отношеніи снбаритомъ, который только одить слишкомъ одить слишкомъ

пріятности привыкничу глотать изділія крітностваго новара. Это собраніе его челкихъ стихотвореній-- рядъ самыхъ ослінительныхъ картинъ. Это тотъ ясный чірь, который такъ дынеть чертами, знакомыми однимъ древинмъ, въ которомы природа гыражается такъ же живо, какъ въ струб какой-нибудь серебраной раки, на кота возвобыетро и ярко челькають осланительныя илечи, или бълыт руки, или влебастровая шея, обсыпапная ночью темныхъ кудрей, вли прозрачных грездія винограда, изи мирты и древесная стив, созданных для жимни. Туть все: и наслаждение и простота, и меновенияя высокость мысли, вдругь объе: игдая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здісь ивть этого наскада праспорвчія, увлекающаго только чистословілсь, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединается съдругими и оглушаеть падеціеть вечії массы, по если отділить се, опа становится слабою и безепльного. Зугсь вёть прасморныйя, забсь одиз поэзія; инкакого паружнаго блеска, все просто, все исполнено внутренняго блеста, который раскрывается не вдругь; все лаконизмь, какимъ всегда бываеть чистая поззія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначають все. Въ каждомъ словъ бездна пространства: каждое слово необъятно, какъ нолть. Отсюда провеходить то, что эти медкія сочиненія перечатываень ибекоцько разъ, тогда какъ достоинства этого не имфетъ сочинение, въ которомъ слишкомъ просвъчиваетъ озна главная илея.

- Инт всегда было странно слынать сужденія объ нихъ вногихъ, слывущихъ внатоками и литераторами, которымъ я болъе довъряль, покамъсть еще не слыналь ихъ толковь объ этомъ предметь. Эти мелкія сочиненія можно нажать пробиныть кампемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижное дѣло! казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ иламенны, такъ сладострастны и вмѣстѣ такъ дѣтски-чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы! это неотразимая истина: чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаеть онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тѣмъ замѣтиѣй уменьшается кругь обступившей его толы и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можеть неречесть но назыцамъ всѣхъ своихъ истинымъ цѣнителей.

VΊ

Поэмы: «Русланъ и Людинла», «Кавказскій Плфиникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Братья Развойники».

Нельзя ин съ чемъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первою поэмою Пушкина-«Руслапъ п Людипла». Сланкомъ немногимъ геніяльнымъ твореніямъ удавалось производить столько шума, сколько произвела эта детская и нисколько не геніяльная поэма. Поборники новаго увидели въ кей колоссальное произведение, и долго посль того величали они Иушкина забавимыь титломы «преда Руслана и Людмизы» Представители другой крайности, елиные новлонинки старины. польните колпаки, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ «Руслана и Людмилы». Они увильли въ ней все, чего въ ней нътъ-чуть не безбожіс, и не увидъли въ ней инчего изъ того, что именно есть въ ней, то есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мъстами, проблесковъ поззін. Перелистуйте, отъ скуки, журналы 1820 года, — и вы съ трудомъ повърите, что все это писалось и читалось не болье, какъ какихъ-инбудь 24 года назадъ... И это относится не къ однимъ порицательнымъ, но и къ хвалительнымъ статьямъ, которыми наводиплись журналы того времени вследствие ноявления «Руслана и Людинлы». Впрочемъ, подобпое явление столько же понятно, сколько естественно п обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности углубляться въ сущность вещей, раздъляются на старовъровъ и на верхоглядовъ. Первые стоятъ за старое и следуютъ мудрому правилу: «все старое хорошо, потому что оно-старое, а все новое дурно, нотому что оно-новое»; вторые стоять за новое и слъду-

ютъ мудрому правилу: «все новое хорошо, потому что оно -новое, а все старое дурно, потому что оно—старое». Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ партій, онъ очень похожи одна на другую, потому что источинкъ ихъ возгрънія, при всемъ своемъ различіи, одинъ и тотъ же: это-правственная слъпота, препятствующая видъть сущность предмета. Старовъры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляются привычкою, которая замфияеть имъ размышленіе и избавляеть ихъ отъ всякой умственной работы. Привыкнувъ съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ великъ и точно ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго, кто осмфлился бы усомниться въ величін этого писателя. Такимъ-то образомъ, до появленія Пушкина, у нашихъ словесниковъ слыли за великихъ писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ, —и въ ихъ глазахъ, Державинъ по тому же самому былъ великъ, почему и Сумароковъ съ Херасковымъ, то есть по неоспоримому праву давности, а совстиъ не потому, чтобъ они умъли чувствовать и постигать красоты его поэзіп. У кого есть эстетическій вкусь и кто способенъ находить красоты въ Державинъ, тотъ уже не можетъ восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ, или Петровымъ, — а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговъли передъ Сумароковымъ и Херасковымъ, какъ и нередъ Державинымъ; Ломоносова же считали одни наравиъ съ Державинымъ, другіе ставили выше Державина, а третьи оставались въ недоумении, кому изъ инхъ отдать пальму первенства. Ясный знакъ, что вежми этими мижніями управляла привычка, одна привычка, и больше ничего... Каково же было дожить этимъ старымъ дътямъ привычки до такого страшнаго поруганія, когда общій голось публики нарекь знаменитымъ поэтомъ какого-то Александра Пушкина, который, по

метрическихъ книгамъ, жилъ на свъть не болье двадцати одного года! Къ вящшему соблазиу, реченный Пушкинъ осмѣлился писатъ такъ, какъ до него никто не писалъ на Руси, возымълъ неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйствоидти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себт за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ, великихъ поэтовъ иностранныхъ и россійскихъ, каковы: Гомеръ, Пиндаръ, Виргилій, Горацій, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, Буало, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Дмитріевъ и проч. А извъстно и въдомо было въ тъ времена каждому, даже и неучивщемуся въ семинаріп, что талантъ безъ подражанія геніямъ, утвержденнымъ давностію, гибиетъ втунъ жертвою собственнаго своевольства. Самъ Жуковскій, хотя онъ и крѣпко насолилъ словесникамъ своимп балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковскій держался Шиллера; а Батюшковъ именно потому и былъ отличнымъ поэтемъ, что подражалъ Парни и Милльвуа, которые, вийсти взятые, не годились ему и въ парпасскіе каммердинеры... По всемъ этимъ резонамъ, долой Пушкина! Или онъ, или мы, а вмісті съ нимъ намъ тісно на землі!.. И это продолжалось не менъе десяти лътъ сряду. Однакожь Пушкинъ устоялъ, и теперь развъ только какія-нибудь летературныя аномаліп, которыхъ одно имя возбуждаетъ смъхъ, вопіютъ еще неръдко противъ законности правъ Пушкина на титло великаго поэта; но они противопоставляють ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая пспеченныхъ геніевъ, которые

> . . . немножечко деруть, За то ужь въ ротъ хибльнаго не беруть, И вев съ прекраснымъ поведеньемъ.

Такъ всегда время побъждаетъ предразсудки людей, и на ихъ развалинахъ возстановляетъ побъдоносное знамя истины; но тъмъ не менъе для будущаго времени всегда остается та же работа. Въ продолжении почти пятнадцати летъ, все привыкли къ имени Пушкина и къ его славъ, а потому всъ и повърили наконецъ, что Пушкинъ-великій поэтъ. Но отъ этого дъло не исправилось для будущихъ поэтовъ, и ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и съ свистками и съ каменьями, до тъхъ поръ, пока не привыкнутъ къ ихъ вменамъ и ихъ славъ. Развъ теперь не то же самое сбывается на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, что было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, по какому-то внутреннему безсознательному побужденію, съ жадностію читають каждое повое произведение Гоголя и чуть не наизусть знають вск прежнія его сочиненія, а между тёмъ приходять въ непритворное негодование, если при нихъ Гоголя называютъ великимъ поэтомъ... Подождите еще ивсколько-привыкнутъ, и тогда — горе человъку, который сдълаетъ хотя бы дъльное замъчание не въ пользу Гоголя... Такова ужь натура этихъ людей! Они кланяются только побъдителю и признають власть только того, кого боятся...

Но не лучше старовъровъ и верхогляды, которые рукоплещутъ только торжеству настоящей минуты и не хотятъ знать о заслугъ, которую сами же прославляли за пъсколько дней перелъ тъмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературъ они видятъ только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, какъ всъ водевили, для нихъ важиъе и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя отъ Ума» Грибоъдова, и «Ревизора» Гоголя. Они совсъмъ не то, что люди движенія, которые, въ своей крайности, восторгаясь новымъ литературнымъ явленіемъ, отрицаютъ всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Нътъ, верхогляды совсъмъ не фанатики: они не отрицаютъ важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотятъ ихъ знать; старо же для нихъ все, что появилось

хотя за день до какой мпбудь пошлости, занявшей ихъ сегодия. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всёхъ замъчательныхъ русскихъ поэтовъ, по на одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державия, ни Карамзина, ни Дмитріева, ип Озерова. Они читаютъ только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустяковъ.

Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ приверженцахъ старины, которые отстанваютъ старое противъ новаго по привязанности къ школѣ, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались. Въ людяхъ этого разряда много смѣшнаго и жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не дѣти привычки, о которыхъ мы говорили выше; это — дѣти извѣстной доктрины, извѣстнаге ученія, извѣстной мысли. Равнымъ образомъ и противоположные имъ поклонники новаго, какъ новой мысли, поваго созерцанія, новаго духа, заслуживаютъ любовь и уваженіе, несмотря на ихъ крайности и смѣшныя, одностороннія убѣжденія. Фанатизмъ не есть истина, но безъ фанатизма иѣтъ стремленія къ истинѣ. Фанатизмъ — болѣзнь; но вѣдь болѣзнь есть припадлежность только живаго, а не мертваго: камень или трупъ не знаютъ болѣзни...

Причиною энтузіазма, возбужденнаго «Русланомъ и Людмилою», было, конечно, и предчувствіе новаго міра творчества, который открываль Пушкинъ всёми своими первыми произведеніями; но еще болье это было просто обольщеніе невиданною дотоль новникою. Какъ бы то ин было, но пельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла инчего нодобнаго «Руслану и Людмиль». Въ этой поэмь, все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характерь вифсть съ серьёзными картинами. Но бышенаго негодованія, возбужденнаго сказкою Пушкина, нельзя было бы совсьмь нонять, еслибъ мы не знали о существованіи старовъровъ, дътей привычки. На что оздились они? На ньсколько

вольныя картины въ эротическомъ духъ? — Но они давно уже знакомы были съ ними чрезъ Державина, и въ особенности, чрезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину, напримъръ, Аріосту, Царни, несмотря на то, что вольности въ «Руслант и Людинлт» -сама скромность, само цъломудріе въ сравненія съ вольностями этихъ писателей. Это были инсатели старые: къ ихъ славъ давно уже вев привыкли, а потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавите всего, что «Душенька» Богдановича была признаваема старовърами за произведение классическое, то-есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено никакому сомнению. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особещо восхититься поэмою Пушкина, которая во всёхъ отношеніяхъ была неизмёримо выше «Душеньки» Богдановича. Стихъ Богдановича прозапченъ, вялъ, водянъ, языкъ обветналый и сверхъ того до нельзя искаженный такъ называвшимися тогда «пінтическими вольностями»; поэзім почти нисколько; картины блёдны, сухи. Словомъ, несмотря на всю пезначительность «Руслана и Людмилы», какъ художественнаго произведенія, смёшно было бы доказывать неизмёримое превосходство этой поэмы передъ «Душенькою». Сверхъ того, она навъяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней, кромв именъ, нътъ инчего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нътъ ни искорки; романтизмъ даже осмъянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ «Двънадцати Спящихъ Дъвъ». Короче: поэма Пушкина должна была бы составить торжество псевдо-классической партіп того времени. Но не тутъ-то было! При второмъ изданіи «Руслана и Людмилы», вышедшемъ въ 1828 году, припечатано несколько ругательныхъ статей на эту поэму, написанныхъ въ 1820 году; перечтите пхъ — в

вы не повърите глазамъ своимъ! Для образчика такихъ критикъ, выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, напечатанной въ «Въстиикъ Европы» 4820 года (т. СХІ, стр. 246 — 220), по случаю помъщеннаго въ «Сынъ Отечества» отрывка изъ «Руслана и Людмилы» еще до появленія этой поэмы вполнъ:

«Теперь прошу обратить ваше вниманіе на новый ужасный предметь, который, какъ у Камоэнса Мысь бурь, выходить изъ нѣдръ морскихъ и показывается посереди Океана Россійской словесности. Пожалуйте напечатайте же мое инсьмо: быть можеть, люди, которые грозять нашему терпѣнію новымъ бѣдствіемъ, опомнятся, разсмѣются—и остановять намъреніе сдѣлаться изобрѣтателями новаго рода русскихъ сочиненій.

«Дбло воть въ чемъ: Вамъ извъстно, что мы отъ предковъ получили небольшое бъдное наслъдство литературы, т. е. сказки и плосни народимя.
Что объ нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты даже самыя
безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности
нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомивнія! Мы любимъ восноминать все относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени дътства,
когда какая-нибудь пъсия или сказка служила намъ невинною забавой и составляла все богатство познаній? Видите сами, что я не прочь отъ собпранія
и изысканія Русскихъ сказокъ и пъсенъ; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пъсна совствъ съ другой стороны, громко закричали о величіи, плавности, силъ, красотахъ, богатствъ нашихъ стариныхъ
пъсенъ, начали переводить ихъ на Нъмецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и плосии, что въ стихотвореніяхъ XIX въка заблистали
Ерусланы и Бовы на новый манеръ; то я вамъ слуга покорный!

Чего добраго ждать отъ повторенія болье жалкихь, нежели смінныхь лепетаній?... чего ждать, когда паши поэты начинають пародировать Киршу Данилова?

•Возможно ли просвъщенному, пли хоть немного свъдущему человъку терпъть, когда ему предлагають новую позму, писанную въ подражание Еруслану Лазаревичу? Извольте же заглянуть въ 15 и 16 № Сына Отечества. Тамъ неизвъстный піпть на образчико выставляеть намъ отрывокъ изъ позмы своей Людмилла и Русланъ (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будеть содержать цъля позма; по образчико кого выведеть изъ терпънія. Піпть оживляеть мужсичка само со ноготь, а борода со локоть, придаеть еще ему безконечные усы (С. Отеч. стр. 124), показываеть намъ въдьму, шаночку невидимку и проч. Но воть что всего драгоцівнить: Русланъ набъжаеть въ поль на побитую рать, видить богатырскую голову, подъ которою лежить мечь-кладенець; голова съ нимъ разглагольствуеть, сражается...

Живо помню, какъ все это, бывадо, я слушаль отъ няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же услышать отъ поэтовъ нынфиняго времени... Для большей точности пли чтобы лучше выразить всю предесть старинаго нашего пъснословія, поэть и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разсказсчику, напримъръ:

... Шутите вы со мною Всъхъ удавлю васъ бородою!...

Каково?

らいというというという。

. . . Объткаль голову вругомъ И сталь предв посомы молчаливо. Шекотить поздра конісмь...

Картина, достойная Кирши Данилова! Далѣе чихнула голова, за нею и ехо чихаеть. . Вотъ что говорить рыцарь:

Н тау, тау не свищу, А какъ натау, не спушу...

Потомъ рыцарь ударяетъ голову въ исеку тяжелой рукавицей... По увольте меня отъ подробнаго описанія, и нозвольте спросить: еслибы въ Московское Благородное Собраніе какъ нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякв, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычимъ голосовъ: здорово ребята! Пеужели бы стали такимъ проказинкомъ любоваться! Бога ради, нозвольте мив старику сказать публикв, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждой разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. За чъмъ депускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между пами. Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвъщеннымъ, отвратительна, а ин кало се смѣшна и не забавна. Dixi.

Житель Бутырской Словоды.

И такъ, ясно, что «бутырскаго» критика оскорбилъ прежде всего сказочный характеръ поэмы «неизвъстнаго пінты», т. е. Пушкина. Но какой же, если не сказочный хакратеръ Аріостова «Orlando furioso»? Правда, рыцарскій сказочный міръ заключаетъ въ себъ несравненно больше поэзіп и занимательности, чтиъ бъдный міръ русскихъ сказокъ; но что касается до сказочныхъ нельностей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика, — ихъ довольно въ поэмъ Аріоста, и онъ, право стоятъ «мужичка самъ съ ноготь, а борода съ локоть», пли головы богатыря. Но то, видите ли, Аріостъ, писатель классическій, котораго слава уже утверждена была слишкомъ

двуми стольтіями: стало-быть, къ нему и къ его славъ уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужь въ-шухъ разругали... Притомъ же, Аріоста самъ Вольтеръ объявилъ «величайшимъ изъ новейшихъ поэтовъ»: стало быть, после такого авторитета, какъ авторитетъ Вольтера, смело можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться въ просакъ. Въдь литературные авторитеты, подобно Корану, на то п существують, чтобь люди могли быть умны безь ума, свъдущи безь ученія, зпающи безъ труда и размышленія и безошибочноправы безъ помощи здраваго смысла. Вотъ другое дело, еслибъ кто изъ признапныхъ авторитетовъ, папримѣръ Ломоносовъ или Поповскій, могли объявить свое мивніе въ пользу «Руслана и Людмилы», тогда всъ единодушио признали бы эту сказку геніяльнымъ произведеніемъ! Хорошая порука — важное діло, и чужой умъ — всегда спасеціе для тіхуь, у кого нътъ своего... Что бутырскій критикъ нашелъ пошлыми не только выраженія «удавить бородою, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копіемъ» и «Еду не свищу, а наёду не спущу», по и «умирающій лучь солнца», — это опять происходило отъ привычки къ облизаннымъ прозанческимъ общимъ мъстамъ предшествовавшей Пушкину поэзіп, и отъ непривычки къ благородной простоть и близости къ натуръ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ «Руслана и Людмилы», что рифмы «языкомъ» и «копіемъ» пазваль мужицкими... Видите ли: строго придирались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безусловные поклонники встхъ русскихъ поэтовъ до Пушкина, которые изо всехъ силъ и со всевозможиымъ усердіемъ уродовали русскій языкъ незаконными усьченіями, пасиліємъ грамматики и разными «пінтическими вольностями». Каковъ бы ни быль стихъ въ «Русланъ и Людиняв», но въ сравнения со стихомъ «Душеньки» Богдановича, сказокъ

Амитріева, «Странствователя и Домостда» Батюшкова и даже «Двънадцати Спящихъ Дъвъ» Жуковскаго, онъ—само пзящество, сама поэзія. Оскорбленная привычка этого не замѣчала, а если замѣчала, то для того только, чтобъ, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ непростительную вину то, что считала чуть не достоинствомъ въ старыхъ. Какъ человъкъ съ огромнымъ талантомъ, эту привязчивость возбудиль къ себъ и Гриботдовъ. При «Въстникъ Европы» одинъ бутырскій критикъ состояль въ должности явиаго зоила встхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому, «Горе отъ Ума» возбудило всю желчь его. Такъ, между прочимъ, было сказано по поводу отрывка изъ «Горя отъ Ума», помъщеннаго въ альманахъ «Талія»: «Смъемъ надъяться, что всъ, читавшіе отрывокъ, позволять намъ, отъ лица всехъ, просить г. Грибоъдова издать всю комедію». Бутырскій крптикъ «Въстника Европы», указавъ на эти слова, восклицаетъ: «Напротивъ, лучше попросить автора не издавать ея, пока не переменить главнаго характера и не исправить слога» («Въстн. Евр.», 1825, № 6, crp. 115).

Мы указываемъ на всё эти диковинки, разумёется, не для того, чтобъ доказать ихъ чудовищиую нелёность: игра не стояла бы свёчь, да и смёшно было бы снова позывать къ суду людей, и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всёхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса. Нётъ, мы хотёли только охарактеризовать время, и иравы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмёстё съ тёмъ и показать, какую роль чудовище привычка играетъ тамъ, гдё бы должны были играть роль только умъ и вкусъ. Оставимъ же въ стороиё эти допотонныя ископаемыя древности, заключающіяся въ затвердёлыхъ иластахъ «Вёстника Европы», и обратимся къ «Руслану и Людмилъ».

STATE OF STA

Бутырскіе критики, какъ мы видёли, особенно оскорбились въ «Русланъ и Людмиль» тъмъ, что показалось имъ въ этой поэмь колоритомъ мъстности и современности въ отношении къ ея содержанию. Но именно этого-то совствъ и итъ въ сказкѣ Пушкина: она столько же русская, сколько и нѣмецкая или китайская. Кирша Даниловъ не виноватъ въ ней ни душою, ни теломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ иъсень больше русскаго духа, чъмъ во всей поэмъ Пушкина, хотя онъ, въ своемъ поэтпческомъ прологѣ къ ней, и сказаль: «Тамъ русскій духь, тамъ Русью пахнеть». В роятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ «Руслана и Людмилу»: иначе, онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзін, и тогда его поэма имьла бы, по крайней мьрь, достоинство сказки въ руссконародномъ духъ и притомъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго — одни только имена, да и то не всъ. И этого руссизма изтъ такъ же и въ содержаніи, какъ и въ выраженіп поэмы Пушкина. Очевидно, что она — плодъ чуждаго вліянія и скорте пародія на Аріоста, чтит подражаніе ему, потому что надёлать нёмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей—значить исказить равно и нѣмецкую и русскую действительность. Намъ такъ мало осталось памятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ красно-солнышко столько же для насъ миоъ, сколько Владиміръ, просвътитель Руси, историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является двиствующимъ лицомъ языческій Владиміръ, явно сложены въ позднейшія времена. П потому, Пушкинъ отъ преданія только и воспользовался, что словом'ь «солице», приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатая! Во всемъ остальномъ, его Владиміръ-солице пародія на какого нибудь Карла Великаго. Таковы же и Русланъ, и Рогдай, и Фарлафъ: дъйствительность ихъ, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, какъ и дъйствительность Финпа, Наппы, богатырской головы и Черномора. Пушкинъ съ особенною радостью ухватился было за такъ называемаго «въщаго Баяна», понявъ слово «баяпъ» какъ нарицательное и равнозначительное словамъ: «скальдъ, бардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ». Въ этомъ онъ раздълялъ заблужденіе всъхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ «Словъ о Пълку Игоревъ» въщаго баяна, соловья стараго времени, который «аще кому хоташе пѣснь творити, то растекашется мыслію по древу, стрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы», — заключили изъ этого. что Гомеры древией Руси назывались баянами. Что въ древией Руси были свои пъсельники, сказочники, балагуры и прибауточники, такъ же, какъ и теперь въ простомъ народъ бываютъ подобные. - въ этомъ нътъ сомивнія; но, но смыслу текста «Слова», ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да н Баянъ «Слова» такъ неопредъленъ и загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже в остроумныхъ догадокъ, на которыя такъ щедры досужіе антикварін, а тімь менье можно заключить изъ него что-нибудь достовърное. И потому весь баянъ Пушкина — ни болъе. ни менће, какъ риторическая фраза. О прологѣ къ «Руслану и Людмилъ» дъйствительно можно сказать: «Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ»; но этотъ прологъ явился только при второмъ издапів поэмы, то-есть черезъ восемь літь послі перваго ея изданія, стало-быть, тогда какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзін. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается «Русланъ и Людмила», отъ стиха: «Дъла давно менувшихъ дней», до стиха: «Низко кланялись гостямъ», дъйствительно «пахнутъ Русью»; но ими начипается и ими же и окапчивается русскій духъ всей этой ноэмы; больше въ ней его слыхомъ не слы-

хать, видомъ не видать. Мы даже подозръваемъ, что не были ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поводомъ къ присочиненію къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта — шалость сильнаго, еще незрѣлаго таланта, который, кипя жаждою діятельности, схватился безъ разбора за первый предметь, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы — шуточный. Поэтъ не принимаетъ никакого участія въ созданныхъ его фантазіею лицахъ. Онъ просто — чертилъ арабески и потъшался ихъ забавною странностію. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замъчаль въ послъдствін, она холодна. Въ самомъ діль, въ ней много граціп, пгривости, остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодъ о Финив проглядываетъ чувство; оно вспыхиваетъ на минуту въ воззванін Руслапа къ устяпному костьми полю, но это воззвание оканчивается ифсколько риторически. Все остальное хололно.

Вообще, «Русланъ и Людмила» для двадцатыхъ годовъ имѣла то же самое значеніе, какое «Душенька» Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумѣется, великъ перевѣсъ на сторопѣ поэмы Пушкина, и въ отношеніи къ превосходству времени и къ превосходству таланта. Но наше время далеко впереди обѣнхъ этихъ энохъ русской литературы. — и потому, если «Душеньку» тенерь иѣтъ никакой возможности прочесть отъ пачала до конца, по доброй волѣ, а не но нуждѣ, которая можетъ заставить прочесть и «Тилемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только перелистывать, отъ нечего дѣлать, но уже пельзя читать, какъ что-инбуль дѣльное. Ея литературно-историческое значеніе гораздо важиѣе значенія художественнаго. По своему содержанію и отдѣлкѣ, она принадлежитъ къ числу переходныхъ піесъ Пушкина, которыхъ характеръ составляетъ по дновленный классицизмъ: въ нихъ Пушкинъ является

улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Батюшковымъ. Въ «Русланъ и Людмилъ», какъ мы уже сказали выше, нътъ ни призрака романтизма; даже ощутителенъ недостатокъ поэзін, несмотря на все изящество выраженія и всю прелесть стиха, неслыханныя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы, какъ ни много она выше обветшалыхъ формъ прежней поэзіп, — есть звенья, соединяющія «Руслана и Людмилу» съ прежнею школою поэзін: мы разумъемъ здъсь употребленіе словъ: «брада, глава» и произвольное употребленіе усвченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмъ Пушкина найдется больше десятка. Словомъ, еслибъ не недостатокъ самомыслительности и не избытокъ привычки, такъ называемые классики того времени должны были бы торжествовать, какъ свою побъду вадъ такъ называвшимися тогда романтиками, появленіе «Руслана и Людиплы», — на Пушкинъ сосредоточить всъ надежды своей партіп, а истиннаго представителя романтизма, следовательно, самаго опаснаго ихъ врага видъть въ Жуковскомъ. Въ самомъ дёль, нькоторые изъ нихъ были какъ-будто близки къ этому взгляду. Въ «Въстникъ Европы» 1824 г., одинъ классикъ разсердился за то, что г. Верстовскій, положившій на музыку «Черную Шаль» Пушкина, назвалъ ее кантатою.

«Почему (говорить бутырскій классикь) Г. Верстовскій возвель простую півсню на степень кантаты? Такого ли содержанія бывають кантаты собственно такъ называемыя? Такняни ли видимь ихь у Драйдена, у Жанъ Бантиста Руссо и у другихь поетовь знаменнтыхь? (Хороши знаменитмости— Драйденг и Жанъ Бантисть Руссо!) Истощивь средства свои на страсти, бунтующія въ душів безвівстнаго человіжка, что унотребить онь, когда нужно будеть силою музыки возвысить значительность словь вь тіхъ кантатахь, гді историческія пли мноологическія во многихь отношеніяхь намь извістныя и для всіхь просвіщенныхь людей занимательныя лица страдають или торжествують?—Вь півсив Г-на Пушкина представляется намь какой-то Молдаванинь, убившій какую-то любимую имъ красавицу, которую соблазивль какой-то Армянинь. Достойно ли это того, чтобы искусный композиторь изыскиваль средства потрясать сердца слушателей, чтобъ для півсьни тратиль сокровища

музыке? Не значить ле ето воздвигнуть огромный пьедестать для маленькой красивой куклы, хотя бы она сдёлана была на Севрской фабрикъ? Угадываю причины, побудившія Г. Верстовскаго къ сему подвигу, и знаю напередъ одинь изъ отвѣтовъ: «Г. А. Пушкинъ принадлежить къ числу первокласныхъ поетовъ нашихъ». Что касается до стихотворства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отмѣнно гладки, плавны, чисты: не знаю кого изъ нашихъ сравнить съ нимъ въ искусствъ стопосложенія; скажу болѣе: г. Нушкинъ не охотишкъ щеголять эпитетами, не бросается ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ прежать съ разсказъ; употребляеть слова въ надлежащель ихъ смыслы; наблюдаеть умную соразлирность въ раздиленіи мыслей: все это составляеть внъшнюю (?) красоту его стихотвореній. Гдѣжъ однако тѣ качества, которыя, по словамъ Горація, составляють Поета? гдѣ mens divinior? гдѣ оз magna sonaturum?» (№ 1, стр. 70 п 74).—

Замычаете ли, что нашь бутырскій критикь видёль кое-что въ Пушкинт, и если не увидёль всего, ему помышала привычка. Пушкинть не любиль щеголять эпитетами, не бросался ни въ сантиментальность, ни въ тапиственность, ни въ надутость, ни въ иустословіе; онъ живъ и стремителенть въ разсказть, употребляеть слова въ падлежащемъ ихъ смыслъ, наблюдаеть умную соразмітрность въ разділеніи мыслей: все это дъйствительно составляло неотъемлемыя качества Пушкинской поэзіи, и качества великія; но—видите ли—по митию бутырскаго классика, это не больше, какъ внішняя (?) красота стихотвореній Пушкина, потому-что гліт же въ нихъ mens divinior (божественное безуміе, изступленіе, восторгъ), гдіт ок мадпа sonaturum? А что такое разумітли подъ этимъ наши псевдо-классическіе критики? Вотъ что:

...Кто завъсу мнъ въчности расторгъ? Я вижу молній блескъ! Я слышу съ гория свъта И то, и то!...

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева «Чужой Толкъ»—и вы еще лучше поймете, что наши классики разумели подъ mens divinior. Хотя многія изъ первыхъ произведе-

ній Пушкина (какъ. напримъръ, «Черная Шаль», «Наполеонъ», «Андрей Шенье») не чужды декламацін и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было мало; они не могли увидъть въ Пушкинъ mens divinior, — такъ привыкли они къ напыщенной шумихъ одопъній своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бъдняжки: изъ назвацій, изъ словъ-«ода, кантата, ивеня» и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковъ сказалъ съ каоедры: «Пушквнъ пишетъ хорошо, но. Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!» Подъ словомъ «поэма» классики привыкли видёть что-то чрезвычайно важное. Съ «кантатами» ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Бантиетъ Руссо: стало-быть, то уже не кантата, что не было рабскою копією съ какой-пибудь кантаты этихъ двухъ риторовъстихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безвъстнаго человѣка могли быть предметомъ такого высокаго рода поэзін, какъ кантата? — съ нихъ было бы заглаза довольно и иъжной пъсенки, въ родъ: «Стопетъ спзый голубчикъ»: въдь въ залы входять только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокій и священный санъ человъка не признавался ип за что, и человъкъ считался ниже не только титулярнаго совътника, но и простаго канцеляриста. Какъ же можно было видёть равнодушие, что талантливый комнозиторъ тратить сокровища музыки на чувства какого-то Армянина...

А между тымь бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобы увидыть въ Жуковскомъ истиниаго своего врага, какъ это можно замытить изъ следующихъ строкъ:

STATE OF THE STATE

Будучи однимъ изъ почитателей (по не слепыхъ и раболенныхъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я также какъ и прочіе мон соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не питю чести быть ординой породы, ситат прямо смотртть на солице, любовался блескомъ его и согртвался живительною его теплотою до тъхъ поръ, нока западные, чужеземные туманы и мраки пе

обложили его и не заслонили свъть его оть слабыхъ глазъ моихъ, слабыхъ, потому-что не могутъ видъть свъта сквозъ мракъ и туманъ. Говоря языкомъ общенонятнымъ, я съ восхищениемъ читалъ и перечитывалъ Пъвца во станъ Русскихъ вонновъ, переводъ Гресвой елегіп, Людмилу, Свётлану, Еолову арфу, многія міста изъ Двінадцати Сиящихъ Дівь и разныя другія стихотворенія Г-на Жуковскаго. Но съ нъкотораго времени, когда имя его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все нёмецкое, кромі буквъ п словъ, восторгъ и удивление во миж уступили мёсто сожалёнию о томъ, что стихотворець съ такими превосходными дарованіями оставиль красоты и приличія языка: оставиль тъ средства, которыми онь усыновиль Русскимь Людмилу, Ахилла и столько другихъ произведеній словесности чужестранной... оставиль. п для чего же? Чтобы ввести въ нашъ языкъ обороты, блестки ума и безпонятную выспренность ныпъпинихъ Нъмцевъ стихотворцевъ — мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толпу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его передразнивали, не умъя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедрою рукою въ прежнихъ его произведеніяхъ; -- то мудрено ли, что тенерь люди съ превосходными дарованіями, или вовсе и безъ дарованій, съ жадностію подражають съ немъ тому, что находять по своимъ спламъ?... Истинный тазанть должень принадлежать своему Отечеству; человъкъ, одаренный таковымъ талантомъ, если избираетъ поприщемъ своимъ Словесность, долженъ возвыенть славу природнаго языка своего раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выраженіями ему свойственными; геній имфеть даже право вводить новые, но не иноплеменные, и никогда не выпускать изъ виду свойства п приличія языча отечественнаго» (В. Е. 1821, т. СХУИ, стр. 19 — 21).

Но и тутъ, ясно, привычка номѣшала увидѣть дѣло такъ. какъ оно было: бутырскій классикъ не видалъ романтизма въ самыхъ ультра-романтическихъ ніесахъ Жуковскаго, каковы: «Людмила», «Свѣтлана», «Эолова Арфа», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», но увидѣлъ его въ позднѣйшихъ, лучшихъ и по содержанію и по формѣ, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и старцы поневолѣ бываютъ дѣтьми...

Восторги, возбужденные «Русланомъ и Людмилою», равно какъ и необыкновенный уситхъ этой поэмы, несмотря на всю дът скость ея достопиствъ, гораздо естествените и ноиятите, что воря уже о томъ, что всякая удачная новость ослъпляетъ глаза,

въ «Русланъ и Людмилъ» русская поэзія дъйствительно сдълала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической. Всъ восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно поэтическими, граціозною шуткою, разсказомъ илавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всею этою игривою затъйливостію, шаловливостію и причудливостію арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, вполит художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ языкъ, а если и были прежде понытки въ этомъ родъ, то такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цъны съ «Руслана и Людмилы». У кого изъ прежнихъ поэтовъ можно было найдти стихи, подобные, напримъръ, этимъ:

И воть невесту молодую Ведуть на брачную постель; Огни погасли... и ночную Лампаду зажигаеть Лель. Свершились милыя надежды, Любви готовятся дары; Падуть ревнивыя одежды На цареградскіе ковры... Вы слышите ль влюбленный шопоть И поцалуевь сладкій звукь, И прерывающійся ропоть Послѣдней робости?...

Или:

Но прежде юношу ведуть Къ великольпной русской баню. Ужь волны дымныя текутъ Въ ел серебряные чаны, И брызжутъ хладные фонтаны; Разостланъ роскошью коверъ; На немъ усталый ханъ ложится;

Прозрачный паръ падъ нимъ клубится; Потупя нъги полный взоръ. Предестныя, полунагія, Въ заботъ нъжной и нъмой, Вкругъ хана дъвы молодыя, Тъснятся ръзвою толной. Надъ рыцаремъ иная машетъ Вътвими молодыхъ березъ, И жаръ отъ нихъ душистый пашетъ; Другая сокомъ вешнихъ розъ Усталы члены прохлаждаеть, И въ ароматахъ потоиляетъ Темнокудрявые власы. Восторгомъ витязь упоенной Уже забыль Людинды плённой Недавно милыя красы: Томится сладостнымъ желаньемъ; Бродящій взорь его блестить, И, полный страстнымъ ожиданьемъ, Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно, теперь смішно заблужденіе людей того времени, которые въ «Руслані и Людмилі» думали видіть поэтическое возсозданіе народно-русскаго сказочнаго міра; но въ двадцатых годахь, право, не мудрено было, въ первый разъчитая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какойто пебывалой, фантастической бани, увидіть «великолішную русскую» баню. Кому неизвістно великолішніе нашихъ бань, гді въ такомъ употребленіи «сокъ весеннихъ розъ», а «вітви молодыхъ березъ» прозанчески называются вішнками?

Эпилогъ къ «Руслану и Людмилѣ» исполненъ элегической поэзін; но, какъ и прологъ къ этой же поэмѣ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послѣ ея; при ней же явился только во второмъ ея пзданіп, въ 1828 году.

Потому ли, что изумительные усивхи Пушкина и быстрый ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому что они уже

28

сами начали привыкать къ поэзів Пушкина, — только противъ «Кавказскаго Плённика» уже почти совсёмъ не было воплей, а напротивъ ему раздавались вездё только хвалебные тимны. Даже въ «Вѣстникъ Европы» 1823 года была помёщена похвальная критика этой поэмѣ (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замѣчательна и въ свое время весьма прославилась тѣмъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ старараніи и усердіи, никакъ не могъ догадаться, что сдѣлалось съ черкешенкою и что означають эти прекрасные поэтическіе стихи:

Вдругъ волны глухо зашумъли.
И слышенъ отдаленный стонъ.
На дикій брегъ выходитъ онъ,
Глядитъ назадъ... брега ясними
И опъненные бъльми;
Но ньть Черкешенки младой
Ни у бреговъ, ни подъ горой...
Все мертво... на брегахъ уснувшихъ
Лишь вытра слышенъ легкій звукъ,
И при луню въ волнахъ плеснувшихъ
Струистый изчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозаичности прежней поэзіи, что слишкомъ поэтическій, и по тому уже самому слишкомъ ясный оборотъ, назывался темнымъ и неопредёленнымъ. Да, Пушкину предстоялъ подвигъ — воспитать и развить въ русскомъ обществъ чувство изящиаго, способность понимать художество, — и онъ внолит совершилъ этотъ великій подвигъ!

«Кавказскій Пленникъ» быль принять публикою еще съ большимъ восторгомъ, чемъ «Русланъ и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполив достойна была того пріема, которымъ ее встретили. Въ ней Пушкинъ явился вполив самимъ собою, и, вместь съ темъ, вполив представителемъ своей эпохи: «Кавказскій Пленникъ» насквозь пропикцуть ея павосомъ. Впрочемъ, павосъ этой поэмы — двойственный:

поэтъ былъ явно увлеченъ двумя предметами — поэтическою жизнію дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ-элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнію. Изображеніе того н другаго слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его вопиственными жителями въ первый разъ быль воспроизведень русскою поэзіею. — и только въ поэмѣ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ—«въ первый разъ»: ибо какихъ-ипбудь двухъ строфъ, довольно прозаическихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвящениаго тоже довольно прозанческому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ недостаточно для того, чтобъ получить какое нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонъ. Мы въримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намъреніемъ выписалъ, въ примъчаніяхъ къ своей поэмъ, стихи Державина и Жуковскаго, и съ полною искренностію, отъ чистаго сердца, хвалитъ ихъ; но темъ не менте онъ оказалъ имъ, черезъ это, слишкомъ плохую услугу: поо послъ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повёритъ, чтобъ въ техъ вынискахъ шло дело о томъ же предмете... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ пхъ напзустъ? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрѣлость таланта, которая такъ часто прогладываеть въ «Кавказскомъ Пленнике», несмотря на слишкомъ ю но шеское одушевление зрълищенъ горъ и жизнио пхъ обитателей, — многія картины Кавказа въ этой поэмъ и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимаясь за «Кавказскаго Пленника» съ гордымъ намереніемъ слегка перелистовать его, вы незамътно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца, и говорите: «все это юно, незръло, и однакожь такъ хорошо!» Какое же дъйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великольно-роскошныя картины Кавказа при первомъ появленін въ свътъ поэмы! Съ тъхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдълался для Русскихъ завътною страною не только широкой, раздольной воли, но и пеизчернаемой поэзіи, страною кпиучей жизни и смелыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дълъ существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоцънною кровію сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ — эта колыбель поэзіи Пушкина, сдълался потомъ и колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмѣстить въ свою поэму, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а слѣдовательно и прозанчески, и потому онъ тѣсно связалъ свои живыя картины Кавказа съ дъйствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатлѣнія и наблюденія плѣнника — героя поэмы, и оттого онѣ дышатъ особенною жизнію, какъ-будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мѣстъ. Кто былъ на Кавказѣ, тотъ не могъ не удивляться върности картинъ Пушкина: взгляните, хотя съ возвышенностей при которыхъ стоитъ Иятигорскъ, на отдаленную цѣпь горъ, — и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ, можетъ быть, не случалось вспоминать цѣлые годы:

Великолбиныя картины!
Престолы вваные снвговь,
Очамъ казались ихъ веринны
Недвижной цвиью облаковь,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ ввицъ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величовый,
Бъльть на небъ голубовъ.

Описанія дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизии горцевъ - дышатъ чертами ярко втрными. Но Черкешенка, связывающая собою объ половины поэмы, есть лецо совершенно идеальное и только визшнимъ образомъ върное дъйствительности. Въ изображении Черкешенки особенио выказалась вся незрълость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положение, въ которое поставиль поэть два главныя лица своей поэмы, Черкешенку и планника, — это положеніе, напболье пльнившее публику, отзывается мелодрамою и, можетъ-быть, по тому самому такъ сильно увлекло самого молодаго поэта. Но — такова спла истиннаго таланта! — при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узель поэмы, при всей его безцвътности, въ отношении къ дъйствительности, — въ ръчахъ Черкешенки и плънника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страданія; что ничьмъ нельзя оградится отъ ихъ обаятельнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознанін въ то же время, что на всемъ этомъ лежитъ печать какой-то дътскости. Съ особенною силою дъйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія плъпника Черкешенкою, и эти стихи —

Пылу дрожащей взявь рукой,
Къ его ногамь она склонилась:
Визжите жельзо подт пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цъиь распалась и гремить...

Чувство свободы борется въ этой сценѣ съ грустью но судьбъ Черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, илѣнникъ не могъ не предложить своей освободительницѣ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказывалъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что Черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавицѣ, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышетъ свободиѣе по мѣрѣ того, какъ плѣннику, въ туманѣ, начинаютъ сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходятъ оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этотъ плънникъ? — Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго паооса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успъхомъ не меньше, если не больше, чъмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плънинкъ, это — «герой того времени». Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицъ и неопредъленность и противоръчивость съ самимъ собою, которыя дълали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ илѣиника и возбудиль собою такой восторгь въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видълъ въ немъ, болке или менке, свое собственное отражение. Эта тоска юпошей по своей утраченной юности, это разочарование, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнъйшей дъятельности, это кишъніе крови при душевномъ холодъ, это чувство пресыщенія, послъдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смѣнившее сооою голодъ н жажду, эта жажда дёятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездъйствін в апатической ліни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это — черты «героевъ нашего времени» со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до иего, а при немъ ихъ было уже много. Они — не случайное, по необходимое, хотя и печальное явление. Почва этихъ жалкихъ пустоцейтовъ не поэзія Пушкина, или чья бы то ни была, но общество. Это оттого, что общество живетъ и развивается какъ всякій индовидуумъ: у него есть свои эпохи младенче-

ства, отрочества, юношества, возмужалости, а пногда-и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ младенчества русскаго общества. И потому, это была поэзія до наивности невиниая: она гремфла одами на иллюминаціи, писала изжные стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дъйствительностію ея была — мечта, а потому ея дъйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блѣяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцелун пастушковъ и пастушекъ, и сладкія слезы чувствительныхъ душъ, прерывались только не менѣе невинными возгласами: «пою», или: «о ты, священна добродътель»! и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ напвио-невиненъ, что искалъ эффектовъ на кладбищахъ и пересказываль съ восторгомъ старыя бабы сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, въдьмахъ, колдуньяхъ, о дъвъ, за ропотъ на судьбу за-живо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки. Въ трагедіи, тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный менуэть, дълая изъ Донскаго какого-то крикуна въ римской тогъ. Въ комедіи, она преследовала именно те пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было, и не дотрогивалась именно до тъхъ, которыми оно было полно, — такъ что комедіи Фонъ-Визина являются, въ этомъ отношеній, какеми-то исключеніями пзъ общаго правила. Въ сатиръ, тогдашняя поэзія нападала скорће на пороки древне-греческаго и римскаго, или старофранцузскаго общества, чъмъ русскаго. Невинность была всесовершенный шая, а оттого, разумыется, эта поэзія была и нравственною въ высшей степени. Общество пило, тло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-пынъшнему умъли веселиться, и передъ неутомимыми илясунами тогдашняго времени самые задорные нынкшийе танцоры просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступаютъ

тамъ, гдъ бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобъ полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ, это привилегія младенчества. Младененъ играетъ жизнію — плещется въ ся свътлой волив и безотчетно любуется брызгами, которые производять его рѣзвыя дваженія; онъ всемь восхищается, все находить лучшимь, пежели оно есть на самомъ дълъ, - и если ему скоро надоъдаетъ одна игрушка, то также скоро илъняетъ его другая. Не таковъ уже возрастъ отрочества — переходъ отъ дътства къ юношеству. Правда, и тутъ человъкъ все еще играетъ въ нгрушки, но уже не тъ его игрушки; мъняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находить осуществленія своего неопредъленнаго желанія, въ которомъ самъ себѣ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки — для цего горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ, эта жизнь сердца и ума всныхиваетъ полнымъ пламенемъ, и страсти вступають въ борьбу съ сомивніемъ. Туть много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастіе только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность полное пробужденіе сознанія, корець котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его — для будущихъ покольній, какъ богатое и выстраданное наслідіе отъ предковъ потомкамъ...

«Кавказскій Плінникъ» Пушкина засталь общество въ неріодів его отрочества и почти на переходів изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинъ былъ самъ этимъ илінникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведеній идеалъ, мучившій поэта, какъ его собственный педугъ, — для поэта значитъ навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ слідующихъ

поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ «Кавказскомъ Плънникъ»: слъдя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментъ развитія, и видите, что оно движется, идетъ впередъ, дълается сознательнъе, а потому и интереснъе для васъ. Тъмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэтъ, и отличался отъ толны своихъ подражателей, что, не измёняя сущности своего направленія, всегда кринко держась дийствительности, которой быль органомъ, всегда говорилъ новое, между тёмъ, какъ его подражатели и теперь еще хриилыми голосами доивваютъ свои старыя и всемъ надобещія песни. Въ этомъ отношеніи, «Кавказскій Плынникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извъстное время, и, подъ этимъ условіемъ, она всегда будетъ казаться прекрасною. Еслибъ въ наше время даровитый поэтъ написаль поэму въ духв и тонв «Кавказскаго Илвиника», — она была бы безусловно ничтожнёйшимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношенін и далеко превосходила Пушкинскаго «Кавказскаго Пленника», который, въ сравнении съ нею, все бы остался такъ же хорошъ, какъ и безъ нея.

Лучная критика, какая когда либо была написана на «Кавказскаго Пленника», принадлежить самому же Пушкину. Въ
статье его «Путешествіе въ Арзрумъ», находятся следующія
слова, написанныя имъ черезъ семь леть после изданія «Кавказскаго Пленника»: «Здесь нашель я измаранный списокъ
Кавказскаго Пленника и, признаюсь, перечель его съ
большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но
многое угадано и выражено верно». Не знаемъ, къ какому
времени отпосится следующее сужденіе Пушкина о «Кавказскомъ Пленнике», но опо очень питересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смело умель Пушкинъ смотреть на свои произведенія: «Кавказскій Пленинкъ, первый неудачный
онытъ характера, съ которымъ я насилу сладиль; онъ быль

принять лучше всего, что я ни написаль, благодаря нѣкоторымь элегическимь и описательнымь стихамь. Но за то Н. и А. Р. и я, мы вдоволь надъ нимь посмѣялись» (т. ХІ, стр. 227). Слова: «характеръ, съ которымь я насилу сладилъ», особенно замѣчательны: опи показываютъ, что поэтъ силился изобразить виѣ себя (объектировать) настоящее состояніе своего духа, и потому самому не могъ вполиѣ этого сдѣлать.

Въ художественномъ отношенін, «Кавказскій Плънцикъ» принадлежить къ числу тъхъ произведеній Пушкина, въ которыхъ опъ является еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіп. Стяхи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзій; но еще нътъ художества. Содержаніе всегда бываетъ соотвътственно формъ, и наоборотъ; недостатки одного тъсно связаны съ недостатками другой, и наоборотъ. Въ отдълкъ стиховъ «Кавказскаго Плънника» замътно еще, хотя и меньше, чъмъ въ «Русланъ и Людмилъ», вліяніе старой школы. Встръчаются неточныя выраженія, какъ, напримѣръ, въ стихѣ: «Удары шашекъ ихъ жестокихъ», или «Гдт обиялъ грозное страданье»; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нъсколько тяжеловато, какъ и въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ»; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ почти совствить неть; поэзія выраженія почти везде необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзін Пушкина вобще съ предшествовавшею ему поэзіею, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ «Кавказскомъ Плънникъ» самое прозапческое понятіе, что Черкешенка учила плънника языку ея родины:

> Съ неясной рвчію сливаеть Очей и знаковь разговорь; Поеть ему и ивсни горь, И ивсни Грузіи счастливой, И памяти истерпилисой Передаеть языкь чужой

Нъкоторыя выраженія исполнены мы сли, и многія мъста отличаются поразительною върностью дъйствительности времени, котораго пъвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примърътого и другаго представляють эти прекрасные стихи:

Людей и свъть извъдаль онь,
Узналь невърной жизни цъну,
Въ сердцахъ друзей нашедь измъну,
Въ мечтахъ любви безумный сонь,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрънной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы.
Отступникъ свъта, другъ природы,
Покинуль онъ родной предъль
И въ край далекій полетъль
Съ весельмъ призракомъ свободы.

Въ этихъ пемногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но рёзко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ лиць одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе — и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкъ, тяжело пало на душу человъка, и онъ въ явной враждъ съ окружающею его дъйствительностію, въ борьбъ съ самимъ собою; недовольный ничтмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: «быть жертвою простодушной клеветы»? Въдь клевета не всегда бываетъ дъйствіемъ злобы: чаще всего она бываетъ плоломъ невиннаго желанія разсѣяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же пскренняго, сколько и неловкаго. И все это поэть умаль выразить однимъ смёлымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты!

По митию Пушкина, «Бахчисарайскій Фонтанъ» слабте «Кавказскаго Плътника»: съ этимъ нельзя вполит согласиться.

Въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ» (вышедшемъ въ 1824 году) замътенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошите, благоуханите. Въ основт этой поэмы лежить мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ-силу только вполит развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ нею, и, можетъ-быть, отгого-то и быль къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ Татаринт, пресыщенномъ гаремною любовію, вдругь всныхиваеть болье человьческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляетъ прелесть одалыки и что можеть ильнять вкусь азіятскаго варвара. Въ Марін — все европейское, романтическое: это дъва среднихъ въковъ, существо кроткое, скромное, дътскиблагочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деснота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего, онъ уважаетъ святыню этой беззащитной красоты, онъ — варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія, — онъ ведетъ себя въ отношенін къ ней почти такъ, какъ наладинъ среднихъ въковъ:

Гпрей несчастную щадить:
Ея унынье, сдезы, стоны
Тревожать хана краткій сонь,
И для нея смягчаеть онъ
Гарема строгіе законы.
Угрюмый сторожь ханскихь жень
Ин днемь, ин ночью къ ней не входить,
Рукой заботливой не онъ
На ложе сна ее возводить,
Не смъеть устремиться къ ней
Обидный взорь его очей;
Она въ купальнъ потаенной
Одна съ невольницей своей;

Самъ ханъ боптся дѣвы плѣнной Печальный возмущать покой, Гарема въ дальнемъ отдѣленъѣ Позволено ей жить одной: И мнится въ томъ уединенъѣ Сокрылся нѣкто неземной.

Большаго отъ Татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивою Заремою, ивтъ и Заремы:

Смертію Маріи не кончились для хана муки неразделенной любви:

Дворець угрюмый опустват, Его Гирей опять оставиль; Съ толной Татаръ въ чужой предвать Онъ злой набъть опять направиль; Онъ снова въ буряхъ боевыхъ Несется мрачний, кровожадный; По въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ Таптся пламень безотрадный. Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю, и съ размаха Педвижимъ остается вдругъ, Глядитъ съ безуміемъ вокругъ, Бтъдиѣетъ, будто полный страха, И что-то шепчетъ, и порой Горючи слезы льетъ рѣкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизпь Гпрея; встрѣча съ нею была для него минутою перерожденія, и если онъ, отъ новаго, певѣдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдѣлался человъкомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталь быть Татариномъ comme il faut. Итакъ, мысль поэмы пере-

рожденіе (если не просвътлъніе) дикой души черезъ высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэтъ не справился съ нею, и характеръ его поэмы, въ ея самыхъ патетическихъ мёстахъ, является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что «сцена Заремы съ Маріею имъетъ драматическое достопиство» (т. XI, стр. 227 и 228), тъмъ не менъе ясно, что въ этомъ драматизмъ проглядываетъ мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступление страсти, въ которыя всегда впадаютъ молодые поэты и которыя всегда восхищаютъ молодыхъ людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы въ талантъ молодаго поэта, по не болъе, какъ элементы, развитія которыхъ следовало ожидать въ будущемъ. Такъ въ эффектной картинъ молодаго художника, опытный взглядь знатока видить несомнічный залогь будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себъ немногаго стоитъ; такъ молодой даровитый трагическій актеръ не можетъ скрыть крикомъ и резкостію своихъ жестовъ избытка огня и страсти, которыя кинять въ его душѣ, но для выраженія которыхъ онъ не выработалъ еще простой и естественной манеры. И потому, мы гораздо больше согласны съ Мушкинымъ касательно его митнія на счеть стиховь: «Онъ часто въ съчахъ роковыхъ» и пр. Вотъ что говорить онъ о нихъ: «А. Р. хохоталъ надъ следующими стихами (NB мы выписали ихъ выше)... Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрагаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами, и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама» (т. XI, стр. 228).

Несмотря на то, въ ноэмъ много частностей обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Марін (особенно Марін) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивность нъсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы, это —

описанія, или, лучше сказать, живыя картины мухаммеданскаго Крыма: онт и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ нихъ нтт этого элемента высокости, который такъ проглядываетъ въ «Кавказскомъ Пленикт» въ картипахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но опт непобъдимо очаровываютъ этою кроткою и роскошною поэзіею, которыми запечатлтна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда върны мъстности. Картипа гарема, дътскія шаловливыя забавы лінивой и уныло однобразной жизни одалыкъ, татарская піссня— все это и теперь еще такъ живо, такъ свіжю, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи, напримітръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись твнью Тавриды сладостной поля; Вдали подь тихой лавровъ свнью Я слышу ивнье соловья; За хоромъ зввадъ луна восходить, Она съ безоблачныхъ небесъ На долы, на лъсъ Сілнье томное наводить. Нокрыты бълой пеленой, Какъ тъни легкія мелькая, Но улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой, Простыхъ Татаръ спѣшатъ супруги Дълить вечерніе досуги!

Описаніе евнуха, прислушивающагося подозрательным слухомъ къ малѣйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиною этой фантастически-прекрасной природы, и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и лелѣютъ очарованное ухо читателя:

Но все вокругъ него молчитъ: Одни фонтаны сладкозвучны

Изъ мраморной темницы быють, И съ милой розой неразлучны Во мракъ соловьи поютъ...

Здъсь даже неправильныя усъченія не портять стиховь. И какою истинно-лирическою выходкою, исполненною изооса, замыкаются эти роскошно-сладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго Востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая изга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безонасныхъ,
Гдъ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины
И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ немъ плъняетъ еще эта легкая, свътлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навъянная на поэта чудно прозрачными и благоуханными ночами Востока, и поэтическою мечтою, которую возбудило въ немъ преданіе о таинственномъ фонтанъ во дворцъ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышитъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надинсь: - такими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ея чертами
Журчить во мраморт вода
И баплеть хладиыми слезами,
Не умолкая никогдат
Такъ плачеть мать во дии печали
О сынт, падшемъ на войнть.
Младыя дты въ той странт
Преданье старины узиали,
И мрачный намятникъ онт
Фонтанольт слезъ именовали:

Слёдующіе стихи (до конца) составляютъ превосходнъйшій музыкальный финаль поэмы; словно гезите, они сосредоточивають въ себё всю силу впечатлёнія, которое должно оставить въ душть читателя чтеніе цёлой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ и легкая, свётлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навѣянная немолчнымъ журчаніемъ «Фонтана Слезъ» и представившая разгоряченной фантазіп поэта таинственный образъ мелькавшей летучею тѣнью женщины... Гармонія послёднихъ двадцати стиховъ упонтельна:

Поклонникъ музъ, ноклонникъ мира, Забывъ и славу и любовь. О, скоро васъ увижу вновь. Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія волны Обрадують мой жадный взоръ. Возшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: холмы, лъса. Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса, И струй и тополей прохлада, Все чувство путника манитъ, Когда въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ, дорогою прибрежной, Привычный конь его бъжить, И зеленъющая влага Предъ нимъ и блещетъ и ніумитъ Векругъ утесовъ Аю-дага...

Вообще, «Бахчисарайскій Фонтанъ» — роскошно поэтпческая мечта юности, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на педостаткахъ его фина достопиствахъ. Во всякомъ случав, это — прекрасный, благоухающій цвѣтокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всѣми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замѣняетъ

29

строгую обдуманность конценцін, а роскошь щедрою рукою разбросанныхъ красокъ — строгую отчетливость выполненія.

Теперь намъ предстоитъ говорить о поэмъ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созръвавшаго таланта Пушкина на путь петинно-художественной д'язгельности: это — «Цыганы». Въ «Русланъ и Людмилъ» Пушкинъ является даровитымъ в шаловливымъ ученикомъ, который, во время клаеса, украдкою отъ учителя, чертитъ затъйливые арабески, плоды его причудливой и різзвой фантазін; въ «Кавказскомъ Плінникі» и «Бахчисарайскомъ Фонтанъ», это — молодой поэтъ, еще неопытными пальцами пробующій пзвлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ «Цыганахъ» онъ — уже художникъ, глубоко вгладывающійся въ жизнь и мощио владыщій своимъ талантомъ. «Цыгапами» открывается средняя эпоха его поэтической дъятельности, къ которой мы причасляемъ еще «Евгенія Онътина» (первыя шесть главъ), «Полтаву», «Графа Нулина»; такъ же какъ съ «Бориса Годунова» начинается послединя, высшая эпоха его внолив возмужавшей художнической двятельпости, къ которой мы причисляемъ и всё ноэмы, после его смерти напечатанныя. Въ слъдующей статьт, мы разсмотримъ «Цыганъ», «Полтаву». «Евгенія Онъгина» и «Графа Нулина»; а эту статью заключимъ взглядомъ на «Братьевъ Разбойниковъ», маленькую поэмку, которую, по многимъ отношеніямъ, считаемъ престраннымъ явленіемъ.

На первомъ изданіи «Цыганъ», вышедшемъ въ 4827 году, выставлено, въ заглавіи: «писано въ 1824 году», то же самое выставлено и въ заглавіи вышедшихъ въ 4827 же году «Братьевъ Разбойниковъ», которые первоначально были напеча таны въ одномъ альманахъ 4825 года. Стало-быть, объ эти поэмы написаны Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ раздъляетъ неизмърниюе пространство: «Цы-

ганы»—произведеніе великаго поэта, а «Братья Разбойники» не болъе, какъ ученическій онытъ. Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и не въ чемъ нътъ истины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь опа написана въ одно время съ «Русланомъ п Людмилою» — опа была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ пей стихи бойки, ръзки и размашисты, разсказъ живой и стремительный. Но какъ произведение, современное «Цыганамъ», эта поэма — перазгаданная вещь. Ея разбойники очень похожи на Шиллеровыхъ удальцовъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по вижиности событія и видно, что оно могло случиться только въ Россін. Языкъ разсказывающаго повъсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человѣка изъ образованнаго соеловія: отсюда и выходить декламація, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы больнаго разбойника и монологи, обращаемые имъ, въ бреду, къ брату-ръшительная мелодрама. Поэмка бъдна даже поэзіею, которою такъ богато все, что ни выходило изъ подъ пера Путкина, даже «Русланъ и Людмила». Есть въ «Братьяхъ Разбойникахъ» даже плохіе стихи и прозанческіе обороты, какъ, папримъръ: «Межь ними зрится и бъглецъ», «Насъ другъ ко другу приковали».

VII

поэмы: «цыганы», «полтава», «графъ нулинъ».

«Цыганы» были приняты съ общими похвалами; но въ этихъ похвалахъ было что-то робкое, неръшительное. Въ новой поэмъ Пушкина подозръвали что то великое, но не умъли понять, въ чемъ оно заключалось и, какъ обыкновенно водится въ та-

кихъ случаяхъ, расплывались въ восклицаніяхъ и не жальли знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты; публика была прямодущийе и добросовистийе. Мы хорошо помнимь это время, помнимъ, какъ многіе были непріятно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказскій Пленникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэтъ вдругъ переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутплся на высотъ, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно смѣялся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонинки еще бредили Плънникомъ, Черкешенкою, Заремою, Маріею, Гиреемъ, братьями-разбойниками, и только по какой-то робости похваливали «Цыганъ», или боясь окомирометтировать себя, какъ образованныхъ судей изящиаго, или дътски восхищаясь пъснію Земфиры и сценою убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пересталь быть выразителемъ правственной настроенности современнаго ему общества, и что отсель онъ явился уже воспитателемъ будущихъ покольній. Но покольнія возникають п образуются не диями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дождаться воспитанныхъ его духомъ ноколъпій — своихъ истинныхъ судей. «Цыганы» произвели какое-то колебаніе въ быстро-возраставшей до того времени славѣ Пушкина; но после «Цыганъ» каждый новый успехъ Пушкина былъ новымъ его паденіемъ, —и «Полтава», послъднія и лучшія двъ главы «Онъгпна», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикою холодно, а нъкоторыми журналистами съ оже эточеніемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобреція.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было въ нихъ о «Цыганахъ»: вы удивитесь, какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байронъ, о цыганскомъ илемени, о пебезгръшности ремесла—

водить медвѣдя, объ усиѣшномъ развитіи таланта «иѣвца Руслана и Людмилы», удивленіе къ дѣйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ «И отъ судебъ защиты иѣтъ», осужденіе будто бы вялаго стиха: «И съ камия на траву свалился»,—и многое въ этомъ родѣ; но ни слова, ни памека на идею поэмы.

А между тёмъ, поэма заключаетъ въ себё глубокую идею, которая большинствомъ была совсёмъ не понята, а не многими людьми, радушно привътствовавшими поэму, была понята ложно, —что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И посліднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказаль въ самомъ дёлё. Это особенно доказываетъ, что пепосредственно творческій элементь въ Пушкинъ быль несравненно сильные мыслительного, сознательного элемента, такъ что ошибки последняго, какъ бы безъ ведома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собою торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ: «Цыганы» служать неопровержимымь доказательствомь справедливости нашего мивнія. Идея «Цыганъ» вся сосредоточена въ геров этой поэмы-Алеко. А что хотель Пушкинь выразить этимь лицомъ?--Не трудно отвътить: всякій, даже съ нерваго, поверхностнаго взгляда на поэму, увидить что въ Алеко Пушкинь хотъль показать образець человъка, который до того проникнутъ сознаніемъ человъческаго достопиства, что въ общественномъ устройствъ видитъ одно только унижение и позоръ этого достопиства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни Алеко, въ дикой цыганской воль, ищетъ того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Воть что хотиль Пушкинь

изобразить въ лицѣ своего Алеко; но усиѣль ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразилъ онъ? — Правда, поэтъ настанваетъ на этой мысли, и виля, что поступокъ Алеко съ Земфирою явно ей противоръчитъ, сваливаетъ всю вину на «роковыя страсти, живущія и подъ разодранными шатрами», и на «судьбы, отъ которыхъ нигдѣ иѣтъ защиты». Но весь ходъ поэмы, ея развязка и, особенно, играющее въ ней важную роль лицо стараго Цыгана, неоспоримо показываютъ, что желая и думая изъ этой поэмы создать апооеозу Алеко, какъ поборника правъ человѣческаго достоинства, ноэтъ — виѣсто этого, сдѣлалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ ними судъ неумолимо трагическій и вмѣстѣ съ тѣмъ горько проническій.

Кому не случалось встрвчать въ обществъ—людей, которые изъ всёхъ силъ быются прослыть такъ называемыми «либералами», и которые достигають не болъе, какъ незавиднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда поражаютъ наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ комическимъ противоръчемъ своихъ словъ съ поступками. Много можно было бы сказать объ этихъ людяхъ характеристическаго, чъмъ такъ ръзко отличаются они отъ всъхъ другихъ людей; но мы предиочитаемъ воспользоваться здъсь чужою, уже готовою характеристикою, которая соединяетъ въ себъ два драгоцъпныя качества краткость и полноту: мы говоримъ объ этихъ удачныхъ стихахъ покойнаго Дениса Давыдова:

А глядинь — нашъ Мирабо Стараго Гаврила. За измятое жабо, Хлещеть въ усъ, да въ рыло; А глядинь — нашъ Лафаэтъ, Брутъ или Фабрицій, Мужичковъ подъ прессъ кладетъ Виъстъ съ свекловицей.

Такіе люди, конечно, смѣшны, и съ нихъ довольно легонькаго водевиля, или сатирической пъсенки, ловко сложенной Давыдовымъ; по поэмы они не стоятъ. Никакъ нельзя сказать, чтобъ Алеко Пушкина быль изъ этихъ людей, но и нельзя также сказать, чтобъ онъ не былъ имъ сродии. Великая мысль является въ дъйствительности двойственно — комически и трагически. смотря по личнымъ качествамъ людей, въ которыхъ она выражается. Дурная страсть въ человеке ничтожномъ или забавна, какъ глупость, или отвратительна, какъ мерзость; дурная страсть въ человъкъ съ характеромъ и умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ, или презринемъ, смишаннымъ съ омерзъніемъ; вторая служить для людей трагическимъ урокомъ, потрясающимъ душу. Вотъ почему для первой довольно легонькаго водевиля, или сатирической пъсенки, много уже, если комедіп; для второй нужна сатира Барбье, и ея не погнушается даже трагедія Шексппра. Глупець, который корчить изъ себя Мпрабо, есть не что пиое, какъ маленькій эгонзмъ, который не любить для себя тыхь самыхь стыснительныхь формь, которыми любитъ душить другихъ. Дайте этому эгонзму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, нока она не противоръчить ему, — и передъ вами весь Алеко, такой, какимъ создалъ его Пушкинъ. Не страсти погубили Алеко? «Страсти»—слишкомъ неопредъленное слово, пока вы не назовете ихъ по пменамъ: Алеко погубила одна страсть, п эта страсть—эгоизмъ! Прослъдите за Алеко въ развитіи цълой поэмы, и вы увидите, что мы правы.

Приведя встрѣченнаго за холмомъ, подлѣ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ своему отцу, между прочимъ:

Опъ хочетъ быть, какъ мы, Цыганомъ; Его преслёдуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ. Алеко является еще только тапиственнымъ

загадочнымъ лицомъ, не болѣе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступникомъ вслѣдствіе эгонзма, ин жертвою несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхностности, готовъ съ-разу принять его за мученика иден. Но вотъ таборъ сиялся; Алеко уныло смотритъ на опустѣлое поле и не смѣетъ растолковать себѣ тайной причины своей грусти. Онъ наконецъ воленъ, какъ Божія птичка, солице весело о́лещетъ надъ его головою; о чемъ же его тоска? Поэтъ пророчитъ ему, что страсти, нѣкогда такъ свирѣпо игравшія имъ, только на время присмирѣли въ его измученной груди, и что скоро онѣ снова проснутся... Опять страсти! но какія же? А вотъ увидимъ...

Можетъ-быть. Алеко только вившинить образомъ, по чувству досады, разорвалъ связи съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишеній дикая воля бъднаго бродящаго племени, ибо, какъ мудро замътилъ ему старый Цыганъ,

... не всегда мила свобода Тому, кто къ нътъ пріученъ.

Нѣтъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

> Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо-неспокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ пъгъ Такъ чуждо этой жизии праздной, Какъ пъснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалветь ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ, — Алеко отвъчаетъ:

О чемъ жалъть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовь!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Пи вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдатся, мысли гонять,

Торгують волею своей,
Главы преды идолами клонять
И просять денегь да цьпей.
Что бросных я? Измыть волненье,
Предразсужденій приговоры.
Толны безумное гоненье
Или блистательный позоры.

Какой эпергическій, полный мощнаго негодованія голосъ! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ павосомъ рѣчь! Съ какою неотразимою силою увлекаетъ душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можешь не върить, чтобъ человъкъ, обладающій такою сплою жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда, — существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ истинъ, глубокой скорби объ унижении человъчества... Вы видите въ немъ героя убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толив откровеній... Какъ высоко стоитъ онъ надъ этою презрънною толною, которую такъ нещадно норажаетъ громомъ своего благороднаго негодованія!.. Но здёсь-то и скрывается великій урокъ для оцънки истиннаго достоинства; здъсь-то и можно видъть, какъ легко быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственной счеть, — какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, по если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дълами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклятіе, не только на какое-нибудь общество, или какой-пибудь народъ, но и на цълое человъчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ дълъ. И потому парекать анавему такъ же не всякій имфетъ право, какъ и изрекать благословение; это могутъ только пріявшіе свыше власть и посвященіе. Какъ поучать другихъ имъетъ право только знающій самъ то, чему берется поучать, —

такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто самъ уже твердою стоною привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъне болье, какъ звукъ пустой: опо важно только, какъ выраженіе мысли; а мысль сама по себъ-не болье, какъ призракъ чего то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность дъйствительности. Все, что не нодходить подъ мърку практическаго примъненія, -- ложно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать внимание не только на то, дъйствительно ли истиино сказанное, но и на то, къмъ оно сказано. По этой же причинъ, въ устахъ призвашныхъ и носвященныхъ, иногда и старыя петины получаютъ новую форму и новую силу убъжденія, какъ-будто-бы онъ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, пногда и новыя. оригинально выраженныя мысли пропадають безъ дъйствія, какъ-будто истертыя общія ивста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ, доходитъ дѣло и до страстей, появление которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одо-

лаваетъ ревность...

Эта страсть свойственна или людямъ по самой натуръ эгоистическимъ, или людямъ неразвитымъ правственно. Считать ревность необходимою припадлежностью любви—непростительное заблужденіе. Человъкъ нравственно-развитый, любитъ спокойно, увъренно, потому что уважаетъ предметъ любви своей (любовь безъ уваженія для него певозможна). Положимъ. что онъ замъчаеть къ себъ охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ни была причина этого охлажденія изъ изчисленныхъ поэтомъ:

> Кто устоить противъ разлуки, Соблазна новой красоты,

Противъ усталости и скуки, Иль своеправія мечты?

это охлаждение заставить его страдать, потому что любящее сердце не можетъ не страдать при потеръ любимаго сердца; но онъ не будетъ ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть бользнь людей инчтожныхь, которые не уважаютъ ни самихъ себя, ни своихъ правъ на привязациость любимаго ими предмета; въ ней выказывается мелкая тиранија существа, стоящаго на степени животнаго эгонзма. Такая ревность невозможна для человѣка правственно-развитаго; но такимъ же точно образомъ невозможна для него и ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность пепремѣнно предполагаетъ мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозрительность совершенно излишняя для того. кто можетъ спросить другаго о предметъ подозрънія съ такимъ же яснымъ взоромъ, съ какимъ и самъ отвътитъ на подобный вопросъ. Если отъ него будутъ скрываться, то любовь его перейдетъ въ презриніе, которое, если не избавить его отъ страданія, то дасть этому страданію другой характерь в сократитъ его продолжительность; если же ему скажуть, что его болье не любять, — тогда муки подозрынія тымь менье могутъ имъть смыслъ. Чувство оскорбленія для такого человъка также невозможно, пбо онъ знаетъ, что прихоть сердца, а не его педостатки причиною потери любимаго сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадаеть, какъ другь, его горю, и винить себя, не будучи въ сущности виновато. Что касается до жажды мщенія. — въ этомъ случай, она была бы понятна только какъ выражение самаго животнаго, самаго грубаго и невѣжественнаго эгонзма, который невозможенъ для человѣка нравственно-развитаго. И за что тутъ мстить? — за то, что любившее васъ сердце уже не бъется любовію къ вамъ! Но

развъ любовь зависить отъ воли человъка и покоряется ей? И развъ не случается, что сердце, охладъвшее къ вамъ, не терзается сознаніемъ этого охлажденія словно тяжкою виною, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогутъ ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будуть вст усилія его заставить себя любить васъ по прежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимаго вами, но уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлаждение къ вамъ теперь такъ же произошло не отъ его воли, какъ не отъ нея произошла прежде его любовь къ вамъ? Хотите ли, чтобъ этотъ предметъ, скрывая насильственно свое къ вамъ охлаждение, обманываль вась, радп вашего счастія, притворною любовію? — Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйдти только изъ самаго грубаго, животнаго эгонзма: ибо, если вы человъкъ, существо нравственно-развитое, то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастіп связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чтить о своемъ собственномъ. И притомъ, надо быть слишкомъ пошлымъ человъкомъ, чтобъ допустить обмануть и успокопть себя принужденною любовію, и надо быть слишкомъ подлымъ человъкомъ, чтобъ, поинмая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастіе въ жертву своему собственному — п какому счастію!... Когда любовь съ которой-инбудь стороны кончилась, вмісті жить пельзя: поо тоть не нонимаетъ любви и ея требованій и за любовь принимаетъ грубую, животную чувственность, кто способень пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимаго, но уже нелюбящаго. Такая «любовь» бываетъ только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство, — и, можеть быть, оно такъ тамъ и нужно; но въ любви такія отношенія суть оскороленіе и профанація не только любви, но и человъческаго достоинства. Всъ такіе случан невозможны для человъка правственно-развитаго.

Есть много родовъ образованія и развитія, и каждое изъ нихъ важно само по себъ, но всъхъ ихъ выше должно стоять образованіе правственное. Одно образованіе ділаеть вась человикомъ ученымъ, другое — человикомъ свитскимъ, третье - административнымъ, военнымъ, политическимъ и т. д.; но нравственное образование дълаетъ васъ просто человъкомъ, т. е. существомъ, отражающимъ на себъ отблескъ божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животнымъ. Хорошо быть ученымъ, поэтомъ, вопномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ человѣкомъ; быть же челов вком в, значить им вть полное и закопное ираво на существованіе и не будучи ничёмъ другимъ, какъ только человъкомъ. Въ чемъ же состоитъ нравственное образованіе, правственное развитіе? Такъ какъ человъкъ не только существуеть, но еще и мыслить, то всякій предметь, въ отношенін къ нему, существуеть не только практически, но и теоретически; и человѣкъ только тогда вполив владъетъ предметомъ, когда схватываетъ его съ этихъ объихъ сторонъ. Но одно практическое обладание предметомъ еще значитъ чтоинбудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значить. И потому, теоретическая нравственность, открывающаяся въ однѣхъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дѣло, какъ фактъ, выходящая только пзъ созерцаній ума, но непытющая глубовихъ корней въ почвъ сердца, такая правственность стоить безправственности и должна называться китайскою или фарисейскою. Истичная правственность прозябаеть и растеть изъ сердца, при илодотворномъ содъйствін свътлыхъ лучей разума. Ея мърило — не слова, а практическая дъятельность. Въ сферъ теорій и созерцаній, быть героемъ добродътели въ тысячу разъ легче, нежели въ дѣйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора, или пообъдавъ, почувствовать себя сытымъ. Такъ какъ сфера

нравственности есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно изъ взаимныхъ отношеній людей другъ къ другу, — то здісь то. въ этихъ отношеніяхъ, — и больше нигдъ, должно искать примътъ нравственнаго, или безнравственнаго человака, а не въ томъ, какъ человъкъ разсуждаетъ о нравственности, или какой системы, какого ученія и какой категоріи нравственности онъ держится. Слова, какъ бы ни были красноръчивы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопровождались не только порывнетыми жестами, но, при случав, и горячими слезами, — слова сами по себъ все-таки стоятъ не больше всякой другой болтовии: здёсь, какъ и вездё, дёло — въ дёлё. Одинъ изъ высочайщихъ и священнъйшихъ принциповъ истинной нравственности заключается въ религіозномъ уваженіи къ человъческому достоинству во всякомъ человъкъ, безъ различія лица, прежде всего за то, что онъ — человікъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мфрф, въ какой онъ ихъ имбетъ. — въ живомъ, симпатическомъ сознаніи своего братстви со везми, кто называется человъкомъ. Вотъ что разумёли мы нодъ словомъ «нравственно-развитый человёкъ», говоря о томъ, какимъ образомъ показалъ бы себя такой человѣкъ въ отношенін къ любимой имъ особъ, когда она почему бы то ни было разлюбить его. Естественно, что никогда не выказывается такъ резко-определенно правственность или безнравственность человіка, какъ въ техъ случанхъ, гді онъ судить своего ближняго но отношенію къ самому себѣ и гдѣ въ этп отношенія вишивается страсть: "ибо въ такихъ случаяхъ ему предстоитъ быть къ самому себъ строгимъ безъ эффектовъ, безпристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ униженія, между тёмъ, какъ въ такихъ-то именно обстоятельствахъ человькъ, по чувству эгопзма, и увлекается крайностями, т. е. или бываетъ къ себъ пристрастно-синсходительнымъ, обвиняя

во всемъ своего ближняго, или, что бываетъ реже. изъ самаго безпристрастія своего и своей къ себь строгости дълаетъ эффектную мелодраму. По этому, наше приложение иден нравственности къ дълу любви очень удобно для ръшенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильнъйшихъ страстей. увлекающихъ человъка во всъ крайности больше, чъмъ всякая другая страсть, — можетъ служить пробиымъ камнемъ нравственности. Если человъкъ, находящійся въ положеніи Алеко, подавшаго намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть нетинно нравственный человъкъ, то въ любимой имъ особъ онъ съ большею страстью, чёмъ въ комъ-нибудь другомъ, уважаетъ права свободной личности, а, следовательно, и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случав, натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не прій меть за преступленіе, или такъ называемую на языкъ пошлыхъ романовъ «невърность», и еще менье согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастія отказаться отъ счастія новой любви, можетъ-быть, бывшей причиною ея къ нему охлажденія. Еще болье естественно, что въ такомъ случав ему остается сдвлать только одно: - со встыв самоотверженіемъ души любящей, со всею теплотою сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить его, или ее, на новую любовь и новое счастіе, а свое страданіе, если нѣтъ силь освободиться отъ него, глубоко схоронить отъ всёхъ, и въ особенности отъ него или отъ нея, въ своемъ сердцъ. Такой поступокъ немногими можеть быть оцтнень, какъ выраженіе истичной нравственности; многіе, воспитанные на романахъ и повъстяхъ съ ревностію, измѣнами, кинжалами и ядами, найдуть его даже прозаическимь, а въ человѣкѣ, такимъ образомъ поступнишемъ, увидятъ отсутствие понятия о чести. Дъйствительно, по нонятіямь, пскаженно перешедшимъ къ намъ отъ среднихъ вѣковъ, мущинѣ надо кровью смыть подобное безчестіе и, какъ говорить Алеко, «хищнику и ей коварной воизить кинжаль въ сердце», а женщинъ прибъгнуть къ яду, или къ слезамъ и безмолвной тоскъ; но не должно забывать, что то, что могло имъть смыслъ въ варварскіе средніе въка. — въ наше просвъщенное время уже не имжетъ никакого смысла. Въ образованномъ человъкъ нашего времени, Шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тъмъ однакожь условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человѣкъ нашего времени только разембется отъ новыхъ Отелликовъ въ родъ Марселя въ нельной повъсти Эжена Сю «Крао», и безыменнаго господина въ отвратительной повъсти Дюма «Une Vengeance». Но люди, которымъ нужно доказывать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты, вследствіе ревности, суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты, или результаты бользненнаго безумія, животнаго эгонзма и дикаго певъжества. — такіе люди не стоятъ того, чтобъ тратить на нихъ слова. Слава Богу, такихъ людей теперь уже немного, и теперь гораздо больше людей, которые принимають слова за одно съ дълами; вотъ имъ-то предложимъ мы вопросъ, ближе относящійся къ предмету нашей статьи: что сказать о человікі, который, по его словамъ, идетъ наравит съ вткомъ, и для этого толкуеть о правъ человъческомъ (нарушаемомъ его сосъдомъ по имънію) и объ эманципаціп женщины, но который, если его жена позволить себъ сдълать, въ отношени къ нему, сотую долю того, что безъ всякаго позволенія ділаетъ онъ въ отношении къ ней, — сейчасъ перемфияетъ тонъ и готовъ хоть за дубьё приняться?... Не правда ли, что, глядя на него, невольно запоешь въ полголоса съ Давыдовымъ:

А глядишь: нашъ Мирабо Стараго Гаврилу, За измятое жабо, Хлещетъ въ усъ да въ рыло?...

Вотъ почему не смъхъ, а смъшанное съ ужасомъ отвращение возбуждаютъ слова Алеко въ отвътъ на простодушный, трогательный и поэтический разсказъ стараго Цыгана о Маріулъ:

Да какъ же ты не поспъщилъ
Тотчасъ во слъдъ неблагодарной,
И хищинку и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не вонзилъ?

И такъ, вотъ опъ — страдалецъ за униженное человъческое достоинство, человъкъ, который презрълъ предразсудки образованной общественности и нашелъ счастіе въ цыганскомъ таборъ!... Турокъ въ душъ, онъ считалъ себя впереди пълой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъ личности!... И какъ великъ, какъ пстпино (т. е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый Цыганъ, этотъ сынъ природы, бъдности, незнающій въ простотъ сердца никакихъ теорій нравственности! Сколько поэзін и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвътъ Алеко:

Къ чему? вольнъе птицы младость. Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всъмъ дается радость: Что было, то не будетъ вновь!

Отвътъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго Цыгана, окончательно и вполнъ раскрываетъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нътъ, я, не споря, Отъ правъ моихъ не откажусъ; Или хоть мщеньемъ наслажусъ. О, нътъ! когда бъ падъ бездной моря

Нашель я спящаго врага, Клянусь, и туть моя нога Не пощадила бы злодвя; Я вь волны моря, не бледнея, И беззащитнаго бъ толкиуль; Впезаппый ужась пробужденья Свиренымъ смехомъ упрекнуль, И долго мие его паденья Смешонь и сладокъ быль бы гуль.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владъла душою Алеко, но что всъ его мысли и чувства и дъйствія вытекали, во нервыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толною, состоящаго въ умъ болъе блестящемъ и созерцательномъ, чемъ глубокомъ и деятельномъ; во вторыхъ, изъ чудовищнаго эгопзма, который гордъ сампиъ собою, какъ добродътелью. «Эта женщина» (какъ разсуждаетъ эгонзиъ Алеко) «отдалась мић, и я счастливъ ея любовью, следовательно, я имъю на пее въчное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измънила — и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна упонть меня сладостью мщенія. Ея обольститель лишилъ меня счастія, — и долженъ за это заплатить мив жизнію». Не спрашивайте Алеко, наказаль ли бы онъ самъ себя смертію, еслибъ онъ самъ измёнилъ любимой имъ женщинв и съ свойственною эгопстамъ жестокостію оттолкнуль ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступиль и что бы заговориль Алеко въ подобновъ обстоятельствъ. Эгопамъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человъкъ, какъ Алеко, въ подобномъ случав сталъ бы рисоваться передъ самимъ собою, какъ великодушный и невииный губитель чужаго счастія, — онъ, пожалуй, еще почелъ бы себя вправъ мстить смертію оставленной имъ женщипть. которая преследуеть его своими докуками, упреками, слезами и моленіями, съ чего-то вообразивъ, что имћетъ на цего

какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія и. подобно дитяти, лишенъ воли. Не спрашивайте его также, имбетъ ли на его жизнь право человъкъ, у котораго онъ отбилъ любовницу: съ свойственнымъ эгоизму безстыдствомъ, Алеко, въ такомъ случаъ, началъ бы предъ вами витіевато либеральничать и доказывать пышными фразами, что на женщину имъетъ законное право только тотъ, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко, первый бы уступилъ великодушно свою любовинцу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгоизма вытекаетъ и животная мстительность Алеко. Человъкъ правственный п любящій живетъ для пден, составляющей павосъ цёлаго его существованія: онъ можетъ и горько презирать и спльно ненавидіть, но скоріе по отношенію къ своей пдев, чёмъ къ своему лицу. Онъ на спесеть обиды и не позволить унизить себя, но это не мѣшаетъ ему умъть прощать личныя обиды: въ этомъ случат, онъ не слабъ. а только великодушенъ. Натуры блестящія, но въ сущности мелкія, потому что эгонстическія, — чужды стремленія къ идет или идеалу: онт во всемъ ставятъ средоточіемъ свое милое я. Если они и заберуть себт въ голову, что живуть для какой-то иден, то не возвышаются до иден, а только нагибаются до нея, думають не себя облагородить и освятить пропикновеніемъ пдеею, по пдею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ идея, въ ихъ глазахъ, потому только истиния, что она — ихъ идея, и потому всякій, непризнающій ея пстинности, есть ихъ личный врагъ. Но, будучи оскорблены въ дълъ личной страсти, эти люди думаютъ, что въ ихъ лицъ оскороленъ весь міръ, вся вселенияя, и никакая месть не кажется имъ пезакопною. Таковъ Алеко!

Скажутъ, что создание такого лица не дълаетъ чести поэту, тъмъ болъе, что онъ явно хотълъ сдълать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбою человъка. Дъйствительно, это было бы такъ, еслибъ поэтъ не противопоставиль стараго Цыгана лицу Алеко, можеть быть, безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому, идею поэмы «Цыганы» должно искать не въ одномъ лицѣ, а тѣмъ менѣе только въ лицѣ Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмъ Пушкина какъ-бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противоръчіе съ самимъ собою было причиною его гибели, — и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ правственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія, примиряется съ преступникомъ. Алеко не убиваетъ себя; опъ остается жить, — и это решеніе действуеть на душу читателя спльнъе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравненіе Алеко съ подстреленнымъ журавлемъ, нечально остающимся на полѣ, въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобъ лететь къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической сцены. Сидя на камив, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, «блъдный лицомъ», Алеко молчитъ, но его молчание красноръчиво: въ немъ слышится итмое признание справедливости постигшей его кары, и можетъ-быть, съ этой самой минуты въ Алеко звърь уже умеръ, а человъкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Что жь дёлать! такова, видно, натура этого человёка, что она могла возвыенться до очеловёченія только цёною страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судё надъ надшимъ и наказаннымъ, а лучше тёмъ строже будемъ къ самимъ себъ, пока мы еще не пали, и заранёе воспользуемся великимъ урокомъ. Еслибъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видёли бы въ немъ все того же звёря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ за-

служенность своей кары, — и мы должны видеть въ немъ человека: а человекъ человека какъ осудить?...

Убитая чета уже въ землъ.

. Когда же ихъ закрыли Послъдией горстію земной, Онт молча, медленно склонился, И съ камил на трасу свалился.

Какое простое и спльное въ благородной простотъ своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдние стиха, на которые такъ пападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозапческие! Гдъ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячий споръ съ къмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха, и наконецъ вскричалъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!» Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому Цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература. Есть въ этомъ Цыганъ что-то патріархальное. У него ивтъ мыслей: онъ мыслитъ чувствомъ. и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его псполненъ поэзін. Въ тонъ ръчи его столько простоты, напвности, достоинства, самоотрицанія (resignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ въренъ онъ себъ во всемъ, тогда ли, какъ разсказываетъ своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; или когда, въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзін пъснъ Земфиры прицоминаетъ стараго друга; или когда, утъщая Алеко въ охлаждении Земфиры, по своему, но такъ върпо и истинно объясняеть ему натуру и права женскаго сердца и разсказываетъ трогательную повъсть о самомъ себъ, о своей любви къ Маріуль и ея измънь, которую онь, въ своей цыганской простотъ, такъ человъчно, такъ гуманно нашелъ совершенно законною... Но въ сценъ похоронъ и прощанія съ Алеко, онъ является, самъ того не подозръвая въ своей цыганской дикости, въ истинно-трагическомъ величіи и кротко пзрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

«Оставь насъ, гордый человъкъ!

Мы дики, пътъ у насъ законовъ,

Мы не терзаемъ, не казнимъ,

Не нужно крови намъ и стоновъ;

Но жить съ убійцей не хотвмъ.

Ты не рожденъ для дикой доли,

Ты для себя лишь хочень воли;

Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:

Мы робки и добры душою,

Ты золь и смѣлъ; — оставь же насъ,

Прости! да будетъ миръ съ тобою.»

Замътъте этотъ стихъ: «Ты для себя лишь хочешь воли»:—
въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идеъ.
Послъ этого, можно ли сомивваться въ глубоко-правственномъ характеръ поэмы? Нътъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невъждъ-моралистовъ, которые привыкли видъть правственность только въ азбучныхъ сентенніяхъ...

Некоторые критики того времени особенно нападали на энилогь, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедіи. Греческаго въ этомъ эпилогъ изтъ ничего; а осужденія онъ заслуживаетъ. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ непосредственностью творчества, и, вслъдствіе этого, онъ пришелся совершенно не кстати къ содержанію поэмы, въ явномъ противоръчін съ ея смысломъ:

Но счастья пѣтъ и между вами, Природы бѣдные сыны! И подъ издранными шатрами Живутъ мучительные сны.

И вапп сёни кочевыя
Въ пустыняхъ пе спаслись отъ бѣдъ.
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Къ чему тутъ судьбы и къ чему толки о томъ, что счастья иътъ и между бъдными дътьми природы? Несчастіе принесено къ пимъ сыномъ цивилизаціп, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту слъдовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы, такъ энергически выраженной стихомъ: «Ты для себя лишь хочешь воли». Но, какъ мы выше замѣтили, Пушкинъ-поэтъ былъ гораздо выше Пушкина-мыслителя. Еслибы въ духѣ Пушкина оба эти элемента были равносильны, и еслибъ, къ этому, роскошный цвѣтъ его поэзій имѣлъ своею почвою вполнѣ развившуюся многовѣчиую цивилизацію, — тогда, конечно, Пушкинъ былъ бы равенъ величайшимъ поэтамъ Европы...

Можетъ-быть, инымъ покажется недостаткомъ въ «Цыганахъ» то, что въ этой поэмъ дикій Цыганъ, такъ сказать, пристыжаеть высотою своихъ созерцаній и чувствованій понятія сына цивилизація, и такимъ образомъ заставляеть насъ видъть идеалъ нравственно-просвътлъниаго человъка въ бродящемъ дикаръ. Это несправедливо. Алеко есть одно изъ явленій цивилизаціп, по отнюдь не полный ея представитель. Сверхъ того, несмотря на всю возвышенность чувствованій стараго Цыгана, онъ не высшій идеаль человіка: этоть идеаль можетъ реализироваться только въ существъ сознательно-разумномъ, а не въ непосредственно-разумномъ, не вышедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Иначе, развитие человъчества черезъ цивилизацію не имъло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сдёлаться разумными и справедливыми, должны бы въ дикомъ состояніи видёть свое призваніе и свою цёль. Человъчество должно было помириться съ природою, но не The state of the s

иначе, какъ достигши этого примиренія свободно, путемъ духовнаго, противоположнаго природъ, развитія. Для того-то н распался пѣкогда человѣкъ съ природою и объявилъ ей борьбу па смерть, чтобъ стать выше ея и потомъ, даже примирившись съ нею, быть выше ея, какъ духъ выше матеріи, сознающій разумь выше безсознательной действительности. Бывають собаки, одаренныя не только удивительнымъ инстинктомъ, подходящимъ близко къ смыслу, но и удивительными добродътелями, какъ-то, върностью и привязанностью къ человъку, простирающимися до готовности жертвовать жизнію за человъка. И въ то же время бываютъ люди не только съ весьма ограниченными способностями, но и съ положительно-инзкими страстями и злою, развращенною волею. И однакожь, самый плохой человъкъ выше самой лучшей собаки, хотя онъ и внушаетъ къ себъ одно презръніе и отвращеніе, тогда какъ послъдняя пользуется общинъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между пителлектуально развитыми черезъ цивилизацію людьми, въ царств'в разума занимаетъ высшую ступень, нежели самый лучшій изъ людей, взлельянныхъ на лонъ природы; нослъдній всегда — не болье, какъ прекрасная случайность, или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организаціи, — тогда какъ самые недостатки и пороки перваго болье или менье отражають на себъ необходимый моментъ въ историческомъ развитіи общества, или даже целаго человечества. Добродетели последняго не зависять отъ прошедшаго, и потому не дають результатовъ въ будущемъ: это талантъ, скрытый въ землю, отъ котораго человъчество не богатъетъ. И потому, жизнь непосредственно естественнаго человъка ни въ какомъ случат не можетъ обогатить человъчества великимъ урокомъ. И если въ ноэмъ Пушкина, старый Цыганъ способствуетъ, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока, — то не самъ собою, а черезъ Алеко, этого сына цивилизаціи. Здёсь онъ какъ бы играетъ роль хора въ греческой трагедін, который иногда изрекаетъ великія истины о совершающемся передъ его глазами событін, не принимая самъ въ этомъ событін, никакого дѣятельнаго участія.

Сколько «Цыганы» выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концеппровкѣ характеровъ, по развитію дъйствія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ, во всёхъ этихъ отношеніяхъ, поэма не отзывалась еще чёмъ-то... не то, чтобъ незрёлымъ, но чёмъто еще не совсёмъ дозрёлымъ. Такъ, напримёръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодаго Цыгана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нёсколько мелодраматическихъ колоритомъ, и вообще въ отдёлкъ всей поэмы не достаетъ твердости и увтренности кисти, какъ въ тъхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совстмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ «Цыганахъ» есть даже погрёшности въ слогв. Такъ, напримёрь, въ стихв: «Тогда старикъ, приближась, рекъ», слово рекъ отзывается тяжелою книжностію, равно какъ и эпитетъ «подъ издранными шатрами», вмёсто изодранными. Но два стиха-

> Медвъдь, бъглецъ родной берлоги, Косматый гость его шатра, —

можно назвать ультра романтическими, потому что все неточное, неопредъленное, сонвчивое, пеясное, объдное положительнымъ смысломъ, при богатствъ кажущагося смысла, — все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все опредълительно и точно-прекрасное должно назваться классическимъ, разумъя подъ «классическимъ» древне греческое. Что такое «бъглецъ родной берлоги?» Не значитъ ли это, что

медвъдь бъжаль безъ позволенія и безъ наспорта изъ своей берлоги? Хорошо бъгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этотъ медвъдь—похищенецъ, если можно такъ выразиться, но отнюдь не бъглецъ. Что такое «косматый гость шатра»? Что медвъдь добровольно поселился въ шатръ Алеко? Хорошъ гость, котораго ласковый хозяинъ держитъ у себя на цъщ, а при случаъ, угощаетъ дубиною! Этотъ медвъдь скоръе плънникъ, чъмъ гость.

По всему сказанному, мы относимъ «Цыганъ», вмѣстѣ съ «Полтавою» и первыми шестью главами «Евгенія Онѣгина» къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью талапта Пушкина и которая развернулась, въ первый разъ, во всей полнотѣ ел, въ «Борисъ Голуновъ» — этомъ безукоризненно высокомъ, со стороны художественной формы, произведеніи.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидін, какъ неумъстный въ поэмъ и неестественный въ устахъ Цыгана. Признаёмся: по нашему митнію, трудно выдумать что-нибудь нелъпъе подобнаго упрека. Старый Цыганъ разсказываеть, въ поэмъ Пушкина, не исторію, а предапіе, и не о поэтъ римскомъ (Цыганъ инчего не смыслить ин о поэтахъ, нп о Римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикъ, который былъ «младъ и живъ незлобною душою, имѣлъ дивный даръ иъсень и подобный шуму водъ голосъ». Сверхъ того, «Цыганы» Пушкина—не романъ и не повъсть, по поэма; а есть большая разница между романомъ или повъстью и между поэмою. Поэма рисуетъ пдеальную деиствительность и схватываетъ жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и повъсть, напротивъ, изображають жизнь во всей ея прозапческой дъйствительности, независимо отъ того, стихами или прозою они пишутся. И

потому «Евгеній Онъгинъ» есть романъ въ стихахъ, но не поэма; «Графъ Нулинъ»—повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ «Онтгинт» и «Нулинт» мы видимъ лица дъйствительныя и современныя намъ; въ «Цыганахъ» вст лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свътомъ очей, ибо они одного цвъта съ лицомъ: такъ же мраморны или мёдяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ, эпизодъ въ родъ разсказа стараго Цыгана объ Овидіи, въ «Цыганахъ», какъ поэмъ, столь же возможенъ, естественъ и умъстенъ, сколько быль бы онъ страненъ и смёшонь въ «Онёгинё», или «Нулинь», хотя бы онъ быль вложень въ уста тому или другому герою той или другой повъсти. П что бы ни говорили о пеумъстности этого эпизода непризванные критики, — ихъ толки будуть свидътельствовать только о безвкусін и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаеть въ себѣ гораздо больше поэзіп, нежели сколько можно найдти ее во всей русской литературъ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духѣ того времени, когда вышли «Цыганы», извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слѣдующее мѣсто: «О Цыганахъ одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдь. По-койный Р. негодовалъ, зачѣмъ Алеко водитъ медвѣдя и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ то же замѣчаніе (Р. просилъ меня сдѣлать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благородиѣе). Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника, или помѣщика, а не Цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: та tanto megtio» (соч. А. П., т. ХІ, стр. 206). Вотъ при какой публикъ явился и дѣйствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать впиманія при оцѣнкъ заслугъ Пушкина.—«Цыганы» были первымъ усиліемъ, первою поныткою Пушкина создать что-ипо́удь важное и зрѣлое, какъ по

идев, такъ и по исполненію. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтъ великія силы; но, въ то же время, въ этой поэми видинь только могучій порывъ къ истинно художественному творчеству, но еще не полное достиженіе желанной ціли стремленія. Черезъ два года посліг «Цыганъ» (т. е. въ 1829 году) вышла новая поэма Пушкипа-«Полтава», въ которой рѣзко выразилось усиліе поэта оторваться отъ прежней дороги и твердою ногою стать на новый цуть творчества. По гдъ видно усиліе, тамъ еще пътъ достиженія: достигнуть желаемаго, значить — спокойно, свободно, следовательно, безъ всякихъ усилій, овладеть имъ. Поэтому, въ «Полтавъ» видны какая-то неръшительность, какое-то колебаніе, вследствіе которыхъ изъ этой поэмы вышло что-то огромное, великое, по въ то же время и нестройное, странноое, неполное. «Полтава» богата новымъ элементомъ — народностью въ выраженін; почти всякое місто, отдільно взятое въ ней, превосходить все, написанное прежде Пушкинымъ, по силъ, полпотъ п роскоши поэтическаго выраженія, — и въ то же время, въ этой поэмъ нътъ единства, опа не представляетъ собою цълаго. Содержание ея до того огромно, что одна смълость поэта коснуться такого содержанія есть уже заслуга, тімь болье, что многія частности показывають, что поэть достовнь быль своего предмета, — и все-таки, читая «Полтаву» и дивась ея великимъ красотамъ, спрашиваещь себя: что же это такое? Разсмотрѣніе причинъ такого явленія очень любопытно, и мы постараемся изследовать этотъ вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства «Полтавы» были равно пеноняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою. Между тъмъ, ни одно произведеніе Пушкина, послъ «Руслана и Людмилы» не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ «Полтава». Ее бранили съ ожесточеніемъ, безъ всякаго уваженія къ лицу великаго поэта; и съ тъхъ поръ, нъкоторые критики, обрадовавшись своей собственной смълости и своему открытію, что и Пушкина можно бранить, какъ какого-инбудь обыкновеннаго стихотворца, не упускали случая пользоваться своею похвальною смълостію и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ, въ разныхъ журналахъ и на разные голоса, но одинаково пеприлично и песправедливо были разруганы—«Полтава», «Графъ Нулинъ», «Борисъ Годуновъ», седьмая глава «Евгенія Онъгина», третья часть мелкихъ стихотвореній и пр. Мы увидимъ, каковы были эти критики, или, лучше сказать, эти брани, потому что критика не есть брань, а брань не есть критика. Обратимся къ «Полтавъ».

Главный недостатокъ «Полтавы» вышелъ изъ жеданія поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкинъ принадлежаль къ той новой литературной школь, которая отреклась отъ преданій исевдо классицизма; хотя онъ, по этому, и сивался надъ «чахоточнымъ отцомъ немного тощей Энепды», въ первой главъ «Опътина» шута объщалъ написать «поэму пъсень въ двадцать иять», а седьмую главу его кончилъ этою острою эпиграммою на завътное «пою» старинныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здась съ побъдою поздравимъ
Татьяну милую мою,
И въ сторопу свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть о комъ пою...
Да кстати здась о томъ два слова:
Ною пріятеля младова
И мпожество его прицудъ,
Благослови мой долгій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И вирный посохъ мию врушев,
Не дай блуждать мию вкось и вкривь.
Довольно. Съ плечъ долой обуза!
Я влассицизму отдаль честь:
Хоть поздно, а вступленье есть...

- There's wanted

однако, все это еще не доказываетъ, чтобъ легко было отръшиться начисто отъ преобладающихъ преданій той эпохи, въ которую мы родились и развились. Несмотря на то, что Пушкинъ самъ быль великимъ реформаторомъ въ русской литературъ, — литературныя преданія тъмъ не менъе отяготъли надъ нимъ, что можно видеть изъ его безусловнаго уваженія ко всёмъ представителямъ прежней русской литературы. Итакъ, въ «Полтавь» ему хотелось сделать опыть эпической поэмы въ новомъ духъ. Что такое эпическая поэма? — Идеализированное представление такого исторического события, въ которомъ принималъ участіе весь народъ, которое слито съ религіознымъ, правственнымъ и политическимъ существованіемъ парода и которое имѣло сильное вліяніе на судьбы парода. Разумъется, если это событіе васалось не одного народа, по и цълаго человъчества, — тъмъ ближе поэма должна подходить къ плеалу эпоса. Такъ смотрели на эпическую поэму вст образованные люди со временъ упадка древне-греческой пать и перани помонічни помоні в помоні помо до начала XIX стольтія, сльдовательно, болье двухь тысячь лътъ. А отчего произошло такое понятіе объ эпосъ? — отъ того, что у Грековъ была «Иліада» и «Одиссея» — больше не отъ чего. Причина довольно забавная, но тъмъ не менъе понятная, нбо таково всегда вліяніе народа, имфющаго всемірноисторическое значеніе, на всъ другіе народы: они подражають ему рабски во всемъ, начиная отъ пскусства до покроя илатья. У Грековъ была «Иліада», которая ивкоторымъ образомъ служила имъ книгою откровенія, изъ которой вытекала вся ихъ поздивишая поэзія и которую читали не один ученые, но зналъ наизустъ каждый Эллинъ, понимавшій сколько-инбудь достоинство и счастіе быть Эллиномъ. Стало-быть, почему же не имъть такой поэмы, напримъръ, и Римлянамъ? Но какъ же бы это едблать, если такой поэмы у Римлянъ не явилось въ

полуисторическую эпоху ихъ политического существованія?-Очень просто: если ея не создаль духъ и геній народа, — ее должень создать какой-нибудь записной поэть. Для этого, ему стоптъ только подражать «Иліадь». Въ ней восивто важнъйшее событіе изъ традиціонной исторіи Грековъ — взятіе Трои: стало-быть, надо порыться въ летописяхъ своего отечества, чтобъ поискать такого же. Да вотъ чего же лучшеоснование Латинскаго государства въ Италіи, черезъ мнимое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только копировать «Иліаду» и «Одиссею» съ небольшими переменами, какъ напримеръ, Гомеръ начинаетъ свою поэму: «Муза, восной» и пр., а вы начните просто, отъ себя: «поюде такого-то мужа», и пр. Если же могла быть у Римлянъ эпонея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у встхъ новтійшихъ народовъ? И вотъ, у Итальянцевъ явился «Освобожденный Іерусалимъ», у Англичанъ — «Потерянный Рай», у Испанцевъ — «Араукана», у Португальцевъ—«Lusiades» («Лузитане»?), у Французовъ— «Генріада», у Нъмцевъ — «Мессіада», у насъ, Русскихъ, недоконченная «Петріада», да еще (если упомянуть ради сміха) пресловутыя, стопудовыя «Россіада» и «Владиміръ». Происхождение всихъ этихъ поэмъ такъ же незаконно, какъ и образца ихъ «Энепды». Она явилась вследствіе «Пліады»; но ведь «Иліада» была столько же непосредственнымъ созданіемъ цѣлаго народа, сколько и преднамереннымъ, сознательнымъ произведеніемъ Гомера. Мы считаемъ за ръшительно несираведливое мивніе, будто бы «Иліада» есть не что пное, какъ сводъ народныхъ рапсодовъ: этому слишкомъ рёзко противорёчить ея строгое единство и художествениая выдержанность. Но въ то же время, нельзя сомивваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болье или менье готовыми матеріялами, чтобъ воздвигнуть изъ нихъ въковъчный памятинкъ эллинской жизни и

The state of the s

эллинскому пекусству. Его художественный геній быль плавильною нечью, черезъ которую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ ивсень и отрывковъ вынила чистымъ золотомъ. Гомеръ написалъ объ свои поэмы черезъ 200 лътъ нослъ совершенія воспѣтыхъ въ нихъ событій, а событія эти совершились почти за 1200 лътъ до Р. Х., елъдовательно, во времена мионческія, да н самъ Гомеръ жилъ въ эпоху до историческую; отсюда и происходить дъвственная наивность его поэмъ, вслъдстіє которой и досель описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носить на себъ печать дъйствительности. Притомъ же, «Одиссея» послъ «Иліады» ясно доказываеть невозможность въ одномъ произведении изчерпать всю жизнь народа, и потому сторона геронзма и доблести выражена въ «Иліадъ», а гражданская мудрость — въ «Одиссев», «Эпенда» паписана, напротивъ, во времена перезрълости и паденія народа; она есть произведение одного человъка, безъ всякаго участія парода, и почти безъ помощи поэтическихъ предапій. Какая же это эпопея въ родъ «Пліады» и что у ней общаго съ «Иліадою»? Это просто — старческое произведеніе, которое силилось показаться младенческимъ. И притомъ, начосъ римской жизни быль совсёмь другой, чёмь наоось греческой; слъдовательно, Эней-ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій, это-даже не Юлій Цезарь, а развіт братья Гракхи; пастоящій же эпосъ римскій, это — кодексъ Юстиніана, оказавшаго Римлянамъ услугу въ родъ той, которую Пизистратъ оказаль Грекамъ, собравъ во-едино отрывки Гомеровыхъ ноэмъ. Несмотря на то, что герой «Энепды» носптъ названіе благочистиваго (pius), а ея творецъ — дъвственнаго (Virgillius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не геніемъ народнымъ, а покровительствомъ Мецената, когда

Горацій въ прекрасныхъ стихахъ воспѣвалъ эгонзмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать миогихъ важныхъ достоинствъ въ «Энепдъ», написанной прекрасными стихами и заключающей въ себъ многія драгоценныя черты издыхавшаго древняго міра, — тімь не меніе, эти достоинства относятся просто къ памятнику древней литературы, оставленному даровитымъ поэтомъ, но не къ эпической поэмѣ,-п, какъ эпическая поэма, «Эпенда» весьма жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всёхъ другихъ попыткахъ въ этомъ родь. «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса написанъ по академической формъ и, въ угодность академіи, былъ своимъ авторомъ пъсколько разъ переуродованъ. Восивтое въ немъ событіе касалось всего христіянскаго міра, но поэтъ жилъ после этого событія почти пятьсоть леть спустя, когда Птальянцы давно уже перестали втрить не только необходимости сражаться съ Сараципами, или Турками за чтонибудь другое, кромъ денегъ, но даже и святости святьйшаго отца-папы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдёльныя красоты въ «Освобожденномъ Іерусалимъ» все-таки не спасають его отъ несчастія быть неудачною попыткою на эпическую поэму. «Потерянный Рай», кромъ достопиства поэтическихъ частностей, замёчателенъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; но какъ эническая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама «Гепрізда» имъетъ значеніе совсьмъ не эпической поэмы, а какъ протестъ противъ католической нетериимости, — что доказывается выборомъ героя, который быль протестанть въ душь, и во времена самаго дикаго фанатизма умёль быть человекомь, въ разумномъ значеніп этого слова. «Мессіада» замъчательна какъ памятникъ нъмецкаго трудолюбія, теривнія и отвлеченнаго мистицизма; это произведение тщательно обработанное въ литературномъ

q. vIII.

отношенін, но ужасно растянутое, тяжелое и скучное. Только «Божественная Комедія» Данте подходитъ подъ идеалъ эпической поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всв изчисленныя нами. И это потому, что Данте не думаль подражать ни Гомеру, ни Виргилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ жизни среднихъ віковъ, съ ихъ схоластическою теологією и варварскими формами ихъ жизни, гдъ боролось столько разнородныхъ элементовъ. Если въ поэмъ Данте играетъ такую роль Виргилій, — это произошло вел'єдствіе самыхъ естественныхъ и неизбъжныхъ причинъ: Виргилій пользовался даже въ средніе въка какимъ-то суевърнымъ уваженіемъ въ Италіп, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ же самобытна и оригинальна, какъ и въющій въ ней духъ, — и только развъ колоссальные готические соборы могутъ соперничать съ нею въ чести быть великими поэмами среднихъ въковъ. Между тъмъ, въ ноэмъ Данте не воситвается никакого знаменитаго историческаго событія, имъвшаго великое вліяніе на судьбу народа; въ ней даже нътъ ничего героическаго, и ея характеръ по преимуществу — схоластически-теологическій, какимъ наиболъе отличались средніе въка. Слъдственно, то, что хотъли видъть только въ эпическихъ поэмахъ на-манеръ «Энеиды», можеть быть и въ сочиненіяхъ совстив другаго рода: не знаменитое событіе, а духъ народа, или эпохи долженъ выражаться въ творенін, которое можетъ войдти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И потому, смёдо можно сказать, что Нъмцы имъютъ свою «Иліаду» не въ жалкой «Мессіадъ» Клопштока, а развъ въ «Фаустъ» Гёте. Изъ всего этого мы выводимъ слъдствіе, что мысль — воситвать знаменитое историческое событіе, и изъ этого дълать эпическую поэму, принадлежить къ эстетическимъ заблужденіямъ человъчества, и что на этомъ зыбкомъ основани пичего пельзя создать, особенно въ наше

время, когда въ исторической жизни умирающее прошедшее борется съ возникающимъ новымъ, когда, вследствіе этого, все такъ нерѣшительно, разъединено, слабо и безхарактерно, и когда действують только отдельныя личности, но не массы. Вообще, духъ среднихъ въковъ особенно былъ враждебенъ эпопеѣ, потому что онъ сильно развиль чувство индивидуальности и личности, столь благопріятное драмі и столь противоположное эпосу, въ которомъ главный герой, естественно, само событіе, подчиняющее себт волю отдёльныхъ лицъ, а не отдъльныя лица, борющіяся съ событіемъ. Оттого, въ новомъ мірѣ, даже романъ — этотъ истинный его эпосъ, эта истинная его эпическая поэма, тёмъ больше имфеть успъха. жиз больше проникнутъ элементомъ драматическимъ, столь противоположнымъ эническому. И хотя, вследствие разъ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго митнія, эппческая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному къ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поззін и высочайшимъ произведеніемъ человѣческаго генія. — однако этимъ высшимъ родомъ поэзіи въ немъ всегда была, такъ какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзіи непремънно одинъ который-ипбудь родъ долженъ быть высшимъ.

Конечно, Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человъкъ, что не могъ понимать эпосъ по мѣркѣ не только какой-нибудь дюжинной «Россіады», по даже и умной и щегольской «Генріады», которыхъ песчастная форма уже слишкомъ устаръла и опошлилась для времени, когда онъ явился. Но въ тоже время, отъ возможности эпической поэмы въ новой формъ онъ не могъ совершенно отречься. И потому, естественно, его идеалъ эпической поэмы заключался въ нео-классицизмѣ, или классицизмѣ, подновленномъ такъ называемымъ романтизмомъ. Художественный тактъ Пушкина не могъ допустить его выбрать содержаніе для эпической поэмы изъ русской

псторін до Петра-Великаго, — и потому, онъ остановился на величайшей эпохь русской исторіи — на царствованіи великаго преобразователя Россіп, и воспользовался величайшимъ его событіемь — полтавскою битвою, въ торжествъ которой заключалось торжество встхъ трудовъ, встхъ подвиговъ, словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ поэмъ Пушкина, состоящей изъ трехъ изсень, полтавская битва, равно какъ и герой ея — Петръ - Велякій, являются только въ послъдней (третьей) итсин; тогда какъ двъ заняты любовію Мазены къ Марін п его отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому, полтавекая битва составляетъ какъ-бы эппзодъ изъ любовной исторіп Мазены и ея развязку; этимъ явно унижается высокость такого предмета, и эпическая поэма уничтожается сама собою! А между тёмъ, эта поэма поситъ названіе «Полтавы»; слёдственно, ея героемъ, ея мыслію должна бы быть полтавская битва, пбо назваше поэтическаго произведенія всегда важно. потому что опо всегда указываетъ или на главное изъ его дѣйствующихъ лицъ, въ которомъ воплощается мысль сочиненія, пли прямо на эту мысль. Вотъ первая ошнока Пушкина, п ошибка великая! Но, можетъ-быть, намъ возразятъ, что Пушкинъ совећмъ не думалъ писать эпической поэмы, и что герой его ноэмы — Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возраженіе тымь естественные, что Пушкинь, какь говорили и даже писали въ то время, сперва хотилъ назвать свою поэму-«Мазеною», но почему-то послъ, когда приступилъ къ ен печатанію, переименоваль ее въ «Полтаву». Положимъ, что это такъ, по и съ этой точки зрвнія «Полтава будетъ произведеніемъ ошибочнымъ въ ея общности, или цъломъ. Какую мысль хотъль выразить поэть черезъ эту исторію любви, смішанной съ политическими замыслами и черезъ инхъ пришедшей въ соприкосновение съ полтавскою битьою? -- Неужели эту: какъ опасно обольщать, особенно на старости літь, юную невин-

пость? И неужели мысль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущенін Мазепы при видъ дпустълаго Кочубеева хутора, мимо котораго промчался онъ съ шведскимъ королемъ, съ поля полтавской битвы? И стояло ли для такой мысли, конечно, очень похвальной и правственной, по тъмъ не менъе слишкомъ частной и нисколько не исторической, — стояло ли для нея изображать полтавскую битву и Петра-Великаго? Не думаемъ! Конечно, любовь Мазены къ дочери Кочубел имфетъ псторическое значение по отношению къ доносу озлоблениаго Кочубея на Мазену; но въ отношении къ полтавской битвъ, она, эта любовь, не болье, какъ эпизодъ, какъ историческая подробность, — и полтавская битва имфетъ огромное значеніе само по себъ, не только безъ любви Мазены, но и безъ самого Мазены. Еслибъ поэтъ главною своею мыслію имѣлъ любовь Мазены, онъ долженъ бы полтавскую битву врести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношенію къ лицу одного Мазены, оставивъ въ тѣни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развъ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который вздиль съ доносомъ Кочубея къ Петру, а въ полтавской битвъ безумно бросился на Мазепу и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Марін на устахъ. Иначе, весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ быль выйдти какою-то особою поэмою въ поэмъ, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторіи Мазены какъ оно и дъйствительно вышло, ко вреду цълой поэмы. А это ясно доказываеть, что Пушкинь хотьль, во что бы ин стало, воспользоваться случаемъ къ созданію чего-то въ роді эпической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшаяся къ любовной исторіи Мазены, была такимъ соблазнительнымъ случаемъ, что поэтъ не могъ пропустить его для осуществленія своей мечты. Но въ этой мечть о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкаго основанія «Полтавы»,

ибо даже изъ самой полтавской битвы нельзя сдёлать поэмы. Эта битва была мыслію и подвигомъ одного человѣка; народъ принималь въ ней участіе, какъ орудіе въ рукахъ Великаго, котораго понять и оцінить могло только потомство и для котораго судъ потомства едва начался только со временъ Екатерины-Второй. Вообще, изъ жизни Петра-Великаго геніяльный поэтъ могъ бы сдёлать не одну, а множество драмъ, но рёшительно ин одной эпической поэмы. Петръ-Великій слишкомъ личенъ и характеренъ, слъдовательно, слишкомъ драматиченъ для какой бы то ни было поэмы. Сверхъ того, для поэмъ годятся только лица полупсторическія и полумионческія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуетъ совокупить все извъстное о ихъ жизни въ нъсколькихъ поэтическихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же историческаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ въковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываеть слишкомь много тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыхъ нельзя выбрасывать, не внадая въ напыщенность и высоконарность.

Итакъ, изъ «Полтавы» Пушкина эпическая поэма не могла выйдти по причинъ невозможности эпической поэмы въ наше время, а романтическая поэма, въ родъ Байроновской, тоже не могла выйдти по причинъ желанія поэта слить ее съ невозможною эпическою поэмою. И потому «Полтава» явилась поэмою безъ героя. Мы уже доказали, что смъшно было бы считать Петра-Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть дъйствія посвящена любовной исторіи Мазены. Но и самъ Мазена также не можетъ считаться героемъ «Полтавы». Байронъ, въ своей исполненной эпергіи и величія поэмъ, названной именемъ Мазены, изобразилъ это лицо исторически невърно; по какъ онъ въ этомъ изображеніи былъ въренъ поэтической истинъ, то изъ его Мазены вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно изъ тъхъ титаническихъ

лицъ, которыя въ такомъ изобилін порождалъ глубокій духъ англійскаго поэта... Но Пушкинъ, лучше Байрона знавшій Мазепу, какъ историческое лицо, хотълъ быть въренъ исторіи, — и въ этомъ сдълалъ большую ошибку; ибо, скажите, Бога ради, что за герой поэмы, о которомъ самъ поэтъ говоритъ:

Что радъ и честно и безчестно Вредить онъ недругамъ своимъ; Что ии единой онъ обиды Съ твъъ поръ какъ живъ не забывалъ, Что далеко преступны виды Старикъ надмённый простиралъ; Что онъ не въдаетъ святыни, Что онъ не помнитъ благостыни, Что онъ не любитъ ничего. Что кровь готовъ онъ лить какъ воду, Что презираетъ онъ свободу, Что итъть отчизны для него.

Герой какого бы ин было поэтпческаго произведенія, если оно только не въ комическомъ духѣ, долженъ возбуждать къ себѣ сильное участіе со стороны читателя. Еслибъ этотъ герой былъ даже злодъй, — и тогда онъ долженъ дъйствовать на читателя силою своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ Мазенъ мы видимъ одну низость интригана, состаръвшагося въ козияхъ. Чувствуя это, Пушкинъ хотълъ дать прочное основаніе своей поэмѣ и дъйствіямъ Мазены въ чувствѣ мщенія, которымъ поклялся Мазена Петру за личную обиду со стороны послъдняго. Мы узнаёмъ это изъ разговора Мазены съ Орликомъ, наканупѣ полтавской битвы:

Нътъ, поздно, русскому царю Со мной мприться невозможно. Давно ръшилась непреложно Моя судьба. Давно горю Стъсненной злобой. Подъ Азовымъ Однажды я съ царемъ суровымъ

Во ставкъ ночью пироваль. Полны виномъ кепъли чаши, Кипти съ ними ръчи наши, Я слово смвлое сказаль. Смутились гости молодые -Царь вспыхнуль, чашу урониль, И за усы мон съдые Меня съ угрозой ухватилъ. Тогда, смирясь въ безсильномъ гиввъ, Отмстить себъ я клятву даль; Носиль ее -- какъ мать во чревъ Младенца носить. Срокъ пасталь. Такъ, обо мив воспоминанье Хранить опъ будетъ до конца. Петру и посланъ въ наказанье; Я тернь въ листахъ его вънца. Онъ даль бы грады родовые И жизни лучшіе часы, Чтобъ снова, какъ во дин былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для насъ надежды: Кому бъжать, ръшить заря.

Нътъ пужды говорить о художественномъ достопиствъ этого разсказа: въ немъ видъпъ великій мастеръ. Все въ пемъ дышетъ нравами тъхъ временъ, все върно исторіи. Но хота этотъ разсказъ и основанъ на историческомъ преданіи, онъ тъмъ не менъе нисколько ин поясияетъ характера Мазепы, ни даетъ единство дъйствію поэмы. Можно основать поэму на паоостъ дикаго, безщаднаго мщенія; по это мщеніе, въ такомъ случать, должно быть рычагомъ встъ дъйствій лица, должно быть цтлію самому себъ. Такое мщеніе не разбираетъ средствъ, не боится препятствія и не колеблется отъ страха пеудачи. Но Мазепа былъ очень разсчетливъ для такого мщенія; еслибъ онъ зналъ, что его измѣна не удастся, — мало того: еслибъ онъ, паканунтъ полтавской битвы, предвида ея развязку, могъ еще разъ обмануть Петра и разыграть роль певиннаго, — онъ перешелъ

бы на сторону Петра. Нѣтъ, на измѣпу подвигла его надежда успъха, падежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя и вассальскую, хотя только съ призракомъ самобытности, однако все же корону. Это ли мщеніе? Натъ, мщеніе видитъ одно-своего врага, и готово вмёстё съ пимъ броситься въ бездиу, погубить врага хотя бы ціною собственной погибели. Слова Мазены, что «русскому царю поздно съ нимъ мириться» могутъ быть приняты не за что иное, какъ за хвастовство отчания. Петръ былъ совсемъ не такой человекъ, который удостоилъ бы Мазепу чести видъть въ немъ своего врага и ръшился бы, даже ради спасенія своего царства, мириться съ инмъ: онъ видёлъ въ Мазент не болђе, какъ возмутившагося своего подданнаго, памънника. Мазепа этого пе могъ пе знать къ своему несчастію: онъ былъ человѣкъ ума тонкаго и хитраго. Но еслибъ даже и на мщеніи Мазены основанъ былъ весь планъ поэмы Пушкина, то къ чему же въ ней любовная неторія Мазены, если не къ тому, чтобъ разъединить интересъ ноэмы? Но, можетъ-быть, мысль ноэта заключается во взаимной любви Мазепы и Маріп? Старикъ, страстно влюбленный въ молодую дівушку, тоже страстно въ пего влюбленную, — это мысль глубоко-поэтическая, и надо сказать, что Пушкинъ умъль нарпсовать ее кистію великаго живописца. Некоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; по ихъ нападки не стоятъ не только возраженій, даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ «Отелло» Шексиира — поэта, который въ знаніп человъческаго сердца и страстей имфетъ, конечно, больший, чемъ они авторитетъ. Но Шексппръ представилъ такую любовь какъ фактъ, пе изслъдуя его законовъ, потому что другой правственный вопросъ долженъ былъ составить наоосъ его драмы. Нашъ поэтъ, папротивъ, анализируетъ самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать, что, въ этомъ отношенін, онъ

нстинно Шексппровски внесъ свъточъ поэзін во мракъ вопроса и даль на него такой удовлетворительный отвътъ, какого можно ожидать только отъ великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое
Горитъ и гаснетъ. Въ немъ любовъ
Проходитъ и приходитъ вновъ,
Въ немъ чувство каждый день иное.
Не столь послушно, пе слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пыластъ сердце старика,
Окаменълое годами.
Упорно, медленно оно
Въ огитъ страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужь не остынетъ
И съ жизнью лишь его покинетъ.

Далъе, мы увидимъ, что любовь Марін къ Мазенъ развита н объяснена еще подробиве, глубже, съ мастерствомъ, нередъ которымъ невольно останавливается, пораженный удивленіемъ, читатель. Но на любовь Мазепы къ Маріи все-таки нельзя смотръть, какъ на наоосъ поэмы: нбо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бъгство Маріи страшно смутило Мазепу, но оно не имъло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазены при видъ Кочубеева хутора и, потомъ, при видъ сумасшедшей Маріп, кажется намъ мелодраматическою педставкою со стороны поэта. Можетъ-быть, это происходитъ еще и оттого, что послъ такого событія, какъ полтавская битва съ ея слъдствіями, интересъ любви уже не можеть не ослабъть. Здъсь опять видна главная ошибка поэта, хотъвшаго связать романтическое дъйствіе съ эпопеею. И вотъ почему «Полтава» не производить на читателя того единаго, полнаго, совершенно удовлетворяющаго впечатлёнія, которое должно производить всякое глубоко-копцепированное и строго обдуманное поэтическое твореніе.

Но отдёльныя красоты въ «Полтавъ» изумительны. Если «Цыганы» далеко превзошли вст предшествовавшія имъ произведенія Пушкина, и по идет и по псполненію, —то «Полтава», уступая «Цыганамъ» въ единствъ плана, далеко превосходитъ ихъ въ совершенствъ выраженія. Изъ всъхъ поэмъ Пушкина, въ «Полтавъ» въ первый разъ стихъ его достигъ своего полнаго развитія, вполив сталь Пушкинскимъ. Критики того времени не безъ основанія придирались къ двумъ или тремъ неправильно устченнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомнили собою «піптическія вольностя» прежней школы, напримъръ: сонну вмъсто сонную, тризну тайну витсто тризну тайную; на нтсколько ситлыхъ нововведеній, какъ напримъръ, въ стихъ: «Онъ, должный быть отцомъ и другомъ». Но мы укажемъ и еще на нъсколько незамъченныхъ ими погрѣшностей, какъ напримѣръ, на неумѣстные славянизмы--«младой, благостыни, главы», и въ особенности на два поражающія своею неточностію выраженія: первое въ монологѣ Мазены противъ Кочубея, котораго, Богъ знаетъ почему, называетъ онъ «вольнодумцемъ», и въ разговоръ свиръпаго (п вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмь) Орлика, который совътуетъ Кочубею, на допросъ, «питаться мыслію суровой». Но вотъ и все. За псключеніемъ этого, стихи въ «Полтавъ» — верхъ совершенства.

Обращаясь въ отдельнымъ красотамъ «Полтавы», не знаещь, на чемъ остановиться — такъ много ихъ. Почти каждое мъсто, отдельно взятое на удачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всъхъ этихъ мъстъ, и укажемъ только на нъкоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тъмъ не менъе его изображеніе (отъ стиха: «Между полтавскихъ казаковъ» до стиха: «И взоры въ землю опускалъ») представляетъ собою необыкновенно мастерскую картину. Следующій за темъ отрывокъ, отъ стиха: «Кто при звездахъ и при луне» до стиха: «Царю Петру отъ Кочубея» выше всякой похвалы: это вместе и народная песня и художественное созданіе. Кочубей, ожидающій въ темнице своей казни, его разговоръ съ Орликовъ (за исключеніемъ того, что говоритъ самъ Орликъ),—все это начертано кистію столь широкою, могучею и въ то же время спокойною и уверенною, что читатель не знаетъ чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ся эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столько же полнаго грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звъзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Пе хочеть воздухь. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. Лупа спокойно съ высоты Падъ Бълой-Церковью сіясть II пышныхъ гетиановъ сады И старый замокъ озаряеть, II тихо, тихо все кругомъ; По въ зачкъ шопотъ и смятенье. Въ одной изъ башенъ подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьъ, Окованъ Колубей сидитъ. И мрачно на небо глядитъ. Заутра казнь. По безъ боязни Онь мыслить объ ужасной казии; О жизни не жалкеть опъ: Что смерть ему? желанный сонъ, Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. 11o, Боже правый! Къ поганъ злодъя, молча, паст Какъ безсловесное созданье, Царемъ быть отдану во власть Врагу царя на поруганье, Утратить жизнь и съ нею честь,

Друзей съ собою на плаху весть. Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья, Ложась безвиннымь подъ топоръ, Врага веселый встритить взорь, И смерти кинуться въ объятья, Не завъщая ипкому Вражды къ злодбю своему!... И веноминать онъ свою Полтаву, Обычный кругь семьи, друзей, Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдб онъ родился, Гдъ зналъ и трудъ и мприый сонъ, И все, чёмъ въ жизни насладился, Что добровольно бросиль онь, И для чего?

Отвътъ Кочубея Орлику на допросъ послъдняго о зарытыхъ кладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями «Полтавы», и потому, мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Мазена, въ это время, сидитъ у ногъ сиящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ, вижу я: кому судьбою Волненья жи зипсуждены, Тоть стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены: Въ одиу телегу вирячь не можно Коня и трепетиую лань. Забылся я пеосторожно: Тенерь плачу безумства дань.

Въ тоскъ страшныхъ угрызеній совъсти, злодъй сходитъ въ садъ, чтобъ освъжить нылающую кровь свою, —и обаятельная роскошь лътней малороссійской ночи въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазены, блещетъ и сверкаетъ какою-то страшно-фантастическою красотою:

Тиха украниская почь. Прозрачно небо. Звъзды блещуть.

Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещутъ Сребристыхъ тополей листы. Но мрачны странныя мечты Въ душъ Мазепы: звъзды ночи, Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмъщанво глядять, И тополи, стъснившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи шепчутъ межь собою. И лътней теплой ночи тьма Аушна, какъ черная тюріма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Какъ-бы изъ замка слышить онъ. То быль ли сонь воображенья, Иль плачь совы, иль звъря вой, Иль пытки стонъ, иль звукъ иной-По только своего волненья Преодольть не могь старикъ, И на протяжный, слабый крикъ Другимъ отвътствовалъ — тъмъ крикомъ, Которымъ онъ въ весельи дикомъ Поля сраженья оглашаль, Когда съ Забълой, съ Гамалвемъ, И съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорять, что хвалить мудренье, чьмъ бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ — и еще какимъ! И потому, мы, въ сознаніи пашего безсилія, скажемъ убогою прозою, что если эта картина мученій совъсти Мазены можеть подозрительному уму показаться нъсколько мелодраматическою выходкою (по той причинъ, что Мазень, какъ закореньлому злодью, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и красньть, подобно юношъ, отъ привъта красоты), — то мастерство, съ которымъ выражены

эти мученія, выше всякихъ похвалъ и утомляетъ собою всякое удивленіе. Сцена между женою Кочубея и ея дочерью замъчательно хороша по роли, какую играетъ въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще неочнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаетъ, и въ то же время стращится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этотъ вопросъ: «Какой отецъ? какая казнь?», равно какъ и всъ вопросительные и восклицательные отвъты, -- исполненъ драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотою и спокойствіемъ, которыя, въ соединенін съ ея страшною вёрностью дъйствительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатльніе, еслибъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ея печатію изящества. Этотъ налачъ, который, гуляя и веселяся на роковомъ помостъ, алчно ждетъ жертвы, и то, играюни, беретъ въ бълыя руки тяжелый топоръ, то шутитъ съ веселою чернью, — и этотъ безпечный народъ, который, но совершенін казни, идетъ домой, толкуя межь собой про свои въчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотрадно тяжелая мысль во всемъ JTOM'S!

Но что всё этп разсённыя богатою рукою поэта красоты—передъ красотами третьей пъсни! И не удивительно: паоосъ этой третьей пъсни устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мастерскою кистію изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипъвшіе въ душъ Мазены; его притворную бользнь и внезанный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гиъвъ Петра, его сильныя и быстрыя мъры къ удержанію Малороссіп... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII-му:

И ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кипувшій вінець,

Твой близокъ день: ты валъ Полтавы Вдали завидёль наконецъ.

Картина Полтавской битвы начертана кистію широкою и см'влою; она исполнена жизин и движенія живописець могь бы писать съ нея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой картинь, изображенное огненными красками, поражаеть читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, подымающимъ волосы на головъ, шроизводитъ на него такое впечатлівніе, какъ-будто бы онъ-видить передъ глазами совершеніе какого-инбудь таниства, какъ будто бы иъкій богъ, въ лучахъ нестерпимой для взоровъ смертнаго славы, проходитъ нередъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный гласъ Петра: «За двло, съ Богомъ!» Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасецъ. Движенья быстры. Онъ прекрасень, Онъ весь, какъ божія гроза. Идеть. Ему коня подводять. Ретивъ и смиренъ върный конь; Почуя роковой огонь Арожить, глазами косо водить И мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ. Ужь близокъ полдень. Жаръ пылаеть; Какъ пахарь, битва отдыхаетъ. Кой-гав гарцують казаки; Ровняясь строятся полки; Молчить музыка боевая; На холмахъ пушки присмиртвъ Прервали свой голодный ревъ. И се — равинну оглашая Лалече грянуло ура: Полен увидели Петра.

И онъ промчался предъ полками, Могущъ и радостенъ какъ бой. Онъ поле пожпраль очами. За нимъ во слъдъ песлись толпой Сіп птенцы гиъзда Петрова — Въ премънахъ жребія земнаго, Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны: И Шереметевъ благородный, И Брюсъ, и Боуръ, и Ръпнинъ, И, счастья баловень безродный, Полудержавный властелинъ.

Представьте себѣ великаго творческаго генія, который столько лътъ носилъ и лелъялъ въ душт своей замыслы преобразованія цълаго народа, который столько трудился, въ потъ царственнаго чела своего, — представьте его въ ту рашительную минуту, когда онъ начинаетъ видъть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самою природою, съ са мою возможностью готова увёнчаться полнымъ успёхомъ, представьте себѣ его преображенное, сіяющее побѣднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, — п вы будете впдать передъ собою живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случат, живописи стояло бы побороться съ поэзіею. — и великій живописецъ могъ бы за честь себъ поставить перевести на полотно, въживыхъ краскахъ, живые стихи Пушкина, чтобъ рёшить задачу, какъ воспользуется живонись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіею. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески свободномъ переводъ одного и того же предмета съязыка поэзіп на языкъ живописи, чтобъ, сравнительно, показать средства и способы того и другаго искусства. Повторяемъ: тугъ живописцу нечего изобрътать — для него готовы и группы, и подробности, и лицо

Петра — эта главитишая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замтчательное по огромности военных силь, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нъть, это была битва за существованіе цълаго народа, за будущность цълаго государства, это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что, въроятно, они самому Петру, въ горькія минуты неудачь и разочарованія, казались несбыточными, какъ и почти всёмъ его подданнымъ. И потому, на лицъ послъдияго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главная часть ея; въ отдаленіп, поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, но безъ которой картина его не имъла бы полноты:

И передъ синими рядами
Своихъ воянственныхъ дружвиъ,
Несомый върными слугами,
Въ качалкъ, блъденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился.
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волиенье.
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумънье...
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На Русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эпизодъ о волненія дряхлаго и уже безсильнаго Палія, завидъвшаго врага своего, Мазену. Но эпизодъ смерти казака, влюбеннаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе пеумъстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поэму этого казака, чтобъ

было съ къмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазепу, мелодраматически эффектиа; ради ея, поэтъ исказилъ псторическое событіе: доносъ былъ отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиною, съ которою тоже за честь бы могь поставить себѣ побороться великій живописець:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его, И царскій пиръ его прекрасенъ. При кликахъ войска своего, Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно прекрасныхъ подробностяхъ еще цълой части поэмы, паоосъ которой составляетъ любовь Марін къ Мазенъ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы ноэма въ поэмъ, и ея, конечно, стало бы на особую отдъльную поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазены и Маріи, Пушкинъ воснользовался только идеею любви старика къ молодой дъвушкъ и къ старику. Въ подробностяхъ, и даже въ изображеніи дочери Кочубея, онъ отступалъ отъ исторіи. Поэтому, весь этотъ фактъ онъ передълалъ по своему идеалу, — и дочь Кочубея является у него совершенно идеа лизированною. Онъ перемънить даже ея имя — Матроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, — онъ, боясь соблазна и толковъ, переслалъ ее въ родительскій домъ. гдъ мать Матроны к а тов а ла (палачила, изтязала, съкла) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало энергію страсти бъдной дъвушки. Мазена любиль ее, писалъ

къ ней страстныя письма, но въ отношени къ ней не принялъ никакого твердаго рёшенія— то умолялъ о свиданіяхъ, то совътоваль пдти въ монастырь.

Какъ бы то ин было, но основаніе, сущность отношеній Мазены и Марін въ поэмѣ Пушкина историческія, и еще болке истинныя — поэтически, — и Пушкинъ умѣлъ ими воспользоваться какъ истинно великій поэтъ, хотя онъ ихъ и идеалиънровалъ по своему.

Не только первый пухъ лапить, Да русы кудри молодые, Порой и старца строгій видъ, Рубцы чела, власы сѣдые Въ воображенье красоты Влагають страстныя мочты.

Подобное явленіе рідко, но тімъ не менте дійствительно. Возможность его заключается въ законахъ человъческаго духа, и потому, по ръдкости, его можно находить удивительнымъ, по нельзя паходить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видитъ въ мущинъ своего защитника и покровителя; отдаваясь ему — сознательно или безсознательно, но во всякомъ случав, она двлаетъ обменъ красоты или прелести на силу и мужество. Послъ этого, очень естественно, если бывають женскіп патуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются правственнымъ могуществомъ мущины, украшеннымъ властію и славою, — увлекаются имъ, безъ соображенія неравенства літъ. Для такой женщины, самыя съдины прекрасны, и чкиъ круче правъ старика, тъмъ за большее счастіе и честь для себя считаетъ она, влілніемъ своей красоты и своей любви укрощать его порывы; дълать его ровиве и мягче. Само безобразіе этого старика красота въ глазахъ ел. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ беззавътно отдалась старому воину, суровому Мавру — великому Отелло. Въ Маріи Пушкина это еще понятите: пбо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характэромъ гордымъ, твердымъ, ръшительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодъемъ, какъ Мазена, по съ героемъ въ истинномъ значеніи этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лътъ,—ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душъ готовой на все злое для достиженія своихъ цълей, думала увидъть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастіемъ, но не виною: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкъ. На этомъ основаніи, намъ понатиа ея любовь, понятно —

Зачимь бижала своенравно Она семейственныхъ оковъ. Томилась, тайно воздыхала И на привъты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвъчала: Зачёмь такь тихо за столомъ Она лишь гетману внимала, Когда бесъда ликовала И чаша пѣнилась виномъ; Зачёмь она всегда пёвала Тъ пъсни, кои онъ слагалъ, Когда онъ бъденъ былъ и малъ. Когда молва его не знала; Зачёмь сь неженскою душой Она любила конный строй. и вранный звонъ литавръ и клики Предъ бунчукомъ и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокъ, которыми изобразиль поэть страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здъсь Пушкинъ, какъ поэть, вознесся па высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глу-

боко вонзиль онь свой художническій взорь вь тайну великаго женскаго сердца, и ввель насъ вь его святилище, чтобъ внівшиее сділать для насъ выраженіемь внутренияго, въ факт'є дійствительности открыть общій законь, въ явленіи—мысль...

Марія, обдиал Марія, Краса черкаскихъ дочерей! Не знаешь ты, какого змія Ласкоенть на груди своей. Какой же властью испонятной Къ дунтъ свиръной и развратной Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя съдины, Его глубоків морщины, Его блестящій, вназый взоръ, Его лукавый разговоръ Тебв всего, всего дороже: Ты мать забыть для инхъ могла, Соблазномъ постланное ложе Ты отчей съни, предпочла. Своими чудными очами Тебя старыкь заы рожнать. Своими тихими ръчами Въ тебъ онъ совъсть усынилъ; Ты на него съ благоговъньемъ Возводинь ослъпленный взоръ, Его лелвень съ умиленьемъ -Тебъ прілтецъ твой позоръ; Ты имъ въ безумномъ упоеньи, Какъ цъзомудріечь горда — Ты предесть ивжную стыда Въ своемъ утратила падены ... Что стыдъ Маріп? что молва? Что дзя нея мірскія изни, Когда склоняется въ волъни Къ ней старца гордая глава, Когда съ ней гетманъ забываетъ Судьбы своей и трудъ и шумъ, Иль тайны смёлыхъ, грозныхъ думъ Ей, дъвъ робкой, открываетъ?

Но въ такой великой натуръ любовь можетъ быть только преобладающею страстію, которая, въ выборъ, не допускаетъ инкакого совмъстипчества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душъ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому, блаженство любви не отнимаетъ въ сердиъ Маріи мъста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объотцъ и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль, Н душу ей одна нечаль Порой, какъ туча, затывваетъ: Она унылыхъ предъ собой Отца и мать воображаетъ; Она, сквозъ слезы, видитъ ихъ Въ бездътной старости однихъ. И, мнится, пънящъ ихъ внимаетъ... О, еслибъ въдала она. Что ужь узнала вся Украйна! Но отъ нея сохранена Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дъйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидъла своихъ родителей и клялась въчно «любыты и сердечие кохаты Мазеиу на злость ея ворогамъ». Но въдь въ дъйствительности-то, родители Матроны катовали ее... Понятно, почему Пушкинъ ръшился поэтически отступить отъ «такой» дъйствительности...

Но нигдъ личность Маріи не возвышается, въ поэмъ Пушкина, до такой апооеозы, какъ въ сценъ ел объясненія съ Мазеною — сценъ, написанной истинно Шекспировскою кистью. Когда Мазена, чтобъ разсъять ревнивыя подозрънія Маріи, принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываетъ: нътъ больше сомньній, нътъ безпокойства; мало того, что она въритъ ему, въритъ, что онъ не обманываетъ ел: она въритъ, что онъ не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ел ли женскому уму, воспитанному въ затворничествъ,

обречениому на отчуждение отъ дъйствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такія стремленія, и чъмъ оканчиваются они! Она зпаетъ одно, върптъ одному, — что онъ, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можетъ не достичь всего, чего бы только захотълъ. Блескъ короны на съдыхъ кудряхъ любовника уже ослъпилъ ея очи, — и она восклещаетъ съ увъренностію дитяти, сильнаго и разумнаго одною любовію, но не знаніемъ жизни:

О, милый мой, Ты будешь царь земли родиой! Твоимъ свяпиамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взявсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и, вмысть съ тымь, какая простота! Этоть отвыть Маріи: «Я! люблю ли?», это желаніе уклопиться оть отвыта на вопросъ, уже рышенный ея сердцемь, но все еще страшный для нея — кто ей дороже: любовникъ или отець, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву, для спасенія другаго, — и потомъ, рышительный отвыть, при виды гныва любовника... какъ все это драматически, и сколько туть знанія женскаго сердца!

Явленіе сумасшедшей Маріп, неумъстное въ ходъ поэмы, и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совъсть Мазены, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послъднія слова ея безумной ръчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго исихологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скоръй... ужь поздно. Ахъ, вижу, голова моя Полна волненія пустаго: Я принимала за другаго Тебя, старикъ. Оставь меня. Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ. Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ:

Въ его глазахъ блеститъ любовь, Въ его рѣчахъ такая пѣга! Его усы бѣлѣе спѣга, А на твопхъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портретъ, но ничего лучше не создала она лица Маріп. Что передъ нею эта препрославленная и столько восхищавшая всъхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна— это смъшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?...

Но «Полтава» принадлежить къ числу превосходивишихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства мысли и плана, а потому недостаточная и слабая въ цъломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаеть въ себѣ нѣсколько поэмъ, и потому самому не составляетъ одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочиненін, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья итснь ея, сама по себт, есть нъчто особенное, отдъльная поэма въ эпическомъ родъ. Но изъ нея нельзя было сделать эпической поэмы: еслибъ поэтъ и даль ей обширивиший объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходивишихъ картинъ, но не поэмою. Чувствуя это, поэтъ хотъль связать ее съ исторіею любви, иміющею драматическій интересъ; но эта связь не могла не выйдти чисто витшнею. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогт, въ которомъ поэтъ говоритъ сперва о гордыхъ и спльныхъ людяхъ того въка, потомъ о Петръ-Великомъ, далье — о Карлъ XII, о Мазенъ, о Кочубеъ съ Искрою, и оканчиваетъ все это Марією... Несмотря на то, «Полтава» была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаетъ общимъ впечатлъніемъ, пътъ въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы вст другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдъльности есть превосходное художественное произведение. И никогда еще до того времени, нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоцънныхъ матеріяловъ на свои зданія, никогда не отдёлываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и эпергіп въ его стихъ! Какая живая соотвътственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно нередано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ тонъ разсказа, въ духъ и оборотъ выраженій! И между тъмъ, какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать поспльное свое остроуміе, назваль палача бълоручкою, а всю картину казин—отвратительною! Вотъ ужь подлинно бізлоручка! Другой посмінялся, какъ падъ нелівностью, надъ любовью старика Мазены къ молодой дввушкв, и находилъ оправдание этого факта развъ только въ русской пословицъ: съдина въ бороду, а бъсъ въ ребро. Третій доказываль, что вей действующія лида «Полтавы» каррикатурны, на основанін отзывовъ Мазепы о Карлё XII и Петра-Великомъ!... И все это тогда читалось; многіе даже вігрили дівльности такихъ отзывовъ!...

Теперь, намъ слъдовало бы говорить о «Евгеній Онъгинъ», но статья наша и такъ вышла велика, а «Евгеній Онъгинъ», кромѣ своего огромнаго объема, имѣетъ въ русской литературѣ и въ русской жизии столь важное значеніе, что о немъ надо или говорить много, или совсѣмъ не говорить. И потому, мы отлагаемъ его разборъ до слъдующей статьи, а эту кончимъ бъглымъ взглядомъ на «Графа Нулина».

«Графъ Нулинъ» — не болъе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, но очеркъ, сдъланный рукою въ высшей стенени художественною. Сказкою «Модная Жена», Дмитріевъ нъкогда чуть не стажалъ вънка беземертіл. Сказка его дъйствительно прекрасна; ее и

теперь нельзя читать безъ удовольствія; но вѣнки безсмертія въ наше время очень вздорожали, — и хотя «Графъ Нулинъ» безконечно выше и лучше «Модной Жены» Дмитріева, однако не имъ будетъ безсмертенъ Пушкинъ: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вънкъ его. Въ лицъ графа Нулина поэтъ, съ ненодражаемымъ мастерствомъ, изобразиль одного изъ тъхъ пустыхъ людей высшаго свътскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна — типъ молодой помѣщицы новыхъ времень, которая воспитывалась въ пансіонь, въ дъль моды не отстаеть отъ въка, хотя живеть въ глуши, о хозяйствъ не имжеть никакого понятія, читаеть чувствительные романы и зъваетъ въ обществъ своего мужа — истиннаго типа степнаго медвідя и псаря. Въ этой повісти все такъ и дышеть русскою природою, стрепькими красками русского деревенского быта. Здісь цільні рядь картинь вь фламандскомь вкусі. — и ни одна изъ нихъ не уступитъ въ достоинствъ любому изъ тъхъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко цинятся знатоками. Что составляеть главное достоинство фламандской школы, если не умънье представлять прозу дъйствительности нодъ поэтическимъ угломъ зранія? Въ этомъ смысла. «Графъ Нулинъ» есть цёлая галлерея превосходивнивхъ картинъ фламандской школы. И если мы сказали, что не «Графомъ Нулинымъ» будетъ безсмертенъ Пушкинъ, это не значить, чтобъ мы на поэму его смотрёли, какъ на легонькое литературное произведеньице, какъ на остроумную шутку: нътъ, это значить только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на безсмертіе, чемъ «Графъ Нулинъ», в что эта поэмка, которая могда бы составить главный каниталь извъстности для инаго поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожальнія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какою поэть схватываетъ въ «Графъ Нулинъ» самыя характеристическія черты русской жизни. Вотъ, напримъръ, портретъ Параши, горничной Натальи Павловны:

Нараша эта
Наперсинца ея затъй:
Шьетъ, моетъ, въсти переноситъ,
Изношенныхъ капотовъ просигъ,
Норою барина смълинтъ,
Норой на барина кричитъ,
И лжетъ предъ барыней отважно.

Да, это типъ всъхъ русскихъ горинчныхъ, которыя служатъ барынямъ новаго, т. е. пансіонскаго образованія!

Говорить ли, что вся поэма исполнена ума, остроумія, легкости, грація, тонкой проніп, благороднаго тона, знанія дійствительности, написана стихами въ высшей степени превосходиыми? Пушкинъ иначе и не уміть писать, — а «Графъ Нулинъ» есть одно изъ удачнійшихъ его произведеній.

Эта поэма въ первый разъ была папечатана въ «Съверныхъ Цвътахъ» 1828 года, а отдъльно вышла въ 1829 году. Тогдато опрокинулась на нее со всъмъ остервененіемъ педантическая критика. Главною виною поставлено было «Графу Нулину» пустота, будто бы, его содержанія. По убъжденію этой критики, поэзія должна заниматься только важными предметами, каковые обрътаются въ одахъ Ломоносова, его «Петріадъ», одахъ Петрова и стопудовыхъ пінмахъ Хераскова. Ей, этой неотёсанной критикъ, и въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное пъснопъніе, взятое массою, далеко не стоптъ одной страницы изъ «Графа Нулина». Потомъ поставлена была въ великое преступленіе «Графу Нулину» неприличная вольность его содержанія и изложенія. будто бы оскорбляющая хорошій тонъ свътскаго общества. Бъдная кри-

тика! она любезности училась въ дъвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно ли, что «Графъ Нулинъ» такъ жестоко оскорбилъ ея тонкое чувство приличія? Бъдная критика! она и до сихъ поръ добродушно убъждена въ своемъ знаніи большаго свъта и нещадно преслъдуетъ «Мертвыя Души» за нарушеніе условій хорошаго тона, — а большой свътъ, неблагодарный, до сихъ поръ, не хочетъ и подозръвать существованія ея, бъдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочелъ «Мертвыя Души», съ какимъ иткогда читалъ «Графа Нулина», не видя ин въ томъ, ни въ другомъ произведеніи инчего противнаго и оскорбительнаго тому, что называетъ онъ «хорошимъ тономъ» и «приличіемъ».

VIII.

Евгеній Онагинъ.

Признаемся: не безъ нъкоторой робости приступаемъ мы къ притическому разсмотрънію такой поэмы, какъ «Евгеній Онъгинъ». И эта робость оправдывается многими причинами. «Опъгинъ» есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ дичность поэта отразилась въ «Онъгинъ» личность Пушкина. Здъсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здъсь его чувства, понятія, пдеалы. Оцънить такое произведеніе, значитъ—оцънить самого поэта, во всемъ объемъ его творческой дъятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствъ «Опъгина». — эта поэма имъетъ для насъ, Русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрънія, даже и то, что теперь критика

могла бы съ основательностію назвать въ «Онфгинф» слабымъ, или устарълымъ, —даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. П насъ приводить въ затрудненіе не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для вѣрной оцънки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мъстахъ «Опъгпна», съ одной стороны, видъть недостатки, съ другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаётъ въ произведеніяхъ пскусства только безусловные недостатки, или безусловныя достоинства, и которая не понимаетъ, что условное и относительное составляють форму безусловнаго. Вотъ ночему изкоторые критики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находа въ немъ великій талантъ и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполив художественно и могло бы вполнъ удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношения къ «Опътину», наши суждения могутъ показаться многимъ еще болье противорьчащими, потому что «Опътинъ», со стороны формы, есть произведение въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляють его величайшія достопиства. Вся наша статья объ «Онфгинф» будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего, въ «Опъгинъ» мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одпомъ изъ интересившихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрънія, «Евгеній Онъгинъ» есть поэма историческая въ полномъ смыслъ слова, хотя въ числъ ея героевъ пътъ ни одного историческаго лица. Историческое достопиство этой поэмы тъмъ выше, что она была на Руси и первымъ и блиста-

тельнымъ опытомъ въ этомъ родъ. Въ ней Пушкинъ является не просто ноэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безмірная! До Пушкина, русская поэзія была не болье, какъ понятливою и переимчивою ученицею европейской музы. — и потому вей произведенія русской поэзін до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя пропзведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ — этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и національнорусскій, долго не имълъ смълости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзін Державина, ярко проблескивають и русская ръчь п русскій умъ, но не больше, какъ проблескиваютъ, потоиляемые водою риторически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написаль русскую трагедію, даже историческую — «Димитрія Донскаго», но въ ней русскаго и историческаго одни имена: все остальное столько же русское п историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написаль двж русскія баллады — «Людмилу» и «Свътлану»; но первая изъ нихъ есть передвика пъмецкой (п притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дъйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута намецкою сантиментальностью и ифмецкимь фантазмомъ. Муза Батюшкова, въчно скитансь подъ чужими небесами, не сорвала ин одного цвътка на русской почвъ. Всъхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нътъ и не можетъ быть никакой ноэзін, и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на петась въ чужіе крап, даже на востокъ, не только на западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумъется, это сдълалось не вдругъ, нотому что вдругъ ничего не дълается. Въ поэмахъ: «Русланъ и Людмила» и «Братья Разбойники», Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ, — по не въ поэзін только, какъ опи, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображеніе русской дъйствительности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ «Русланъ и Людмилъ» такъ мало русскаго и такъ много итальянскаго, а «Разбойники» такъ похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Женихъ», написанная имъ въ 1825 году, въ которомъ появилась и первая глава «Онъгина». Эта баллада, и со стороны формы и со стороны содержанія, насквозь пропикнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чъмъ о «Русланъ и Людмилъ», можно сказать:

Здъсь русскій духъ, здъсь Русью пахнетъ.

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго випманія, а теперь почти всіми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства:

Наутро сваха къ нимъ на дворъ Нежданная приходитъ. Наташу хвалитъ, разговоръ Съ отцомъ ел заводитъ: «У васъ товаръ, у насъ купецъ, Собото нарень молодецъ, И статной, и проворной, Не вздорной, не зазорной.

«Богатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ Не клаияется въ поясъ, А какъ бояринъ между тѣмъ Живетъ, не безпокоясь; А подаритъ невѣстѣ вдругъ И япсью шубу, и жемчугъ, И перстии золотые, И платъя парчевыя.

«Катаясь, впдълъ онъ вчера Ее за воротами; Не по рукамъ ли, да съ двора, Да въ церковь съ образами?» Она сидитъ за пирогомъ. Да ръчь ведетъ обинякомъ, А объдная невъста Себъ не видитъ мъста.

«Согласень, говорить отець, Ступай благонолучно, Моя Наташа, подъ вънецъ Одной въ свътелкъ скучно. Не въкъ дъвицей въковать, Не все косаткъ распъвать, Пора гиъздо устроить, Чтобъ дътушекъ покопть».

И такова вся эта баллада, отъ перваго до послъдняго слова! Въ народныхъ русскихъ пъсняхъ, вмъстъ взятыхъ, не больше русской народности, сколько заключено ея въ этой балладъ! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видёть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтпческихъ созданій, — п публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Міръ, такъ втрно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ разкой его особенности. Сверхъ того, онъ такъ тъсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ не долго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны, скучны и, наконецъ, пошлы, несмотря на вст ихъ достопнства. Вотъ почему человъкъ съ талантомъ дълаетъ обыкновенно не болъе одной, или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родъ; для него, это — дёло между прочимъ, затёянное больше изъ желанія пспытать свои силы и на этомъ поприще, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу. Лермонтова «Пъсня про Царя Ивана Васильевича молодаго опричника и удалова купца Калашинкова», не превосходя Пушкинскаго «Жениха» со стороны формы, слишкомъ много превосходитъ его со стороны содержанія. Это поэма, въ сравненіи съ которою ничтожны вст богатырскія народно-русскія поэмы, собранныя Киршею Даниловымъ. И между тѣмъ, «Пѣсня» Лермонтова была не болће, какъ опытъ таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтовъ никогда ничего больше не написалъ бы въ этомъ родъ. Въ этой пъсит. Лермонтовъ взялъ все, что только могъ ему представить сборникъ Кирши Данплова, —и новая попытка въ этомъ родъ была бы по необходимости повтореніемъ одного и того же-старыя погудки на новый ладъ. Чувства и страсти людей этого міра такъ однообразны въ своемъ проявленіи; общественныя отношенія людей этого міра такъ просты и несложны, что все это легко изчернывается до дна однимъ произведеніемъ сильнаго таланта. Разнообразіе страстей, тонкіе ло безконечности оттънки чувствъ, безчисленно многосложныя отношенія людей, общественныя и частныя, —вотъ гдъ богатая почва для цвътовъ поэзін, и эту почву можетъ приготовить только сильно развивающаяся или развивавшаяся цивилизація. Произведенія въ родъ «Jeanne» Жоржа Занда, возможны только во Франціи, потому что тамъ цивилизація, въ многосложности ея элементовъ, всё сословія поставила въ тёсное и электрически взаимно-дъйствующее отношеніе другъ къ другу. Наша поэзія, напротивъ, должна искать для себя матеріяловъ почти исключительно въ томъ классъ, который, по своему образу жизни и обычаямъ, представляетъ болъе развитія и умственнаго движенія. И если національность составляетъ одно изъ высочайшихъ достопиствъ поэтическихъ произведеній, — то, безъ сомитнія, пстипно-національныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ содержание взято изъ жизни сословія, создавшагося по реформъ Петра-Великаго и усвопвшаго себъ формы образованняго быта. Но большинство публики, до сихъ поръ, по-

нимаетъ это дъло вначе. Назовите народнымъ, или національнымъ произведеніемъ «Руслана и Людмилу», — и съ вами всѣ согласятся, что это действительно и народное и національное произведеніе. Еще болье будуть согласны съ вами, если вы назовете народнымъ произведеніемъ всякую піесу, въ которой дъйствуютъ мужики и бабы, бородатые купцы и мъщане, или въ которомъ дъйствующія лица пересыпають свой незатьйливый разговоръ русскими пословицами и поговорками, и, въ добавокъ, пропускаютъ между ими риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди болье умные и образованные, охотно (и притомъ весьма основательно) видятъ народную русскую поэзію въ басняхъ Крылова, п даже готовы видъть ее (что уже не такъ основательно) не только въ сказ. кахъ Пушкина («о Царѣ Салтанъ» и «О мертвой царевнъ»), но и (что уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковскаго («О царъ Берендеъ до колънъ борода» и «О спящей Царевиъ»). Но немногіе согласятся съ вами п для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истиню національно-русская поэма въ стпхахъ была и есть-«Евгеній Онъгинъ» Пушкина, и что въ ней народности больше, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочиненіп. А между тъмъ, это такая же истина, какъ и то. что дваждыдва-четыре. Если ее ие всь признають національною - это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мнине. будто-бы Русскій во фракѣ, или Русская въ корсетѣ-уже не Русскіе, и что русскій духъ даетъ себя чувствовать только тамъ, гдъ есть зипунъ, ланти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случав, у насъ многіе даже и между такъ называемыми образованными людьми, безсознательно подражають русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называеть «Итмеемъ». П вотъ гдт источникъ пустой боязни нъкоторыхъ, чтобъ мы вст не опъмечились! Вст европейские

народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ сѣнію католическаго единства, духовнаго (въ лицъ папы) и свътскаго (въ лицъ избраннаго главы священной Римской Имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же стремленій къ последнимъ результатамъ цивилизаціи, -- однако, тёмъ не менёе между Французомъ, Нъмцемъ, Англичаниномъ, Итальянцемъ, Шведомъ, Испанцемъ, такая же существенная разница, какъ и между Русскимъ и Индійцемъ. Это струны одного и того же инструмента — духа человъческаго, но струны разнаго объема, каждая съ своимъ особеннымъ звукомъ, — и потому-то онъ издаютъ полные гармоническіе аккорды. Если же народы западной Европы, вст равно происходящіе отъ великаго тевтонскаго племени, большею частію смішавшагося съ романскими племенами, вст равно развившіеся на почвт одной п той же религіп, подъ вліяніемъ однихъ и тъхъ же обычаевъ, одного и того же общественнаго устройства, и потомъ всф равно воспользовавшіеся богатымъ наследіемъ древне-классическаго міра, —если, говоримъ, всѣ народы западной Европы, составляющіе собою единое семейство, тъмъ не менте рызко отличаются одинъ отъ другаго, то естественное ли дело, чтобъ русскій народъ, возникшій на другой почвѣ, подъ другимъ небомъ, имъвшій свою исторію, ни въ чемъ непохожую на исторію ни одного западно-европейскаго парода, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвоивъ себѣ одежду и обычан евроцейскіе, могъ утратить свою національную самобытность п походить, какъ двё канли воды, на каждаго изъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ каждый другь отъ друга рёзко отличается и физическою п правственною физіономіею?... Да это пельность нельностей! хуже этого пичего нельзя выдумать! Первая причина особности племени, или народа заключается въ почви и климати занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шаръ странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и кли-

матологическомъ отношеніяхъ? И потому, чтобъ напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могъ лишить Русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россіи превратить въ гористый; безконечное его пространство сделать меньшимъ по крайней мере въ десять разъ (за исключеніемъ Сибпри). И много, кромѣ того, пужно бы сдълать такого, чего нельзи сдълать, и о чемъ фантазировать на досугъ прилично только господамъ Маниловымъ. Далъе: бъдна та народность, которая трепещетъ за свою самостоятельность при всякомъ соприкосновении съ другою народностью! Наши самозванные патріоты не видять, въ простоть ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они тімь самымь жестоко оскорбляють ее. Но когда сделалось всегда победоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ-Великій одблъ его въ европейское платье и пріучиль его сообразной съ этимь платьемъ военной дисциплинь? Какъ-то естественно видъть толпу крестьянъ. дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи, -- какъто естественно видёть ихъ бъгущими въ безпорядкъ съ поля битвы; -- точно такъ же, какъ естественно видъть полки солдатъ, даже и при военной неудачъ, или храбро умпрающими на поль битвы, или отступающими въ грозномъ порядкъ. Нъкоторые изъ горячихъ славянолюбовъ говорять: «Посмотрите на Нъмца, — онъ вездъ Нъмецъ, и въ Россіи, и во Франціи, и въ Индін; Французъ тоже вездъ Французъ, куда бы ни занесла его судьба; а Русскій, въ Англін — Англичанинъ, во Францін — Французъ, въ Германіп — Нъмецъ». Дъйствптельно, въ этомъ есть своя сторона истины, которой нельзя оспоривать, но которая служить не къ униженію, а къ чести Русскихъ. Это свойство удачно примъняться ко всякому, народу, ко всякой странь, отнюдь не есть исключительное свойство только образованныхъ сословій въ Россія, но свойство всего русскаго племени, всей съверной Руси. Этимъ свойствомъ русскій человѣкъ отличается и отъ всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ, и, можетъ-быть, ему-то и обязанъ онъ своимъ превосходствомъ надъ ними. Извъстно, что наши русскіе солдаты — удивительные природные философы и политики, и нигдъ ничему не удивляются, но все находятъ очень естественнымъ, какъ бы это все ни было противоположно ихъ понятіямъ и привычкамъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметъ, ссылаемся, для краткости, на замъчание Лермонтова объ удивительной способности русскаго человъка примъняться къ обычаямъ тъхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. «Не знаю (говорить авторъ «Героя Нашего Времени»), достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываеть неимовърную его гибкость и присутствіе этого яснаго здраваго смысла, который прощаеть зло вездъ, гдъ видитъ его необхидимость или невозможность его уничтоженія». Здысь дыло идеть о Кавказы, а не о Европы; но русскій человъкъ вездѣ тотъ же. Угловатый Нѣмецъ. тяжеловато-гордый Джонъ-Буль, уже самыми ихъ ухватками и манерами никогда и ингдъ не скроютъ своего происхожденія; и послъ Француза, только Русскій можеть по наружности казаться просто человѣкомъ, не пося на своемъ лбу національпаго клейма, или паспорта. Но изъ этого отнюдь не следуеть, чтобъ Русскій, уміл въ Англіп походить на Англичанина, а во Франціп на Француза, хоть на минуту пересталь быть Русскимъ, пли хоть на минуту нешутя могъ сдълаться Англичаниномъ, или Французомъ. Форма и сущность, не всегда одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себъ, но отъ сущности своей отръшиться совсъмъ не такъ легко, какъ промънать охабень на фракъ. Мужду Русскими есть много галломановъ, англомановъ, германомановъ и разныхъ другихъ

«мановъ». Посмотришь на нихъ: точно такъ-съ которой стороны ни зайди — Англичанинъ, Французъ, Нъмецъ да и только. Если англоманъ, да еще богатый, то и лошади у него англизированные, и жокеи и грумы, словно сейчась изъ Лондона привезенные, и паркъ въ англійскомъ вкусъ, и портеръ онъ пьетъ исправно, любитъ ростбифъ и пуддингъ, на комфортъ помъщанъ, и даже боксируетъ не хуже любаго англійскаго кучера. Если галломанъ — одътъ какъ модная картинка, по французски говоритъ не хуже Парижанина, на все смотрить съ равнодушнымъ презрѣніемъ, при случаѣ почитаетъ долгомъ быть и любезнымъ и остроумнымъ. Если германоманъ — больше всего любитъ искусство, какъ искусство, науку, какъ науку, романтизируетъ, презираетъ толпу, не хочеть внёшняго счастія и выше всего ставить созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите всѣхъ этихъ господъ пожить — англомановъ въ Англію, галломановъ во Францію, германомановъ въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, поспъшатъ Англичане, Французы и Нъмцы признать своими соотечественниками нашихъ англомановъ, галломановъ и германомановъ... Нътъ, не попадутъ они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развѣ прослывутъ между ними притчею во языцахъ, сдалаются предметомъ всеобщаго оскорбительного вниманія и удивленія. Это потому, повторяемъ, что усвоить чуждую форму совствы не то, что отрашиться отъ собственной сущности. Русскій за границею легко можетъ быть принятъ за уроженца страны, въ которой онъ временно живеть, потому что на улицъ, въ трактиръ, на балу, въ дилижансъ о человъкъ заключаютъ по его виду; но въ отношеніяхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положеніяхъ жизни исключительныхъ — другое дело: тутъ по неволъ обнаружится всякая національность, и каждый по неволь явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зрвнія, Русскому гораздо легче прослыть за Англичанина въ Россіи, нежели въ Англіи. Но въ отношеніи къ отдёльнымъ личностямъ, еще могутъ быть странныя исключенія; въ отношеніи же къ народамъ никогда. Доказательствомъ могутъ служить тѣ славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тѣсно связаны въ судьбами западной Европы: Чехія отовсюду окружена тевтопскимъ племенемъ; властителями ея въ теченіе цѣлыхъ столѣтій были Нѣмцы; развилась она, вмѣстѣ съ ними, на почвѣ католицизма, и упредила ихъ и словомъ и дѣломъ религіознаго обновленія — и что же?—Чехи до сихъ поръ Славяне, до сихъ поръ—не только не Германцы, но и не совсѣмъ Европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мижнія, будто-бы, въ дёлё литературы, чисто русскую народность должно искать только въ сочиненіяхъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ жизни низшихъ и необразованныхъ классовъ. Вслъдствіе этого страннаго мнънія, оглашающаго «не русскимъ» все, что есть въ Россіи лучшаго и образованивищаго, — вследствіе этого лапотно-сермяжнаго митнія, какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а «Горе отъ Ума» есть тоже русское, но только уже не національное произведение; какой нибудь площадной романъ, въ родъ «Разгулья купеческихъ сынковъ въ Марьиной Рощъ» есть хотя и плохое, однако тъмъ не менъе національно-русское произведеніе, а «Герой Нашего Времени», хотя и превосходное, одиако тъмъ не менъе русское, но не національное произведеніе... Ніть, и тысячу разь ніть! Пора, наконець вооружиться противъ этого мийнія всею силою здраваго смысла, всею энергіею неумолимой логики! Мы далеки уже оттого блаженнаго времени, когда псевдо-классическое направленіе нашей литературы допускало въ изящныя созданія только людей

высшаго круга и образованныхъ сословій и если иногда позволяло выводить, въ ноэмѣ, драмѣ, или эклогѣ, простолюдиновъ, то не пначе, какъ умытыхъ, причесанныхъ, разодътыхъ и говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого исевдоклассическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого исевдо-романтического направленія, которое, обрадовавшись слову «народность» п праву представлять въ поэмахъ и драмахъ не только честныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, вообразило, что истиная національность скрывается только подъ зипуномъ, въ курной изоб, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть пстинно Шексиировская черта, — а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаковъ чего-нибудь похожаго на народность. Пора, наконецъ, догадаться, что, напротивъ, русскій поэть можеть себя показать истинно-паціональнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: пбо, чтобъ найдти національные элементы въ жизни, на половину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и имъть большой талантъ п быть національнымъ въ душт. «Петинная національность (говоритъ Гоголь) состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». Разгадать тайну народной исихен — для поэта, значить умъть равно быть върнымъ дъйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умфетъ схватывать рёзкіе оттёнки только грубой простонародной жизни, не умъя схватывать болъе тонкихъ и сложныхъ оттънковъ образованной жизни, — тотъ никогда не будетъ великимъ

поэтомъ, и еще менъе имъетъ право на громкое титло націопальнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умъетъ заставить говорить и барина и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ пазванія національнаго, значитъ, опо ничего не стоитъ и въ художественномъ отношеніи, потому что невърно духу изображаемой имъ дъйствительности. По этому, не только такія произведенія, какъ «Горе отъ Ума» и «Мертвыя «Души», по и такія, какъ «Герей Нашего Времени» суть столько же національныя, сколько и превосходныя поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ «Евгеній Онъгинъ» Пушкина. Въ этой ръшимости молодаго поэта представить нравственную опзіономію напболъе оевропенвшагося въ Россіп сословія, нельзя не видъть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взялъ эту жизнь какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всёмъ холодомъ, со всею ея прозою и пошлостію. И такая смілость была бы менке удивительною, еслибы романъ заткянъ былъ въ прозъ; но писать подобный романъ въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозъ, — такая смълость, опрабданная огромнымъ усиъхомъ, была несомнъннымъ свидътельствомъ геніяльности поэта. Правда, на русскомъ языкъ было одно прекрасное (по своему времени) произведение, въ родъ повъсти въ стихахъ: мы говоримъ о «Модной Женъ» Дмитріева; но между ею и «Опъгинымъ» нътъ ничего общаго уже потому только. что

«Модную Жену» такъ же легко счесть за вольный переводъ, или передълку съ французскаго, какъ и за оригинально-русское произведеніе. Если изъ сочиненій Пушкина хоть одно можетъ имъть что-нибудь общаго съ прекрасною и остроумною сказкою Дмитріева, такъ это, какъ мы уже и замътили въ послъдней статьт, «Графъ Нулинъ»; но и тутъ сходство заключается совсёмъ не въ поэтическомъ достоинстве обоихъ произведеній. Форма романовъ въ родъ «Онъгина» создана Байрономъ; по крайней мъръ, манера разсказа, смъсь прозы и поэзін въ пзображаемой действительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себѣ п, особенно, это слишкомъ ощутительное присутствие лица поэта въ созданномъ пмъ произведеніи, — все это есть діло Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственнаго содержанія совстять не то, что самому изобрасти ее, — тамъ не менье, при сравненіи «Опътина» Пушкина съ «Донъ-Хуаномъ», «Чайльдъ Гарольдомъ» и «Беппо» Байрона, нельзя найдти ипчего общаго, кромѣ формы и манеры. Не только содержаніе, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаетъ всякую возможность существеннаго сходства между ими и «Онъгинымъ» Пушкина. Байронъ писалъ о Европъ для Европы; этотъ субъективный духъ, столь могущій и глубокій, эта личность столь колоссальная, гордая и непреклонная. стремилась не столько къ изображенію современнаго человъчества, сколько къ суду надъ его прошедшею и настоящею исторією. Повторяємъ: туть нечего искать и тіни какого-либо сходства. Пушкинъ писалъ о Россіи для Россіи, — и мы видимъ признакъ его самобытнаго и геніяльнаго таланта въ томъ, что, върный своей натуръ, совершенно противоположной натуръ Байрона, и своему художническому инстинкту, — онъ далекъ былъ оттого. чтобы соблазниться создать что-нибудь въ Байроновскомъ родъ, пиша русскій романъ. Сдълай онъ это - и толиа превознесла бы его выше звъздъ; слава мгновенная, но великая, была бы наградою за его ложный tour de force. Но, повторяемъ, Пушкинъ, какъ поэтъ, былъ слишкомъ великъ для подобнаго шутовскаго подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Онъ заботился не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собою п быть вёрнымъ той дёйствительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась подъ перо его. И за то, его «Опъгинъ» — въ высшей степени оригинальное и національно-русское произведеніе. Витеть съ современнымъ ему геніяльнымъ твореніемъ Грибовдова—«Горе отъ Ума» *), стихотворный романъ Пушкина положилъ прочное основание новой русской поэзіп, новой русской литературь. До этихъ двухъ произведеній, какъ мы уже и замътили выше, русскіе поэты еще умъли быть поэтами, воспъвая чуждые русской дъйствительности предметы, и почти не умѣли быть поэтами, принимаясь за изображение міра русской жизни. Исключеніе остается только за Державинымъ, въ поэзін котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескиваютъ искорки элементовъ русской жизни; за Крыловымъ, и, наконецъ, за Фонъ-Визпнымъ, который, впрочемъ, былъ, въ своихъ комедіяхъ, больше даровитымъ копистомъ русской действительности, нежели ея творческимъ воспроизводителемъ. Несмотря на встиедостатки. довольно важные, комедін Гриботдова, — она, какъ произведеніе сильнаго таланта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первою русскою комедіею, въ которой нёть инчего подражательнаго, нътъ ложныхъ мотпвовъ и неестественныхъ

^{*)} Горе от Ума было написано Грибовдовымь въ бытность его въ Тифлисв, до 4823 года, но написано въ-черинь. По возвращени въ Россію,
въ 4823 году, Грибовдовъ подвергнулъ свою комедію значительнымъ исправленіямъ. Въ первый разъ большой отрывовъ изъ нея былъ напечатанъ
въ альманахъ Талія, въ 4825 году. Первая глава Оппгина появилась въ
печати въ 4825 году, когда, въроятно, у Пупікина было уже готово нъсколько главъ этой поэмы.

красокъ, но въ которой и целое, и подробности, и сюжетъ, и характеры, и страсти, п дъйствія, и мнънія, и языкъ — все насквозь проникнуто глубокою истиною русской дъйствительности. Что же касается до стиховъ, которыми написано «Горе отъ Ума», — въ этомъ отношенін. Грибовдовъ надолго убилъ всякую возможность русской комедін въ стихахъ. Нуженъ гепіяльный таланть, чтобъ продолжать съ успъхомъ начатое Грибовдовымъ двло: мечъ Ахилла подъ-сплу только Аяксамъ п Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношеніп къ «Онъгину», хотя, вирочемъ, ему и обязаны своимъ появленіемъ нъкоторыя, далеко перавныя ему, но все-таки замъчательныя понытки, — тогда какъ «Горе отъ Ума» до сихъ поръ высится въ нашей литературъ геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примъръ неслыханный: піеса, которую вся грамотная Россія, выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болве, чвиъ за десять летъ до появленія ея въ нечати! Стихи Грибовдова обратились въ нословицы и поговорки; комедія его сділалась непачерпаемымъ источникомъ примъненій на событія ежедневной жизни, неистощимымъ рудипкомъ эпиграфовъ! И хотя никакъ нельзя доказать прямаго вліянія, со стороны языка п даже стиха, басень Крылова на языкъ и стихъ комедін Гриботдова, однако пельзя и совершенно отвергать его: такъ въ органически историческомъ развитін литературы все сціпляется и связывается одно съ другимъ! Басин Хемницера и Динтріева относятся къ басиямъ Крылова, какъ просто талантливыя произведенія относятся къ геніяльнымъ произведеніямъ, — но тімъ не менье Крыловъ много обязанъ Хеминцеру и Динтріеву. Такъ и Грибойдовъ: онъ не учился у Крылова, не подражалъ ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ, чтобъ самому идти дальше своимъ собственнымъ путемъ. Не будь Крылова въ русской литературъ — стихъ Грибовдова не былъ бы такъ свободие,

такъ вольно, развязно оригиналенъ, словомъ, не шагнулъ бы такъ страшно далеко. По не этимъ только ограничивается подвигъ Гриботдова: витеть съ «Опъгинымъ» Пушкина, его «Горе отъ Ума» было первымъ образцомъ поэтическаго изображенія русской дійствительности въ обширномъ значенін слова. Въ этомъ отношенін, оба эти произведенія положили собою основаніе послідующей литературі, были школою, изъ которой вышли и Лермонтовъ п Гоголь. Безъ «Онѣгина» былъ бы невозможенъ «Герой Нашего Времени», такъ же какъ безъ «Онъгина» и «Горя отъ Ума» Гоголь не почувствоваль обы себя готовымъ на изображение русской дъйствительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до «Онегина» и «Горя отъ Ума», еще и теперь не изчезла изъ русской литературы. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоптъ только обречь себя на смотръніе, или на этеніе новыхъ драматическихъ піесъ, даваемыхъ на русскомъ театръ объихъ столицъ. Это не что иное, какъ искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнію; это — исковерканные французскіе характеры, прикрывшіеся русскими именами. На русскую повъсть Гоголь имълъ сильное вліяніе, но комедін его остались одинокими, какъ и «Горе отъ Ума». Значитъ: изображать върно свое родное, то, что у насъ передъ глазами, что насъ окружаетъ, чуть ли не труднве, чвиъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимають за сущность, а модный костюмъ за европензиъ; другими словами: въ томъ, что народность емъшиваютъ съ простопародностью, и думаютъ, что кто не принадлежить къ простонародію, то-есть, кто пьетъ шампанское, а не пънникъ, и ходитъ во фракъ, а не въ смуромъ кафтанъ. — того должно изображать то какъ Француза, то какъ Испанца, то какъ Англичанина. Нъкоторые изъ нашихъ

литераторовъ, имън способность болъе или менте върно списывать портреты, не имъютъ способности видъть въ настоящемъ ихъ свътъ тъ лица, съ которыхъ они пишутъ портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нътъ никакого сходства съ оригиналами, и что, читая ихъ романы, повъсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишутъ? Гдъ разговоры эти слышутъ? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Таланты этого рода — илохіе мыслители; фантазія у нихъ развита на счетъ ума. Они не понимаютъ, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждъ и кухив, а въ его, такъ сказать, манерв понимать вещи. Чтобъ върно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность. — а этого нельзя иначе сдълать, какъ узнавъ фактически и оценивъ философски ту сумну правиль, которыми держится общество. У всякаго народа двѣ философіи: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедиевная, домашная, обиходная. Часто объ эти философіи находятся болье или менье въ близкомъ соотношении другъ къ другу; и кто хочетъ изображать общество тому надо познакомиться съ обтими, но последнюю особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочетъ узнать какой-нибудь народъ, тотъ прежде всего долженъ пзучить его — въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли имъть два такія слова, какъ напримъръ, авось и живетъ, а между тъмъ они очень важны; и не понимая ихъ важности, иногда нельзя понять инаго романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое знапіе этойто обиходной философіи и сдълало «Онъгина» и «Горе отъ Ума» произведеніями оригинальными и чисто-русскими.

Содержаніе «Онъгина» такъ хорошо извъстно всёмъ и каждому, что натъ никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобъ добраться до лежащей въ его основании иден, мы разскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской тлуши молодая, мечтательная дівушка влюбляется въ молодаго петербургскаго — говоря ныпъшнимъ языкомъ — льва, который, наскучивъ свътскою жизнію, прібхаль скучать въ свою деревию. Она рѣшается написать къ нему письмо дышащее наивною страстію; онъ отвічаеть ей на словахъ, что не можетъ ея любить, и что не считаетъ себя созданнымъ для «блаженства семейной жизни». Потомъ, изъ пустой причины. Онвепнъ вызванъ на дуель женихомъ сестры пашей влюбленной геропни, и убиваеть его. Смерть Ленскаго падолго разлучаетъ Татьяну съ Опфгинымъ. Разочарованная въ свопхъ юныхъ мечтахъ, бъдная дъвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходить за-мужъ за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ин выйдти. если ужь нельзя было не выходить ин за кого. Оптгинъ встръчаетъ Татьяну въ Петербургћ и едва узнаетъ ее: такъ перемънилась она, такъ мало осталось въ ней сходства между простенькою деревенскою дівочкою и великолічною петербургскою дамою. Въ Онъгинъ вспыхиваетъ страсть къ Татьянъ, онъ пишеть къ ней письмо, и на этотъ разъ, уже она отвъчаетъ ему на словахъ, что хотя и любитъ его, тъмъ не менъе принадлежать ему не можетъ — по гордости добродътели. Вотъ п все содержаніе «Онъгина». Многіе находили и теперь еще находять, что туть пъть никакого содержанія, потому что романъ ничъмъ не кончается. Въ самомъ дъдъ, тутъ нътъ ни смерти (ни отъ чахотки, ни отъ кинжала), ни свадьбы -- этого привилегированнаго конца всёхъ романовъ, повёстей и драмъ, въ собенности русскихъ. Сверхъ того, сколько тутъ несообразностей! Пока Татьяна была дівушкою, Опітинъ отвіталь

холодностію на ея страстное признаніе; но когда она стала женщиною, — онъ до безумія влюбился въ нее, даже не будучи увтренъ, что она его любитъ. Неестественно, вовсе неесте ственно! А какой безиравственный характеръ у этого человъка: холодно читаетъ онъ мораль влюбленной въ него дъвушкъ, вмъсто того, чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и подому, испросиву по форму с ем дражайших родителей ихъ родительскаго благословенія навѣки нерушимаго, совокупиться въ нею узами законнаго брака и сделаться счастливъшимъ въ міръ человъкомъ. Потомъ: Онъгниъ ни за что убиваетъ бъднаго Ленскаго, этого юнаго поэта съ золотыми надеждами и радужными мечтами—и хоть бы разъ заплакаль о немъ. пли по крайней мара проговориль патетическую рачь, гда упоминалось бы объ окровавленной тъни и проч. Такъ или почти такъ судили и судять еще и тенерь объ «Онъгинъ» многіе изъ польнирника аптателей»; по крайней мере, намъ случалось слышать много такихъ сужденій, которыя во время оно бѣсили насъ, а теперь только забавляють. Одинъ великій критикъ даже печатно сказаль, что въ «Онъглиъ» нътъ целаго, что этопросто поэтическая болтовия о томъ, о сёмъ, а больше ин о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключенія, во первыхъ, на томъ, что въ концѣ поэмы нѣтъ ни свадьбы, ни нохоронъ, и, во вторыхъ, на этомъ свидътельствъ самого поэта:

Промчалось много, много дней Съ тъль поръ, какъ юная Татьяна И съ ней Онъгинъ ст смутном сию Ивалися впервые миъ — И даль свободнаго ромапа Я сквозь магическій кристаллъ Еще не яспо различаль.

Великій критикъ не догадался, что поэтъ, благодаря своему творческому пистинкту, могъ написать полное и оконченное ч. ин. 34

сочинение, не обдумавъ предварительно его плана, и умъль остановиться именно тамъ, гдъ романъ самъ собою чудесно заканчивается и развязывается — на кархинъ потерявшагося, послъ объяснения съ Татьяною. Онъгина. Но мы объ этомъ скажемъ въ своемъ мъстъ, равно какъ и о томъ, что ничего не можетъ быть естественнъе отношений Онъгина къ Татьянъ въ продолжени всего романа, и что Онъгинъ совсъмъ не извергъ, не развратный человъкъ, хотя въ то же время и совсъмъ не герой добродътели. Къ числу великихъ заслугъ Пушкина принадлежитъ и то, что онъ вывелъ изъ моды и чудовищъ порока и героевъ добродътели, рисуя вмъсто ихъ просто людей.

Мы начали статью съ того, что «Онъгинъ» есть поэтически върная дъйствительности картина русскаго общества въ извъстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е., именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее -общество. Вследствіе реформы Петра-Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдельное отъ масы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производитъ общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно визинее, по и виутренее единство. Екатерина И, жалованною грамотою, определила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершение новый характеръ вельможеству — единственному сословію, которое при Екатеринт II-й достигло высшаго своего развитія и было просв'єщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслёдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 4785 года, за вельножествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возинкать, мы разумъемъ слово образовываться. Въ царствование Александра-Благословеннаго, значение этого, во всёхъ отношенияхъ

лучшаго, сословія все увеличивалось, и увеличивалось, потому что образование все болже и болже проникало во всж углы огромной провинціп, устянной помъщичьими владтніями. Такимъ образомъ, формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностію, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по французски, музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дітей. Державниъ, Фонъ-Визинъ, и Богдановичъ — эти поэты, въ свое время извъстные только одному двору, тогда сделались болёе или менёе извёстными и этому возникающему обществу. Но что всего важиве — у него явилась своя литература, уже болье легкая, живая, общественная и свътская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтению и книжную торговлю, и черезъ это создалъ массу читателей, то Карамзинъ, своею реформою языка, направленіемъ, духомъ и формою своихъ сочииеній, породиль литературный вкусь и создаль публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементь, въ жизнь поваго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на «Лизпиъ-прудъ», чтобъ «слезою чувствительности» почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлічныя умомь, вкусомь, остротою и грацією, иміли такой же успъхъ и такое же вліяніе, какъ п проза Карамзина. Порожденныя ими сантиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смъшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодаго общества. Трагедін Озерова придали еще болже силы п блеска этому направленію. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизустъ дътьми. Вскоръ появился юноша-поэть, который въ эту сантиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго, и который познакомиль и породинять русскую музу съ музою Германін и Англіи. Влінніе литературы на общество было гораздо важиће, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомнънію, что классъ дворянства быль и по преимуществу представителемъ общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличеніе средствъ къ народному образованію, учрежденіе университе товъ, гимназій, училищъ, заставляло общество рости не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохою для Россіп. Мы разумісемь здісь не только вившнее величие и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, по и внутреннее преуспъявіе въ гражданственности и образованія, бывшее результатомь этой энохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1842 года до настоящей минуты. нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудиль ея спящія силы и открыль въ ней новые, дотолю неизвъстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотиль въ одну огромную массу коспівшія въ чувстві разъединенныхъ питересовъ частныя воли, возбудиль народное сознаніе и народную гордость, и всёмъ этимъ способствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мивнія; кромъ того, 12-й годъ напесъ сильный ударъ коснъющей старпит: вследствіе его, изчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не вытажая за

заповъдную черту ихъ владъній; глушь и дичь быстро изчезали вмъстъ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны, вся Россія въ лицъ своего побъдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увидълась съ Европою, пройдя по ней путемъ побъдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія, русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, -и въ «Онъгинъ» онъ ръшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмісті съ нимъ и общество, въ томъ видь, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столътія. И здъсь нельзя не подивиться быстроть, съ которою движется внередъ русское общество: мы смотримъ на «Опъгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ вив идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой Нашего времени» былъ новымъ «Онъгинымъ»: едва прошло четыре года, — и Печоринъ уже не современный идеаль. И воть, въ какомъ смысле сказали мы, что самые недостатки «Онъгина» суть въ то же время и его величайшія достоинства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ — «старо»; но развъвина поэта, что въ Россін все движется такъ быстро? — и развѣ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ вёрно умёлъ схватить дъйствительность извъстиаго мгновенія изъ жизни общества? Еслибъ въ «Онъгинъ» ничто не казалось теперь устаръвшимъ, илн отсталымъ отъ нашего времени, - это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ нетины, что въ ней изображено не дъйствительно существовавшее, а воображаемое

общество: въ такомъ случав, что жь бы это была за поэма, и стояло ли бы говорить о ней?..

Мы уже коснулись содержанія Онвгина: обратимся къ разбору характеровъ дъйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что романъ носитъ на себъ имя своего героя,въ романъ не одинъ, а два героя: Опъгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видъть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдълаль, выбравь себъ героя изъ высшаго круга общества. Онъгинъ-отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества былъ только въкъ Екатерины II); Онътпиъ — свътскій человъкъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любять свъта и свътскихъ людей, хотя и помъщаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совствиъ не свътские люди и въ свътъ не бываемъ; но не нитаемъ къ нему никакихъ мъщанскихъ предубъжденій. Когда высшій світь изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Гриботдовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, — мы любимъ литературное изображеніе большаго свъта такъ же, какъ и изображение всякаго другаго свъта п не свъта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случат не можемъ терптъ оольшаго свта: именно, когда изображають его сочинители, которымъ должны быть гораздо знакомъе правы кандитерскихъ и чиновничьихъ гостиныхъ, чёмъ аристократическихъ салоновъ. Позвольте сдёлать еще оговорку: мы отнюдь не смёшиваемъ свётскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего онт встръчаются вмъстъ. Будьте вы человъкомъ какого вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убъжденій, -- свътскость васъ не испортить, а только улучшить. Говорять: въ свъть жизнь тратится на мелочи, самыя святыя чувства приносятся въ жертву разсчету и приличіямъ. Правда; но развів въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву разсчету и приличію? О, нътъ, тысячу разъ нътъ! Вся разница средняго свъта отъ высшаго состоитъ въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, ломанія, мелкаго честолюбія, принужденности и лицемърства. Говорять: въ свътской жизни много дурныхъ сторонъ. Правда; а развъ въ не-свътской жизни — одив только хорошія стороны? Говорять: свътъ убиваетъ вдохновеніе, и Шекспиръ и Шиллеръ не были свътскими людьми: Правда; но они не были и ни купцами, ни мъщанами — они были просто людьми, такъ же точно, какъ п Байронъ-аристократъ и свётскій человёкъ, своимъ вдох новеніемъ болье всего обязань быль тому, что онь быль человъкъ. Вотъ почему мы не хотимъ подражать нъкоторымъ, нашимъ литераторамъ въ ихъ предубъжденіяхъ противъ страшнаго для нихъ невидимки-большаго свъта, и вотъ почему мы очень рады, что Пушкинъ героемъ своего романа взялъ свътскаго человъка. И что же тутъ дурнаго? Высшій кругъ общества былъ въ то время уже въ апогет своего развитія; притомъ, свътскость не помъщала же Онъгину сойдтись съ Ленскимъ-этимъ наиболъе страннымъ и смъшнымъ въ глазахъ свъта существомъ. Правда, Онъгину было дико въ обществъ Лариныхъ; но образованность еще болве, нежели свътскость была причиною этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно, въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совствъ не свътские люди - было бы въ немъ не совствъ ловко, — тъмъ болъе, что мы ръшительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарив, о винв. о свиокост, о родит. Высшій кругъ общества въ то время до того быль отделень отъ всехь другихъ круговъ, что непринадлежавшіе къ нему люди поневол'т говорили о немъ, какъ по Коломба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и

Атлантидъ. Вслъдствіе этого, Онъгинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принятъ за безнравственнаго человъка. Это мнъпіе о немъ и теперь еще пе совстиъ изчезло. Мы помнимъ какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодованіе на то, что Онъгинъ радуется бользни своего дяди и ужасается необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника,

Вздыхать и думать про себя: Когда же чорть возьчеть тебя?

Многіе и теперь этимъ крайне недовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всъхъ отношеніяхъ произведеніемъ былъ «Онъгинъ» для русской публики, и какъ хорошо едълалъ Пушкинъ, взявъ свътскаго человъка въ герои своего романа. Къ особенностямъ людей свътскаго общества принадлежить отсутствіе лицемърства, въ одно и то же время грубаго и глуиаго, добродушнаго и добросовъстнаго. Если какой-нибудь бъдный чиновинкъ вдругъ впдитъ себя наслъдникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть. — съ какими слезами, съ какою униженною предупредительностью будеть онъ ухаживать за дядюшкою, — котя этотъ дядюшка, можетъ-быть, во всю жизнь свою не хотъль ни знать, ни видъть идемянника, п между ними ничего не было общаго. Однакожь, не думайте, чтобъ со стороны племянника это было разсчетливымъ лицемърствомъ (разсчетливое лицемърство есть порокъ всъхъ круговъ общества, и свътскихъ и не-свътскихъ): нътъ, вслъдствіе благодътельнаго сотрясенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго наследства, нашъ илемянникъ не-шутя пришель въ умиление и почувствоваль пламенную любовь къ дядюшкъ, хотя и не воля дяди, а законъ, далъ ему право на наследство. Стало-быть, это лицемерство добродушное, испреннее и добросовъстное. Но вздумай его дядюшка вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выздоровъть: куда бы дъвалась

у нашего племянника родственная любовь, и какъ бы ложная горесть вдругъ смънилась истинною горестью, и актёръ превратился бы въ человъка! Обратимся къ Онътвиу. Его дядя былъ ему чуждъ во всъхъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онъгинымъ, который уже—

.... равно зѣвалъ Средъ модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помъщикомъ, который, въ глуши своей деревни,

Абтъ сорокъ съ ключницей бранплся, Въ окно смотрелъ и мухъ давилъ?

Скажуть: онь его благодьтель. Какой же благодьтель, если Онъгниъ быль законнымъ наслъдникомъ его имънія? Туть благодътель — не дядя, а законъ, право наслъдства. Каково же положение человъка, который обязанъ пграть роль огорченнаго, состраждущаго и изжнаго родственника при смертномъ одріз совершенно чуждаго и посторонняго ему человъка? Скажуть: кто обязываль его играть такую низкую роль? Какъ. кто? Чувство деликатности, человъчности. Если, по чему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себъ человъка, котораго знакомство для васъ и тяжело и скучно: развѣ вы не обязаны быть съ нимъ въжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онъгина проглядываетъ какая-то насмёшливая легкость, — въ этомъ видвил только умъ и естественность, нотому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свътскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всего - манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера — отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь по ихъ митнію важномъ случать. Вст знають, что воть эта барыня

жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакою, и что она радёхонька его смерти, и сама она очень хорошо понимаетъ, что вст это знають, и что никого ей не обмануть; но отъ этого она еще громче охаетъ и ахаетъ, стонетъ и рыдаетъ, и тъмъ безотвязные мучить всыхь и каждаго описаніемь добродытелей покойнаго, счастія, какимъ онъ дарилъ ее, и злополучія, въ какое повергъ ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто разъ повторять передъ господиномъ благонамъренной паружности, котораго всъ знаютъ за ея любовника. И что же? — какъ этотъ господинъ благонамъренной наружности, такъ и вей родственники, друзья и знакомые горькой неутъшной вдовы, слушають все это съ нечальнымъ п огорченнымъ видомъ, — и если иные подъ рукою смѣются, за то другіе отъ души сокрушаются. И — повторяемъ — это и не глупость и не разсчетливое лицемърство: это просто принципъ мъщанской, простонародной морали. Никому изъ этихъ людей не приходитъ въ голову спросить себя и другихъ:

Да пзъ чего же вы бъснуетеся столько?

Мало того: они считають за грѣхъ подобный вопросъ, а еслибы рѣшились сдѣлать его, то сами надъ собою расхохотались бы. Имъ не въ догадъ, что если тутъ есть о чемъ грустить, такъ это о пошлой комедіи добродушнаго лицемѣрства, которую всѣ такъ усердно и такъ искренно разыгрываютъ.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдълаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеній былъ для нашей публики «Онъгинъ» Пушкина, и какими новыми, смълыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старыя и даже робкія полу-мысли, — приведемъ изъ него этотъ куйлетъ:

Гмъ! Гмъ! читатель благородной, Здорова ль ваша вся родня? Позвольте: можеть-быть, угодно Теперь узнать вамь отъ меня, Что значать именно родные. Родные люди воть какіе: Мы ихъ обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, О Рождествъ ихъ навъщать. Или по почтъ поздравлять, Чтобъ въ остальное время года О насъ не думали они... И такъ, дай Богъ имъ долги дни!

Мы помнимъ, что этотъ невинный куплетъ, со стороны большей части публики, навлекъ упрекъ въ безиравственности уже не на Онъгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовъстное лицемърство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Братья тягаются съ братьями объ имънін, и часто питаютъ другь къ другу такую остервенѣлую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бываетъ ин чтть инымъ, какъ правомъ — бъдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому — презпрать докучнаго бёдняка и отдълываться отъ него ничемъ; равно богатымъ — завидовать другъ другу въ успъхахъ жизни; вообще же — право вмёшиваться въ чужія дёла, давать ненужные п безполезные совъты. Гдъ ни поступите вы, какъ человъкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человъческаго достоинства, - вездъ вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться — просите совъта; не попросите его - вы опасный мечтатель, вольнодумецъ; попросите — вамъ укажутъ невъсту; женитесь на ней и будете несчастны — вамъ же скажуть: «то-то же, братецъ, вотъ каково безъ' оглядки-то предпринимать такія важныя дёла; я вёдь говориль...» Женитесь по своему выбору — еще хуже бъда. — Какія еще права родства? Мало ли

ихъ! Вотъ, напримъръ, этого господина, такъ похожаго на Ноздрева, будь онъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшию, опасаясь за нравственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ — и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетъ, п онъ вездъ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ занятію и развлеченію: случилась съ вами обда, — и вотъ для вашихъ родственниковъ чудесный случай съфажаться къ вамъ, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать совъты и наставленія, дёлать упреки, а потомъ вездё развозить эту новость, порицая и браня васъ за глаза — вёдь извёстно: человекь въ обде всегда виновать, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это ни для кого не ново; но то бъда, что всь это чувствують, но немногіе это сознають: привычка къ добродушному и добросовъстному лицемърству нобъждаетъ разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидъться, если огромная семья родии, прітхавъ въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ, — они же будутъ не рады; но ропща, бранясь и встмъ жалуясь подърукою, они передъ родственною семейкою будутъ расточать любезности и возьмутъ съ нея слово — опять остановиться у нихъ и вытъснить ихъ, во имя родства, изъ ихъ собственнаго дома. Что это значитъ? Совскиъ не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало какъ прпиципъ. а только то, что оно существуетъ у пихъ, какъ фактъ: внутренно, по убъжденію никто изъ нихъ не признаётъ его, но по привычкъ, по безсознательности и но лицемърству всъ его признаютъ.

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видъ, какъ опо существуетъ у многихъ, какъ оно есть въ самомъ дълъ, слъдовательно справедливо и истинно, — и на него осердились, его пазвали безправственнымъ; стало-быть, еслибы онъ описалъ родство между пъкоторыми людьми такимъ,

какимъ оно не существуетъ, т. е. невърно и ложно, - его похвалили бы. Все это значить ни больше, ни меньше, какъ то, что нравственна одна ложь и неправда... Вотъ къ чему ведетъ добродушное и добросовъстное лицемърство! Нътъ, Пушкинъ поступилъ правственно, первый сказавъ истицу, потому что нужна благородная смѣлость, чтобъ первому рѣшиться сказать истину. И сколько такихъ петинъ сказано въ «Онъгинъ»! Миогія изъ нихъ и не повы и даже не очень глубоки; но еслибы Пушкинъ не сказаль ихъ двадцать лътъ назадъ, онъ теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что онъ первый высказаль этп устаръвшія и уже не глубокія теперь истины. Онъ бы могъ насказать истинь болье безусловныхь и болье глубокихь, но въ такомъ случав, его произведение было бы лишено истинности: рисув русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемь. Геній никогда не упреждаетъ своего времени, но всегда только угадываетъ его не для всъхъ видимое содержание и смыслъ.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онъгинъ душу и сердце, видъла въ немъ человъка холодиаго, сухаго и эгопста по натуръ. Нельзя ошибочиве и кривъе понять человъка! Этого мало: многіе добродушно върили и въритъ, что самъ поэтъ хотълъ изобразить Опъгина холодиымъ эгопстомъ. Это уже значитъ — имъя глаза, инчего не видъть. Свътская жизнь не убила въ Онъгинъ чувства, а только охолодила къ безилоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспоминте строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онъгинымъ:

Условій свёта свергнувъ бремя. Какъ онъ, отставь отъ сусты, Съ нимъ подружился я въ то время. Мив правились его черты, Мечтамъ исвольная преданность, Пеподражательная странность

И ризкій, охлажденный умъ. Я быль озлоблень, онь угрюмь; Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоихъ насъ; Въ обоихъ сердца жаръ ногасъ; Обоихъ ожидала злоба Сленой фортуны и людей На самомъ утръ нашихъ дней. Кто жизь и мысанаь, тоть не можеть Въ душт пе презирать людей; Кто чувствоваль, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дней: Тому ужь нъть очарованій, Того змія воспоминаній, Того раскаянья грызеть. Все это часто придаетъ Большую прелесть разговору. Сперва Онъгина языкъ Меня смущаль; но я привыкъ Къ его язвительному спору, И къ шуткъ съ жолчью поподамъ, И къ злости мрачныхъ эпиграмъ. Какъ часто лътнею порою, Когда прозрачно и свътло Почное небо надъ Невою И водъ веселое стекло Не отражаеть ликъ Діаны, Восполня прежених вльте романы, Воспомия преженною любовь, Чувствительны, безпечны вновь, Дыханьемъ ночи благосклонной Везмолвно упивались мы! Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы Перенесенъ колодинкъ сонной, Такъ уносились мы мечтой Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ по крайней мъръ то, что Онъгинъ не былъ ни холоденъ, ин сухъ, ни черствъ, что въ душъ его жила поэзія, и что вообще опъ былъ не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность

мечтамъ, чувствительность и безпечность, при созерцаціи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лътъ: все это говоритъ больше о чувствъ и поэзін, нежели о холодности и сухости. Дъло только въ томъ, что Онегинъ не любилъ расилываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ. нежели говориль, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры; потому что человъкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везетъ, то и всъми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даетъ имъ, благо немногаго просятъ онп отъ нея — корма, пойла, тепла, да кой-какихъ пгрушекъ, способныхъ тъшить пошлое и мелкое самолюбыще. Разочарование въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себъ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства «нарядною печалью») свойственно только людямъ, которые, желая «многаго», не удовлетворяются «ничъмъ». Читатели помнять описаніе (въ VII главъ) кабинета Опъгина: весь Онъгинъ въ этомъ описаніп. Особенно поразительно исключение изъ оналы двухъ, или трехъ романовъ,

> Въ которыхъ отразился въкъ И современный человъкъ Изображенъ дозольно върно Съ его безправственной душой, Себялюбивой и сухой. Мечтанью преданной безифрио, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кпиящимъ въ дъйствіи пустомъ

Скажуть: это портреть Онвгина. Пожалуй, и такъ; но это еще болве говорить въ пользу правственнаго превосходства Опегина, потому что онъ узналь себя въ портретв, который, какъ двв капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнають себя столь цемногіе, а большая часть «украдкою

киваетъ на Петра». Онъгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ еѓо поразительнаго сходства съ дътьми иынъшияго въка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдълали Онъгина похожимъ на этотъ портретъ, а въкъ.

Связь съ Ленскимъ — этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикъ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онъгина.

Онъгинъ презпрадъ людей.

Но правиль ибть безъ псключеній: Иныть онь очень отынчаль, И виужет чувство уважаль. Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой: Поэта ныдкій разговоръ, И умъ, еще въ сужденьяхъ зыбкой, И въчно вдохновенный взоръ — Онъгину все было ново; Онь охладительное слово Въ устахъ старался удержать, И думаль: глупо мив мішать Его минутному блаженству, И безъ меня пора прійдеть; Пускай покамѣсть онъ живеть Да въритъ міра совершенству; Простимъ горячкъ юныхъ лътъ И юный жаръ, и юный бредъ. Межъ ними все раждало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Плоды наукъ, добро и зло, II предразсудки въковые, И гроба тайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду. Все подвергалось ихъ суду.

Авло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, издменное бездушіе Оптинна, какъ человъка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ втрио

созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ, и изчерпаемъ весь вопросъ.

Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада пль небесъ. Сей ангелъ, сей надменный бъсъ, Что жь онъ?—ужели подражанье, Ничтожный призракъ, пль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ; Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ?... Ужь не пародія ли онъ?

«Все тоть же ль онь, иль усмирился? Иль корчить также чудака? Скажите, чъмъ онъ возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чёмъ нынё явится? Мельмотомъ, Космополитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Изь маской щегозьнеть иной? Пль просто будеть добрый малой, Какъ вы да я, какъ цълый свътъ? По крайней мфрф мой совъть: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочиль свъть... —Знакомъ онъ вамъ?—«И да и иють», -Зачёмь же такь неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то дь, что мы неугомонно Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пылких душе неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляеть иль смышить; Что умь, любя просторь, тыснить: Что слишкомъ часто разговоры Принять мы рады за дъла; Что глупость вътрена и зла; Что важнымъ людямъ важны вздоры, И что посредственность одна Намь по плечу и не странна?

Блажень, кто съ молоду быль молодъ, Блаженъ, кто во время созрълъ, Кто постепенно жизни холодъ Съ лътами вытеривть умъль; Кто страниымъ снамъ не предавался; Кто черни свътской не чуждался; Кто въ двадцать лътъ быль франтъ иль хватъ, А въ тридцать выгодно женать; Кто въ нятьдесять освободился Отъ частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегь и чиновъ Спокойно въ очередь добился; О комъ твердили цёлый вёкъ: N. N. прекрасный человъкъ. Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что памъняли ей всечасно, Что обманула насъ она; Что паши дучшія желанья, Что наши свъжія мечтанья Иставля быстрой чередой. Какъ листья осенью гиплой. Несносно видъть предъ собою Одинкъ объдовъ длинный рядъ. Глядъть на жизнь какъ на обрядъ, И всабдъ за чинною толцою Идти, не раздъляя съ ней Нп общихъ миъній, ни страстей.

Эти стихи — ключь къ тайнъ характера Онъгина. Опъгинъ—
не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія,
не модная причуда, не геній, не великій человъкъ, а просто—
«добрый малой, какъ вы да я, какъ цълый свътъ». Поэтъ справедливо называетъ «обветшалою модою» вездъ находить, или
вездъ искать все геніевъ, да необыкновенныхъ людей. Новторяемъ: Онъгинъ — добрый малой, но, при этомъ, не дюжинный человъкъ. Онъ не годится въ геніи, не лъзетъ въ великіе
люди, но бездъятельность и пошлость жизии душатъ его, онъ
даже не знаетъ, чего ему падо, чего ему хочется; но онъ

знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чъмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственнымъ», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекраспому. Вспомните, какъ воспитанъ Онъгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совствъ такое воспитаніе. Блестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свътомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дълаютъ слишкомъ немногіе. Въ душь его тлълась искра надежды — воскреснуть и освъжиться въ тиши уедпненія, на лонъ природы; но онъ скоро увидълъ, что перемъна мъстъ не измъняетъ сущности нъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Мы доказали, что Онъгинъ не холодный, не сухой, не бездушный человъкъ, но мы до сихъ поръ избъгали слова эгоистъ, — и такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаютъ эгоизма, то мы скажемъ теперь, что Онъгинъ — страдающій эгоистъ. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда — люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человъкъ любить кого нибудь кромъ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дёла идутъ плохо — они худощавы, блёдны, злы, инзки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дъла идутъ хорошо-они толсты, жирпы, румяны, веселы, добры, выгодами дёлиться ни съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже н вовсе безполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натурѣ, или по причинъ дурнаго восинтанія. Эгонсты втораго разряда почти никогда не бываютъ толсты и румяны; по большой части это народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездѣ ища то счастія, то разстянія, они нигдт не находять ни того, ни другаго съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляють ихъ. Эти люди часто доходять до страсти къ добрымъ дъйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бъда въ томъ, что они п въ добрй хотятъ искать то счастія, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живутъ въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею деятельностію къ осуществленію идеала истины и блага, — о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдълали ихъ эгопстами. Но нашъ Онъгинъ не принадлежить ни къ тому, ни къ другому разраду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ по неволь; въ его эгоизмъ должно видъть то, что древніе называли «fatum». Благая, благотворная, полезная дъятельность! Зачъмъ не предался ей Онъгипъ? Зачъмъ не пскалъ онъ въ ней своего удовдетворенія? Зачъмъ? зачемъ? - Затемъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ дегче спрашивать, нежели дёльнымъ отвёчать...

Одинъ среди своихъ владъній, Чтобъ только время проводить, Сперва задумаль нашь Евгеній Порядокъ новый учредить. Въ своей глуши мудрецъ пустынной, Яремъ онъ барщины старинцой Оброкомъ легкимъ замънилъ: Мужикъ судьбу благословилъ. За то въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ страшный вредъ, Его разсчетливый сосёдъ; Другой дукаво улыбнулся, И въ голосъ всть ръшпли такъ, Что онъ опаснъйшій чудакъ. Сначала вев къ нему важали; Но такъ какъ съ задняго крыльца Обыкновенно подавали Ему донскаго жеребца, Лишь только вдоль большой дороги Заслышать ихъ домашии дроги: Поступкомъ оскорбясь такимъ, Вст дружбу прекратили съ нимъ. «Сосъдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ «Онъ фармазонъ; онъ пьеть одно «Стаканомъ красное вино; . Онъ дамамъ къ ручкъ не подходитъ; «Все да да инть, не скажеть да-съ «Иль иють-съ. Таковъ быль общій гласъ.

Что-нибудь двлать можно только въ обществв, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою двйствительностью, а не теоріею; но что бы сталъ двлать Онвгинъ въ сообществв съ такими прекрасными сосвдами, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика. конечно, много значило для мужика; но со стороны Онвгина тутъ еще немного было сдвлано. Есть люди, которымъ если удастся чтонибудь сдвлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказываютъ объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цвлую жизнь. Онвгинъ былъ не изъ такихъ

людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чъмъ.

Случай свель Онъгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго, Овътинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой, после перваго визита, Опетниъ зеваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ, мы узнаёмъ, что онъ Татьяну приняль за певъсту своего пріятеля, и, узнавь о своей ошибкъ, удивляется его выбору, говоря, что еслибъ онъ самъ былъ поэтомъ, то выбраль бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человъку стояло одного пли двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобъ понять разницу между объими сестрами,тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совствъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дъвочка, которая совсъмъ не стояла того, чтобъ за нее рпсковать убить пріятеля, или самому быть убитымъ. Между темъ, какъ Онегинъ зевалъ — «по привычке», говоря его собственнымъ выражениемъ, и нисколько не заботясь о семействъ Лариныхъ, —въ этомъ семействъ его прівздъ завязаль страшную внутрениюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Опетинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее. — и еще болье, какъ тотъ же самый Онъгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потомъ страстно влюбился въ великольпную свытскую даму? Въ самомъ дъль, есть чему удивляться. Не беремся ръшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактъ возможность психологическаго вопроса, мы тъмъ неменъе писколько не находимъ удивительнымъ самого факта. Во первыхъ, вопросъ, почему влюбился, или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился, — такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имъетъ свои законы — правда;

но не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій, могуть и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправдание нъсколько тривьяльной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола», — кто отвергаетъ это, тотъ не пошимаетъ любви. Еслибъ выборъ въ любви ръшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любен, потому что пзъ нъсколькихъ равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченіи сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другаго, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себъ пе подъ-пару. Поэтому, Онтгинъ имтлъ полное право, безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дъвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случав, онъ поступилъ равно ни нравственно. ни безиравственно. Этого вполит достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онъгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хороно понималь людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдная дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дътски простодушна, и что она писколько не похожа на тъхъ кокетокъ, которыя такъ надобли ему съ ихъ чувствами то легкими, то поддёльными. Окъ быль живо тронуть письмомъ ея:

> Языкъ дъвическихъ мечтаній Въ немъ думы роенъ возмутиль;

И вспомниль онъ Татьяны милой И бледный цевть, и видь унылой; И ве сладостный, безгрышный соне Душою погрузился онъ. Выть можеть, чувствій пыль старинной Имь на минуту овладёль; Но обмануть онь не хотель Доверчивость души невинной.

Въ письмъ своемъ къ Татьянъ (въ VIII главъ) онъ говоритъ, что, замътя въ ней искру нъжности, онъ не хотълъ ей повърить (т. е. заставилъ себя не повърить), не далъ хода милой привычкъ и не хотълъ разстаться съ своей постылой свободою. Но если онъ оцънилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видълъ и другую ея сторону. Во первыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвъчать на нее, значило бы для Онъгина ръшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для пего противна. Поэтъ, выразившій въ Онъгинъ много своего собственнаго, такъ изъ. ясияется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали, Зъвоты хладная чреда
Ему не сиплись никогда,
Межь тъмъ, какъ мы, враги Гимена,
Въ домашней жизни эримъ одинъ
Рядъ утомительныхъ картинъ,
Романъ во вкусъ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь; если не хуже чтонибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послъднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь не много представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегоръвшій въ страстяхъ, извъдавшій жизнь и людей, еще кипъвшій какимито самому ему неясными стремленіями, — онъ, котораго могло занать и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную пронію, — онъ увлекся бы младенческой любовью дъвочки-мечтательницы, которая смотръда на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотръть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянъ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дътски смотръть на жизнь и дътски играть въ любовь, — а это согласитесь. очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имъло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Послъднее спокойнъе, но за то еще скучнъе. И это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяною смертію Ленскаго, Опѣгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Убивъ на посдинкъ друга.
Доживъ безъ цъли, безъ трудовъ,
До двадцати-шести годовъ.
Томясь въ бездвйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ.
Ничѣмъ заняться не умѣлъ
Имъ овладѣло безнокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ
(Весьма мучительное свойство,
Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ, и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толпившійся около цѣлебныхъ струй Машука:

> Нитая горьки размышленья, Среди печальной так семьи, Онъгинъ взоромъ сожалънья Глядълъ на дымныя струи И мыслилъ, грустью отуманенъ: Зачъмъ я пулей въ грудь не раненъ!

Зачъмъ не хилый я старикъ. Какъ этотъ бъдный откупщикъ? Зачъмъ, какъ тульскій засъдатель, Я не лежу въ параличъ? Зачъмъ не чувствую въ плечъ Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель! Я молодъ, жизнь во миъ кръпка: Чего миъ ждать! тоска, тоска!...

Какая жизнь! Вотъ оно, то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ п въ стихахъ и въ прозъ, на которое столь многіе жалуются, какъ-будто и въ самомъ-деле знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котуриа, безъ ходуль, безъ дранировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, пи аппетита, пи здоровья, но которое тѣмъ ужасиве!... Спать ночью, зъвать днемъ, видъть, что вст изъ чего-то хлопочутъ, чёмъ-то заняты, одинъ деньгами, другой женитьбою, третій — бользнію, четвертый — пуждою и кровавымъ потомъ работы, — видъть вокругъ себя и веселье и печаль, и смёхъ и слезы, видёть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Въчному Жиду, который, среди волнущейся вокругь него жизни, сознаеть себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствъ; это страдание не всъмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастія? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страдание модною причудою. И чъмъ естественнъе, проще страдание Онъгина, чъмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тъмъ оно менье могло быть понято и оценено большинствомъ публики. Въ дватцать-шесть лътъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдълавъ, дойдти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убъжденія: это смерть! Но Опъгину не

では、10mmのでは、1

суждено было умереть, не отвъдавъ изъ чани жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскъ силы его духа. Встрътивъ Татьяну на баль, въ Петербургъ, Опътинъ едва могъ узнать ее, такъ перемънилась она! Мужъ Татьяны такъ прекрасно и такъ полно, съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

. . . . И всёхъ выше И носъ и плечи поднимать Вомедшій съ нею генерать.—

мужъ Татьяны представляеть ей Онфгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мифнію, должна повиснуть на шеф у Онфгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

> Княгиня смотрить на него... II, что ей душу на смутило, Какъ спльно ин была она Удивлена, поражена, Но ей инчто не измѣнидо: Въ ней сохранился тотъ же тонъ; Быдъ также тихъ ея поклонъ. Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась, Иль стала вдругъ блёдна, красна... У ней и бровь не шевельнулась; Не сжала даже губъ она. Хоть онъ глядъль, нельзя прилеживй, Но и слёдовъ Татьяны прежней Не могъ Онтгинъ обръсти. Съ ней рѣчь хотълъ онъ завести II-и не могъ. Она спросила, Давно ль онъ здёсь, откуда онъ, И не изъ ихъ ли ужь сторонъ? Потомъ къ супругу обратила Усталый взглядъ; скользнула вонъ... И недвижимъ остался онъ.

Уже в та самая Татьяна,
Которой онъ наединѣ,
Въ началѣ нашего романа,
Въ глухой далекой сторонѣ,
Въ благомъ нылу нравоученья,
Читалъ когда-то наставленья,
Та, отъ которой онъ хранитъ
Письмо, гдѣ сердце говоритъ,
Гдѣ все наружѣ, все на волѣ,
Та дѣвочка... иль это сонъ?...
Та дѣвочка, которой опъ
Пренебрегалъ въ смиренной долѣ,
Ужели съ нимъ сейчасъ была
Такъ равнодушиа, такъ смѣла?

Что съ нимъ? Въ какомъ онъ странномъ сиъ? Что шевельнулось въ глубинъ Души холодной и лънивой? Досада? суетность? иль вновь Забота юности, — любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно не согласны съ этимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толиѣ, благо пришлось ей по илечу:

О, люди! всв похожи вы На прародительницу Эву: Что вамъ дано, то не влечеть; Васъ непрестанно змій зоветь Къ себъ, къ тапиственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствъ человъческой натуры, и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами

бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человеке, но въ обществе, такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ, считается законнымъ въ новомъ, и наборотъ; почему у каждаго народа и каждаго въка свои понятія о правственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всв люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругъ солнца обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тъхъ же поръ, преступление будеть только по наружности преступленіемъ, а внутренно, существенно-непризнаніемъ справедливости и разумности того или другаго закона. Было время, когда родители видъли въ своихъ дътяхъ своихъ рабовъ и считали себя вправъ насиловать ихъ чувства и склоиности самыя священныя. Теперь, если дівушка, чувствуя отвращеніе къ господину благонамъренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человъка, съ которымъ ее насильно разлучають, —последуеть влеченію своего сердца и будеть любить того, кого она избрала, а не того, въ чей кармань, или въ чей чинъ влюблены ел дражайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости вившнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, -- что оно такое, если оно согласовано съ внъшними условіями? Пъсня соловья, или жаворонка въ золотой клъткъ. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? торжественная пъснь соловья, на закатъ солица, въ тапиственной съни скловившихся надъ ръкою ивъ; вольная пъснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрълою, то падаетъ съ неба, то трепеща крыльями, не двигаясь съ мъста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эопръ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвътъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будетъ воли?..

Письмо Опетина къ Татьянъ горитъ страстью; въ немъ уже нътъ проніп, нътъ свътской умеренности, свътской маски. Опъгинъ знаетъ, что опъ, можетъ-быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; по страсть задушила въ немъ страхъ быть смъшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойдти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась пдолу суеты — и въ такомъ случав, конечно, роль Онъгина была бы очень смъшна и жалка. Но въ свътъ наружпость никогда и ни въ чемъ не убъждаетъ: тамъ вев слишкомъ хорошо владеють искусствомь быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Опътинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свътъ научиль ее только искусству владёть собою и серьёзийе смотрёть на жизнь. Благодатиля натура не гибнетъ отъ свъта, вопреки мнънію мъщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свътъ представляетъ точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свътъ должна была казаться Онъгину Татьяна, — уже не мечтательная дівушка, повітрявшая луні и звъздамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая сны по книгъ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цъну всему, что дано ей, которая много потребуеть, но много и дасть. Ореолъ свътскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онъгина: въ свътъ, какъ и вездъ, люди бываютъ двухъ родовъ одни привазываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видятъ назначеніе жизни, --- это чернь; другіе отъ свъта заимствуютъ знаніе людей и жизни, тактъ дібетвительности и способность вполнъ владъть всъмъ, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу последнихъ, и значение светской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же. въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла никакой прелести, а Татьяна не объщала ему легкой побъды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ разсчета. со всемь безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышить въ каждомъ словъ его инсьма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьану никакого впечатленія. После несколькихъ посланій, встратившись съ нею, Онагинъ не замътиль ни смятенія, ни страданія, ни пятень слезь на лиць на немъ отражался лишь следъ гнева... Опетинъ на целую зиму заперся дома и принялся читать:

> И что жь? Глаза его читали, Но мысли были далеко: Мечты, желанія, печали Тъснизись въ душу глубоко. Онь межь печатными строками Читаль духовными глазами Другія строки. Въ нихъ-то онъ Быль совершение углублень. То были тайныя преданья Сердечной, темпой старины. Ни съ чёмъ несвязанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздоръ живой, Пль письма дёвы молодой. И постепенно въ усыпленье И чувствъ и думъ впадаеть онъ.

А передъ нимъ воображенье Свой пестрый мечеть фараонъ. То видить онъ: на таломъ снъгъ, Какъ-будто силијй на почлегъ, Недвижимъ юноша лежитъ, И слышить голосъ: что жь? убитъ! То видить онъ враговъ забвенныхъ, клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измънницъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрънныхъ; То сельскій домъ — и у окна Сидитъ она... и все она!..

Мы не будемъ распространяться теперь о сценъ свиданія и объясненія Опътпна съ Татьяною, потому-что главная роль въ этой сцень принадлежить Татьянь, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отповъдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онвгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдъ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нътъ конца, потому что въ самой дъйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цъли, существа неопредъленныя, никому непонятныя, даже самимъ себф, словомъ то, что по-французски называется les êtres manqués, les existences avortées. И эти существа часто бываютъ одарены большими правственными преимуществами, большими духовными силами; объщають много, пенолняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не отъ нихъ самихъ; тутъ есть fatum, заключающійся въ дёйствительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ сплахъ и не во власти человѣка освободиться. Другой поэтъ представиль намъ другаго Онъгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онтгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зъвоть; Лермонтовскій Печоринъ бьется на-смерть съ жизнію и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ — разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онегинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для поваго, более сообразнаго съ человеческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всё силы души его, и безотрадиая тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію? — Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотъть больше инчего знать...

Опетинъ — характеръ дъйствительный, въ томъ смыслъ, что въ немъ ивтъ инчего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дъйствительности и черезъ дъйствительность. Въ Ленскомъ, Нушкинъ изобразилъ характеръ, совершенно противоположный характеръ Онъгина, характеръ совершенио отвлеченный, совершенио чуждый дъйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дъйствительно начали ноявляться въ русскомъ обществъ.

Съ душою прямо геттингенской, Красавецъ, въ полномъ цвъгъ яѣтъ, Ноклопникъ Канта и поэтъ, Опъ изъ Германіп туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь И кудри черные до плечъ.

Онъ пѣлъ любовь, любви послушный, И пѣснь его была ясна, Какъ мысли дѣвы простодущной,

Какъ сопъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ.
Богиня тайнъ и вздоховъ нъжныхъ.
Онъ пъль разлуку и печаль,
II нючто, и туманну даль,
II романтическія розы;
Онъ пъль тъ дальнія страны,
Гдъ долго въ лочъ тышны
Лимсь его живыя слёзы;
Онъ пиль поблеклый жизни цеють
Безъ малаго въ восьмнадцать лють.

Ленскій быль романтикь и по натуръ и по духу времени. Нътъ нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время «онъ сердцемъ милый былъ невъжда», въчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дъйствительность на него не имъла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазін. Онъ полюбилъ Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши за-мужъ, она сдълалась бы вторымъ исправленнымъ пздаціемъ своей маменьки, что ей все равно было выйдти — и за поэта-товарища ея дътскихъ пгръ, и за довольнаго собою и своею лошалью улана? — Ленскій украсиль ее достоинствами и совершенствами, принисаль ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботплась. Существо доброе, мплое, веселое, — Ольга была очаровательна, какъ всъ «барышии», пока онъ еще не сдълались «барынями»; а Ленскій видъль въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ин мало не подозрѣвая будущей барыпп. Онъ написаль «надгробный мадригаль» старику Ларину, въ которомъ, вършый себъ, безъ всякой проніп, умъль пайдти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Опъгина подшутить надъ нимъ, онъ увидълъ и измену, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранње восивтая имъ въ тумацио-романтическихъ стихахъ.

Мы нисколько не оправдываемъ Онтгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

Быль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойцомь. Но мужемь сь честью и умомь,—

но тираннія и деспотизмъ свътскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онъгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художествениомъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ онлакалъ его паденіе:

> Друзья мон, вамъ жаль поэта: Во цвътъ радостныхъ надеждъ, Ихъ не свершивъ еще для свъта, Чуть изъ младенческихъ одеждъ. Увялъ! Гдв жаркое волненье, Гдъ благородное стремленье, II чувствъ, и мыслей молодыхъ, Высокихъ, ивжныхъ, удалыхъ? Гдъ бурныя любви желанья, II жажда знаній и труда, II страхъ порока и стыда, И вы, завътныя мечтанья, Вы, призракъ жизни неземной. Вы, сны поэзін святой! Быть можеть, онь для блага міра, Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая дира Гремучій, непрерывный звонъ Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Быть можеть, на ступеняхъ свъта, Ждала высокая ступень. Его страдальческая тънь, Быть можеть, унесла съ собою Святую тайну, и для насъ Погибъ животворящій гласъ,

И за могильною чертою Къ пей не домчится гимнъ временъ, Благословенія племенъ. А можеть быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удёль. Прошли бы юношества лъта: Въ немъ нылъ души бы охладълъ, Во многомъ онъ бы измѣнился, Разстался бъ съ музами, женился; Въ деревит, счастливъ и рогатъ, Носиль бы стеганый халать; Узналь бы жизнь на саномь двлв, Подагру бъ въ сорокъ лъть имъль, Пиль, фль, скучаль, толстфль, хорфль И наконець въ своей постелъ Скончался бъ посреди дътей, Плаксивыхъ бабъ и лекарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылось бы пепремънно последиее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна йзъ тъхъ натуръ, для которыхъ жить зиачитъ развиваться и идти виередъ. Это повторяемъ — былъ романтикъ, и больше инчего. Останься онъ живъ, Пушкину печего было бы съ нимъ делать, кроме какъ распространить на цёлую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всъхъ ихъ неосноримыхъ достоинствахъ, не хороши тёмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранятъ навсегда свой первоначальный типъ, дълаются этими устарълыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя пдеальныя дёвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Въчно конаясь въ самихъ себъ и становя себя центромъ міра. они спокойно смотрять на все, что двлается въ мірѣ, и твердять о томъ, что счастіе впутри пась, что должно стремиться

る。これには、これには、

душою въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдъ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ иътъ дъвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всъ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ следующей статье.

IX.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романь, поэтически воспроизвель русское общество того времени, и въ лицъ Онъгина и Ленскаго показалъ его главную, т. е. мужскую сторону; но едва ди не выше нодвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ, въ лиць Татьяны, русскую женщину. Мущина, во всъхъ состояпіяхь, во всіхь слояхь русскаго общества, играеть первую роль; но мы не скажемъ, чтобъ женщина пграла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не пграетъ. Исключеніе остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мъръ, до извъстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ кошировать европейские обычан, несмотря на наши балы съ танцами, песмотря на отчаяние славянолюбовъ, что мы совствъ переродились въ Нъмцевъ, — несмотри на все это, пора намъ пакопецъ признаться, что еще и до сихъ поръ мы-плохіе рыцари,

что наше внимание къ женщинъ, наша готовность житъ и умереть для нея, до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свътскою фразою, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрътенія, а заимствованною. Чего добраго! теперь и «поштенное» купечество съ бородою, отъ которой попахиваеть «маненько» капусткою и лучкомъ, даже и оно, идя по улицъ съ «хозяйкою», ведетъ ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину колтномъ, указывая дорогу и заказывая зтвать по сторонамъ; но дома... Однако, зачънъ говорить, что бываетъ дома? зачёмъ выпосить соръ изъ избы?... Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозѣ: «женщина---царица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество» п т. п. Но посмотрите на наши общества (за ислюченіемъ высшаго свътскаго): вездъ мущины — самы по себъ, женщины—сами по себъ. И самый отчаянный любезпикъ, сидя съ женщинами, какъ-будто жертвуетъ собою изъ въжливости; потомъ встаетъ, и съ утомленнымъ видомъ, словно посла тяжкой работы, идеть въ компату мущинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освъжиться. Въ Европъ, женщина дъйствительно царица общества веселъ и гордъ мущина, съ которымъ она больше говоритъ, чъмъ съ другими. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждетъ, какъ мплости, чтобъ мущина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замёнено жеманствомъ, если у насъ всъ любятъ поэзію только въ книгахъ. а въ жизип боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дъвушкъ, если она не смъетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее, или даже и огласять ея женихомъ? Это значило бы окомпрометтировать ее и самому по-

というというできます。

пасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будеть даваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмъщекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключатъ, что вы хотите женпться на ней: если ея родители не будутъ видъть въ васъ выгодной партін для своей дочери, они откажуть вань отъ дома и строго запретять дочери быть любезной съ вами въ другихъ домахъ; если они увидять въ васъ выгодную партію, новая бъда, страшнъе прежней: раскинутъ съти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успъете опоменться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человъкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете «исторію», которую долго будете помнить. Отчего все это происходить? — Оттого, что у насъ не понимають и не хотять понимать, что такое женщина, не чувствують въ ней никакой потребности, не желають и не ищуть ея, словомь, оттого. что у нась нъть женщины. У насъ «прекрасный поль» существуеть только въ романахъ, повъстяхъ, дранахъ и элегіяхъ; но въ дъйствительности, онъ раздъляется на четыре разряда: на дъвочекъ, на невъстъ, на замужилхъ женщинъ, и накопецъ, на старыхъ дѣвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми, никто не интересуется; последнихъ все боятся и ненавидать (и часто по-деломъ); следовательно, нашъ прекрасный полъ состоить изъ двухъ отдъловъ: изъ дёвицъ, которыя должны выйдти за-мужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская дъвушка — не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не человъкъ: она не что другое, какъ невъста. Еще ребенкомъ, она называетъ своими женихами всёхъ мущинъ, которыхъ видитъ въ своень домь, и часто объщаеть выйдти за-мужъ за своего напашу, или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она — невъста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать леть, и мать, упрекая ее въ лености, въ неуменіи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей «не стыдно ли вамъ, сударыня: вёдь вы ужь невёста!» Удивительно ли после этого, что она не унветь, не можеть смотрыть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человъка, и видитъ въ себъ только невъсту? Удивительно ли, что, съ раинихъ лътъ до поздней молодости, пногда даже и до глубокой старости, всъ думы, всё мечты, всё стремленія, всё молитвы ся сосредоточенны на одной ideé fixe: на замужствъ, — что выйдти замужъ - ея единственное, страстное желаніе, цёль и смыслъ ея существованія, что вив этого она ничего не понимаетъ, ни о чемъ не думаетъ, начего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мущину она смотритъ опять не какъ на человъка, а только какъ на жениха? И виновата ли опа въ этомъ? — Съ восьмнадцати лътъ она начинаетъ уже чувствовать, что онане дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастіе своей семьи, не украшеніе своего роднаго крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишияя мебель, которая того и гляди спадетъ съ цъпы и не сойдетъ съ рукъ. Что же остается ей дълать, если не сосредоточить всъхъ своихъ способностей на искусствъ ловить жениховъ? И темъ более, что только въ одномъ этомъ отношении и развиваются ея способности, благодаря урокамъ «дражайшихъ родителей», милыхъ тётушекъ, кузинъ п т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь понечительная маменька?-За то, что она не умъетъ ловко держаться, стропть глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаеть свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіею. Чему она больше всего учить

ее? --- кокетничать по разсчету, притворяться ангеломь, прятать подъ мягкою, лосияющеюся шерсткой кошачьи лапки, кошачьи когти. И какова бы ни была по своей патуръ бъдная дочь,--она невольно входить въ роль, которую дала ей жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходитъ она неряхою, съ непричесанною годовою, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкѣ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, сплетившихся чулкахь: въ деревив въдь кто же насъ видитъ, кроми двории, — а для нея стоитъ ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидълся экипажъ, объщающій неожиданныхъ гостей, — наша невъста подымаетъ руки и долго держитъ ихъ надъ головою, крича въ попыхахъ: гости ъдутъ, гости ъдутъ! Отъ этого руки изъ красныхъ дълаются бълыми: «затъя сельской остроты!» Затъмъ, весь домъ въ смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное бёлье надёвають шерстяныя или нолковыя платья, пять лётъ назадъ тому сшитыя. О чистоть бълья заботиться смышно: вёдь бёлье подъ платьемъ, и его пикто не видить, а рядиться извъстное дъло — надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ тайныя стремленія п жаркіе объты готовы свершиться: кандидать-невъста уже дъйствительная невъста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имкетъ на нее виды. И ей кажется, что она дъйствительно влюблена въ него. Болъзненное стремление къ замужству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцъ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракъ. Притомъ же, когда дёло къ сивху и торопять, то поневоль влюбитесь сразу, не имья времени спросить себя, точно ли вы любите, пли вамъ только кажется, что любите... Но «дражайше родители» учили свою

дочь только искусству во что бы ни стало выйдти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужства, объясинть ей обязанность жены, матери, сдълать ее способною къ выполнению этой обязанности; -- они не подумали. И хорошо сделали: нетъ пичего безполезиве и даже вредиве, какъ наставленія, котя бы и самыя лучшія, если они не подкрѣпляются примѣрами, не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностію окружающей его дъйствительности. «Я вамъ примъръ, сударыня!» --- безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь преспокойно копируетъ свою мать, готовя въ своей особъ свъту и будущему мужу второй экземиляръ своей маменьки. Если ел мужъ — человъкъ богатый, онъ будетъ доволенъ своею женою: домъ у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нельно, грязно, пыльно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздинками (п тогда въ домъ подымается возня, дълается вавилонское столнотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугъ бездна, а не у кого допроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невъста, теперь молодая дама?—О. она живеть въ «полномъ удовольстви»! она наконецъ достигла пъли своей жизни, она уже не сирота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домъ; она хозяйка у себя дома, сама себъ госножа, пользуется полною свободою, ждетъ куда п когда хочеть, принимаеть у себя кого ей угодно ей уже не нужно болъе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелъвать, мучить мужа, дътей, слугъ. У ней бездна затъй: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогихъ игрушекъ вловоль; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаеть, но встхъ превосходить, и мужъ ея едва успъваетъ закладывать и перезакладывать имъніе... Дитя новаго покольнія, она убрала по возможности нышно, хотя и безвкусно,

というというでき

залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какуюто полу-чистоту, полу-опратность: въдь это комнаты для гостей, компаты парадныя, компаты на-показъ: полное торжество грязи можеть быть только въ спальной, въ дътской, въ кабинетъ мужа, — словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходять. А у ней безпрестанно гости, возль нея безпрестапно кружокъ; но она плъняетъ гостей своихъ не свътскимъ умомъ, не грацією своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора, — нѣтъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много. что она богата. что у ней все лучшее - п убранство комнатъ, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, немного... Содержание разговоровъ составляютъ сплетии и наряды, наряды и сплетии. Богъ благословилъ ея замужествочто ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дътей своихъ? — Да точно такъ же, какъ сама была восинтана своею маменькою: пока малы, они прозновоть въ дътской, средп мамокъ и иянекъ, среди горинчныхъ, на лонъ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила правственности. развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различіе домоваго отъ льшаго. въдьмы отъ русалки, растолковать разныя примъты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться. лгать не красиви, пріучить безпрестанно всть, никогда не наддзясь. И милыя дъти очень довольны сферою, въ которой живуть: у нихъ есть фавориты между прислугою, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми. ругаютъ и колотятъ послёднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ делай что хочеть съ мальчиками, а дёвочекъ поучатъ прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортецьяно, немножко болтать по-французски-и воспитание кончено; тогда имъ одна наука, одна забота - ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдеть за человъка не богатаго, хотя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умънія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревив никогда ничего не дълала (потому что барышия въдь не холопка какая-нибудь, чтобъ стала что-нибудь дълать), ничъмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домъ, —этого она пигдъ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйдти замужъ — значитъ сдълаться барынею; стать хозяйкою, значитъ — повелъвать всъми въ домъ и быть полною госпожою своихъ поступковъ. Ея дъло — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

П неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имъете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не темъ, чемъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинять даже ея ролителей? Развъ не вы сами сдълали изъ женщины только невъсту и жену, и ничего болъе? Развъ когда-инбудь подходили вы къ ней безкорыстио, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и сообщества женщины, которыя такъ кротко, успоконтельно и обаятельно двйствують на жосткую натуру мущины? Желали ль вы когда-нибудь имъть друга въ женщинъ, въ которую вы совствъ не влюблены, сестру въ женщинъ вамъ посторонией? — Нътъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не впаче, какъ для выполненія обычая приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мущинамъ танцовать съ мущинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитьбы или волокиства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти

の大学の経過など、大学の一般である。

коммерческій: она для васъ — капиталь съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, мпого, много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бываютъ болъзненными наростами на тълъ общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждають собою наши такъ пазываемыя «пдеальныя дівы». Онт, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читають много и скоро. вдать книги. Но какъ и что читають онь, Боже великій!... Всего достолюбезиве въ идеальныхъ дввахъ уввренность ихъ, что онъ понимаютъ то, что чптаютъ, и что чтение приноситъ имъ большую пользу. Вст онъ обожательницы Пушкина, что однакожь не изшаеть имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читають даже Гоголя, — что, однакожь нисколько не мішаеть имъ восхищаться повістями гг. Марлинскаго и Полеваго. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорять въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онъ видятъ свою любимую мысль, оправдание своей настроенпости, т. е. пдеальность, — видять ее даже и тамъ, гдв ея вовсе изтъ, или гдъ она осмъивается. У всъхъ у нихъ есть завътныя тетрадки, куда онв списывають стишки, которые имъ поправятся, мысли, которыя поразять ихъ въ книгъ. Онъ любять гулять при лунь, смотрьть на звъзды, следить за теченіемъ ручейка. Онв очень наклонны къ дружов, и каждая ведеть дъятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живетъ съ нею въ одной деревнъ, а иногда и въ одномъ домъ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають онв другь другу свои чувства, мысли, впечатльнія. Сверхъ того, каждая пзъ нихъ ведетъ свой диевникъ, весь наполненный «выписными чувствами», въ которыхъ

(какъ во встхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) ивтъ ничего живаго, истиннаго только претензін и идеальничанье. Онь презирають толиу и землю, питаютъ непримирниую ненависть ко всему матеріяльному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отръшиться отъ матеріп. Для этого, онъ морять себя голодомъ, не вдять иногда по цвлой недвлй, жгуть на сввчкв пальцы, кладуть себъ на грудь подъ платье сибгу, пьють уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна, — и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успъваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріяльную болячку... Въдь крайности сходятся! Всв простыя человъческія, и особенно, женскія чувства, какъ напр., страстность способная къ увлечению чувствъ, любовь материнская, склонность къ мущинт, въ которомъ натъ ничего необыкновеннаго, геніяльнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не больнъ, не бъденъ, — всъ такія простыя чувства кажутся пмъ пошлыми, ничтожными, смъшными и презрѣиными. Особенно питересны понятія «пдеяльныхъ дёвъ» о любви. Всё онё — жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Не онъ признаютъ только любовь чистую, пеземную, пдеальную, платоническую. Бракъ есть профапація любви въ пхъ глазахъ; счастіе — опошленіе любви. Имъ пепремінно надо любить въ разлукћ, и ихъ высочайшее блаженство — мечтать при лунћ о предметь своей любви и думать: «можеть-быть, въ эту минуту, и оно смотритъ на луну и мечтаетъ обо мив; такъ, для любви нътъ разлуки!» Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дівы считають себя птицами; плавая въ мутной воді: пскусственной нервической экзальтаціи, онт думають, что парятъ въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все

«высокое и прекрасное», онт любять только себя; онт и не подозрѣваютъ, что только тѣшатъ свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазіп, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужства, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія, п изъ идеальныхъ дёвъ скоро дёлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазін доходить до того, что онв на всю жизнь остаются востор. женными дъвственницами, и такимъ образомъ до семидесяти льть сохраняють способность къ сантиментальной экзальтаціи. къ первическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумливаются; но прежнее ихъ ложное направление навсегда дълается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-залеченной бользни, отравляеть ихъ спокойствие и счастие. Ужасите всёхъ другихъ тё изъ идеальныхъ дъвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракъ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствін всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіп, онъ создають свой идеаль брачнаго счастія, — и когда увидять невозможность осуществленія пхъ нелівнаго пдеала, то вымещають на мужьяхь горечь своего разочарованія.

Идеальными дівами всёхъ родовъ бывають по большой части дівицы, которыхь развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вибсто живыхъ существъ, изъ нихь выходять иравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дійствительность въ самомъ ділт очень пошла, и ими невольно овладіваетъ неотразимое убъжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой дійствительности. А между тімъ, самобытное, не на почві дійствительности, не въ сфері общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства. И такимъ общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства. И такимъ общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства. И такимъ общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства.

разомъ имъ предстоятъ двъ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всъ, или быть пошлыми оригипально. Опъ избираютъ послъднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дълъ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустиъе: между подобными несчастными созданіями бываютъ патуры, нелишенныя истипной потребности болъе или менъе человъчески-разумнаго существованія и достойнныя лучшей участи.

Но среди этого міра правственно-увѣчныхъ явленій, изрѣдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность, и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства Натуры геніяльныя, не подозрѣвающія своей геніяльности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ — не то, чтобъ ужь очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобъ человѣкъ, да и не звѣрь, а что-то въ родѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы — растительному и животному.

Онъ быль простой и добрый баринь,
И тамь, гдъ прахъ его лежить,
Надгробный памяникъ гласить:
Смиренный грышникъ, Дмитрій Ларинь,
Господній рабъ и бригадирь,
Нодъ камнемъ симъ вкушаеть миръ.

Этотъ миръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же самаго мира, которымъ «добрый баринъ» наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свътъ такіе люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не проязводитъ ровно пикакой перемъны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ

числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизии, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужства, она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому что отъ своей московской кузины наслышалась о Грандиссонъ. Помолвленная за Ларина, она втайнъ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ въщу, не спросившись ея совъта. Въ деревиъ мужа, она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положению и даже стала имъ довольна, особенно съ тъхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она взжала по работамъ, Солила на зиму грибы. Вела расходы, брила лбы, Ходила въ башо по субботамъ, Служановъ била осердясь, Все это мужа не спросясь Бывало ипсывала провыо Она въ альбомы ибжныхъ двов, Звада Полиною Прасковью И говорила на-расивы»; Корсоть посила очень узкій, И русскій II, какъ N французскій, Произносить умъла въ носъ. Но скоро все перевелось: Корсеть, альбомъ, княжну Полину, Стинковъ чувствительныхъ тетрадь Она забыла; стала звать Акулькой прежиюю Селину, И обновила паконецъ На вать шлафорь и ченець.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свътъ цълме милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизин нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась Сосъдей добрая семья, Пецеремонные друзья,

И потужить, и позлословить, И посмъяться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумной О съпокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ, Конечно не блисталъ ни чувствомъ, Ни поэтическимъ огиемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитія искусствомъ; Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менъе ученъ.

И вотъ кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, тутъ были два существа, ръзко отдълявшіяся отъ этого круга — сестра Татьяны. Ольга, и женихъ последней, Ленскій. Но п не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частію по привычкъ, частио потому, что они еще не были пошлы; но она ие открывала имъ виутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другаго міра, что они не поймутъ ел. И дъйствительно, ноэтическій Лепскій далеко не подозраваль, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скорве странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менъе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольra — существо простое, непосредственное, которое никогда ии о чемъ не разсуждало, ин о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и попятно по привычкъ, и которое все зависъло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, по скоро утъшилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дъвочки, сдълалась дюжинною барынею, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измъненіями, которыхъ требовало время. Но совствы не такъ легко опредълить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ

CAN SERVICE STATE OF STATE OF

пѣтъ этихъ болѣзиеиныхъ противорѣчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ-будто вся изъ одного цѣльнаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Вся жизнь ея проникнута тою цѣлостностью, тѣмъ единствомъ, которое, въ мірѣ искусства, составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дѣвушка, потомъ свѣтская дама, — Татьяна, во всѣхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дѣтствѣ, такъ мастерски написанный поэтомъ, въ послѣдствіи является только развившимся, но непамѣнившимся.

Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лъсная боязлива, Она въ семьй своей родной Казалась дівочкой чужой. Она ласкаться не умісла Къ отцу, ни къ матери своей; Дитя сама, въ толий дійтей Играть и прыгать не хотіла, И часто цільй день одна Сиділа молча у окна.

Задумчивость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; нальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизпь ея.

Она любила на балконъ
Предупреждать зари восходь,
Когда на блъдномъ небосклонъ
Звъздъ изчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свътлъетъ.
И, въстникъ угра, вътеръ въетъ,
И веходитъ постепенно день.

Зимой, когда ночная тёнь
Полміромъ долё обладаетъ,
И долё въ праздной твининъ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лъннвый почиваетъ,
Въ привычный часъ пробуждена
Вставала при свъчахъ она.

Итакъ, лѣтиія ночи посвящались мечтательности, зимиія чтенію романовъ, — и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко хранѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяною и окружающимъ ее міромъ! Татьяна это рѣдкій прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы,

> Пезнаемый въ травъ глухой Ин мотыльками, ин ичелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгв, гораздо больше пдутъ къ Татьяпъ. Какіе мотыльки, какія пчелы могли знать этотъ цестокъ, или иленяться имъ? Разве безобразные елении, оводы и жуки, въ родъ господъ Пыхтина, Буянова, Иътушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можеть ильнять только людей, стоящихь на двухъ крайнихъ ступеняхъ правственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ся натурою, и которыхъ такъ мало на свътъ, или людей совершенио ношлыхъ, которыхъ такъ много на свётё. Этимъ послёднимъ Татьяна могла правиться лицомъ, деревенскою свъжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видъть кротость нослушливость и безотектность въ отношении къ будущему мужу — качества, драгоценныя для ихъ грубой животности; не говоря уже о разсчетахъ на приданое, на родство и т. и. Стоящіе же въ середнив между этими двумя разрадами людей, всего меньо могли оцънить Татьяну. Надобно сказать, что вск эти серединныя существа, запимающій місто между высшеми натурами и

ACCOUNT OF THE STATE OF THE STA

чернію человъчества, эти таланты, служащіе связью геніяльности съ толною, по большей части — все люди «идеальные», подъ-стать идеальнымъ дёвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себъ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дъло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счеть всихъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ пихъ есть чувство, но еще больше сантиментальпости. и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и въчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть п умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умё часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дъльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, — это то, что въ пихъ пътъ страстей, за исключениемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тѣмъ, что они бездъятельно и безплодно погружены въ созерцание своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыл, по такъ же не холодиыя, какъ и не горячія, опи дъйствительно обладаютъ жалкою способностью всныхпвать на минуту отъ всего и нп отчего. Поэтому, они только и толкують, что о своихъ пламениыхъ чувствахъ, объ огив, пожпрающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозръвая, что все это дъйствительно буря, но только не на моръ, а въ стаканъ воды. И итть людей, которые бы менте ихъ способны были оцвинть истинное чувство, поиять истинную страсть, разгадать человъка глубоко чувствующаго, неподдъльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они ръшили бы всъ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случав, она холодна какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, пичёмъ не увлекается, ничему не радуется, ни

отчего не приходить въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ къть не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности перелить въ другаго свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говоритъ ни о чувствахъ вообще, пи о своихъ собственныхъ въ особенности?... Если вы сосредоточены въ себъ и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, — мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявятъ васъ существомъ холодиымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имъете наклоиность пронизировать иадъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цъломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бъдствиемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастіи взаимности, любовь такой женщины — ровное, сейтлое пламя; въ противномъ случат - упорное пламя, которому сила воли, можетъ-быть, не позволитъ прорваться наружу, но которое тъмъ разрушительнъе и жгучъе, чъмъ больше опо сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, по тъмъ не менке страстно п глубоко любила бы своего мужа, вполив пожертвовала бы собою дътямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвъ, въ строгомъ выполнении своихъ обязапностей, нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ вившнимъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодностью, которыя составляютъ достопиство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности:

взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которыя составляютъ ен характеръ.

Создаетъ человъка природа, но развиваетъ и образуетъ его общество. Никакія обстоятельства жизня не спасутъ и не защитять человька отъ вліянія общества, ни гдв не скрыться, ни куда не уйдти ему отъ него. Самое усиліе развиться самостоятельно, вив вліянія общества, сообщаеть человвку какую-то странность, придаеть ему что-то уродливое, въ чемъ онять видна печать общества же. Вотъ почему у насъ люди съ дарованіями и хорошими природными расположеніями часто бывають самыми неспосными людьми, и вотъ почему у насъ только геніяльность спасаеть человька оть пошлости. По этому же самому, у насъ такъ мало истинныхъ и такъ много кинжныхь, вычитанныхь чувствь, страстей и стремленій, словомъ: такъ мало истины и жизни въ чувствахъ, страстяхъ и стремленіяхь, и такъ много фразёрства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтепіе приносить намъ величайшую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности; но въ немъ же, съ другой стороны, и много вреда, такъ же какъ и много полізы для настоящаго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхъ сословій, есть плодъ реформы. Оно помнить день своего рожденія, потому что оно существовало оффиціяльно прежде, нежели стало существовать дъйствительно; потому что, наконецъ, это общество долго составляль не духъ, а покрой платья, не образованпость, а привилегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: копированіемъ пиостранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужаго, потому что отъ своего мы отказались, а чужаго не только принять, но и понять не были въ состояніи. Были у Французовъ трагедін: давай и мы писать трагедін, и г. Сумароковъ, въ одномъ лицъ своемъ,

совивстиль и Корнеля, и Расппа, и Вольтера. Быль у Французовъ знаменитый баспописецъ Лафонтенъ, и опять тотъ же г. Сумароковъ, по словамъ его современниковъ, своими притчами далеко обогналь Лафонтена. Такимъ же точно образомъ, въ самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пипдарами, Гораціями, Анакреснами, Гомерами, Виргиліями и т. п. Ппострапныя произведенія вст наполнены были любовными чувствами, любовными привлюченіями: и мы давай тымь же наполнять наши сочинения. Но тамъ поэзія книги была отраженіемъ поэзін жизин, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и ноэзію общества: у насъ любовь вошла только въ кангу, да въ ней и осталась. Это болке или менке продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстиые стихи, романы, повъсти, и теперь подобное чтеніе не считается вредосудительнымъ даже для дъвушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропаютъ ствики, и пногда недурные. Итакъ, говорпть о любви, читать и писать о ней у насъ любять многіе; но любить... Это діло другаго рода! Оно, конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можеть увънчаться законнымь бракомь, то почему же и не любить! Многіе не только не считають этого налишнимъ, но даже считають необходимымь, п, женясь на приданомъ, толкують о любви... Но любить потому только, что сердце жаждеть любви, любить безъ надежды на бракъ, всемъ жертвовать увлекающему пламени страсти — номилуйте, какъ можно! въдь это значить сдълать «историо», произвести скандаль, стать сказкою общества, предметомъ оскорбительнаго вниманія, осужденія, презранія; сверхь того, приличіе, правила правственности, общественная мораль... А! такъ вы люди сколько осторожные и благоразумио предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачамъ же вы противоръчите себъ своею охотою къ стихамъ и романамъ, своею страстью къ патетической драмѣ? — Но то поэзія, а то жизнь; зачѣмъ мѣшать ихъ между собою, пусть каждая идетъ своею дорогою: пусть жизнь дремлетъ въ апатіи, а поэзія спабжаетъ ее занимательными спами. — Вотъ это другое дѣло!...

Но худо то, что изъ этого другаго дъла необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнію и поэзіею нътъ естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебно отдъльнаго существованія образуется поддъльно-поэтическая и въ высшей степени бользненная, уродливая дъйствительность. Одна часть общества, върная своей родной апатін, спокойно дремлетъ въ грязи грубо-матеріяльнаго существованія; за то другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, пръ всёхъ силъ хлопочетъ устроить себе поэтическое существованіе, сочетать поэзію съ жизнію. Это у пихъ дълается очень просто п очень невинис. Не видя никакой поэзіп въ обществъ, они берутъ ее изъкнигъ и по ней соображаютъ свою жизнь. Поэзія говорить, что любовь есть душа жизни: н такъ — надо любить! Силлогизмъ въренъ, само сердце за него вмьсть съ умомъ! И вотъ нашъ идеальный юноша, или наша идеальная діва ищеть въ кого бы влюбиться. По долгомъ соображенін, въ какихъ глазахъ больне поэзін, — въ голубыхъ пли черныхъ, предметъ наконецъ пзбранъ. Начинается комедія — п пошла потеха! Въ этой комедін есть все: п вздохи, п слезы, п мечты, п прогулки при лупт, и отчаяніе, и ревность, и блаженство, и объясненіе, — все, кромѣ истипы чувства... Удивительно ли, что послъдній актъ этой шутовской комедіи всегда оканчивается разочарованіемь, и въ чемь же?—въ собственномъ своемъ чувствъ, въ своей способности любить?... А между тъмъ, подобное книжное направленіе очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго поміщика манчскаго сділаться рыцаремъ допъ-Кихотомъ,

надъть бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта и пуститься отыскивать по свъту прекрасную Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между покольніями отъ двадцатыхъ годобъ до настоящей минуты, сколько было у насъ разныхъ донъ-Кихотовъ? У насъ были и есть донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убъжденій, славянофильства и еще Богъ знаетъ чего, всего не перечесть! Выше мы говорили объ вдеальныхъ дъвахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметъ такъ богать и неистощимъ, что лучше не касаться его, чтобъ совсъмъ не потерять изъ виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избъгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дъвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ міръ подобныхъ явленій, — и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаетъ пе смъхъ, а живое сочувствіе, — но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на «идеальныхъ дъвъ», а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смъщнаго и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность. Съ одной стороны —

Татьяна върпла преданьямъ
Простонародной старины,
И сначъ, и карточнымъ гаданьямъ
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примъты
Тапиственно ей всъ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ. Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстію къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки, возможно только въ русской женщинъ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждѣ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея сналъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, — да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее разсчету благоразумной морали... Дъвическіе дни ея ничѣмъ не было тѣхъ регуларныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновѣсіи нравственныя силы человѣка. Дикое растеніе, вполиѣ предоставленное самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотѣ которой тѣмъ мятежиѣе горѣлъ пожиравшій ее впутренній огонь, что ея умъ ничѣмъ не былъ занятъ.

Давно ея воображенье, Сгарая ивгой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно ссрдечное томленье Тъснило ей младую грудь; Душа ждала... кого-инбудь, И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это опъ! Увы! теперь и дни и ночи, И жаркій, одинокій сонъ, Все полно имъ; все дъвъ милой Безъ умолку вошебной силой Твердить о немъ.

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Читаетъ сладостный романъ, Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьетъ обольстительный обманъ! Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліи Вольмаръ,

Малекъ-Адель и де-Липаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежной, И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводить сонъ, Всъ для мечтательницы иъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Опфениф слидись. Воображаясь геропней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинъ лъсовъ Олна съ опасной книгой бродитъ: Она въ ней ищеть и находить Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхаеть, п, себи присвоя Чужой восторгь, чужую грусть, Въ забвеньи щенчетъ наизустъ Инсьмо для милаго героя...

Здъсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачёмъ было воображать Онъгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно. что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона)? — Затъмъ, что для Татьяны не существоваль настоящій Онвгинь, котораго она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-инбудь значение, на прокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизии, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачёмъ было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Затемъ, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онъгина. Повторяемъ: создание страстное, глубоко чувствующее, и въ гоже время не развитое, на-глухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статут, въ которой все внутренниее такъ прозрачно и выпукло отра-

THE RESERVE TO SERVE TO SERVE

зилось во внъшией красотъ, по подобною египетской статуъ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенио иъмымъ существомъ, и ея пылающій и сохиущій языкъ не обрель бы пи одного живаго, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Оньгипу была ея страстная истура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, — все же началась она пъсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго, и еще менъе могла полюбить кого-инбудь изъ извъстныхъ ей мущинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Опьгинъ.

()нъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свътскость, неоспоримое превосходство надъ всёмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни — все это произвело тапиственные слухи, которые не могли не лъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ел къ рішительному эффекту перваго свиданія съ Онтгинымъ. И она увидела его, и онъ предсталь предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, пепостижимый, весь перазрышимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщение для ея дикой фантазін. Есть существа, у которыхъ фантазія имъетъ гораздо болъе вліянія на сердце, нежели какъ думають объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоитъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онт ваши; по есть женщины, которыхъ вниманіе мущина можетъ возбудить къ себ'ї только равнодушіемъ, холодностью и скентицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно

п полно пережитой жизни: бъдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гонить,
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонить,
И лънь ей далъе ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Меновеннымъ пламенемъ покрыты,
Дыханье замерло въ устахъ,
И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ...
Настанетъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальный сводъ небесъ,
И соловей во мелъ древесъ
Напъвы звучные заводитъ,
Татьяна въ темнотъ не спитъ
И тихо съ ияней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ иянею — чудо художественнаго совершенства! Это цълая драма, пропикнутая глубокою истиною. Въ ней удивительно върно изображена русская барышия въ разгаръ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? — сестръ? — она не такъ бы поизла его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну, — или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ ияни своей тайны.

というというという。

..... «Разскажи мив, няня,

Про вании старые года;

Была ты влюблена тогда?»

— И, полно, Таня! Въ этп лъта

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со свюта

Меня покойница свекровь.—

«Да какъ же ты въпчалась, няня?»

— Такъ, видно, Богъ вельять. Мой Ваня

Моложе былъ меня, кой свъть,

А было мит тринадцать лъть.

Недвли двв ходила сваха
Къ моей родив, и наконецъ
Благословилъ меня отецъ.
И горько плакала со страха;
Мив съ плачемъ косу расплели,
И съ пвивемъ въ церковъ повели.
И вотъ ввели въ семью чужую...

Вотъ какъ пишетъ истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривія-льности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренией домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдълано великимъ поэтомъ одною чертою, вскользь, мимоходомъ брошенною!... Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

И, позно, Таня! Въ этп лѣта Мы не знавали про любовь; А то бы согнала со свѣта Меня покойница свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о пародности — и добиваются одной площадной тривіяльности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ напвный и благородный; по его источникъ не въ сознаніи, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ,
когда она стала знатною барынею, для нея совершенно изчезла
возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца...
Письмо Татьяны свело съ ума всѣхъ русскихъ читателей, когда
появилась третья глава «Онѣгина». Мы, вмѣстѣ со всѣми, думали въ немъ видѣть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой проніи, безъ
всякой задней мысли, и писалъ и читаль это письмо. Но съ
тѣхъ поръ, много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно
и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то дѣтско-

стію, чёмъ-то» романическимъ». Пиаче и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ повъ и недоступенъ правственно-пёмотствующей Татьянѣ: опа не умѣла бы ни понать, ии выразить собственныхъ своихъ ощущеній, еслибы не прибѣгла къ помощи внечатлѣній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: опо проинкнуто простымъ искрениимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою:

> Я къ вачъ иниу — чего же боль? Что я могу еще сказать? Тенерь, я знаю, въ вашей волъ Меня презращень наказать. Но вы, къ моей несчастной долъ Хоть кандю жалости храня, Вы не оставите меня. Спачада и модчать хотвла; Повърьте: моего стыда Вы не узнали бъ никогда, Когда бъ надежду я имъла, Хоть рёдко, хоть въ недёлю разъ, Въ деревив нашей видъть васъ, Чтобъ только слышать ваши рѣчи, Вамъ слово молвить, и потомъ Все думать, думать объ одномъ И день и ночь до новой встрфчи. По говорять, вы нелюдимъ; Въ глуши, въ деревиъ, все вамъ скучно, А мы... ничёмъ мы не блестимъ, Хоть вамъ и рады простодушно. Зачёнь вы посетили насъ? Въ глупи забытаго селенья Я никогда не знада бъ васъ, Пе знала бъ горькаго мученья. Дуни неопытной возненья Сипривъ современемъ (какъ знать?), По сердцу я пашла бы друга, Была бы върная супруга И добродътельная мать

Прекрасны также стихи въ концѣ письма:

..... Судьбу мою Отнынт я тебт вручаю, Передъ тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я здёсь одна, Никто меня не понимаеть; Разсудокъ мой изнемогаеть, И молча гибнуть я должна.

Все въ письмѣ Татьяны истинно, но не все просто: мы выписали только то, что и истинно и просто вмѣстѣ. Сочетаніе простоты съ истиною составляетъ высшую красоту и чувства, и дѣла, и выраженія...

Замъчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея ръшимость написать и послать это письмо: видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ...

И зналъ красавицъ недоступныхъ, Холодпыхъ, чистыхъ, какъ зима, Неумолимыхъ, неподкупныхъ, Непостижимыхъ для ума; Дивился я ихъ сивси модной, Ихъ добродътели природной, И признаюсь, отъ пихъ бъжаль, И, минтся, съ ужасомъ читалъ Надъ ихъ бровями надпись ада: Оставь наделеду навсегда. Внушать любовь для нихъ бъда, Пугать людей для нихъ отрада. Быть можеть, на брегахъ Невы Подобныхъ дамъ видали вы. Среди поклонивковъ послушныхъ, Другихъ причудницъ я видазъ, Самолюбиво-равнодушныхъ Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ. И что жь нашель я съ изумленьемъ? Онъ, суровымъ поведеньемъ

Пугая робкую любовь. Ее привлечь умъли вновь По крайней мъръ сожалъньемъ, По крайней мёрё, звукъ рёчей Казался иногда ифжифй. И съ легковърнымъ ослъпленьемъ йодосом аминаобок атепО Бъжить за милой суетой. За что жь виновиће Татьяна? За то ль, что въ милой простотв Она не въдаетъ обмана И въритъ избранной мечтъ? За то дь, что дюбить безъ искусства, Послушная влеченью чувства; Что такъ довърчива она, Что отъ небесъ одарена Воображеніемъ мятежнымъ, Умомъ и волею живой, И своеправной головой, И сердцемъ пламеннымъ и нъжнымъ? Ужели не простиге ей Вы дегкомыслія страстей! Кокетка судить хладнокровно; Татьяна любить не шутя И предается безусловно Любви, какъ милое дитя. Не говорить она: отложимъ --Любви мы цену темь умножимь, Върнъе въ съти заведемъ; Сперва тщеславіе кольнемъ Надеждой, тамъ недоумъньемъ Измучимъ сердце, а потомъ Ревинвымъ оживимъ огнемъ; А то, скучая наслажденьемь, Невольникъ хитрый изъ оковъ Всечастно вырваться готовъ.

Вотъ еще отрывокъ изъ «Онъгина», который выключенъ авторомъ изъ этой ноэмы и особенно напечатанъ въ IX томъ:

О вы, которыя любиля Безъ позволенія родимхъ,

И сердце нъжное хранизи Для впечатавній молодыхъ. Дзя радостей, дзя нъги сладкой — Дъвицы! если вамъ украдкой Случалось тайную печать Съ письма любезнаго срывать, Иль робко въ дерзостныя руки Завътный локонь отдавать, Иль даже молча дозволять Въ минуту горькую разлуки Дрожащій поцелуй любви, Въ слезахъ, съ волнениемъ въ крови, --Не осуждайте безусловно Татьяны вытреной (?!) моей; Не повторяйте хладнокровно Рѣшенья чопорныхъ судей. А вы; о длеы безъ упрёка! Которыхъ даже ръчь порока Страшить сегодня какъ змія ---Совътую вамъ то же я: Кто знаеть? пламенной тоскою Сгорите, можетъ-быть, и вы -И завтра дегкій судъ молвы Принишеть модному герою Побъды новой торжество: Аюбви васъ ищеть божество.

Только едва ли найдеть, прибавимь мы оть себя прозою. Нельзя не жальть о поэть, который видить себя принужденнымь такимь образомь оправдывать свою героиню передь обществомь—и въ чемь же?—въ томь, что составляеть сущность женщины, ея лучшее право на существование—что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомь! Но еще болье пельзя не жальть объ обществь, нередь которымь поэть видьть себя принужденнымь оправдывать героиню своего романа въ томь, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобно женщины. И всего грустиве въ этомъ,—то, что передъ женщинами въ особенности старается онь оправдать свою Тать

яну... И за то, съ какою горечью говорить опъ о нашихъ женщинахъ, вездъ, гдъ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Какъ выдается вотъ эта строфа въ первой главъ «Опътина».

Причудинцы большаго свъта!
Всёхъ прежде васъ оставиль онъ.
И правда то, что въ наши лъта
Довольно скученъ высшій тонъ.
Хоть, можеть-быть, ппая дама
Толкуеть Сея и Бентама;
Но вообще ихъ разговоръ
Несносный, хоть певинный вздоръ.
Къ тому жь онъ такъ непорочны,
Такъ величавы, такъ умны,
Такъ благочестія полны,
Такъ осмотрительны, такъ точны,
Такъ неприступны для-мущинъ,
Что видъ ихъ ужь раждаетъ сплинъ.

Эта строфа невольно приводить намъ на память слъдующіе стихи, невошедшіе въ ноэму и напечатанные особо (т. ІХ):

Морозъ п солнце — чудный день! Но нашимъ дамамъ видно лѣнь Сойти съ крыльца и надъ Невою Блесиуть холодной красотою: Сидятъ — напрасно ихъ манитъ Пескомъ усынанный гранитъ. Умна восточная система И правъ обычай стариковъ: Онъ родились для гарема Иль для неволи. . . .

というでは、「日子」には、「日子

Но и на востокъ есть поэзія въ жизни, страсть закрады вается и въ гаремы... За то, у насъ царствуетъ строгая правственность, по крайней мъръ, внышияя, а за нею иногда бываетъ такая не-поэтическая поэзія жизни, которою, если воспользуется поэтъ, то, конечно, ужь не для поэмы...

Еслибы мы вздумали слёдцть за веёми красотами поэмы Пушкина, указывать на всё черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случав ни нашимъ выпискамъ, ни нашей стать в не было бы конца. Но мы считаемь это излишнимъ, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себъ другую цёль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ, предметъ нашей статьи характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому, пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ — объяснение Онъгина съ Татьяною въ отвътъ на ея письмо. Какъ подъйствовало на нее это объяснение понятно: всъ надежды бъдной дъвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себъ для внъшняго міра. Но разрушенная падежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горъть тъмъ упорнъе и напряженъе, чъмъ глуше и безвыходнъе. Несчастіе даетъ новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онв любять свое горе, лельють свое страданіе, дорожатъ имъ, можетъ-быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онъ своимъ счастіемъ, еслибъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лъсу нашего общества, гдъ бы и скоро ли бы встрътила Татьяна другое существо, которое, подобно Онъгину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ея души на другой предметь? Вообще, несчастная, пераздъленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явление довольно бользненное, причина котораго, по слишкомъ радкимъ и, вароятно, чисто физіологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтацін фантазін слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падають тяжело на сердце и терзають его иногда еще сильнье, нежели страданія, корень которыхь въ самомъ сердць. Картина глухихъ, никъмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена, въ иятой главѣ, съ удивительною истиною и простою Посѣщеніе Татьяною опустѣлаго дома Онѣгина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всѣхъ предметахъ котораго лежалъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозянна, — принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоцѣннѣйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посѣщеніе, —

И въ молчаливомъ кабинстъ.
Забывъ на время все на свътъ,
Осталась наконецъ одна,
И долго илакала она.
Потомъ за кинги принялася,
Сперва ей было не до нихъ;
Ио показался выборъ ихъ
Ей страненъ. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой:
И ей открылся міръ иной.

И начинаетъ по-немногу
Мол Татьяна понимать
Теперь ясиће, слава Богу,
Того, но комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...

Уже ль загадку разрѣшила, Уже ли слово найдено?...

うできょうというできる。

И такъ, въ Татьяпѣ, паконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человѣка интересы, есть страданія и скорби кромѣ интереса, страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поняла,

послужило ли это ей къ облегчению ея собственныхъ страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть иден, которыя надо пережить и душою и тёломъ, чтобъ понять ихъ вполит, и которыхъ нельзя изучить въ книгт. И потому, книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное внечатлъніе; оно иснугало ее, ужаснуло и заставило смотръть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покориться действительности, какъ она есть, и если жить жизнію сердца, то про себя, во глубинъ своей души, въ тиши уединенія, во мракт ночи, посвященной тоскть и рыданіямъ. Постщенія дома Онтгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дівочки въ світскую даму, которое такъ удивило и поразило Онъгина. Въ предшествовавшей стать в мы уже говорили о письм в Онъгина къ Татьянь и о результать всьхь его страстныхь посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онъгинымъ. Въ этомъ объяснени все существо Татьяны выразилось вполнъ. Въ этомъ объяснении высказалось все, что составляеть сущность русской женщины съ глубокою натурою, развитою обществомъ, -- все: и иламенная страсть, и задушевность простаго, искренняго чувства, и чистота и святость нанвныхъ движеній благородной натуры, и резонёрство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродътелью, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мишнія, и хитрые силлогизмы ума, свётскою моралью парализировавшаго великодушныя движенія сердца... Рачь Татьяны начинается упрекомъ въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

> Онвгинъ, помните дь тотъ часъ, Когда въ саду, въ аллев насъ

Судьба свела, и такт смиренно Урокт вашт выслушала я? Сегодия очередь мол. Онбинь, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любыла васъ; и что же? Что въ сердцъ вашемъ я нашла? Какой отвътъ? Одну суровость. Не правда ль? Вамъ была не новость Смиренной дъвочки любовь? И ныньче — Боже! — стынетъ кровь, Какъ только вспомню взглядъ холодной И эту проповъдь...

Въ самомъ дёлё, Онёгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбиль ея тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Воть понятія, заимствованныя изъ плохихъ сантиментальныхъ романовъ! Нтмая деревенская дёвочка съ дётскими мечтами — и свётская женщина, испытанная жизнію и страданіемъ, обратшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей: какая разинца! И всетаки, по мнинію Татьяны, она болье способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была моложе и лучше!... Какъ въ этомъ взглядт на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онъгина одну суровость? «Вамъ была не новость смиренной дъвочки любовь?» Да это уголовное преступление--- не подорожить любовію нравственнаго эмбріона!... Но за этимъ упрекомъ тотчасъ следуетъ и оправдание:

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Основная мысль упрековъ Татьяны состоить въ убѣжденіи, что Онѣгинъ потому только не полюбилъ ее тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазиа; а теперь приводить къ ея ногамъ жажда скандалёзной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добродѣтель...

Тогда-не правда ли?-въ пустынъ, Вдали отъ суетной молвы, Я вамъ не правилась... Что жь нынъ Меня преслъдуете вы? Зачемъ у васъ я на приметь? Не потому дь, что въ высшемъ свътъ Теперь являться я должна; Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувъченъ; Что насъ за то ласкаетъ дворъ? Не потому ль, что мой позоръ Теперь бы всёми быль замёчень, И могъ бы въ обществъ принесть Вамъ соблазнительную честь? II илачу... Если вашей Тани Вы не забыли до сихъ поръ, То знайте: колкость вашей брани, Холодный, строгій разговоръ, Когда бъ въ моей лишь было власти, Я предпочла бъ обидной страсти II этимъ письмамъ и слезамъ. Къ моимъ младенческимъ мечтамъ Тогда имбли вы хоть жалость. Хоть уважение къ дътамъ... А ныньче!--что къ монмъ ногамъ Васъ привело? Какая малосты! Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ Быть чувства мелкаго рабомъ?

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепетъ за свое доброе имя въ большомъ свътъ, а въ слъдующихъ затъмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрънія къ большому свъту... Какое противоръчіе! И что всего грустите, то и другое истинно въ Татьянъ...

А мив, Опвтинъ, пышность эта, Постылой жизни мишура, Моп успвхи въ ввхрв сввта, Мой модный домъ и вечера,—
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ За нолку кингъ, за дикій садъ, За наше бъдное жилище, За тъ мъста, гдъ въ первый разъ, Опвтинъ, видъла я васъ, Да за смиренное кладбище, Гдъ пыньче крестъ и тъпь вътвей Надъ бъдной илиею моей...

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любитъ свъта и за счастіе почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свъть—его миъніе всегда будетъ ен идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ен добродътелью...

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!... Но судьба моя
Ужь ръшена. Неосторожно,
Быть можеть, поступила я:
Меня съ слезачи заклинаній
Молила мать; для бъдной Тани
Всъ были жребін равиы...
Я выпла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу, меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцъ есть
И гордость и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду выкъ ему върна».

Последніе стихи удивительны — подлинно «конець венчаеть дело!» Этоть ответь могь бы идти въ примеръ классическаго «высокаго» (sublime), наравит съ ответомъ Меден: moi! и стараго Горація: qu' il mourût! Воть истинная гордость женской добродётели! «Но я другому отдана,» — именно отдана, а не

отдалась! Въчная върность — кому и въ чемъ? Върность такимъ отношеніямъ, которыя составляютъ профанацію чувства и чистоты женственности, потому что изкоторыя отношенія. неосвящаемыя любовію, въ высшей степени безиравственны... Но у насъ какъ-то все это клептся вмъстъ: поэзія — п жизнь, любовь — и бракъ по разсчету, жизнь сердцемъ — и строгое исполнение вижшнихъ обязанностей, внутрению ежечасно нарушаемыхъ... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца; любить — значитъ для нея жить, а жертвовать — значитъ любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее . . . Татьяна невольно напомиила намъ Въру въ «Героъ Нашего Времени», женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаетъ безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мущинамъ, одного любя, а другаго обманывая: противъ этой истины не можетъ быть никакого спора; но въ Въръ этотъ гръхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной роли. И какъ бы могла она поступить рёшительно въ отношеніи къ мужу, когда она видъла, что тотъ, кому она всю себя пожертвовала, принадлежалъ ей не вполнъ п. любя ее, все-таки не захотълъ бы слить съ нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя подъ вліяніемъ роковой силы этого человтка съ демонической натурою, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натуръ и по характеру, не говоря уже объ огромной разниць въ художественномъ изображеніи этихъ двухъ женскихъ лицъ: Татьяна — портретъ во весь ростъ; Въра — не больше, какъ силуетъ. И, несмотря на то, Въра — больше женщина...но за то, и больше исключеніе, тогда какъ Татьяна — типъ русской женщины . . . Восторженные идеалисты, изучившіе жизнь и женщину по повъстямъ Марлинскаго, требуютъ отъ необыкновенной женщины презрѣнія къ общественному мижнію. Это ложь: женщина не можеть презпрать общественнаго мижнія, но можеть имъ жертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятія, которое она береть на себя, повинуясь другому высшему закону — закону своей натуры, а ея натура — любовь и самоотверженіе...

Итакъ, въ лицъ Онъгина, Ленскаго и Татьяны, Пушкенъ изобразиль русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою петиною, съ какою вѣрностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествъ вставочныхъ портретовъ и силуетовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оцъпено ею по достоинству ... Замътимъ одно: личность псэта, такъ полно и арко отразившаяся въ этой позив, вездв является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время по препмуществу артистическою. Вездъ видите вы въ немъ человъка, душою и тъломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущиость изображаемаго имъ класса; короче, вездъ видите русскаго помъщика... Опъ нападаетъ въ этомъ класси на все, что противоръчить гуманности; но принципъ класса для него -- въчная истина... И потому, въ самой сатиръ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любовапіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главъ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ «Онътинъ» миогое устаръло теперь. Но безъ этого, можетъбыть. и не вышло бы изъ «Опъгина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредъленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ общества такъ быстро развивающейся ...

«Онътинъ» писанъ былъ въ продолжени нъсколькихъ лътъ. и потому самъ поэтъ росъ вмёстё съ нимъ и каждая новая глава поэмы была интереснъе и зрълъе. Но послъднія двъ главы рёзко отдёляются отъ первыхъ шести: онё явно принадлежать уже къ высшей, зрилой эпохи художественнаго развитія поэта. О красоть отдыльных мысть нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онъгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послъднихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; по первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Лепскомъ, постщеніе Татьяною дома Онъгина) какъ-то особенио выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступленія, ділаемыя поэтомь оть разсказа, обращенія его къ самому себъ псполнены необыкновенной граціи задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмъ, онъ умълъ коснуться такъ многаго, наменнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! «Онъгина» можно назвать энциклопедіей русской жизни, и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имкла такое огромное вліяніе и на современную ей и на послъдующую русскую литературу? А ся вліяніе на правы общества? Она была автомъ сознанія для русскаго общества, почти первымъ, по за то какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ быль богатырскимъ размахомъ, и послъ него стояніе на одномъ мъсть сдълалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и приводитъ съ собою новыя потребности, новыя иден, пусть ростеть русское общество и обгоняетъ «Онътина»: какъ бы далеко оно ип ушло, но

всегда будетъ оно любить эту ноэму, всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключеніе нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажутъ то, что бы хотѣлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой, покольныя, По тайной воль провидьнья, Восходять, зрёють и падуть; Другія имъ вослёдь идуть... Такъ наше вътреное племя Растеть, вознуется, кинить И къ гробу прадъдовъ тъснитъ. Придеть, придеть и наше время, II наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытёснять и насъ. Покамъсть упивайтесь ею, Сей дегкой жизнію, друзья! Ея ничтожность разумбю И къ ней привязанъ мало я; Для призраковъ закрылъ я въжды; Но отдаленныя надежды Тревожать сердце иногда: Безъ непримътнаго следа Мив было бъ грустно міръ оставить. Живу, пишу не для похваль; Но я бы, кажется, желаль Печальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мив. какъ върный другъ, Напомнизь хоть единый звукъ. И чье-ипочдь онъ сердие тронеть; И сохраненная судьбой, Быть можеть, въ Летв не потопеть Строфа, слагаемая мной; Быть можеть, - зестная надежда! -Укажеть будущій невъжда На мой прославленный портреть, И молвить: то-то быль поэть! Прими жь мое благодаренье,

Поклопникъ мирныхъ аонидъ, О ты, чья память сохранитъ Мои летучія творенья, Чья благосклопная рука Потреплетъ лавры старика!

Χ.

Борисъ Годуновъ.

Совершенно новая эпоха художнической дъятельности Пушкина началась «Полтавою» и «Борисомъ Годуновымъ». Хотя первая вышла въ 1829 году, а последній въ 1831 году, тъмъ не менъе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что «Борисъ Годуновъ» написанъ былъ гораздо рапьше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ «Московскомъ Въстникъ» 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ н Самозванцемъ, въ «Съверныхъ Црътахъ» на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. «Полтава», со стороны художественности, относптся къ «Борису Годунову», какъ стремленіе относится къ достиженію. Публика приняла «Полтаву» холодиће, нежели прежија поэмы Пушкина; «Борисъ Годуновъ» былъ принятъ совершенио холодно, какъ доказательство совершеннаго паденія талапта, еще педавно столь великаго, такъ много сдълавшаго и еще тамъ много объщавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у «Бориса Годунова» были жаркіе поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь, число этихъ поклонниковъ было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые впноваты? Тъ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что, дъйствительно, ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты, -- и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисъ Годуновъ». Эта пісса была для него истинно Ватерлооскою битвою, въ которой онъ разверпулъ во всей широтъ и глубинъ, свой геній, и, несмотря на то, все таки потерпълъ ръшительное

пораженіе.

るがあります。

Прежде всего скажемъ, что «Борнсъ Годуновъ» Пушкина совстить не драма, а развт эпическая поэма въ разговорной формъ. Дъйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорять, и мастами говорять превосходно; по они не живуть, не дъйствуютъ. Слышите слова, часто исполненныя высокой поэзіп, по не видите на страстей, на борьбы, на дійствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина; по этотъ недостатокъ не вина поэта: его причина-въ русской исторін, изъ которой поэтъ запиствоваль содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра-Великаго тімь и отличается отъ исторія западно-европейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чисто-эпическій, или, скорѣе, квіэтическій характеръ, — тогда какъ въ тёхъ преобладаетъ характеръ чистодраматическій. До Петра-Великаго, въ Россіи развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаковъ развитія личиаго: а можетъ ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Что составляетъ содержание Шекспировскихъ драматическихъ хроникъ?борьба личностей, которыя стремятся къ власти и оспоривають ее другь у друга. Это бывало и у насъ: весь удъльный періодъ есть не что нное, какъ ожесточенная борьба за великокияжескій и за удъльные престолы; въ періодъ Московскаго царства, мы видимъ сряду трехъ претендентовъ такого рода; но все-таки не впдимъ инкакого драматическаго движенія. Въ періодъ удёловъ, одинь князь свергаль другаго и овладёваль его удъломъ; потомъ, побъжденный имъ, снова уступалъ ему его владъніе, потомъ опять захватывалъ его; но въ удълъ, отъ

этого ровно инчего не измѣнялось: перемѣнялись лица, а ходъ и сущность дёль оставались тё же, потому что ни одно новое лицо не приносило съ собою никакой новой иден, никакого новаго принципа. Отсюда объясияется, почему народонаселеніе того или другаго кияжества, того или другаго города, съ одинаковою ревностію билось и за стараго киязя противъ поваго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извъстно, чъмъ бы кончилась для Руси эта усобица, если бы такъ кстати не подосићии Татары. Съ одной стороны, ихъ жестокое и позорное иго гибельно подъйствовало на правственную сторону русскаго племени, а съ другой было для него благодътельно, потому что, чувствомъ общей опасности и общаго страданія, связало разъединенныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизаціп черезъ преобладаніе Московскаго княженія надъ всёми другими. Единство болье внёшнее, нежели внутрениее, но тімъ не менте все оно же спасло Россію! Іоаннъ III, котораго не безъ основанія нѣкоторые историки называють великимь, быль творцомь неподвижной кръпости Московскаго царства, положивъ въ его основу идею восточнаго абсолютизма, столь благодътельнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. И этотъ великій, повидимому, переворотъ совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній. Іоаннъ III обнаружиль въ этомъ дёлё геніяльную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цели, действоваль неослабно, по не боролся, потому что не встратиль инкакого дайствительного и энергического сопротивленія. Дило обошлось безь борьбы, и такимъ образомъ, одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторін совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ, какъ поэтическій элементъ жизни, заключается въ столкновенін и сшибкѣ (коллизін) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются какъ страсть, какъ паоосъ. Идея самодержавнаго единства Московскаго царства, въ лицъ Іоанна III торжествующая надъ умирающею удёльною системою, встрётила, въ своемъ безусловно поб'єдоносномъ шествін, не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ, на все готовыхъ, а развѣ нѣсколько безсильныхъ и жалкихъ жертвъ. Роды удёльныхъ князей, потомковъ Рюрика, скоро выродились въ простую боярщину, которая нередъ престоломъ была покорна наравнъ съ народомъ, но которая стала между престоломъ и народомъ не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздълившая царя съ народомъ. Разрядныя кипги служать неоспоримымь доказательствомь, что въ древней Россіи личность никогда и инчего не значила, но все значилъ родъ, и торжество боярина было торжествомъ цълаго рода боярскаго. Такимъ образомъ, удъльная борьба княжескихъ родовъ переродилась въ дворскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба не представляетъ никакого содержанія для драматическаго поэта, потому что при дворѣ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но ин одинъ изъ торжествующихъ родовъ не вносиль ни въ думу, ни въ администрацію никакой новой идел, пикакого поваго принципа, никакого поваго элемента. Иовый любимець вездё гналъ своихъ прежинхъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажалъ въ тюрьмы, разсылаль но дальнимъ городамъ, то въ позорную неволю, то въ почетную опалу. И такимъ образомъ боролись и мънялись лица, а не идеи. Нодобиая борьба и подобныя сміны могли много значить для боярскихъ родовъ, для дворской интриги и крамолы, но для государства онъ ровно ничего не значили; историческая же драма можетъ брать содержаніе только изъ государственной жизин. Царствование Грознаго, повидимому, больше всего представляеть матеріяловъ для

драмы, какъ зрълнще нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярской крамоль; но это только такъ можетъ казаться и едва ли такъ было на самомъ дѣлѣ, ибо мы не видимъ, чтобъ Грозный чемъ-нибудь думаль заменить гонимый имъ принципъ боярщины. Словомъ, водно ожесточеніе къ боярскимъ родамъ, но истъ, въ то же время, никакого особеннаго вниманія къ народу; тутъ замътно, слъдовательно, личное чувство, а не идея, не принципъ, не убъждение. Стало-быть, и тутъ нътъ ничего для драмы... Но вотъ является Годуновъ, —и чёмъ бы ни достигъ онъ престола — злодъйствомъ ли, какъ въ этомъ увъренъ Карамзинъ, или только смълымъ и гибкимъ умомъ. безъ преступленія, — во всякомъ случат, онъ также не внесъ въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышеніе, равно какъ и его паденіе, ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политическіе замыслы, которые могли бы пзмінить ходъ нашей исторіи; но эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты человька рышительнаго, пылкаго, умнаго, но. что называется, безъ царя въ головъ, а потому онъ и кончились такъ, какъ следовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотълъ изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это же ланіе было плодомъ пе мыслп, а трусости и пизости, — опо и кончилось бёдою для Шуйскаго, и ровно ничёмъ не кончилось для государства... И такъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенности употребленныхъ ими способовъ для достиженія верховной власти, должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно пичего не впесли въ нее, и прошли въ исторіи безъ слѣда, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ западной Европы. Для Англичанъ, напримъръ, было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго—этого слабаго п

ничтожнаго брата Ричарда Львинаго Сердца, овладъвшаго властію въ отсутствіе героя, который гонялся въ Палестинъ за безполезными лаврами. Во Франціи, напримъръ, очень важно было ръшеніе вопроса: кто будетъ управлять Лудовикомъ XIII-мъ — его мать, Катерина Медичи, или кардиналъ Ришльё. Такихъ примъровъ можно было бы найдти множество; по для полсиевія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, если въ «Борисъ Годуновъ» Пушкина почти иътъ никакого драматизма, — это впна не поэта, а псторіп, изъ которой онъ взялъ содержаніе для своей «эпической драмы». Можетъ-быть, отъ этого онъ и ограничился только одною попыт-

кою въ этомъ родъ.

А между тымь, Борись Годуновь, можеть-быть, больше, чёмъ какое-ипордь другое лицо русской исторіп, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической форм'в, — для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ. могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избъжать тъхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ и въ эстетическомъ отношеніи, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, пе увлекаясь пикакимъ авторитетомъ, пикакимъ вліяніемъ. Но Пушкинь рабски во всемь последоваль Карамэнну, — и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышель мелодраматическимъ злодвемъ, котораго мучитъ совйсть и который въ своемъ злодвйствй нашелъ себв кару. Мысль правственная п почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего пельзя изъ нея сдёлать!...

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамзипа, въ то же время можно и даже должно безирпстрастными глазами видъть мъру, объемъ и границы его заслугъ.

Человъкъ многостороние-даровитый, Карамзинъ писалъ стихи, повъсти, былъ преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, можно сказать, создалъ и образовалъ русскую публику, и, следовательно, упрочиль возможность существованія и развитія русской литературы; наконецъ, далъ Россін ея исторію, которая далеко оставила за собою вст прежиія попытки въ этомъ родь, и безъ которой, можетъ-быть еще и теперь знаніе русской исторін было бы возможно только для записныхъ тружениковъ науки, но не для публики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но не геніяльности, и потому все сделанное имъ весьма важно, какъ факты исторін русской литературы и образованія русскаго общества. по совершенно лишено безусловнаго достопнства. Важивйшій его трудъ, безъ сомивнія, есть «Исторія Государства Россійскаго», которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всъ другія его сочиненія пользуются только почетною памятью, какъ произведенія, имѣвшія большую цѣну въ свое время. И дъйствительно, до тъхъ поръ, пока русская исторія не будетъ изложена совершенно съ другой точки зрвнія и съ темь уменьемь, которое дается только талантомь, - до техь поръ исторія Карамзина по неволь будеть единственною въ своемъ родъ. Но уже и теперь ел педостатки видны для всъхъ, можетъ-быть, еще больше, пежели ея достоинства. Въ недостаткахъ фактическихъ нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіи едва начиналась, и Карамзинъ должень быль, инша исторію, еще заниматься историческою разработкою матеріяловъ. Гораздо важите недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотрѣть на вещи. Сначала, его исторія — поэма въ родь тыхь, которыя писались высокопарною прозою и были въ большомъ ходу въ концѣ прошлаго въка. Потомъ, мало-по-малу, входя въ духъ жизни

древней Руси, онъ можетъ-быть незамътно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоаниа III, Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства, — вмъсто исторін до-Петровской Россіп, онъ пишетъ ся панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мелодраматическій взглядь на характеры историческихь лиць. У Карамзина ни въ чемъ нътъ середины: у него нътъ людей, а есть только или герои добродътели, или злодъи. Этотъ мелодраматизмъ простпрается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свътлымъ ангеломъ, а потомъ чернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляютъ, какъ машиною, Сильвестръ и Адашевъ, онъ — сама добродътель, сама мудрость; но умираетъ царица Анастасія, — и Грозный вдругъ является бичомъ своего народа, безумнымъ злодвемъ. Псторикъ пересказываетъ всё ужасы, сдёланные Грознымъ, и взводитъ на него такіе, которыхъ онъ и не дёлалъ, заставляя его убивать два раза, въ разныя эпохи, одинхъ и тъхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорятъ ему передъ смертію эффектныя рвчи, какъ будто бы переведенныя изъ Тита Ливія. Такого же мелодраматическаго злодёя едёлаль Карамзинъ и изъ Борпса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредитъ историку, онъ объ убіеніи царевича Димитрія говоритъ утвердительно, какъ о дъль Годунова, какъ будто бы въ этомъ уже певозможно никакое сомнъніе. Юноша Годуновъ, прекрасный лицомъ, свътлый умомъ, блестящій красноръчемъ, зять налача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умёль остаться чистымъ отъ разврата, злодёйства п крови. Черта характера пеобыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродътели: по крайней мъръ, последующая жизнь Годунова не подтверждаетъ этого. Будучи

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

царемъ, онъ недолго сдерживалъ порывы своей подозрительности, и скоро сдълался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью, — въ этомъ видно больше ловкости, умѣнья и разсчета, нежели добродѣтели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ, и потому не могъ не гнушаться злодъйствомъ, свершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ, мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновъ быль лицемфрный злодъй; итть, мы хотимъ только сказать, что можно, въ одно и то же время, не быть ни злоджемъ, ни героемъ добродътели, и не любить злодъйства въ одно и то же время по чувству и по разсчету... Карамзинскій Годуновъ — лицо совершенно двойственное, подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, и злодъй и добродътельный человъкъ, и ангелъ и демонъ. Опъ убиваетъ закопнаго наслъдипка престола, сына своего перваго благодътеля и брата своего втораго благодътеля, мудро правитъ государствомъ и, принимая корону, клянется, что въ его царствт не будетъ инщихъ и убогихъ, и что послёднею рубашкою будеть онъ дёлиться съ народомъ. И честно держитъ онъ свое объщаніе; онъ дълаетъ для народа все, что только было въ его средствахъ и сплахъ сдълать. А между тъмъ, народъ хочетъ любить его — и не можетъ любить! Онъ приписываетъ ему убіеніе царевича; онъ видить въ немъ умышленнаго виновника всёхъ бёдствій, обрушившихся надъ Россіею; взводить на него обвиненія самыя нелъпыя и безсмысленныя, какъ, напримъръ, смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видитъ и знаетъ.

Пушкинъ безподобно передалъ жалобы Карамзинскаго Годунова на народъ:

> Мив счастья ніть. Я думаль свой народь Въ довольствін, во славі усисконть, Щедротами любовь его спискать;

По отложнять пустое попеченье: Живая власть для черни непавистна, Они любить умёють только мертвыхъ. Везумны мы, когда народный плескъ, Иль ярый вопль тревожить сердце наше. Богь насылаль на землю нашу гладъ; Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая; И отворилъ имъ житницы; я злато Разсыпаль имъ; я имъ сыскалъ работы: Они жь меня, бъснуясь, проклинали! Пожарный огнь ихъ домы истребилъ; И выстроилъ имъ новыя жилнща: Они жь меня пожаромъ упрекали! Воть черни судъ: ищи жь ея любви!

Это говоритъ царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цълаго сословія, которое тоже, кажется, не безъ основанія, жалуется на своего царя:

. . . . Онъ править нами, Какъ царь Иванъ (не къ почи будь помянутъ). Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нѣтъ, Что на полу кровавомъ всенародно Мы не поемъ каноновъ Іпсусу. Что насъ не жгутъ на площади, а царь Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей? Увърены ль мы въ бъдной жизни нашей! Насъ каждый день опала ожидаетъ, Тюрьма, Спбирь, клобукъ, иль кандалы, А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

Воть—Юрьевь день задумаль уничтожить. Не властны мы въ помъстіяхь своихъ, Не смъй согнать лънпвца! Радъ не радъ, Корми его. Не смъй переманить Работника! Не то—въ Приказъ-холопій. Ну, слыхано ль хоть при царъ Иванъ Такое зло? А легче ли пароду? Спроси его. Попробуй сачозванецъ

いる。

Ниъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потёха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противорѣчія въ характерѣ и дѣйствіяхъ Годунова? Чѣмъ объясияетъ его нашъ псторикъ и, вслѣдъ за иимъ, нашъ поэтъ? Мученіями виновной совѣсти!... Вотъ, что заставляетъ говорить Годунова поэтъ, рабски вѣрный историку:

Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ Среди мірскихъ печалей успоконть; Ничто, ничто... едина развъ совъсть. Такъ, здравая, она восторжествуетъ Надъ злобою, надъ темной клеветою; Но если въ ней единое пятно, Единое случайно завелося, Тогда бъда: какъ язвой моровой Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ, Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ, И все тошнитъ, и голова кружится. И мальчики кровавые въ глазахъ... И радъ бъжать, да некуда... ужасно! Да, жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечеста.

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій и ограниченный взглядъ на натуру человька! Какая объдная мысль—заставить злодья читать самому себь мораль, вмысто того, чтобъ заставить его всыми мырами оправдывать свое злодыйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ, историкъ сыграль съ поэтомъ плохую шутку... И вольно же было поэту дылаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ раздыляетъ другъ отъ друга цылій выкъ!... Оттого-то, въ философскомъ отношеніи, этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собою добродушный павосъ Сумароковскаго «Димитрія Самозванца»...

Прежде всего замѣтимъ, что Карамзинъ сдѣлалъ великую ошибку, позволивъ себѣ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіеніи царевица увидѣлъ неопро-

вержимо и несомивино доказанное участіе Бориса... Изъ нашихъ словъ, вирочемъ, отнюдь не слъдуетъ, чтобъ мы прямо и рёшительно оправдывали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленіп. Натъ, мы въ криминально-историческомъ процесст Годунова видимъ совершенную недостаточность доказательствъ за и противъ Годунова. Судъ исторіи долженъ быть остороженъ и безпристрастенъ, какъ судъ присяжныхъ по уголовнымъ дъламъ. Гръшно и стыдно утвердить недоказанное преступление за такимъ замъчательнымъ человъкомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Димитрія — дѣло темное и неразръшимое для потомства. Не утверждаемъ за достовърное, но думаемъ, что съ большею основательностію можно считать Годунова невиннымъ въ преступленін, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говорить въ пользу этого мивнія, что Годуновъ — человъкъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломатъ тонкій, — едва ли бы совершилъ свое преступленіе такъ неловко, нельпо, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохъ, въ родъ Димитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотіль пользоваться настоящимъ, не думая о будущемъ. Годуновъ имѣлъ всѣ средства совершить свое преступление тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозрѣцій. Онъ могъ восинтать царевича такъ, чтобъ сдълать его неспособнымъ къ правленію и довести до монашеской рясы; могъ даже искусно оспоривать законность его права на наслъдство, такъ какъ царсвичъ былъ плодомъ седьмаго брака Іоанна Грознаго. Самое въроятное предположение объ этомъ темномъ событін нашей исторін должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и не открывая ему своего умысла, думали

этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминаетъ намъ сцену изъ «Антонія и Клеонатры» Шексппра, на налубъ Помпеева корабля, гдъ Менасъ, сторонникъ Помпея, вызывается сдълать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладіть тремя пирующими у него соперинками: Цезаремъ. Антоніемъ и Лепидомъ (Дъйств. И. Сц. 7). И если услужники Годунова были догадливње и умиње Менаса, то нельзя не видъть, что они оказали Годунову очень дурную услугу не въ одномъ правственномъ отношенін. Если жь Годуновъ внутренно, втайнъ, доволенъ былъ ихъ услугою, - нельзя не согласиться, что на этотъ разъ онъ былъ очень близорукъ и недальновиденъ. Радоваться этому преступленію, значило для него — радоваться тому, что у его враговъ было наконецъ страшное противъ него оружіе, которымъ они при случай хорошо могли воспользоваться. Нътъ, еще разъ: скоръе можно предположить (какъ ни странио подобное предположение), что царевичь погибъ отъ руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступленіе, какъ только для него одного выгодное, могли разсчитывать на втрную его ногибель. Какъ бы то ни было, втрно одно: ни историкъ Государства Россійскаго, ни рабеки слъдовавшій ему авторъ «Бориса Годунова», пе имели ин малейшаго права считать преступление Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомивнію.

Но—скажутъ намъ—убъждение Караманна оправдывается единодушнымъ голосомъ современниковъ Годунова, убъждениемъ всего народа въ его время; а въдъ — гласъ Божій гласъ народа! Такъ; но здъсь главный фактъ есть не убъждение тогдашняго народа въ преступлении Годунова, а готовность, расположение народа къ этому убъждению. — расположение, причина котораго заключалась въ нелюбви, даже въ ненависты народа къ Годунову. За что же эта ненависть къ человъку,

который такъ любилъ народъ, столько сдѣлалъ для него, и котораго самъ народъ сначала такъ любилъ повидимому? — Въ томъ-то и дѣло, что тутъ съ объихъ сторонъ была лишь «любовь новидимому», — и въ этомъ заключается трагическая сторона личности Голунова и судьбы его. Еслибы Пушкинъ видѣлъ эту сторону, — тогда, вмѣсто характера въ половину мелодраматическаго, у него вышелъ бы характеръ простой, естественный, понятный и вмѣстѣ съ тѣмъ трагически-высо-кій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы въ строгомъ значени этого слова; но за то была бы превосходная драматическая поэма, или эпическая трагедія.

И такъ, разгадать историческое значеніе и историческую судьбу Годунова, значитъ объяснить причину: почему Годуновъ, новидимому, столь любившій народъ и столь много для него сдълавшій, не былъ любимъ народомъ? Попытаемся объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову, кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взглядъ чисто-мелодраматическій, и въ историческомъ и въ поэтическомъ отношеніи, особенио въ примъненіи къ такому необыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмѣ Пушкина, самъ Годуновъ объясияетъ причицу народной къ себѣ ненависта такъ:

> Живая власть для черии ненавистна. Они любить умёють только мертвыхь. Безумны мы, когда народный плескъ, Иль ярый вопль тревожить сердце напие.

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

Это оправданіе — не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая ръчь великаго человъка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніп, раздосадованнаго

неудачею. Итть, народъ шикогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь, пли его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всёхъ страстей человёческихъ, послъ самолюбія, самая сильная, самая свирвная — властолюбіе. Можно навврное сказать, что ни одна страсть не стояла человъчеству столько страданій п крови, какъ властолюбіе. Во времена просвѣщенныя и у народовъ цивилизованныхъ, властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно ръшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человъкъ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія, у пародовъ необразованныхъ, властолюбіе имѣетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самохраненія: гдь, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что, тамъ всякому вдвойнъ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но всёхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всёхъ, или многихъ не возможно быть первымъ. — то право нерваго естественнымъ ходомъ исторіп везді утвердилось потомственно въ одномъ родъ, на основаніи права въ прошедшемъ, или преданія. Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всёхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цьлый народъ притязаніями на верховиое первенство. Передъ правомъ избраннаго провидъніемъ рода, умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всеми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему передъ всъми пмп. Но когда царствующій родь прекращается, посль наслыдственнаго владычества въ продолженін етсколькихъ втковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человъкъ, вчера бывшій равнымъ со встян передъ верховною властію, а сегодня долженствующій начать собою новую династію, — тогда, естественно, разнуздывается у всъхъ страсть властолюбія. Каждый думаетъ: если опо могъ быть избранъ, почему же я не могъ? Чъмъ опо лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ сплою и хитростію заставляетъ молчать всъхъ и все; страсти умолкаютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого ивть, въ отношении пріобрѣтенія върховной власти, освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія—тому, чтобъ заставить въ себѣ видѣть не нохитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право генія. Только на условін этого права толца согласится безусловно признать владычество человѣка, который, въ гражданскомъ отношеніи, еще вчера стоялъ наравить съ нею. Было ли за Годуновымъ это право? — Нѣтъ! — П вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и его исторической судьбы: онъ хотѣлъ играть роль генія, не будучи геніемъ, — и за то налъ трагически и увлекъ за собою паденіе своего рода...

Такой человькъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояніе трагедіи. И что бы могъ сдълать Пушкинъ изъ своей поэмы, еслибъ взглянуль на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дъятельности ин проявился геній, онъ всегда есть олинетвореніе творческой силы духа, въстинкъ обновленія жизин. Его назначеніе — ввести въ жизиь новые элементы и, чрезъ это, двинуть ее впередъ, на высшую ступень. Явленіе генія — эпоха въ жизин народа. Генія уже нѣтъ, а народъ долго еще живетъ въ формахъ жизин, имъ созданной, долго — до новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоаниъ Калитъ и утвержденное геніемъ Іоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не геній въ исторіи, чье твореніе умираєтъ вмѣстѣ съ нимъ: геній по пути исторіи пролагаєтъ глубокіе слъды своего существованія, долго послѣ своей смерти.

THE STATE OF THE S

Борисъ Годуновъ былъ человъкъ необыкновенно умный и способный. Царедворець жестокаго царя, онъ умълъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умѣнье объясияется отчасти ловко разсчитанною женитьбою на дочери налача, Малюты Скуратова. Въ этой чертъ выказывается ловкій царедворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человъкъ съумълъ бы разсчесть выгоды такого брака въ царствованіе Грознаго; но геній, можетъ-быть, и не ръшился бы на такой разсчетъ, тая въ себъ огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было непавистно тому народу, владыкою котораго въ последствій сделался Годуновъ. Повторяемъ: разсчеть тонкій, хитрый, но не гепіяльный; въ немъ видънъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... Годуновъ дълается зятемъ наслъдинка, а по смерти Грозпаго — членомъ верховпой думы, — и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, завъщалъ блюсти царство. Никакія въдьмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; по его головъ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастіе опъ могъ принять за лучшее изъ всёхъ предсказаній! Онъ уничтожиль верховную думу и оффиціяльно былъ названъ правителемъ государства: только для вида подаваль голось въ царской думь, по рыналь всъ дъла самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свитъ цъловать свою руку... На троиъ сидълъ царь по имени, молчальникъ и молельщикъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, «избывая мірскія суеты и докукп»... Чего не доставало Годунову? — только престола... И онъ достигъ его.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обпаружилъ много ума и много способности; но писколько геніп. Въ томъ и дру-

гомъ случат, это былъ не больше, какъ умный и способный министръ, — по не Сюлли, не Кольберъ, которые умфли открыть новые источники государственной силы тамъ, гдъ инкто пе подозрѣвалъ ихъ: пѣтъ, это былъ министръ, который съ успъхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колеъ, на основаніп сохраненія statu quo. Насильственная смерть царевича, — кто бы ни былъ ея причиною, — уже бросила на него тань подозранія въ глазахъ народа, и это подозраніе всами силами возбуждали и поддерживали враги его — бояре, которые, естественно, никакъ не могли простить ему присвоенія того, на что каждый изъ нихъ считалъ себя точно въ такомъ же, какъ и онъ, правъ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, когорымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстроить всъ его планы и погубить его. Но когда опъ сдълался царемъ, тогда онъ непременно долженъ былъ явиться реформаторомъзиждителемъ, чтобъ заставить и народъ, и враговъ своихъ бояръ, забыть, что еще недавио быль онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ. Но что же онъ едълалъ для Россіи, сдълавшись ен царемъ? — и какимъ царемъ — самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божія? Чего бы нельзя было сдёлать съ такою властью, подкрёпляемою гепіемъ! Но п сдълавшись царемъ, Годуновъ остался тъмъ же умнымъ п ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Оеодоръ. Надъ окружающими его боярами онъ пиклъ личныхъ преимуществъ пе больше, какъ на столько, чтобъ оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и носредственность, но не на столько, чтобъ покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, «морщившись передъ короною, какъ пьяница предъ чаркою вина»; онъ заставилъ

себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживаль какой-то ужась къ мысли о верховной власти, и долго заставлялъ себя умолять. Но эта комедія даже черезчуръ тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо пдетъ къ своей цълп, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямою дорогою, а образъ «маленькаго великаго человѣка», смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рішено, и вінчаніе осталось уже только обрядомь, который неонасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запіль «Те Deum»: въ этой поспішности видінь великій человъкъ, достигшій своей цъли и принимающій власть не какъ инщій конейку, съ низкими поклопами, но съ увърепностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ объщаніяхъ: буду-де таковъто и таковъ, едилаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дълать, никому не угождая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать тёхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всъ трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вънчаніи на царство, онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свою рубашку, говоря, что всегда будетъ готовъ раздълить ее съ последнимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требоваль отъ него этихъ объщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмърная радость о достиженій давно желанной цёли, если не благодарность, рожденная этою радостью — благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титло не по достопиству, за высшую власть не по заслугъ?... Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человѣкъ: онъ беретъ ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дълая объщаній, не давая клятвъ въ H. VIII.

40

порывъ дурно скрытаго восторга. Вскоръ послъ Годунова, въ русской исторіп снова повторилось зрадище объщавій и клятвъ: инчтожный Шуйскій, въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренно недостойнымъ, предлагалъ боярщинъ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотъла... Но вотъ Годуновъ — царь. Ласкамъ народу нътъ конца, милости на всёхъ льются рёкою... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, внимание на массу народа, на его низший и, слъдовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нъжная, родственная заботливость, въ которой былъ видънъ больше отецъ, нежели царь... Народъ долженъ быль боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всъхъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случать, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Опъ могъ спокойно презпрать ее: на стражв его стояла лучшая и надеживішая изъ всёхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій. — любовь народная... и въ самомъ дълъ, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, иравосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова — и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головъ только, а не въ сердцъ: умъ и воображение народа удпвлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой падуманной, такъ сказать головной любви; Борисъ удвояеть свои благодъннія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Борпса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тънь убитаго царевича начала его преслъдовать: Борисъ дълаетъ счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хапа, пропикшаго до стънъ самой Москвы, а пародъ говоритъ, что самъ Борисъ призвалъ хапа, чтобъ

отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевою цъною прославиться избавителемь отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою; а когда маленькая царевиа умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобъ Өедоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ; а народъ обвинилъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ опъ выдумать — это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вънчание на царство ослънило народъ: и Борисъ и самъ народъ приняли удивление за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имъя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собою Грознаго. У него всть свой Малюта Скуратовъ: это презрънный, подлый рабъ его — Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучитъ и казнитъ тайно, и все по новоду слуховъ, все по подозрънію въ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умыслахъ. Бъльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку. онъ ссылаетъ снова, выщинавъ ему всю бороду по одному волоску: какое татарское наказаніе!... Тюрьмы были пабиты биткомъ; шийонство сдълалось не только выгоднымъ, но п почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большею частію все умпрали скропостижно: этотъ человікь не уміль быть даже тпраномъ открыто, какъ Грозный, и тпранствоваль во мракъ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россін; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабятъ и ръжутъ безнаказанно; Борисъ строго наказываетъ скупщиковъ хлеба, сыплеть на народъ деньгами, даеть пріють голоднымъ и нащимъ, посылаетъ отряды протявъ разбойниковъ; строитъ башню Ивана Великаго, чтобъ дать народу работу; словомъ, онъ честно, върно выполняетъ свою клятвудълитъ съ народомъ послъдиюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!... Пропосятся слухи о Самозванцъ; наконецъ Самозванецъ уже поддерживается Польшею, идетъ въ Россію, къ нему передаются Русскіе толпами; а Годуновъ пичего пе дълаетъ, пичего пе предпринимаетъ, онъ только собираетъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуетъ отъ Шуйскаго клятвы, что царевичъ точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца — и налъ подъ его ударами. Подозръваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можеть быть; но такъ же можеть быть, что онъ умерь скоропостижно отъ страшнаго напряженія силь, вследствіе внутреннихъ волиеній. Въ обоихъ случаяхъ, онъ умеръ малодушно. Первое извъстіе о Самозванцъ Годуновъ принялъ даже очень холодно: это можетъ служить доказательствомъ не одному тому, что онъ быль увъренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невинепъ въ ней; въ то же время это служитъ доказательствомъ, какъ мало быль онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положение. Онъ бы долженъ былъ знать, что тъпе паревича самый ужасный врагь его во всякомы случав, быль онь убійцею царевича или нёть: въ первомъ случай, эта тынь была его неизбижною карою за преступленье; во второмъ, она была превосходнымъ предлогомъ для народной пенависти. Бояре могли знать невинность Годунова; но если пародъ не любилъ его — этого было уже слишкомъ достаточно, чтобъ для народа преступление его было ясиве дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличъ съ матерью, — на него никто не обращалъ вииманія: въдь онъ былъ плодомъ седьмаго брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія, ни уваженія; Грозный хотьль ее отослать оть себя и жениться въ восьмой разъ, но смерть помішала ему выполнить это наміреніе. Когда же царевичь быль убить, и народная ненависть запылала, — младенець, святой мученикь, сділался предметомь народнаго благоговінія...

На всёхъ дёйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Вст дъла его неудачны, не благодатны, потому что всё они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а разсчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодинческое, и потому народъ не обманулся ею и отвътилъ на нее непавистью. Удивительное существо — народъ! Почти всегда невъжественный, грубый, ограниченный, слецой, — онъ непограшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту не болве, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его, — тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него, — онъ будетъ имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любитъ его не по разечету, а по внутрепней инстинктуальной потребности любить, тотъ можетъ идти вопреки всемъ его желаніямъ, — и за это народъ будетъ его осуждать, будетъ на него роптать, и въ то же времи будетъ любить его. Какъ Годуновъ служитъ живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу, пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ, исторіи, обычаямъ, привычкамъ народа, — и не только умитније изъ людей его времени имтли полное право смотртть на его реформу какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію; но, вѣроятно, и у него самого бывали горькія минуты сомивнія и разочарованія, когда и самъ онъ думалъ то же. Реформа его встрътила сильную оппозицію — не со стороны только мятежныхъ стрыльцовъ и невъжественныхъ раскольниковъ: эта опнозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дъйствовать самовласт. но — правомъ наследства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей лъни и невъжества стащиль онь на трудь живой и дъятельный. Народь, повинуясь ему безусловно, осуждаль его дъйствія п роцталь на него, но вмъсть съ тъмъ и любилъ его до готовности отдать за него послъдиюю каплю своей крови... Между тъмъ, Петръ никогда не дълаль ему объщаній, не даваль клятвь, но шель гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но за то, все объщанное народу Годуновымъ, онъ исполнялъ на дълъ, и еще гораздо лучше, потому что дъйствоваль въ этомъ случав не по разсчету, а по влеченію сердца... Таковъ геній: затъявъ дъло, которое, по всемъ разсчетамъ человеческой мудрости, не могло не казаться безуміемъ, онъ доводить его до конца, торжествуя надъ всёми препятствіями... Въ чемъ состоптъ тайна этого усикха? — въ творческой силь, присущей организму генія, какъ пистинкть, — больше ни въ чемъ! Геній часто дъйствуетъ инстинктивно, безумно, и всегда уситваетъ, между тымь, какъ таланть разсчитываеть вырио, соображаеть тонко, дъйствуетъ мудро, — вст это видятъ и вст одобряютъ его цёль и средства, никто не сомийвается въ усийхи, — а между тымъ, глядь — вся эта мудрость сама собою обратилась въ безуміе, и великольние зданіе, воздвигавшееся съ такимъ трудомъ, очутплось карточнымъ домикомъ: дунулъ вътеръ и нътъ его... Вотъ талантъ, который берется за роль генія!..

Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ; напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлою головою стоялъ выше всего своего народа. Борисъ былъ даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ, рѣшился онъ выдать дочь за пно-

страпнаго и вновѣрпаго принца; говорятъ хотѣлъ и сына жепить на иностранной принцесст; это вовлекло бы Россію въ болъе живыя и плодотворныя отношенія съ Европою, нежели въ какихъ она была съ нею до того времени, и потому имело бы огромное вліяніе на ея будушую судьбу. Борисъ уважалъ просвъщение, тщательно, сколько было въ его средствахъ, воспитываль дітей своихъ, особенно сына; хотіль основать въ Москвъ университетъ, и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ поняль необходимость опереться преимуществение на любовь парода, показываетъ, какъ уменъ былъ этотъ песчастный любимецъ счастія. Но вск предпріятія его не состоялись, именно потому (а не по чему-нибудь другому), что у него быль только умъ и даровитость, но не было геніяльности. — тогда какъ судьба поставила его въ такое положение, что геніяльность была ему необходима. Будь онъ законцый, наслёдный царь, — онъ быль бы однимъ изъ замъчательивишихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомь, и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не изміняя его. — а для этого, и безъ геніяльности, достало бы у него ума и способности, — и онъ много сдълалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (parvenu), и потому долженъ былъ быть геніемъ, или пасть — и палъ... Ведя Русь по старой колећ, онъ самъ не могъ не споткнуться на этой колет, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видъла его бояриномъ прежде, чёнь увидёла царемь своимь. Чтобь утвердиться самому на престоль и упрочить его за своимъ потомствомъ, — ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого, у него не было никакой идеи, пикакого принципа. Онъ былъ только умите своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь: доказательство — его тираннія и борода Бъльскаго... А между тъмъ,

онъ чувствовалъ, что, по его положенію, ему необходимо быть преобразователемъ; но вмёстё съ тёмъ, какъ человёкъ но геніяльный, думаль, что для этого достаточно только прибавить кое-что поваго. И вотъ опъ учреждаетъ въ Москвъ патріаршій престоль, и сажаеть на него не лучшаго, а преданивішаго изъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его въ последствин. Это нововведеніе было совершенно въ духѣ того времени: новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видълъ за нимъ... Другое нововведение было еще болье въ современномъ ему духъ, и потому самому было вредно для Россін того въка и для новой Россін, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законъ Годунова, который увъковъченъ русскою пословицею: «Вотъ тебъ, бабушка, Юрьевъ день!» Этимъ пововведеніемъ Годуновъ раздражиль объ стороны, которыхъ оно касалось — и помѣщиковъ и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ теперь выгнать пзъ своего помъстья лъниваго или развратнаго холопа, и обязаны кормить его за то, что онъ инчего не дълзетъ, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые, — говоря языкомъ римскаго права, изъ personae сдълались res. Значитъ, до Годунова, у насъ не было кръпостнаго сословія, и въ этомъ отношеніп, не мы у Европы, а Европа у пасъ могла бы съ большою для себя пользою позапиствоваться. Витето крипостнаго права, у насъ было только помъстное право — право владъть землею и обработывать ее руками пролетарісвъ, на свободныхъ съ ними условіяхъ, обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ, былъ такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился падолго—до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово «рабъ» и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чемъ пережиль себя Годуновъ въ потомстве...

У великаго челов'йка и сердце великое. Идя своею дорогою и опираясь на свою силу, онъ пичего не боится; онъ разитъ

своихъ враговъ, по не мститъ пмъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дёла, а не удовлетвореніе обижениаго самолюбія. Петръ-Великій умёлъ карать враговъ своего дъла, и умълъ прощать личныхъ враговъ, если видълъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дъломъ личнаго мщенія, и опъ караль открыто, среди бълаго дня; но не отравляль во мракъ; принявъ публично допосъ, публично изследывалъ дело и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливынъ. Когда бунтъ стрѣлецкій заставилъ его всротиться изъ путешествія, — кровь стрільцовъ лилась рѣкою, въ глазахъ грознаго царя, и опъ не боялся показаться тираномъ, потому что не былъ имъ. Не такъ дъйствовалъ Годуновъ. Сперва опъ кръпплея, надъясь ласкою и милостію обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себъ толки; но видя, что это не дъйствуетъ, — не вытерпълъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, допосовъ, пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозръпіями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ, п наконецъ не сдълаться тираномъ. Словомъ, онъ быль только замъчательный, а не великій человъкъ, умный п талантливый администраторъ, но не геній.

И такъ, върно понять Годунова псторически и поэтически, — значитъ понять необходимость его паденія равно въ обонхъ случаяхъ — виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или цевиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніяльнымъ человъкомъ, тогда какъ его положеніе пепремѣнно требовало отъ него геніяльности. Это просто и ясно.

Отчего же не поняль этого Пушкинь? Пли не достало у него художнической проницательности, поэтического такта?—Нъть, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина

и безусловно покорился ему. Вообще, надобно замътить, что чъмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизии, тъмъ больше пногда и заблуждался въ этомъ отношенін. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человікъ, и потому не всегда върно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобъ что-нибудь вёрно оцёнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдёлить отъ себя и хладнокровно посмотръть на него, какъ на что-то чуждое себъ, виъ себя находящееся. — а Пушкинъ не всегда могъ дёлать это, потому именно. что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напр., онъ въ душт былъ больше помъщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря, въ своихъ запискахъ, о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждаетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ соборнымъ дъяніемъ объ уничтоженія мъстипчества. Первыми своими произведеніями, онъ прослыль на Руси за русскаго Байрона, за человъка отрицанія. Но ипчего этого не бывало: невозможно предположить болье анти-байронической; болъе консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тахъ его «стишкахъ», которые молодёжь того времени такъ любила читать въ рукониси, — нельзя не улыбнуться ихъ дътской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силь избытокъ!

Пушкинъ былъ человъкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его «стишковъ» скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ, что ему надо быть только художникомъ, и больше ничтиъ, нбо такова его натура, а, слъдовательно, таково и призваніе его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, совътуя ему лучше докончить «Плью Богатыря», пежели приниматься за исторію Россіи, а кончилъ тъмъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ подъ вліяніемъ этого историка и посвятилъ «драгоцънной для Россіянъ намяти Николая

Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то оффиціальное и канцелярское въ самомъ складъ и языкъ этого посвящения, написапнаго по Ломоносовской конструкцін, съ завітнымъ «сей». Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ: Пушкинъ всегда унотребляль ихъ, по любви къ преданію, хотя къ его сжатому, опредъленному, выразительному и поэтическому языку они такъ же плохо шли, какъ грязныя пятна пдутъ къ модному илатью свътскаго человъка, собравшагося на балъ. Но когда «Библіотека для Чтенія» воздвигла гоненіе на эти «старопечатныя» слова, Пушкинъ еще болье, еще чаще началь употреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкъ не было духа противоръчія, ин на чемъ неоснованнаго; напротивъ, тутъ дъйствовалъ духъ принципа — слънаго уваженія къ преданію. Если уваженіе къ преданію такъ сильно выразплось въ отношеніп къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнъе должно было проявляться въ Пушкпит въ отношеніп къ живымъ и мертвымъ авторитетамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ какъ и возвеличить поэтическій талантъ Баратынскаго, и видълъ большаго поэта даже въ Дельвигѣ; г. Катенинъ, по его миѣнію, воскресиль величавый геній Корнеля — бездалица!... Изъ старыхъ авторитетовъ. Пушкинъ не любилъ только одного Сумакорова, котораго очень неосновательно ставиль ниже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько-нибудь рёзкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на извъстный авторитетъ огорчала его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь п славу родной литературы. Но въ особенности, не знало мъры его уваженіе и, можно сказать, его благоговеніе къ Карамзину, чему причиною отчасти было и то, что Пушкинъ былъ окруженъ людьми Карамзинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духъ. Если онъ мощно и побъдоносно выходилъ изъ духа этой эпохи, то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій человъкъ, и не мысль делала его великимъ, а ноэтическій инстинктъ. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ пе могъ находить особенной поэзін въ его стихотвореніяхъ п повъстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ направленіемъ; по Карамзинъ не одиого Пушкина, — нъсколько покольній увлекъ окончательно своею «Петоріею Государства Россійскаго», которая имела на нихъ спльное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думають, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Нушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того пропикнулся имъ, что сдёлался рёшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина и оправлываль ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрълъ на Годунова глазами Карамзина, и не столько заботился объ истинъ и ноэзіи, сколько о томъ, чтобъ не ногръшить противъ «Исторіи Государства Россійскаго»? И потому, его поэтическій инстинктъ видѣнъ не въ цълости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедіи. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодъя, мучимаго совъстію, лишилось своей цълости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдълалось мозаическою картиною, или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не изъ одного цъльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого, Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человъкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодъемъ, и нѣтъ другаго ключа къ этимъ

противоръчіямъ, кромъ упрековъ виновной совъсти... Отъ этого за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы цълость и полноту всей трагедіи, «Борисъ Годуновъ» Пушкина является чъмъ-то неопредъленнымъ и не производитъ почти никакого ръзкаго, сосредоточеннаго впечатлънія, какого вправъ ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дъйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими педостатками, — то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достопиствами. Первые выходять изъ ложности идеп, положенной въ основание драмы; вто рыя — изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ-будто не умълъ, еслибъ и хотълъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всёхъ, скольконибудь знакомыхъ съ русскою литературою: до Пушкинскаго «Бориса Годунова», изъ русскихъ читателей, или русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имѣлъ ли кто-нибудь какое-нибудь поиятіе о языкт, которымъ долженъ говорить въ драмъ русскій человъкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послъ «Бориса Годунова» явилась ли на русскомъ языкт хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, почимали и говорили порусски? И читая всёхъ этихъ «Ляпуновыхъ», Скоппныхъ-Шуйскихъ», «Баторіевъ», «Іоанновъ - Третьихъ», «Самозванцевъ», «Царей-Шуйскихъ», «Еленъ Глинскихъ», «Пожарскихъ», которые, съ тридцатыхъ годовъ изстоящаго стольтія наводинли рускую литературу и русскую сцену, — что видите вы въ почтеиныхь ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времеин? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до Пушкинскаго «Бориса Годунова»: чего же можно и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всъхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послъ «Бориса Годунова»? И не можно ли подумать скорте, что это нтмецкія піесы, только переложенныя на русскіе правы? — Словно гегантъ между пигмеями, до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій Пушкинскій «Борисъ Годуновъ», въ гордомъ и суровомъ уединеніп, въ недоступномъ величін строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похваль и удивленія на сцену въ кельт Чудова монастыря, между отцомъ Пименомъ и Григорь. емъ... Въ самомъ дёлё, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналѣ года за четыре, или лѣтъ за пять до появленія всей трагедін, и которая тогда же надълала много шума. — эта сцепа, въ художественномъ отпошеніи, по строгости стиля, по неподдъльной и ненодражаемой простотв, выше всёхъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда пе бывалое, никъмъ непредчувствованпое. Правда, Пименъ ужь слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологь, и потому чемъ болье поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тъмъ болъе гръшитъ авторъ противъ истины и правды действительности: не русскому, по и никакому европейскому отшельнику-лътописцу того времени не могли войдти въ голову подобныя мысли —

Свидътелень Господь меня поставиль
И книжному искусству вразумиль:
Когда нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;
Засвытить онь, какь я, свою лампаду,
И, пыль выковь от хартій отряхнуєь,
Правдивыл сказанья перепишеть.

На старости я сызнова живу; Минувшее проходить предо мною — Давно ль оно неслось, событій полно, Волнуяся, какъ море-окіант? Теперь оно безмольно и спокойно: Немного лицъ мит память сохранила, Немпого словъ доходитъ до меня, А прочее погибло невозвратно.

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-льтописецъ конца XVI и начала XVII въка; слъдовательно, этв прекрасныя слова — ложь... но ложь, которая сто̀итъ истины: такъ исполнена она поэзін, такъ обаятельно дъйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Кориель и Распиъ — и однакожь, просвъщенивния и образованитнива нація въ Европъ до сихъ норъ рукоплещетъ этой поэтической лжи! И пе диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мъста и нравовъ, есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой патуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотръть на свое призваніе, какъ лътописець; но еслибъ, въ его время, такой взглядъ былъ возможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именио такъ, какъ заставиль его высказаться Пушкинь. Сверхь того, мы выписали изъ этой сцены ръшительно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношении къ русской дъйствительности того времени: все остальное такъ глубоко проинкиуто русскимъ духомъ, такъ глубоко върно исторической истипъ, какъ тольке могъ это сдълать лишь геній Пушкина-истинио-національнаго русскаго поэта. Какая, напримітръ, глубоко вітрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да въдають потомки православныхъ Земли родной минувшую судьбу, Своихъ царей велькихъ поминаютъ За ихъ труды, за славу, за добро — А за гръхи, за темныя дъянья Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сценъ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоноложности, характеры Пимена и Григорья; одинъ — идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простотъ ума и сердца, какъ тихій свътъ лампады, озаряющей въ темномъ углу икону византійской живописи; другой — весь безнокойство и тревога. Григорью трижды спится одна и та же греза. Проснувшись, опъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись, — и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ певозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ Пельзя прочесть его сокрытых думъ; Все тотъ же видъ смиренный, величавый. Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣый, Снокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу винчая равнодушно, Не вѣдая ни жалости, ни гиѣва.

За тъмъ, онъ разсказываетъ старцу о «бъсовскомъ мечтаніи», смущавшемъ сонъ его:

Мив спилося, что лветница крутал Меня вела на башию; съ высоты Мив видблась Москва, что муравейникъ; Внизу народъ на площади кинълъ И на меня указывалъ со смѣхомъ; И стыдно мив, и странию становилось, И, падая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ спѣ — весь будущій Самозванецъ... И какъ по-русски обрисовань онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога — факты глубоко вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоноложныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играетъ; Смиряй себя молитвой и постомъ, И сны твои виденій легких будуть Исполнены. Доныне — если я, Невольною дремотой обезсилень, Не сотворю молитвы долгой къ ночи — Мой старый сонь не тихъ и не безгрешень; Мив чудятся то шумные пиры, То ратный стань, то схватки боевыя, Безумныя потёхи юныхъ лёть! Григорій.

Какъ весело провель свою ты младость! Ты воеваль подъ башнями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражаль, Ты видъль дворъ и роскошь Іоанна! Счастливъ! а л отъ отроческихъ лъть Но келіямъ скитаюсь, бъдный инокъ! Зачъмъ и мит не тъпиться въ бояхъ. Не пировать за царскою транезой? Усиъль бы я, какъ ты, на старость лъть Отъ суеты, отъ міра отложиться. Произнести монашества обътъ И въ тихую обитель затвориться.

Следующій за темъ длинный монологъ Пимена о суеть свъта и преимуществъ затворнической жизни — верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничьи, никакая исторія Россіи не дастъ такого яснаго, живаго созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушиое, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Іоаина Грознаго, искавшаго успокоенія «въ подобія монашескихъ трудовъ»; характеристика Өеодора и разсказъ о его смерти, — все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себъ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужь опъ должны писаться, — и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сцень въ русской литературъ, потому что скоро

ли можно дождаться такого талапта, который послѣ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщѣ?... А при этомъ, еще нельзя не подумать, не истощилъ ли Пушкинъ своею трагедіею всего содержанія русской жизни до Петра-Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только — съ другими именами и названіями повторять одиу и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?...

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ-будто состоитъ изъ отдёльныхъ частей, или сценъ, изъ которыхъ каждая существуеть какъ-будто пезависимо отъ цълаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ которой созданъ Шекспиромъ. Кромъ превосходной сцены въ Чудовомъ монастыръ, между старцемъ Пименомъ п Отрепьевымъ, въ трагедіп Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая, въ кремлевскихъ палатахъ, между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически н поэтпчески върно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая, сцена народа и дьяка Щелкалова на площади; третья, въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патріархомъ п боярами. Въ этой сцепъ превосходно обрисовано добросовъстное лицемърство Годунова, -- въ томъ смысль добросовъстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всъхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдъ характеръ последняго все более и более развивается; его слова-

> Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать, —

такъ оригипальны, что должны современемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родъ Шуйскаго. Превосходиа маленькая сцена между патрі-

архомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоцъннъйшихъ перловъ трагедін.

Мы уже говорили, но поводу шестой сцены, о цёлой трагедіп: въ ней Борисъ является злодѣемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ пеудачь и оскорбленій на неблагодарность народа, и послѣ разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совѣсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истично-драматическіе злодѣи никогда не разсуждаютъ сами съ собою о невыгодахъ нечистой совѣсти и о пріятности добродѣтели. Вмѣсто этого, они дѣйствуютъ, чтобъ дойдти до цѣли, или удержаться у ней, если ужь дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмѣ на литовской границѣ превосходиа. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева, увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедін принадлежитъ восьмая—въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Следующая за темъ большая сцена представляетъ собою две части. Въ первой, Борисъ превосходно очерченъ, какъ примърный семьянинъ, итжный отецъ; онъ утешаетъ дочь, овдовевшую невесту, говоритъ съ сыномъ о сладкомъ илоде учения, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно, — и Борисъ является въ этой сценъ во всемъ свътъ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены, Борисъ узиаетъ отъ Шуйскаго о появлении Самозванца. Странное волненіе, обнаруженное Борисомъ при этомъ извъстіи, основано поэтомъ на виновной совъсти Годунова, — и его посифиность къ ръшительнымъ мърамъ противоръчитъ исторической истинъ: извъстио, что Годуновъ

вначалѣ принялъ слишкомъ слабыя мѣры противъ Отрепьева, вѣроятно, не считая его за опаснаго врага. Но если смотрѣть на эту сцену съ точки зрѣнія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борисъ въ страшномъ волненія, а іПуйскій, не теряя присутвія духа отъ мысли, что это волненіе можетъ ему стоять головы, пи на минуту не перестаетъ быть придворною лисою.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезунтомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы — «сыны Славянъ», некстати вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдъ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными Русскими, приходящими къ нему, съ Полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ, — не представляютъ никакихъ особенно ръзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценою въ замкъ Миншка въ Самборъ, слъдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое двло для любви, а Марина — холодною честолюбивою женщипою. Вообще, эта сцена очень хороша; по во пей какъ-будто чего-то не достаеть, или какъ-будто проглядывають какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тымъ не менье производять на читателя не совствы выгодное для сцены впечатленіе. Кажется, не преувеличиль ли поэть любовь Самозванца къ Маринъ, не сдълаль ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценъ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты: въ нихъ не видно будущаго растлителя песчастной дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсуд ство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствъ, совершенно въ его характеръ, пылкомъ, отважномъ дерзкомъ, на все готовомъ, по рѣшптельно песпособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко облуманный иланъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характеръ человъческое чувство любви къ женщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сцепъ.

Сцена на литовской границі между молодымъ Курбскимъ п Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламаціи, выдаваемой за пасосъ, что трудно повірить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патріархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее пначе, она покажется искусственною, и потому ложною. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшіл черты: это рѣчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ псцѣленіи стараго пастуха отъ слѣноты. Вторая черта — ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патріарха.

Сцепа на равнинъ, близь Новгорода Съверскаго, очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрою смъсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской илощади, можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрънія на виновную совъсть Бориса. Въ сценъ подъ Съвскомъ, Самозванецъ обрисованъ очень удачно; особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мнё какъ судять въ вашемъ станѣ?

Планникъ.

А говорять о милости твоей,

Что ты-дескать (будь не во гнѣвъ) и воръ,

А молодецъ.

Самозванецъ, *сяпясь*. Такъ это я на дёлё Имъ докажу.

Въ сцепт въ царскихъ палатахъ, между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то страниомъ свътъ. Годуновъ сбирается упичтожить мъстиичество (!!). Басмановъ этому, разумъется, радъ. Оба опи разсуждають объ управлении народомъ, и Годуновъ окончательно ръшаетъ:

Изть, милости не чувствуеть народь: Твори добро—не скажеть опъ спасибо; Грабь и казии—тебъ не будеть хуже.

Басмановъ за это величаетъ его «высокимъ державнымъ духомъ», желаетъ ему поскоръе управиться съ Отреньевымъ, чтобъ потомъ «сломить рогъ родовому боярству». Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послъдиія наставленія своему наслъднику: что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ? — Изъ нихъ замъчательно только одно:

Не помѣняй теченья дѣлъ. Привычка — Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, видънъ царь умный, способный, и опытный, который былъ бы одинмъ изъ лучшихъ царей русскихъ, еслибъ престолъ достался ему по праву паслъдія, — но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобъ усидъть на захваченномъ троив...

Крикъ мужика на амвонъ лобнаго мъста: «вязать Борисова щенка!» ужасенъ; — это голосъ всего народа, или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремънно хотълъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ злодъя, цареубійцы... Можетъ быть, это было и такъ; по спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болъе тра-

гическое лицо—цареубійца, наказанный за злодѣяніе, или достойный человѣкъ, падшій за недостаткомъ геніяльности? Трагическое лицо непремѣнио должно возбуждать къ себѣ участіе. Самъ Ричардъ ІН—это чудовище злодѣйства, возбуждаетъ къ себѣ участіе исполнискою мощью духа. Какъ злодѣй, Борисъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія, потому что опъ злодѣй мелкій, малодушный; но какъ человѣкъ замѣчательный, такъ сказать увлеченный судьбою взять роль не по себѣ, онъ очень и очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія и всфтаки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіп. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти дітей Годунова, — «народъ въ ужаст молчить»... Отчего же онъ молчить? развіз не самъ онъ хоттьль гибели Годуновскаго рода, развіз не самъ онъ кричаль: «вязать Борнсова щенка»?... Мосальскій продолжаеть: «Чтожь вы молчите? Кричите: да здравствуеть царь Димитрій Ивановичь!»—«Народъ безмолвствуеть»...

Это—последнее слово трагедін, заключающее въ себе глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвін народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвою—надъ темъ, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Домикъ въ Коломив. — Родословная Моего Героя (отрывокъ изъ сатирической поэмы). — Мъдиый Всадинкъ. — Галувъ. — Египетскія Ночи. — Анджело. — Сцена изъ Фауста. — Пиръ во время Чумы. — Моцартъ и Сальери. — Скупой Рыцарь. — Русалка. — Каменный Гость. — Сцепы изъ рыцарскихъ временъ. — Сказки: о Царъ Салтанъ; о Мертвой Царевнъ и о Семи Богатыряхъ; о Золотомъ Ивтушкъ; о Рыбакъ и Рыбкъ; о купцъ Кузьмъ Остолопъ и о Работникъ его Балдъ. — Повъсми: Аранъ Петра Великаго; Повъсти Бълкина; Пиковая дама; Капитанская Дочка; Дубровскій. — Лътопись Села Горохина. — Кирджали. — Исторія Пугачевскаго Бунта. — Журнальныя статьи. — Эаключеніе.

При разборъ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ пами не было еще говорено, мы нъсколько отступимъ отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ появлялись въ свътъ эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическія произведенія обозръть виъстъ.

«Домикъ въ Коломив» — пгрушка, сделанная рукою великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повъсть тёмъ не менёе отличается большими достопиствами со стороны формы. Остроты, шутки, разсказъ, въ одно время и легкій и занимательный, мъстами проблески чувства, на всемъ какой-то особенный колоритъ, и, наконецъ, превосходный стихъ — все это тотчасъ же обличаетъ великаго мастера. Когда нечаянно попадается вамъ подъ руку эта, теперь уже столь старая піеса, и взоръ вашъ небрежно падаетъ на первую попавшуюся строфу, или стихъ, —все равно, съ начала это, или съ середины, по

только вы, незамѣтно для самого себя, непремѣнно прочтете до конца, и на душв вашей отъ этого чтенія останется впечатлъніе легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже сто разъ читали и перечитывали эту піесу прежде. Многихъ удивитъ подобное мивніе; но «Домикъ въ Коломив» мы считаемъ однимъ изъ замъчательныхъ произведеній, въ которомъ, подъ легкою, небрежною формою и при видимой пезначительности содержанія, скрыто много искусства. Эта піеса доказываетъ ту простую истину, что жизнь, лишь бы некусство вфрно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищущіе въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимаютъ ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія такъ же им'єють свой колорить, какъ и произведенія живописи, и если колорить въ картинахъ цънится такъ высоко, что пногда только онъ одинъ и составляетъ все ихъ достоинство, — то такъ же точно колоритъ долженъ цънпться и въ поэтическихъ произведенияхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые, по обыкновенію, прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія — за дюжинныя. Мы увърены, что есть много читателей, которымъ «Домикъ въ Коломнъв очень нравится, но которые тъмъ не менъе считаютъ его только мпленькою, по очень ничтожною вещію. Такъ всегда судитъ большинство!

«Родословная моего Героя», названная отрывкомъ изъ сатирической новъсти, вмъсть съ «Графомъ Нулинымъ» и «Домикомъ въ Коломнъ», составляетъ типъ особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любитъ новая «натуральная» школа нашей литературы, ношедшая, какъ извъстно, не отъ Карамзина и Дмитріева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любятъ въ

наше время. И не мудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемъ, но прямо отъ своего лица обращается къ читателю съ тъми вопросами, которые равно интересны и для самого поэта и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное и патетическое само по сеот выказывается съ оттънкомъ проціп, юмористически, и иногда тъмъ сильнте дъйствуетъ на читателя, чтыть неорежите говоритъ поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотъль ли Пушкинъ написать цълую поэму и почему нибудь остановился на началъ; но нътъ пикакого сомивнія, что отрывокъ «Родословная моего Героя», во всякомъ случат представляетъ собою нъчто цълое, потому что выражаетъ мысль совершенно полиую и опредъленную. Судя по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые по тому только не уважаютъ знатности породы, что сами не могутъ похвалиться ею (покрайней мърт, Пушкинъ тутъ ясно даетъ чувствовать, что не понимаетъ другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, вемотръвшись ближе въ его произведеніе, нельзя не увидъть, что это очень острая сатира, написанная поэтомъ на самого себя. Съ пеподражаемымъ остроуміемъ шутитъ поэтъ надъ предками своего героя, излагая его генеалогію:

Изъ нихъ Езерскій Варлаанъ
Гордыней славился боярской;
За споръ то съ тёмъ онъ, то съ другимъ,
Съ большимъ безчестьемъ выводимъ
Бывалъ изъ-за транезы царской,
Но снова шелъ подъ тяжкій гитвъ
Н умеръ, Сицкихъ пересъвъ.

Этотъ намекъ на мъстипчество, составлявшее point d'honneur пашей боярщины, блещетъ истинно Вольтеровскимъ остроуміемъ, которое, конечно, не возбудитъ въ читателъ особеннаго уваженія къ «родословнымъ»; но вслідъ же за тъмъ, пронія поэта бросается совсёмъ въ противоположную сторону:

Но извините; статься можеть, Читатель, вамъ я досадилъ; Вашъ умъ духъ въка просвътиль, Васт спысь дворянская не гложеть, И нужды нёть вань никакой До вашей книги родовой. Кто бъ ни быль вашь родоначальникь, Мстиславъ, князь Куроскій, иль Ермакъ. Или Митюшка цъловальникъ, --Вамъ все равно. Конечно такъ: Вы презираете отцами, Ихт славой, честію, правами Великодушно и умно; Вы отреклесь отъ нихъ давно Прямаго просвъщенья ради, Гордясь (какъ общей пользы другъ) Красою «собственных» заслугъ», Звъздой двоюроднаго дяди, Иль приглашениемъ на балъ. Туда, гдъ дъдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли пзумительны своею наивностью, достойною тёхъ временъ, когда Варлаама Езерскаго, за споры то съ тъмъ, то съ другимъ, съ безчестіемъ выводили изъ за-царскаго стола! Изъ чего хлопочетъ поэть? противъ чего возстаетъ опъ? — Противъ того, чего самъ не могъ не осмѣять... Что за упрекъ такой: «Васъ спъсь дворянская не гложетъ»? Неужь-то ептсь дворянская, или мъщанская, есть добродътель, а не порокъ-признакъ грубости правовъ и невъжества?... Вамъ все равно, кто бы ни быль вашь родопачальникъ — князь, или цёловальникъ Митюшка?... Гордиться происхожденіемъ отъ князя такъ же смъшно, какъ и стыдиться происхожденія отъ цъловальника, потому что какъ въ первомъ случав заслуга, такъ во второмъ — преступленіе — суть чистыйшая случайность. Не происхожденіе, а жизнь приносить человъку честь пли безчестіе. Иначе, Сусанинь пли Мининъ были бы низкими людьми въ сравиеніи со всякимъ глупенькимъ и пошленькимъ киязькомъ, какихъ довольно бываетъ на бъломъ свътъ между князьями, достойными всякаго уважения по ихъ личнымъ достопнетвамъ. Поэтъ обвиняетъ родословныхъ людей нашего времени въ томъ, что они презираютъ своими отцами, ихъ славою, правами и честью: упрекъ столько же ограниченный, сколько и неосновательный. Если человъкъ не чванится тёмъ, что происходить по прямой лиціи отъ какогонибудь великаго человъка, пеужели это непремъпно значить, что онъ презпраетъ своего великаго предка, его славу, его великія діла? Кажется, тутъ слідствіе выведено совсімь произвольно. Презпрать предковъ, когда они и пичего не сдълали хорошаго, смъшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не за что уважать, но въ то же время и не презирать, ссли не за что презпрать. Гдт птт итста уваженію, тамъ не всегда есть місто презрівнію: уважается хорошее, презирается дурное; но отсутствие хорошаго не всегда предполагаетъ присутствіе дурнаго, и паобороть. Еще смѣшиѣе гордиться чужимъ величіемъ, пли стыдиться чужой низости. Первая мысль превосходно объяснена въ превосходной басит Крылова: «Гуси»; вторая ясна сама по себъ. Извъстно, что цъловальники (въ древности-присяжные чиновники) не отличались особенною честностью, не отличаются и ныит, какъ продавцы випа въ питейныхъ домахъ; но если сынъ цъловальника, по своей натуръ, оказался песпособними ки званію своего отца, и вмісто того, чтоби обмъривать въ кабакт цьяныхъ мужиковъ, прожилъ въкъ свой — пожалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымъ человъкомъ, -- скажите: зачъмъ ему стыдиться, что опъ сынъ своего отца?... Притомъ же, мы нисколько не споримъ, что Тамерланъ былъ большой аристократъ, — по крайней мёрё, при его жизни въ этомъ никто не смёлъ усомниться, подъ опасеніемъ быть посажену на колъ; но прежде, нежели сдёлался великимъ ханомъ, онъ былъ кузненомъ, занлатившимъ за покражу овцы увѣчьемъ ноги. Такъ и всякій родъ начать былъ однимъ человѣкомъ незнатнаго происхожденія, у котораго въ родиѣ былъ не одниъ сапожникъ, или портной. Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что онѣ ужь слишкомъ истинны. Тѣмъ, повидимому, страниѣе, что великій поэтъ видѣлъ въ нихъ ложь, а во лжи — истину. Но здѣсь въ поэтѣ сказался человѣкъ, не могшій, на зло себѣ, отрѣшпться отъ предразсудковъ, надъ которыми самъ смѣялся... Но далѣе —

Я самъ, хоть, въ книжкахъ и словесно, Собратья надо мной трунятъ, Я мъщанинъ, какъ вамъ извъстно, И въ этоли слыслю (въ какомъ же?) демократъ; Но, каюсь новый Ходаковской, Люблю отъ бабушки московской Я толки слушать о родиъ, О толко брюхой стариию.

Признаніе по-истинт папвное! На вкуст товарища нтть, говорить русская пословица; но кому какое дтло до чужихъ вкусовъ. и кто свои личные и притомъ странные вкусы въ правт выдавать другимъ за законъ? Одинъ любитъ говорить съ московскою бабушкою о роднт и о «толстобрюхой старинт», другой любитъ разсуждать съ своимъ кртностнымъ псаремъ о личныхъ качествахъ и добродттеляхъ его гоичихъ: оба правы, и мы никому изъ инхъ мещать не намтрены, а только считаемъ себя въ правт попросить обоихъ не навязывать намъ своихъ вкусовъ, какъ правилъ правственности и добродтели.

Мић жаль, что нашей славы звуки Уже намь чужды;

Дъйствительно, жаль. если правда, что звуки нашей славы намъ чужды. Только едва ли правда: равнодушіе къ «толсто-брюхой старинъ» и равнодушіе къ народной славъ — совстиъ не одно и то же. Если поэть хотъль этимъ упрекомъ намек-

нуть на то. что мы, какъ молодой, исполненный надеждъ народъ, больше заняты своимъ настоящимъ и больше смотримъ на свое будущее, нежели на прошедшее, — то ему слъдовало бы выразиться ясибе и ноиять лучше причину этого явленія, совершенно небходимаго и нисколько не предосудительнаго въ его источникъ...

Что спроста Изъ баръ мы льземъ въ tiers-état...

Полно, спроста ли? Мы вообще убъждены, что ни одио историческое явление не дълается спроста и ни въ одномъ не виноваты люди. Предки нашихъ баръ шли все въ гору, хотъли быть только барами и жили широко, не заботясь о будущемъ, а ихъ дъти принуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барство суета суетъ! Тутъ видна скоръе сметливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компаніи, акціп, спекуляціи, предпріятія, обороты, — все это вещи, можетъ быть, дъйствительно нисколько не аристократическія, за то уже и совсъмъ не простоватыя... Въ наше время, простаковъ мало, и простакъ въ наше время именно тотъ, кого гложетъ какая-нибудь спъсь...

Что намъ не въ прокъ пошли науки, И что спасибо намъ за то Не скажеть, кажется, инкто.

Да изъ чего же следуетъ, что науки пошли памъ не въ прокъ? Ужь не изъ того ли, что оне избавили насъ отъ дворянской спъси?... Странный выводъ!... Впрочемъ, пошедши отъ ложнаго начала, пельзя не дойдти до ложныхъ выводовъ... Странное зрелище: великій поэтъ видитъ зло въ усиъхахъ просвъщенія, которое, безъ насильственныхъ переворотовъ, смягчлю грубость правовъ и сблизило между собою дотоль раздъленныя сословія!...

Мив жаль, что твхв родовь боярскихь Бледиветь блескь и никиеть духь; Мив жаль, что ивть киязей; Пожарскихь, что о другихь пропаль и слухь; Что ихь поносить и Фигляринь; Что русскій выпрешный бояринь (баринь?) Считаеть грамоты царей За пыльный сборь календарей; Что вь нашемь теремь забытомь Растеть пустынная трава; Что гералідическаго льва Демократическимь копытомь Теперь лягаеть и осель: Духь въка воть куда зашель!

Многимъ показалась ужасно остроумною выходка о демократическомъ копытъ осла, лягающаго геральдическаго льва, и они такъ восхитились ею, что повърили древности этого геральдическаго льва, по наввному незнанію, что существованіе пашей геральдики есть искусственное и не простирается даже за полувекъ отъ настоящяго дня... Отъ этихъ стиховъ такъ и вћетъ «Литературною Газетою» 1830 года... Ничего не можетъ быть пельпъе, какъ приложение къ нашему русскому быту фактовъ исторіи Западиой Европы, съ ея католическими п рыцарскими предаціями, вовсе для насъ чуждыми п писколько къ намъ не йдущими. И оттого, слова: «аристократическій», «демократическій», встръчающілся изръдка въ русскихъ стихахъ или русской прозъ, тъмъ смъшнъе и забавиъе, чъмъ серьёзнъе смотрятъ они... Пушкина, кажется, очень запимало общественное положение Байрона, гордившагося темъ, что въ его жилахъ текла королевская кровь, и более дорожившаго своимъ званіемъ лорда, нежели своимъ значеніемъ перваго поэта Европы XIX въка. Но Байронъ — другое дъло. Опъ Англичанинъ; его предразсудки имъзи значение историческое и національное. Еслибъ онъ и не сділался великимъ

человткомъ, онъ все бы остался важнымъ лицомъ въ своемъ отечествъ: обладателемъ огромнаго наслъдства, по праву рожденія членомъ палаты лордовъ... Аристократизмъ-въ этомъ словъ заключается вся политическая конструкція Англіи, какъ государства, и потому тамъ къ партіи тори принадлежать не одии дворяне, но и люди всъхъ другихъ сословій, которые въ coxpaneniu statu quo видятъ для себя великій вопросъ: быть, или пе быть?... Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналь бы только его кругь знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствъ не было инчего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дълающимъ честь своей матери... Кому нужно зпать, что бъдный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извъстныхъ въ исторіи? Гораздо нитересиве было знать, ... атеоп йыныкнінэт атоте отвяон атэшпики отг

Забавны, въ сатирическомъ смыслъ, послъдніе стихи отрывка:

Воте почему, архивы роя, Я разбираль въ досужный часъ Всю родословную героя, О комъ затвяль свой разсказъ И здъсь потомству заповедаль. Езерскій самъ же твердо въдаль, Что дъдъ его, великій мужез, Имъль двънадцать тысячь душь; Изъ нихъ отцу его досталась Осьмая часть, и та сполна Была давио заложена И ежегодно продавалась; А самъ онъ жалованьемъ жилъ И регистраторомь служиль.

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же туть пенять, на кого жаловаться? Какіе туть аристократы и демократы? Туть

дело должно идти просто о мотовстве, о незнаніи хозяйства, о неразсчетливой жизии на авось, о естественномъ раздробленіи имѣній черезъ право наследства... Тѣмъ, которые тутъ проиграли, остается одно—вступить въ tiers-état, но не спроста, а для того, чтобъ, во первыхъ, что нпоудь дѣлать, а во вторыхъ, чтобъ пмѣть болѣе вѣрныя средства къ существованію... Вмѣсто этой юмористической повѣсти, Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользѣ свекло-сахарныхъ заводовъ, или о превосходствѣ плодоперемѣнной системы земледѣлія надъ трехпольною, какъ Ломоносовъ написалъ посланіе о пользѣ стекла, начинающееся этими наивными стихами:

Не право о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ. Которое стекло чтутъ ниже мивераловъ.

А между тімъ, «Родословная Моего Героя» написана стихами до того прекрасными, что нітъ никакой возможности противиться ихъ обаянію, несмотря на ихъ содержаніе. И потому, эта піеса — истинный шалашъ, построенный великимъ мастеромъ изъ драгоціннаго паросскаго мрамора...

Теперь перейдемъ къ тремъ лучшимъ, въ художественномъ отношении, поэмамъ Пушкина — «Мъдному Всаднику», «Галубу» и «Егинетскимъ Ночамъ».

«Мідный Всадинкъ» многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тэма его, по видимому, выражена не вполнѣ. По крайней мѣрѣ, страхъ, съ какимъ побѣжалъ помѣшанный Евгеній отъ конной статуи Петра, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, кромѣ того, что пропущены слова его къ монументу. Пиаче, почему же вообразилъ онъ, что грозное лицо царя, возгорѣвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побѣжалъ онъ, ему все слышалось,

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой?...

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмѣ не достаеть словъ, обращенныхъ Евгеніемъ къ монументу,— п вамъ сдѣлается ясна идея поэмы, безъ того смутная и неопредѣленная. Настоящій герой ея — Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозною картиною Петра, задумывающаго основаніе новой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга, въ его теперешнемъ видѣ.

На берегу пустынных волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядълъ. Предъ нимъ широко
Ръка неслася; бъдный челиъ
По ней стремился одиноко.
По мишетымъ, топкимъ берегамъ,
Чернъли избы здъсь и тамъ.
Приотъ убогаго Чухонца;
И лъсъ, невъдомый лучамъ
Въ туманъ спрятаниаго солица,
Кругомъ шумълъ.

И думалъ Онъ: «Отсель грозить мы будемъ Шведу; «Здъсь будеть городъ заложень, «Назло надменному сосъду; «Природой здѣсь намъ суждено «Въ Европу прорубить окно, «Ногою твердой стать при морт; «Сюда, по новымъ имъ волнамъ, «Всъ флаги въ гости будутъ къ намъ-«И запируемъ на просторъ!» Прошло сто лътъ-и юный градъ, Полночныхъ странъ краса и диво, Изъ тымы лъсовъ, изъ топи блатъ Вознесся пышно, горделиво: Гдъ прежде финскій рыболовъ, Печальный пасынокъ природы, Одинъ у низкихъ береговъ

Бросаль въ невёдомыя воды
Свой ветхій неводь, пынё тамъ
Но оживленнымь берегамъ
Громады стройныя тёснятся
Дворцовь и башень; корабли
Толной со всёхъ концовь земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранить одёлася Нева;
Мосты новисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея нокрылись острова —
И передъ младшею столицей
Главой склопилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Норфироносная вдова.

Не перепечатываемъ вполиѣ этого описанія, исполненнаго такой высокой и мощной поэзін; но, чтобъ прослѣдить идею поэмы въ ен развитін, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой Неколебимо, какъ Россія! Да умирится же съ тобой И побъжденная стихія: Вражду п илънъ старинный свой Пусть волны финскія забудутъ И тщетной злобою не будутъ Тревожить въчный сонъ Петра! Была ужасная пора: Объ ней свъжо воспоминанье... Объ ней, друзья мон, для васъ Начну свое повъствованье. Печаленъ будетъ мой разсказъ.

Содержаніе этого разсказа составляеть описаніе страшнаго наводненія, постигшаго Петербургь въ 1824 году. Это плачевное событіе имѣеть прямое отношеніе къ построенію Петромъ Великимъ Петербурга, не по одной этой причинѣ столь дорого стонвшаго Россіи. Съ исторією наводненія, какъ историческаго событія, поэтъ искусно слиль частиую исторію любви, сдѣлав-

шейся жертвою этого происшествія. Герой пов'єсти — Евгеній, имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего поэта, который съ грустію описываетъ его незначительность, не соотв'єть ствующую его понятіямъ о родословін:

Прозванье намъ его не нужно — Хотя въ мвнувши времена Оно, быть-можетъ, и блистало И, подъ перомъ Карамзина, Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало. Но ныий свйтомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломий; гдъ-то служитъ; Дпчится знатныхъ и не тужитъ Ин о покойница родив, Ни о забытой стариий.

Однажды легъ онъ съ грустными мечтами о своемъ жить в быть в; вечеръ былъ мраченъ и буренъ. На другой депь сдвлалось наводнение —

И всилыль Петрополь какъ тритонъ, По поясъ въ воду погруженъ.

Картина наводненія написана у Пушкина красками, которыя цівною жизни готовъ бы быль купить поэтъ прошлаго віжа, помівшавшійся на мысли написать эпическую поэму — «Потопъ»... Туть не знаешь, чему больше дивиться — громадной, ли грандіозности описанія, или его почти прозанческой простоть — что, вмість взятое, доходить до высочайшей поэзін. Однакожь, боясь перепечатать всю поэму, пропускаемь начало описанія, чтобъ поспівшить къ герою поэмы:

Тогда, на площади Петровой — Гдѣ домъ въ углу вознесся новый, Гдѣ, подъ возвышеннымъ крыльцомъ, Съ подъятой ланой, какъ живые, Стоятъ два льва сторожевые, — На звѣрѣ мраморномъ верхомъ, Безъ шляны, руки сжавъ крестомъ,

Сидъль недвижный, страшно блёдный Евгеній. Онъ страшился, бъдный, Не за себя. Онъ не слыхалъ Какъ подымался жадный валь, Ему подошвы подмывая; Какъ дождь ему въ лицо хлесталь; Какт вътеръ, буйно завывая, Съ него и шляну вдругъ сорвалъ. Его отчаянные взоры На край одинъ наведены Недвижно были. Словно горы, Изъ вознущенной глубины Вставали волны тамъ и злились, Тамъ буря выда, тамъ носились Обломки... Боже, Боже!... тамъ-Увы! близехонько къ волнамъ, Почти у самаго залива — Заборъ некрашенный да пва И ветхій домикь: тамь онт, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта... Или во сиъ Онъ это видитъ? Иль вся наша И жизнь не что, какъ сонъ пустой, Насмъшка рока надъ землей? И онъ какъ-будто околдованъ, Какъ-будто къ мрамору прикованъ, Сойти не можеть! Вкругь него Вода — и больше инчего! И, обращент кт нему спиною, Вт неколебимой вышиню, Надъ возлущенною Певою, Сидить съ простертою рукою Гиганть на броизовомь конь.

Когда наводненіе утихло, Евгеній на мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Параши, нашелъ одну иву — и ничего больше. Несчастный сошелъ съ ума. Бродя по улицамъ, преслѣдуемый мальчишками, получая удары отъ кучерскихъ плетей, разъ —

Онъ очутился подъ столбами Большаго дома. На крыльцъ, Съ подъятой лапой, какъ живые, Стояли львы сторожевые, И прямо ет темной вышиню, Нада огражденною скалою, Гиганта са простертою рукою Сидъят на бронзовома коню.

Въ этомъ безирестанномъ столкновеніи несчастнаго съ «гигантомъ на бронзовомъ конъ» и въ впечатльніи, какое производить на него видъ Мъднаго Всадника, скрывается весь смыслъ поэмы; здъсь ключъ къ ея пдеъ...

Евгеній вздрогнуль. Прояснились Въ немъ страпіно мысли. Онъ узналъ И мъсто, гдъ потонъ пградъ, Гав волны хищныя толнились, Бунтуя грозно вкругъ него, И львовъ, и площадь, и Того, Кто неподвижно возвышался Во мракъ съ мъдной головой II съ распростертою рукой — Какъ-будто градомъ любовался. Безумецъ бъдный обощелъ Кругомъ скалы съ тоскою дикой, II надинсь яркую прочелъ, И сердце скорбію великой Ственилось въ немъ. Его чело Къ рёшотке хладной придегло, Глаза подернулись туманомъ, По членамъ холодъ пробъжалъ, И вздрогнуль онъ — и мраченъ сталъ Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ. И, перстъ свой на него поднявъ, Задумался.... Но вдругъ стремглавъ Бъжать пустился... Иоказалось Ему, что грознаго царя, Миновенно инивомъ возгоря, Лицо тихонько обращалось... И онъ по площади пустой Бъжитъ и слышить за собой, Какъ будто грома грохотанье,

Тяжело-звонкое скаканье, По потрясенной мостовой -И, озарень луною блюдной, Простерши руки въ вышиню, За ниме несется Всаднике Мюдный На звонко-скачущемь конь, -И во всю ночь, безумецъ бъдный Куда стопы ни обращаль, За нимъ повсюду Всадникъ Мѣлный Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ... И съ той поры, куда случалось Идти той площадью ему Въ его лицъ изображалось Смятенье: къ сердну своему Онъ прижималь поспёшно руку, Какъ-бы его смирля муку; Картузъ изношенный сымаль, Смущенныхъ глазъ не подымалъ, И шель сторонкой...

Въ этой поэмѣ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслѣдствіе избранія мѣста для новой столицы, гдѣ подверглось гибели столько людей, — и наше сокрушенное сочувствіемъ сердце, вмѣстѣ съ несчастнымъ, готово смутиться; но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу, — и въ священномъ трепетѣ, какъ-бы въ сознаніи тяжкаго грѣха, бѣжитъ стремглавъ, думая слышать за собой,

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой..

Мы понимаемъ смущенною душою, что не произволъ, а разумная воля олицетворены въ этомъ Мъдномъ Всадникъ, который, въ неколебимой вышинъ, съ распростертою рукою, какъ-бы любуется городомъ... И намъ чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мъдныхъ устъ исходитъ творящее «да будетъ!», а простертая рука гордо повелъваетъ утихнуть

разъяреннымъ стихіямъ... И смиреннымъ сердцемъ признаёмъ мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... При взглядъ на Великана, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія, и какъ-бы символически осуществляющаго собою несокрушимость его творенія, — мы, хотя п не безъ содроганія сердца, но сознаемся, что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обезпечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядь на насъ есть уже его оправданіе... Да, эта поэма — апооеоза Петра-Великаго, самая смълая, самая грандіозная, какая могла только прійдти въ голову поэту, вполнъ достойному быть пъвцомъ великаго преобразователя Россіи... Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, имъвшему Гомера своимъ пъвцомъ: въ глазахъ насъ, Русскихъ, Петру некому завидовать въ этомъ отношешеніп .. Пушкинъ не написаль ни одной эпической поэмы, ни одной «Петріады», но его «Стансы» (Въ надеждъ славы и добра), многія мъста въ «Полтавь», «Пиръ Петра-Великаго» и, наконецъ, этотъ «Мъдный Всадникъ» образують собою самую дивную, самую великую «Петріаду», какую только въ состояніи создать геній великаго національнаго поэта... И мѣрою трепета при чтенін этой «Петріады» должно опредъляться, до какой степени вправъ называться русскимъ всякое русское сердце...

Намъ хотълось бы сказать что инбудь о стихахъ «Мъднаго Всадинка», о ихъ упругости, силъ, энергіп, величавости; но это выше силъ нашихъ: только такими же стихами, а не нашею бъдною прозою можно хвалить ихъ... Нъкоторыя мъста, какъ, напримъръ, упоминовеніе о графъ Хвостовъ, показываютъ, что по этой поэмъ еще не былъ проведенъ окончательно ръзецъ художника, да и напечатана она, какъ извъстно, послъ

его смерти; но и въ этомъ видѣ, она — колосальное пропзведеніе...

Въ статьъ Пушкина «Путешествіе въ Арзрумъ», находятся следующія строки: «Здесь нашель я измаранный списокь Кавказскаго Илънника и признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено върно». Насъ всегда поражала благородная и безпристрастная върность этой оцънки, и нельзя не согласиться, что это лучшая критика на «Кавказскаго Пленника». «Кавпазскій Плёнинкъ» вышель въ світь въ 1822 году, поыль однимъ изъ первыхъ произведеній Пушкина, наиболъе способствовавшихъ его народности въ Россіи. Пстиниымъ героемъ ея былъ не столько плънникъ, сколько Кавказъ; исторія плънника была только рамкою для описанія Кавказа. Случилось такъ, что и одно изъ послъднихъ произведеній Пушкина опять посвящено было тому же Кавказу, темъ же горцамъ. Но какая огромная разница между «Кавказскимъ Плѣнипкомъ» и «Галубомъ». Словно въ разные вѣка и разными поэтами написаны этн двъ поэмы! Въ «Путешествіп въ Арзрумъ», Пушкинъ разсказываетъ, между прочимъ, о похоронахъ у горцевъ, которыхъ свидътелемъ ему случилось быть. Это даетъ право догадываться, что впечатльнія, плодомъ которыхъ быль «Галубъ», собраны были поэтомъ во время его путешествія въ Арзрумъ, въ 1829 году, и что эта поэма была написана имъ послѣ 1829 года. Если ее раздёляль отъ «Кавказскаго Плённика» промежутокъ только десяти лётъ, — какой великій прогресъ! И что бы написалъ намъ Пушкинъ, еслибъ прожилъ еще хоть десять льтъ!

> Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла! Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ! Нътъ великаго Патрокла! Живъ презрительный Тирситъ!...

Въ «Галубъ» глубоко гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо върныхъ, сколько и поэтическихъ. Старикъ Чеченецъ, похоронивъ одного сына, получаетъ другаго изъ рукъ его воспитателя. Но этотъ второй сынъ не замънилъ ему своего брата и обманулъ надежды отца. Безъ образованія, безъ всякаго знакомства съ другими идеями, или другими формами общественной жизни, но единственно инстинктомъ своей натуры юный Тазитъ вышелъ изъ стихіи своего роднаго племени, своего роднаго общества. Онъ не понимаетъ разбоя, ни какъ ремесла ни какъ поэзіи жизни; не понимаетъ мщенія, ни какъ долга, пи какъ наслажденія.

Среди родимаго аула Онъ все чужой; онъ цълый день Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ. Такъ въ сакав пойманный олень Все въ лъсъ глядить, все въ глушь уходить. Онъ любитъ по крутымъ скаламъ Скользить, ползти тропой креминстой, Винмая буръ голосистой И въ бездик воющимъ воднамъ. Онъ пногда до поздней почи Сидить печалень, надъ горой, Педвижно въ даль уставя очи, Опершись на руку главой. Какія мысли въ немъ проходять? Чего желаеть онъ тогда? Изъ міра дальняго куда Младые сны его уводять? Какъ знать? Незрима глубь сердець! Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ, Какъ вътеръ въ небъ...

Въ самомъ ділі, что онъ такое—поэтъ, художникъ, жрець науки или просто одна изъ тіхъ внутреннихъ, глубоко сосредоточенныхъ въ себъ натуръ, раждающихся для мирныхъ трудовъ, мириаго счастія, мирнаго и благодітельнаго вліянія

па окружающихъ его людей? Какъ знать это кому-нибудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явись онъ въ цивилизованномъ обществъ, — хотя съ трудомъ, съ борьбою, надълавъ тысячи ошибокъ, но созналъ бы опъ свое назначенье, нашелъ бы его н отдался бы ему. Но онъ родился среди патріархально-разбойническаго, дикаго и невъжественнаго племени, съ которымъ у него интъ ничего общаго, — и ему нътъ мъста на землъ, онъ отверженъ, проклятъ; его родные — враги его... Отецъ Тазита — Чеченецъ душой и тъломъ, Чеченецъ, которому непонятны, которому пенавистны вст не чеченскія формы общественной жизни, который признаётъ святою и безусловно истинною только чеченскую мораль, и который, следовательно, можеть въ сынъ любить только истаго Чеченца. Въ отношенія къ сыну, онъ не дъйствуетъ лиаче, какъ за одно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и человъкомъ, не могла не обнаружиться скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разъѣздахъ, встрѣтилъ Армянина съ товарами — и не ограбилъ, не убилъ, или не привелъ его домой на арканъ. Другой разъ, повстръчаль онъ бъглаго рабаи оставиль его невредимымь; въ третій —

от и и т

Сынъ

Убійцу брата.

Кого ты видель?

Отецъ.

Убійцу сына моего?... Тазить! гдъ голова его?

Дай, нагляжусь!

Сынъ.

Убійца быль

Одинъ, израненъ, безоруженъ...

Отецъ.

Ты долга крови не забылъ...

Врага ты навзинчь опрокицуль...
Не правда ля? ты шашку выпуль,
Ты въ горло сталь ему воткиуль
И трижды тихо повернуль?
Упился ты его стенаньемъ,
Его зывинымъ издыханьемъ?...
Гдв жъ голова? подай!... ивть силь...

Но сынъ молчить, потупя очи. II сталь Галубъ чериве почи II сыну грозно возопиль: «Поди ты прочь — ты мий не сынь! «Ты не Чеченецъ — ты старуха, «Ты трусъ, ты рабъ, ты Армянинъ! «Будь проклять мной, подп — чтобъ слуха «Никто о робкомъ не имваъ, «Чтобъ въчно ждаль ты грозной встръчи. «Чтобъ мертвый братъ тебъ на плечи «Окровавленной кошкой сълъ «И къ бездив гналь тебя нещадно; «Чтобъ ты, какъ рэненный олень, «Бѣжаль, тоскуя безотрадно; «Чтобъ дъти русскихъ деревень «Тебя веревкою поймали «И какъ волченка затерзали ---«Чтобъ ты... бъги, бъги скорты! «Не оскверняй монхъ очей!»

Здъсь, въ лиць отца, говорить общество. Такія чеченскія исторіи случаются и въ цивилизованныхь обществахь: Галилея въ Италіи чуть не сожгли живаго за его несогласіе съ чеченскими понятіями о міровой системь. По тамъ человькъ знаніемь опередиль свое общество, и еслибъ быль сожжень, могъ бы имьть хоть то утьшеніе передъ смертію, что идей-то его не сожгуть невъжественные налачи... Здъсь же человькъ вышель изъ своего парода своею натурою, безъ всякаго сознанія объ этомъ,—самое трагическое положеніе, въ какомъ только можеть быть человькъ!... Одинъ среди множества, и ближніе его—враги ему: стремится онь къ людямъ, и съ ужа-

сомъ отскакиваетъ отъ нихъ, какъ отъ змѣи, на которую наступилъ нечанию... И винитъ, и презираетъ, и проклинаетъ опъ себя за это, потому что его сознаніе не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его отчужденіе отъ общества... И вотъ она—вѣчная борьба общаго съ частнымъ, разума съ авторитетомъ и преданіемъ, человѣческаго достоинства съ общественнымъ варварствомъ! Она возможна и между Чеченцами!...

Превосходны, выше всякой похвалы, послёдніе стихи «Галуба», представляющіе живое изображеніе черкесскихъ правовъ и трогательную картину отчужденныхъ отъ общества любовниковъ:

Они въ толив четою странной Стоятъ, не видя ничего. И горе имъ: онъ - сынъ изгнанный, Она — любовища его... О, было время! съ ней украдкой Видался юноша въ горахъ; Онъ пиль огонь отравы сладкой Въ ея смятеныя, въ ръчи краткой, Въ ея потупленныхъ очахъ. Когда съ домашняго порогу Она смотрѣла на дорогу Съ подружкой ръзвой говоря, И вдругъ садинась и блёливла. И отвъчая не гляльла. И разгорадась какъ заря; Изи у водъ когда стояла. Текущихъ съ каменныхъ вершинъ, И долго кованый кувшинь Волною звонкой наполняла... И онъ, невластный превозмочь Волненій сердца, разъ приходить Нъ ея отцу, его отводить И говорить: «Твоя мив дочь • Давно мила; по ней тоскуя, •Одинъ п сиръ давно живу я;

- «Благослови любовь мою;
- «Я бъденъ, но могучъ и молодъ;
- «Я агнецъ дома, звърь въ бою;
- «Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ;
- «Тебъ я буду сынъ п другъ
- «Послушный, преданный и нъжный,
- «Твоимъ сынамъ кунакъ надежный,
- «А ей приверженный супругъ...»

Увы! бъдный юноша говорилъ все это, не зная самъ себя. Онъ былъ могучъ и молодъ, у него много было отваги и храбрости, — но онъ жалълъ бъжавшаго раба, не могъ убить израненнаго и обезоруженнаго врага: онъ не былъ Чеченцемъ, и въ его саклъ поселился бы голодъ... И за то, онъ отверженъ; отвержена и та, которая имъла песчастіе полюбить его! Что съ ними стало, намъ неинтересно знать. Они должны погибнуть — это върно; но какъ погибнуть, что до того!... Слъдовательно, поэму эту можно считать цълою и оконченною. Мысль ея видна и выражена вполиъ.

«Египетскія Ночи» — въ одно и то же время, и повъсть, писанная прозою, и поэма, писанная стихами. Повъсть прекрасна. Характеръ Чарсьаго, русскаго поэта и свътскаго человъка, который знаетъ цъну искусству и таланту и со всъмъ тъмъ стыдится ремесла своего; характеръ имировизатора, страстнаго, вдохновеннаго жреца искусства, униженнаго, низконоклоннаго Итальянца, жаднаго къ прибытку пищаго; характеръ нашего большаго свъта, его странныя отношенія къ искусству, — все это выдержано съ удивительною върностью, до мельчайшихъ подробностей, — до некрасивой дъвушки, по приказанію матери написавшей тэму импровизатору. Но что сказать о поэмъ — «Сleopatra е і suoi amanti»? . . . Въ «Мъдномъ Всадникъ», поэтъ показалъ намъ величественный образъ преобразователя Россіп и современный Петербургъ; въ «Галубъ» перенесъ насъ въ среду кавказскихъ дикарей, чтобъ по-

казать, что и тамъ есть человъческое достоинство, осужденное на трагическое страданіе; въ «Египетскихъ Ночахъ», волшебнымъ жезломъ своей поэзіи, опъ перепосить насъ въ среду древняго римскаго міра, одряхлѣвшаго, утратившаго всѣ вѣрованія, всѣ надежды, холоднаго къ жизни и все еще жаждущаго наслажденій, за которыя охотно платитъ жизнію, какъбудто жизнь дешевле денегъ... Во всѣхъ этихъ трехъ поэмахъ видимъ мы Пушкина, узнаёмъ въ нихъ ему только свойственный колоритъ и стиль; но ни вь одной изъ нихъ не повторяетъ онъ себя, — напротивъ, въ каждой являетъ изумленному взору нашему совершенно новый міръ: «Мѣдиый Всадникъ» — весь современная Русь, «Галубъ» — весь Кавказъ, «Египетскія Ночи», это — воскресшій, подобно Помпеѣ и Геркулануму, древній міръ на закатѣ его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ; это чудо пскусства...

Три последнія означенныя нами ноэмы, въ художественномъ отношеніи, неизмёримо выше всёхъ прежиихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ видёнъ виолнё развившійся и выработавшійся художественный стиль, который долженъ быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Что-то глубоко-грустное, но вмёстё и величаво-спокойное лежитъ въ поэтическомъ колоритв, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотвореній, поэтъ не даромъ сравнилъ печаль души своей съ виномъ, которое тёмъ крѣпче, чёмъ старѣе. Мы прибавимъ отъ себи, что випо, чёмъ старѣе, тёмъ не только крѣпче, но и вкуснѣе и ароматнѣе. Продолжая сравненіе, начатое самимъ же поэтомъ, скажемъ, что послѣднія произведенія его, утративъ конфектиую сладость первыхъ, пріобрѣли вкусъ и благовонную букетистость дорогаго стараго вина...

«Анджело» составляеть переходь оть эпическихь поэмь къ драматическимь; по крайней мфрф, діалогь играеть въ этой піесф большую роль. «Анджело» быль принять публикою очень

сухо, и по дёломъ. Въ поэмѣ видио какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъ-то искусственна. Можно найдти въ «Анджело» счастливыя выраженія, удачные стихи, если хотите много искусства, но искусства чисто-техническаго, безъ вдохновенія, безъ жизни. Короче: эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдемъ къ драматическимъ опытамъ Пушкина, которые онъ столь блистательно началъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ». Драматическій элементъ сильно пробивался и въ первыхъ поэмахъ его — «Бахчисарайскомъ Фонтанъ», «Цыганахъ» и «Полтавь», такъ что по нимъ уже можно было видъть, что онъ можетъ пріобръсти такіе же успъхи и въ драматической поэзін, какіе пріобрѣлъ уже въ лирической и эппческой. Сцена изъ «Бориса Годунова», напечатанияя еще въ 1828 году, оправдала это ожиданіе. Въ 1829 году, во второмъ томъ «Стихотвореній Александра Пушкина», была напечатана «Сцена изъ Фауста». Это былъ не переводъ какого-ппбудь отрывка пзъ знаменитой драматической поэмы Гёте, но варьяція, разыгранная на ея тэму. Миогимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гётева «Фауста», поръшили, будто она лучше его. Дъйствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойками стихами, но между ею п Гётевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ппчего общаго. Она — не что иное, какъ развитие и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи «Демонъ». Этотъ демонъ былъ «довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ». Онъ соблазнялъ однихъ юношей,

> Въ тъ дни, когда имъ были *повы* Всъ впечатавнья бытія.

Поэтому, ему легко было подшучивать надъ ними, и они со страхомъ смотръли на него, ибо

Неистощимый клеветою, Онъ провидёнье искупаль; Онъ звалъ прекрасное мечтою; Онъ вдохновенье презпралъ; Не върплъ онъ любви, свободъ; на жизнь насмъшливо глядълъ — И инчего во всей природъ Благословить онъ не хотълъ.

«Печальны, говорить Пушкинь, были мои встрычи съ нимъ!» Знакомое съ демономъ другаго поэта, наше время съ улыбкою смотрить на Пушкинскаго чертёнка. И не диво: для кого существують истина, красота и благо, тъ не сомивваются тенерь въ ихъ существованіи; для кого же они не существують, тъ и не заботятся о нихъ. Но для первыхъ есть другой демонь, и если они знали его, —

Ихъ умъ, бывало, возмущаль Могучій образь; — межь пныхъ видъній, Какъ царь, измой и гордый, онъ сіялъ Такой возшебно-сладкой красотою. Что было страшио...

Это уже демонъ совстиъ другаго рода: отрицать все для одного отрицанія и существующее стараться представлять не существующимъ — для него было бы слишкомъ пошлымъ занятіемъ, которое онъ охотно предоставляетъ мелкимъ бъсамъ дурнаго топа, дъявольской черни и сволочи. Самъ же онъ отрицаетъ для утвержденія, разрушаетъ для созпданія; онъ наводитъ на человъка сомивніе не въ дъйствительности истины, какъ истины, красоты, какъ красоты, блага, какъ блага, но какъ этой истины, этой красоты, этого блага. Онъ не говоритъ, что петина, красота, благо—приграки, порожденные больнымъ воображениемъ человъка; но говоритъ, что иногда не все то нетина, красота и благо, что считають за истину, красоту и благо. Еслибъ онъ, этотъ демонъ отрицанія, не признавалъ самъ истины, какъ истины, что противопоставилъ бы опъ ей? во имя чего сталъ бы онъ отрицать ся существованіс? Но онъ тъмъ и страшенъ, тъмъ и могущъ, что едва родитъ въ васъ

сомивніе въ томъ, что досель считали вы непреложною истиною, какъ уже кажеть вамъ издалека идеаль повой истины. И пока эта новая истина для васъ только призракъ, мечта, предположеніе, догадка, предчувствіе, пока не сознали вы ея и не овладъли ею, — вы добыча этого демона, и должны узнать всъ муки неудовлетворяемаго стремленія, всю пытку сомивнія, всъ страданія безотраднаго существованія. Но въ сущности, это преблагопамъренный демонъ; если онъ и губитъ пногда людей, если и дълаетъ несчастными цълыя энохи, то не иначе, какъ желая лобра человъчеству и всегда выручая его. Это демонъ движенія, въчнаго обповленія, въчнаго возрожденія...

Этого демона Пушкинъ не зналь, и отъ того такъ заботился о родословныхъ вообще. Его Мефистофель, въ «Сценъ изъ Фауста», все тотъ же мелкій чертёнокъ, котораго воснъль опъ въ молодости подъ громкимъ именемъ «Демона». Это просто напросто острякъ произаго стольтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зъвоту и хорошій сопъ. Фаустъ Пушкина — не измученный неудовлетворенною жаждою знанія человъкъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ, ин homme blasé. Несмотря на то, піеса эта написана ловко и о́ойко, и потому читается легко и съ удовольствіемъ.

«Ппръ во время Чумы», отрывокъ изъ трагедіи Вильсона: «Тhe city of the plague», принадлежитъ къ загадочнымъ произведеніямъ Пушкина. Всёмъ извъстно, что «Скупой Рыцарь» — его оригинальное произведеніе, а онъ назвалъ его
отрывкомъ изъ траги комедіи Ченстона: «The coveteous Knigth»,
для того, какъ говорятъ, чтобъ посмотръть, какое дъйствіе
произведетъ на нашу публику это сочиненіе. Можетъ быть, и
Вильсонъ — родной братъ Ченстону, хотя и есть слухи, что
какъ Вильсонъ, такъ и піеса его — факты не вымышленные.

Какъ бы то ни было, но если піеса Вильсона такъ же хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этотъ Вильсонъ написалъ великое произведеніе. Можеть быть и то. что Пушкинъ только воспользовался идеею, воспроизведя ее по своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывокъ, а цілое, оконченное произведеніе. Основная мысль — оргін во время чумы, оргін отчаянія, темъ болте ужасная, чемъ болье веселая. Мысль по-петине трагическая! И какъ много выразилъ Пушкинъ въ этой маленькой поэм'в, какъ ръзко обрисованы въ ней характеры, сколько драматическаго движенія и жизни! Умилительная ивсия Мери, столь напвиая и изжная выраженіемъ, столь страшная содержаніемъ, производитъ на читателя невыразимое впечатлёніе. Какъ много страшнаго смысла въ просъбъ предсъдателя оргіп спъть эту пъсню! Но пъсня предсъдателя оргіп въ честь чумы — яркая картина гробоваго сладострастія, отчаяннаго веселья; въ ней слышится даже вдохновение несчастия и, можетъбыть, преступленія спльной натуры... Такіе переводы, если они и близко върны подлинникамъ, стоютъ оригинальныхъ произведеній. Не потому ли на Жуковскаго у наст никто не смотритъ какъ на переводчика, хотя и всё знаютъ, что лучшія его произведенія—переводы?

«Моцартъ и Сальери» — цёлая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная нечатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея — вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильною страстью къ искусству и къ славѣ. Любя искусство для искусства, они приносятъ ему въ жертву всю жизнь, всѣ радости, всѣ надежды свои; съ невъроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойдти въ рабство, закабалить себя на нѣсколько лѣтъ какому-инбудь художнику, лишь-бы

онь открыль имь тайны своего искусства. Если такой человъкь положительно бездарень и ограничень, изъ него выходить самодовольный Тредьяковскій, который и живеть и умираеть съ убъжденіемъ, что онъ — великій геній. Но если это человъкъ дъйствительно съ талантомъ, а главное — съ замъчательнымъ умомъ, съ способностию глубоко чувствовать, нонимать н цёнить искусство — изъ него выходитъ Сальери. Для выраженія своей пден, Пушкинъ удачно выбралъ эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извъстнаго лица, онъ могъ сдълать что ему угодно; но въ лицъ Моцарта онъ исторически удачно выбраль безпечнаго художника, «гуляку празднаго». У Сальери своя логика; на его сторонъ своего рода справедливость, нарадоксальная въ отношенін къ истинъ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, невознагражденной славою. Изъ всихъ болизненныхъ стремленій, страстей, страпностей, самыя ужасныя тв, съ которыми родится человакъ, которыя, какъ проклятіе, получилъ онъ при рождении вмъстъ съ своею кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человъкъ — всегда лицо трагическое; онъ можетъ быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смішонъ. Его страсть — родъ помѣшательства при здравомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ любитъ музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ поняль, что Модартъ — геній, и что опъ, Сальери, пичто передъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и никому не завидовалъ. Пріобритенная имъ слава была счастіемъ его жизни; онъ ничего больше не требовалъ у судьбы, — и вдругъ, видитъ онъ «безумца, гуляку празднаго», на челъ котораго горитъ помазаніе свыше...

О пебо! Гдѣ жь правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній—не въ награду Любви горящей, самоотверженья,

Трудовъ, усердія, моленій послань — А озаряєть голову безумца, Суляки празднаго?... О, Моцарть, Моцарть!

Моцартъ является со всею простотою, веселостью, шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всёхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію неподозрѣвающій со станшаго величія, или невидящій въ пемъ пичего особеннаго. Опъ приводить съ собой къ Сальери слѣпаго скрипача-нищаго и велить ему сыграть что-инбудь изъ Моцарта. Сальери въ бкшенствъ на эту профанацію высокаго искусства. Моцартъ хохочеть какъ шаловливый ребенокъ, потомъ пграетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ безсонную почь. — п Сальери восклицаетъ въ ревнивомъ восторгъ:

Tы, Моцартъ, богъ, и самъ того незнаешь, $m{H}$ знаю, $m{n}$!...

Моцартъ отвъчаетъ ему напвно:

Ба! право? можетъ быть... Но божество мое проголодалось.

Замётьте: Моцартъ не только не отвергаетъ подносимаго ему другими титла генія, по и самъ называетъ себя геніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово «геній» ни по чемъ; скажите ему, что онъ геній, онъ преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній,—онъ согласится и съ этимъ, и въ обонхъ случаяхъ равно искренно. Въ лицѣ Моцарта, Пушкинъ представилъ типъ пеносредственной геніяльности, которая проявляетъ себя безъ усилія, безъ разсчета на усиѣхъ, нисколько пе подозрѣвая своего величія. Нельзя сказать, чтобъ всѣ генін были таковы; но такіе особенно певыносимы для талантовъ въ родѣ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная твор-

ческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому, самая простота Моцарта, его песпособность цънить самого себя, еще больше раздражають Сальери. Онъ пе тому завидуетъ, что Моцартъ выше его, — превосходство онъ могъ бы вынести благородно, потому что онъ ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ геній, а талантъ передъ геніемъ — ничто... И вотъ онъ твердо ръшается отравить его. «Иначе» говоритъ онъ: «мы всъ погибли, мы всъ жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще житъ? Въдь онъ не подыметъ искусства еще выше? Въдь оно онять падетъ послѣ его смерти?» Вотъ она, логика страстей!...

За объдомъ, въ трактиръ, Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого то отравилъ. Какъ истинный Итальянецъ, Сальери отвъчаетъ, что едва ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смъшонъ для такого ремесла. Моцартъ дълаетъ при этомъ напвное замъчаніе:

Онъ же геній, Какт ты, да л. А геній и злодъйство Двъ вещи несовмъстныя. Не правда ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знапіемъ человъческаго сердца. Въ простодушныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдалъ Сальери. Онъ зналъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говоритъ, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что, слѣдовательно, онъ, Сальери, не геній. А! такъ я не геній? Вотъ же тебѣ,—и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выцилъ, Сальери какъ-бы съ смущеніемъ и ужасомъ восклицаетъ:

Постой, Постой!... ты выпиль!... безъ меня?

Это опять истинио-драматическая черта! Но вотъ одна изъ

тъхъ смелыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе человъческаго сердца чертъ, которыя никогда не могутъ прійдти въ голову таланту, всегда живущему «плънной мысли раздраженьемъ», и на которыя онъ никогда не ръшется, еслибъ онъ и могли прійдти къ нему: это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Этп слезы
Впервые лью: и больно и пріятно,
Какь будто тяжкій совершиль я долгь,
Какь будто ножь цёлебный миё отсёкъ
Страдавшій члень! Другъ Моцарть, эти слезы...
Не замъчай ихъ. Продолжай, спёшн
Еще наполить звуками миё душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какою то даже итжностію къ Моцарту! «Другъ Моцарть»: видите ли, убійца Моцарта любитъ свою жертву, любитъ ее художественною половиною души своей, любитъ ее за то же самое, за что и пенавидитъ... Только великіе, геніяльные поэты умілотъ находить въ тайникахъ человъческой натуры такія странныя, по-видимому, противорічія, и изображать ихъ такъ, что они становятся намъ понятными безъ объясненій...

Последній слова Сальери, когда, по уходе Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляютъ и замыкаютъ въ самой себе сцену:

Ты заснень Надолго, Моцарть! Но ужель онъ правъ, И я не геній? Геній и злодъйство Двѣ вещи несовиѣстныя. Не правда: А Бонаротти? Или это сказка Тупой, безсмысленной толим—и не быль Убийцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно-художественной формѣ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ

другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаеть насъ своею песоразмърностью съ нашими силами. Ничего нътъ легче, какъ говорить о слабомъ произведении, или открывать слабыя стороны хорошаго; ничего нътъ трудите, какъ говорить о произведении, которое велико и въ цъломъ и въ частяхъ! Къ такимъ принадлежатъ: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость» и «Русалка». о которыхъ, за исключениемъ перваго, еще никъмъ изъ нашихъ журналистовъ и критиковъ досель не сказано ни одного слова...

Нечего говорить объ идей поэмы «Скупой Рыцарь»: опа слишкомъ ясна и сама по себъ п по названію поэмы. Страсть скупости — идея не новая, но геній ум'єсть и старое сділать новымъ. Идеалъ скупца одинъ, но типы его безконечно различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ — это лицо комическое; Баронъ Пушкина ужасенъ — это лицо трагическое. Оба опи страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера — риторическое олицетворение скупости, каррикатура, памфлетъ. Нётъ, это лица страшно пстинныя, заставляющія содрогаться за человъческую природу. Оба они пожираемы одною гнусною страстью, и все-таки инсколько одинъ на другаго не похожи, потому что и тотъ и другой — не аллегорическое олицетворение выражаемой ими иден, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина — лицо трагическое. Альберъ говоритъ Жиду: когда мив будетъ патьдесять летъ, на что мнъ тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги? — Деньги
Всегда, во всякій возрасть намь пригодны;
Но юноша въ нихъ ищетъ слугъ проворныхъ,
И не жалъя плетъ туда, сюда;
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей надежныхъ,
И бережетъ ихъ какъ зъницу ока.

Альберъ.

О! мой отенть не слугъ и не друзей Въ нихъ видитъ, а господъ; и самъ имъ служитъ. И какъ же служитъ? какт алжирскій рабъ, Какъ пест цъппой. Въ петопленой канурть Живетъ, пьетъ воду, пьстъ сухіл корки, Вею ночь не спитъ, все бъгаетъ да лаетъ.

Въ этомъ портретъ мы видимъ лицо чисто-комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдъ этотъ скряга любуется своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтическаго факела освътитъ намъ мрачныя бездпы сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть своя логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баропъ восклицаетъ:

Что не подвластно мнъ... Какъ нъкій демонъ Отсель править міромъ я моку: Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; Въ великолъшные мои сады Сотгутся нимфы развою толною; И чузы дань свою мив принесуть, И вольный геній мив поработител, И добродитель и безсонный трудъ Смиренно будуть ждать моей награды; Я свисну-и ко мню послушно, робко Вползеть окровавленное злодыйство, И руку будеть минь лизать, и въ очи Смотреть, въ нихъ знакъ моей читая воли. Мит все послушно, я же — ипчему; Я выше встать желаній; я спокоень; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья...

Ужасно, потому что истипно! Да, въ словахъ этого отверженца человъчества, къ несчастію все истинно, кромъ того, что не въ его воль пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за порокъ скупости. Скупецъ раскрываетъ всъ свои сундуки и зажига.

еть (ужасное мотовство!) по свъчь передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видъ освъщенныхъ грудъ золота, онъ приходитъ въ сатанинскій восторгъ, и въ патетической рѣчи обнажаєть передъ нами страшныя тайны страшньйшей изъ человъческихъ страстей. Золото—кумиръ этого человъка, онъ исполненъ къ нему піэтическаго чувства, говорить о немъ языкомъ благоговънія, служитъ ему, какъ преданный, усердный жрецъ! Расточить его наслъдство, по его митыйо, значитъ: разбить священные сосуды, напонть грязъ парскимъ елеемъ... Онъ смотритъ еще на золото, какъ молодой, пылкій человъкъ на женщину, которую онъ страстио любитъ, обладаніе которою онъ купилъ цъною страшнаго преступленія и которая тъмъ дороже ему. Онъ хотълъ бы спрятать ее отъ «недостойныхъ взоровъ», его ужасаетъ мысль, чтобы она не принадлежала кому-инбудь послъ его смерти...

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположению, по страшной силъ паооса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотъ и оконченности, — словомъ, по всему, эта драма — огромное, великое
произведение, вполнъ достойное гения самого Шекспира.

Изъ міра срединхъ въковъ Западной Европы, пзъ міра рыцарей и феодальныхъ рабовъ, перейдемъ въ міръ древней Руси, міръ полу-историческій, міръ полу-сказочный. Говорятъ, будто «Русалка» была инсана Пушкинымъ, какъ либретто для оперы. Еслябы это было и правда, то хотя самъ Моцартъ написалъ бы музыку на эти слова, — опера не была бы выше своего либретто, — тогда какъ до сихъ поръ лучшія оперы писаны на глупъйшія и пошльйшія слова... Но это предположеніе едва ли основательно. За исключеніемъ двухъ хоровъ русалокъ и одной свадебной пъсни, да голоса невидимой русалки на свадебномъ пиру, вся піеса писана пятистопнымъ ямбомъ, слишкомъ длиннымъ и однообразнымъ для пънія.

THE STATE OF THE S

Въ фантастической формъ этой поэмы скрыта самая простая мысль, разсказана самая обыкновенная, но тъмъ болье ужасная исторія. Мельникъ, человъкъ не злой, не развратный, по слабый сколько по любви къ дочери, столько, можетъ-быть, и но страху къ княжескому могуществу, сквозь нальцы смотрѣлъ на связь своей дочери съ княземъ. Какъ человъкъ хладно-кровный, какъ мущина, онъ тотчасъ же понялъ, почему посъщенія князя на его мельницу сдълались ръже, и, видя, что стараго ужь не воротить, совътуетъ дочери воснользоваться хоть матеріяльными выгодами этой связи. Но дочь — существо любящее и страстное, привязчивое, слъдовательно, обреченное на несчастіе и гибель, — и върить не хочетъ, чтобъ ея любезный охладъль къ ней. Она говоритъ:

Онъ занять; мало ль у него заботы? Въдь онъ не мельникь: за него не станеть Вода работать! Часто онъ твердить, Что всъхъ трудовъ его труды тлжеле.

Мельникъ.

Да, върь ему. Когда князья трудятся? И что ихъ трудъ? травить зисицъ и зайцевъ, Да пировать, да собпрать сосъдей, Да подговаривать васъ бъдныхъ дуръ. Онъ самъ работаеть — куда какъ жалко!

Но слышится топотъ коня — и бъдная женщина все забыла. Она видитъ, что князь печаленъ, но не умъетъ, не можетъ понять сразу, отчего такъ тревожитъ ее эта печаль. Онъ объясияется съ нею довольно осторожно, но тъмъ не менье ясно: онъ женится на другой: онъ князь, — онъ не воленъ въ выборъ невъсты... Она оцтненъла, а онъ, близорукій мущина, радехонекъ, что дъло обошлось безъ бури, не понимая, что эта тишина страшнъе всякой бури, — и на полумертвую надъваетъ онъ повязку и ожерелье, даетъ ей для отца мъшокъ денегъ и хочетъ уйдти...

Онл.

Постой, тебъ сказать должна я — Не помию что.

Киязь.

Припомии.

Она.

Для тебя

Я все готова... Нътъ не то... Постой... Нельзя, чтобы на въки въ самомъ дъяв, Меня ты могъ покипуть... Все не то... Да, всиомнила: сегодня у меня Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельпулся...

За этою страшною, трагическою сценою слёдуетъ другая, неменъе ужасная. Подарки киязя глубоко оскорбили несчастную. Она отдаетъ отцу его мъщокъ съ деньгами.

Да, бишь, забыла я; тебѣ отдать
Велѣль онь это серебро за то,
Что быль хорошь ты до него, что дочку
За нимь пускаль таскаться, что ее
Держаль не строго... Въ прокъ тебѣ пойдеть
Моя погибель!...

Мельникъ (съ слезахъ). До чего я дожилъ! Что Богъ привелъ услышать!

Бъднякъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ... несчастная бросилась въ Днъпръ... Мы на свадьбъ, картина которой съ удивительною върностью передана поэтомъ во всемъ ея простодушін старинныхъ русскихъ нравовъ. Хоръ дъвушекъ — прелесть... Вдругъ, среди напвиаго веселья, раздается фантастическій голосъ...

По камушкамъ, по желтому песочку Пробъгала быстрая ръчка; Въ быстрой ръчкъ гуляютъ двъ рыбки, Двъ рыбки, двъ малыя плотицы. А слыхала ль ты, рыбка-сестрица, Про въсти-то наши, про ръчныя?

Какъ вечоръ у насъ красная дъвица утопилась, Утопая, милаго друга проклинала?

Общее смятеніе. Киязь велить конюшему отыскать мельничиху; ея, разумбется, не находять...

Прошло двінадцать літь. Княгиня жалуется на охлажденіе къ ней мужа; няня утішаеть ее; не подозрівая, что въ грубой и невіжественной простоті ея добродушныхъ словъ скрывается ужасная, роковая истина:

Кнагинюшка! мущина, что ивтухь:
Кури-куку! махъ, махъ крыломъ—и прочь,
А женецина—что бъдная насъдка:
Сиди себъ да выводи цыплятъ.
Нока женихъ—ужь онъ не насидится.
Ни ньетъ, ин ъстъ, глядитъ не наглядатся:
Женился—и заботы настаютъ:
То надобно сосъдей навъстить,
То на охоту ъхать съ соколами,
То на войну нелегкая несетъ,
Туда, сюда—а дома не сидится.

Не есть ли это заксиная кара сильному полу за беззаконное рабство, въ которомъ онъ держитъ слабый полъ? Такъ, по крайпей мъръ, можно думать по окончанію любовныхъ похожденій героя поэмы, этого русскаго допъ-Хуана... Наскучивъ женою, онъ вспомпилъ о прежией любви, раскаялся, какъ въглупости, что бросилъ дочь мельника, не понимая, что она потому только стала ему мила, что ея нътъ съ нимъ, что его жена уже не мпла ему...

Сцена на берегу Дивира. Ночь. Раздается хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фантастически-дикимъ паеосомъ oprin Valse infernal изъ «Роберта Дьявола»:

Веселой толпою Съ глубокаго дна Мы почью всплываемъ; Насъ гръстъ луна.

Любо намъ ночной порою Дно ръчное покидать, Любо вельной головою Высь ръчную разръзать. Подавать другь дружит голось, Воздухъ звонкій раздражать, П зеленый, влажный волось Въ немъ супить и отряхать. Одна.

Тише! птичка подъ кустами Встрепенулася во мглъ.

Другая. Между мъсяцемь и нами Кто-то ходить на землъ.

Этотъ «кто-то» — князь, котораго влекутъ къ этимъ мѣстамъ воспоминанія прежней счастливой любви. Вдругъ онъ встръчается съ отцомъ погубленной имъ дъвушки.

Старикъ. Здорово,

Здорово, зять!

ово, закы Килзь.

Кто ты?

Старикъ.

И здъшній воронъ.

Князь.

Возможно дь? это медьникъ!....

Старикъ.

Какой я мельникъ! Говорять тебв, Я воронъ, а не мельникъ. Чудный случай: Когда (ты номвишь?) бросилась она Въ ръку, я нобъжать за нею слъдомъ И съ той скалы спрыгнуть хотъль, да вдругъ Иочувствоваль: два сплыныя крыла Миъ выросли внезапио изъ-подъ мышекъ И въ воздухъ сдержали. Съ той поры То здъсь, то тамъ летаю, то клюю Корову мертвую, то на могилъ Сижу да каркаю.

Отосланиая княземъ свита является опять къ нему, по приказацію обезнокоенной княгини. Это вниманіе со стороцы уже нелюбимой имъ жены раздражаетъ его, и досада его изливается обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и тѣмъ же, съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ существуютъ въ немъ охладѣлые любовники и постоянныя любовницы, и наоборотъ:

> Несносна Ел заботливость! Иль я ребенокь, Что шагу мив нельзя ступить безъ няньки?

Въ последней сцепе, князь встречается съ своею дочерьюрусалкою, которая послана матерью уловить его... Какъ жаль,
что эта ніеса не кончена! Хотя ея конецъ и понятенъ: князь
долженъ погибнуть, увлеченный русалками на дно Днепра.
Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными
образами все это было сказано у Пушкина — и все это погибло для насъ!.. «Русалка» въ особенности обнаруживаетъ
необыкновенную зрелость таланта Пушкина: великій талантъ
только въ эпоху полнаго своего развитія можетъ въ фантастической сказкт высказать столько обще-человеческаго, действительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаешь читать совсёмъ не сказку, а высокую трагедію...

Теперь мы приблизились къ перлу созданій Пушкина, къ богаткійнему, роскошивійнему алмазу въ его поэтическомъ вънкъ... Для кого существуеть искусство какъ искусство, въ его идеаль, въ его отвлеченной сущности, для того «Каменный Гость» не можеть не казаться, безъ всякаго сравненія, лучшимъ и высшимъ, въ художественномъ отношеніи, созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между идеею п формою! какой стихъ, прозрачный, мягкій и упругій, какъ волна, благозвучный какъ музыка! какая кисть, широкая, смълая, какъ-будто небрежная! какая антично-благородная простота

стиля! какія роскошныя картины волшебной страны, гдѣ ночь лимономъ и лавромъ пахнетъ! Принимаясь перечитывать это чудное созданіе искусства, восклицаешь мысленно къ поэту:

Благословенный край, плънительный предъль!
Тамъ давры зыблются, тамъ апельсины зръють...
О, разскажи жь ты намъ, какъ жоны тамъ умѣютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки,
Какъ златомъ усмиленъ надзоръ ревинвой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ, подъ окномъ,
Трепещетъ и кипитъ, окутаниый плащомъ...

Такая тэма не можеть пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихь, она не имбеть ровно никакой цёны; для понимающихь пе возможно любить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхь много, послёднихъ мало, и потому она существуеть для немпогихъ...

Герой ея — лицо миоическое, испанскій Фаусть. Идея донь-Хуана могла родиться только въ странѣ, гдѣ жить значить любить и драться, а быть счастливымъ и великимъ, значить быть любимымъ и храбрымъ, — въ странѣ, гдѣ религіозность доходитъ до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до изступленія, гдѣ романическая настроенность дѣлаетъ героемъ и кавалера и разбойника. Но донъ-Хуанъ, такой, какимъ является онъ у Пушкина, не изступленый любовникъ, не мрачный дуэлистъ: онъ одаренъ всѣмъ, чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетворенію своихъ желаній. Красавецъ собою, стройный, ловкій, онъ весель и остёръ, искрененъ и лживъ, страстенъ и холоденъ, уменъ и новъса, красноръчивъ и дерзокъ, храбръ, смѣлъ, отваженъ. Какъ во всякой высшей натурѣ, въ немъ есть что то импонирующее. Можетъ-быть, это сила его воли,

шпрокость и глубина его души. Для него жить значить наслаждаться; носреди своихъ нобѣдъ, онь сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперника въ честномъ бою и насладиться любовью въ присутствіи трупа, ему ровно ничего не значитъ. Онъ вѣритъ въ свою звѣзду, и потому на всякаго, кто вызоветъ его, смотритъ заранѣе какъ на убитаго. Такіе люди онасны для женщинъ, и не знаютъ, что такое неуспѣхъ въ любви, или волокитствѣ. Женщина больше всего обожаетъ въ мущинѣ силу, мужественность, могущество. Она любитъ, чтобъ онъ былъ съ нею не только нѣженъ, но и дерзокъ. Донъ-Хуанъ имѣетъ въ себѣ все это. Въ глазахъ женщины, опъ левъ между мущинами, не въ новѣйшемъ, пошломъ значеніи этого слова, означающаго франта и модинка, а въ смыслѣ превосходства храбрости и мужества.

Донъ-Хуанъ является ночью въ Мадритъ. Изъ его разговора съ слугою мы узнаёмъ, что онъ былъ въ ссылкъ за дуэль и воротился тайкомъ. Онъ спрашиваетъ у Лепорелло, могутъ ли узнать его?

Да, донъ-Хуана мудрено признать! Такихъ, какъ онъ, такая бездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видио ясно, что такое донъ Хуанъ для всего Мадрита. Мъсто, въ которомъ они находились въ то время, напоминаетъ донъ-Хуану женщину, которую онъ, кажется, любилъ больше другихъ, — и онъ говоритъ задумчиво:

Бъдная Инеза! Ее ужь нътъ! Какъ я любилъ ее!

Чудную пріятность Я находиль въ ея печальномъ взорѣ И помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно. Ты, кажется, ее не находилъ Красавицей. И точно,—мало было Въ ней истинно прекраснаго. Глаза, Один глаза, да взглядъ... такого взгляда Ужь никогда я не встрвчалъ. А голосъ У ней быль тихъ и слабъ, какъ у больной; А мужъ ел быль негодяй суровый — Узналъ я поздно... Бъдная Инеза!

Въ этихъ немногихъ стихахъ цёлый портретъ женщины, вся исторія ея жизни... Самое воспоминаніе о ней, столь полное любви и грусти, уже говоритъ какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умѣла привязать къ себѣ такого человѣка. Но грусть воспоминанія не долго занимаетъ донъ-Хуана.

Авпорелло.
Что жь? всябдь за ней другія были.
Донъ-Хуанъ.
Правда.
Лепорелло.
А живы будемъ, будутъ и другія.
Донъ-Хуанъ.
И то.

На этотъ разъ, опъ хочетъ идти къ Лауръ. Но является монахъ и отъ него наши авантюристы узнаютъ, что на монастырское кладбище сейчасъ должна прійдти доньа-Анна, чтобъ плакать на могилъ своего мужа, убитаго нашимъ героемъ. Донъ-Хуанъ успълъ замѣтить только ея узенькую пожку; но этого довольно для него, чтобъ ръшиться узнать ее покороче; а нока онъ спъшитъ къ Лауръ.

Лаура — актрисса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней нѣтъ притворства и лицемѣрія; она вся наружѣ. Молодая и прекрасная, она пе думаетъ о будущемъ и живетъ для настоящей минуты. Она вѣчно окружена мущинами и обходится съ ними безъ церемоній, пногда даже съ какимъ то граціознымъ цинизмомъ. У ней гости; они въ востортѣ отъ ея игры въ этотъ вечеръ; только одинъ между ними мраченъ. Это донъ-

Карлосъ, у котораго донъ-Хуанъ убилъ брата. Она сиѣла пѣсню («Я здѣсь Инезилья») и сказала, что эту пѣсню сочиниль «ен вѣрный другъ, ен вѣтреиный любовникъ» донъ-Хуанъ. Это имя приводитъ донъ-Карлоса въ бѣшенство, и онъ ругаетъ его безбожникомъ и мерзавцемъ, а ее—дурою. Она грозитъ велѣть слугамъ своимъ зарѣзать его; по онъ успоконвается, и они мирятся. Гости уходятъ, и она говоритъ Карлосу:

Ты, бъшеный, останься у меня. Ты мнъ понравился; ты донь-Хуана Напомнилъ мнъ, какъ выбранилъ меня И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.

Оставшись съ нею, Карлосъ, вивсто лести и любезности, заводитъ мрачные разговоры; теперь ты молода, говоритъ онъ ей: окружена поклонниками, а лѣтъ черезъ шесть, когда глаза твон впадутъ и сѣдина блеснетъ въ косѣ, что тогда съ тобою будетъ? — Этотъ человѣкъ тоже истый Испанецъ, какъ и донъ-Хуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ изединѣ съ прекрасною женщиной, которая сказала ему, что она его любитъ; къ старости же, изъ него былъ бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ уоѣжденіемъ и спокойною совѣстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ наслажденіемъ бичевалъ бы самого себя... Лаура въ старости сдѣлалась бы дуэньею и мастерски помогала бы ввѣренной ея бдительности женѣ проводить за носъ мужа, а, можетъ быть, пошла бы и въ монастырь; но пока она не хочетъ слышать о вздорѣ — о будущемъ...

Является донъ-Хуанъ; Лаура въ радости бросается ему на шею; Карлосъ вызываетъ его — и падаетъ мертвый.

Донъ-Хуанъ. Вставай, Лаура, кончено. Лаура. Что тамъ? Убить? Прекрасно! въ компатъ моей! Что дълать миъ тенерь, повъса, дьяволь? Куда я выброну его?

Донъ-Хуанъ. Быть-можетъ,

Онъ живъ еще.

JAYPA.

Да! живъ! гляди, проклятый,
Ты прямо въ сердце ткиулъ — небось, не мимо.
И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки,
А ужь не дышетъ — каково?

Въ слъдующей сценъ, донъ-Хуанъ, въ монашеской рясъ, уже разговариваетъ съ доньей-Анною. Она проситъ его соединить молитвы съ ея молитвами.

Мив, мив молиться съ вами, донна Анна! Я не достоннъ участи такой. Я не дерзну порочными устами Мольбу святую вашу повторять; Я только издали съ благоговъньемъ Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо, Вы кудри черныя на мраморъ блыдиый Разсыплете — и мнится мив, что тайно Гробницу эту ангелъ носътиль; Въ смущенномъ сердцъ я не обрътаю Тогда моленій. Я дивлюсь безмолопо И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ Согрътъ ея дыханіемъ небеснымъ И окропленъ любви ея слезами.

Что это — языкъ коварной лести, или голосъ сердца? Мы думаемъ, и то и другое вивств. Отличіе людей такого рода, какъ доцъ-Хуанъ, въ томъ и состоитъ, что они умвютъ быть искреино-страстными въ самой лжи и непритворно холодиыми въ самой страсти, когда это нужно. Донъ-Хуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами: не онъ у нихъ, а они у пего во власти и служатъ ему къ достиженію цъли. Донъ-Анна изумлена странностію такихъ ръчей въ устахъ

монаха; но допъ-Хуанъ идетъ далве и съ изумительною дерзостью признается ей, что опъ не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ именемъ. Сцепа эта ведена съ непостижимымъ искусствомъ. Допья-Анна гонитъ его прочь, а между тъмъ хочетъ знать, кто же опъ, и чего онъ требуетъ...

Смерти!
О, пусть умру сейчась у вашихь погъ,
Пусть бъдный прахъ мой здъеь же полоронать,
Не подлъ праха милаго для влаз,
Не туть — не близко — далъ гдъ-инбудь,
Танъ — у дверей — у самаго порога,
Чтобъ камия моего могли коспуться
Вы легкою погой или одеждой,
Когда сюда, на этогъ гордый гробъ
Придете кудри паклонять и плакать...

Донья-Анна защищается все слабъе и слабъе; у ней вырывается кокетливый вопросъ: «И любите давио уже вы меня?» Самолюбіе ея затронуто — до сердца недалеко..., Она назначила ему свиданіе у себя дома, завтра вечеромъ...

Донья-Апна — такъ же истая Испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родъ. Та — баядера европейскихъ обществъ, а эта — ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лицемърною и пріученная къ лицемърству. Она девотка; посъщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (суроваго старика, за котораго вышла насильно и котораго ипкогда пе любила) — суть единственная отрада, единственное утъщеніе ея, бъдной, безутъщной вловы... Но она женщина, и притомъ южная; страсть у нея — дъло минуты, и ни позоръ общественнаго миъпія, ин лютая казнь не номъщають ей отдаться внолить тому, кто умъль заставить ее полюбить...

Донъ-Хуанъ въ восторгъ отъ своего успъха. Хоть онъ и привыкъ къ побъдамъ, но эту онъ считалъ трудите, чтиъ оказалось, потому что донья - Анна возбудила въ немъ сильную

страсть. Повъса, въ радости своей, велить Лепорелло звать статую командора къ доньъ-Анив на завтраший вечеръ. Статуя киваетъ головою въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасъ. Донъ-Хуанъ самъ зоветъ ее — и съ ужасомъ видитъ, что она кивиула и ему...

Но донъ-Хуанъ пе такой человъкъ, чтобъ что-инбудь могло остановить его. Опъ у вдовы. Ръчи его страстиы, иъжны, льстивы, вкрадчивы; искусно съумълъ онъ, возбудивъ ея женское любонытство, объявить доньъ-Аннъ собственное имя... Онъ кочетъ, чтобъ его любили для него самого, чтобъ его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она уже любитъ его, и его дерзость еще больше увлекаетъ ее. Не тороиясь глупо, онъ проситъ на разставанье только одного холодиаго и мириаго поцълуя — и получаетъ поцълуй... Но вотъ входитъ статуя, съ словами: «Я на зовъ явился».

Донъ-Худиъ. О, Боже! дона Анна! Статуя

Брось ее: Все кончено. Дрожинь ты, донъ-Хуанъ?

Донъ Хуанъ. Я? пъть! я зваль тебя, и радъ, что вижу. Статуя.

Дай руку.

Донъ-Хуанъ.

Вотъ она... о, тяжело
Пожатье каменной его десинцы!
Оставь меня, пусти, пусти мнѣ руку!...
Я гибиу — кончено — о, дона Аниа!...

Опъ провадивается. Это фантастическое основаніе поэмы на вмізмательствіз статун производить непріятный эффекть, потому что не возбуждаеть того ужаса, который обязано бы возбуждать. Въ наше время, статуй не боятся, и впізшнихъ развязокъ, deus ex machina, не любять; но Пушкинъ былъ свя-

занъ преданіемъ в оперою Моцарта, неразрывною съ образомъ донъ-Хуана. Дълать было печего. А драма непремънно должна была разрішиться трагически — гибелью допъ-Хуана; ниаче она была бы веселою новъстью — не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ея основаніи. Что такое донъ-Хуанъ? — Каждый человъкъ, чтобъ жить не одною физическою жизнію, но и правственною вийстй, должень имить въ жизни какой-иноудь интересъ, что-иноудь въ родъ постоянной склонности, влеченія къ чему-инбудь. Иначе жизнь его: бу детъ или неполна, или пуста. Въ людяхъ высшей природы, этотъ интересъ, эта склонность; это влечение проявляются какъ могущественная страсть, составляющая ихъ силу. Одинъ находить свою страсть, навось своей жизни, въ наукъ, другой — въ искусствъ, третій — въ грамданской діятельности, и т. д. Донъ-Хуанъ посвятилъ свою жизнь наслаждению любовью, не отдаваясь, однакожь, ни одной женший псилючительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мущинъ невозможно наполнить всю жизнь свою одною любовью, - его одностороннее стремление не могло не обратиться въ безиравственную крайность, потому что, для удовлетворенія ея, онъ долженъ быль губить женщинь, по ихъ положению въ обществъ, - п онъ сдвлалъ себв изъ этого ремесло. Оскорбление не условной, но истично-нравственной идеи всегда влечетъ за собою наказаніе, разумфется, нравственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ донъ-Хуану могла бы быть истинная страсть къ женщинъ, которая пли не раздъляла бы этой страсти, или сдълзлась бы ен жертвою. Кажется Пушкинь это и думаль сделать: по крайней мере, такъ заставляеть думать последнее. изъ глубины души вырвавшееся у донъ-Хуана восклицаніе: «О, донна Анна!», когда его увлекаеть статуя; но эта статуя портить все дёло, въ чемъ, какъ мы замётили выше, нашъ поэтъ не виноватъ инсколько.

Итакъ, песмотря на это, «Каменный Гость», въ художественномъ отношенія, есть лучшее созданіе Пушкина, — а это много, очень много!

«Сцены изъ Рыцарскихъ Временъ» представляють мѣщанина, возгнушавшагося своимъ состояніемъ, и желавшаго попасть въ благородице, а между тѣмъ чуть не понавшагося на висѣлицу. Такія исторіи случались въ средніе вѣка, и Пушкинъ мастерски изложилъ одиу изъ имхъ въ формѣ сценъ, инсанныхъ прозою. Однакожь, эти сцены не имѣютъ достоинства глубокой иден, которую поэтъ скорѣе бы могъ найдти въ борьбъ общинъ противъ феодаловъ... Впрочемъ, въ этихъ сценахъ есть превосходная пѣсия («Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный»), въ которой сказано больше, нежели во всей цѣлости этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: «О царѣ Салтанѣ», «О мертвой царевиѣ и о семи богатыряхъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работинкѣ его Балдѣ», были илодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и питересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ», о которой мы не уномянули въ числѣ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ исключеніе, потому что въ ней есть положительныя достопиства. Это не народная сказка: пароду принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, разсказъ, стихъ, самый колоритъ, — все принадлежитъ поэту.

Повъсти въ прозъ Пушкина, хотя и далеко не могутъ равняться въ достопиствъ съ лучшими стихотворными его произведеніями даже перваго періода его дъятельности, однако тъмъ неменъе принадлежатъ къ замъчательнымъ произведеніямъ русской литературы. Первый его опытъ въ этомъ родъ напечатанъ былъ въ «Съверныхъ Цвътахъ» на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Историческаго Романа». Въ X томъ

полнаго собранія его сочиненій напечатано шесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ: «Арапъ Петра Великаго». Въ «Съверныхъ Цвътахъ» IV-я глава напечатана не внолит; но это едва ли не интереснъйшій отрывокъ изъ всёхъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорошо, какъ начать, мы имъли бы превосходный историческій русскій романъ, пзображающій нравы величайшей эпохи русской исторіп. Поэтъ, въ числе действующихъ лицъ своего романа, выводитъ въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россіи, во всей народной простоть его пріемовь и обычаевь. Не понимаемь, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Опъ имълъ время кончить его, нотому что IV-я глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всъ исторические романы гг. Загоскина и Лажечинкова, непзитримо выше и лучше всякаго исторического русского романа, порознь взятого, и встхъ ихъ, вийсти взятыхъ. Передъ нимп, передъ этимп семью главами неоконченнаго «Арана Петра Великаго», бъдны и жалки повъсти г. Кукольника, содержаніе которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и которыя все-таки не лишены достопнства. Но это вовсе не похвала «Арацу Петра Великаго»: великому небольшая честь быть выше пигмеевъ, -- а больше его у пасъ не съ къмъ сравнивать.

Въ 1831-мъ году вышли «Повъсти Бълкпна», холодио припятыя публикою, и еще холодиве журналами. Дъйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было инчего хорошаго, все-таки эти повъсти были недостойны ин таланта, ин имени Пушкина. Это что-то въ родъ повъстей Карамзина, съ тою только разницею, что повъсти Карамзина имъли для своего времени великое значение, а повъсти Бълкина были пиже своего времени. Особенио жалка изъ нихъ одна—«Барышня-Крестьянка», неправдоподобиая, водевильная, представляющая помъщичью жизнь съ идиллической точки арвия...

«Пиковая Дама»—собственно не повъсть, а мастерской разсказъ. Въ ней удивительно върно очерчена старая графина, ея восинтанинца, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эго-истическій характеръ Германа. Собственно, это не повъсть, а анекдотъ: для повъсти, содержаніе «Пиковой Дамы» слишкомъ исключительно и случайно. Но разсказъ, повторяемъ, верхъ мастерства.

«Капитанская дочка»—нечто въ роде «Опетина» въ прозе. Поэтъ изображаетъ въ ней нравы русскаго общества въ царствование Екатерины. Многія картины, по верности, истине содержанія и мастерству изложенія—чудо совершенства. Таковы портреты отца в матери героя, его гувернёра-Француза и, въ особенности, его дядьки изъ исарей, Савельича, этого русскаго Калеба,—Зурина, Мпронова и его жены, ихъ кума Ивана Игпатьевича, наконецъ самого Пугачева, съ его «госнодами енаралами»; таковы многія сцены, которыхъ, за ихъ множествомъ, не находимъ нужнымъ пересчитывать. Ничтожинй, безцвётный характеръ героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны, и мелодраматическій характеръ Швабрина, хотя принадлежатъ къ резкимъ недостаткамъ повёсти,—одиакожь не мёшаютъ ей быть однимъ изъ замёчательныхъ произведеній русской литературы.

«Дубровскій»—репапт къ «Капитанской Дочкъ». Въ объихъ преобладаетъ паоосъ помъщичьяго принципа, и молодой Дубровскій представленъ Ахилломъ между людьми этого рода, — роль, которая ръщительно не удалась Гриневу, герою «Капитанской Дочки». Но Дубровскій, несмотря на все мастерство, которое обнаружилъ авторъ въ его изображеніи, все-таки остался лицомъ мелодраматическимъ и невозбуждающимъ къ себъ участія. Вообще, вся эта повъсть сильно отзывается мелодра-

мою. Но въ ней есть дивныя вещи. Старинный быть русского дворянства, въ лицъ Троекурова, изображенъ съ ужасающею върностью. Подъячіе и судопроизводство того времени тоже принадлежать къ блестящимъ сторонамъ повъсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше — характеръ геронии, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь п французскіе романы сильно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дъйствительно геропнею, готовою на вст жертвы для того, кого полюбить. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она делала возможныя безумства; но дошло до дела — и она принялась за мораль и добродьтель. Быть похищенною любовникомъ-разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобъ обвънчать еъ развратнымъ старичишкой, - казалось для нея очень «романическимъ», следовательно, чрезвычайно заманчивымъ. Но Дубровскій опоздаль, — и она втайні этому обрадовалась, и разыграла роль вірной жены, слідовательно, опять геропни...

«Автопись села Горохина» — шутка острая, милая и забавная, въ которой, впрочемъ, есть и серьёзныя вещи, какъ, напримъръ, прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

«Кпрджали»—мастерской разсказъ истиннаго происшествія. Объ «Исторіи Пугачевскаго Бунта» мы не будемъ распространяться. Скажемъ только, что этотъ историческій онытъ — образцовое произведеніе и со стороны исторической и со стороны слога. Въ послъднемъ отношеніи, Пушкинъ вполит достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. «Исторія Пугачевскаго Бунта» показыветъ, что еслибъ онъ успълъ написать исторію Петра Великаго, — мы имъли бы великое историческое созданіе...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со всёми своими предразсудками; въ нихъ видёнъ человёжъ, не

чуждый образованности своего въка, но но какому-то странному упорству добровольно оставшійся при идеяхъ Карамзина, очень ночтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. По этому и по другийъ причинамъ, многія изъ его журнальныхъ статей инже всякой критики. Но пъкоторыя изъ инхъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательны; таковы, напримѣръ: «Ломоносовъ», «О Мильтонѣ и Щатобріановомъ нереводѣ Потеряннаго Рая», «Рославлевъ». Очень любонытны его «Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замѣчанія»; въ нихъ онъ весь. Но полемическія его статьи — верхъ совершенства. Таковы: «Отрывокъ изъ Литературныхъ Лѣтописей» и «Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Аноимовичь Орловъ» и «Нѣсколько словъ о мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ» 1).

Трудъ нашъ конченъ. О достопистве его или недостаткахъ судить публикъ; мы скажемъ только, что это еще первая попытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной деятельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотръли на его произведенія съ любовью, но безъ
ослѣиленія и предубѣжденій въ его пользу, или противъ него.
Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые поспѣшимъ
отдать имъ-должную дань хвалы и поучиться у нихъ.

Заключаемъ. Пушкинъ быль по преимуществу поэтъ, художникъ, и больше ничъмъ не могъ быть по своей натуръ. Опъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому, онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ

Эти статьи не вощи въ полное собраніе сочиненій Пушкина, — въроятно, для большей полноты...

чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ по самой натурѣ своей былъ существомъ любящамъ, симнатичнымъ, готовымъ отъ нолноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтскикроткаго, мягкаго и пѣжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Прійдетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и правственное чувство . . .

Конечно, прійдетъ время, когда потомство воздвигиетъ ему въковъчный наматинкъ; по тъмъ страните для его современниковъ, что они не имъютъ еще порядочнаго изданія его сочиненій... Скоро десять лътъ минетъ послъ трагической кончины нашего великаго поэта, а мы не имъемъ даже споснаго собранія его твореній!.. Пора бы подумать объ этомъ.

конецъ восьмой части.



ОГЛАВЛЕНІЕ ВОСЬМОЙ ЧАСТИ.

1844.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАНИСКИ.

1.

КРИТИКА.

												0	ηr.
Русская литература въ 1843 году.			6.	,					7				ŧ
Сочиненія Александра Пушкина .					,								88





